

ДЕНЬ и НОЧЬ

литературный журнал для семейного чтения

№ 5-6 **2009**

Шимон Токаржевский

Среди умерших для общества

Пётр Ореховский

Симулякры и симулянты

Эдуард Русаков

Старики и дети солнца

Артур Чёрный

Рассказы дорог

ДЕНЬ 

НОЧЬ 

Главный редактор

Марина Саввиных

Заместители главного редактора

Эдуард Русаков

Александр Астраханцев

Иван Клиновой

Елена Тимченко

Михаил Стрельцов

Редакционная коллегия

Николай Алешков

Набережные Челны

Алексей Бабий

Красноярск

Владимир Балашов

Саяногорск

Юрий Беликов

Пермь

Светлана Василенко

Москва

Михаил Гундарин

Барнаул

Дмитрий Мурзин

Кемерово

Сергей Кузнечихин

Красноярск

Валентин Курбатов

Псков

Александр Лейфер

Омск

Евгений Мамонтов

Владивосток

Марина Переяслова

Москва

Евгений Попов

Москва

Лев Роднов

Ижевск

Анна Сафонова

Южно-Сахалинск

Илья Фояков

Санкт-Петербург

Секретарь

Наталья Слинкова

Дизайнер-верстальщик

Олег Наумов

Корректор

Екатерина Волкова

Издательский совет

П. И. Пимашков

Глава города Красноярска

В. М. Ярошевская

директор Красноярского
краеведческого музея

М. С. Невмержицкая

директор Красноярского
бибколлектора

Т. Л. Савельева

директор Краевой
научной библиотеки

В. Н. Манаев

директор издательства
«Гротеск»

В создании журнала принимал участие В. П. Астафьев. Первым Главным редактором его с 1993 по 2007 гг. был Роман Солнцев. Впервые журнал был зарегистрирован как частное издание в Восточно-Сибирском региональном управлении регистрации и контроля за соблюдением законодательства о средствах массовой информации в 1993 г. Свидетельство о регистрации средства массовой информации пи № 77-7176 от 22 мая 2001 г. выдано Министерством Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

При поддержке автономной некоммерческой организации «Единство журналистики и культуры» (г. Москва) издание участвует в проекте «Русский язык в постсоветском мире: миссия человечности и добра».

В номере

- ДиН юбилей**
Анатолий Чмыхало
2 Самородки
Аида Фёдорова
7 Пока жива любовь...
Валентин Курбатов
9 Блаженство и отрава
Нина Шалыгина
15 Ожидание
Александр Щербаков
105 Мы живём в снегирином краю
Анатолий Третьяков
148 Пора моих дождей
- ДиН антология**
Яков Полонский
6 На старой рыцарской груди
Оскар Уайльд
8 Возненавидев сумрака оковы
Михаил Лермонтов
128 Один я здесь...
- ДиН память**
Алитет Немтушкин
24 Мне снятся небесные олени
Владимир Монахов
34 Мир становится реальным...
Памяти Ильи Тюрин
- ДиН перевод**
Шимон Токаржевский
51 Среди умерших для общества
- ДиН повесть**
Пётр Ореховский
77 Симулякры и симулянты
- ДиН дебют**
Надежда Шибанова
33 Путь через пески
Людмила Сомтик
45 Химия откровений
Всеволод Шахрай
183 Память
- ДиН стихи**
Владимир Алейников
37 С волшебными часами заодно
Вадим Ковда
44 Горечь
Сергей Сутулов-Катеринич
46 Выдох на слове *Love*
Геннадий Фролов
48 Нежного клевера
сонный трилистник
Сергей Шульгин
103 Как сорванный листок
Марина Юницкая
107 Зеркало Джабы Астиани
Нина Измайлова
108 Молитва лисицы
Надежда Папоркова
110 Счастливый билетик
Валерий Даркаев
164 На исходе мартовского дня
Николай Гоголев
182 Тиль Уленшпигель
Леонид Советников
191 В тишине теней
Константин Кравцов
205 Дым Отечества
София Резник
221 Воздушный змей
- ДиН диалог**
Юрий Беликов
Леонард Постников
111 Реликт, живущий у горы
- ДиН гостиная**
192 Страницы МСПС
- ДиН публицистика**
Мария Шлёнская
116 Китайские фениксы
на красноярской земле
Павел Лопатин
121 Жизнь и дела кадета Лаппо
- Библиотека современного рассказа**
Эдуард Русаков
129 Старики и дети солнца
Артур Чёрный
139 Рассказы дорог
Анатолий Янжула
149 Колпак лейтенанта Никошина
Зинаида Кузнецова
157 Зеркало
Никита Янев
165 Луи, открывайте
Виктор Вайнерман
171 Ночная машинка
- ДиН ирония**
Вероника Шелленберг
206 Вы — на П, а я — на М...
Николай Ерёмин
208 Но пасаран!
- ДиН пьеса**
Константин Миллер
218 Пьеса для Хармсов
- ДиН сатира**
Сергей Карамов
222 Долой пошлость!
- ДиН детям**
Эльдар Ахадов
229 Северные истории
Наталья Данилова
234 Ветерок озорничал
Елена Тимченко
235 Возвращение командора
Алефтина Иванищева
241 Кошмарики встречают
Новый год
- 24) ДиН авторы



Анатолий Чмыхало Самородки

2
Анатолий Чмыхало
Самородки

Чтобы прошлое не погасло...

24 декабря 2009 года одному из крупнейших прозаиков России, автору исторических романов о сибиряках и Сибири, Анатолию Ивановичу Чмыхало исполняется 85 лет. Уроженец Алтая, современник парадоксальной, изобильной потрясениями эпохи, он мальчишкой стал солдатом Второй мировой, рано возмужал, закалился в её страшном горниле. Весь дальнейший опыт Чмыхало — беды, испытания, встречи с людьми, определяющие судьбу, — концентрировался в его душе творческим материалом. Таким, что, видимо, не исчерпан и по сей день.

Каждый год — в конце декабря — я обязательно (хотя бы мысленно, если уж по какой-то причине не получается натурально) поздравляю Анатолия Ивановича Чмыхало с днём рождения. Каждый год — вот уже тридцать пять лет... Весь мир изменился за это время, несколько раз перевернулся с ног на голову и обратно, изменились мы сами — я и Оля, моя ближайшая подруга студенческих лет, дочка Анатолия Ивановича, — изменился, должно быть, и сам Анатолий Иванович, но в его облике мне трудно заметить перемены. Говорят, злого человека годы уродуют, доброго и мудрого — красят: всё отчётливее и ярче проступают черты прекрасные, а случайное, несущественное отступает на задний план.

Вот фотография в альбоме — молодой красавец-актёр Чмыхало-Брасс: бледное выразительное лицо с тонкими чертами, огненными глазами, чёрными бровями, густой шевелюрой... Залюбуешься! А я ведь не знала его таким... Эти глаза я запомнила глубокими и печальными, с легко набегающей слезой — глаза много страдавшего и много знающего человека. Прекрасные глаза на прекрасном крупном лице... Сам Чмыхало, правда, шутит, что дожил «до бульдожьих лет», но именно таким, будто уже давно превысившим какие-то условные мерки, при помощи которых люди оценивают внешность друг друга, он кажется мне особенно красивым! Слово время над ним не властно...

Возможно, род занятий Анатолия Ивановича — тому причина. Писатель напрямую причастен к бессмертию: он воскрешает мир прошлого, наделяя его живыми чертами, воссоздать которые можно только чудом! Это и есть дар, талант, Богом отмеренный настолько, насколько способен человек поднять эту непомерную ношу. Писатель всю свою жизнь испытывается на соответствие собственному таланту. А это и есть — судьба.

Судьба Анатолия Чмыхало в разные годы то гнобила его, пригибала к земле, то подхватывала на крылья, приподымала над землёй, то с беспощадностью раненой птицы швыряла на камни, но писатель не умолк, не перестал исполнять свой долг перед ушедшими, но заслуживающими нашей памяти людьми. Хотя были, конечно, и времена мучительного молчания, забвения публичной, пренебрежения со стороны, так сказать, лидеров общественного мнения. Однако — и тут проявилась особая сила характера писателя — в эти времена, как никогда прежде, аккумулировалась творческая энергия, выплеснувшаяся в произведениях Чмыхало последних лет.

Его стезя — историческая проза. Герой — всегда на мучительном перепутье, как бы «зависший» между мирами, попавший в водоворот социальной катастрофы, поставленный в ситуацию выбора, когда выбор невозможен. Наверное, это странный для Анатолия Ивановича вывод, но я убеждена, что лирический герой его последних романов сконцентрировал в себе черты и Романа Загороднего из «Половодья», и Ивана Соловьёва из «Отложенного выстрела», и других персонажей его предыдущих книг. А может, всё как раз наоборот: до поры до времени таймый (лишь точно, спонтанно обнаруживающий себя в стихах) лирический герой разными гранями воплощался в художественных образах, так или иначе связанных с заветными мыслями автора. Я фантазирую иногда: так, наверное, Данте обнаруживал в аду своих героев и оживлял флюидами собственной души не меньше чем мастерством художника! Чтобы прошлое не погасло, чтобы — учило своей непреложностью, показывало правду упорствующим в заблуждении и неверии... А правда никогда сама собой не падает сверху, как яблоко на голову Ньютона, — её вырабатывают человеческие сердца, любя и страдая. Думаю, в этом и заключается нравственный пафос книг Чмыхало, их трагический и возвышенный оптимизм. Последние годы перо писателя всё чаще откликается на зов лирической музыки. Пишутся стихи. По случаю — не случайные. Не хочется видеть в этом «замыкание кольца». Но факт есть факт. Совсем недавно увидела свет книга стихотворений сибирского прозаика, автора крупных исторических полотен. Накануне юбилея Анатолия Ивановича «ДиН» представляет читателю избранные странички его последней книги.

Марина Саввиных

Отрада

Ой, ходили люди сразу за три моря!
Привозили невидаль с дальней стороны.
А для них и горе вроде бы не горе,
И одна отрада—беспробудны сны.

Чиновник

Я истину твёрдо усвоил такую
И сыну сказал, чтобы знал наперёд:
Противен чиновник, который ворует,
Но трижды противен, который не пьёт.

Не стучать

Всем известно: жить на свете трудно,
Но не стоит целый век ворчать.
И когда уходишь ты отсюда,
Очень важно дверью не стучать.

Благовест

По большой воде да по волокам
Приползёт рассвет, как воруга.
Бухнет где-нибудь первый колокол—
И в ответ поёт вся округа.

Я ваш

На уши не вешаю людям лапшу,
Когда, благодарный заранее,
Я нищих, но гордых поэтов прошу:
— Примите в свою компанию.

Зачем?

Я наконец его спросил:
Зачем меня лишили сил?..
И мне ответил херувим:
— Подвинься. Дай пожить другим.

Судьба

Не раз сгущались в небе тучи,
И грозам не было числа.
Я не искал судьбу покруче—
Она сама меня нашла.

Истина

Мне истина всего дороже,
А Блок сказал—она в вине.
Спаси меня от рюмки, Боже,
Но дай бутылку в руки мне.

Весной

Весна летит над полями
То ласточкой, то пчелой.
Мне весело, что я с вами,
И грустно, что вы не со мной.

Рабы

Как мы ушами хлопали,
Когда расправлялись с нами:
Мы были у бар холопами,
Но всё-таки не рабами!

Мудрость

Я мудрость в сердце сберёг,
Исчерпав её до дна:
К неправде ведёт сто дорог,
А к правде—всего одна.

Ответчик

— О, дайте, дайте мне награду!—
Вопит взволнованный юнец.
А мне наград уже не надо,
Ведь я ответчик—не истец.

О славе

Какое счастье гол забить!
Какое счастье славным быть,
Хоть слава кончится твоя,
Когда умрут твои друзья.

Хата

Что хата моя не с краю,
Известно мне с детских лет.
И только теперь понимаю,
Что не было хаты и нет.

Грека

Ехал грека через реку
В первом месяце весны.
Не сидится человеку
Возле собственной жены.

Если бы

А жалеть тебя, однако,
У меня не хватит сил.
Если б ты была собакой,
Как бы я тебя любил!

Несладко

Поверьте, недаром
Воскликнул поэт:
— Саха не Сахара,
В ней сахара нет.

Вопрос

О нём говорили:
— Из грязи да в князи...
А может, то были
Целебные грязи?

Пустяк

— Это что за синяк
У тебя на лице?
— Это сущий пустяк.
Это муха цеце.

Взгляни

Взгляни на мир
Глазами пса—
И станешь псом
За полчаса.

Смерть атамана

Над рекой прозрачный пар струился.
А кругом такая благодать!
Атаман в Форпост, в свою станицу,
Прискакал не жить, а умирать.
Атаман бесстрашно шёл на плаху.
И, худой не слушая молвы,
Скинул он в последний раз папаху
С непокорной, буйной головы.
— Вы меня, станичники, простите,
Что искал я лучшей доли вам.
Только мне вы верить не хотите,
А своим поверили врагам!
Что же вы молчите? Отвечайте!..
Но раздался выстрел у реки.
И кричали в чистом небе чайки,
И стонали в поле кулики.

Страшный суд

Признаюсь, я кары небесной боюсь
И тяжесть грехов понимаю.
Но слишком люблю православную Русь
И пусть за неё пострадаю.
Хочу в суете того судного дня,
Который нам всем уготован,
Чтоб судьи решились послушать меня
И дали последнее слово.
Уж лучше вариться в кипящей смоле,
Не жалуясь Богу при этом,
Чем вновь оказаться на грешной земле
Философом или поэтом.

Встреча

Друзья мои, историю не троньте!
Пусть остаётся нашей общей тайной
Как на забытом богом Южном фронте
С тем генералом встретились случайно.
И пусть он не был извергом отпетым,
Как нам могло сначала показаться,
В нём чётко обозначились приметы
И демагога, и мерзавца.

Тёрка

Торговец расхваливал тёрку,
Простой соблазняя народ:
— И стоит всего-то пятёрку,
А как она, милая, трёт!..
И стало на сердце легко мне,
Что я, над рекламой смеясь,
Нежданно-негаданно вспомнил
Родную советскую власть.

Арго

Я тебе, залётный иностранец,
Объясняю новые слова:
Просто русский — это голодранец,
Новый русский — это буржуа.

Бывает

А в жизни часто так бывает:
Рождённый ползать во власть взлетает.

Богу

Когда меня кондрашка хватит
И я умру, о, Боже мой,
Ты прикажи небесной рати,
Чтоб ласковой была со мной.
И сам не будь таким уж строгим.
Не хочешь — в рай не отправляй.
И то сказать, дойдут ли ноги,
Коль далека дорога в рай.
Они ещё тогда устали,
Когда к Берлину я шагал.
Не раз их сам товарищ Сталин
В своих приказах отмечал.
Ты будто недоволен этим?
Потолковать бы нам вдвоём!
Ведь мы с тобой уже не дети —
Друг друга как-нибудь поймём.

Шевченко

В какой же смертельной обиде,
О чём бесконечно скорбя,
Ты русских возненавидел,
Не раз спасавших тебя?
Как мог ты предать Россию!
Каким ты дерьмом пропах
За рюмку, что подносили
Тебе в нерусских шинках!
И всё же... Да Бог с тобою!
Сто раз предавали нас.
Легко забывают плохое
Твои москали, Тарас.

Звезда

Мне подмигивает звезда:
Дескать, ты не умрёшь никогда,
Но ночами не спи — пиши
Не для славы, а для души.
Я уверен, бессмертья нет.
С ходу падаю на кровать.
Мне прожить бы хоть пару лет,
А для этого нужно спать.

Родина

Сколько раз ты меня обижала!
Сколько раз меня прогигала!
Сколько раз пыталась сломать,
Моя милая Родина-мать!
Но не ты ли меня сохранила?
Но не ты ли меня закалила
В неизбывной моей борьбе?
И за это спасибо тебе!

Россия

Россию можно раздарить.
Россию можно не кормить.
В России всё бывало —
Она не то видала.

Дума

А Дума слушает да ест,
Когда скандалить надоест.

Адмирал

В эти годы смутные бывает
И такое, адмирал Колчак:
Чёткий след твой вьюга заметает
И тоска дремучая в очах.
А вокруг Россия бездыханна,
И уже не верь тому, что есть —
Что с тобой остались только Анна
Да твоя поруганная честь.
Цельтесь лучше. Сердце адмирала
Не устало Родину любить.
Это с ним уже не раз бывало —
Пулей адмирала не убить.
Будут годы тоже непростые,
Будет жизнь сурова, нелегка.
И тогда великая Россия
Добрым словом вспомнит Колчака.

На войне

А на войне такое было дело:
Пехотный полк в бою не устоял,
И капитан Особого отдела
Стрелять по отступавшим приказал.
И объяснял я капитану что-то,
Вытягиваясь в струнку перед ним.
И то сказать, кому охота
Палить в упор картечью по своим?
И всё-таки опомнилась пехота
И залегла в бурьяне и пыли,
Но под конвоем, как врага народа,
Меня в штрафную роту увели.

В тот час

Что говорить, у жизни есть граница.
На этой пограничной полосе,
Я понимаю, чуду не случиться —
Пробьёт мой час и я умру, как все.
В тот самый час, к земле приникнув ухом,
Услышу властный зов издалека.
И станет мне она, родная, пухом
От той поры на вечные века.
А если вдруг погибну на чужбине,
Я и в чужом, неведомом краю
Оставлю вам, живущим, небо сине
И песню недопетую мою.

Мазепа

— Всё в этом мире тленно, тленно! —
Я многократно повторю.
Забыта подлая измена
Петрухе — русскому царю.
И честь шляхетская забыта,
И гнева яростный обвал,
И даже спеющее жито,
Которое он попирал.
И верность Карловой короне,
И в битвах пролитая кровь.
А не забыта лишь к Матрёне
Мазепы грешная любовь.

Курсы

Может, вывод для кого-то жуток
Или вовсе непонятен он:
Шоу-бизнес — школа проституток,
А убийц готовит биатлон.

Сыск

Простому народу пора бы понять,
Что в сыске чудес не бывает:
Уж если воров обещают поймать,
То их никогда не поймают.

Не ждать

В нашем возрасте надо понять:
Если в жизни что-то не клеится,
Хорошо никого не ждать
И уже ни на что не надеяться.

Победители

Победа — это детище героев.
Так почему же тех боготворят,
Кто больше положил на поле боя
И покалечил собственных солдат?

Останусь

Как завистникам злобным ни горько,
Такова уж судьба моя:
Не писателем так историком
Для кого-то останусь я.

Откровение

В жизни всё и призрачно, и хрупко,
Потому напоминаю вам:
Если нет достойного поступка,
Прош цена изысканным словам.

Грузины

Пьянея от пролитой крови,
Грузины рванулись вперёд,
Но, к счастью, бодливой корове
Всевышний рогов не даёт.

Юноше

Ты прими мой добрый совет:
Белый свет — далеко не рай.
Не ищи того, чего нет,
А что есть, того не жрай.

Метелица

Унеслась метелица
В темноту.
Одеялом стелется
На мосту.
Мчится ошалелая
Вдоль села,
Аж подушки белые
Намела.

Туман

Страна прозябает в застойном тумане.
И хочется людям у Грефа узнать:
— Скажи-ка, куда ты завёл нас, Сусанин?
— Я сам заблудился, туды вашу мать.

Когда помру

Когда помру, хотел бы я
Достойных отношений между нами:
Чтоб собрались на кладбище друзья
И чтоб враги не сделались друзьями.

Свобода

Она пришла, желанная свобода,
Когда я оказался нищ и стар.
Всё, что имел, царю Борису отдал.
Что мог иметь, забрал себе Гайдар.

На поле битвы

Когда сойдёт в окопы тишина,
На землю обожжённую взгляни-ка—
И ты поймёшь, как счастлив Сатана,
И ты услышишь, как рыдает Ника.

Новый год

В Новый год даём мы знак
И простор надежде,
Чтобы не было нам так,
Как случалось прежде.

Верховный

Что армия разута и раздета
И выбивалась из последних сил,
Он видел сам. И, как в ответ на это,
Колчак шинель солдатскую носил.

Близнецы

Расшатаны устои вековые,
И мы сегодня так живём,
Что отражаются в России,
Как в зеркале, Гоморра и Содом.

Бездари

Бездарные, как лапоть, души
Без перерывов бьют баклуши.
И это публикою-дурой
Считается литературой.

Мечта

Я лежу на койке, и тоскую,
И мечтаю дерзко об одном:
Мне сейчас бы бабу молодую,
Чтоб она сходила за вином.

Кто есть кто

У кого есть наличность,
Тот—элитная личность.
У кого её нет,
Тот—русский поэт.

Яков Полонский На старой рыцарской груди

Холодная любовь

Когда, заботами иль злобой дня волнуем,
На твой горячий поцелуй
Не отвечаю я таким же поцелуем,
Не упрекай и не ревнуй!
Любовь моя давно чужда мечты весёлой,
Не грезит, но зато не спит,
От нужд и зол тебя спасая, как тяжёлый,
Ударами избитый щит.
Не изменю тебе, как старая кольчуга
На старой рыцарской груди;
В дни беспрерывных битв она вернее друга,
Но от неё тепла не жди!
Не изменю тебе; но если ты изменишь
И, оклеветанная вновь,
Поймёшь, как трудно жить,—
Ты вспомнишь, ты оценишь
Мою холодную любовь.

В потёмках

Один проснулся я и—вслушиваюсь чутко,
Кругом бездонный мрак, и—нет нигде огня.
И сердце, слышу я, стучит в виски... мне жутко...
Что если я ослеп! Ни зги не вижу я,
Ни окон, ни стены, ни самого себя!..
И вдруг сквозь этот мрак, глухой и безответный,
Там, где гардинами завешено окно,
С усилием разглядел я мутное пятно—
Ночного неба свет... полоской чуть заметной.
И этой малости довольно, чтоб понять,
Что я ещё не слеп и что во мраке этом
Всё, всё пророчески полно холодным светом,
Чтоб утра тёплого могли мы ожидать.

Аида Фёдорова Пока жива любовь...



13 ноября исполнилось 75 лет со дня рождения поэта, журналиста, воспитателя творческой молодёжи Аиды Петровны Фёдоровой. Большая часть её жизни связана с Красноярским краем, где она родилась, училась и работала. Сейчас Аида Петровна живёт в Подмосковье, но, уверенны, в душе остаётся сибирячкой, потому что сибирский характер — как цвет глаз, видимо, даётся человеку однажды и навсегда. Многие красноярские литераторы — и очень известные, и заслуживающие

известности — считают её своей «крёстной матерью». Вклад Аиды Фёдоровой в развитие культуры Красноярского края поистине неограничен, и мы рады, что имеем возможность поздравить поэта с замечательным юбилеем, пожелать Аиде Петровне здоровья, возрастания творческих сил и напомнить читателям «ДиН» её смелые, искренние, энергичные стихи.

Редакция «ДиН»

Молитва

Убереги, Господь, от скверны и соблазна,
От милости врагов и подлости друзей,
От страха не попад и сутолоки праздной,
От бешенства толпы и гнусности властей.
Пока жива любовь, не остуди желанья,
Дай до конца испить и яд её, и мёд.
В соль истины подсыпь хоть пригоршню незнанья,
Не то она тебя всезнанием убьёт.
Будь справедлив, Господь, к подонку и герою,
Не обдели теплом калеку и слепца,
Мне ж подари того, кого сама я стою,
И, подарив, оставь со мною до конца.
Лишь одного боюсь: что, если потакая
Желаниям моим, тыхватишь через край,
А я не откажусь (ты ж знаешь, я такая:
Мне мало полумер, мне всё, что есть, давай),
И счастья для меня окажется так много,
Так, к горлу подступив, заполнит всё оно,
Что, захлебнувшись им, я рухну у порога,
И жизнь... но мне тогда уж будет всё равно.

Здесь

Здесь чёрен снег и белым не бывает.
А если и бывает — только день.
Здесь стронций всё живое убивает
И превращает в собственную тень.
Здесь над картиной суд вершат по раме.
К чужим кошёлкам здесь прикован взгляд.
Здесь видят в вас не то, что есть вы сами,
А то, что люди в спину говорят.
Здесь к часу пик — Разбой Великой Давки,
А к ночи страх ползёт из всех углов.
Здесь вносит жизнь нещадные поправки
В лишённый жизни бред беловиков.
На троне здесь подонки и невежды.
Кошмар здесь горше тем, что — наяву.
Здесь, потеряв последние надежды,
Смеясь сквозь слёзы, я пока живу.

После вечернего визита

День рожденья. День вхожденья
В пёстрый круг чужих друзей.
День любви и снисхожденья.
День морошки и груздей.
Спирт с «Анапой» вкупе льётся,
Всё лишая чётких черт.
Что под утро остаётся?
Зигмунд Ромберг и десерт.
Этот диск сентиментальный,
Как находка для души.
И последний акт — отвальный.
На такси иль так паши.
Было славно. Было мило.
Но и мыслью, и душой
Лишь с тобой весь вечер, милый,
Провела я, лишь с тобой.
Ты присутствовал незримо.
За спиной моей стоял.
Так всегда со мной, любимый.
Ты ведь понял? Ты ведь знал?
Огонёк зелёный тачки.
Поворот за поворот.
Мимо местной водокачки,
Мимо церковки — вперёд!
Всё в мозгу моём смешалось:
Грузди, Ромберг, и вино,
И морошка, и усталость,
И друзья чужие, но,
Отодвинув, как завесу,
Это действие, эту боль,
Ты меня в иную пьесу
Ввёл и на иную роль.
Там по воле режиссёра
Мы вдвоём в одной судьбе.
Где театр двух актёров —
Делать нечего толпе.

На Таймыре день полгода
И полгода ночь.
На Таймыре непогода —
Словом не помочь.
Словно белую попоной
Выстлана земля.
Белый ветер белым стоном
Выстудил поля.
В небо белые ступени,
Только кто шагнёт!
Ни собаке, ни оленю
Нет пути вперёд.
Но пурга уснёт, как лайка
У хозяйских ног.
И снежинок белых стайки
Лягут на порог.
И, отдавши дань азарту
(Больше ждать невмочь), —
Ты, как лодку в волны, нарты
Бросишь в эту ночь.
Лай собак не сразу канет,
Постоит пока.
Без тебя на сердце камень,
А в душе тоска.

«Любят не за что, а вопреки».
Вопреки себе,
другим напротив.
Вот за что люблю я этот профиль?
И движенье нервное руки?
Вопреки рассудку, вопреки
Трезвому совету и заклатью.
Говорили: глупое занятие —
Вслушиваться в поздние звонки.
Но противоборство выше сна,
Выше ваших квашеных советов.
Если выйдет на воду луна,
Как один ты расшифруешь это?
На воде луна, как вопль реки:
Лучик лучше б,
чем такая пустошь.
Любят не за что, а вопреки.
Любят не зачем,
а потому что.

Оскар Уайльд Возненавидев сумрака оковы

Федра

Саре Бернар

Как скучно, суетно тебе теперь со всеми,
Тебе, которой следовало быть
В Италии с Мирандоло, бродить
В оливковых аллеях Академий.

Ломать в ручье тростник с мечтами теми,
Что Пан в него затрубит, и шалить
Меж девушек у моря, где проплыть
Мог важный Одиссей в своей триреме.

О да! Наверно, некогда твой прах
Таился в урне греческой, и снова
Ты в скучный мир направила свой шаг,

Возненавидев сумрака оковы,
Унылых асфоделей череду
И холод губ, целующих в Аду.

Перевод Николая Гумилёва

Сонет к свободе

Не то чтоб я любил тех бунтарей,
Тех юношей с безуминкой во взоре,
Что видят в жизни лишь нужду и горе;
Но этот вопль о Равенстве Людей,

О царстве Анархизма, о Терроре —
Знакомой страстью мне волнует ум;
Иначе почему сей грубый шум
И ярости расплёсканное море

Близки душе? Пусть деспотизма Змий
Под свист бичей, под грохот канонады
Свободу душил — мне не всё ль равно?

И что мне до крикливых сих Мессий,
Всходящих умирать на баррикады?
Но — видит Бог! — мы в чем-то заодно.

Перевод Григория Кружкова



Валентин Курбатов Блаженство и отравы

Поздравляем с 70-летием члена редколлегии «ДиН», друга, коллегу, наставника и заступника, ярчайшего публициста и критика наших дней — Валентина Яковлевича Курбатова.

Редакция «ДиН»

Издатель жизни

Как входят в нашу жизнь друзья? Почему-то кажется, что если они настоящие, то мы никогда не можем вспомнить мгновение встречи. Они как-то сразу «оказываются». Ты «опоминаешься» сразу посреди дружбы.

Кажется, впервые он по «наводке» Виктора Петровича Астафьева попросил меня о предисловии к книге военных повестей «Вернитесь живыми», которую сам составил к шестидесятилетию начала войны «в благодарность родителям, вынесшим главное испытание века», как было написано в посвящении.

Я ничего не знал о нём к той поре, кроме того, что он был некогда журналистом «Комсомолки», потом гонял машины то ли в Монголию, то ли из неё, пробовал себя в разных бизнесах и не отчаивался. Всё было обыкновенно. Мешала созданию только «Комсомолка», потому что сотрудничество с нею в начальные дни перестройки означало полную противоположность тому, чем жил я, чем жил Распутин, чем жили все мы — старые консерваторы, не торопившиеся вместе с «Комсомолкой» сдавать своё Отечество суетной новизне. Но нас сводил Виктор Петрович, и это уже было свидетельством духовной близости. Да и сам Геннадий давно жил иной, не «комсомольской» жизнью, а мы только донашивали свои старые предубеждения. Его издательство поначалу тоже, вероятно, было «бизнесом». Он издал военные повести Астафьева и потерпел поражение — умные «сотоварищи» прокатили его, лишив тиража. Но он чему-то научился, издал много разной разности, набивая руку, пока не явился однажды замысел этой книги военных повестей, к которой я и должен был написать предисловие и которая стала первым настоящим его успехом и событием в издательской жизни Иркутска. И не одного Иркутска.

Вероятно, он тогда впервые подумал и о своей марке, о том, что пора принимать личную ответственность за каждую книгу и без страха писать «Издатель Сапронов». До этого издательство звалось «Вектор» и было отвлечённо, как само это слово, ибо оно, как слово «направление», ещё не показывает стрелки, а только сам процесс движения — без определения куда. На переломе лет

и времён, когда порыв Горбачёва побуждал «начать и углубить» что-то тех, кто уловил необходимость движения, но тоже ещё не знал куда, это было бессознательной хитростью. Точно знаю, что у Геннадия расчёта тут не было, а именно чутьё — умное ощущение общего движения во все стороны, желание движения, чтобы только не стоять на месте, потому что были силы, всё куда-то шло, и не стоялось на месте, и тоже хотелось идти. Вот и явился «Вектор». А за ним скоро явилась газета «Зелёная лампа», которая освещала уже более отчётливый круг стола с высокими и духовно верными книгами, этической чистотой и эстетической разборчивостью. Опыт работы с Астафьевым и военными повестями, когда надо было говорить с Носовым и Быковым, стремительно вооружал его. Да ведь он и жил в Иркутске, а там, какие ты тонкости ни исповедай, всё равно знаешь о существовании вернейшем камертоне, который является В. Г. Распутин.

«Комсомолка» мешала услышать Геннадия и Валентину Григорьевичу. И это после знакомства с Генной ещё долго было его и моей занозой. Мне не работалось «по полной», пока они не были вместе. Да и ему тоже. Мы уже сделали несколько работ вместе. Кроме военных повестей я написал предисловие к «Пролётному гусю» Виктора Петровича — последней книге, которую он, уже безнадежно больной, успел поддержать и которой успел обрадоваться. А потом по Гениному настоянию согласился и на издание своей переписки с Виктором Петровичем, когда Виктора Петровича уже не было. Геннадий ломал моё сопротивление, потому что вернее слышал время и уже понимал, что прежние законы, по которым переписка должна была стать историей, дожидаться часа, когда она не заденет живых, уже не работали. Время сжимается с агрессивной стремительностью, и то, что не будет показано сегодня, завтра безнадежно устареет, а послезавтра вовсе будет никому не нужно. И чутьё не подвело его: «Крест бесконечный» (название было Генино, и оно было прекрасно) выдержал три издания. Угадка радовала его, и он гордился книгой, кажется, больше, чем я, и торопился представить её в Красноярске, Москве, Иркутске.

Вот тогда, в Иркутске, я и попросил Валентина Григорьевича, чтобы мы встретились втроём, сказал, что мне тяжело, что они не работают вместе. Валентин Григорьевич отговорился было, что они, в общем, и не расходились хотя бы потому, что и не сходились. И мы встретились.

А потом всё уже просто летело. Это были лебединые издания Геннадия и счастливые работы его

неизменного товарища и настоящего открытия в книжной графике и дизайне Сергея Элояна. Геннадий ввёл в книгу и этого блестящего и широко известного станковиста, который тоже решил попробовать себя в новой области, и это было победой обоих. В них билось одно сердце, и оттого и четырёхтомник прозы Распутина, и его «Сибирь, Сибирь», и «Земля у Байкала» сразу становились издательскими событиями года России. И Гена только успевал получать дипломы.

Он с детской ненасытностью почти для каждой книги искал новые решения и технологии в переплётах, шрифтах, полях. Не для игры, а для того, чтобы предельно подчеркнуть существо каждой новой работы, все стороны её красоты. А уж какой ценой давались эти красота, мера, художественное совершенство и как они сопрягались с хищными законами рынка, которому не до духовной чистоплотности, — об этом знало только сердце издателя. И усталость немногих его сотрудников.

Его основной бизнес был прозаичен — это были железные двери из Китая. Конкуренция в этой области огромна и беспощадна. Круг забот немалым — таможенники, товарные станции, задержанные отгрузки, опаздывающие контейнеры, бесконечные поездки в Китай, договоры, технологии, конкуренты... Чтобы потом каждая копейка ушла в счастье книги, где тоже законы не пряник — где типографии (а он работал с ними в Новосибирске, Екатеринбург, Москве, Китае) своего не упустят, где другие товарные станции и контейнеры, где книгопродавцы и высокие инстанции, в которых надо напоминать о достоинстве и свете культуры, чтобы хоть часть тиражей уходила в библиотеки Красноярска и Иркутска, Омска и Новосибирска.

Зато как отрады были и как восстанавливали сердце презентации книг и книжные выставки. Я бывал на некоторых представлениях в Иркутске и в Ассоциации книгоиздателей России в Москве. Везде было не поспеть. Это был ритм полёта. Вот увидел в старом письме 2003-го года, как он показывает астафьевскую «Царь-рыбу»: «27 ноября запланировали представить книгу в Овсянке и Дивногорске. 28-го в Литературном музее. 29-го помянем Виктора Петровича и переедем с Серёжей в Новосибирск. 1-го покажем её в Новосибирске, 2-го улетим в Москву и 4-го–5-го покажем в Ассоциации книгоиздателей».

Таким же горячим праздником была ежегодная зимняя выставка Нон-фикшн на Крымском валу, где этого не стоило утонуть — так огромен был этот книжный океан, где кипел муравейник честолюбивых лучших издательских фирм, где властвовали империи «Молодой гвардии» и «Азбуки-классики», «ЭКСМО» и «Вагриуса». Но читательская воронка вокруг малого островка «Издатель Сапронов» кружилась весело и неостановимо. И тут скоро являлись договоры, обмены, новые контакты и теперь уже естественный постоянный интерес к тому, что выйдет у «Издателя Сапронова».

Мы возвращались вечерами к его неизменному редактору Агнессе Фёдоровне Гремичковой, радостно усталые садились за рюмочку. Геннадий

открывал книги, которые успел вычитать у «соперников», и отыскивал лучшее, чтобы применить в своих новых идеях и замыслах. А потом, чтобы ослабла пружина дня и нашлись силы для завтра, он читал только купленного Георгия Кружкова с его иронической лирикой («Но розы Севера не страшны русской деве, особенно, когда она живёт в Женеве») или «Митька» Сапегу с его русскими «хайку» («Заболею. Умру. А пока солнце, ветер, весна, трали-вали...»). Читал с такой артистической тонкостью и смеющимся умом, что и мы смеялись с ним до усталости. И не было в тот час людей счастливее нас, и нежнее друг к другу, и увереннее, что завтра мы издадим ещё чего получше. И ещё посмотрим (тайно имея в виду «ЭКСМО» и «Вагриусов») кто кого!

А ведь были ещё его литературные вечера «Этим летом в Иркутске» — как устные книги, как доверчивые беседы, как лаборатории мысли, когда академический театр имени Охлопкова был полон не на артистических вечерах, даже не на литературных чтениях, а на простых разговорах о ремесле и художестве, о Пушкине и Гоголе, об Астафьеве и Колобове. Три лета радости и труда. Когда на сцене стоял один человек, и зал тоже чувствовал себя одним человеком, и они были вдвоём с Михаилом Кураевым, Владимиром Толстым, Алексеем Варламовым, Игорем Золотусским, Владимиром Костровым, Александром Шолоховым. И с Генной, и с Генной, который держал «весло» этих бесед и правил к любви и единству. И, конечно, явилась и книжная серия «Этим летом в Иркутске», чтобы вечера не кончались в читательском сердце.

И вот не знаю, как перейти к последней странице жизни Геннадия. Это был его лучший замысел и лучшая книга, которая только начинает жить и уйдёт в жизнь, чтобы стать самой жизнью.

В конце июня–начале июля 2009-го года он запланировал провести целую экспедицию с Валентином Григорьевичем Распутиным, Сергеем Элояном, съёмочной группой студии «Остров» во главе с Сергеем Мирошниченко, с участием Красноярского педагогического университета имени Астафьева. Предстояло пройти по Ангаре сначала от Иркутска до Братска и Усть-Илимска, где жизнь худо-бедно (часто и худо, и бедно) всё-таки устривалась и распутинская Матера уже не ранила слух, потому что была горьким, но уже зарубцевавшимся воспоминанием. А дальше пересечь на катера и пройти от Усть-Илимска до Кодинска по ложу затопления будущей Богучанской ГЭС, где Матёре только предстояло тонуть. Где двух- и трёхсотлетние села ждали большой воды и торопились, торопились проститься со своей домашней историей, памятью, родовыми кладбищами, налаженным бытом и самой жизнью.

Наверно, это были самые тяжёлые две недели в жизни всех участников поездки.

Геннадий хотел видеть рождение книги от самого зачатия и искал нового качества существования текста, потому что книгой были уже сами встречи с усталыми и уже равнодушными ко всему жителями давно перевезённых деревень до Братска. Книгой были резкие диалоги с начальниками

Братской и Усть-Илимской ГЭС. Текстом становились лоции, фото- и киноматериалы, плач старых людей и нетерпение молодых, отказ высоких начальников от встречи с экспедицией и хлеб-соль местных властей, которые ещё надеялись что-то удержать.

Исподволь делалось ясно, что и сама эта тяжелейшая поездка (труднее всего дававшаяся Валентину Григорьевичу, которому люди торопились выговорить сердце, чтобы самим стало полегче), и с надеждой глядящие на нас берега, и прекрасные даже в угасании на глазах, умирающие, пуствующие деревни, и, кажется, даже ненаглядные облака и травы, кресты кладбищ, и всякое проводившее нас окно — всё уже было каждую минуту готовой, уже сейчас работающей книгой. Злая беспомысленная новь и экономическая бесчеловечность так торопились известить жизнь, что до классической книги дело просто могло не дойти. Жизнь становилась прошлым прямо на наших глазах, и писать её надо было каждой минутой и каждым днём. И так хотелось, чтобы дни были подольше.

Как великая старуха Анна из распутинского «Последнего срока», учившая дочь, как «обвить» её по-человечески, мы прощались с обречёнными сёлами, приговаривая: «Ой, ты, Кежма, родима матушка... Ой, ты, Едарма, Кеуль, Недокура...» Только уж не «на кого вы нас оставляете», а на кого мы бросаем вас, как неблагодарные дети своих матерей, надеясь после этого по-прежнему считаться людьми.

Геннадий глядел во все глаза, снимал, торопился связаться во все диалоги, выпрашивал по деревням старые фотографии, словно ощупывал каждый день и час и принимал их в сердце, где они становились какими-то ещё небывалыми страницами. Он вынашивал Книгу и слушал её движение в себе с любовью, волнением, тревогой. Он был печален и он был счастлив, если такое соединение возможно. Рождалось что-то необыкновенно значительное, совсем новое, не бывшее в мире. И его издательское сердце горело этой новизной, болью, тревогой и догадкой о совершенно сегодняшнем технологически едва рождающемся в новом времени книжным делом. Каждый день был книгой, и он был автором, который мог на ходу уточнять «текст» жизни. И мы волновались, чувствуя это рождение и ещё не умея назвать его.

Мы расстались в Красноярске, договорившись на будущий год пройти остаток Ангары до Енисея, уже зная свои силы и свои возможности, уже предчувствуя, что мир можно если не образумить, то хоть задержать его падение. Я вернулся в Псков, чтобы начать обдумывать дневник поездки. Через день мне позвонил Сергей Элоян и, захлебнувшись слезами, сказал: «Гена умер»...

Нельзя было даже закричать, чтобы понять это. Надо было только так же умереть. Мир не захотел останавливаться в своём падении. Он почувствовал врага в рождающейся книге, в силе вступающей жизни, в брошенном ею вызове.

Но участники поездки уже работают над маршрутом продолжения экспедиции. Лоции собраны,

кинокамеры заряжены, перья очинены, сердце укреплено сознанием правоты и необходимости продолжения.

Издатель Сапронов продолжает своё святое человеческое дело. Теперь он издаёт Жизнь.

Блаженство и отрав

Пожилые чтения

Ага, вот значит, когда надо читать впервые или перечитывать лучшие книги — когда тебе самому столько лет, сколько автору в пору написания! Тогда вы слышите друг друга равенством лет, разностью опыта и «столетия на дворе» и лучше понимаете, что меняется в разные времена в человеке, кроме платья. В особенности, если это литература о таких «недвижных» в столетиях чувствах, как любовь и физическое влечение, которые мало считаются с политическими режимами и общественным устройством мира.

Тут и в поэзии мы легко соглашаем в сердце Катулла и Пушкина, Овидия и Тютчева, Сафо и Ахматову, и в драматургии шекспировские Ромео и Джульетта легко окликают рошинских Валентина и Валентину, и в прозе аббат Прево заводит Виктора Астафьева и «Манон Леско» переглядывается с «Пастухом и пастушкой», несмотря на страшную разность веков, строя и обстоятельств.

Тут за «мастерством» не спрячешься и временем не отговоришься. Тут тебе судья — открытое читательское сердце, которое в свой час обязательно переживает бунинское «блаженство жить, сладкую муку счастья и отраву любви», переживает единственно и всеобще и не оглядывается на авторитет гения, ибо влюблённый человек сам всегда гений.

Говорят, Гёте в старости писал эротические новеллы, но целомудренные наследники и сама добродетельная Германия закрыли эти сочинения, чтобы не повредить репутации национального поэта. Русское сердце отважнее, и мы не только не утаили бунинские «Тёмные аллеи», но почтили их титулом высших достижений русской прозы (М. Рошин в жзловской книге о Бунине зовёт день выхода этой книги историческим, а самое её великой). И Бунин, поди, тайно гордился, что «обошёл» старика Гёте.

Мы узнали эту книгу сравнительно поздно. Только с «оттепелью», уже в середине шестидесятых запрещённый в СССР за жёсткие «Окаянные дни» Бунин добрался до нас из эмигрантского далека. А «Тёмные аллеи» и в собрание сочинений протискивались с опаской. Время ещё было «аскетическое». И, конечно, мы прочитали их со стыдливой жадностью, смущаясь, и волнуясь, и почти не зная, как говорить об этом чтении. Было не до художественных оценок, не до тонкостей стиля. Только краснеть «удушливой волной» и уносить прочитанное как тайну.

Так «Аллеи» и жили потом счастливым воспоминанием юности, словно только ей и назначались и в ней были «прописаны». И как-то забывалось, что они писаны стариком, с которым нам странно было бы делить наше молодое

безрассудство и чувственное нетерпение. В этом мнилось бы какое-то извращение, как во взаимоотношениях набоковских Гумберта и Лолиты.

И я, наткнувшись на «Тёмные аллеи» в поисках другой книги, неожиданно подумал, что перечитать их сейчас, очевидно, то же, что перечитать свои юные дневники, пылающие ужасом любви и ночной откровенности, когда ты всё уже пережил, окружился внуками и вооружился рассудительным знанием о началах и концах человека и мира. А потом любопытство пересилило: что же это было? Дай, думаю, взгляну. Может, подряд-то и читать не надо. Разогнул на первых случайных страницах, как при гадании, и сразу всё вспомню. А разогнул на «Дурочке», «Смарагде», «Антигоне» и «Музе» и отшатнулся.

Померещилось ледяное упражнение воображения. Померещилось: вот я вам покажу этих молодых животных, у которых весь мир тут — в жаркой, бесстыдной, не сознающей себя страсти. И потом это чувство уже не оставляло при перечитывании «Дубков», «Мадрида», «Кумы», даже (как жалко!) некогда пленявшей и зажигавшей сердце «Руси».

Будто умный, холодный Иван Алексеевич с кем-то считается, хочет от кого-то отстоять молодое животное в человеке. Или бросает вызов пуританскому времени, отстаивая самую живую и горячую часть жизни, где человек отодвигает ум для побеждающей природы. И радуется своей победительной силе, останавливаясь только перед самым любовным актом, в котором для него всегда чудилось «что-то таинственное и жуткое». Всегда уверенный в себе до деклараций «пером я владею, и над тем, что мной написано, комар носа не подточит», на этом пороге и он только руками разводил: «сколько ни пробовал — не получается. Или получается около». А «около» он не любил. И Александру Бахраху, из чьего дневника «Бунин в халате» я цитирую эти признания, признавался, что так же не получаются у него письма.

И я, успевший ожесточиться сердцем на его «холодные упражнения», словно он у меня что-то отнял, уже не удерживал своего разгорячившегося ума и пускался в самозащиту. А оттого и не выходят письма, Иван Алексеевич, что в них человек единственен, что тут он Господень и его не «обобщить» и воображением не приручишь. Тут ведь (в «акте» и письме — простите мне это странное уподобление) — сама жизнь, самое её сердце. И тут же выцеливаю из Бахраха ещё одно признание: «Начал рассказ о проститутке от первого лица. Как-то неловко писать». А отчего неловко-то? А оттого, что опять единственность жизни, это самое, всегда единственное «я» защищается, не сдаётся насилию обобщения. И бедная проститутка из хора «нарумяненных и набелённых блядчонок» воспротивилась своим отдельным живым миром его признанию «я умею только выдумывать». Бога в себе, реальность Его не уступила.

И как мысль ожесточилась, то тут уж мне стало казаться, что и весь замысел «Тёмных аллей» умозрителен и самоуверенное знание художника, что для него уже нет неподвластного, стало раздражать. И стали видаться срывы в форму, стало

казаться, что многое «слишком написано». И красота стала казаться слишком яркой, подогретой старостью и оттого блестящей и ненавистой, как будто искусственной, (чуть не сказал «вставной»), как в осенних (писанных осенью) «Тане», «Зойке и Валерии», и даже в «Гале Ганской» и самом дорогом для самого Бунина, и его последующих читателей «Генрихе».

В том же дневнике Бахраха Иван Алексеевич однажды говорит: «Пора его сбросить с пьедестала, как говорит обо мне Шмелёв». Только улыбаешься — вот, значит, и ты примкнул в этом желании к Шмелёву. И в чём-то поймёшь Ивана Сергеевича. Они с Буниным ещё недавно были близки, пока не пробежала между ними кошка Нобелевской премии, которой оба были соискатели и из-за которой наговорили друг о друге много несправедливого. Но, скорее всего, думаю, Шмелёв и без этого после «Тёмных аллей» зашатал бы «пьедестал-то». Он уже написал к той поре «Лето Господне» и «Богомолье», а в те же дни писал «Пути небесные», весь был в свете совсем не бунинской любви, и даже «обольщал» тогда свою «опоздавшую» возлюбленную не иначе, как рассказами о русской вечерне в деревенской церкви, о кадильном звоне хлебов в полях, и обнимал и понимал мир одной спасающей от ужаса жизни и изгнания молитвой. А тут — торжествующая молодая плоть и смущающая русское сердце чувственность (вон и Алданов — тоже из старых бунинских друзей — был уверен, что «этого не напечатает» и тайно хотел, чтобы не напечатали).

И разве они одни смущались откровенностью своего товарища? В. Н. Муромцева (жена И. А. Бунина) по свидетельству жившей в доме Г. Н. Кузнецовой (ах, как была запутана и горько, бессовестно мучительна и нехороша личная жизнь дома!) часто говорила в те дни: «Ян, около тебя точно бес какой-то стоит. Не грешни».

Стоял, стоял бес, прописан был этот «странный гражданин» в Грассе и теснил Бога, распался воображение не в одном Иване Алексеевиче (прочитать только воспоминания тех лет В. Н. Муромцевой, Г. Н. Кузнецовой, А. В. Бахраха, самого Ивана Алексеевича — хоть только страницы, посвящённые Нобелевским дням так они встречались будто на взаимно оккупированной неприязню территории).

Осенью (половина рассказов — М. Рощин звал их «гимнами» или «стихами» — написана в осени 38-го, 40-го, 43-го годов), несчастной грасской «болдинской осенью» воображение Ивана Алексеевича было особенно темно, словно и писалось всё ночью из тоски по свету. И всё в прозе как-то призрачно душно, сумеречно, грешно. Даже и безупречная стилистика нет-нет оступится. Похвалит Бахраху, как чудно может изъясняться русский человек о таком прозаическом предмете, как женский зад («сахарница», «клебница», «усест»), а его потрясённый красотой девушки, возбуждённый ею герой рассказа «Речной трактир», засмотревшись на коленопреклонённую у алтаря незнакомку, увидит «тонкую талию, лиру зады и каблучки, уткнувшиеся в пол». Вот эта «лира зады» — она, может,

по зрительному-то подобию и верна, но уж по звуку никак не «сахарница». И рассказ сразу теряет чистоту. И ничего в этой растянувшейся на несколько лет осени, в героях не забывается молодым забвением, «недоумением счастья», а всё так и чувствует себя непреодоленным грехом.

Чужая ночь, да ещё (забыть ли, что ночь-то военная? — Франция под немцами) ищет забвения в других ночах и иных днях. «Бывают ночи — только лягу, в Россию поплывёт кровать», как писал молодой тайный соперник Ивана Алексеевича Сирина Набоков. И Россия, выходит, молодая, горячая. Не бегства, не «окаянных дней», а какого-то степного яркого света, пылкой юности.

Вот ловлю себя на однообразии словаря — всё «пылкий», да «горячий», да «жадный», пока не вспомню, как часто православный человек молится об «отгнании разжжённых стрел лукавого», и как-то разом увижу высокую древность этой борьбы за человека, это страшное смешение святого и грешного. Великая Соломонова «Песнь песней» для нас метафора Господней любви, и мы славим её в общем своде Библии как благословение: «Крепка как смерть любовь и стрелы её — стрелы огненные». Но как же близки Соломоновым противоположные Давидовы «разжжённые стрелы лукавого». Словно из одного лука пущены, да в разные стороны — на воскресение и на погибель.

С каким сопротивлением прочитал я однажды в «Тайне святых» у русского эмигрантского богослова П. Иванова приговор всякому художественному творчеству: «Нет смысла надеяться на духовные начала в творчестве, на блёстки добра, света, истины, красоты, пронзающие нашу культуру. Не удивительно: ведь мы пользуемся энергиями Духа Святого и без Духа Святого нет творчества. Но нет пользы телу церкви, глава которой Христос от нашего творчества, ибо мы несём энергии Духа Святого на потребу ожившего чудовища, вскормленного самочинным человеческим творчеством». Словно всей литературе сказал: «Виновна!», забыв, что в ней были и «Капитанская дочка», и «Братья Карамазовы», и «Война и мир», которые как раз и держит энергия Святого Духа.

А вот тут, над страницами «Тёмных аллея», поневоле останавливаешься, чувствуя какой-то тревожный рубеж, границу искусства, за которой оно уже порывает с жизнью, изымается из целостного мира, проходя по ведомству одной своевольной литературы. Художник потому и вынужден расставаться с героями, убивать их, отдавать смерти («крепка как смерть любовь»), что боится вторжения жизни. Как там Пушкин моделировал будущее Ленского, если бы не дуэль: «В деревне счастлив и рогат, носил бы стёганный халат». О, это в жизни куда распространнее романтических смертей, и именно вся полнота жизни (где и эротика, и безумие молодости — её естественная часть) в большинстве случаев и находит всему место в порядке мира. Сам контекст жизни и есть её оправдание и сбывшееся веление Господне.

Но художник не зря — Творец. Он берёт на себя смелость строить свои «контексты», враждебные «стёганым халатам», потому что для него жизнь

кончается вместе с любовью. Но тогда он должен быть готов и к приговору П. Иванова, и к нашей самозащите. Мы помним, помним пушкинское требование судить художника по законам, им над собой поставленным, но уж позвольте и нам иметь какие-то законы, потому что только на пересечении их с законами художника и рождается читатель, и живёт книга. А иначе художник окажется навсегда прав и перестанет нуждаться в читателе, а читатель — в нём (что нам до независимого от нас правого в самом себе господина?)

Предчувствую, что бунинские читатели поставят мне «в строку» это привлечение П. Иванова. Про церковь, говоря о «Тёмных аллеях» никто ни гу-гу. Вроде — при чём тут это? Но когда утром и на ночь прочитаешь про «разжжённые стрелы лукавого», то и какую-то фразу не допишешь. И шмелевское посягательство на «пьедестал» поймёшь.

В «Окаянных днях» Иван Алексеевич вспомнил, что в Одессе нет-нет заглядывал в церковь, спасаясь от безумия дня, и с удивлением отмечал, что «люди той среды, к которой принадлежу, бывали в церкви только на похоронах». Не знаю почему, я часто думал об этом при чтении «Тёмных аллея», и когда наткнулся на мысль П. Иванова, словно порезался об неё — тут есть обо что порезаться, если в главе «вероисповедание» мы пишем сегодня (большинство из нас) «православие».

Александр Архангельский написал однажды, что в «Тёмных аллеях» Бунин хотел спрятаться от скуки и путаной тесноты грасской жизни, да и от самой истории (навидался войн и революций) в «эстетическую теплицу», уходя «погасить свет в том, что было ему родной литературой». А Бахрах был уверен, что «Тёмные аллея» — это самозащита от «поглощения себя в ничто», которого боялся Толстой и которого так же, если не более, боялся и сам Иван Алексеевич, любивший свою подтянутую молодость, своё крепкое тело, свою поджарую красоту. Это правда — и про «теплицу», и про самозащиту.

Можно представить, как он выходил к «семье» (никак без кавычек не обойтись) с новым рассказом и с вызовом читал его. Не думаю, что тут было только любованье силой («комар носа не подточит»). Или соревнование с коллегами (ведь рядом работали Шмелёв, Алданов, Зайцев, Сирин — целая хрестоматия!). Но и то, что чуткая Г. Н. Кузнецова назвала «дерзостью отчаяния». Были, были и «дерзость», и «отчаяние». И было прощание с юностью, и ужас старости, и высокая человеческая молитва блаженного Августина: «Господи, пошли мне целомудрие, но попозже, попозже, Господи!» (разве что у блаженного Августина она выкрикнулась в молодости и была трогательна и прекрасна, а тут — в старости и в уже проступающей жалкости — «смешон и ветреный старик, смешон и юноша степенный» — так, кажется, у Пушкина?). Был ужас отставания ещё молодого сердца и ума от возраста тела, когда молодая красота мучает и кажется вызовом именно тебе. А он ответным вызовом соблазнял читательниц воображением, пьянящим словом, не замечая, что для читателей его прелестные героини — святые и бесстыдные — тоже

только высохшие цветы между страниц, навсегда оставленная родина. А новая юность смеётся другому и только улыбается чувственности фантазии художника: какой милый старик!

Он ведь и в Россию, когда замаячила возможность возвращения, оттого и боялся вернуться, что страшится увидеть «старость уцелевших (и женщин, с которыми когда-то...), кладбище всего, чем жил». Слово обмануть себя хотел молодостью и тем, что старость «женщин, с которыми когда-то...» не коснулась его и они там тоже всё молоды и горячи и ещё пересекутся в тёмных аллеях. Всем нам хочется обмануть время, ускользнуть из-под его холодной власти.

Но это я всё об осени и об осенних, так омрачивших сердце и так далеко заведших его «стихах» «Тёмных аллей» так долго говорил. А ведь была ещё весна! Весенние «гимны»! И как же мы, оказываемся, зависим от матушки-природы! Даже если это ещё и не рассказы, а только вспышки, как «Камарг» или «В одной знакомой улице», то и там весна и полёт, а уж когда всё сердце на воле, то...

Прочтите-ка «Натали»! Задохнётесь! Кажется, художник не может дожидаться утра, чтобы скорее опять за стол. Кузнецова говорит, что часто Иван Алексеевич писал, запершись на ключ. Уж «Натали» — так точно запершись. Слово счастье работы могло быть разрушено неосторожным словом, бытовым вопросом, даже чьим-то кашлем внизу. Такая потаённая горячность, подлинный ужас любви, наэлектризованный воздух, будто перед молодой тютчевской грозой. Так что и чтение следом становится так же горячечно и чуть стыдно, словно и ты изменяешь себе и своей юности и не знаешь, как вернуть её, и, как бывает во сне, неожиданно застаёшь себя в слезах.

У великого итальянца Джованни ди Лампедуза в романе «Гепард» старого героя, который всю книгу держит и дом, и сам порядок старого выверенного мира, уводит из жизни последним видением молодая возлюбленная — всегда молодая, всегда возлюбленная, которая суждена всем, а встречается единицам. Как когда-то Вячеслав Иванов выговаривал молодому поэту, признавшемуся, что ещё не любил: «Не любил он! Как будто это даётся каждому. Это всё равно, что сказать — я ещё не был королём!»

Вот и тут вечное несбывшееся сияет молодым светом, и ты благословляешь человеческое слово, которое может одарить тебя несбывшимся, заставить пережить его со счастливым страданием. Он мог бы и не подписывать, что рассказ написан в апреле — мы бы сами увидели по слову, которое (каждое!) на просвет оказывается «с косточкой», с семечком общего смысла и общей любви.

А выше, прекраснее, светлее, нежнее (хотя уж куда!) окажется «Чистый понедельник», чья весна печальна, как может быть печальна только русская весна перед Пасхой, когда всё нальётся предчувствием утраты и спасения (так страшно соединятся два эти чувства) и когда сам воздух наполнится тревогой и светом. И ты после рассказа, когда придётся увидеть нестеровский «Великий постриг», будешь смотреть его словно отдельно от всех, будто знаешь какую-то тайну, которую так и унесёшь с собой, чтобы не повредить неосторожным словом. И как естественно вырвалось у него после этого рассказа Господне имя, ибо подлинно Он был рядом: «Благодарю Бога, что он дал мне возможность написать «Чистый понедельник».

...Я забываюсь над раскрытыми «Тёмными аллеями» и, когда приходит ночь, вдруг вижу в тёмном оконном стекле дачки, что я сам старик, хотя стекло милосердно и ещё можно разглядеть себя там, за отражением, молодым. И тихо откладываю книгу. Теперь уже навсегда. Нет, и милосердное стекло не вернёт юности. Но она была, была! Я только что пережил её захлёбывающееся счастье и невыносимую горечь, её невозвратный, но и никуда не девавшийся свет. Разве что пережил с меньшей остротой, уже естественной осмотрительностью и сознанием лет, потому что в отличие от автора не знал изгнания, всегда жил дома и Родина матерински выравнивала сердце своим вечным порядком и не давала потерять себя в воображении.

Время торопится переменить нас и как будто много успевает в этом, но оно напрасно уверено в своём всевластии. Придёт новый день, и новый читатель откроет «Тёмные аллеи», и, сколько бы ему ни было лет, он опять вздрогнет и будет ревниво и лично (всегда ревниво и всегда лично) вслушиваться в немеркнувшее русское слово и своё сердце и видеть, что они — одно.



Нина Шалыгина Ожидание

15

Нина Шалыгина
Ожидание

В ноябре 2009 года исполнилось 75 лет со дня рождения Нины Александровны Шалыгиной, известной красноярской писательницы, публициста и поэта, человека нелёгкой судьбы и удивительного личного мужества. От всей души поздравляем Нину Александровну с днём рождения и посвящаем эту публикацию её славному юбилею!

Редакция «ДиН»

Судный день

Мало кому известно, что в исключительных случаях Создатель наделяет Ангела Смерти правом изменять начертанное Судьбой...

Ангел, такой же древний, как этот Мир, у одних вызывающий ужас, а у других — надежду на избавление от мук, тихо скользил над Миром, в котором всё было относительно спокойно, что бывает очень не часто. Ещё не врезались в небоскрёбы Америки самолёты Бен Ладена, ещё живые моряки последнего отсека атомохода «Курск» на дне Баренцева моря ждали, когда их поднимут на поверхность. Надежда, как известно, умирает последней... Над всем пространством Северного полушария планеты Земля сияло солнце, а значит, никто не замерзал в неотапливаемых квартирах. В общем, срочной работы почти не было.

В этот летний день Ангел пролетал над старым сибирским городом Красноярском, в районе Славянского базара, что разместился справа от Копыловского моста. Глянул в замусоренный подъезд дома номер 10 «а», из которого получил сигнал, и увидел разъярённое лицо Грузчика, а в его руке — самодельное устройство, способное убивать.

Грузчик задумал расправиться с дворовой собакой по имени Фани, которую недавно, как помнил Чёрный Ангел, забил почти до смерти. Прежде бессчётное число раз эта собака, любимица здешней детворы, и опустившийся Грузчик сталкивались нос к носу. Точнее, зубы собаки — с худыми лодыжками человека. А палки и колья в руках человека — со спиной и боками собаки. Пёс, подкрадываясь сзади, хватал своего врага зубами, и не успевали зажить рубцы от прежних укусов, как появлялись новые. Они гноились. К врачам пострадавший не обращался — не имел страхового полиса, да и негде было отмыть ноги и выстирать заскорузлые, стоячие, как столбы, штаны, издающие непереносимое амбре.

Грузчик ещё прошлым летом первым начал борьбу с псами, занявшими, как он считал, его законное место под солнцем. Так же люто он

ненавидел бомжей, и только чувство страха перед законом удерживало его от расправы над ними.

В ходе войны с Фани вояка сначала обходился подручным материалом, но потом стал мастерить самодельное огнестрельное оружие, самопал — нечто среднее между авторучкой и медной трубкой от какой-то машины. Смертоносная самоделька наконец-то была готова. Курок, сделанный из старого шпингалета, был взведён. Время пошло...

Грузчик уже подбежал к входной двери подъезда, держа в вытянутой руке наготове орудие убийства, а пёс Фани играл с детьми на крыльце по ту сторону этой тонюсенькой фанерной входной двери с напрочь выбитыми стёклами. Грузчика и играющих с собакой детей разделяла только хлипкая фанерка, вставленная взамен давно выбитого стекла.

Ангел Смерти срочно запросил Создателя, кто должен уйти из жизни: бродячий пёс с женским именем Фани или спившийся тридцатилетний Грузчик, так называемый бомж, точнее, «бич» — бывший интеллигентный человек. Счёт пошёл на миллисекунды...

Пёс с женским именем Фани

(предыстория)

Он родился в бурьяне, на развалинах человеческого жилища, где когда-то при добротном, хозяйском доме жила его мать — рыжая дворняжка Альма. В ту далёкую пору она была счастлива: у неё имелась тёплая будка. Хозяин не давал в обиду, не обижал её щенков, хлебом кормил досыта. А она честно несла сторожевую службу на подворье.

Однажды хозяин, избегая смотреть собаке в глаза, отвязал её от цепи, сняв даже спасительный ошейник, и куда-то исчез. Дом снесли. А собака ещё несколько лет охраняла развалины. Хозяин так и не появился. На месте дома вырос высоченный бурьян, в который каждый вечер рбочие после закрытия рынка, вырощенного по соседству, бросали мусор. В собачье гнездо летели бутылки и палки. Альма была вынуждена оставить свой пост.

Но щениться Альма по старой привычке возвращалась на родину. А как только щенки вставали на дрожащие ножки, вводила их подальше от этого небезопасного места. В бурьян часто забредали распить бутылку-другую алкаши, а они могли запросто закусить зазевавшимся четвероногим. Алкаши дрались между собой, а иногда спали рядом с собачьим логовом. И тогда мать ни на минуту не оставляла малышей без присмотра.

Фани вспоминал изнурительно долгий переход на новое место, когда он чуть только начал ходить. Они соединились со стаей. Матери казалось, что у сараев, стоящих рядом с большими многоэтажными домами, надёжней и безопасней. А на родном пустыре день и ночь урчали машины, рядом шумел человеческий рынок. Только один из людей, который чаще других бывал здесь, не раз делился с Альмой скудной едой.

— Бедолага! У меня хоть ребятни нет. На, поешь!

Он подолгу сидел на перевёрнутой большой жестяной банке, глядел Альму по голове. С её точки зрения, это, вероятно, было телячьей нежностью. Из вежливости она отводила в сторону глаза и позволяла ему, человеку глубоко несчастному и одинокому, дотрагиваться шершавой ладонью до своей спины. От других завсегдаев пустыря собака и её щенки получали только пинки и удары и особого доверия ни к кому не испытывали.

На новом месте, под брюхом тёплой и ласковой матери, пахнувшей молоком, Фани жилось привольнее. Детишки, а иногда и взрослые выносили остатки пищи. Малышня пыталась играть с недоверчивыми щенками, чего не одобряли взрослые. Царило относительное спокойствие.

И только Грузчик на новом месте по непонятной причине начал открыто ненавидеть Альму и всех её детей. Гонялся за ней с палкой, пинал щенков. А однажды ночью он приехал откуда-то на машине с будкой. Из машины вышли хмурые мужики в рукавицах с сачками на длинных палках. Когда они стали хватать щенков, мать набросилась на одного из мучителей. И в тот же момент Грузчик каким-то острым, заранее заготовленным и заточенным железным крюком поддел её под брюхо и протащил по асфальтовой дорожке. Кровь смешалась с молоком из сосков. Одуревшую от боли, визжащую смертным воем собаку забросили в машину.

Фани от страха забрался под опрокинутое дырявое ведро и затаился. Вскоре визг и писк собачий уехали вместе с машиной, и всё затихло. Щенок остался один на всём белом свете. Ему было жутко. Но он не скулил, боясь, что страшная машина и ужасный человек с крюком могут вернуться за ним.

Утром ребяташки обнаружили его, дрожащего от страха, холода и голода. Принесли молока и научили лакать из блюдца. Для него сразу началась иная, жестокая взрослая жизнь. Пока длилось лето, дети дружно его подкармливали. Когда с деревьев облетели листья, кормильцы появились только по вечерам. Потом пришла ужасная зима. Он в кровь раздирал свой рот, добираясь до съестных остатков в мусорных баках. Обморозил уши, и они вскоре отвалились. Потом научился пробираться в подвалы домов, где, таясь от опасных завсегдаев этих мест, засыпал где-нибудь в уголке. В это время он научился виртуозно ловить крыс, и жизнь стала сытнее и значительно содержательнее.

К весне стал почти взрослым псом, опытным и осторожным. На базаре удавалось то облизать чурку для рубки мяса, то подобрать крошки. Его

никто особо не гнал. К людям он относился настороженно, но дружелюбно. Только с Грузчиком они стали теперь непримиримыми врагами.

В конце лета в доме номер десять поселилась Очаровательная Девочка лет семи, которая сразу подружилась с собакой. Она дала ему женское имя — Фани. Приносила из дома пирожные и куски тортов. А ещё — восхитительные сахарные косточки с неповторимыми ошмётками мяса, свисавшими с них. Давала долизывать своё мороженое. Пёс ежедневно провожал и встречал Девочку из школы, оберегал её от приставаний хулиганов и любых других реальных и мифических опасностей. Фани каждый раз непостижимым образом знал, когда заканчиваются уроки, и терпеливо ждал у входа, пока Девочка оденется и выйдет из школы, и описывал торжественные круги, сопровождаемые счастливым лаем и немислимыми прыжками. Девочка заворожённо и влюблённо смотрела своими огромными синими глазами на радостные «ганцы» своей, как она считала, подружки. Мама Девочки шла рядом и не мешала друзьям выражать свои чувства, только пресекала попытки со стороны пса слишком фамильярных объятий и облизываний.

Грузчик при встрече по-прежнему глядел на собаку ненавидящими глазами, швырял палками или камнями. А Фани не оставался в долгу — кусал своего обидчика за ноги. Нападал молча. Рыжая шерсть на загривке вставала дыбом. Вражда накапливалась, бугрилась оскалом собачьей пасти, проявлялась в остервенелом преследовании и избивании Грузчиком пса с женским именем Фани.

Грузчик

Прежде Грузчик и его враги, собаки и люди, жили в одном дворе, но не замечали друг друга. В то время он был научным сотрудником НИИ, имел жену, дочку, квартиру, доставшуюся от мамы. Каждый день спускался на лифте из своей квартиры. Шёл на работу. А по вечерам всё чаще стал возвращаться, пошатываясь, бормоча что-то себе под нос и напевая какие-то бессмысленные песни. Подходил к своим дверям, долго и настойчиво стучал. Ему нехотя отпирали. Всё небрежнее становилась его одежда, всё чаще он возвращался домой поздним вечером, а то и под утро, измятый, измусоленный. И наконец наступил час, когда его оставили ночевать на лестнице.

Шёл он к своему падению шаг за шагом, был глубоко несчастен. Пришло время перемен — НИИ ликвидировали, а другую работу найти не получилось. Да и что он умел — вечный белоручка, маменькин сынок? А ещё — вкрутую пьющий бездельник. Так при всякой ссоре говорила ему бывшая жена.

Жена, чтобы дочь не видела падения своего отца, давно поселилась в другом районе и сменила место работы, квартиру продала на размен. Прогуляв в течение двух месяцев свою часть от проданной квартиры, Грузчик совсем потерял семью из виду. Перебивался случайными заработками. Пробовал ходить на улицу Парижской Коммуны — местную «биржу труда», но никто

не зарился на щедедушного, вечно подвыпившего человечка. Полею его деятельности стал Славянский базар, где он от случая к случаю мог стать старшим «отнеси-подай».

Летом обирал чужие садовые домики и огородики, подворовывал цветной лом, а осенью начинался копать картошку. Ночевал чаще всего под лестницей в своём бывшем подъезде, благо там отсутствовала железная дверь. В самые чёрные дни отец Грузчика, который жил в крохотной квартирке на девятом этаже, подкармливал его, но всё же не оставлял ночевать у себя.

Отец был стар, слаб, инвалид Великой Отечественной, но с детства привитая Грузчику привычка слушаться отца с полуслова всегда оставляла победу за стариком. Приходил сын к нему только в относительно трезвом состоянии. Знал: буйному и орущему ему не откроют. Отец не питал иллюзий по поводу его пьяных бесчинств.

Грузчиком он стал по счастливому случаю! Взяла его на работу по просьбе престарелого и несчастного отца сердобольная крутобровая красавица — владелица пивбара, что был на первом этаже.

Получив постоянную работу, всю территорию дома он стал считать своей вотчиной и ни с кем, ни с какой шушерой не собирался её делить. Прежде добрый и даже чуточку расточительный, теперь он питал лютую ненависть к бездомным людям, кошкам и собакам.

Особенно яростно продолжал бороться с бродячим псом Фани, вожаком разношёрстной собачьей стаи, промышлявшей около Славянского базара.

Однажды пёс зазевался, увлёкшись вкусной косточкой, которую принесла ему Очаровательная Девочка, и не заметил, как враг подкрался сзади и ударил его железным прутом по ногам. А потом по спине.

На жуткий вопль собаки Девочка, которая ещё не успела войти в лифт, выскочила из подъезда, схватила какую-то палку и храбро бросилась на Грузчика:

— Не тронь Фани! Не смей! А то убью!

Она толкала его, оттаскивала от собаки, вцепившись в измызанную куртку мучителя. В её угрозе было столько храбрости, что Грузчик испуганно вытаращил свои хмельные глаза. Глянул на малявку, на её розовые банты с высоты мужского роста и машинально занёс железный прут над её головой:

— Раздавлю, изувечу! Да ты! Да она, что ли, твоя, эта паршивая собака?! Отойди! Не мешай рабочему человеку вершить правосудие! Поняла?

Вся Дворовая Мелюзга замерла от страха: что сейчас будет?

А ничего страшного не произошло. Господь, как известно, всегда защищает невинного и слабого, и здесь всё решилось разом. Для спасения Девочки и Фани получивший команду Ангел-хранитель просто ускорил движение колёс джипа, на котором подъезжал к месту боя Отец Очаровательной Девочки из десятого дома.

Услышав визг собаки и крики дочери, он почти на ходу выскочил из машины и двинул свой солидный, выпирающий из сорочки передний бампер

прямо на Грузчика. Тот мгновенно бросился наутёк. Девочка рыдала над изувеченной собакой.

— Перестань реветь! — бурчал Отец Девочки, пытаясь оттащить от умирающей собаки свою дочь. — Это — Фани! — брыкалась Девочка. — Она мой друг!

— Да, да! — хором закричала Дворовая Мелюзга. — Это — наш друг! Она никого не трогает. А этот алкаш всё время её бьёт и за ней гоняется. И других всех собак поубивал и...

— Ну, говори! Чего боишься! — подтолкнул Тёма из девятого дома Диму из здешнего подъезда. — И съел под водяру! Все так говорят!

«Господи, это уже серьёзно!» — сказал сам себе Отец. — Надо срочно прекратить базар! Прежде всего — увести Татку».

Он не успел это сделать, так как, вырвавшись, она в своих великолепных бриджах вдруг упала на колени возле искалеченной собаки прямо в середину лужи.

— Надо её усыпить! Отвезти собачникам! Ты же не хочешь, чтобы пёс так мучился?! — пытался уговорить Отец свою дочь. — Будь пай-девочкой. Ну, куплю тебе самую породистую. Ну, хочешь — сразу двух? Будут жить у нас в доме. Хочешь — с медалями? А эта — дворняга, двортерьер!

— Не ха-а-чу породистую! Не ха-а-чу другую! Не ха-а-чу двух! Не надо мне с медалями! Спаси эту, — рыдала Девочка. — Её к собачникам — и меня туда же. Она умрёт — и я с ней!

Вокруг них уже собралась толпа зевак. Одни сочувствовали, другие плевались:

— Нашла, над чем рыдать! Всех их надо к живодёрам! Житья от них нет!

И тогда рыдания Девочки стали похожи на звуки пожарной сирены. Дело принимало крутой оборот. Отец извлёк из кармана мобильник, набрал номер.

— Послушай, Айболит! Тут моя дочура верещит, чтобы ты собаку вылечил. Задние ноги пациента — всмятку. Похоже, и позвончик перебит. По-моему — безнадёга, — и добавил, отвернувшись и шёпотом: В случае чего усыпишь, а Татке скажем, что всё ещё лечишь. На море через неделю уедем, она забудет. Понял? — и уже громко: — Лады? Везу! А вы все разойдитесь! Тут вам не цирк!

Отец осторожно завернул пса в свою куртку от Версачи и бережно положил его на кожаное сиденье внедорожника...

«А и вправду лады! Грузчику ничем помочь не выписывается. Он — точно безнадёга, а собаке повезло с таким другом», — подумал Ангел Смерти и полетел к тем, кто давно и с надеждой ждал избавления от нечеловеческих мук.

В дорогой частной ветлечебнице пёс попал в настоящий рай. Кормили до отвала мясом и гранулированным кормом. Воду наливали в совершенно чистую и целую миску. Сделали сложную операцию, затем ещё одну. У него появилось сколько угодно времени для раздумий. Несмотря на нестерпимую боль, пёс был счастлив. Его друг — Девочка — в первые дни навещала болящего,

приносила всякую вкуснятину, от которой у него каждый раз кружилась голова.

Потом она надолго исчезла и появилась только тогда, когда он уже начал ходить на своих ногах и даже немного бегать по вольеру. Во всех других вольерах лечились высокомерные собаки и кошки благородных кровей, только он был беспородным.

Рабочий, что ухаживал за пациентами лечебницы, уважал его именно за беспородность. Мол, барские псины и так закармлины. А кошки изнежены и избалованы. Да ещё не всё едят. А ты, мол, бедняга, в чём душа только держится.

И он кормил своего подопечного прежде всех других. И приговаривал:
— Чудно! И откуда ты такой взялся? Кто за тебя платит такущие деньги?

Рабочий уговаривал Доктора не усыплять собаку. Доктор и сам не решался, знал, что у дочери его друга может случиться стресс, если она по возвращении с Канар не найдёт здесь своего любимца. Тогда друг детства—Отец Девочки—его же и обвинит за так называемое самоуправство!

Но вскоре пёс пошёл на поправку, и угроза усиления отпала сама собой. Девочка приехала за ним вместе со своим Отцом. Отец что-то долго и хмуро говорил Доктору.

— Но куда же его?

— Пёс совершенно здоров, вылечен даже от всякой инвазии. Общение с ним безопасно. А Татку твою, да и тебя, я просто пожалел, сделал практически невозможное. Да ты посмотри, какая чудная собака из него получилась! Класс! Даром, что беспородная! Ей-богу, северная лайка в нём присутствует!

Дворовый пёс после лечебницы попал в роскошную квартиру Девочки. Его вымыли душистым собачьим шампунем, спать уложили на специальный, только что купленный топчан. Пытались привить навыки комнатной собаки!

Перво-наперво Фани категорически отказался от ошейника. Далее пёс повёл себя демонстративно непристойно, так как был слишком свободлюбив. Он всё время просился на улицу, а все свои нужды справлял прямо на пушистые ковры.

Домработница, Домна Ильинична, сказала, что уйдёт, если этого возмутительного пса не уберут. Что она не отвечает за испорченные ковры и мебель. Что просто форменное безобразие—держать такую невоспитанную псину в таком порядочном доме. Девочка плакала: мол, пусть эта Домна сама уходит. Мама приходила от этих слов в ужас:

— Тата! Что ты такое говоришь? Домна Ильинична практически член нашей семьи. Представляешь себе, что будет, если она уйдёт? И разве тебя не ужасают лужи и кучи по всему дому? Умоляю тебя, давай купим маленького щенка и обучим всему, а этого пса отпустим на волю.

Девочка долго не сдавалась:

— Но ты же раньше никак не разрешала мне иметь собаку! Теперь это моя Фани! Я тоже буду жить во дворе, если её выставят вон!

На третий день собаку всё-таки выпроводили во двор, соорудив для неё шикарную будку, которую, впрочем, в ту же ночь похитил местный

вороватый дачник. Девочке доказали, что её четвероногий друг изнемогает от домашней жары, ему лучше во дворе, а еду регулярно будет выносить Домна Ильинична. Больше всех такому повороту событий был рад Фани.

По случаю возвращения Фани детишками во дворе был устроен настоящий праздник. Малыши катались на нём верхом, как на лошадке. Девочки одевали его, как куклу, привязывали бантики, мальчишки постарше играли в пограничный дозор.

Характер у собаки после пережитых злоключений сделался ещё более добродушным. И только бродячих двуногих, а особенно Грузчика, он ненавидел с ещё большей силой. Война продолжалась. Пёс при всяком удобном случае бросался на своего обидчика. Враг отвечал побоями. Фани вдруг явственно вспомнил забытый было запах, по которому понял, что это именно Грузчик убил тогда его мать Альму. Ненависть обоюдно усиливалась. Близилась развязка.

Судный день

...Наконец орудие убийства у Грузчика было готово. Вечером перед решающим днём ему выдали первую порцию. Принял, как теперь говорят, на грудь больше обычной нормы. Уснул в подъезде.

За ночь кто-то обшарил его карманы, остатки порции исчезли. Утром долго и бессмысленно сидел он на скамейке возле дома. У него был выходной. А душа требовала, душа горела. Поднялся на девятый этаж к отцу в надежде разжалобить рассказом о случившемся воровстве и выпросить денег на опохмелку.

Отец не поверил, ничего не дал. Сам бедствовал. Озлобленный ещё больше, Грузчик, чтобы попугать отца, выкрикнул, что тот его видит в последний раз. Спустился на лифте вниз, зажав в руке самодельный пистолет. Знал, что дети как раз играют у крыльца в это время с его четвероногим врагом. О том, что пуля может попасть в кого-нибудь из детей, ему не приходило в голову. — Главное—подготовиться, чтобы выстрелить сразу, пока сволочуга не убежал!—вслух сказал Грузчик и шагнул к выходу из подъезда.

— Кто должен умереть?—повторно спросил Чёрный Ангел у Господа.—Бездомную и безобидную собаку любят дети, она их тоже. Грузчика не любит никто, а он ненавидит всех.

Но ответа из Департамента Учёта так и не поступило...

В следующее мгновение Грузчик с зажатым в руке орудием убийства поскользнулся на банальной банановой кожуре, разбросанной в подъезде. Пытаясь принять вертикальное положение, Грузчик замахал руками и машинально поднёс правую руку к шее, упёршись в неё дулом пистолета. Грянул непроизвольный выстрел. Пуля прошла сквозь шею и застряла в голове бедолаги.

Бурая кровь, фонтанируя толчками из простреленного горла, долго ещё стекала по грязному, никогда не мытому и не метённому полу, растекаясь пятном возле нескладно распластанного прямо в дверном проёме тщедушного тела.

Во дворе в это время поднялся переполох. Примчавшимся на вызов работникам «скорой помощи» и милиции осталось решить, не произошло ли здесь убийство. Дом оцепили. Опрашивали всех подряд. Целый день вокруг дома кучковались пёстрая толпа, милицееское начальство и репортёры с камерами, следователи, участковый, криминалисты... Жильцов несколько часов не выпускали в дом и не выпускали из него, пока работала опергруппа.

Отец Грузчика объяснил всё угрозой сына совершить суицид. Милицееские и следователи ухватились за эту спасительную ниточку: может, вправду самоубийство? Не вешать же на себя лишний «висяк»!

Эпизод показали по телевидению в последних новостях. Событие пару дней обсуждали во дворе. И только когда всё утихло, а Грузчик был похоронен, его собутыльники на лавочке возле дома рассказали, как всё произошло на самом деле.

Пёс стал очень популярен. Выхоленный, вымытый, раздобревший, он ждал своей участи, а она его. Через несколько дней пса забрал один из жильцов дома в деревню к своей матери — охранять усадьбу. Потом дошли слухи, что охранять он ничего не стал, сбежал от старушки на вольные хлеба.

Свобода превыше всего! Она иногда возвышает, но нередко и балует и человека, и собаку, а чаще показывает своё истинное лицо. Татка, Очаровательная Девочка из десятого дома, всё ещё в каждой дворовой рыжей собаке хотела бы увидеть своего Фани. Она наотрез отказывается от любого щенка, которым пытаются задобрить своё чадо родители. Лябовь всегда возвышает и человека, и даже собаку.

Ожидание

Ей всегда казалось, что вот-вот, сегодня, ну или, в крайнем случае, завтра Он вернётся. Она, находясь дома, часто приподнимала кружевную занавеску и выглядывала из окна. Вот где-то мелькнул знакомый силуэт? Кажется, тот мужчина идёт к её подъезду? Но каждый раз надежды её разбивались, и муки ожидания усиливались... Часами, обессиленная, в каком-то ступоре, она сидела возле окна и смотрела во двор...

О... Так прошли дни, недели, месяцы, годы. Странное дело! Даже в гуще событий, среди людей, окружённая очередной группой экскурсантов, она чувствовала себя гораздо более одинокой, чем в своей, точнее, их гостинке. Даже в толпе совершенно чужих ей людей, осаждаемая многочисленными вопросами, она продолжала мысленно говорить с Ним, с Ним одним.

Экскурсии, которые вначале она ещё водила, почти машинально, все были на одно лицо — после той, разом перечеркнувшей её жизнь разлуки. Она не добавила в них ни одной живинки. Раньше она рассказывала историю древнего города Золотых Ворот с придыханием и восторгом, с блеском.

Лев Наумович, директор экскурсионного бюро, не раз и не два пропесочивал её за изменение стиля, вялое и пресное ведение дела, грозился уволить.

Она на некоторое время оживала, зарывалась в новые публикации по истории города, встречалась с краеведами, собирала или придумывала события большой давности, предания и легенды. Но длилось это недолго. Запал быстро угасал. Быть на людях и общаться с людьми ей становилось всё труднее...

Директор бюро исполнил-таки свою угрозу и после очередной жалобы скандальной руководительницы экскурсии уволил Анну.

Да, я забыла познакомиться вас с моей героиней. Извольте! Она — Анна. Он (ну вы понимаете Кто), называл её Аннет. Три года любви, обожания, взаимного восторга. Люлюканья. Он забаловал её своими ласками. Буквально иссиропил душу и тело. В Аниной комнатке три зимы, три весны и одну осень проживало Счастье. Вся предыдущая её жизнь — а это ни много, ни мало тридцать лет — состояла из чего-то серого, невыразительного. И даже — трагичного, безысходного... Вся её предыдущая жизнь не стоила единого дня этого необъятного, обретённого вдруг Счастья!

...От неё отказались прямо в роддоме. Когда начала осознать окружающее, умерла первая приёмная мама, и Анечку вернули в детский дом. Потом были ещё какие-то неудачные мамы. Одна из них на ночь так напивалась, что Анечка в ужасе сбежала от неё и её благоверного в свой детдом. С той поры сильно боялась пьяных и ни к кому больше не пошла в дочки.

Аттестат зрелости получила хороший. Работала на заводе, где ей выделили гостинку. Влюблялась много раз, а в неё — никто. Если кто встречался на её пути, то обязательно алкаш, бабник или ещё похуже... Возможности создать семью не предвиделось. После того, как шпинделем станка изувечило на её глазах пышноволосяную красавицу Верку, на мгновение отвлёкшуюся на чей-то оклик, Анна пошла и закончила курсы экскурсоводов. Подруга сказала, что эта работа прямо клад:

— Мужиков, Анька, там — пруд пруди! Только не зевай!

Работа в бюро увлекла. Это не то, что по целой смене глядеть на кусок вертящегося в станке металла, самой вертеться на отнимающихся от усталости ногах, не имея возможности отвлечься даже на секунду, да и забыть, как Веркино лицо в мгновение ока превратилось в кровавое месиво, она не смогла...

Себя Анна стала уважать: кругозор расширился, много читала и буквально влюбилась в свой город и в его историю. А до этого ходила по замысловатым и извилистым переулкам тысячелетнего города без всякого интереса.

Предсказания подруги сбылись. В их древний город туристы приезжали отовсюду. Ещё бы — Золотое кольцо! Бывшая столица...

К одной из экскурсий пристал Он. Такой же горемыка. Тоже, как оказалось, из «отказников» детдомовских.

У неё был свой угол, целых одиннадцать квадратных, он же не имел ничего, даже волосы ещё не успели отрасти. Анна влюбилась с первого взгляда, Он тоже. Она мечтала о прочной семье.

Хотела расписаться с ним в ЗАГСе и даже повенчаться. Решила прописать на своей площади. Сказано — сделано...

Подружки буквально хором советовали Анне не делать глупостей с пропиской:

— Проищешь, а после кудри на себе будешь драть, когда Он приведёт в твою гостинку, другую.

Она не только прописала его, но и зарегистрировалась с ним, да так и оставалась всю жизнь неразведенной. В народе говорят — соломенная вдова.

Волосы она на себе потом не рвала... Просто, когда он неожиданно исчез из её жизни, понять не могла, что такое могло с ним случиться. Беспокоилась о нём, искала хотя бы малейший след.

Ждала, ждала, ждала...

Через несколько дней после его исчезновения самая ближайшая подружка, что одна жила в двухкомнатной гостинке по соседству, «утешала» Анну: — Твой благоверный почти с первых дней начал ко мне клинья подбивать.

Анна рассердилась, не поверила, утверждала, что Он слишком любил её, чтобы изменять.

— Да не изменил со мной! Успокойся! Я ни на минуту не забывала, что мы с тобой почти что сёстры. А вот о других ничего сказать не могу.

— Что? Ещё к кому-то лез? Ты выдумала всё. Хочешь, чтобы я его скорее выбросила из головы? — в слезах отбивалась Анна. — Лучше и вернее его нет никого на свете.

— Так где же Он? Куда испарился? Ах, свой баул у тебя оставил? Брось хныкать. Небось, пристроился где-нибудь рядом, охмурил какую-нибудь очередную дурочку.

Анна заперлась в своей комнате и два дня никуда не показывалась, даже не ходила на работу. На третий вышла на общую кухню, и та самая подружка, что назвала её любимого мартовским котом, стала открещиваться от своих слов, обнимала Анну со словами:

— Если бы он поселился рядом, этого не утаить. Может, куда-то вынужденно уехал? Друзья у него где живут? Может, родители нашлись? Может, случилось что?

После увольнения из бюро Анна где только не работала! Пока не нанялась торговкой на базар. Там у неё неплохо получалось. Она заинтересованных покупателей, пока те товар выбирали, «кормила» историей города. Иногда собиралась целая группа, товар продавался всем на зависть. По вечерам она выслушивала все городские и не городские новости, что проникали в её жилище через телевизор, который давно уже ничего не показывал, но всё ещё срывающимися голосами, хрипловато доносил до неё вести.

Когда ей предложила бесплатно почти новый телевизор одна разбогатевшая пара, что купила трёхкомнатное гнёздышко, Аня отказалась: втиснуть это импортное чудо на её квадратные метры было некуда. А с калекой хрипящим-свистящим, расстаться не могла, ведь купили они его с Ним: — Не могу взять ваш подарок — вот вернётся Юрчик и починит наш телевизор. Он у меня всё умеет.

Ну вот, дорогой читатель, я до сих пор не назвала имени Аниного любимого. Он — Юра, Юрочка,

Юрасик, Юрчик. Когда они познакомились, он только что вернулся после очередной отсидки. Подружки, имевшие опыт общения с бывшими тюремными отсидчиками, страшили её, не советовали на порог пускать. Но кто из истинно влюблённых слушал чужие советы? Свет в окошке — только Он, умён — Он, самый верный — Он.

Не ошиблась на этот раз Любовь. Три года жизни, дом — полная чаша (по Аниным меркам, конечно), обожание и взаимное почитание. Почти сразу, как они сошлись, Юра пришёл домой счастливым:

— Ура! Мы на коне — я нашёл хорошую работу.

— Юрасик! Но твой новый паспорт ещё на прописке!

— Представь себе, и без паспорта взяли, — он картинно прошёлся по самому длинному кусочку пола в их гостинке и нечаянно задел могучим плечом нового пиджака цветочный горшок, который, впрочем, ловко поймал на лету.

— Юрчик! Это очень здорово. Но при чём тут твоя пляска? Ходи осторожно! У, медведь ты мой любимый!

И она пылко чмокнула его в щёку...

— Ну, взгляни на меня! Неужели кто-нибудь может во мне сомневаться? Славка на воле меня упаковал на славу. И ты, в первый раз меня увидев, подумала бы, что я доцент? Верно? Так и другие подумают. Ну, вот!

— Снова глаза круглые? Почему Славка меня одел с головы до ног? Да друзья мы с ним. У него всё есть, а я вышел после отсидки — оборванец. Дома нет, жена уже второго пацана от третьего мужа рожает. Совместных ребятишек у нас с ней не завелось. Пока сидел, она, курва, через суд меня со своей жилплощади выписала.

И снова жизнь у Ани с Юрасиком катилась любовным колесом по гладкой дорожке. Деньги он приносил не большие, но и не маленькие. Вот этажерку по талону купили. Ей на «бабский», как он говорил, праздник достал отрез крепдешина. На выходные дни он приносил с базара настоящее мясо со смачной сахарной косточкой, фасоль и кусок украинского, с мягкой корочкой засолённого сала. Сало они тут же съедали с Юрой, устраивая маленький пир на двоих, сидя на раскладном, недавно купленном в комиссионке, диванчике, разложив розовые ломтики с прожилками плачущего крошечными росинками сока на срезах и куски хлеба с хрустящей корочкой, кольца сладкого репчатого лука на клеёнке крохотного журнального столика — объеденье!

А потом Анечка на общественной кухне варила свой необыкновенный борщ, варить который научила её ныне покойная воспитательница детского дома, уроженка Украины.

Запах лука, зажаренного на остатках сала, и наваристого бульона заманивал почти всё население на общую для их этажа кухню. Завидовали ей тогда соседки...

Словом, жили они материально лучше многих. А в духовном плане создалось взаимное дополнение: она читала ему книги по истории России и Золотого Кольца, а он учил её Жизни.

Ей оставалось только дивоваться, как он всё умеет: и за отсутствием мыла стирать в растворе марганцовки, и выкroить из старых сапог тапочки, и насадить на крючок червя, и из обшарпанной доски сделать ладную полочку для книг и ещё тысячу всяких полезных умений.

По её мнению, он был прирождённым чистюлей: даже если его не было дома много часов подряд, возвращался в такой же чистой рубашке, какой та была утром. Теперь уже соседки у неё брали советы по ведению хозяйства, бросали длинные и неоднозначные взгляды в сторону Анькиного «сокровища».

Он всё время просил её родить ребёнка. Анна же не могла признаться, что с ней случилось ещё в той приёмной семье, где она прожила среди водочных бутылок и скандалов совсем немного — не больше месяца, но по женской линии на всю жизнь осталась калекой. Каждый месяц он интересовался, не забеременела ли она. И тут же добавлял: — Какие наши годы? Всё впереди!

Она больше не могла скрывать и однажды голосом смертельно раненной птицы во всём ему призналась.

Иногда Юра стал куда-то уезжать на два-три дня, по работе. О чём-то подолгу размышлял и курил в одиночестве в коридоре, рисовал какие-то замысловатые планы — рисунки, которые сразу либо сжигал, либо рвал в мелкие кусочки.

И вдруг однажды, осенью он совсем без предупреждения не вернулся домой. Вот уже вылезла из-за гор круглая луна. Поплывала, поныряла в набежавшие тучи, да и отправилась спать. Анна не ложилась спать ни в эту ночь, да и потом целую неделю. Так, засыпала на 10–15 минут на стульчике возле их единственного окна и всё вглядывалась в темноту двора, вслушивалась в шорохи или звуки шагов, боясь проспать его возвращение.

Началась жизнь без её Юрочки. Да поедали поедом зловредные соседки по общаге. А на работе тоже приставали с наивными вопросами: — Анна Сергеевна! Что это с Вами? Заболели? Так съядьте на больничный. Что-то в семье?

После увольнения она бросилась искать сначала временную работу. Мол, Юрик вот-вот вернётся, тогда он и подыщет для неё что-нибудь дельное. А пока бралась на несколько дней понырнуть ребёнка, разносила телеграммы, ходила в цех озеленения обрезать кусты и даже мыла подъезды...

Но о нём ни слуху, ни духу. Потом вот повезло — устроилась к базарной торговке. Началась хоть какая, но всё же жизнь. У её палатки всегда было много покупателей. Барыши хозяйские росли, хозяйка даже собралась взять в аренду ещё и контейнер... Но однажды хозяйку палатки, Стеллу Борисовну, нашли на собственной даче повешенной на яблоне. На голове у несчастной горемыки под ветром колыхался большой полиэтиленовый пакет. Руки и ноги связаны. Яблоня была такой густой, что саму повешенную сразу нельзя было увидеть. Сосед, отставной опер, увидел край пакета и услышал во внезапно наступившей тишине необычный шелест.

Домик разграблен, всё перевёрнуто. Вероятно, искали деньги и пытали несчастную. Неизвестно, горевал ли кто-либо даже из самых близких людей о смерти совсем не старой женщины так искренне, как Анна? Но она впала в беспросветную депрессию...

Ведь она потеряла не только источник существования, но и верную подругу, и возможность общения со своей покупательской аудиторией. На базаре ведь тоже не всегда выпадали только ясные дни. Но в её одиночестве и это занимало какой-то промежуток времени, имевший признак осмысленного существования.

Вскоре после трагической гибели Стеллы Борисовны в Анину дверь постучалась хозяйка соседней палатки по базару, которой постоянно не везло на наёмными продавщицами. Она у кого-то взяла адрес Анны и пришла уговаривать поработать теперь у неё. Анна поняла, где та достала её адрес. Ну конечно, у прокурорского следователя. Уже несколько раз её вызывали на допрос. В тот вечер Анна только что вернулась с допроса и заперлась у себя:

— Значит, если я бедная и живу в гостинке, то я могла мою дорогую Стеллу Борисовну изувечить и повесить? — разговаривала она сама с собой. — Меня допрашивали, кого видела из подозрительных. С кем Стелла Борисовна цапалась. А она ни с кем. Господи, она мне даже за больничные выдавала деньги, — вздыхала горестно Анна.

И в это неудачное время к ней стала стучаться в дверь хозяйка соседней по базару палатки. Но Аня, в общем-то, совсем неземная, почти небесная, так как никогда не влезала в чужие дела, неожиданно выгудила из своей памяти, как эта самая соседка злобно бранилась со студентиком за утерянную копеечную брошку. А потом выгнала парня и не заплатила за целую неделю работы.

— Не открою. Никуда не пойду.

Посетительница ушла ни с чем. А для Анны наступили тяжёлые дни новых поисков работы.

Шли годы. Сколько их прошло? А главное, прошла её смазливость, привлекательность и особый шарм, с каким она умела носить даже самый затрапезный наряд. Мужчины больше не обращали на неё никакого внимания. В транспорте не уступали место. А владелица загородного дома, куда Анна устроилась «главной по уборке», не брала её в расчёт как женщину, когда уезжала отдыхать за моря-окияны, оставляя её, престарелую повариху, и охранника с завидным и гладко прилизанным своим муженьком, тем ещё ловеласом.

Возвращаясь с вечера в Успенском соборе, которые она старалась не пропускать, Анна каждый день заглядывала в почтовый ящик и, отодвигая занавеску, с надеждой каждые пять минут вглядывалась в замусоренный общежитский двор.

— А может быть Он там?

Потом отпылала в ней женская жажда нежности. По ночам не мучили эротические видения. Однажды в трамвае её назвали бабушкой.

— Я — бабушка? Я ещё и мамой не была, — заплакала, придя к себе, Анна.

И всё-таки мамой ей пришлось стать, Невольно, нежданно-негаданно, но сладостно!

День был ясным и светлым, На башне водокачки, что торчала недалеко от её дома, соколы и в этом году вывели птенцов—хорошая примета.

Предчувствие чего-то необычного, ожидание перемен охватило нашу героиню в то самое, ясное и прозрачное утро. Вечером она летела домой с работы, почти легко, как в юности, вспорхнула на второй полуэтаж и заглянула в почтовый ящик. Ключа у неё с собой не было, и она, полная необъяснимого предчувствия, шпилькой стала выцарапывать содержимое ящика. Реклама осточертевшая! Какие-то бессмыслицы на цветной лощёной бумаге! И вдруг её шпилька зацепила уголок письма. Пресвятая Матерь Богородица! Сердце свалось наружу, дыханье перехватило...

— Письмо? Опять почтальонка, наверное, перепутала ящики. Мне-то не от кого ждать,—повторяла про себя Анна, боясь взглянуть нечаянную радость и продолжая судорожно вытаскивать конверт.

Земля в следующий миг вздрогнула и поплыла куда-то. Со стороны сцена вышла смешной: пожилая, если не сказать престарелая женщина сидела на затоптанном и заплёванном полу и держала в руках чуть помятый казённый конверт, а на нём—фамилия и имя её Юрасика, её прошлого Счастья, единственного светлого за всю жизнь.

Зинаида—последняя верная из всех её бывших подруг, на счастье, шла откуда-то:
— Анька! Что с тобой? Может, скорую?

Та замахала руками:

— Гляди! Письмо какое-то странное,—показала конверт и подала руку подруге. Поднялись на свой этаж. В комнатке Зина пыталась почти насильно заставить вскрыть конверт.

— Нет и нет! Не могу! Господи, вдруг там такое, что я не переживу? Хотя нет! Это его почерк—красивый, ни с кем не спутаешь. В нём всё красиво, и почерк у него тоже красивый.

— Так открывай и читай. Не с того же света написано. Там до сих пор на камнях скрижали высекают. А тут обычной школьной шариковой ручкой подписано. А ну, не дрейфь! Читай!

— Нет, не могу. Ты иди к себе, а я чаю попью с вальерианой, полежу, подумаю...

Зина, пожал плечами, нехотя ушла. Как только за ней захлопнулась дверь (это Юрий когда-то поставил ей английский замок), она бросилась, в полуразвалившееся кресло и надорвала конверт.

«Моя дорогая, незабываемая и вечно единственная Аннет!»

Анна зарыдала:

— Я так и знала, Юрасик, что ты никогда меня не забывал! Я в это всегда верила! Я вписана в твоё сердце на небесах!..

Она вскипятила крошечным кипяточком в стакане чай. Стала пить его обжигающим, разливая дрожжащими пальцами на блюде и на замусоленную клеёнку...

«Я пишу тебе из необычного для тебя, мой Ангел, места. Нахожусь в Мордовских лагерях. За что сию, спроси у парня, что однажды снял со своего плеча костюм и надел на меня.

Помнишь, мы с ним как-то в его квартире правили тебе вывих? Вспомнила? Он тогда назвал адрес своей матери. Ну, ты у меня с феноменальной памятью. И, конечно, запомнила? Надеюсь только на тебя. У меня нет и не было никогда никого, кроме тебя. Сходи по тому адресу. Это—за городом. Сожительница моя (извини), та, что после тебя, (ведь ты моя законная по сердцу, и паспорту, и судьбе, а эта—по обстоятельствам), тоже—в отсидке, но в Красноярском крае...»

Читала Анна, и рыдала, и радовалась, что живой Он, Её Любимый. А если Он жив, то и она жива. А то собралась было помирать.

Стемнело, начал стихать общежитский шум. Только где-то комнаты через три рьяный ревнивец-сожитель, как обычно, опять гонял подвыпившую и совсем не строгих нравов шалаваю Людмилу с водокачки...

«Ты же знаешь, как я хотел иметь родных детей. Как только понял из твоих рассказов о твоей травме в детстве, что родить не можешь, я стал подбирать такую «родильную машину», которая сделала бы меня отцом собственного ребёнка.

Но только через пять лет после того, как я по роковым и неотвратимым, поверь, обстоятельствам оставил тебя, она родила мне сына, Алёшку. Весь в меня!»

Анна давно уже включила верхний свет. Непроизвольно поцеловала Юрину подушку:

— Умница, умница! Оставишь свой след на земле, не то, что я—горемычная,—и она заплакала о себе.

Зинаида в который уже раз царапалась в её дверь:

— Эй! Ты там живая?

Анна резко крутанула дверной запор:

— Ладно, уж заходи.

— Ну, что там? Где он? Что за такой конверт?—тархтела подружка без умолку.

— Снова сидит...

— Я так и подумала. Помнишь, Каринэ с третьего этажа такой же конверт от Алика из зоны получила? Мы ещё все гуртом читали его на кухне?

— Помню!—отмахнулась Аня,—Но разница в том, что Юрчик у меня не урка и в тюрьме случайно, что меня Юрчик не забывал и не забывает, он одну меня любит. У него никого, кроме меня, не было.

Он просто уходил, чтобы занять родного сына.

— И заимел? От фонарного столба?

— Да ну тебя, Зинка!—впервые переходя на жаргон огрызнулась счастливая хозяйка гостинки.

— Не томи, читай же! Я и так полночи не спала!

«Когда её арестовали, Алешенька остался со старой больной бабушкой. Вначале мы на съёмных квартирах жили. А когда спутница моя забеременела, я заимел в столице отдельную большую квартиру в центре города. Туда она малышка и принесла из роддома. Жизнь наша постоянно подвергалась опасности. Работали на «опасном» производстве. Вокруг нас крутились много плохих людей—всегда могли подставить или замести, да и квартиру отнять. Завёлся у нас в коллективе тогда один процелыга, как потом оказалось, подсадной.

Так я предложил своей сделать на Тебя, моя Единственная, дарственную на квартиру, как страховку от всякого... Я там тоже прописан, да и Алёшка. Незадолго до ареста мать его непутёвая вдруг нашлась. Алёшенька почти всё время до ареста матери жил у бабушки.

Зинка по-мальчишечьи свистнула.

— Во даёт! А что посадили, то я тебя упреждала. Юрий твой не иначе как с наркотой или чем похуже тогда ещё связался. Посуди сама, где в наш безумный век можно так заработать на тебя и на себя после зоны?!

— Не смей на невинного наговаривать! Мой Юрочка даже Гиппиус, Ахматову и Цветаеву наизусть читал!!! Не мог! Не мог! Понимаешь? Он где-то в секретке работал. По вечерам иногда по памяти чертежи рисовал, а потом—в самые мелкие дрызги и в мусорку,—отбивалась Юрина защитница.

— Ой-ой! Какие мы нервенные! А ну ещё раз, где про квартирку.

«...я предложил сделать на Тебя, моя Единственная, дарственную на квартиру».

— А скоко там комнат—не написал?

— Не отвлекай меня, пожалуйста. Дай дочитать.

«Недавно мне сообщили, что его бабушку нашли в комнате мёртвой, а Алёшенька с ней рядом, весь урёванный. Хорошо, что в этот день их пришёл проведать мой знакомый, о котором я уже написал. Он с похоронами всё устроил, сына нашего временно к себе забрал. Я не оговорился—именно нашего. Он тебе—пасынок, а ты ему настоящая, законная вторая мама, поскольку моя законная жена.

Я жалел, конечно, о старушке, но, пусть Господь меня простит, не очень сильно. На тебя вся моя надежда. А старушка после бурной жизни ну какая-токая была воспитательница для нашего сына? Чтоб ты знала, он весь в меня. Хотел я очень иметь в жизни собственного сына. Но он и твой тоже, так как я думал только о Тебе. Повторяю,

потому что с тобой мы не разведены, Алёшка твой законный пасынок. И очень прошу тебя поспешить за нашим Алёшенькой. Могут прыткие бабоньки из органов опеки отыскать его и сунуть в детский дом. Родная, тогда ищи-свищи.

Когда найдёшь моего знакомого, ты тоже обрадуешься. Но заранее тебе об этом писать не буду. Он, в случае чего, поможет с документами, да мало ли чего... Только одно прошу—забери скорее к себе Алёшеньку. Он будет нашим с тобой сыном, мать его родная вряд ли доживёт до конца срока, но уберёт её Господь от нездоровья, да и дали ей много больше...

Обнимаю тебя, целую, моя Аннет, моя радость и моё единственное утешение. Твой Юрий».

Теперь уже на полу рядом с Анной сидела Зина, уютно положив на её пухлое плечико свою кудрявую голову. Зина хотела с ней отправиться в столицу за мальчиком, но Анна не решилась её брать (Она сразу поняла, что Алёшенька и документы именно у Славки)

— А вдруг этого делать нельзя? Не зря Юрик всё иносказательно, на эзоповском языке написал.

Лихорадочно собралась. Как во сне смастерила причёску, надела своё самое лучшее, присела возле сломанного телевизора, сняла, поцеловала и бережно положила в свою дорожную сумочку картонный образок Богоматери—«Взыскание пропавших»—и пасхальную просфорку, и пару оставшихся церковных свечек...

Мысленно помолилась царице Небесной, закрыла глаза... Выдохнув, решительно встала и уже твёрдой рукой захлопнула за собой тот самый английский замок... По пути на автовокзал она зашла к своему духовнику попросить благословения, да и попрощаться.

На последние грошики, оставшиеся после покупки билета, накупила ребёнку сладостей и села в междугородний рейсовый автобус. Автобус повёз её совсем в другую жизнь...



Алитет Немтушкин Мне снятся небесные олени

В ноябре 2009 года исполняется 70 лет со дня рождения выдающегося эвенкийского поэта, писателя, общественного деятеля Алитета Николаевича Немтушкина. В предисловии к своей последней книге «Олень любит соль», вышедшей из печати в 2005 году, незадолго до кончины автора, Немтушкин рассказывает о себе:

«По словам моей бабушки Огдо, Евдокии Ивановны Немтушкиной, которую все токминские эвенки назвали Эки — своей старшей сестрой, у нас была по тем временам большая благополучная семья, мужчины тянулись к новой власти и жизни.

Один мой дядя, самый младший из троих братьев, Моисей Николаевич Немтушкин, в 1926 году знал русский язык и был переводчиком у знаменитой молодой женщины, позднее ставшей учёным-тунгусоведом, автором эвенкийской письменности, Глафиры Макарьевны Василевич. Она в ту свою первую командировку к эвенкам Кангского района кочевала с моими родными и жила в нашем чуме.

Но пришли проклятые тридцатые годы, и за одно неосторожное слово в адрес новых властей, всех моих дядек, по словам сородичей, увезли в золотые шахты Бодайбо, откуда никто и никогда не возвращался.

Отец погиб на фронте, дедушка умер, и у нас не стало мужчин-кормильцев. Одни женщины да я, будущий кормилец. Для нашей семьи потухло солнце. Особенно для меня, двухлетнего ребёнка. Разбилось самое яркое, самое тёплое и самое нежное Солнце, и я перестал ощущать его живительную улыбку и тепло. В моём сердце поселилась сиротская темнота и холод. И всё время хотелось есть.

Я вырос с бабушкой в кориновом чуме и навечно остался таёжным человеком, ибо бабушка всегда говорила, что нашла меня в лесу под колодиной. С шести лет пошёл в интернат — в нулевом классе учили русский язык. Свою бабушку Огдо я называл мамой, хотя родная мать была ещё жива и после войны родила мне сестрёнку Тамару, для которой бабушка Огдо тоже стала мамой. В неимоверно трудных условиях мы вставляли на свои суставы. Остались живы.

Сестра выросла настоящим человеком, стала врачом и воспитала достойных детей. Чего уж теперь обижаться, несмотря ни на что, говорим спасибо государству, что не дало умереть с голоду и дало образование. И у меня обе дочери получили высшее образование и, как говорится, слава богу, теперь и у них растут дети.

Единственно, о чём я очень жалею, так это о том, что бабушка, мать и другие мои родные тётки не дождалась, когда я стал взрослым, набрался сил и что не накормил их кусочками мяса и хлеба, добытыми и заработанными моими руками. Но я от всей души благодарен всем своим сородичам, учителям, добрым людям, помогавшим, как в детстве, нимагом — общим душевным добром, ставшим моей сутью, на всю мою жизнь, несмотря ни на какие повороты судьбы.

Прости меня, мой мальчик, но великий сердцем и широкой, наивной душой, кочевой народ — «эвенкил» — не в обиду другим, переводится как «настоящие люди»! Я горжусь тобой, ибо все наши обычаи, характеры, совестливое отношение ко всему живому и растительному миру — [считаю] самым справедливым и честным.

Повторяю, мы подчинялись законам матушки Природы. У нас был свой первобытный коммунизм, без хитростей, без всяких уловок и обмана, без подковёрных игр, не чета всем современным измам. Жаль, что у меня мало силёнок, не хватает таланта, чтобы достойно рассказать о нелёгкой судьбе моего таёжного народа».

Алитет Немтушкин из рода Хэйкогир

Писатель ушёл из жизни 4 ноября 2006 года. Мы вспоминаем нашего друга, постоянного автора «ДиН», с чувством светлой благодарности и всякий раз перечитываем созданное им, заново удивляясь щедрости его таланта.

Редакция «ДиН»

Старшая сестра живущих

Когда-то, в очень далёкие времена, Хэйкогирский род эвенков был одним из самых многочисленных и могущественных. Кто знает, сколько лет прошло с тех пор, может, сто, а может, тысяча, а может, и вообще столько, сколько шерстинок на шкуре оленя. Но предания говорят, что от дыма их костров не видно бывало солнца, а оленей водилось, как комаров в травянистом месте. Ума не хватало, чтобы их сосчитать. Самое большое болото, за Гаинней, в весеннюю пору не могло вместить всех оленей. Это болото было своего рода меркой. Перед месяцем Оленят¹ прежде чем откочевать на склоны хребтов, открытые ветрам и солнцу, загоняли сюда оленей, кто-нибудь из мужчин залезал на высокое дерево и осматривал стадо. Если не видно просветов, значит, олени целы.

И мужчинами прежде славился род. По всей тайге, начиная от Ангары и кончая далёкими

1. Месяц Оленят — соответствует маю.

хребтами Пугорана, не было им достойных соперников, а предводитель рода, богатырь Гарпанча, стрелой, пущенной из многослойного клеёного лука, прошивал насквозь по пять рослых быков, поставленных вплотную один к другому. Вот какая сила была у этого богатыря! Он оправдывал имя — Гарпанча, то есть Солнечный Луч!..

Все Хэйкогиры отличались силой и удалью. Воины их достигали других племён и возвращались с богатой добычей и жёнами. По вечерам на закате солнца тайга оглашалась грохотом бубнов. Шаманы камлали, подражали зверям и птицам, чтобы подвигнуть сородичей на новые подвиги. О, было о ком складывать легенды и песни! В постоянном страхе держали они и ближнюю тайгу, и дальние тундры.

Не думали Хэйкогиры о том, что и в других, обиженных ими родах могут появиться такие же могучие богатыри, как Гарпанча, могут вырасти непобедимые шаманы, способные на лыжах ходить по воде, глотать калёные угли и превращать рослых быков-учугов² в маленьких трусливых зайчат. Беспечными сделались Хэйкогиры. Вот тогда-то и стала меркнуть былая их слава, затихать стала боевая песня. Мало-помалу захирел род. Шаманы напустили на их стоянки Злых Духов, и пришёл на их землю великий мор, унёс лучших воинов, разорил олени стада. Былое могущество осталось только в легендах да сказках.

В этот обнищавший род из другого такого же бедного рода — Ушкагиров — попала и бабушка Эки. Её звали Огдо.

Колокана, своего мужа, она увидела только в дни сватовства. В те времена у девушек не спрашивали согласия. Отец решил, сговорился с другом хозяином — ну и дай бог тебе счастья!..

Так и с Огдо было. Взглянули молодые друг на друга — о Добрый Дух — поблагодарили Всевышнего, что не за чурки их сватают. Понравились они друг другу, но вида не показали — пусть сваты продолжают своё дело, лишь бы не разладилась их женитьба. Но, к счастью, всё обошлось. Уехала в Ушкагирский род сестра Колокана Умбирик, плача, заливаясь слезами, уехала, — ей-то нравился другой парень, из другого рода. Больше с ней никогда не виделись. Далеко её увезли, велика тайга.

По обычаю, подруги Огдо помогли ей собрать приданое, нарядили в праздничную одежду: на голову повязали несколько разноцветных платков, приспустив на лицо кисти, а затем, как куклу, усадили на верхового оленя: не плачь, Огдо! — Счастья тебе, полный чум детей!.. Запомни, без мышей нора будет пустая, без детей чум будет пустой, а значит, и счастья не будет. Живите счастливо!.. — напутствовали невесту. — Живите дружно, берегите друг друга...

Сколько лет прошло, а Эки-Огдо то напутствие помнит. Нет-нет да и задумывается: была ли она счастлива?

А кто знает, какое оно, счастье? Когда сыты бывали, когда дети, как молодые деревца, тянулись к солнцу, всё равно тревога не покидала сердце и всё будто не хватало чего-то. Может, в те времена счастье лишь краешком своего крыла нас задевало,

а мы и не замечали? А может, тогда, когда на русской железной птице прилетел в стойбище сын Кинкэ?.. О, как сладко билось в тот день её сердце, как пела душа!.. Вот тогда она была счастлива!

Грех, конечно, на судьбу обижаться. Какая ей выпала, ту и прожила. С Колоканом они дружно жили, не дрались, как другие, даже не ругались, блюли заветы предков.

Колокан был смирным, добродушным мужиком, за глаза его называли Бычком. И, надо признать, прозвище было точным. Колокан знал об этом, не обижался. Молча, неторопливо нёс он свою житейскую ношу основательно да умело. А что ещё нужно женщине? Огдо смолodu не любила таких, как сосед Мада, у которых, казалось, вся сила уходила на пустые слова да зряшные хлопоты. Ни о семье позаботиться, ни на охоту толком сходить духу у них не хватало. Радовалась она, что муж ей хороший попался.

Огдо с детства умела держать в руках иглу и скребок для выделки кожи, а коли нужно, брала и топор, и ружьё. Придя в чум мужа, она сразу стала полноправной хозяйкой. Родители Колокана наравдаться не могли на такую невестку.

Заглянула Огдо как-то в старый лабаз, где хранились зимние одежды и вещи, распаковала один турсук и ахнула: сколько там было товару!

— Э-э, да вы не купцов ли ограбили? — пошутила она. В турсуке в берестяных коробочках, в тряпочках лежали колечки, шнурочки, разные пуговицы, много разноцветного бисера — от крупного, как смородины, до мельчайшего, как мышинный глаз! — Ограбишь купца!.. Суют их в первую очередь, вместо пороха и свинца... Нет у нас мастериц, вот и лежат без дела, — отвечал Колокан.

В первое же лето Огдо, на зависть свой све-крови, обновила своими родовыми узорами суконные зипуны, летние унты. Всеми цветами радуги засияла одежда мужчин. В таких нарядах не стыдно было на людях показываться.

— Э, какая у тебя душа красивая! — хвалили её старики.

И верно: в умелых руках — душа человека.

Может, та первая похвала и определила дальнейший её характер? Ведь на хорошее слово всегда хочется ответить таким же словом и делом. Старалась невестка: варила еду, обрабатывала шкуры, шила унты, зипуны, меховые парки, драла берёсту для посуды, для летнего чума — любое дело спорилось у неё в руках. Такая уж доля у женщин — нести хозяйство на своих плечах да детей рожать.

Появились дети: дочь Сынок, сыновья Куманда, Кутуй, Кинкэ, потом опять дочь — Сарта. О, сколько радости и хлопот прибавилось в чуме! У многих эвенков ребятишки в то время младенцами в Нижний мир уходили, не увидав ни тайги, ни рек, ни озёр, ни солнца красного, ни луны серебряной, ни звёзд ясных.

У Огдо и Колокана все дети остались в Среднем мире. Злые языки всяко про то болтали: «Ладно ли это? К добру ли? Все дети живы!.. Не бывало ещё такого!»

Неужели люди желали ей горя и слёз? Разве мало их на нашей земле?

2. Учуг — олень, на котором ездят верхом.

Нет, конечно. Эвенки — добрый, сердечный народ. Но благодарить Огдо нужно свекровь — это она научила маленько хитрить.

— Огдо, дочка, учись жить у оленя. И мужа учи. Делайте осенью ребятишек. Вместе с оленятами они рождаются, весной. За лето маленько окрепнут, а там уж никакая зима не страшна. Я сама так хитрила, вот и выжили все мои детки... Потом научу тебя и Злых Духов обманывать...

Может, и это помогло, кто знает... Как умела, так и оберегала Огдо своих детей. Но разве другие так не лукавили? Разве не клали в колыбели младенцев молотки и ножи, чтобы дети выросли мастеровыми людьми? Разве не совали в зыбки вместо ребёнка щенков и птичек, чтобы обмануть Злых Духов?..

Все так делали. Не виновата Огдо, что Злые Духи, завидев в зыбке щенка, уходила прочь и отпадала надобность давать детям страшные змеиные имена, неприятные не только для слуха людей, но и для Злых Духов.

Много, очень много оберегов существовало для женщин, для сохранения жизни людской, и она старалась их соблюдать. Как требовали заветы предков, она, нося в себе новую жизнь, не ела медвежью брюшину, чтобы самой не болеть животом, не ела мяса с его головы, почки, печень, ради того, чтобы новый человек пришёл в этот мир легко, без лишних мук. Отводила глаза и прикусывала язык, когда все ели мясо старого оленя, а ничего другого в чуме не было, — нельзя старого мяса касаться, роды будут тяжёлые, на маешься, как молодая важенка.

На все случаи были обереги. «Не ешь рыбу после рождения ребёнка, — говорили старики, — слюнявым вырастет. Не ешь мясо гагары, а если поешь — не нос у малыша будет, а гагарий клюв. Не ешь мясо зайца, не дай бог, вырастут выпуклые «заячьи» глаза, а ещё хуже — как у лягушки».

У того первого щенка, что положила в зыбку Сыркоик свекровь, было во рту нечётное число спиралей. По её словам, они, как небо Вселенной, не имели конца, а уходили в бесконечность. «Даст бог, может, будет она великой шаманкой».

Окрепла Сыркоик, поднялась на ноги, на свет появился Куманда, крикливый, узкоглазый, словно «с прицелом», с одним прищуренным глазом — и новый щенок уже лежал в зыбке. Снял Колокан с наружной стороны колыбельки напёрсток и тряпочки, повесил лучок со стрелами — не девчонка, а сын теперь будет качаться — стрелок из лука. У самого изголовья повесил разные побрякушки: медвежий, беличьи, горностаевы зубы, птичьи кости, всё, что требовалось по поверьям. Сын всё должен уметь: быть хитрым, умным. Только таким, умеющим и прыгать, и лазать, и кусаться, и стрелять, только таким можно выжить в нашей суровой тайге. Когда сын подрастёт, мать перешьёт ему эти подвески на пояс и на спинку кафтанчика.

Кто знает, может, эти маленькие хитрости, щепотка помогли детям одолеть первые суровые зимы, встать на ноги, оглядеться вокруг и увидеть эту прекрасную землю? Огдо верила добрым и худым приметам, уму и опыту стариков — душе всегда

нужна опора и поддержка, и она искренне молила Духов быть милосердными к её детям. Видно, они услышали её мольбу.

Лишь сейчас, глядя на свои высохшие руки, на искалеченные пальцы, бабушка Эки иной раз думает: не они ли пеленали счастье? Молитва молитвой, все просят счастья и добра для себя, для своих детей, а тёплые заячьи шкурки, труху из листовничного пенька, тепло очага, чтобы ребятишки не простудились, — делали её руки, вот эти маленькие скрюченные пальцы.

Вспомнишь былое — несчастье кажется долгим, как зимняя ночь, а счастье — как миг. Почему? Почему счастье мы будто не замечаем, не бережём его? Нет на это ответа. Видно, так устроена жизнь...

Подросли ребятишки Огдо и Колокана — шумно, весело стало в чуме. Сколько прибавилось рук! В три-четыре года они уже умели подавать матери и отцу нож или скребок, сходить за водой на речку, а в десять лет — как взрослые, держали в руках ружьё и иголку. Даже в самое голодное время в их чуме была еда — и сами сыты, и сородичам, чем могли, помогали.

Сыновья уже взрослыми стали. Колокан подумывал о невестах для них, помаленьку собирал выкуп. И тут дошёл до таёжных стойбищ слух — в русских деревнях жизнь, мол, переменилась, на сказку стала похожей. Старых купцов да торгашей прогнали, Госторги вместо них эвенкам сахар, муку, порох давать будут. И новые цены куда лучше прежних стали. По душе эвенкам пришлась новая жизнь. Сын Огдо Кинкэ прилетел на железной птице, собрал сутлан³ и позвал всех безоленных сородичей за собой.

Нужными людьми стали дети Колокана и Огдо. Они быстрее всех научились понимать русский язык и раньше других дошли умом до выгод новой жизни. Особенно Кинкэ отличался... «Вот почему их не призывали к себе нижние люди, — говорили в стойбище, — знали, что они здесь понадобятся, в нашем Срединном мире! Счастливые у тебя дети, Огдо!»

Но не ждала не гадала Огдо, что скоро кончится её материнское счастье.

Спокойно и хорошо на душе было. В чуме достаток, еды сколько хочешь, одежды, товаров разных... что ещё бедному эвенку надо? Сыт, одет и обут, не то что прежде. Живи да радуйся!..

Все дети Огдо обзавелись чумами, внуками да внучками одарили родителей. И Кинкэ наконец заимел сына. Долго ждали его. Целых три года Мэмирик затяжелеть не могла, думали, порченная или ванггай⁴, но, к счастью, ошиблись — и она родила крепенького, смуглого мальчугана.

Запоздал маленько сынок у Кинкэ, но зато таким желанным на свет пришёл. Пусть будет имя ему Амарча — запоздавший малость. Ничего, неплохое имя, дедушка Бали его носит, а он человек добрый, хороший.

В Суринде к этому времени выросло уже несколько русских избушек. А первой была вот эта — Госторг. Неподалёку самая главная изба — кочевой Совет, на нём красный флаг на ветру трепещет. А начальником в этой главной избе — кто бы

3. Суглан — общее собрание.

4. Ванггай — яловая важенка, самка оленя.

вы думали? — Кинкэ стал. Огдо тогда домик этот самым красивым казался.

Стояла макушка лета, Иркин — месяц снятия кожицы с оленьих рогов. По русскому календарю — это будет июль. Палило нещадно солнце. Днём людей и олений донимал овод, а по вечерам тучами давило комарё и мошкара. Ребятишки ходили с опухшими лицами, все искусанные; собаки, высунув языки и повизгивая, искали спасения в тени под кустами либо в траве; олени, побрякивая болталами, щёлкая костяшками ног, бегали между чумами, жались тесней к дымокурам.

Лишь ночью приходила прохлада.

Десятка два островерхих чумов белело в бору на берегу Суринды. Да несколько русских избышек. Большое стойбище. С утра до вечера слышался неумолчный лай собак, крики ребятишек, а по вечерам раздавались песни парней и девушек. Женатые мужчины и старики, откинув пологи чумов, отдыхали в тени. Веками так заведено было, лето — время отдыха около речек на старинных становищах. Ходили в гости из чума в чум, говорили о житье-бытье, об охоте, намечали новые свадьбы. Женщины копошились возле чумов, разводили дымокуры, присматривали за детьми. И с нетерпением поглядывали на Суринду — оттуда должны были появиться русские. Все ждали новых товаров.

Первыми всполошились собаки. Лежали вроде бы тихо. Но вдруг одна вскочила, гавкнула, за нею остальные. Потом раздался голоса ребят:

— Плывут! Плывут!.. Русские плывут!

Наконец-то! Стар и мал высыпали на берег. Шум, крики, смех — весело стало. Из-за поворота реки показалась сначала какая-то тёмная масса, потом — лодка. Русские мужики и две бабы, в рваных одеждах, в разбитых ичигах, из которых торчали пальцы, устало тянули на длинной бечеве тяжёлую, затонувшую по самые борта лодку-илимку.

У стоявших на берегу эвенков вид был, наверно, не лучше, но всё же они посочувствовали:

— Хэ, бедные, бедные... Зачем так работаю?..

— Для нас стараются!..

— Наши мужики так не смогли бы!

— Да, сильные, видать, эти русские...

Русские подошли поближе, и эвенки увидели среди них старых знакомых.

— Хэ, друг Аркашкэ!

— Мукуиль!..

Они скинули с плеч лямки. Один из них поднял руку:

— Здравствуйте, товарищи. Прошу тишины. Кто из вас будет Кинкэ Хэйкогир?

— Здесь он, — вытолкнули вперёд Кинкэ.

— Вы представляете на Суринде Советскую власть... Рад познакомиться. Я Логинов, бригадир.

Сквозь толпу к русским пробрался Мада.

— Дорова! Ты моя мордам знаш? — спросил он. Кто понял — засмеялся, другие с интересом смотрели, чего ещё выкинет балагур, а Логинов, печально улынувшись, сказал:

— Мы ещё познакомимся с вами, товарищ... А сейчас нужно провести митинг. На нашей земле уже три недели идёт война.

— Какая война? Что за война? — всполошились люди.

— Три недели назад на нашу страну напала Германия... Все советские люди поднялись на защиту!

Эки плохо понимала по-русски, да и не помнит она других подробностей того митинга, она поняла главное — мужчин, в том числе и её детей, будут брать на войну. Поняла и испугалась. Прежде войны бывали только в преданиях, да и то казались нестрашными — там стреляли луками, стрелами. Умелые воины ловили стрелы и посылали обратно врагу. А нынешние войны, говорят, не похожи на те, что в легендах. Теперь пулями стреляют друг в друга.

Мужики, только что весело шумевшие на берегу, притихли, присмирели, что-то тревожное появилось в глазах даже у Мады. Он стоял с открытым ртом, не понимая ничего.

Кинкэ видел, как растерялись сородичи, он вышел вперёд и сказал:

— На нашу землю пришла беда. Фашисты хуже всяких чангитов⁵, они никого не щадят. Биться за Родину придётся насмерть!.. Мы умеем метко стрелять. Мы нужны там, где сражаются все мужчины, весь советский народ! Предлагаю всем пойти на войну. Я первый...

— Что тебе надо там? — не выдержав, закричала мать. — Пусть стреляют другие. У тебя сын растёт, кто будет его кормить? — И, обращаясь ко всем, продолжала: — Что вам там делать, люди? Это не наша война...

— Правду говорит Эки... Это не наша война! — раздался голоса.

— Нет, мама, это наша война! Мы должны защищать свою землю! Свои чумы! Своих детей! Своих матерей и жён! — возразил ей Кинкэ. — Советская власть дала нам сытую жизнь. Враг хочет опять отнять наше богатство, захватить нашу землю... Разве мы можем, как трусливые зайцы, отсиживаться в кустах?! Подумайте, люди!

Хорошо говорил Кинкэ, не зря он учился в далёком городе Ленинграде. Стыдно стало его землякам.

— Пиши мою тамгу⁶. — К Логинову подошёл друг Кинкэ Черончин.

И ещё несколько молодых мужчин и парней записались на фронт.

На этом неожиданном суглане решено было: на фронт пойдут пока добровольцы, а остальным, если потребует, пришлют бумажки и вызовут. Пожилых мужчин и стариков вообще трогать не будут.

Кое-кто облегчённо вздохнул. И тут же, набрав продуктов, откочевал в тайгу — вдруг да передумает Кинкэ, всех за собой потащит. Вон братьев своих — Куманду и Кутя, он, можно сказать, насильно добровольцами записал, а они, кроме тайги, ничего в жизни не видели. Даже язык-то русских и то толком не разумеют. А как воевать будут?

Печальными были в стойбище последние дни перед отъездом на фронт. Всё валилось из рук. Даже Кинкэ и тот ходил сам не свой. Накануне отъезда он взял в руки пэнгтивкэвун. Этим простеньким инструментом можно рассказать всё,

5. Чангит — разбойник.

6. Тамга — клеймо, отпечаток.

что хочешь. Кинкэ умел изобразить на нём скрип лыж и полозьев по твёрдому насту, цокот оленьих копыт, вой пурги и метели...

Перед свадьбой его пэнгивкэвун пел о любви. Как звонкий ручеек журчал, птичкой щебетал на всю тайгу. Невесту, будущую жену Мэмирик, Кинкэ высмотрел сам и женился по новому, советскому закону—без всяких тори⁷, просто записались в одну специальную книгу в кочевом Совете, и всё.

Кинкэ зажал во рту металлический язычок инструмента, тронул его пальцем—глухо вздохнул пэнгивкэвун. И вдруг—печально загоготали густы, заплакали лебеди и журавли, тревожно прошелестел по листьям деревьев ветер, и вот будто далеко-далеко за чумом завывала пурга, а потом снова опалил душу плач лебедей. Будто осень пришла. Тёмное ночное небо, тучи, сплошные тучи, и за ними вереницей плывут и плачут птицы, милые нашему сердцу небесные олени. И не изо рта Кинкэ, а словно оттуда, с вышины, доносились тоскливые, щемящие душу звуки.

О Небо! Где она, эта Тёплая Сторона Земли? Долетят ли туда наши птицы, вернуться ли они назад? Стань выше, Небо, пусть пролетят мимо небесных оленей дробь и пули охотника! Добрый Дух, помоги птицам возвратиться в родные края!.. Не туда ли теперь, в Тёплую Сторону, собрались наши мужчины? Вернутся ли они назад?! О Небо, о Добрые Духи, будьте рядом, помогите им возвратиться домой!

Кинкэ играл песню «Прощание птиц с родиной».

На следующий день добровольцы покинули стойбище, некоторые из них навсегда.

— Мама, Мэми! Берегите сына, Амарчу! Подрастёт—отдайте его учиться. Я верю, у него будет другая жизнь! Берегите его!..—обнимая жену и мать, сказал Кинкэ.

...А потом Огдо-Эки одну за другой получила бумажки. Страшные, как выстрелы в сердце. Плакала, горько плакала мать над каждой из них, плакала втихомолку, не соблюдая родовой закон. В душе надеялась, что хоть один из её детей уцелеет на этой страшной войне. Последнюю похоронку, на сына Кинкэ, они получили зимой, когда приехали на фабрику за продуктами.

Колокан ни слова не проронил, набил табаком трубку, подцепил палочкой уголёк из костра, не торопясь раскурил. Потом, запрокинув голову, долго смотрел в дымовое отверстие. Но вот он поднялся, сказал устало:

— Снег будет, аргишти надо.

И, ещё больше скорбившись, вышел из чума... Эки знала: сядет он где-нибудь в стороне и будет плакать. Почему эвенкам нельзя плакать?.. Почему Всевышний не запретил и смеяться?..

Не сдержалась Эки, зашло её сердце. Упала она на шкуру, как неживая. Долго лежала молча. Потом вдруг запричитала:

— Хутэй! Хутэй! Зачем ты ушёл в Нижний мир раньше меня? Солнышко моё, зачем ты закатилось так рано?

Люди поняли, что шепчет она песню проводов уходящему в Нижний мир—землю Харги. Но ведь

сейчас не положено: Кинкэ, по бумажке-то, три месяца назад умер, стало быть, он давно уже «там». Стали опять уговаривать, чтобы она плакала просто так, без слов.

— Поплачь, Эки, поплачь, теперь все плачут. Духи простят нас... Только молча, не говори ничего...

— Харги! Харгингаса! Злой Дух, проклятый Злой Дух!—вдруг закричала Эки.—Проклятый Злой Дух! Подавись людской кровью!.. И вы, обитатели Нижнего мира! Зачем вам нужны мои дети, возьмите меня! Почему меня не зовёте? Будьте вы прокляты!..

Жутко стало в чуме. Женщины зашептали молитвы. Нельзя так. Нельзя вслух проклинать Злого Духа и нижних людей. Грех-то великий. Горе, если даже это смерть сына, надо переносить молча. Лучше сделать вид, что ты не сильно огорчён—так можно даже обмануть Злого Духа. Так испокон веков делали.

— Эки, помолчи! Услышат тебя!

— Пусть слышит! Не боюсь я его! Харги, слышишь! Чёрная твоя душа, захлебнись в крови моих детей!..

«Уж не кружит ли её ум?!»—испуганно думали люди.

До самой ночи проклинала Эки всех Духов и даже русского Бога. Наконец, совсем обессилив, забылась в тревожном полусне.

Позже, когда не стало тихого, добычливого Колокана, когда болезни и голод съели внука, сына Куманды, жену его и других родственников, снова поползли слухи:

— Услыхал, услышал Харги!.. Накликала, теперь он их всех съест...

Остались в живых, в этом Срединном мире, две дочери—младшая Сарта и старшая Сыркоик. С шаманкой-то, наверно, Злой Дух не справится, у неё самой есть свои Злые и Добрые Духи, они её берегут, а вот до Сарты, до внуков Эки добраться могут. Сарта со своим Урунчей беспомощны, жить совсем не умеют. Надо же было так обмануться при выборе зятя...

Сыркоик раньше всех вышла замуж. А перед самой войной подались они с мужем на речку Куту—там собирались все, кто не принял новую власть. Оттуда ни один мужчина не ушёл на войну. Радовались на Куте—вот, мол, как ловко они провели новых начальников.

На Куте водились ещё олени, много оленей. А где олень—там сытая жизнь. Шаманка Сыркоик взяла на Куте власть в свои руки. Там её чтили и боялись. Эки вслух никогда не вспоминала о дочери, словно её и не было. Люди дивились: «Как же так? Осталась, можно сказать, трухлявым пнём с жиденьким отросточком—Амарчой и не едет к ней, к родной дочери. Даже отобрала мальчонку. Там-то ведь легче прожить, легче вырастить внука. Никто бы её не осудил. Все знают—на Сарту с Урунчей какая надежда? Им бы себя прокормить...»

Но с другой стороны—гордились ею люди. Уйди она на Куту, обидела бы сородичей, предала их в тяжкую пору, дело Кинкэ предала бы... В стойбище Кинкэ хорошо помнят...

— Ох-хэ!—ворочается ночами бабушка Эки, прислушиваясь к дыханию внука, отгоняет тяжёлые

7. Тори—выкуп за невесту.

мысли— не оборвалось бы раньше времени сердце. Устало оно за последние годы. Но как бы там ни было, ей жить надо, внука растить. Вот поднимется Амарча— можно будет уйти к сыновьям. Что-то сны нехорошие стали сниться. Чуть закроешь глаза, и тотчас лодку увидит, а в ней Кинкэ, Куманда, Кутуй... На войну плывут... И кричат что-то, но что— не понять. Песня слышится... «Прощание птиц...»

Белый лось, чёрный олень

Лето— не зима. Зимой знай сиди в чуме да подбрасывай в ненасытный огонь дрова. Скучно зимой— ни гостей, ни весёлых игр. Э, да что там сравнивать— лето есть лето.

Летом всегда случаются какие-нибудь гости. Вот и нынче они пожаловали. На мысу Лебединого озера, километрах в пяти от Суринды, раскинули свои чумы оленеводы с Куты, и получилось настоящее стойбище. Там ягельник добрый, есть чем оленей кормить. А у нас они появились совсем налегке, нарядные, гордые. Родственники кучу разных подарков понавезли.

Тётя Сынкоик с дядей Дапамкэем подарили Амарче летний тёмно-синий зипун, разукрашенный ярким орнаментом, бабушке Эки— шаль с кисточками, выменянную где-то на соболя, а Ургунчэ с Сатртой и девочкам— платья-штаны, игрушки. С бабушкой Эки Сынкоик разговаривала так, словно между ними ничего не было. Наверно, все женщины умеют скрывать свои чувства, ни одним словом не выдадут, что творится у них на душе. Выдать может только взгляд. Бабушка Эки посмотрела на дочь и поняла, что та отступилась, об Амарче больше речи не будет, вздохнула легко и успокоилась.

Гости высматривали невест. После войны в нашем стойбище много вдов оказалось, девочки подросли. Надо думать о будущей жизни, о продолжении рода.

На зависть артельщикам гости брали в Госторге много богатых товаров: муку, сахар, пахучий табак и пачки махорки...

— Вот кого раскулачивать надо,— говорил им прямо в лицо Мирон Фарков.— Артельщики, можно сказать, с голоду пухнут, а они, как при царизме, как при старом режиме, господами вырядились, невест высматривают. Будь моя воля, я бы вам ничего не дал. Наели за войну хари-то, теперь баб захотелось!

— Не имеешь права,— отвечали те.

— Тут-то вы шибко грамотные! Соображаете, значит, как выгодней жить? Куда только власть смотрит? Ну ничего, и до вас доберёмся!

— Мы никому плохого не делаем. Зачем сердишься? Пушниной власти вашей помогаем.

— А вы думаете, что наши охотники спят? Они тоже пушнину сдают.

— Ваши-то олених порастеряли, вот и сидят голдные... Мы тут при чём?

— При том,— сердито хрипел Мирон, но товары им опускал.

К прилавку, за которым, ворочая мешки, ворчал Фарков, оттирая других, протиснулся Ганча

Лантогир, секретарь Совета. Из-за спины его выглядывал Дапамкэй. Лица у них— разомлевшие.

— Это же безобразие!— по-русски закричал Ганча. Выпивший, он становился отчаянным и нахальным.

— Мука, сахар, табак, спичка— всё давай,— начал перечислять Дапамкэй.

— И спирта,— повелительно подсказал Ганча.

— И спирта!— обрадовано подхватил Дапамкэй. Мирон молча перевернул порвавшийся мешок с мукой.

— Дядя Дапамкэй, бери карабин!— покровительственно советовал Ганча, похлопывая того по плечу.— Всё бери, что твоя душа пожелает! Это я говорю, понял?— А потом, видимо, подражая какому-то русскому начальнику, обратился к Фаркову:

— Минуточку, минуточку, Мирон Захарыч! ты центнер давай! Центнер! Это я тебе говорю...

— Не кричи, Ганча, под руку. Видишь, с мешком что?..— Мирон отмахнулся от него, как от назойливой мухи.

— Так!— вскипел Ганча.— Разобразие! Кто, спрашивается, мешок ломал?.. Кто жулик?.. Оленчик, что ли?.. Прошу акт! Формляй, давай кочсовет, я буду бумажка писать! Верно я говорю?— Ганча кричал на весь домик, поглядывая на гостей— какое впечатление он на них производит. Гости помалкивали, а свои усмехались. Крик Ганчи был пустым, всё равно с ним никто всерьёз не считался.

Фарков улыбнулся и прохрипел:

— А вон там,— он кивнул в угол,— рванный ящик валяется.

— Где?— Ганча не понял иронии и опять закричал.— Формляй бумажка! Разобразие!

Слово «разобразие» он любил, повторял к месту и не к месту.

— Дулбун⁸ ты, Ганча. Смотри, докомандуешься, самого куда надо оформят...

Но Ганча слов Мирона уже не слышал, так как в домик, опираясь на посох, вползла мать, старая Буркаик. Эта властная, костлявая старуха держала в повиновении всю родню. Был у неё порок— пугалась неожиданного крика, но, придя в себя, могла и посохом огреть, если что не по ней.

Старуха, охая, опустилась на пол, рядом с женщинами. Ганчу как ветром сдуло.

— Кто здесь шумит?— спросила она и, не дождав ответа, обратилась к Сынкоик:— Ох-хо!.. Кости мои... Слава богу, нашла тебя. Собираюсь сходить к вам в гости, да боюсь не дойду, ноги не слушаются...

— Приходи. У Дапамкэя учуги крепкие, быстро домчат. Я скажу,— приветливо отозвалась Сынкоик.

— Приду, приду, поговорить надо.— Старуха вынула трубку из кисета, болтавшегося на боку, набила табаком и, прикурив, стала пускать дым.

— Девка твоя, говорят, красавицей стала,— польстила ей Сынкоик.

— Растёт, да что-то женихов не видать.

— Возьми её с собой. У нас молодёжь ночами хороводы водит, спать не даёт. Парней много...

— Позову.

8. Дулбун— дурак.

...Наконец покупки были уложены в турсуки, упакованы, а дядя Дапамкэй всё тянул с отъездом в своё стойбище. Он несколько раз заскакивал в чум к старухе Буркаик, откуда доносились пьяные крики Ганчи, выбегал на воздух к оленям весь потный, лоснящийся. Сыркоик сидела с Сартой и другими женщинами, разговаривала о предстоящих кочевьях. Она не терпела запаха «веселящей воды», как, впрочем, и все Хэйкогиры. За это раньше кушцы их не жаловали, пьющего-то обдурить легче.

— С Ганчой гуляешь? — строго спросила Сыркоик мужа, заглянувшего в чум. Тот вытер потное лицо платком, которым повязывал голову, выдохнул: — С начальником маленько можно. Он хорошо помог, вон сколько добра набрали. Карабин обещал... Прикажет Фаркову...

Положим, заслуга Ганчи тут была невелика, но если достанет ружьё... Сыркоик осмотрела свои турсуки и, видно оставшись довольной, смолчала. Но тут же вспомнила:

— Аргишить будем, не забудь мать Ганчи с её девочкой взять.

— Сказывала она...

Амарча с Воло с утра крутились возле оленей, дядя Дапамкэй обещал прокатить Амарчу. Мечтал покататься и Воло.

— Дядя, возьми с собой русского, — попросил Амарча. — Он мой друг, тоже на олешках показаться хочет.

Дядя Дапамкэй оглядел лупоглазого Воло, подумал, подумал и махнул рукой:

— Пусть едет. Только отцу скажи.

Воло обрадовался:

— Я сейчас отпрушусь!

«Теперь-то уж точно выпрошу карабин», — решил Дапамкэй.

Неподалёку от стойбища вырос новый чум. Над ним поставили четыре тонкие и длинные лиственницы, связанные верхушками над дымовым отверстием. Это нымнгандяк — шаманский чум. Сегодня будет камлание.

Устроить камлание просила старая Буркаик. Пусть Сыркоик не стесняется, Ганча хоть и служит в Совете, всё же свой человек. К тому же ради него и надо побеседовать с Духами, узнать судьбу денег, пропавших из стола в кочевье.

Пока строили нымнгандяк, Сыркоик готовилась. Сейчас уже лето, природа мирно дремлет, а она, Сыркоик, чувствует прилив сверхъестественных сил лишь весной, когда начинают шуметь ручьи, когда неистово бурлит в своём половодье река. На шаманку тогда нападает тоска, беспричинный страх. Страх лишает её покоя. Частенько среди белых ночей Сыркоик вскакивает с постели и с диким криком, пугая мужа, бежит в лес, садится на берегу горного потока и поёт, поёт свои шаманские пенсии. Когда «кружит» умом, чувствует, как входят в неё Духи умерших шаманов Хэйкогирского рода, Ховоны. С каждым годом буйства её становятся всё страшнее и непонятнее, но и сила шаманская растёт с каждой весной. Уже несколько лет назад изготовила

она двенадцатизубчатый бубен — столько новых земель появилось у неё на Хэрпу, на земле нижних людей. Дапамкэй гордился женой. А сородичей его такое могущество Сыркоик всё же пугало. Шаманка ведь пользуется услугами своих, Хэйкогирских, Духов, хотя живёт среди Кондогиров и других родов. При желании она может наколдовать им. Но вслух таких опасений никто не высказывал, и лучшие промысловые уголья были в руках Дапамкэя.

Нымнгандяк построили наспех: велика ли беда — пропавшие деньги! Галерею Дарпэ — Верхнего мира, сделали из молоденьких лиственниц, стоявших на берегу «шаманской» земли. Эти же лиственницы прикрывали угдупку — входное отверстие.

С противоположной, западной стороны чума соорудили Онанг — галерею из мёртвого леса, валежника, символизировавшего Нижний мир, реку мёртвых. По краям Дарпэ поставили небольшие столбы — нэлгэт — из молодых лиственниц, вырванных с корнем. Нэлгэт воткнули вершинами в землю, корнями же они были обращены к небу. Это шаманское дерево Верхнего мира, которое растёт корнями вверх, а вершиной обращено к людям.

Многого, конечно, недоставало в шаманском чуме, да ладно. Дапамкэй решил, что хватит; главное — присутствуют три мира: Дарпэ — Верхний, Онанг — Нижний, и сам чум, символизировавший Среднюю землю, — Дулу; остальное от мастерства Сыркоик зависит. А в ней-то уж он уверен.

С отрешённым видом Сыркоик вошла в чум, развела там огонь, и некоторое время оттуда слышался невнятный шёпот и пение. С наступлением сумерек Сыркоик вышла из чума, что-то сказала Дапамкэю и удалилась в стойбище. В нымнгандяк потянулись люди. Приходили и степенно садились по кругу. Амарча с Воло одними из первых проскочили вслед за дядей Дапамкэем и замерли, как мыши, у самых оснований жердей. Пришёл всё ещё не протрезвевший Ганча, за ним, кряхтя и опираясь на посох, влезла мать. Дапамкэй показал им рукой на малу — почётное место, напротив двери.

— Не будет ли ветра? — спросила старуха...

— Зайцу и гагаре ветер не помеха, — загадочно ответил ей Дапамкэй.

На груди его красовался холмэ⁹ из дорогого синего материала, опушённый шерстью кабарги. Волосы были прибраны — уложены на затылке в пучок, отчего Дапамкэй сильно походил на китайского божка.

В косы некоторых женщин были вплетены связки старинных серебряных монет, да и мужчины украсили себя, как могли. Вид у всех был необычный, таинственный.

Чтобы лишний раз не попадаться на глаза взрослым, Амарча с Воло укрылись зипуном и лежали не шелохнувшись, стараясь даже потише дышать. Сейчас начнётся камлание. Тётя Сыркоик будет говорить со своими Духами, и они ей укажут, где надо искать деньги Ганчи. Неужели у него их украли? У эвенков ведь не было никогда воровства.

Среди тех денег была и доля бабушки Эки с Амарчой. Советская власть помогала семьям

9. Холмэ — нагурдник.

погибших на фронте. И вот деньги исчезли. Правда, кое-кто предполагал, что новый председатель Совета вместе с Ганчой пропили те денюжки. Частенько они бывали навеселе. Ходили, махали руками. Ганча, как всегда, пытался командовать. Но кто знает, может, и потерял их Ганча, пьяный куда-нибудь положил и забыл... Вон, у Мады тоже память стала дырявой, без ружья на охоту ходит...

Ждали шаманку.

Далеко за озером, в высоком сосновом бору, есть лабазы, в которых хранятся разные старинные вещи. Амарча, Воло и другие ребята ходили как-то туда за ягодами и видели в одном лабазе шаманский наряд.

Старики говорили, что главное для шамана — иметь свой бубен. У бубна есть глаза и уши, он видит и слышит, помогает шаману и его Духам передвигаться в Нижнем и Верхнем мирах, поэтому на его наружной стороне изображена вся Вселенная — Солнце, Луна, Земля и Звёзды. По краям бубна — зубцы, это шаманские земли, а весь бубен подобен голове человека. Верхние и нижние части его так и зовутся: хорон — макушка, дев — подбородок.

Не менее важна гириун — колотушка. Делают её самые умелые мастера. Для колотушки нужна кость ушедшего со Срединной земли громадного, как гора, зверя — хэли, мамонта; либо лиственница, расщеплённая молнией. Широкая нижняя часть колотушки обтягивается медвежьей шкурой и оленьей роговицей. Тыльная часть остаётся открытой. На другом конце колотушки изображены головы человека и гагары, помощников шамана в кочевьях по Нижнему миру.

Только после бубна шаман получает от рода шаманский костюм, украшенный разными символами: фигурками птиц и зверей, Духов предков... Нагрудник расшит бисером и волосом дикого оленя, разрисован чёрной краской.

О, не каждый смертный человек может стать шаманом! Только избранные Духов. Мы, люди, способны лишь ползать по нашей грешной земле!..

Вошла Сынкоик, и все разговоры в чуме умолкли. На её костюме, на уровне лопаток, прикреплена была металлическая пластина с изображением птиц. Это редкий знак. Сынкоик — сильная шаманка, заслужила право носить его.

Сынкоик села рядом с мужем, откинула с головы чёрный платок и стала широко зевать — это она глотала Ховонов и Этанов — души предков и души рыб, птиц и зверей, её помощников.

Амарча не узнал её лица. В сумрачном свете чума отчётливо виднелись только глаза и рот. Не покрасила ли тётя Сынкоик своё лицо отваром чинэ — нароста на деревьях? Или, может, углём, смешанным с серой? Отчего оно стало похожим на маску?

Сделалось страшно. Зарылся лицом в зипун и Воло, также испугался. Внезапно, подпрыгнув и звякнув подвесками, Сынкоик глухо, незнакомым голосом что-то крикнула, и Дапамкэй подал её нагнетанный над костром бубен. Камлание началось.

Гулкой, громкой дробью зарокотал бубен. Сынкоик подпрыгнула, всколыхнула пластину, снова ударила в бубен и начала что-то шептать.

Должно быть, эти первые звуки бубна напугали округу. Не стало слышно ни птиц, ни лая собак, ни щёлканья оленьих ног. Замерли у костра парни и девушки. Сегодня у них хоровода не будет.

— Бо! — закричала тётя Сынкоик.

— Бо! — подхватили сидящие в чуме люди. Сынкоик нагнулась над притухшим костром, послышался её глухой, пронзающий душу возглас: «Дэ... ги... лим!...»

Мурашки поползли по спине, сжались люди, застыли. Сынкоик начинала скликать своих Духов-помощников, которые могли бы слетать, сплывать в Нижнюю землю и узнать у предков, кому и зачем понадобились деньги Ганчи.

Широко раскрыв рот, она снова, скрипя зубами, глотала Ховонов.

Сынкоик махнула рукой, и костёр тут же вспыхнул, словно кто-то подбросил порошу. Вскрикнули, шарахнулись в сторону люди. Дапамкэй, помощник жены, бросил в огонь траву, запахло багульником, жимолостью.

Амарча вдруг чихнул, и тут Сынкоик замерла, будто наткнулась на какое-то препятствие, застыла, полуогнувшись. У Амарчи сердце ушло в пятки: не из-за него ли прервалось камлание?

Но тётя Сынкоик выпрямилась и, подражая гортанному крику ворона и клёкору орла, приподняв плечи, затряслась всем телом. Зазвенели медные пластины, как гугары на шеях оленей, заговорили подвески. Шаманка что-то выкрикивала, люди, раскачиваясь из стороны в сторону, повторяли за ней её возгласы. Она снова и снова прыгала, колотила в бубен, входя в неистовство. Только так можно найти общий язык с Духами. Откуда у неё бралась сила? Ведь ещё днём она стонала, прижимая к сердцу руки, жаловалась.

Сынкоик трясла головой так, что волосы её колыхались, как на ветру; изо рта показалась пена. Шаманка неожиданно остановилась, к чему-то прислушиваясь, и потом снова, придя в ярость, стала выгонять присутствующих из чума. Подчиняясь её воле, мужчины, женщины поползли по суковатым лиственницам, изображавшим Делбонов — идолов, поползли по изображениям рыб и зверей, вырезанным из дерева.

На улице люди не посмели проронить ни слова. Все были словно в каком-то оцепенении.

Амарча, сжавшись в комочек, дрожал, как зайчонок, а Воло, видно умаявшись и тоже натерпевшись страху, спокойно спал под зипуном.

Изгнание было недолгим: без людей шаманке не обойтись. По знаку Дапамкэя все, обдирая колени, поползли снова в чум.

Остывший бубен валялся возле костра, а сама шаманка лежала, уткнувшись лицом в землю, слабым голосом бормоча непонятные слова.

Бормотание и стоны всё продолжались. Ожидание становилось мучительным. Все были прикованы к своим местам, не шевелились, чутко прислушиваясь к шёпоту Сынкоик. Огонь погас.

Но вот шёпот шаманки стал более внятным. Люди уловили — возвращается Этан, которого Сынкоик долго искала; она требует разжечь огонь, чтобы Дух видел дорогу.

Нагревается бубен. Сынкоик сидя начинает шаманскую песню. Сначала она повторяет отдельные фразы, и наконец можно уловить мелодию. Её несмело подхватывают, а Сынкоик, поднявшись на колени, что-то кричит Дапамкэю и бросает бубен. Дапамкэй ловко ловит его и, став у входного отверстия чума, через который недавно вползали люди, начинает изображать традиционный Шаманский марш. В этом искусстве он был мастером.

Ритм марша снова привёл шаманку в экстаз. Началась дикая пляска. Вскочили на ноги двое мужчин и ловко набросили на плечи Сынкоик «нектар» — цепь из ремня. Проделали его в спинное кольцо шаманского костюма, концы привязали к толстым жердинам чума. Шаманка неистовствовала. Чтобы она не разбилась, мужчины придерживали её за этот «нектар» и тоже приплясывали. Дапамкэй колотил в бубен.

Пляшущие попадали ногами в костёр, угли и головёшки разлетались в разные стороны. Женщины гасили их, чтобы не загорелся чум.

И вдруг среди этого сумасшедшего крика, грохота бубна, яростной пляски отчётливо послышался крик гагары: «Кы... ых!.. Кы... ых!..»

Откуда гагара? Ведь Сынкоик в это время сама что-то выкрикивала?

Ошалели люди.

Дапамкэй извлёк откуда-то чучело птицы. Сынкоик схватила его, с пеной у рта бросилась на землю, придавила гагару. Потом приподнялась и передала чучело Ганче, приказала посадить на лиственницу возле чума.

У Амарчи всё окаменело внутри. Он не узнавал свою тётю, боялся её. Он молил Духов, чтобы камлание поскорее закончилось.

Сынкоик заговорила шёпотом: — Гагара есть хочет, дайте ей углей. Она любит угли, которые делает огонь.

Буркаик быстро налила из чайника чашечку воды, набросала туда горячих углей, и Сынкоик с жадностью выпила, хрумкая углями.

Потом шаманка презрительно выплюнула выпитую воду, выругалась в адрес гагары, вскочила и опять пришла в бешенство. Она ещё раз выгнала всех из чума, снова ползали люди по стволам лиственниц, изображавшим, зверей и птиц, снова грохотал бубен. Снова во все стороны летели угли, зола.

Женщины и мужчины хватили дымящиеся головни и выбрасывали во входное отверстие. Огонь исчез, образовалась площадка. Вздымая горячую золу, задыхавшись, Сынкоик понеслась по кругу — она за кем-то гналась, продолжая своё бормотание. Ремни мешали ей двигаться, но она упорно кого-то ловила. В руках Дапамкэя снова оказался бубен — раздались глухие удары. Сынкоик подпрыгнула и, раскинув руки, быстро закружилась в обратную сторону. Затрещали жерди, зашатался чум. Испуганные люди подпёрли жерди руками, чтобы, чего доброго, не обвалились. Точно вихрь, носилась шаманка, виден был один её силуэт. Сынкоик — птица!..

Неистовый грохот сопровождал эту жуткую кутерьму. Обо всём, казалось, забыли люди, тоже

стали как ненормальные, ужас застыл на их лицах. О, Хэвэки! О, Добрый дух!..

Сынкоик, повиснув на ремнях, коснулась ногами земли. Что-то забормотала. Какая-то женщина уловила, чего хочет шаманка, и начала прыскать ей лицо водою. Шаманка обмякла, но по-прежнему висела, раскачиваясь.

— Уе!¹⁰ — крикнул дядя Дапамкэй.

Пока бегали за скребком, тётя Сынкоик, как неживая, висела на ремнях, раскачиваясь из стороны в сторону. Притащили скребницу для выделки шкур, и Дапамкэй стал легонько «подпиливать» ей ноги в сгибах коленей. Сынкоик, оказывается, превратилась в дерево и потому не может согнуть колени, не может сесть на землю, которую потеряла впотьмах. Скребница помогла. Шаманка села, держась за ремни.

— Пуртая!¹¹ — чуть слышно прошептала она.

Двое мужчин выхватили свои ножи и поставили их остриями вверх — для укрощения разбушевавшихся Духов, Ховонов.

Шаманка потребовала ещё один нож. Вытянула правую руку, и дядя Дапамкэй выложил ей нольгот — деревянный нож; она с силой вонзила остриё в живот и, охнув, повалилась лицом в пепел. Из рта пошла кровь.

В чуме всё стихло.

Амарча не выдержал. Громко закричал, заплакал. Проснулся Воло и, не понимая в чём дело, что происходит, где находится, тоже заревел в голос. Очнувшись, люди сердито зашикали на детей, а дядя Дапамкэй, ругаясь, вытолкнул их из чума. рыдая, кинулись они к стойбищу. Там, возле костра, всё ещё сидели парни и девушки. Ультарик, сестра Ганчи, пожалела ребят, вытерла слёзы и посадила их рядом с собой.

До восхода солнца из шаманского чума раздавались громкие звуки бубна, пение, стоны, бормотание. Потом послышался крик гагары — кричал дядя Дапамкэй, давая знать о приближении утра.

Камлание закончилось.

Наступила тишина. И стало слышно, как где-то рядом на дереве залепетала птичка: «Чив-чив-чив!» Замолчала, словно прислушиваясь к чему-то, снова запела. Ей отвечала другая, третья... Хоркая, из леса бежала олениха — она разыскивала своего телёнка...

Амарча облегчённо вздохнул и... пошёл спать.

Проснулся он после полудня, когда солнце уже заглянуло в чум. Хотел испугаться, но в чуме как ни в чём не бывало сидели дядя Дапамкэй, тётя Сынкоик, ещё двое мужчин и мирно беседовали. — Ну, герой, вставай, пей чай, — весело сказал дядя.

Тётя чуть улыбнулась. Поставила маленький столик и налила чаю. Простая, обыкновенная женщина...

Потом люди изумлялись мудрому совету Духов, велевших Ганче собираться в тайгу на охоту. Духи видели в нашей тайге белого лося и чёрного оленя. Ганча должен убить одного из них, и тогда деньги найдутся.

Хэ! Нелёгкую задачу задали Духи предков. Придётся Ганче побегать по лесу, ища оленя и лося. Но задача вполне разрешима. Старики помнят,

10. Уе — скребком.

11. Пуртая — нож.

что были случаи, когда люди убивали белых лосей и чёрных оленей и достигали цели...

Но не пришлось Ганче идти на охоту. Приехал уполномоченный из района. Долго разбирался с деньгами, потом снял с должности Кирэктэ и Ганчу и увёз их с собой в райцентр. Говорили—там

тёмный дом, «чурма», которым Кирэктэ так пугал сурундинцев.

А как приехал «полномоченной», гости сразу же раздели свои чумы и от греха подальше откочевали назад на Куту, увозя с собою двух вдов и Ультарик, высватанную Бирагирами.

ДиН дебют

Надежда Шибанова Путь через пески

Кнопки, которые вечно гнутся,
Острые плечи чужих дверей...
Можно свихнуться, совсем свихнуться
Или поплакать—и стать добрей.
И, расточая улыбки Будды,
Искренне верить, что всё решит
Этот булыжник, который будто
Где-то в груди у меня зашит.

За столько лет скитаний даже манна
Теряет привкус чуда. Едоки
Её обильно сдабривают солью,
Песком и бранью, если больше нечем
Внести разнообразие. Тюки
У всех уже показывают днище.
И каждый Божий день всё та же пища,
И каждый день вставать зачем-то рано
И двигаться куда-то вопреки,
Наперекор всему, мириться с болью,
Но как иначе ощутить, что вечен
Сорокалетний путь через пески?..

Листья опали. Сучки и плесень—
Странно—но тоже в лесу прекрасны.
Вид увяданья весьма полезен:
Лес, из зелёного ставший разным,
Перегорая и выцветая,
Тратит последнее, что осталось,
На человека, что здесь мечтает
Так же достойно встретить старость.

Бродят ветки по стёклам, не зная того,
Что уснуть помешали кому-то.
Бродит яблочный сок, на душе у него,
У бродяги,—тревога и смута.
Я его понимаю, я тоже брожу
Вслед за тенью, но как-то не в ногу...
Нет, я зла не держу. И добра не держу.
Не держите меня, ради бога...

Любой возможный в этом свете свет
Я клином на тебе свожу, подобно
Двоякой линзе, у которой нет
Иных забот. Ей просто и удобно
Брать разное и так сводить в одно,
Как пригибать к земле побег до лета.
Открытое по случаю окно—
Длина ладони—две строки куплета—
Ковбойка—обожжённое плечо—
Комаринская пляска на болоте,—
Вы в фокусе, который горячо,
Ах, слишком горячо коснулся плоти.

Поиск и ожидание одинаково приравняв к нулю,
Ноль нацепить на шею, как амулет свободы,
И бродить себе, напевая, что фраза «Я Вас люблю...»
До смешного банальна, ни на день не выходя из моды.
А на самом деле пустить всё на самотёк,
Стать в судьбе своей посторонним,
Пропусту не мешая
Приходить тому, чего, хоть убей, не мог
Найти и вымолить, действуя и решая.



Владимир Монахов

Мир становится реальным, если слышат в нём поэта

Памяти Ильи Тюрин

34

Владимир Монахов
Мир становится реальным, если слышат в нём поэта

1.

пророком языка себя перелистать
по водам слов добраться до ответа
где тьму небес сжигает пустота
в утробе зла для первой строчки света

2.

земное просветленье в головах
где мысль неизреченно точит тема
в песчиницах дворов увязло время
что растранижил мальчик на слова

а рифма заложила миражи
в стихах всё своевременно и к месту
и падалица звёзд широкоим жестом
навек даровала Слову жизнь

*Владимир Монахов—Илье Тюрину.
Запоздалое послание, 14.06.2006*

Если на том свете есть отдельная скамейка для лучших русских поэтов, то *Илья Тюрин* тоже на ней где-то, а может, даже вместе с Иосифом Бродским и Александром Пушкиным. Как лучший ученик, сумевший укрепить кристаллическую решётку бытия своим Словом. Он сумел написать за свой короткий, отпущенный земной жизнью срок так мало. Но при этом сказал нам так много, что и поныне действующие поэты не устают поражаться мощи его слова. Тюрин среди тех, кто не позволил обнулить поэзию, к чему так стремилась литература 90-х годов прошлого столетия. И хотя он обронил: «Мне впору молчать» — на самом деле это минутная пауза сомнения так нужной поэту нотки тишины для воскрешения:

Я чувствую, как много впереди
Ни звуком не оправданного гула—
В котором есть миры, но посреди
Которого не плачет Мариула.
А значит, сам он только адресат
Наружных слёз, летящих отовсюду.
Я знаю, что меня не воскресят,
И потому не осужу Иуду.

21.04.1997

После этих строк я теперь тоже среди тех, кто, как прилежный школяр, ищет в рифмах, образах и мыслях Ильи вдохновение и находит золотые россыпи слова для укрепления кристаллической решётки бытия. Читая стихи и заметки Ильи, сделал для себя вывод: надо постоянно больше читать Тюрин не только для узнавания и постижения автора, а для понимания самого себя, и только

себя одного. Читать надо, чтобы обмениваться не столько идеями, сколько сомнениями, которых в наше время многим стало уже не хватать. И среди этих многих теперь нахожусь и я, потому что мне больше всех мало.

«...А что касается «информационного повода», поэзия никогда им не была и не будет. И слава Богу...» — сообщал в письме Ларисе Миллер Борис Рыжий. Но хочется надеяться, что в истории с Ильёй Тюриним поэт ошибся, потому что человечеству всегда не хватает лирических новостей. Есть повод, только он не публичный, не скороспелый ради телевизионной «минуты славы», которую можно, как рукопись, продать.

Десять лет как нет с нами Ильи, а разговор о его стихах не стихает, всё находим, черпаем и возвращаем в культурный оборот русской словесности среди его строчек новости поэтической ноосферы, открывая слово заново. Это о нём можно смело сказать: он вынес Россию вперёд стихами. Поэтому всё больше и больше поэтов притуляется к его таланту. А всё потому, что Илья Тюрин чувствует себя непобедимым, ведь в жизни и после неё не побеждал на творческом Олимпе никого, а поэтическим словом ещё раз доказал: базис поэзии — это генофонд слова. Как «Пушкин — божий псевдоним», так и Илья выступил посыльным Бога в переплёте бытия.

Городок, городок... То и дело
Словари, спотыкнувшись, плюют
На бесовское место; и мелом
Побелён придорожный уют.

Как личинка заводится в Боге
(Не спеша: весь орех впереди), —
Переводишь бессмысленно ноги
И теплу доверяешь пути.

Вот как сделано счастье России,
Счастье мук и земного кольца:
Будто мы дурачка упросили
Нам ни меры не дать, ни конца.

Вот что сделала даль: бесполезный,
Потому и единственный жест.
Мы не спорим — как век наш железный,
Всё занявший, не требовал мест.

И беспечность — избыток кромешной,
Для которой и души тесны,
Тьмы и бедности — только поспешный
Крик с вершины, что мы спасены.

Три часа не хочу оторваться.
Будто в лжи откровенье нашло
То, что вслух побоялось сорваться,
Но и в истине жить не смогло.

Небо движется как-то толчками.
Гибель—спешка, густой недосуг.
Всё, что нужно, мы делаем сами—
Лишь у горя не тысяча рук.

21–22.04.1997

Поэзия—ген и первооснова бытия, а значит, информация без поэзии никогда не существовала и впредь не будет существовать, а тем более осуществляться. Только поэты уровня Ильи укрепляют генофонд Слова, которое всегда, при любом состоянии информации, остаётся с Богом. И Бог ничего им не диктует, как придумали поэты,—он просто с ними заодно, если только на самом деле Господь не является их первым слушателем. Но это уже из области предположений...

Земное отсутствие поэта не помешало построить добротный, крепкий и густо заселённый Дом Ильи, где собираются поэты и читатели, каждый из которых вкладывает в неутрачиваемое строительство здания по своему кирпичику, по досточке строит своё обитание. Материальное воплощение этого дома—литературный конкурс «Илья-премия»—начавшись, как инициатива родителей поэта Ирины Медведевой и Николая Тюрина, стала общим делом многих творческих людей страны. Без официального толковника и постоянной государственной поддержки. Даже если кто-то уходит из этого дома, что тоже есть жизнь, всё-таки навсегда остаётся в нём своим словом, которое неизменно подхватывают другие. Пожалуй, это единственное известное мне гражданское (в данном контексте это наиболее удачное слово) начинание в современной литературе, держащееся на энтузиазме сотен бескорыстных людей, которые в обыденной жизни, может быть, никак себя не проявили бы, потому что им противопоставлена суета сует, потому что в них заложены атомы духовной красоты. И отзываются они только на неё. И хотя всё наследие Ильи вмещается в пару книг, но, как это часто бывает, слово его сеет зёрна и разрастается в других, заставляя мыслить и думать о будущем, формируя актуальное слово нового дня.

Конечно—и спорить тут бессмысленно—многие поэты, собравшиеся в Доме Ильи, смогли бы войти в литературу и прожить в ней самостоятельно. Но кто знает, как бы повернулась судьба поэта из таёжного посёлка Лесогорск Иркутской области Вячеслава Тюрина, не пришли он свои тексты на конкурс «Илья-премия»? Благодаря москвичу Илюше Тюрину «дикорос» из тайги, мыслящий планетарно широко, но прикованный к своей деревне, где по весне «в отогретую флейту берёз дует яростно только северный ветер», выпустил первую книжку в Москве и, только годы спустя, вторую—у себя на родине, в Иркутске. Именно после счастливого признания его в Доме Ильи Тюрина у Вячеслава Тюрина (здесь однофамильство только подчёркивает духовное родство)

сдвинулась с мёртвой точки поэтическая судьба от публикации к публикации, от читателя к читателю. Хотя обстоятельства личной жизни, кажется, намертво приковали его к месту, где сельсоветская Муза чахнет на одной картошке—ведь, как известно, на одном этом продукте таланты не растут. Да и там Бог поэзии жмётся по углам, выцарапываясь из глухомани свободой рифмованного слова:

В лесопарковой зоне города, на отшибе
русской изящной словесности, среди хвои,
куда заезжают для пикника на джипе
любопытные существа, эти вечные двое,
позаниматься на заднем сиденье блюзом,
а затем рок-н-ролом. Есть и другие жанры.
Сюда заплывают, дабы расстаться с грузом
одиночества, крепко друг друга держа за жабры.

И всё же для меня Вячеслав Тюрин—певчий глагол Бытия, сжатый до божественно притягательного Я. Поэт поёт самого себя, и многим теперь его песня становится слышна. Может ли вырваться в урбанизированное пространство поэт из сельсовета? Такие попытки были, и не один раз, но он всегда возвращался в своё замкнутое пустотой пустоты пространство, где ему трудно живётся, но легко пишется каждый день. Хотя не всё, что записывается, отдаётся в печать.

Пригрели в Доме Ильи и вывели на читательский свет вечно путешествующего в «безъязыковом пространстве» до нищеты тела и духа иркутского поэта *Андрея Тимченова*, лирического героя которого «мертвецу протягивает списку». Жизнь поэта оборвалась—по строго запрограммированному сценарию—рано, но вовремя, ведь он «пошёл по свету с лицом Иуды / С отчаянным желанием полюбить и поверить». А в Доме Ильи он продолжает общую и единую для всех дорогу поэта, о котором постоянная обитательница поэтического сообщества *Анна Павловская* (и сама—гран-при Илья-премии) написала самое проникновенное слово, согласно которому «мир Тимченова—это вопящий, кровоточащий мир Иова, в безумии соскребающего с себя черепками гной незаслуженной проказы. Какая-то поистине библейская внутренняя невинность чувствуется за всеми его вопросами-вопросаниями, обращёнными мимо недоумевающей публики—прямо к Богу. Причём сам текст и есть ответ Бога Иову—торжественная песнь, из которой появляется мир: города, дороги, поля». Потому что

У флейты сорвался голос.
Дрогнул и захлебнулся...
Эхо улиц и тонкий волос
на руке...
Утро,
как яблоко, надкушенное несмело.
— Утро,—шептали губы
флейты-Лены.
А потом внезапно зима кончилась.
Все разъехались в разные стороны.
Осталась бессонница
с длинным вдоль сердца корнем.

Нашёл себя в Доме Ильи, прежде чем стал популярным в сетевом пространстве, поэт из Обнинска Валерий Прокошин. Последние годы, а особенно после его смерти, о нём открыто говорят как о мощном одиноком мейнстриме современной поэзии. При жизни ему успели воздать должное и похвалой, и премией имени Марины Цветаевой. Но мы помним, что он был в числе первых завсегдатаев Ильи-Премии, когда о нём знали только в Калужской области. В главной своей прижизненной книге поэт мыслил себя, как и его 19-летний поэт-собрат, между Пушкиным и Бродским. «У поэта всегда есть вопрос, на который пока нет ответа», — заявил в начале своего творческого пути Валерий Прокошин. Но, словно поиграв словами, тотчас добавил: «У поэта всегда есть ответ, на который пока нет вопроса». И тем самым обозначил свой диапазон. Да, он дал в своих стихах ответы, на которые современные философы ещё только ставят вопросы. Его стихи стали ритмической попыткой бытия осветить себя внутренним светом из общака поэзии, завербованного будущим, которое подало Валерию Прокошину руку:

В январе этот вымерший город рифмуется с тундрой,
Потому что ветер срывается с крыш ледяною пудрой
И летит в переулки, которым названия нет,
Где божественный SOS отзывается полубандитской полундрой
И ментоловый вкус на губах от чужих сигарет.

Здесь чужие не ходят: шаг влево, шаг вправо — и мимо
Остановки, которой присвоят геройское имя
Отморозка пятнадцати или шестнадцати лет.
Переулками можно дойти до развалин Четвёртого Рима
И войти в кипячёные воды реки Интернет.

Впрочем, вся наша жизнь — электронная версия Бога:
Этот город, зима, и к тебе столбовая дорога —
Мимо церкви, по улице Ленина, дом номер два.
Если я иногда возвращаюсь к тебе, значит, мне одиноко
На земле, где душа завернулась, как в кокон, в слова.

Всё слова и слова, что рифмуются слева направо,
Невзирая на жизнь или смерть, словно божья отравка —
Боль стекает медовой каплей с пчелиной иглы.
В темноте переулками вдруг пронеслась отморозков орава:
Снегири, свиристели, клёсты, зимородки, щеглы...

Писал, будто чувствуя свой земной конец. Бог проходит сквозь каждого из нас жизнью, но только через избранных Словом. На одних он останавливается, других уводит за собой, ему тоже надо с помощью поэтов на том свете укреплять силу слова. Потому что наша самонадеянная попытка присвоить себе авторские права на Слово вынуждает Господа призывать лучших поэтов раньше срока. Потому что как на этом, так и на том свете без человека поэзия отсутствует.

Человек заполняет пустоты бытия не информационным, а поэтическим говорением — Словом, которого не хватило вначале. Сегодня Поэзия — бытие в оправе Бога, а благодаря ей и Бог — в формате бытия.

Печально, что никто не объяснил
Решительно никак природу слова.
Оно — начало доброго и злого,
С его уходом мир бы ощутил
Такую боль и глубину события —
И вновь бы совершил своё открытие.

Мои слова, рождённые умом,
Ещё не став собой, уже солгали.
Но хуже то, что и в уме едва ли
Я их сказал бы о себе самом.

1999

Это из последних стихов Ильи Тюрина, где мысль неизречённая и немота им засчитаны по разряду лжи, а молчание — спасение. Но при этом молчание ещё и главная часть речи, которая звучит понятно на всех языках мира.

Только поэт после смерти не теряет права голоса. Больше того — часто приобретает Голос более сильный, мощный, который при жизни порой даже не прозвучал. И потому Дом Ильи продолжает активно собирать рифмующих всюду, формируя не союзы ЕДОмышленников, а отряды певчих, за плечами у которых стоит эпоха с перерезанным горлом, формируя современное состояние русской словесности. Как предсказывал Илья Тюрин, даже когда человечество охватывает немота, «...беспокойные пальцы рвут за тишь...» поэзии.

И теперь за горизонтом литературы, обгоняя течение фраз, реку родной речи, закованную в берега рифмы, несчётное множество раз переплывает гениальный мальчик, рождая новое звучание слова... Он плывёт через нашу жизнь по черновикам памяти, стараясь перебраться на другую сторону языка, где главная часть речи поэтов — молчание, исполняет на эшафоте бытия роль задумчивости ненаписанных стихов... Мы всё ещё слышим его шаги, которыми он растаптывает звуки тишины на дне последнего глотка истории. Он напоминает нам, что Поэзия — архив неиспользованной человеческой памяти, закупоренной практическим смыслом неизвестного нам пути, по которому Эпоху нужно ещё пронести вперёд стихами! Стихи — алиби поэта, который ничего не должен этому свету, всех дел у него — представить небу душу, зная при этом, что жизнь продолжается новой песней и оставшиеся здесь эту песню услышат.

Услышат, потому что испытывают повседневную ностальгию по будущему, к которой нас приручил Илья Тюрин. И как точно напомнил всё тот же Андрей Тимченев в своих стихах:

Мы строили дом или даже больше,
Нечто подобное мирозданию...

И мы в этом мироздании говорим и слышим голос поэта, который нельзя заглушить...

Владимир Алейников
**С волшебными
 часами заодно**



37

Владимир Алейников
 С волшебными часами заодно

Из Галактиона Табидзе

I

В час, когда эти строки я посвящаю ночи,
 Ветер в окно влетает, сказки полей бормочет.
 То-то с себя окрестность лунный покров не снимет!
 Ветер сирень целует—кто их сейчас разнимет?
 В небе—колонны дали с их голубиным цветом.
 Столько в нём чувств высоких, сколько в посланье этом.
 Призрачный свет пространства так различим воочью,
 Полон щедрот, как сердце, полное этой ночью.
 С давней поры я в сердце тайну ношу глубоко,
 Ветер её не тронет и не увидит око.
 Что же друзья узнают? Сердце печаль изранит.
 Что же в его глубинах вечно сохранным станет?
 Дум его не похитит миг блаженный и властный,
 Тайны украсть не смогут ласки женщины страстной.
 Нет, ни стон средь дремоты, даже ни кубок винный,
 Не отберут у сердца тёмный покой глубинный.
 Только лишь ночь, бессонна, ночь, за окном белея,
 Тайну мою открыла—что мне поделать с нею?
 Знает моё сиротство, гонит мученья прочь.
 Двое лишь нас на свете: я—и святая ночь!

II

Без любви
 Даже солнце не властвует над небосклоном,
 Ветер кроток—и лес не шелохнётся телом зелёным,
 Чтобы вспыхнула радость в крови...
 Без любви не бывает
 Ни земной красоты,
 Ни бессмертья,—любовь нам его открывает,
 В нём её оживают черты.
 Но насколько иная
 Последняя наша любовь!—
 Как осенний цветок, что, сквозь солнце ростком
 возникая,
 Краше первых весенних цветов!
 Бурь сердечных не кличет она
 И бесцельных страстей,
 Юный пыл позабыв и безумный напев у окна,
 Как давнишних гостей...
 Нет, возросшая в поле
 И к холоду осени вхожа,
 На весенних питомцев тем боле
 Она непохожа...

Не зефир— ураган роковой
Овевает её бытиё,
Вместо страсти былой
Бессловесная ласка объемяет её,—
И тогда увядает
Последняя наша любовь,
Вся— и нежность, и скорбь; нас навеки она покидает,—
Так безрадостно знать: не вернётся прекрасная вновь.
И бессмертья грядущего там, в нарастающей мгле,
Как его ни зови,—
И бессмертья не будет на этой земле
Без любви.

III

Вчерашней ночью ветер прилетал—
И долго я не мог заснуть, к несчастью.
Пристанища тогда я не искал,
Но не было приюта у ненастья.

То всхлипывал за дверью гость ночной,
То сторожем под окнами шатался.
Он прошлое раскрыл передо мной—
И в горести я сразу разрыдался.

И я, как он, в безвестности бродил—
И столько я ночей своих прославил,
И сладостные мысли погубил,
Утехи и мечтания оставил...

Вчерашней ночью ветер прилетал—
И в час, когда настало пробужденье,
Был воздух пуст— и ясный свет упал
На землю без намёка на движенье.

Я вышел в сад. На тропке, в тишине,
Листва уже лежала золотая—
И долго, долго брёл я, как во сне,
В минувшие лета перелетая.

IV

Одинокий, по улице брёл он,
Следом— ветер и дождь, словно братья.
Божества в этот миг не обрёл он,
Не узрел, как ни жаждал, Распятья.

Жар неслышанный в теле почуя,
Шапку снял он. Чело так пылало!
Дождь сгущался, сознание врачуя,
И прохладная мгла обнимала.

Были здания частью пропажи,
Местность мнилась туманною тенью.
Лишь сменялись, шурша, экипажи,
Как пейзажи в цветном сновиденье.

Как, откуда?.. Он вздрогнул впервые,
На мосту неизведанном стоя.
Где же тяжесть? Узнают другие—
Он познал равновесье покоя.

V

Никогда ещё в мире этом не рождалась спокойней луна!
И, в молчанье высот одета, лира вечера, так стройна,
Дуновением тени кличет, их вплетая в недра древес...
В этой кротости, в этой неге я ещё не помнил небес!

Расцвела луна, как мимоза, тонкой нитью свет протяжён,
 И, укрыты её свеченьем, словно лёгкий, воздушный сон,
 Мне видны Кура и Метехи, истомившие белизной...
 Никогда луна не рождалась глаз нежней в глубине ночной!
 Здесь, где царственным сном страдальца призрак старца гордого спит,
 Здесь, где вновь над кладбищем скорбным запах роз с ромашками слит,
 Ниспадает к земле прекрасной горних звёзд бесконечный свет...
 Здесь бродил и Бараташвили: одиночества горше — нет...
 Пусть и я умру в своих песнях — лебедь грустный светлых озёр,
 Только б вымолвить мне, что ночи жив в душе изначальный взор,
 Как у сна вырастают крылья от небес до небес иных,
 И раскрыла синь сновидений паруса мечтаний моих;
 Как щемлящая близость смерти изменяет звучанье грёз
 Человека — лебедя в мире всех гармоний земных и роз;
 Как я чувю, что в море этом для души — умиранья нет,
 Что дорога грядущей смерти — лишь дорожный пурпурный цвет;
 Что на ней золотая сказка — драгоценная дерзость певцов,
 Что не помню я тише ночи — видно, смысл её весь таков;
 Что, ушедшие, рядом с вами я встречаю песнею смерть,
 Потому что певец и царь я — да и как, умирая, не петь! —
 Что за веком вам моя лира будет с песнею отдана...
 Никогда ещё в мире этом не рождалась спокойней луна!

VI

Да, ты венчалась в ночь эту, Мери!
 В ночь эту очи твои умирали.
 Не было горше для неба потери —
 С грустью осенней сравнится едва ли.

вспыхнув, сиянье рвалось мне навстречу,
 Пламя, дрожа, разгоралось сильнее.
 Был отрешённей, чем все эти свечи,
 Призрачный лик твой, сквозь тайну бледнея.

Куполом дивным храм был увенчан,
 Розы сводили с ума, опьяняя,
 Но ожиданьем измученных женщин
 Не исцеляла молитва ночная.

Клятву былую твою вспоминаю...
 Мери, и днесь я не верю — и дале...
 Знаю — мученье со мной, но не знаю:
 Ты ли венчалась? Тебя ль отпевали?

Камни перстней среди скал затерялись,
 Ветра зрачками в рыдании стали...
 Жалость — настигла, с сиротством — спознались,
 Празднества днём этим мы не искали.

Хоть бы шаги меня дальше от храма
 Прочь увели! — Я не видел — куда же?
 Улицей ветер захлопывал рамы,
 Дождь непрерывно твердил о пропаже.

В бурку плотнее закутаться надо,
 Мысли отринуть — как сон, что не сбывся...
 Что это? — Дом её? — Нет с нею сладу! —
 И, обессилев, к стене прислонился.

Скорби ни скрыть, ни постичь не умея,
 Долго стоял я — и, встав надо мною,
 Лишь тополей очертанья, темнея,
 Звучной своей шелестели листвою.

Ветвь тополиная тихо шептала,
 Только — о чём же? — Ах, Мери! — кто знает!
 Видишь — судьба не меня ожидала,
 С ветром порошей она исчезает.

И озаренье меня поразило:
Так исчезает? Молю я—кого же?
Может, мечта свои крылья раскрыла,
Крылья орла, воспарившего всё же?

В небо зачем же с улыбкой глядел я,
Луч твой ловил, ниспадающий свыше?
И отчего же «Могильщика» пел я?
Кто «Я и ночь» мою понял и слышал?

Капли дождя в круговерти мятежной
Ранили сердце обидой высокой.
И зарыдал я—король безутешный,
Всеми покинутый Лир одинокий.

VII

Вечер, знаю, что в сад возле самого храма войдёшь,
Удивление грусти своей ты к нему принесёшь.

Словно росы посыплются с роз на старинные перстни,
Ароматом наполнив твои незабвенные песни.

Только ночью душа прозревает, как Троицу, чуя
Небеса и цветы—и прощанья черту вековую.

Видишь—память, как перстни, пылает огнём впечатлений.
Если демон придёт—пусть, задумчив, стоит среди сомнений.

Из обители ветер сновиденьем уносит сквозь сад
Лишь моление монахинь во тьме: «Пощадите! Он свят!»

VIII

Упал ребёнок в городскую пыль:
Глазищи лани, волосы-мимозы...
И с ветерком, напомнившим ковыль,
Явились Ангелы в лазури, льющей слёзы.

Орала улица, гримасы рож влача.
И солнце и очаг—теперь в каком пределе?
В деревне солнечной дремала алыча
И сёстры пели—но о чём же пели?

IX

Дней игра кружит ли, к нам пристрастна,
Иль цветы пылают в тишине—
Для меня, как день, давно уж ясно,
Что потомство скажет обо мне.

Пусть лета уходят в эстафете,
Ветер сменит ветры всех времён...
Как земля единственна на свете,
Так на ней—один Галактион.

X

Матерь Божия, солнце Мария!
Словно роза в дожде и в песке,
Жизнь моя—только сны золотые
Да лазурь в небесах, вдалеке.

Станут сумерки вестью тумана—
И когда рассветёт не в бреду,
Пивший вина с бессонницей—встану,
Как вдова, я к иконам приду.

Ночь не спавший, изведавший вина,
Прислонюсь я к церковным дверям.
Храм—лучей переполнит лавина,
Чтобы ризам сиять и дарам.

И тогда-то скажу: я вернулся—
Лебедь, раненный садом мечты!
Посмотри—я к ней с детства тянулся—
Как лица изменились черты!

Насладись! Погляди в мои очи—
Эти росы с фиалками грёз,
Горевавшие с винами ночи,
Полны мезью беспамятных слёз!

Насладись! Тем ли живы поэты?
Лишь Тебя ожидая с мольбой,
Пусть душа, точно бабочка эта,
Под Твоею погибнет стопой.

Что бывает взамен? Я не знаю...
Где же счастье для душ на земле?
Словно Дант, я вернулся из Рая—
Ад измучил—я гибну во мгле!

И когда на пути, за ненастьем,
Смертный час осознаю вполне,
Даже вместе с последним причастием
Не придёт Твоё имя ко мне!

Руки сложат... Порой ураганной
Унесут меня кони!.. Тогда,
Пивший вина с бессонницей странной,
Я в могилу сойду навсегда.

Матерь Божья! О солнце Мария!
Словно роза в дожде и в песке,
Жизнь моя—это сны золотые
И лазурь в небесах, вдалеке!

XI

Свиток в ладонях сжимая пергаментный,
Ангел на землю взирал безутешную.
Что же, прощай! Зря поверил я в памятный
Вечер с серьгой алмазною грешною!
Шепчут моления губы бескровные—
Он ещё вспомнит величие горнее!..
Замки Грааля с Лидийской часовнею
Рухнули,—вспыхнуло пение скорбное...
Как побледнела мечта остранинная,
Равная небу в лазурном сиянии,
Облако с тополем—музыкой стройною
В дымке азийской, в плену расстояния!..
Ангел пергамент держал—продолжением
Листья взлетали—не с ними ль терзаемся?
Верил я зря. Мы томилась сближением
Зря—и отныне навеки прощаемся!..
Вихри янтарные занавесь смяли,
Вечер от страха дрожит и стеснения,
Ветер стихает—и розы увяли...
Что же, прощай! Навсегда! Без сомнения!..

XII

Так светла моя жизнь, как прозрачно вино,
И сияет, покуда хватает в ней света.
В ней давно я упрочил величие поэта,
А бессмертье настанет—я понял давно.

Ясных дней хоровод всё такой же, не краше—
И подьемлю я чашу за здоровье ваше,
Чьи знакомства—лишь страсти, увлекшие слово.
Ни грядущего я не боюсь, ни бывшего.

XIII

Ветер свищет, взмывает, летит,
Вслед за ним улетают листья...
Строй дерев изгибая, твердит:
Где же ты, где же ты, где же ты?..
Как дождит, сколько снега—беда!
Не найду я тебя никогда!
Облик ясный твой всюду со мной,
Неразлучный в юдоли земной!..
С неба изморось мысли кропит...
Ветер свищет, взмывает, летит!..

XIV

Есть сердечная горечь—
С ней томишься без толку,
С ней пространству не вторишь,
Да и лира умолкла.

Та, что встарь бушевала,
Кровь замёрзла и сжалась,
Слёз блаженных не стало,
И утрачена жалость.

Если спросят: «Так что же
Сердце гложет, стена?»—
Руки вскинешь—о, Боже!—
Что ответить, не зная.

XV

В волосах давно уж серебриста вьюжность—
Старость эту пряжу выткала, спеша.
Я не обижаюсь, право же, на юность—
Ведь была она на редкость хороша.

Где же повседневность? Тоже миновала—
Ведь её почти не помню на пути.
Жалобы на то, чего и не бывало,
Никогда нельзя нам вслух произнести.

Ужас раздвоенья вовсе мне не ведом—
Никогда не чуял и совсем не знал...
Я ведь жизнь проведаль, чтоб услышать следом
Небывалый, горный, горестный хорал.

Вот холодом повеяло ночным—
И Северу довольно только взгляда,
Чтоб всё насторожилось, став иным,
Уже шуршащим шлейфом листопада.

И долго ли продержится луна,
Скользящая сквозь облачные пути?
И песня, пробуждаясь ото сна,
Не рвётся из гортани почему-то.

Потом скажу—успеется, потом,—
Не торопись, не вздрагивай, не надо,—
И так звучит во мраке обжитом
Серебряная грусти серенада.

И так сквозит растерянная весть
По золоту смолёному залива—
И трепетнее чувствуешь, что есть
Над нами Бог—и смотришь молчаливо.

Повременим—ещё не началось,
Ещё не в тягость мне воспоминанья—
И что-то в душу вновь перелилось
Оттуда, где бывал уже за гранью.

И семенем к небесному крыльцу
Прибьётся и твоя причастность к веку,—
И правда: как в воде лицо к лицу—
Так сердце человека к человеку.

Распознать знакомое струенье—
Созиданье?—нет, сердцебиенье,
Прорицанье, рвение, забвенье,
Состраданье,—вот она, зима!
Серебренье, веянье, порханье,
Привыканье, тленье, придыханье,
Пониманье, жженье, полыханье,
Тайники, задворки, закрома.

Ну-ка вынем джинна из бутылки,
Поскребём растерянно в затылке,
Золотые времени ухмылки
Превратим в песчинки,—полетим
В никуда,—с волшебными часами
Заодно—и даже с небесами
Не в родстве ли?—может, с чудесами
Всё, что проще, видеть захотим.

Не затем я гибнул, воскресая,
Чтобы мгла куражилась косая
Над землёю,—столькое спасая,
Обрести пристанище в тиши
Помогло мне всё, что было близким,
Что высоким было или низким,
Было с ростом связано и риском—
Вот и стало памятью души.

Если можешь, хоть это не тронь—
Не тревога ли в душу запала?—
И зажётся в окошке огонь,
И вихры тишина растрепала.

Сколько хочешь, об этом молчи,
Не твоё ли молчание—злато?
В сердцевине горящей свечи
Всё увидишь, что издавна свято.

Всё найдёшь в этом сгустке тепла,
В этой капле томленья и жара—
Напряженье живого крыла
И предчувствие Божьего дара.

Всё присутствует в этом огне,
Что напутствует в хаосе смуты—
Потому-то и радостно мне,
Хоть и горестно мне почему-то.

Всё, что истинно, в нём проросло,
Всё, что подлинно, в нём укрепилося,
Опираясь на речь и число,
Полагаясь на Божию милость.

Потому он в себе и несёт
Всё, что в песнях продлится чудесных,
Всё, что сызнова душу спасёт
Во пределах земных и небесных.

Вытяни руки, замри,
Приподнимись и взлети—
Сверху на землю смотри—
Вот она, как ни крути,
Вот она, как ни кори
Этот наивный уют—
Вот она вся, говори
Просто, как птицы поют.

Всё-то с тобою не так—
Влаги ли в поле глоток,
Страсти ли вспыхнувший знак,
Вести ли в небе виток—
Нет, не ворчи, погоди,
Повремени, отдышись—
Всё, что теснится в груди,
Высказать людям решишь.

Выносив это давно,
Выразить это сумей—
Пусть это с тем заодно,
Что откровенья прямей,
Пусть это с тем, что внутри
Круга, в котором заря,—
Вот оно рядом—бери,
Миру скорее даря.

Надо ли, чтобы слова разрастались,
Вместе с растеньями в песнях сплетались,
В сумерках прятались, в мыслях взметались,
В листьях сумбур учинив?
Сколько бы им на простор ни хотелось,
Как бы за ветром к дождям ни летелось,
Где бы развязка вдали ни вертелась,
Ток их широк и ленив.

Где бы решимости им поднабраться,
Как бы вольготностью им надышаться,
Как бы с наивностью им побрататься,
Чтобы опять одолеть
То ли стеснение, где некуда деться,
То ли смирение, где впрок не согреться,
То ли томление, где в тон не распеться,
Вырваться — и уцелеть?

С кем бы им там на пути ни якшаться,
Как бы о прожитом ни сокрушаться,
Где бы ни рушиться, ни возвышаться —
Нет им покоя, видать,
Ибо успели с раздольем вскружиться,
Ибо сумели с юдолью сдружиться,
С долей намаяться, с болью прижиться, —
Знать, по плечу благодать.

Дай же им, Боже, чтоб реже считались,
Больше ерошились, чаще скитались,
В дни переплавились, в годы впитались, —
В будущем, их ощутив
Где-то, насупясь, а всё же надеясь,
Что-то почуяв, что ждёт, разумеясь,
Кто-то изведает, высью овевая,
Ясногосый мотив.

По-русски, в отличие от всех, говоря,
Живу я, хоть время не в духе, —
Всё круче замес — и тревоги не зря
Присутствуют в зреньи и слухе.

Так что же сулили мне только вчера
Цветов прихотливые формы,
Бугристость степей, пустотелость двора,
И листья, и зимние штормы,

И лёд кисловатый, и привкус тепла,
И лавры заросшие славы,
Которая в юности к свету взошла,
А ныне заброшена, право?

По-прежнему надо грядущего ждать,
Где речь моя будет нужнее, —
Ах, только бы всё, чем я жив, передать
Потомкам неведомым с нею.

Кто из нас в одиночку поймёт
Посреди беспристрастности буден
Тот порыв или, может, полёт,
Где о том, что мы знаем, не судим,
Где откроется — третий ли глаз
Или зренье обветренной кожи,
Не впервые? — и в этот уж раз
Кто-то сразу прозреет, похоже.

Посреди беспредельных щедрот,
Незавненного сада затворник,
Неизбежный приняв поворот,
Бывший лодырь, богема и дворник,
Неумеха, бродяга, бахвал,
Кто-то выйдет на верную тропку —
И безмерного счастья обвал
Не отправит за листьями в топку.

Безмятежный, торжественный сон!
Ты-то мнился мне встарь нереальным,
А теперь, высотой просветлён,
Навеваешься словом похвальным,
Где роса на ветвях тяжела
От присутствия лунного в мире
И хула никому не мила,
Потому что участие всё шире.

Там, где прячется в скверах Москвы
Тот, до коего нету мне дела,
Даже рыбу едят с головы —
Что же люди? — да так, надоело,
Где кочевья в порядке вещей
И пощады не ждёт наблюдатель,
Видеть въявь, как Дракон иль Кашей
Правит всеми, — спаси же, Создатель!

Разыскать бы мне ключ от чудес,
Приземлённых в ряду с тайниками,
Чтобы стаи в просторе небес
Пролетали в ладу с лепестками,
Чтобы зримая глубь обрела
Очертания зримые ночью —
И душа оставалась цела,
Всё живое приемля воочью.



Вадим Ковда Горечь

44

Вадим Ковда
Горечь

Попытка романса

Ту давнюю любовь сегодня не забыл.
Она ещё чадит и тлеет, догорая.
Благодарю тебя за то, что я любил...
За то, что я любил,— спасибо, дорогая.

Как я тебя нашёл среди скуки и забот!
Как мы себя вели в те дни неосторожно!
Мы знали хорошо, что та любовь умрёт,
что будущего нет и встречи невозможны.

Уходят те года... Они уже вдали...
Но вот опять слеза, шепчу слова всё те же...
И не могу понять: как мы на это шли?
Ведь не дала судьба ни шанса, ни надежды...

*«Земную жизнь пройдя до середины...»
Божественная комедия Данте*

Земную жизнь пройдя на три четвёртых,
вдруг осознал сегодня поутру,
что я, пожалуй, всё ещё не мёртвый,
но что и я когда-нибудь умру.

Живу в разладе с временем и музой.
Но ускользнул от скуки и от лжи.
И выкарабкался изо всех иллюзий,
и сохранил цветение души.

И проявил упорство и сноровку.
А долго был лишь мальчик для битья!
Я побыл в жизни, как в командировке,
как в отпуск съездил из небытия.

Пожив в земной, нескудной обстановке,
наев, напив, нашкодив, я—балда,
вернуться должен из командировки
в родимое дурное *никуда*.

Нечистой совести урок...
Да! жизнь была паскудна.
Учись проигрывать, дружок,—
выигрывать не трудно.

Пусть тяжело жить. Что есть—то есть!
Но для Руси—нормально!
И помни: всё, что в мире есть,
окончится печально.

Пусть предаёт тебя страна,
блатная и хмельная,
Не предавай её, она—
родная и больная.

После похорон

Памяти Сергея Дрофенко

Все уехали, ушли...
Стало пусто, стало горько.
Пелена сошла с души—
суеты сухая корка.

Тишина без слёз, без слов...
На исходе бабье лето.
Низкий холмик из цветов,
рамка чёрная портрета...

Рыжий луч с небес летит,
рыжий лист с куста свисает...
И душа светло болит.
Может, это и спасает.

Неопрятная опушка
сирого леска...
Говорливая кукушка.
Лютая тоска.

Хорошо б забыть, забыться
в дебрях суеты.
Жить, как бабочки и птицы,
дети и цветы...

У прохожих свет на лицах...
Длится день, звеня...
Эта жизнь в цветах и птицах
всё ж не для меня.

Даже нечего пытаться
так прожить всерьёз,
Даже если и удасться—
не избежать слёз.

Незабудки вдоль кювета
травы, лопухи...
Словно Тютчева и Фета
ранние стихи.

Верил музыке и книжкам...
Сожжены мечты.
Тяжело мне, если слишком
много красоты.

Не привык, чтоб громогласно
свет царил в судьбе
Тут настолько всё прекрасно—
мне не по себе.

Шмель поёт—цветок смакует,
Воздух стриж стрижёт...
А кукушка всё кукует...
Неужели лжёт?

Дошкандыбал, добрёл, не сломался ...
 Всё ж хватило упорства и сил.
 Но сломал всё, к чему прикасался,
 Всё, что выиграть мог — просадил.

Утешаю себя: — Ведь не вечер!!!
 — Вечер! Вечер!!! — Давно уже ночь...
 Я за всё, что случилось, отвечаю...
 И никто не сумеет помочь.

Потерявший и близких и милых,
 ни на что не желаю пенять...
 Но себя поменять я не в силах...
 И страну не сумел променять...

Что юлить? — ложь — дурная примета...
 Нелюбовь на себя навлеку.
 Я готов защитить всю планету...
 Но себя от себя — не могу.

Так и Родина — страшная сила!
 Пала в грязь — никудашны дела.
 От фашиста весь мир защитила...
 Но себя от себя — не смогла.

Горечь

Вырвались души и с небом смешались.
 Цепкие беды сгорели дотла.
 Мы тихо плакали и улыбались,
 видя, как наша свобода цвела.

Вот! Наконец-то! влились в бесконечность.
 Вот и настало решение проблем...
 Но появилось неясное нечто,
 что не вмещается в логику схем.

Шли неприметные месяцы, годы...
 Начали радость и свет угасать.
 Что потеряли мы, выбрав свободу,
 чувствую, но не умею сказать.

Небо бескрайнее, горы и воды...
 Но не ликует моё существо...
 Что потеряли мы, выбрав свободу?
 Мы ж не имели почти ничего...

ДиН дебют

Людмила Самотик

Химия откровений

Не наша эта печаль —
 Вычитали между строк,
 Услышали между нот.
 Остальное додумали сами.

И опять перед сном — чай,
 И крепкий напиток, счастье,
 Занюхиваю твоими волосами.

Когда ладони —
 Шершавые от мозолей,
 Прикосновения глубже
 И интересней.

Чтобы песню
 Можно было назвать песней,
 В ней должно быть
 Хоть немного боли.

Счастье ловила
 В мелочи,
 В ключах,
 Звнящих в кармане,
 В мелочах.
 А твой взгляд
 Подобен щёлочи...
 Яд,
 едкий натр,
 Изнутри разъедает меня.
 Он не жар огня,
 Не божий дар,
 Не пожар.
 Просто химия.
 Взглядов, вдохов, мгновений.
 Химия откровений.



Сергей Сутулов-Катеринич Выдох на слове *Love*

Выдох на слове *Love*

Из моего сна до твоего — влёт! —
Речка, гора, страна, если встречать восход.
Из твоего сна до моего — вспять! —
Облако, вдох, волна, выдох на букве *ять*.
Аура мрачного сна: дьявол, полярная ночь,
Северная война, Западная, Восточ...
Боже, по чьей вине делят чужую роль
Горькая нота *не*, сладкая нота *соль*?!
Из моего сна до твоего — в ряд! —
Море, янтарь, сосна, если простить закат.
Из твоего сна до моего — вплавь! —
Озеро, вдох, весна, выдох на слове *Love*.
Азбука белого сна: жив тополиный пух...
Чёрной тоске хана, если махнуть на юг.
Господи, сохрани треснувшую свирель,
Синюю ноту *ни*, красную ноту *ре*.
От моего сна до твоего — сон,
Солнце, ковыль, Луна, смех, сигарета, стон.
Сонная, сбереги дробную русскую речь —
Ижицей не солги, рифмами не калечь!
Снова лечу, плыву — Вечность от сих до сих...
Встретимся наяву, если запомнишь стих.

Пушкин и Аполлон

Пушкин — это наше всё.
Лучше скажет только Пушкин...
Наши души на прослушке —
Кот учёный у «Горбушки»
Крутит жизни колесо.
Пушкин — наше всё. Ура!
Каждому понятна эта
Формула добра и света,
Строчка Третьего Завета,
Фраза умного пера.
Пушкин — наше всё... Увы:
Бесы кровью оросили
Сказки пушкинской России —
Страшен выбор: али?! — или?!
Витязя без головы.
Пушкин — дар богам и вам,
Предки, пастыри, потомки...
Двести лет — секрет в котомке,
Тыща лет вперёд по кромке
Вечности — хвала волхвам!
Пушкин — имя вне времён.
Гимн весёлый, лёгкий, дерзкий! —
Блок... Ив́анов... Достоевский...
Вот и я смеюсь по-детски:
...плюс Григорьев Аполлон.

Баллада о невзорванных вагонах

*Молчали жёлтые и синие;
В зелёных плакали и пели...*
Александр Блок

Заскрипели, закричали, загудели,
Запечалились, заохали, заспорили,
Заглушая предрассветные свирели
Привидения почтовые и скорые.
Заартачились на стыках, заорали,
Разгоняя загогулины гитарные, —
Пощадите полустанки, бога ради,
Пассажирские, курьерские, товарные!
В запакованных пространствах задурили,
Закурили, промышляя преферансами...
Познакомились Серёги и Марии.
Перессорились хохлушки с иностранцами.

Ах, вагончики с путанами, бомжами,
Краснобаями, торговками, разинями,
Помяните сокровенные скрижали —
И зелёные, и жёлтые, и синие.

Анекдоты, перебранки, пересуды,
Полупьяный проводник, тоска железная,
Ресторанные придуманные судьбы,
Одиозная интрига, бесполезная...

Замерцали, задрожали, засверкали,
Запорхали светлячками-бедолагами
Города, перекрещённые веками,
Деревеньки, оскопленные ГУЛАгами.

...Хорошо бы, кабы так... Тогда ещё бы —
Хоть до Зуево, которое Орехово...
Без тротила в небоскрёбах и хрущёбах!
Без чеченца, отрицающего Чехова!

Любовь—эпиграф? эпилог?

романс сто лет спустя...

Пора признаться, не покаявшись,
В любви, которой след простыл...
Покурим, милая, на камушках:
Нева ворчит—шалят мосты.

Река ночными машет крыльями,
Как чудо-юдо-птица-кит...
Сто лет назад недооткрыли мы
Ни антарктид, ни атлантид.

Недосмеялись, недоплакали:
Тебе—Парнас, а мне—Кавказ...
Судьба, запугивая плахами,
Дворцы творила напоказ.

Фантомы песен изувеченных,
Прозрачных чувств и фраз простых...
Прикурим, милая, у Вечности:
Нева вот-вот простит мосты.

...Из-под обложки ветхой Библии—
Листок...—эпиграф? эпилог?
«Ах, как друг друга не любили мы...
Ах, как любили мы, мой Бог!»

Эпоха Возрождения

Перестань печалиться ни о чём—
За тебя кручинится Кабы-сдох...
Листопад имён—за твоим плечом,
За моим плечом—хоровод эпох.

Мы любили так, что рыдал Бальзак...
Перископ креста: красный поп!
Освистал судьбу анархист-казак.
Перескок секунд: Перескоп...

Уплывал в Стамбул петербургский дед—
Промахнулся внук-комиссар...
Сочиню роман, чтобы чувству вслед
Адмирал Колчак воскресал.

Нарисую нас молодыми вдрызг—
Клоунада лиц, изумруд зеркал...
На планете Икс Принц танцует твист:
«Василису псих разыскал!»

За твоим плечом—парафраз берёз.
За моим плечом—караван стихов.
Сатана-суфлёр транспарант вознёс:
«Кровью кров поправ—вариант веков!»

Кабы-сдох живёт, хвостик—калачом.
Отскулил щенок, отдрожал...
За моим, ещё не чужим плечом,
Ты—одна и пара держав.

Страшная сказка о Демоне, или Чёрно-белый ролик об Ангеле

Демон, причисленный к лику святых,
Пьяно храпит на Покровском бульваре—
Понтий Присяжных, Пилат Понятых—
Два предынфаркта астральных аварий,
Два артефакта, два профиля, два
Паспорта, почерка, два псевдонима...
*Демону снится пустая Москва,
А на Поклонной—чертог Херувима.*

Крылья чужие сжигает заря.
Два капитана мусолят бумажки:
— Понтий Присяжных?! Понтуешься зря.
— Понято, Понтий! Понятно—по ряшке!
— Врёт, присягая, что он—Понятых.
— Пилит: паскудно перечить Пилату...
Демон ударит в кадык и под дых—
Два кандидата в Шестую палату.

Два документа плюс сотня ещё—
Подлинных, подлых, нахальных, нелепых—
Служат Пилату мечом и плащом,
Понтий бумажками храмы облепит...
Маски, фамилии, пляски личин,
Драма комедии, фарс пасторали.
Ангел и Демон—почти ильичи?!—
Две половинки скандальной медали.

Страшная сказка рассказана для
Глупых тинейджеров, вредных старушек?!
Спит сатана в офицере Кремля,
Дремлет в чинуше, петруше, марфуше...
Чёрными крыльями стёрта спина.
Белые флаги для светских прогулок.
*Демону снится пустая страна,
А над Уралом—дворец Вельзевула...*



Геннадий Фролов
**Нежного клевера
сонный трилистник**

48

Геннадий Фролов
Нежного клевера сонный трилистник**Стансы***Н. Поснову*

1

Солнце пылающим кругом
Тонет в морозном дыму.
Был ли кому-нибудь другом,
Любящим был ли кому?

2

Грусть заметённой равнины,
Сумерек сизый свинец.
Что вы видали от сына,
Бедные мать и отец?

3

Сухость пронзительной стужи,
Зябких ночей тишина.
Что в этой жизни от мужа
Ты ожидала, жена?

Мне снятся мёртвые друзья
Уже какую ночь.
Но если в этой жизни я
И мог бы им помочь,
То там, где их скрывает темь,—
Забывшийся во сне,—
Зачем я нужен им? Зачем
Идут они ко мне?

Зачем они, потупив взгляд,
Присев в моих ногах,
Со мной беспечно говорят
О прежних пустяках;
Твердят мне с жаром молодым
До самого утра
О том, о чём давно бы им,
Как мне, забыть пора?

4

Хлопьев колючая вата,
Мутный рассвет декабря.
Где же всё то, что когда-то
Я оставлял для себя?

5

Зимнего утра усталость,
Вымерзший сад на корню.
Что же я чувствую жалость
К каждому новому дню?

6

Вьётся, кружится пороша,
Выдут и пуст окоём.
Что же я мучаюсь прошлым
Больше, чем в прошлом самом.

Как мне поверить, что они
Сквозь дали и года
Лишь для бесцельной болтовни
Являются сюда?
Иль правда то, что до сих пор
Я отгонял, как мог,—
И этот лёгкий разговор—
Их ласковый намёк?

Намёк на то, что даже там,
Где все они сейчас,
Никто не помогает нам
Избавиться от нас;
Что и за крайнюю чертой,
От ужаса дрожа,
Наедине сама с собой
Не может быть душа?

Старуха

Старуха идёт, спотыкаясь,
По улице. Следом за ней,
Крича, хохоча и толкаясь,
С портфелями пять малышей.

Что им до поникшей фигуры?
Они и не видят её.
Им весело в сумраке хмурым,
В кругу равноправном своём.

Они говорят торопливо,
Друг друга не слыша, не в лад.
На гребне высоком прилива
Их юные души парят.

В просторе бескрайнего мира
Им радостны первые дни.
И смотрит старуха, как мимо,
Смеется, пробегают они.

Шаги достаются ей трудно.
Она отдыхает, дрожа,
Вцепившись в афишную тумбу,
Натужно и жадно дыша.

Над ней приглашенья на вечер,
Портреты певиц, имена.
На голые бальные плечи
Невольно косится она.

И страшно от мёртвого взгляда
Бесцветных слезящихся глаз.
Так что ж ей, зажившейся, надо
От жизни, летящей на нас?

И надо ли что-нибудь жизни
От нас, уходящих во тьму?
Мы жили, мы жили, мы жили!
Но живы ли мы? — не пойму!

Но живы ль? — не знаю, не знаю...
Ловлю и теряю опять.
Ну, кажется, вот! понимаю!
Да нет, ничего не понять.

И вновь в тишине замираю
И слышу, как вечность скрипит,
Как будто замок запирают
И сторож ключами гремит.

О эта тоска человечья,
Отвага в неравном бою!
О эта ребячья беспечность
У бездны на самом краю!

Где все мы: старуха и дети,
Афиши, сугробы, дома —
Плывём в ледяной круговерти
Сошедшего с мысли ума!

Плывём, задыхаясь, старея,
Ловя дуновенья тепла, —
Со свистом проносится время
Сквозь лёгкие наши тела!

И в свисте теряется хохот
Мальчишек, бегущих гурьбой,
И плач мой, и жалобный шёпот
Старухи, идущей домой!

Вишня на склоне июньского дня,
Нежного клевера сонный трилистник.
Радуюсь я: они лучше меня!
Равенства требует только завистник.

Я ж не завидую ни соловью,
Ни золотому спокойствию сада.
Разве стесняет свободу мою
Сбитая мною из тёса ограда?

Нет, не стесняет! Я к птицам в родство
Не набиваюсь. И так в этот вечер
Мне хорошо под густою листвою
Яблонь, вздымающих пышные плечи.

Всем нам даны и призванье и труд:
И соловью, и цветам, и деревьям;
Солнцу и звёздам, что скоро взойдут
На небосводе и юном, и древнем.

Нет одиночества в мире живом,
Если несёшь с ним единую ношу
Песней весенней, осенним плодом,
Лётом семян в ледяную порошу.

Новым побегом взойти ли в золе,
Стать ли золою, питающей корни:
Бог в небесах, государь на земле —
Мир и в домах, и в обителях горних.

Только один есть у каждого путь,
Всё остальное — окольные тропы.
Да не дозволит на них мне свернуть
Доброго дела спасительный опыт.

Да уведёт от пустой суеты,
Воли не дав непомерной гордыне.
О да веки минуй меня ты,
Ревность к отцу, недостойная в сыне.

Вот и закатное льётся вино
В ночи узорной горящую чашу.
В каждом мгновении жизни дано
Нам охватить всю вселенную нашу.

Что тут прибавить и что тут отнять!
Без старшинства невозможно и братство.
Лишь полнота нищеты нам понять
И позволяет ущербность богатства.

Всё есть у вишни и у соловья,
Всё есть у ветра и дальней зарницы.
Лучше меня они: радуюсь я!
Есть мне пред кем в восхищенье склониться.

Есть и молчать, и сказать мне о ком
С тихой улыбкой любви неслучайной
Словом, на землю упавшим легко,
В небо растущей безмолвною тайной.

—
День да ночь—
Сутки прочь!
Снег кружит,
Собачий брѣх.
На столе стоит
Покупной пирог,
Полстакана чая,
Рюмка коньяка.
Над тобой качают
Крыльями века.
Начинаешь сразу
На вопрос ответ,
А кончаешь фразу
Через тыщу лет.
И доносит эхо
На чужой порог
Только шорох снега
Да собачий брѣх.
Что же неизменно
Нас гнетѣт в тиши?
Овекает стены
Сквознячок души.
И, в лиловой рюмке
Расплескав коньяк,
Подбирая юбки,
Мысль уходит в мрак.
Бровь черней, чем уголь,
Подрисован рот.
Ледяную вьюгу
Переходит вброд.
И, дрожа от стужи
Средь вершин и бездн,
Отгоняя ужас,
Прячется в подъезд,
Где, стуча зубами,
Ждѣт шальных гостей,
Трогая руками
Холод батарей.

—
Дни проходили, шаг чеканя,
И поступь кованых сапог,
Их скрежетание о камень
Уже не слышать я не мог.

В каком-то тягостном кошмаре
Мне всё мерещилось одно:
Сухой колючий запах гари
И дыма кислое вино.

Угар побед и поражений
Был одинаково тяжѣл,
И не являлся чистый гений,
Чтоб осенить рабочий стол.

Я звал его, но чуткий шѣпот
Терялся в возгласах команд,
И доносился только топот
— Куда? — шагающих солдат.

Иные тени прилетали,
Дыша чумою и огнѣм.
Их крылья глухо скрежетали
В мозгу измученном моѣм.

Они нашѣптывали нежно,
Очами сытыми дразня,
О власти слова и железа,
О вкусе крови и огня;

О том, как радостно слиянье
С ревущей дикою толпой,
О том, как сладко обладанье
Своей поруганной душой!..

Шимон Токаржевский

Среди умерших для общества

Зарисовки из жизни поляков в Сибири¹

Перевод с польского Мэри Кушниковой

С особым чувством редакция «ДиН» представляет читателям фрагмент масштабного труда известного польского патриота, литератора и общественного деятеля XIX века Шимона Токаржевского. Как многие его соотечественники, борцы за освобождение Польши, большую часть жизни Токаржевский провёл на каторге и поселении в Сибири. Восьмикнижие его воспоминаний под общим названием «Сибирское лихолетье» — предмет неугасающего интереса историков, культурологов, литературоведов. Достаточно упомянуть, например, лишь о том, что на омской каторге вместе с Токаржевским находился Ф. М. Достоевский и об одних и тех же событиях оба написали по-разному, каждый «со своей колокольни», — чтобы этот интерес оказался не только объяснимым, но — само собой разумеющимся. Становится загадкой как раз другое: почему книги Токаржевского до самого недавнего времени не были переведены на русский язык? Этот досадный недостаток в нашем культурном багаже наконец восполнен, благодаря — не побоимся этого слова — подвижничеству двоих кемеровчан: искусствоведа, переводчицы, публициста Мэри Моисеевны Кушниковой и её помощника, литературоведа Вячеслава Тогулева. «Сибирское лихолетье» в 2007 году вышло в Кемерово на русском языке крошечным тиражом и сразу же стало раритетом. Мы пользуемся случаем ещё раз поблагодарить кемеровских коллег за возможность публикации уникального текста на страницах нашего журнала.

Редакция «ДиН»

На Иртыше

Светало... На светло-сером небосводе из-за лёгких опаловых облачков местами проглядывали как бы только что расцветшие бледно-розовые цветы.

Из-под тонких, прозрачных предрассветных покровов мглы начал проглядывать погожий, летний, жаркий день, розовели воды Иртыша, а на бескрайних киргизских степях, что тянулись по ту сторону величественной реки, появились светлые полосы, что предвещало: сейчас покажется солнце. И вскоре оно показалось, щедрое и лучезарное.

Тут же повеял живительный ветер... Какое-то радостное оживление послышалось над Иртышем, над степью, над дальним аулом кочевников, над табуном пасущихся коней и над скалистым берегом, который при солнечном восходе заискрился, словно посыпанный крупными песчинками золота.

По этому берегу в тот ранний час ватага каторжников омской крепости отправлялась на работу.

Барабан, подающий заключённым сигнал подъёма, отбивал дробь задолго до рассвета.

Но никто не жаловался на такую раннюю побудку, потому что жаркие летние ночи в душном воздухе каземат были истинной пыткой, после которой даже самая тяжёлая работа под открытым небом, на свежем воздухе, казалась живительным облегчением.

В тот день нам надлежало в мрачном старом бору начать прорезать гущу, прокладывать дорожки, делать на деревьях зарубки, «зачёсы».

И всё это, чтобы губернатор Западной Сибири Пётр Дмитриевич Горчаков мог здесь легко ориентироваться во время охоты, которые затевал, чтобы развлечь и в знак почтения к чиновникам, приезжавшим из Петербурга для проверки.

С лопатами на плечах, с топорами в руках, мы маршировали бодро и весело.

Веселы были все без исключения.

Даже обычно хмурый и ворчливый дозорный на сей раз не ругался, не поторапливал, не грозил «пулей в лоб» за задержку, не осматривал, крепко ли привинчены кандалы, что делал постоянно, поскольку каторжане работали в лесу, в степи, над Иртышом, либо на отдалённых от Омска полях и на тракте.

Творец живописной природы и благоуханного воздуха на время смягчил дозорного и сделал его весёлым и даже снисходительным.

Он стал до того снисходителен, что велел бить в барабан на отдых уже в половине двенадцатого.

И тогда целая ватага вышла из бора из-под тени древних деревьев и группами разместилась на траве.

Мы, поляки, сели с краю, стараясь, как обычно, занимать возможно меньше места, ничем не стесняя наших сотоварищей по каторге, чтобы не вызывать их недоброжелательности, но и не привлекать их внимания...

Фёдор Достоевский и Сергей Дуров присоединились к нам.

— Сегодня впервые с тех пор, как прибыл в острог, в первый раз дышу сейчас полной грудью и испытываю приятные впечатления. Такое впечатление, будто я не на каторжных работах, а как свободный человек на какой-нибудь загородной

1. Печатается с исправлениями по: Токаржевский Ш. Сибирское лихолетье / Пер. с польск. М. Кушниковой; сост. и авт. предисл. М. Кушникова, В. Тогулев. — Кемерово: Кузбассвузиздат, 2007. — с. 337–410. Сост.

прогулке,—сказал по-французски писатель Фёдор Достоевский.

Каторжники-преступники ненавидели «политиков»². Поэтому, если случалось, что между собой мы говорили не по-русски, они просто впадали в ярость.

Хотя до сих пор исключительно французские разговоры Фёдора Достоевского раздражали, сейчас мы не обратили на это внимания, может, оттого, что он обратился к нам любезно.

Только арестант Сушилов сплюнул сквозь зубы в нашу сторону и, презрительно оглянув нас, запел во всё горло:

Пётр через Москву прёт,
А теперь верёвки вьёт.

Тут же посышались хохотки вслед насмешливой песенке Сушилова.

Но вдруг общее внимание обратилось к пришедшим из города «калачницам».

Калачницами звались девчата, которые разносили «сайки».

Для многих омских женщин выпечка таких пшеничных булочек составляла неплохой источник заработка, хотя за добрую сайку платили всего полкопейки.

Крепостные заключённые толпами покупали сайки, хрустящие, свежие, и поедали их так же жадно, как вглядывались в румяные лица и ладную стать молоденьких продавщиц.

Они тоже приязненно и охотно «зыркали» на ловеласов с наполовину обритыми головами, с выжженными на лбу и на щеках клеймами, с кандалами на ногах.

Где бы ни работали каторжане, за забором острога, в предместье или на окраинах города, в кирпичных мануфактурах, в сараях и кузнях или на ремонте тракта после осенней слякоти или весенних паводков, в любое время года,—в полуденный час отдыха всегда появлялись эти девчата с корзинками булочек, и их встречали бурными проявлениями радости и вступившими колкостями.

Подойдя к булочницам, каторжане весело загалдели:

— Ксекунда! Марьяшка! Хаврошка! Мы уже давно мечтали погрызть ваши сайки. Почему сегодня так поздно? Где валандались?

— Помогали матушкам высаживать сайки из печи,—отвечали девчата.

— Так-с?! Бендерская хвороба на вас, какая это правда!

— Глянь-ка! Он ещё и проклинает!—с притворным возмущением парировали калачницы, а Ксекунда важно заявила:

— Я вам скажу чистую правду. Правда, чистая как золото: со вчерашней полночи до сегодняшнего полудня мы всё время танцевали...

— В кабаке, под рыжим псом,—прервал Сушилов,—у паршивого Элиашки...

— А неправда! А врешь!—вроде бы обиделась Ксекунда,—не в кабаке и не у Элиашки, а у самого генерала, мы здорово позабавились с офицерами.

— Пусть у генерала,—сказал Сушилов,—генерал большой человек! Но генерал генералу рознь! И вот что скажу вам, миленькие девчата, вы у какого-нибудь бандитского генерала баловались...

Эта шутка вызвала взрыв хохота и возмущение калачниц—так закончилась оживлённая перепалка.

Сушилов ещё и пригрозил девчатам:

— И смотрите, соломенные коровы, чтобы не скалили зубы в сторону политиков!

— А мы вот как раз и собираемся! «Приказ» твой, а воля наша!—хохотали девчонки, ошарашенные беседой с кавалерами, но и тем, что в их кожаные кошелёчки так и сыпались грошики за булочки, которые вместе с водой из источника, что сочился с ближайшей скалы, составляли основную часть нашего обеда.

С пустыми корзинами на головах, булочницы уже собрались уходить, дозорный уже должен был отдать приказ, чтобы мы вернулись в лес к начатым работам, когда пред нами предстало пречудное видение... Посреди Иртыша плыла ладья, украшенная зелёными гирляндами, в которых местами проглядывали разноцветные цветы.

Величественная, роскошная, в виде огромного лебедя, с пурпуровыми парусами и флагом с надписью «*Mon plaisir*»³...

За ней, как бы сопровождающая, плыла целая флотилия меньших лодок, выкрашенных в белый цвет, тоже роскошных и с разноцветными парусами. Там сидели женщины в светлых платьях и шляпках, были и военные высших чинов в парадных мундирах квартирующего тогда в Омске полка «*красноярцев*».

Течение реки легко уносило эти красивые, изящные силуэты.

Гребцы шевелили вёслами только изредка и как бы скуки ради, и вскоре полковой оркестр в сопровождающей флотилии заиграл *fortissimo*⁴.

Смех и пересуды среди каторжников прекратились внезапно.

На ладьях тоже, вероятно, говорили очень негромко, потому звуки оркестра вместе с лёгким плеском волн Иртыша звучали среди окружающей тишины слаженно, мелодично и впечатляюще.

— *Freischütz!*⁵—вскричал Сергей Дуров.—Ах! На этой опере мы были вместе в Петербурге. Помните, Фёдор Михайлович?—спросил он Достоевского.

Тот печально улыбнулся и ответил:

— Помню...

И оба умолкли...

А между тем, флотилия уже доплыла до нас. Каторжники обнажили головы и стали во фронт, лицом к реке, напряжённые, как струны...

Конвойные солдаты отдали честь. В первой из изящных лодок, той, что с пунцовыми парусами, среди военных и штатских чиновников из Петербурга и омской знати, сидевших на скамьях, покрытых коврами, первое место занимала генеральша Шрамм⁶.

2. Политиками преступники называли политических заключённых. *Прим. авт.*

3. «Моя радость» (*фр.*). *Прим. пер.*

4. «Очень громко» (*ит.*). *Прим. пер.*

5. «Вольный стрелок» (*нем.*), опера. *Прим. пер.*

6. См. «Семь лет каторги». *Прим. авт.*

Справа от неё сидел какой-то петербургский чиновник, а слева — губернатор, князь Пётр Горчаков.

И эта флотилия с гирляндами зелени и цветами, с разноцветными парусами, с музыкой, — эта флотилия, полная свободных, статных, уверенных в своей безопасности людей, посреди величественной реки плыла перед нашими глазами, как фантастическое явление, колдовское видение, или сон, приснившийся наяву, в этот солнечный июльский полдень.

Флотилия медленно исчезала из вида...

Истинно мимолётное видение... медленно удалялось... удалялось, пока не исчезло за выступом скалы, что остро врезалась в Иртыш.

Мелодия из «Вольного стрелка» тоже стихала в благоухающем золотистом мареве... пока совсем не утихла, и только шёпот ветра слышался над старыми деревьями...

Мы вернулись в лес, к прерванным перед полднем работам.

Но прекрасное видение, что мелькнуло перед ватагой этих людей, которых мучили голод, нужда, неволя, унижения, — это прекрасное видение всколыхнуло в них желчность, зависть и ненависть к тем счастливым избранникам судьбы, которых они видели мгновением ранее.

— Слякоть, нелюди, подлые кобылки⁷, имеют тысячные состояния, челядью обросли по горло, как генералы, валяются на мягких перинах... Каждый день напиваются, как короли... *Сволочь*, а не люди! — сказал Скуратов, хромой безобразный карлик, похожий на гнома.

Вздыхнул, отхаркался, сплюнул сквозь зубы и, поворотившись к нам, полякам, издевательски смеясь, спросил:

— Ну-с? Как вам? Ничего себе, а?... Господа *шляхта*?

И хотя дозорный, прапорщик Иван Матвеевич, методично одёргивал:

— Мелете языками, как мельничные жернова! Кому говорю, молчать!

Напрасны были понукания.

Напрасны были и угрозы кнутом. Работа шла медленно, вяло, лениво...

Сегодня метка деревьев утруждала нас и раздражала, хотя это была одна из самых лёгких работ.

Часы тянулись нестерпимо долго!..

А бор тем временем всё более мрачнел, в нём стало душно...

Верхушки деревьев сотрясали зловещие порывы ветра...

Из толпы прокладывающих дорожки послышался громкий голос, доносившийся сквозь удары топоров и скрипа лопат, голос злобного карлика Скуратова:

— Эй! *Господин надзиратель!* Уже день погас, как свечка Тобиашки паршивого, а вы ещё держите на работе нас, *молодцов!*

— Да уж, такие вы *молодцы!* — раздражённо проворчал дозорный Иван Матвеевич.

— Мы не молодцы, согласен, но прапорщик тоже не офицер! — огрызнулся злобный Скуратов, намекая на слабость Ивана Матвеевича, который, будучи всего лишь прапорщиком, требовал, чтобы

ему отдавали *честь*, как полагалось военным высшим чинам.

Скуратов, осуждённый на двадцать лет каторги за убийство двух своих родственников, иногда был довольно остроумен.

Проворный, находчивый, не лишённый юмора, он в омском остроге был как бы местным шутком. Ему удавалось развеселить даже самых понурых. Каждую его реплику сотоварищи встречали громкими неудержимыми взрывами хохота.

Он очень этим гордился, остроумие приносило ему немало пользы.

*Кашевары*⁸ подсовывали ему самые лакомые куски, сотоварищи по каторге делились с ним водкой и табаком, помогали на работе, часто даже отработывали за него задания, которые карлику было не под силу выполнить самому...

Когда мы вышли из бора, солнце уже клонилось к закату, зажигая на водах Иртыша фиолетовые, кровавые отблески. От киргизских степей шёл парной, душный воздух...

Когда мы приблизились к городу, сорвался ветер. Откуда-то издалека надвинулась туча. Закрыла собой пламенеющий закат, затемняя его яркие краски.

Вскоре появилась ещё одна, ещё больше и гуще... Всё вокруг стало хмурым и потемнело...

Лёгкие дуновения ветра превратились в грозный вихрь...

Вдоль дороги, ведущей в Омск, стояли ряды деревянных строений, *балаганы*⁹, служившие складами для кирпича и упряжи артиллерийских коней, сараями для толчения и обжига алебастра и кирпича.

Сейчас все они были давно закрыты. Только в огромной кирпичной кухне солдаты ещё работали.

Вокруг раздавались удары молота, брэнчание железных рельс, разложенных на каменном полу.

Из трубы валили снопы искр. Облака чёрного дыма плыли ввысь и там сливались с хмурым, почти чёрным небосводом.

Перед кузней встали несколько возов, гружённых железом.

Когда мы проходили мимо, офицер, сопровождавший эти возы, задержал партию окриком:

— Стать!

Мы остановились, ожидая дальнейших распоряжений.

Оказалось, что требуется наша помощь при разгрузке и переноске железа в кузню, к чему мы приступили сразу же, хотя весьма неохотно, потому что не имели права ни отказаться, ни даже протестовать.

Начал моросить густой мелкий дождик.

Наступило предвечернее время...

Золотисто-пурпурная полоса догорающей вечерней зари ещё светилась на западе, но со всех

7. Словом «кобылки» в сибирских тюрьмах бандиты гадливо называют тех, которые допустили незначительные преступления. *Прим. авт.*

8. Так назывались повара в омском остроге. *Прим. авт.*

9. *Балаган* — деревянное строение. *Прим. авт.*

сторон небосклон был так тёмнен, что казалось, будто ночные тени уже витают над землёй.

— Само небо сжалилось над нами и плачет о нашей тяжкой доле!— сказал Сергей Дуров¹⁰, который любил прибегать к риторическим и патетичным, возвышенным выражениям, постоянно сохраняя облик мученика за правое дело, сетуя на мстительную руку судьбы, так обидевшей его.

А дождь превратился в сплошной ливень, перемежающийся с градом небывалой величины.

Мы промокли до нитки. И очень были благодарны офицеру, когда тот, посоветовавшись с Иваном Матвеевичем, решил позволить нам прекратить работу и укрыться в кузне.

Мы вошли.

Около огромных кувалд и мехов трудились обнажённые до пояса солдаты.

От огня шёл жар, как в гроте у Циклопа или в аду. Дружно, в унисон падали удары молотов, солдаты хором пели какую-то заунывную песню.

И вдруг... грянул выстрел... один... второй... третий...

Потом несколько пистолетных выстрелов послышались одновременно.

Офицер и дозорный, Иван Матвеевич, бросились к дверям, чтобы узнать, что произошло... Вскоре непрерывные выстрелы слышались чередой друг за другом, солдаты оставили меха, кувалды, молоты, а за ними и все, не соблюдая субординации, высыпали из кузницы во двор.

При последних отблесках закатной зари мы увидели страшную картину.

Воды Иртыша вздымались... поднимались... росли... Пару часов назад Иртыш струился так тихо и спокойно... Сейчас он рычал как легендарный зверь, изрыгая из своей разверзнутой пасти настоящие фонтаны мутных волн и серобелесой пены.

Ветер, свирепо свистя, уносил ввысь бурные волны; он свивал их в столбы и будто в каком-то адском танце вертел изящные ладьи, которые в погожий солнечный полдень под голубым балдахинном небосвода, с музыкой проплыли перед нашими глазами.

На обратном пути в Омск их накрыла гроза.

Ураган посрывал с мачт цветочные гирлянды, в лохмотья превратил цветные паруса, полопал мачты, вырвал вёсла из рук усталых гребцов...

Лодки пытались пристать к берегу...

Тщетно...

Вихрь отталкивал их от берегов, отталкивал на средину реки...

Они сталкивались и, толкая друг друга, наносили друг другу всё новые повреждения.

Казалось, что две мощные стихии, ураган и вода, сговорились между собой и поклялись истрепать, уничтожить и погрузить вглубь Иртыша эту красивую флотилию и этих людей, таких весёлых и беззаботных несколькими часами ранее.

Увидев освещённое помещение и множество мужчин на дворе, несчастные потерпевшие начали стрелять из пистолетов.

Это был призыв о помощи, просьба спасти...

Но даже при искреннем желании помочь— уже было поздно, не хватало людей, не хватало тросов, а притом стихия разыгралась— дождь лил ручьями, вихрь ломал придорожные деревья, которые с треском валились во двор... Неустанно рокотал гром, сверкали молнии и, словно стрелы, вонзались в Иртыш и тонули в бурливых глубинах реки.

Страшная это была буря.

К счастью, продлилась она недолго, как это нередко бывает летней порой...

Когда ураган и молнии немного притихли, офицер велел солдатам отпрягать коней от возов и мчаться верхом в город за людьми, верёвками и повозками. Нас задержали, полагая, что при спасательной акции наша помощь может понадобиться.

Чёрные угрожающие тучи по-над рекой, над степью и над берегами реки поплыли на север и вскоре совсем исчезли за далёким горизонтом.

Иртыш совершенно успокоился...

Только *баранки*, или пенистые пятна, плывущие по спокойной сейчас глади воды, говорили о прежнем бесновании реки, а также о последствиях страшной бури.

Притом положение флотилии оказалось весьма небезопасным. Усилия матросов прибиться или хотя бы приблизиться к берегу, откуда можно было ожидать помощи, оставались тщетными.

Ветер упорно толкал лодки к середине реки, к самым глубоким местам.

Женщины в лодках жалобно кричали:

— Спасите! Спасите! Господи и Святой Николай Чудотворец, спасите!

— Сейчас! Сейчас! Успокойтесь! Прошу покорно!— изо всех сил своих юных лёгких кричал молодой офицер, размахивая белым платком, привязанным к длинной жерди, указывая в сторону Омска, чтобы потерпевшие поняли, что из города вскоре должна приспеть помощь.

Более всего пострадала ладья с пурпурным парусом, именно та, в которой сидела генеральша Шрам с омской знатью и петербургскими гостями.

Флаг с надписью «*Mon plaisir*» был продырявлен.

Не двигаясь с места, ладья углублялась в реку, она всё больше тяжела. Матросы что-то мастерили на дне. Очевидно, пытались заткнуть образовавшееся грозное отверстие.

Дамы в промокших платьях встали на скамьи, мужчины шапками выливали набравшуюся воду из лодки и переходили из одного конца в другой, чтобы удержать её в равновесии.

Один за другим с «*Mon plaisir*'а» выкидывали утяжелявшие лодку предметы: ковры, всякие корзинки, коробки, шали, зонтики, дамские накидки... Всё делалось для того, чтобы облегчить набравшую воду лодку.

Но, несмотря на все усилия, она погружалась всё больше... Казалось, ещё мгновение, и она пойдёт ко дну...

А люди из Омска, позванные на помощь, не прибывали... Всё не прибывали.

Другие судёнышки, входившие в состав флотилии, несколько приближались к причалу.

10. См. «Семь лет каторги». Прим. авт.

Только ладье с пурпурными парусами грозила неминуемая и быстрая гибель...

И тут на лодке «Mon plaisir» поднялся какой-то солдат, до тех пор занятый работой вместе со всеми.

Видимо, его поздравил генерал. Солдат приблизился и салютовал.

Генерал дал ему какой-то короткий приказ.

Солдат вновь отсалютовал.

Затем снял одежду, обнажив свою богатырскую постать, снял фуражку и бросил на дно лодки, глянул в опять распогодившееся голубое, чуть порозовевшее небо, трёхкратно перекрестился, широко расправил плечи и кинулся в реку, крикнув: — Господи, помилуй!

«Mon plaisir» сильно заколыхалась, а потом сразу же чуть приподнялась...

Вся флотилия прогулочных лодок с «Mon plaisir» о» счастливо избежала потопления и не разбилась во время бури, а была чудодейственно спасена.

Генерал Горчаков и генеральша Шрамм затеяли ещё более захватывающую охоту, чем было запланировано ранее.

Очевидно, такой праздник должен был компенсировать прибывшим из Петербурга чиновникам неудачную прогулку по Иртышу, испуг и пережитые волнения, когда они попали в бурю, которая разбушевалась именно здесь.

Потому мы вновь отправились на следующий день в бор, прокладывать дорожки, строить из дёрна и мягкого мха скамейки, мастерить из веток шалаши, в которых охотники могли бы отдохнуть, и беседки, где будут расставлены роскошные угощения.

На третий день после бури, когда после работы в лесу мы по берегу Иртыша возвращались в острог, конвойные предшествующей партии каторжан подбежали с криком:

— Андроник Оноприенко!

В их голосе звучала жалость, горечь и испуг... Они многократно клялись, повторяя беспрестанно слова какой-то молитвы, что дорогу им загородило какое-то ведьмовское видение.

Вся ватага каторжников остановилась.

— Ну-с! Чего стали? Чего подняли такой гвалт? — допытывался дозорный.

В ответ один из конвойных опустил руку, указал на землю и дрожащим голосом опять закричал: — Андроник Оноприенко!

На влажном песке лежал труп...

Синий, распухший, с открытыми глазами лежал труп того солдата, который тремя днями ранее кинулся в Иртыш с ладьи «Mon plaisir»...

Попал в самую глубину и утонул...

Никто о нём не беспокоился.

Никто не искал его следов.

И всё же бурливая и убийственная стихия на сей раз оказалась милосердной: вода вернула земле тело, чтобы оно упокоилось в освящённом месте. — Ну-с, и чего стоите, как болваны? Чтоб вам сгореть от водки! — злился прапорщик. — Андроник Оноприенко утопился, велика беда! Зачем из лодки выскочил, дурачище.

Скуратов выступил из ряда вперёд и, сдвинув шапку на затылок, сказал:

— Он, бедолага, Иван Матвеевич, прыгнул в реку, потому что от своего генерала получил такой приказ.

Сообщение Скуратова вызвало общее смятение. Некоторые кивали головой в недоумении, а прапорщик пнул карлика:

— Врёшь, зараза сибирская!

Хромой настаивал на своём:

— Не вру, Иван Матвеевич, *честное слово*, не вру. Инвалид, и Гришка, и другие матросы говорили про это вчера, когда мы помогли грузить на возы попорченные лодки. Андроник Оноприенко здоровенный был, как вол, а большой и сильный, как медведь, да и тяжёлый на диво... А лодка с губернатором и генералами была дырявая... Так, чтобы обгладить лодку, генерал велел Оноприенко выпрыгнуть. Гришка, и Инвалид, и все матросы слышали, как *Его Превосходительство* сказал: «Ничего с ним не станется, выкупается, а то, наверняка, грязный весь, доплывёт до берега, глотнёт горилки и получит полрубля!». *Верно*, так генерал и думал... Только бедолага Андроник не доплыл, и горилки так и не выпил, и полрубля не получил. Ну-с, и жизни лишился...

Во время рассказа Скуратова меня охватило состояние, будто морозный ветер повеял с севера и заледенил мне кровь.

.....
Дорога до острога, где находились казематы каторжан, проходила около летнего обоза полка, в котором состоял Андроник Оноприенко. Среди палаток ходили солдатики, а, закончив свои дневные занятия, пели хором:

Нам прикажут — мы идём,
Нам прикажут — мы стоим,
Нам прикажут — мы лежим
И, до приказа, в гробе спим!

Мы, поляки: профессор Жоховский, Мирецкий, Юзек Богуславский и я, шли тесной группкой. Только стихла эта песня, проникнутая безграничной безнадежностью, — подбежал к нам Фёдор Достоевский:

— Слышали, господа!.. Слышали эту песню? Молодцы! Молодцы краснорядцы! Ах, с такой дисциплинированной армией, с такой армией можно совершать чудеса... Можно одерживать такие победы и... Александра Македонского превзойти... Можно завоевать Цареград... Победоносные российские знамена будут реять над Босфором и Геллеспонтом... Можно захватить и покорить весь мир!..

Он говорил возбуждённо, с сияющим лицом и пламенным взором...

Выглядел он горделиво...

Расправил плечи, как будто тоже... тоже видел перед собой воплощение лучезарной мечты...

Тем временем мы уже подошли к частоколу, окружающему крепость.

Конвойный потянул за колокол, подвешенный у ворот.

Заскрипели двустворчатые ворота. Партия каторжников вступила на территорию острога...

Ефрейтор принялся считать вернувшихся с работы:

— Первый!.. Второй!.. Третий!.. Четвёртый!— выкрикивал, дотрагиваясь длинной тростью до плеча каждого из нас.

Закончив, отправился в своё жилище в доме при офицерских апартаментах, а каторжники зашли на обед на кухню.

Нам, полякам, идущим вместе, загородил дорогу Фёдор Достоевский:

— А то, о чём я говорил вам давеча, господа, должно исполниться... должно,— подчёркнуто повторял с упором,— Я вам это говорю, Я.

Мы не ответили ни единым словом, и ни единым движением...

Адам Мицкевич в Семипалатинске

В пути на каторгу в партию, состоящую из нескольких десятков рецидивистов, включили и трёх политических преступников поляков¹¹, в сентябре 1849 г. нам полагался трёхдневный отдых в Семипалатинске.

Остановили нас в крепости за полверсты от города.

Крепость и город получили название от развалин каких-то семи зданий (*палат*), во время моего пребывания ещё хорошо сохранившихся и свидетельствующих о их прочности и великолепии.

В Семипалатинске в то время пребывало много поляков, политических преступников, простых солдат, однако с высшим образованием, и экскаторжников, которые после принудительных работ, уже как поселенцы, получали должности в разных конторах и благодаря учтивости и образованию добивались высоких чинов в чиновничьей иерархии.

Как только по городу пошёл слух, что в этой партии тоже есть поляки, на следующее утро после нашего прибытия в крепости появились дорогие наши земляки с приветами и новостями.

Из земляков, Юзеф Хиршфельд, экс-солдат, уполномоченный и управляющий всеми делами богача Попова, занимал в Семипалатинске высокое, даже, можно сказать, видное положение. Благодаря своему разуму и покладистому характеру, он пользовался полным доверием своего хозяина и всеобщим уважением.

Притом ему одному известными способами, умел сообразоваться с взглядами властей, с которыми, по причине разнообразных интересов купца Попова, должен был общаться и поддерживать постоянные и тесные связи.

Поэтому без особого труда ему удалось получить у начальника батальона Белихова позволение, чтобы мы— профессор Жоховский, Юзик Богуславский и я— провели целый день в его доме и вместе с ним побывали в городе.

Семипалатинск над Иртышом и Семипалатинка в 1849 году выглядели как настоящий восточный город.

Восточные черты придавали ему девять мечетей, мусульманские школы, удобные караван-сарай,

население преимущественно киргизско-казахское, а россияне неохотно вспоминали времена, когда в Семипалатинске обитал и правил хан. Это были не столь уж далёкие времена, а именно 28 годами ранее, в 1818, российская власть упразднила ханство, а Семипалатинскую область отдала во владение и под правление губернатора Западной Сибири.

Вернувшись после осмотра города в дом Хиршфельда, мы застали там уже ожидавших нас товарищей.

Тут оказался интендантский урядник Орлинский, каторжанин с 1825, был солдат Ян Май, мобилизованный в русскую армию из Варшавской Духовной Академии, был солдат Рокицкий и поселенец Зелинский, урядник таможенного управления.

Был также россиянин, капитан Тарасов, который свою военную карьеру начал в Королевстве Польском, о котором сохранил самые радужные воспоминания.

Было ещё несколько россиян, очень симпатизирующих Полякам, ещё много земляков-поселенцев, имена которых в течение долгих лет мы позабыли.

Вся компания была отлично подобрана.

Нам троим на каждом шагу давали почувствовать и убедиться, что мы— главные лица в этом собрании, самые дорогие гости, долгожданные товарищи.

В этой атмосфере истинно братской сердечности— в такой атмосфере, от которой мы за время этапов и в тюрьмах отвыкли, легче было вспомнить о тяжкой и неумолимой доле, которая уже на нас обрушилась, и которая, кто бы знал?... могла стать нашим уделом на всю жизнь.

Мы собрались в большой квадратной светлой комнате с восемью окнами, выходящими на просторную площадку, буйно заросшую уже желтеющей травой.

Обстановка в комнате была небогатая.

Юзеф Хиршфельд за свою работу получал от купца Попова вознаграждение, если считать по тому времени, высокое, и распоряжался большими материальными средствами, а притом свои личные потребности свёл до минимума, считая, что изгнаннику излишества не подобают, и что они даже греховны в такое время, когда тысячи братьев-земляков терпят тяжкую нужду в этом северном крае, столь отдалённом от их Отчизны.

Но тем не менее в комнате Юзефа Хиршфельда было нечто, что притягивало взоры поляков и радовало их сердца.

Это несколько десятков старых и даже довольно потрепанных сборников стихов.

Одетые в скромные, чёрные, будто бы траурные рамки, висели также портреты двух последних представителей рода Ягеллонов, Стефана Батория, покидающего Вену, Костюшки, Казимира Пулавского, князя Юзефа и Наполеона.

Никто не беспокоил Юзефа Хиршфельда из-за этих портретов, поскольку, кроме Наполеона, это были лица неизвестные в этом уголке мира, и только для польских изгнанников неопишущим счастьем было видеть эти обожаемые лики!..

Беседа в этом избранном кружке текла живо и свободно.

11. Этими поляками были: Юзеф Богуславский, профессор Жоховский и автор этих строк. Прим. авт.

Её стержнем и непрерывным сюжетом оказались рассказы об ураганах, которые нас вырвали из Отчизны и пригнали аж в эту страну изгнания, рассказы о наших личных невзгодах, о судьбах других братьев, с которыми некогда связывали нас узелки общих целей и совместной деятельности: о судьбах тех, с кем мы встречались в тюрьмах, на этапах, в походах.

Поистине,— тема, богатая событиями и неисчерпаемая!..

Во время наших разговоров в избе появился какой-то юнец. Он быстро осмотрелся, нашёл взглядом хозяина, и отозвал его на минуту.

Оба вышли. Вскоре Хиршфельд вернулся смущённый.

— Что за несчастливый случай! — обратился он к профессору Жоховскому. — Как раз, когда у меня такие дорогие сердцу гости, как вы, съезжаются отовсюду купцы, с которыми ведёт торговлю мой хозяин. Вам, дорогие мои, могу сказать, что наши торговые связи простираются в далёкие края, в Бухару, на Кавказ, в Китай. И представьте — ни раньше ни позже — из разных стран прибыли сегодня грузы! Ковры, шелка, табак, кони. Будто, как назло, все эти купцы назначили себе сегодня *рандеву* в Семипалатинске! Так что я должен идти в контору, чтобы самые важные и ответственные дела снять с плеч, остальные отложу до утра. Постараюсь вернуться к вам возможно скорее.

— Иди, брат, одно слово, *служба не дружба*, — ответил профессор Жоховский.

Подошёл к нам капитан Тарасов.

— Похоже, подвезли коней, заказанных губернатором, князем Горчаковым. Значит, их надо будет отвести в конюшню. Может быть, господу хотелось бы на них посмотреть? Тогда станьте к окну. Уверен, что их стоит внимательно оглядеть.

— Конечно же, охотно полюбуемся. Каждый польский шляхтич — прирождённый любитель лошадей.

— Ну, вы только посмотрите, господу! — воскликнул Тарасов, когда мы встали рядом с ним около открытого окна. — Правда же, великолепные аргамаки?

— Аргамаки? А что это за порода?

— Туркестанская. Аргамак — наилучшая скаковая лошадь в мире! Удивительно послушный, выдержанный, выносливее в деле, чем арабский конь — без шуток — может сотни вёрст проскакать без остановки, будто его изящные сухощавые ножки наделены крыльями, их и подковы вают очень редко.

— Прекрасные животные! — восхищался капитан Тарасов, когда перед окнами прошли шесть искусно подобранных коней, злато-гнедых, с мягкой лоснящейся шерстью, шелковистыми гривами, небольшой головой, маленькими ушками и большими, огненными глазами.

Видно, и темперамент у коней был огневой, несмотря на усталость после долгого похода.

— В Туркестане, — рассказывал Тарасов, — аргамакам к обычному корму подмешивают бараний жир. Который кони едят охотно. Единственный недостаток чудесных скакунов — их высокая

цена. Ах, если бы человеку было дано перед смертью хотя бы на один только год обладать таким конём... Какое это было бы счастье!

Во время нашей беседы вернулся Юзеф Хиршфельд с ещё несколькими мужчинами, которые окружающих приветствовали весьма сердечно, как давних добрых и привычных знакомых.

Хиршфельд позвал их к нам и представил по-русски:

— Мои приятели, грузины.

И указал на нас:

— Мои братья, поляки.

Затем назвал имена грузинов и наши.

Молодые люди, с которыми нас познакомил хозяин, были одеты в чёрные суконные кафтаны, присборенные у пояса, опоясанные широкими наборными злато-серебряными ремнями, с которых свисали длинные кривые сабли.

На груди — богатые газыри, за поясом пистолеты и кинжалы с великолепной серебряной инкрустацией на рукоятках.

Большие бирюзовые, оправленные в золото заковки скрепляли воротники их белых сорочек. Чёрные башлыки из мягкой шерстяной ткани, слегка подвязанные под шейей, спадали им на плечи и на спину, нисколько не портя совершенного облика этих высоких, худощавых юношей, от которых веяло энергией, благородной сдержанностью и вместе с тем уверенностью в собственной силе и неустранимой отваге.

Все они принадлежали к знатным грузинским фамилиям, подавленным и обедневшим после утраты Грузией независимости. Они получили высшее образование в лицее Ришелье в Одессе. И, хорошо зная французский, немецкий и русский языки, выбрали себе торговую карьеру, которая обеспечивала им личную свободу и, что ещё важнее, независимость политических убеждений.

Они много путешествовали и, как агентам богатых купцов, им не раз приходилось из какого-нибудь полудикого азиатского уголка попадать в цивилизованную Европу.

Между нами быстро установились сердечные отношения.

*Polenuli*¹², как нас уверяли юноши, пользовались большой симпатией у грузинов.

Хиршфельд угощал своих гостей по старопольским обычаям. Общая приязнь окутывала атмосферу юмора и весёлых розыгрышей.

Затем Зелинский басом, от которого сотрясались стены комнаты, запел:

Хватит, братья, в уголке сидеть,
Ничего не слышать,
Ничего не видеть,
Давайте петь!..

— Конечно, конечно же, споём. Но первый номер концерта уступим грузинам, — сказал Хиршфельд.

И тут же один из юношей вышел.

Но вскоре вернулся к нам.

За ним слуги внесли большой, тяжёлый, окованный ящик из красной кожи.

12. То есть поляки. Прим. авт.

Из него извлекли духовые музыкальные инструменты, видом похожие на кларнет.

Грузины сели в круг посреди комнаты и все пламенно сыграли кавказскую *лезгинку*.

Музыка эта была шумлива, в быстрейшем *allegro*¹³, порывистая, как буря, как вихрь, околдовывающая, как иступление...

Прервалась она внезапно, как промчавшаяся буря, и сразу же, без всякого перерыва, без какой-либо даже самой короткой паузы, один из грузинов запел.

Текст песни (о котором мне потом рассказали) пересказывал унижения, перенесённые народом покорённой Грузии... Тенор Григория Руставолли был полон бесконечной печали.

Порой казалось, что этот дивный голос сорвётся, сломается в заглушённом рыдании... что певец разразится плачем—столько было в том голосе правдивого и искреннего отчаяния.

Акомпаниаторы отлично подстраивались под голос певца.

Поистине, не услышав, трудно бы поверить, что с помощью такого простого инструмента, как кавказская *зурна*, можно передать столько мелодий, столько экспрессий.

— Непривычное дело, чтобы музы своими дарами оделяли тех, кто служит Меркурию. Пан, видно, является исключением, владея необычно чистым и звонким голосом,—сказал я Григорию Руставолли.

Он поклонился и, смеясь, ответил:

— Поляки от веку слыли образцом вежливости и приятности в обиходе. Поэт Георгий Эристави тоже об этом поминает. А вы слышали об Эристави?

— Стыжусь, но должен сознаться, что нет.

— А ведь он долгое время пребывал среди вас. Как писатель, в 1834 г. был изгнан и перевезён в Вильно. На счастье! Можно ему только позавидовать за такое место изгнания... Потом жил в Варшаве, где выучился польскому языку. Настолько, что воспользовался этим и перевёл на грузинский импровизации «Конрад и Крымские сонеты». Эти переводы познакомили меня с вашей культурой. Когда я учился в лицее Ришелье в Одессе, то привык уважать Адама Мицкевича. Там память об Адаме жива, там всё ещё цветёт его культ среди молодёжи. Там каждый юнец знает поэзию Мицкевича, может прочесть её по памяти.

— Неужели? Что в нашем крае всё происходит так же, это не удивительно...

— И в Одессе тоже. Там тоже много поляков... И каждый счастливый обладатель напечатанной поэзии Мицкевича вынужден прятать своё сокровище, как преступление, за которое карают очень сурово... Кроме того, поэзия Мицкевича кружит среди молодёжи в списках, отдельными страницами, вырванными из книг. Пару лет тому назад, я собирал эти вырванные страницы, как драгоценные жемчужины, так что мне удалось собрать целых два тома полностью... Я давно мечтал отблагодарить господина Юзефа Хиршфельда каким-нибудь подарком за его доброту, сердечность, гостеприимство. Сейчас я могу наконец предложить ему такой драгоценный подарок. Возьми, пан!

Он достал шёлковый мешочек, который носил спрятанным на груди, и из него вынул два томика. Я взглянул на них...

Это был «Пан Тадеуш», изданный в 1834 году.

«Пан Тадеуш», составленный из тех самых страничек, что кружили среди молодёжи.

«Пан Тадеуш» переходил из рук в руки... Каждому хотелось увидеть эту книжку, состоящую из страничек, которые от постоянного многолетнего чтения пожелтели и несколько истрепались.

Каждому хотелось почтительно дотронуться до них, посмотреть на эту книжку хотя бы издадала...

Нам, ещё недавно прибывшим с Родины, это издание «Пана Тадеуша» было известно.

Потому мы тактично отошли в сторонку.

Казалось, от этой книжки в скромном сером переплёте исходит странное сияние, как от реликвария в оправе из драгоценных камней...

Профессор Жоховский взял книжку...

Прижал к груди...

Поднял её вверх и преклонил перед ней свою седую голову...

Солнечные лучи, преломляясь в чистых стёклах мелких форточек, словно общим ореолом окружили древнего старца и запечатлённые в печати образы и мысли гениального поэта...

Наконец профессор Жоховский открыл книжку и дрожащим от волнения голосом начал читать:

Отчизна моя! Ты—как здоровье,
Лишь тот тебя ценит,
Кто тебя потерял...

После этих слов послышался стон...

И тут же из наших глаз полились «чистые и обильные слёзы», слёзы тоски о возлюбленной... о той, что от нас так далека... далека... далека...

И в комнате, где минутой ранее царил весёлый говор, спустилась тишина...

Порой лишь слышались вздохи...

Иногда—шёпот...

Отчизна моя! Ты—как здоровье,
Лишь тот тебя ценит,
Кто тебя потерял...

— Богуславский! Токаржевский! Жоховский! *Господа! Прошу собираться!* Время идти в острог, прошу покорно, поспешите!

Чары разрушились...

Очаровательная мечта уплыла, развеялась, как сон, когда человека вдруг грубо разбудят...

Из экстаза вывел нас резкий жёсткий голос, который пытался казаться мягким и доброжелательным.

Это был голос прапорщика.

Он стоял на пороге в окружении четырёх солдат с заряжёнными карабинами на плечах.

Это была «свита», которая должна была сопровождать нас, полякам, отверженным, и сопроводить нас обратно в тюрьму, в Семипалатинский острог.

13. «Быстро, весело» (ит.). Прим. пер.

Щедро угощённый Юзефом Хиршфельдом и задаренный им прапорщик был необычайно добожелателен и вежлив.

Выкрикивая наши имена, имена преступников и каторжан, он не поскупился добавить: «*господа*» и «*прошу покорно*»...

Настало время расставанья...

С братьями-изгнанниками, с грузинами, с Никитой Николаевичем Тарасовым, со всеми окружающими. На прощанье долго и крепко обнимали друг друга.

Ничьи уста не смели сказать: «До свиданья!».

Ибо сердце разрывалось от смутного предчувствия, что не скоро мы сойдёмся и не встретимся таким кружком, полным сердечности.

«Пана Тадеуша» на прощание тоже приветствовали долгими и горячими поцелуями.

— Эти поляки... не пойму я их! Вот прочитали патристическую книжку и, кажется, уже готовы в любую минуту кинуться в огонь, лететь на край света, угодить в тюрьму, пройти сквозь строй, идти на каторгу... Любопытно, хоть кто-нибудь из наших, для примера, ну!.. Радищев¹⁴, допустим, хотел бы нарваться на такие беды?.. Станный народ эти поляки! Бог с ними! — вполголоса рассуждал сам с собой Тарасов, а прапорщику, повернувшись,скомандовал:

— *Пошли вон!* В сенях обождите! Я сам этих господ отведу в крепость.

Уже последние блики догорали на западе, когда мы после дня, полного впечатлений, проведённого в гостеприимном доме Юзефа Хиршфельда, вернулись в Семипалатинскую крепость.

По приказу капитана Тарасова, прапорщик с конвойными держались далеко позади. А сам Тарасов специально повёл нас через настоящий лабиринт улочек старого и нового Семипалатинска.

Движение было, в основном, в центре города, новые центральные кварталы были шумными, оживлёнными, особенно во время приезда купцов и привоза товаров.

Сейчас посреди серых низких домов, похожих на длинные каменные прямоугольники, мы встречали только приезжих, киргизов в мохнатых коричневых круглых бурнусах, азиатов с пограничья Персии в длинных плащах, с волосами и бородами, крашенными хной в рыжий цвет.

В этой тёмной пустоши мы не встретили ни одну женщину.

Зато часто встречали *байгушов*¹⁵, с поблекшими, изнурёнными, тёмными лицами, в дырявых войлочных накидках.

Видно, они укрывались в этом старом квартале, неухоженном, убогом, отдалённом от центра города, а к ночи прятались в свои халупы.

При виде офицеров высшего чина и солдат, сопровождавших в острог за город трёх мужчин в арестантской одежде, убыстряли ход и боязливо скрывались за углами домов или ныряли в их тёмные недра.

Беседуя с Тарасовым и слушая его объяснения, мы бодро прошли двухверстовый путь от города до острога.

Перед тем как войти в крепость, я ещё раз обозрел город и его окрестности.

Барнаульский бор, исчезающий за далёким горизонтом, тянулся широкой линией, овейный лёгкой фиолетовой дымкой.

В городе минареты вздымались ввысь рядом с круглыми византийскими куполами.

С минаретов мечетей муэдзины протяжным и каким-то сдавленным голосом выкрикивали: — Хиллали! халлала! Илла ху! Алла ху! Аллах! Аллах!

Поскольку был сочельник по старому стилю, церковные звоны звали православных на вечерний молебен...

В городе уже горели фонари около чиновных зданий, зажгли свет и в домах.

Старинные руины во славе своего заката тихо лежали, будто в море крови.

«*Was Hände bauten, können Hände stürzen.*

Das Haus der Freiheit hat uns Gott gegründet»¹⁶...

— Что пан сказал? — спросил капитан Тарасов.

— Что сказал? Да так, ни с того ни с сего припомнил некое двестишье Шиллера, — ответил я. — Видите ли, Никита Николаевич, — Каминский, учитель немецкого языка в Шебезинской школе, где я учился, был любителем и пламенным поклонником этого поэта. Мы, ученики, должны были учить наизусть целые долгие страницы из Шиллера... Как-то во время летних каникул с огромным успехом мы поставили на немецком языке, — представьте себе! — целый акт из Вильгельма Телля...

Успящей красавицы

Ярмарки в Минусинске во время первого моего изгнания в Сибирь были важным событием, имевшим огромное значение.

Обычно они начинались в мае, продолжались в июне, июле и кончались в сентябре, и могу сказать без преувеличения, что за эти пару месяцев через Минусинск проезжали и проходили многие, многие тысячи человек.

Кому требовалось завязать торговые связи с китайскими, а даже и с европейскими купцами, кому требовалось сделать какие-нибудь значительные закупки или кто просто хотел развлечься, увидеть всякие забавы, недоступные или просто незнакомые в иных местах Сибири, — тот во время ярмарки отправлялся в Минусинск, где можно было заключать с кочевниками буквально сказочно выгодные торговые операции, а если после этого душа просила «погулять», — была бы только щедрая рука и прежде всего хорошо набитый кошелёк.

14. Александр Николаевич Радищев желал увидеть в стране реформы, по типу тех, что существовали в других европейских странах. В таком духе издал книгу «*Путешествие из Петербурга в Москву*». Прим. авт.

15. *Байгуш* — киргиз, нищий. Прим. авт.

16. «Что построили руки, то руки и повергнут. Лишь дом свободы построил сам Бог» (нем.). Прим. пер.

Во время ярмарки жизнь и деятельность в Минусинске текли широким и бурным потоком.

Большие состояния, заботливо копившиеся в течение многих лет, не раз истаивали за пару часов в игорных заведениях.

И если такой экс-богач, проигравшийся до нитки, до последней рубашки, возвращался домой, не выпрашивая кусок хлеба на пропитание, то только благодаря щедрости соседей или родственников, с которыми из далёких окраин себе на погребель приехал в Минусинск на ярмарку.

О таких сгубивших своё состояние несчастливых игроках, о таких шулерах, богатевших одним взмахом карт, о разных подозрительных обстоятельствах, хитростях китайцев и саянцев, о разных изумительных происшествиях, вкупе с невиданной роскошью и заграничными чудесами, которые можно увидеть на такой ярмарке, я был наслышан и в Омске, и на Большом Учке.

Всё это часто служило богатой темой для пересудов во время семейных и соседских встреч. Не помню, чтоб эти рассказы вызвали во мне особое любопытство или разжигали острое желание поучаствовать в таких праздниках и увидеть ярмарочные дива, и потому я не очень обрадовался, когда как-то вечером мой начальник вломился ко мне в жилище с криком:

— Едем на ярмарку в Минусинск! Я и вы, Шимон Себастьянович, — идёт? Ну-с, конечно, вы согласны, правда?..

— Ну, — рассмеялся я, — должен быть согласен, раз вы так решили.

— Да, решил, решил, и сейчас мы распределим обязанности. Я добываю деньги, моя жена позаботится о еде и напитках, то есть о припасах на дорогу, а вы, пане, молодой человек, пакуете ваши одежды. Утром, чуть свет, айда! В дорогу! Вы так усердно и успешно работали всю зиму, что вам полагаются отдых и развлечения. Ну-с, и мне тоже. Жалеть не будем ни рублей, ни копеек... Развлечёмся, погуляем... А уж чудеса увидите, пан молодой человек!

Он радостно захохотал во всё горло, похлопал себя по бёдрам, а меня, по-приятельски, по плечам и, чуть не облизываясь и кивая головой, повторял: — Чудеса! Чудеса! Сами увидите, пан, молодой человек!

Представление о развлечениях у меня и Светилкина сильно различались и перспектива развлечений и «гулянки» с ним в его компании, хоть и не радовала, но и не претила мне, учитывая его благие намерения, притом не хотелось его обижать, так что я смолчал и сразу же занялся приготовлением в путь.

Минусинский округ, занимающий примерно две тысячи квадратных миль, представляет собой одну из живописнейших частей Сибири.

Поскольку по дороге через эти живописные окрестности я ехал уже не впервые, она не показалась мне ни слишком долгой, ни утомительной.

Когда я впервые попал в этот край, кроме урядников в самом Минусинске, и во всей этой

огромной части Енисейской губернии вообще было мало россиян, не считая, конечно, войска.

Немного было и крестьян, оседлых и ведущих хозяйство на земле, — много политических заключённых и разных российских народностей, подвластных России, немало экс-каторжников, осуждённых на пожизненное поселение, а в остальном, преимущественную часть населения составляли кочевые племена.

Из глубин девственных, мрачных пущей, где они занимаются охотой, а кое-где рыболовством, из цветущих долин и заросших буйными травами пастбищ, где бытуют стада скота и табуны коней, тянулись кочевники со своими жёнами, детьми, со всей своей скотиной и передвижным скарбом.

Вокруг города они разместились в юртах из древесной коры или из заранее заготовленных звериных шкур.

Так они образовали посадки, что служили наглядным образцом способа жизни и обычаев в древней доисторической эпохе.

Всё это для цивилизованного европейца казалось оригинальным и необыкновенно интересным. Это был настоящий неисчерпаемый кладёзь для этнографического изучения.

Мой начальник Светилкин придерживался порядков, заведённых в его доме, с той только разницей, что теперь он направо и налево широкой рукой и с лёгким сердцем швырял уже не копейки и даже не рубли, а сотни рублей, к своему собственному удовольствию и к радости своих убоготворённых компаньонов, целый штаб коих пристал к нам сразу по приезде в Минусинск.

Когда Светилкин понял наконец что все его усилия втянуть меня в круг его знакомств и в мир излюбленных городских развлечений и забав тщетны и таковыми останутся впредь, он предоставил мне полную свободу распоряжаться собой и своим временем.

Осчастливленный подобной свободой мысли и действий, я с утра до вечера бродил вдоль и поперёк, с одного конца Минусинска до другого и по ближайшим его околицам.

Необыкновенно занимала меня разнородность типов рас, обычаев, языков и диалектов людей, с которыми я мог встречаться; а ещё — мозаичное разнообразие и пестрота одежд, украшений, упряжек, огромное обилие разных видов чая, шёлковых тканей¹⁷, мехов, китайского фарфора и не поддающихся пересказу видов и сортов товаров.

В южной стороне Минусинска на пастбищах усердные и работающие китайцы на время ярмарки построили временный городок, который выглядел так, как будто его перенесли без всяких изменений в Минусинск прямо из Небесной Империи с берегов Хуанхэ или Янцзы.

Маленькие домики с фантастично изогнутыми крышами встали среди миниатюрных огородов, полных золотистых дынь, тыков, светло-зелёных огурцов, салата со свежими кудрявыми листьями, серебристых крупнолиственных трав и разноцветных, чудесно расцветших маков, которые колыхались на тонких, гибких, высоких стеблях.

17. Во время, о котором я говорю, в Сибири китайские ткани были не менее чем в три раза тоньше, чем перкаль и иные хлопчатобумажные материи. Прим. авт.

Как бы в дополнение к экзотической картине, по-за маленькими домиками, на взгорке, возвышалась маленькая пагода с фарфоровой крышей и прекрасные башенки.

За живыми изгородями огородов мелькали сапфировые шёлковые богато расшитые *курмы*¹⁸ косооких красавиц, а их мужья и отцы прохаживались по улочкам, выложенным мелкими каменными плитками.

Одетые в длинные шёлковые халаты, в чёрных шляпах, завязанных под подбородком жёлтыми лентами, или в лёгких совершенно плоских шапочках, мастерски сплетённых из рисовой соломки, с длинными спадающими на плечи косами, обутые в жёлтые или красные башмаки с загнутыми кверху носками, косоокие мужчины ходили степенно, молчаливо, будто погружённые в важные размышления.

По реке, словно проворные ласточки, сновали *джонки*¹⁹, доставляющие грузы товаров к кораблям, что плыли по Енисею.

Средину улицы занимали обычные ослики, *арбы*²⁰, которые везли *джонерикши*²¹, довозившие в Минусинск товары, что заполняли китайские магазины и склады.

Временами в этой толкотне, искусно лавируя, появлялся паланкин какого-нибудь китайского вельможи или знатной дамы-китайки.

Теснота, крики, разноязычный говор, словно на каком-нибудь всесветном торжище, царили в этом временном китайском городке с первыми лучами рано утром и стихали только с заходом солнца.

Как-то привлёк моё внимание человек, который в этой цветастой и пёстрой толпе выделялся совершенно особым и отличным от всех видом.

Высокий, крепко сложенный, с длинной, белой как молоко, бородой.

На голове он носил шапку, так называемую *баторовку*, с чёрными завязками по бокам. Одет он был в капот из серого грубого сукна, похожий по крою на свитки литовских мужиков.

Я сразу же понял, что этот человек не Россиянин, не уроженец Сибири и тем более не из оседлых кочевников.

Так кто же он?

Возможно, политический ссыльный?

— Ах! А вдруг он поляк,— подумал я и тут же решил утвердиться в своих предположениях и обратился к нему по-польски.

Однако было легче принять такое решение, нежели его выполнить.

Обладатель баторовки и серой свитки превратился для меня в неуловимый призрак... То приближался ко мне, был, только что был тут... тут... то исчезал с глаз долой, терялся среди разномастной толпы, то снова над толпой высилась его красивая голова, и я вот-вот... догонял его, именно догонял, пока с запруженных улочек не перешли на тропинку среди поляны, засаженной кукурузой и *чумизой*²².

Несколько лиственниц среди деревьев, деревянный домик— вот куда устремлён был обладатель шапочки-баторовки.

Очевидно, это была его усадьба, о чём нетрудно было догадаться— так гармонично подходила хатка и её окружение к чертам и всему облику этого человека.

Он отворил запертые двери, толкнул сильно рукой, оставил открытыми настежь и вошёл.

За ним в тёмную маленькую комнатку проникли полосы солнечного света... Он открыл окно с небольшими створками и выглянул наружу. Сорвал пару подсолнухов, что росли перед домишкой, повернув свои золотые головки к солнцу, сорвал несколько стебельков резеды и настурций, которые росли в маленьком садике близ стены, а потом исчез в избе.

Тем временем я медленно приблизился, придумая, как обратиться к этому полуземляку, которого случайно встретил в другой части света, за тысячи миль от Отчизны.

Пока я стоял так в раздумье, из домика послышалась песня:

С жаворонками взялись до работы,
Спать пойдём на вечерней зорьке,
Но и в гробах мы всегда скитальцы
И всего лишь божья рать.

Кто раз присягнул Господу Христу
И шёл к Святому краю без неволи,
Тот из глубин²³ хоть тёмного кургана
Подыметя на трубный глас.

Теперь я уже не сомневался... хозяин или, может, жилец этого древнего домика был поляком— был политическим преступником, как и я, и так же, как и я, был поселенцем.

Сейчас уже нечего было раздумывать, сочинять в уме приветственный диалог, я сделал шаг...

Вошёл...

Мой любопытный взор мигом оглядел избу...

Скарб в ней был самый простой, деревянный: два стула, два стола, полочка с нехитрой кухонной утварью, другая— с несколькими старыми книжками. На одной стене висела двустволка, два смычка, скрипка, похоже, сработанная в этом же доме... Над кроватью Распятие, Образы Остробрамской и Ченстоховской Божией Матери.

С потолка свисали большие и малые связки пахучих засушенных трав.

От каждого угла этой избы веяло убожеством, но, одновременно, чистотой, симметрией, порядком...

Единственным предметом «излишества» здесь была большая и роскошная китайская ваза, в которой красовались свежесорванные подсолнухи, резеда и настурции.

Когда я вошёл, хозяин как раз разжигал огонь в печи.

18. *Курма*— женское платье. Прим. авт.

19. *Джонка*— китайская лодка. Прим. авт.

20. *Арбы*— двухколёсные возки, обычные на Востоке. Прим. авт.

21. *Джонерикши*— люди, которые впрягаются в арбы вместо коней или других тягловых животных. Прим. авт.

22. *Чумиза*— китайское просо. Прим. авт.

23. Автор употребляет латинское *de profundis*. Прим. пер.

— Хвала Иисусу Христу! — сказал я, обнажая голую, и остановился на пороге.

Хозяин быстро обернулся...

Видимо, он отвык от такого приветствия, потому что так и стоял, держа в руке какой-то глиняный горшочек... и, дрожа всем телом, ответил: — Во веки веков, Аминь!

Мгновение мы разглядывали друг друга, как бы взаимно изучая один другого... И вдруг, как бы несомые магнетической волной, мы приблизились друг к другу с протянутыми руками и обнялись горячим братским объятием...

Познакомились поближе. Может, через каких-нибудь полчаса мы уже говорили так открыто, так искренне, будто прожили годы бок о бок...

Хозяин домика был литвин, из окрестностей Минска. В 1812 г. под Москвой был взят в плен и стал простым солдатом в русских войсках на Кавказе, воюющих с непокорёнными горцами. За какую-то малую провинность, из-за плохо понятого приказа полковника, Томаш Корсак попал в штрафной батальон в Петровске и был осуждён на пожизненное поселение в Минусинском округе.

Поскольку ему не разрешалось жить в самом городе, пришлось поселиться в предместье.

Власти его не донимали, потому что, живя вблизи от Минусинска, Томаш Корсак, человек образованный, не раз бывал весьма полезен урядникам разных окружных ведомств, особенно во время больших ежегодных ярмарок.

Китайцам он служил переводчиком во время торговых переговоров.

Таким образом, он зарабатывал на своё скромное содержание и остаток своей несчастливой жизни доживал, окружённый общей приязнью и большим уважением...

В течение лет, наверное, сорока не получал от своих ни единой весточки.

— Разве у тебя нет близкой родни, или хотя бы дальних родственников, которые бы о тебе беспокоились, дорогой брат? — спросил я.

— Как не быть! — весело рассмеялся он. — Разве не знаешь литовскую поговорку, что около Минска, на много миль вокруг, «что ни кустик, то Корсачек». Дальних родственников у меня хватает, и близкая родня есть, по крайней мере, была много лет назад, и я уверен, что не одно сердце обливалось кровью, гадая, что со мною случилось. И ещё я думаю, что у многих и не раз горькие слёзы текли из глаз при мысли о моей доле...

Просто не было никакой возможности ни с кем связаться. Солдаты сдавали свои письма в полковые канцелярии, откуда их должны были отсылать по адресам. Но доходили ли?

Конечно, нет!

Так же, как не доходили письма, которые родня и приятели слали на Кавказ.

Откуда бы узнать шляхтичам в Польше, в Литве или на Руси, кто мог бы знать, в каком месте на Кавказе находится полк, где служит родич? Адресовали письма наугад, а полковая канцелярия не очень утруждалась нахождением адресата.

Притом, непокорённые горцы воевали с российскими войсками и просто-таки охотились

на почтовые фургоны. Вы, наверное, слышали об этом?

— Да, слышал, и на омской каторге даже сроднился с такими горцами.

— Вот видишь! Таких горцев, захватывающих почту, вовсе не занимала корреспонденция. Они искали государственные сообщения, а больше всего им нужны были деньги, чтобы продолжить войну с неприятелем...

А вообще, кабы ты видел, юноша, — солдаты стали ко всему безучастными, все чувства в нас угасли во время этой мародёрской и захватнической войны, во время форсированных маршей через огромные нехоженые пустоши, без капли пресной воды, по пустыне, где свирепствует лихорадка, полно убийственных болотных испарений, скорпионов, змей, ядовитых пауков, зловредных комаров. Солнечный жар опалял солдат, как огонь, летящий с неба, а когда после короткого дня наступал мрак, а за ним парная, душная, тёмная, безветренная ночь, — шакалы тоскливо выли, словно желая нам быстрой смерти...

А смерть, на самом деле, поджидала на каждом шагу, в узких горлах ущелий, что тянулись каменными зигзагами между двумя гигантскими горами... на дорогах, которые вились через безлюдные степи, посреди высокого тростника, такого густого, что в нём всадники на конях могли полностью скрыться...

Кажется, — никого нет поблизости... вокруг — тишина и слышен только топот конских копыт, жужжание насекомых, чириканье какой-нибудь маленькой птахи — и внезапно из этих тростниковых зарослей густо летят стрелы...

На горячую землю падают солдаты...

Их сотоварищи наугад стреляют в тростники... редко когда в кого попадали...

Налётчики исчезли... пропали среди бурьянов, а тела погибших солдат так и остались в степи или ущелье, непогребённые, как падаль — корм диким птицам и шакалам... кости погибших растащили дикие звери по степи и пустыне, и спалит их солнечный жар, и вихри разнесут по всему Кавказу.

Порой в степи, а ещё в пустыне, являлись нам какие-то фигуры...

Обычно шли или плыли по верху в кровавом тумане. Мы считали, что это видения, в бою легшие товарищи — видения мародёрской батальи, уже проигранной и всё же несущей смерть на поле боя... В отдалении видны были войска... мелькали... расходились... исчезали... Это была игра световых волн и причудливых испарений...

Как-то, ночной порой, наш обоз окружило огромное кольцо пламени...

Барабаны бьют тревогу... спешно сворачиваются палатки... пикеты раз за разом стреляют, оповещая врага, который прячется неподалёку, что обоз не спит, что не позволит захватить себя неожиданно, что будет защищаться до последней капли крови...

Испуганные кони ржали, рвались с привязи — солдаты бросали оружие. Они готовы были сражаться с людьми, но не с бурливым морем пожара, из тисков которого мы никак не могли вырваться...

Страшная, страшная это была ночь!

Если мы все не сошли с ума, то разве что из-за той апатии, той абсолютной безучастности, того каменного бесчувствия, которое всех охватило... — Чёрт подери! — говорили мы. — Если уж пропадать, то всё равно — от огня или от пули!.. всё равно, пусть бы уже оборвалась эта страшная, подлая жизнь! Лучше, стократ лучше смерть!

Были моменты, когда высокие столбы огня сливались вместе, в единую огромную пелену, которую порывы ветра рвали во все стороны и превращали в рваные полосы среди чёрной ночи...

Счастьем было, что этот огонь, на удивление, не выделял ни угара, ни дыма, а не то попадали бы сплошные трупы, все, — и люди, и животные.

Вскоре после этой адской ночи забрезжило утро и оказалось, что это был не пожар, а загорелись газы, которые в этой части Кавказа, от века названной «огневой край», вырываются сами из земли. Во всяком случае, почитатели огня считают это место священным.

Двое суток кольцо пламени окружало наш обоз...

На третью ночь, наконец, хлынул ливень, и тогда мы остались в полной темноте.

Часто, ох, часто, горцы устраивали нам такие фейерверки и иллюминации, только со временем мы к ним привыкли, а потом смотрели на всё это без всякой тревоги.

А ещё и так случалось: маршируем... вдруг слышится подземный гул, шум, булькотанье, как от кипящей воды...

Потом у нас под ногами расступается грунт — вдруг из своего нутра выкидывает кипящий шланг, клубы зловонных газов, которые часто ещё и загораются пламенем.

Это были извержения болотных вулканов, на вид похожих на небольшие стожки...

Ой! Как земля кавказская и кавказские горцы изо всех своих сил и по всякому пытались защитить свою независимость...

После боя при Палиа-дута в Дагестанской области, меня, прошитого множеством пуль, унесли едва живого...

Потом в Забайкальском крае, в Петровске, пребывал я лет... лет... сколько? не помню, ей-богу! не хочу ни прибавить, ни убавить. В свободную минуту справлюсь в полиции.

А ты когда думаешь уехать из Минусинска?

— Не знаю. Это не от меня зависит. Видно, задержались надолго, потому что у моего начальника Светилкина здесь много торговых интересов, к тому же, как он меня уверял, он тут прекрасно проводит время.

— Прекрасно проводит время! Значит — мертвецки напивается и дуется в карты целыми ночами, — рассмеялся Томаш Корсак. — Тогда день и час вашего выезда не поддаются вычислению. Можете здесь остаться до конца ярмарки, но можете и через несколько часов выехать обратно домой, если твой знаменитый Светилкин до копейки проигрался в карты.

Желал бы я, чтобы это случилось не скоро, или не случилось вовсе, и желаю из чисто эгоистических

соображений, чтобы возможно больше тешиться общением с тобой, твоей дружбой, милый мой земляк. А пока что позволь угостить тебя по старопольскому обычаю, *чем хата богата*.

Беседуя, мы скромно перекусили. А потом вместе поспешили в город, где Томаш Корсак во время ярмарок бывал занят у начальника округа.

— Господина пана, молодого человека, никогда не видно в городе. Пан только с китайцами знается, — обратился ко мне Светилкин, — господин влюбился в этих чернокосых дьяволов, а?

— Китайцы и вправду интересный народ, достойный скорее удивления, чем влюблённости, — ответил я, — но я с удовольствием наблюдаю, как они работают, удивляюсь их выносливости, а то чем бы мне ещё заниматься в Минусинске? Вы сами улаживаете свои дела, а волочитесь по городу вовсе не забавно. Впрочем, я здесь встретил земляка. Он живёт за городом и, когда он не занят, мы проводим время вместе.

— Хватит! Ладно, вы хорошо объяснили, Шимон Себастьянович, почему вас не видно в городе. Тебе интересно с китайцами — ладно! Сидишь на квартире у земляка — *славно!* А вот *неславно* получилось бы, если бы ты и я, два друга, ни разу так бы и не позабавились вместе. Пан, господин молодой человек, ты должен сейчас со мной во французском *ресторане* погулять. Хочешь, не хочешь, а должен!

Я уже пару раз присутствовал на гулянках сибирских богатеев, так что у меня мурашки пошли по коже при предложении Светилкина.

Впрочем, он, не ожидая моего согласия или отказа, радостно смеялся и, хлопая меня по спине, повторял:

— Хочешь, не хочешь, должен, должен погулять! Да и почему бы тебе не хотеть?..

Он вдруг замолк, а потом:

— Слушай, пан, господин молодой человек, может, и этот твой земляк, что живёт за городом, не отказался бы!.. Может, взял бы ты его с нами?.. Напился бы и встряхнулся?

— Это странный человек, с военной службы на Кавказе, был на каторге, на Петровских заводах, — ответил я, — он старый, я даже не посмел бы ему предложить, он, конечно бы, отказался.

— Отказался бы, говоришь? Ну, тогда пусть поцелует пса в нос! Тогда мы оба, пан, господин молодой человек и я, айда! Давай, собирайся!

Я расхохотался, потому что теми же словами «давай, собирайся!» жандармы в крепости звали меня на следствие — и в иных подобных же обстоятельствах я слышал такое же предложение, как сейчас от Светилкина.

.....
В каком-то тесном переулке на окраине города, в плоском, длинном, как кошара, выкрашенной жёлтой краской доме, помещалась эта *французская ресторация*, ничего общего со своим названием не имеющая, что заметно было с первого взгляда.

Хотя солнце ещё не зашло, в сенях, и во всём помещении, было темно, несколько масляных ламп светили неярко. От пьяных выкриков, от хмельного дыхания стояла душная, тяжкая атмосфера.

Лампы чадили, коптили, жирная сажа, которая, подобно миллиардам мелких насекомых, витала в воздухе, покрывала чёрной пылью всё кругом: мебель, столовые приборы, еду, напитки, людей.

В нескольких больших комнатах, анфиладой, было тесно.

Прокладывая себе дорогу локтями и держа меня за руку, как маленького мальчика, Светилкин не без труда добрался до обильно заставленного закусками буфета, за которым восседала «сударыня» в ярких шелках, фальшивых драгоценностях и с причёской кудельками.

Выставляя крупные белые зубы, стреляя довольно красивыми глазами, с многообещающей усмешкой она спросила Светилкина, что тот прикажет сперва подать.

— Сперва, *мадемуазель*, дайте мне вашу ручку для поцелуя, покорно вас прошу, — с комичной галантностью изрёк мой патрон.

«Мадемуазель» быстро протянула ему игриво свою лапу, и когда он её несколько раз поцеловал, рассмеялась.

— От ваших поцелуев просто огнём прошибает, жаром обдаёт, *месье* Светилкин.

Я заметил, что оба титула: *мадемуазель* и *месье*, которыми обменивались гость и «сударыня», царящая за буфетом, являли собой единственные французские штрихи этого ресторана. Помимо этого не было ничего, ну абсолютно ничего, что хоть как-нибудь напоминало прекрасную, изысканную Францию.

Казалось, что вся Сибирь, от края до края, представляла гостей для «французского ресторана» в Минусинске.

Среди разнообразнейших монгольских типов выделялась маленькая группка интеллигентнейшего вида европейцев.

Среди тёмных костюмов мужчин мелькали офицерские мундиры и поражающие взор пестротой красок наряды дам.

Одетый в церковное одеяние с фиолетовой подкладкой, в уголок на обочине протиснулся поп.

Какой-то человек, видно, прихожанин этого попа и организатор пира, накладывал ему на тарелку самые лакомые куски и раз за разом наполнял опустевшую рюмку каким-то напитком. Всё это он проделывал с большим почтением, как и полагалось, имея дело с духовным лицом, и одновременно что-то рассказывал, что поп слушал не очень внимательно, тем не менее отвечая хмыканьем и кивком головы.

В огромной комнате пламенноокий цыган пиликал на скрипке какую-то танцевальную мелодию.

Аккомпанировала ему на бубне девица в пунцовой, шитой золотистыми полосками, парчовой юбке, и в огромном пунцовом тюрбане на кудрявой голове.

Под эту громкую музыку несколько пар плясали по комнате с притоптыванием и выкрикивали щекотливые припевы.

Мальчишки-прислужники в кафтанах и некогда белых фартуках постоянно совали за фартуки бутылки водки, или вина, а также куски мяса и пироги, незаметно утащенные со столов пирующих.

Другие служащие в нише за огромной печью вылизывали блюда и выливали последние капли из уже опорожненных и опрокинутых бутылок.

Человека, который, как я, не привык к подобной обстановке, сам запах жирных и пряных яств насыщал, а алкогольные пары одуряли, вызывая тошноту и несносное отвращение. А притом всё громче звучали голоса, взвизги, встреченные смехом, свистящее рыготание, и это вызвало во мне омерзение к еде и вообще к гулянкам — я жаждал возможно скорее выйти, чтобы подышать свежим воздухом. Вышел в сени.

К изумлению увидел, что обе створки входных дверей закрыты и заперты. Сторожил их парень, которого я вежливо попросил выпустить меня на улицу, он жестом указал мне особь, погружённую в глубокое кресло, забаррикадированное двумя столами.

Я вернулся к сторожу с той же просьбой.

— Счёт, — сказал он, протягивая ко мне руку.

— Какой ещё счёт? — спросил я с удивлением.

— Ну-с, что вы заплатили всё, что с вас полагается в кассе.

— Но с меня кассе ничего не полагается, я здесь не ел и не пил...

— Все так говорят, а притом все тут едят и пьют...

— Замолчи, грубиян, не оскорбляй меня подозрением в обмане! — крикнул я в приступе бешенства.

Сторож посмотрел на меня исподлобья. Хотел что-то сказать, открыл рот, но умолк.

Пока я так стоял перед ним, злой, оскорблённый, не зная, куда мне деваться, мой голос и гневный крик выманил хозяина в сени.

— Клянюсь покорно, что случилось? — шепелявил он слащавым голосом, и, выслушав мою жалобу, сказал:

— Извиняюсь очень покорно, *простите, барин*, мой слуга вас не оскорбил, такой уж тут обычай в этом моём французском *ресторане*.

— Это недопустимый и обидный для ваших гостей обычай.

— Извиняюсь глубоко и покорно, но каждый должен заботиться о своём кошельке.

— Да кто же у вас тут бывает? — крикнул я. — Что за люди? Злодеи, отребье? Освобождённые каторжники... бродяги?

— Святой Иннокентий Кульчицкий, покровитель-чудотворец! *Барин*, что вы такое говорите?... Прошу покорно. Самые *честные* люди приходят сюда в этот мой французский ресторан. *Барин!* Что вам пришло в голову? От несчастья! — стонал он, заламывая руки.

— Меня сюда привёл Светилкин, — прервал я сетования хозяина.

— Светилкин? С Большого Участка? Знаю, знаю. А как же! Он много лет мой постоянный гость и добрый друг. Светилкин?... Богатый человек. Богатый и *честный*. Ну и что? Хоть бы сам князь-губернатор из Омска... Уж такой в моём *французском ресторане* обычай.

— Скажи, чёрт бы тебя побрал, откуда мне взять счёт, если я вам ничего не должен и у меня нет никакого счёта к оплате? Ответьте или выпустите меня из этой мерзкой ямы, я заплачу немедленно.

— «Мерзкая яма!» — возмутился хозяин. — Ах! Барин, покорно извиняюсь: мой французский ресторан не мерзкая яма, что до этого — то нет!.. Святой Николай-Чудотворец!

— Вместо того чтоб призывать святых покровителей и чудотворцев, подумайте, что мне надо сделать, чтобы от вас вырваться? Я хочу, мне необходимо вернуться в город.

— Ну-с, вот и хорошо! Воля ваша, *барин*. Только сперва вернитесь в зал, возьмите от *мадемуазель* счёт, отдайте его тому моему слуге, — указал кресло за столом, — и как только он подтвердит, что подпись *мадемуазель* и цифры не фальшивые, тогда другой мой *человек* сразу же откроет дверь, а! отворит обе створки и выпустит вас с Богом! — чувствуя себя хозяином положения, он стоял на своём. Очевидно, это была месть за «мерзкую яму».

Сказав так, он легонько обернулся ко мне спиной и исчез в толпе, уже за порогом сеней.

В этот миг какой-то экипаж с грохотом, фырканием коней и звоном *колокольчиков* и упряжи остановился около ресторана. Сторож отпер дверь и отворил настежь.

В сени вошёл новый гость, перед которым сторож и *человек* согнулись в поклонах, аж до земли.

Это был мужчина с сухощавым лицом, резкими чертами, с болезненно-жёлтой кожей и чёрной, остро подстриженной бородкой. Высокий, хорошо одетый — во всём его облике было что-то отгаливающее. Хотя в движениях и одежде заметна была известная элегантность и изящество, что редко встречается в этих краях, столь отдалённых от очагов цивилизации.

Николаевский свой плащ он уронил на руки слуги, смерил меня испытывающим взглядом. Потом мы оба вошли в ресторан.

Шум и гам тут дошли до кульминации. Цыганский скрипач пиликал всё фальшивее.

Откуда-то сбоку долетал лепет самобытной балалайки. Пирующие провозглашали всё новые тосты и здравницы:

Наших, омских!
Наших, тульских!
Наших, акмолинских!

Всякий раз всё новые голоса выкрикивали названия губерний, округов, разных российских и сибирских городов, в честь коих предлагались тосты и после каждого тоста многократно кричали: *урра!* — *Человек, человек!* — верещал какой-то толстяк в сборчатом капоте, в бархатной крымской тубейке, которая сползла ему на брови. — *Человек*, ты зачем вместо вина принёс нам *щи*²⁴?

— *Извините, барин*, это не *щи*, а наилучший французский *Lafit*. Прошу покорно, мы в нашем французском *ресторане* подаём гостям самые лучшие и дорогие вина, — извинялся *человек*, а во время пререкания слуги и амфитриона субутильники вполголоса беседовали между собой:

— Гляди! Иллариий Таганцев в Тобольской тюрьме лаптем *щи* хлебал, кандалы на ногах носил, а теперь играет из себя *дворянского помещика*²⁵. Фальшивые деньги делал. Не довелось... Такой умный мужик был!..

— Теперь собольи шубы и шапки носит, золотых цепей на себя повесил, жену и дочерей в шелка одевает. За дочками тысячное приданое даёт, сына с дочерью того самого судьи, что его посадил, женит, в полной роскоши живёт. В том самом Тобольске люди его патриархом зовут — руки у него широкие и щедрые. Мудрый мужик, мудрый!

— Ну! Илларион Таганцев, наше тобольское! А *особенно* ваше здоровье... *Щи* или *Lafit*, всё равно, через горло перельётся в одно и то же место, куда следует. А? Или не так? А?

Поднявшему тост остальные ответили зычным хохотом и опорожнили бокалы до последней капли. — Вы с нами, Илларион Таганцев? — спросил новоприбывший господин, сдвигая стол, где царил, излучая мудрость, умный мужик и тобольский патриарх в одном лице.

— *Конечно! Конечно!* С вами, Владимир Осипович, — ответил он.

Владимир Осипович подвинулся в сторону и рукой подал знак, что желал бы пропустить Таганцева перед собой.

— Ну, прошу! — сказал Иллариий Таганцев. — Прошу! — Не сейчас, не сейчас, оставь, не могу, пока мои друзья не съедят и не выпьют всё, что я для них заказал. Вникните в моё положение, Владимир Осипович.

Господин с остростриженной бородкой склонил голову, что должно было означать: «конечно, понимаю ваше положение», и, низко поклонившись «тобольскому патриарху», сказал любезнейшим голосом:

— Тогда до скорой встречи, Иллариий Таганцев, освободившись от обязанностей амфитриона, поспешите в Золотой зал, к нам, нетерпеливо вас ожидающим.

Незнакомое здесь слово «амфитрион» произвело на присутствующих огромное впечатление.

Перед Владимиром Осиповичем толпа расступилась с почтением.

А он, словно любящий, милостивый, популярный монарх, раскланивался направо и налево, то одному, то другому, из изящно одетых и вежливых присутствующих, которые тянулись к нему подобострастно и напоминали, что когда-то... когда-то... там, виделись с ним, познакомились и... тут же сели играть в карты.

В поисках Светилкина, чтобы с его помощью уладить вопрос со «счётом», я зашёл в Золотой зал.

Здесь на стене висело несколько зеркал, пара цветных гравюр, между которыми выделялся портрет Юлии Пастраны, в то время известной на обоих полушариях, существа с фигурой женщины и лицом бородатой обезьяны, в коротком платье балерины.

Как в музеях и картинных галереях, где представлены шедевры великих мастеров, здесь, в Минусинске, перед образом Юлии Пастраны всегда толпились зрители, с восторгом любовавшиеся на эту женщину-обезьяну.

24. *Щи* — капустный суп. *Прим. авт.*

25. *Дворянский помещик* — благородный обыватель. *Прим. авт.*

В этой шумной комнате, известной как «Золотой зал», вдоль стен стояли диваны, кресла, крытые цветастой тканью, на которых покоились опьяневшие до беспамьятства или просто уснувшие гости; посреди комнаты стояли столы, заставленные тарелками, блюдами, бокалами и бутылками разных форм и цвета.

Здесь собрались все сливки минусинского общества; высшие чиновники разных окружных контор, офицеры и несколько «весёлых дам», которые пользовались особыми привилегиями и вниманием.

Они, эти «весёлые дамы», занимали первое место в беседе и задавали тон повелительниц среди военных и штатских минусинских чиновников, резко отвечали на их остроты, не щадя для них эпитетов, которые ничего общего не имели с вежливостью, любезностью, стыдливостью и хорошим тоном.

Главной мишенью их шутливых наскоков был офицер, который в расстёгнутом несвежем мундире с потускневшими эполетами, с бородой, опирался на эфес сабли и сидел верхом на кресле, как на коне.

— Ну-с, вы, *пустомели*²⁶, не упражняйте свою пасть на мне. Мы с вами ни разу не пасли скот вместе.

— Но вместе из одного корыта едали не раз, — буркнул молодой пристойный офицер.

— Правда! Чистая правда! — довольным смехом разразилась мужская компания.

Зато дамы просто разгневались донельзя.

— Как звездану тебя этой бутылкой, прапорщик! — крикнула самая бойкая из них, Соня, подтверждая угрозу красноречивым жестом. — Смотри-ка на него! Дибич Забалканский.

— Успокойтесь, милочка, красавица, — сказал молодой офицерик, — мне не в чем каяться перед вами, потому что я вас никак не обидел. Успокойся, Соня, чернобровая. Бутылку водки лучше с приятелем выпить, чем разбить об его голову, за что можно и в *тюрьму* угодить, уже не говоря про то, что разливать водку — грех.

— Правда твоя! Лев Леонтьевич, — поддакивали все, как мужчины, так и дамы.

— Тогда опорожняйте бутылки, а то, я вижу, их тут *предостаточно*, полных и неоткупоренных, а я вам пока буду петь...

В глубокой нише, на постаменте, до которого нужно было подниматься по нескольким ступеням, стоял палисандровый, на тонких ножках ящик, который некогда, много лет назад, был клавикордами.

Лев Леонтьевич открыл ящик, удобно уселся в кресле, оперся о его спинку и ударил по щербатым, жёлтым, как шафран, клавишам.

Надтреснутые струны застонали...

Из глубины бывшего клавикорда послышалось вроде жужжания насекомых... Лев Леонтьевич пробежал по всей клавиатуре несколькими пассажами... взял несколько аккордов и при стопах и брэнчании сорванных струн запел:

Сватали меня
Без меня.

А женили меня
Без неё.

Свата искал —
Не нашёл.

И зря искал её,
Всё искал.

Свата я не нашёл,
Так же и её не встретил.

Палач свата порешил,
А её сам чёрт не отпустил.

Эта песня была в ту пору очень распространённой и излюбленной в Сибири. Пели её все: мужики, заключённые каторжники, даже во время работы; люди, не только состоятельные, но даже некоторым образом образованные, пели её на своих сходках и увеселениях. Само содержание её говорило о том, что возникла она в тюремных стенах или каторжных казематах.

Несмотря на это, везде и всюду слушали её с восхищением и встречали дружными аплодисментами.

— *Прелесть! Прелесть!* Вот это музыка, вот это пение! От неё — прямо как в тумане... *Чудесно!* Лев Леонтьевич! Вы могли бы петь в театре, в Москве или Петербурге. Урра! Урра! Лев Леонтьевич — *артист*, — орала и хлопала в ладоши вся компания.

А Лев Леонтьевич поднялся с кресла и, стоя на эстраде, улыбался, сияя, принимая как заслуженную дань своего таланта возгласы восхищения и рукоплескания...

Но тут кто-то крикнул:
— Владимир Осипович!

Это имя всех наэлектризовало.

Слушатели поднимались из-за столов...

Соня, Татьяна, Ольга и Наташа подбежали к зеркалам, поправить помятые туалеты...

Лев Леонтьевич соскочил с эстрады... Все взоры обратились к дверям.

Владимир Осипович, непринуждённый, элегантный, надушенный, с иронической усмешкой на устах и победительным выражением на лице, лёгким, эластичным шагом хорошо вымуштрованного солдата ступил в Золотой зал.

Молчащий и хмурый офицер сорвался с кресла, снял фуражку, застегнул мундир на все пуговицы, отстегнул саблю и, повесив её на крючок, велел прислуживающему лакею:

— *Карточки!* Быстро! Быстро!

Поскольку меня настращали, что возвращаться в город одному небезопасно, волей-неволей пришлось дожидаться рассвета в этом *французском ресторане*.

Я уж до тошноты насмотрелся на эту гулянку, в самом её откровенном и отвратительном виде.

Попил чая в буфете и чем-то перекусил, не столь оттого, что проголодался, а для того, чтобы добыть, наконец, этот злосчастный *счёт*, который дал бы мне возможность выбраться из-под принудительного ареста во французском ресторане.

26. *Пустомели* — болтушки. Прим. авт.

Воспользовавшись местом, которое временно освободила *мадемуазель*, я навёл её на разговор о Владимире Осиповиче, который, как я заметил, играл здесь важную, даже первозрядную роль.

Со слов моей собеседницы узнал, что славный Владимир Осипович был попросту шулером, который «гастролировал» по России и Сибири.

На всех ярмарках, съездах, и на всех публичных сборищах он появлялся неизменно.

Мало интеллигентным и умственно слаборазвитым сибирским кругам импонировал своим действительно необычным для этих мест видом, изысканностью одежды, поведением, разговора. Богатых простаков ошеломлял своими рассказами об обширных владениях, о многих сотнях душ, коими якобы обладал в губерниях средней России, о приятельских отношениях, которые связывали его с петербургской и московской знатю.

Эти импровизации, принятые «за чистую монету», определяли: «гулять», напиваться, играть в карты с Владимиром Осиповичем считалось недюжинной честью, которой добивались все, но которой тот удостаивал только избранных, только привилегированных.

Не лишне добавить, конечно, что таковыми были прежде всего люди богатые, щедрые, не считавшиеся с расходами и не жалевшие денег.

Вопреки известной поговорке, Владимиру Осиповичу удача не изменяла никогда — ни в картах, ни с женщинами.

Что он сам «помогал» удаче — не вызывало сомнений. Надо, однако, признать, что делал он это очень умело, очень осторожно.

Впрочем, кто бы мог его в шулерстве уличить?.. Владимир Осипович появлялся и за карты садился лишь тогда, когда вся компания была уже крепко под хмельком, а партнёры его — пьяны до бессознательности.

Мадемуазель, довольная, что нашла слушателя, который ей ни в чём не перечил, рассказывала, рассказывала без умолку, не останавливаясь, и говорила тем свободнее, что около буфета образовалась полная пустота, — никому не нужно было ни еды, ни напитков, гости *французского ресторана* уже всем пресытились до предела!

Некоторые, сморенные выпитым, вытянувшись на лавках, спали; другие, более стойкие или не сумевшие найти место на лавках, дремали, опираясь головой о стол.

Из других комнат слышался топот наиболее выносливых танцоров, отрывочные слова бессмысленных песен и невообразимое пиликанье цыганской скрипки.

Только самобытная балайка ещё очень громко и удало звучала из боковой комнаты...

Лампы гасли, розовый расцвет уже заглядывал через грязные стёкла...

И вдруг раздался какой-то адский шум.

Кто-то подражал завыванию собаки... Другой кто-то — мяуканью кота... Кто-то мычал, как вол... Кто-то подражал пению петуха... кудахтанью курицы, которая снесла яйцо... Слышались и голоса, изображающие женский плач, гуканье младенца... грубый мужской смех... чавканье... храп...

Кто-то наяривал разухабистую песню...

Оказалось, это та самая компания, которая, как я видел, «забавлялась» в Золотом зале и сейчас высypала в буфетную с таким адским ором...

Присутствовали все в полном составе, кроме Владимира Осиповича, который успел незаметно испариться, выиграв, как мне потом рассказали, огромные суммы.

Это шумное пьяное шествие возглавлял «патриарх тобольский», экс-заключённый, обвинённый в фабрикации фальшивых банкнот, а сейчас — на стояции Крез: Иллариий Таганцев.

Ольга и Соня вели его под руки.

Все трое остановились перед буфетом.

Мадемуазель сорвалась с места, ожидая заказов. — *Человек!* — рыкнул Иллариий Таганцев, прерванный подражанием собачьего визга. — *Человек!* Счёт!

— Уже готов, — ответила *мадемуазель* и, кокетничая, призывно глядя, выставив зубы, подала Таганцеву длинный исписанный лист.

Он посмотрел...

Пробежал лист глазами раз... второй... и третий... и крикнул:

— Неверный счёт!

— Но, *месье*, только то, что вы велели подавать и здесь, и в Золотом зале, только то и внесено в наши книги и записано в ваш счёт: *parole d'honneur!*²⁷ — *Врёшь, скотина!* — рыкнул Иллариий Таганцев, бросив лист на прилавок и придерживая его кулаком. — *Врёшь!*

— Ах, *monsieur*, я обижусь! Я уже обиделась! — воскликнула *мадемуазель*, закрывая лицо ладонями и притворяясь, что плачет.

На помощь прибежал хозяин.

— Ах, *Превосходительство! Миленький! Голубчик!* Ах, если вы считаете, что в вашем счёте слишком много записано... я готов... и *мадемуазель* готова, мы вычеркнем, всё, что хотите... всё, только скажите, что... потрудитесь сказать, Иллариий Таганцев!

— Ничего не надо вычёркивать... А надо дописать... *Человек!* Подними с пола счёт. *Мадемуазель!* Допишывайте!

Иллариий Таганцев надулся, как индюк, красующийся на хозяйском дворе, и, слог за слогом, чётко и вразумительно отчеканил:

— Вписывайте, *мадемуазель*, сколько за то, что я в ваш *рояль* наплевал.

У *мадемуазель* перо выпало из рук, хозяин схватился за голову, потом заломил руки:

— Вы, вы, Иллариий Таганцев, наплевали в мой *рояль*... В мой прекрасный *рояль*.

— И не раз! — разразился хохотом «патриарх тобольский».

Вторила ему вся его компания.

— Как можно? — вскричал действительно поражённый владелец *рояля*. — Не верю!

— Ваша воля не верить... А моя воля была наплевать... Идите, *хозяин*, смотрите... Убедитесь... Удостоверьтесь.

Хозяин выскочил из-за прилавка, как стрела из лука, и полетел к Золотому залу. За ним подалась ватага менее пьяных гостей.

27. «Честное слово!» (фр.). Прим. пер.

И тут же вернулись.

— Правда, чистая правда, Иллариий Таганцев,— подтвердил хозяин.

— Сколько я должен за то?— спросил «тобольский патриарх».— Посчитайте, прикиньте, *господин хозяин*, а вы, *мадемуазель*, на моём счёте запишите сумму, которая с меня полагается.

Хозяин со своей бухгалтершей советовались в сторонке. Говорили так тихо, что только некоторые выражения и цифры, подчёркнутые ими, можно было услышать:

— В Париже *рояль* стоил рублей...

— Упаковка рублей...

— Отправка морем...

— Морем и сушей, *патрон*...

— Ваша правда, *мадемуазель*. Морем и сушей, рублей...

— В таможенные пошлины... рублей...

— Перевозка через Москву, Нижний... рублей...

— Доставка в Минусинск... рублей...

Пока *мадемуазель* и владелец *рояля* подсчитывали общие затраты, записывали цифры, пока, наконец, подбивали общий итог, на лицах окружающих читалось напряжённое ожидание. Только «тобольский патриарх» стоял победителем и большой потной лапой гладил Сонино лицо.

— *Превосходительство*... Иллариий Таганцев... *голубчик*,— несмело, путаясь, бормотал хозяин,— мы подсчитали... я и *мадемуазель*... Она не... Она очень умная... Она подтвердит... этот *рояль* стоил мне очень, очень дорого...

— Сколько?— назовите, *прошу, господин хозяин*...

— Четыре тысячи рублей,— тихим голосом неуверенно сказал хозяин.

«Патриарх тобольский» рассмеялся во всё горло:— И всего-то?

Вытянул из засаленного и потного кафтана порожённый кожаный кошель, из растянутых его отделений вытащил банкноты, пощипал пальцы и, демонстративно выкладывая на прилавок банкноту за банкнотой, отсчитал четыре тысячи рублей, заплатил по счёту за еду и напитки, затем снял с пальца дорогую печатку, завернул в несколько ценных банкнот, вручил всё это бухгалтерше и, поцеловав в обе щёчки, проговорил любезнейшим тоном:

— За то, что вам *надурчил*, миленькая *мадемуазель*.

Она поцеловала щедрую, дарующую руку и низко поклонилась.

— *Merci monsieur!*— радостно и взволнованно сказала она, прижимая подарок к груди.— Вы настоящий вельможа, Иллариий Таганцев. Покорно, покорно благодарю!

«Тобольский патриарх» сиял от несказанного удовлетворения.

— Счастье меня так и распирает, что я с вами, милые мои дружки. Пора, однако, возвращаться в город для подкрепления, для *похмелья*²⁸. Покорно приглашаю дорогих друзей, покорно прошу ко мне.

И, хитро усмехаясь, добавил:

— Если бы *господин хозяин* был бы умнее и за *рояль* потребовал в два раза больше, я бы охотно заплатил, не рядясь... Но, коли запросил только сумму стоимости, я, Иллариий Таганцев, именуемый «патриарх тобольский», говорю вам: *господин хозяин французского ресторана— дурачище*.

Хозяин низко поклонился, в знак согласия.

Мнение о владельце ресторана громко обсуждала вся компания, сопровождающая Таганцева.— *Дурачище! Дурачище!*— повторяли все, сплёвывывая на пол прямо под ноги несчастного хозяина французского ресторана. Он осоловел от сожаления, что по своей же вине упустил пару тысяч рублей.

Компания Таганцева вывалилась за ним в сени, а оттуда на улицу, где перед домом их уже ожидало несколько тарантасов, запряжённых огнистыми рысаками...

Наконец появился Светилкин.

К моему большому удовольствию, мой патрон был навеселе, но не пьян. Засмеялся и сказал:

— Я слышал, что этот наш «патриарх тобольский» по сей день фабрикует фальшивые деньги.

Хозяин молитвенно сложил руки.

— Помогите ему бог! Он настоящий вельможа...

— *Silence, monsieur!*²⁹— громко прервала своего патрона осторожная *мадемуазель*. Наконец, мы со Светилкиным вышли.

Нет слов сказать, как я был измучен этим вынужденным участием в гулянке всю ночь во французском ресторане.

Светало.

Работящие китайцы встают одновременно с солнцем.

Сейчас, выйдя, мы повстречали арбы, которые уже возвращались из Минусинска.

Остановились.

Джонерикша, что-то жевавший, остановился, озабоченный возможностью заработать.

Мы спросили его, хочет ли отвезти нас в город.

Сговорились мы без труда, хотя русский язык он не знал вовсе.

— *Хао! Хао! Но ходиа хао*³⁰,— согласился он с великой охотой и любезной улыбкой. Светилкин взгромоздился на арбу, я вскочил за ним.

Джонерикша понёсся такой рысью, словно добрый конь.

Никогда жилище Томаша Корсака не казалось мне таким живописным, как в тот день, когда я шёл к нему последний раз, когда накануне выезда из Минусинска шёл к брату по изгнанию попрощаться.

Крыша и стены домика, полностью обвитого хмелем и другими растениями, казались будто из малахита.

Отражение оранжевых настурций, пунцовых маков, пурпурных и белых пионов превратили стёкла окон в прекрасные разноцветные витражи.

Большой белый сибирский пёс с шелковистой шерстью, с хвостом, похожим на великолепный султан, встретил меня радостным визгом,— и быстрыми скачками понёсся к избе, словно лакей с докладом к хозяину о прибытии уважаемого гостя.

28. *Похмелье*— когда, ещё не протрезвев, собутельники идут на повторную попойку, это и называется *похмельем*. *Прим. авт.*

29. «Тише, господин!» (*фр.*). *Прим. пер.*

30. *Хао*— хорошо. *Но хода хао*— очень хорошо. *Прим. авт.*

Томаш Корсак отвернулся от стола, на котором оставалась собственноручно приготовленная им еда, услышав визг своего любимца, и, быстро оглянув меня, воскликнул:

— Уезжаешь! Пришёл проститься со мной!

— Да,— ответил я тихо, потому что горе сжало мне горло,— Светилкин закончил все свои торговые дела, ему тоже уже надоели местные развлечения, и он сказал мне сейчас, что завтра ранним утром мы отбываем обратно на Большой Участок. Я упросил его освободить меня на сегодняшний день, чтобы познакомить его с вами, дорогой брат. Вы уже побывали в городе? Или от кого-то уже слышали о нашем отъезде, так что сразу угадали, с чем я к вам пришёл?

— Если бы я и был в городе, мне всё равно никто бы не мог сказать о предстоящем выезде Светилкина и о твоём. Но, видишь ли, дорогой, я в своей жизни пережил уже столько прощаний, столько расставаний, не надеясь на встречу в этом мире, что, только взглянув на твоё лицо, понял: твоё присутствие под этой крышей— последний раз.

— О! Ну почему же в последний? Может, я ещё сюда приеду через год...

— Дай-то бог, чтобы через год ты сюда не приезжал... Дай-то бог! Чтобы через год ты вернулся в свою Отчизну...

— А для вас, дорогой брат,— вскрикнул я,— для вас разве нет уже никакой надежды вернуться на Родину?

Он задумчиво покачал головой.

— Уже нет!.. Я стар, измождён, берегу последние силы, последний дух... Напрасно тешиться надеждами, которым сбыться не суждено...

Снял с полки старинную, потрепанную от частого пользования книжку, одетую в чёрный кожаный переплёт...

Перелистал в ней сколько-то страниц...

На каждой, наверное, было немало следов от его слёз...

Найдя место, которое искал, прочитал:

«Останетесь не только без Господина своей крови, но и без Отчизны, и станете изгнанниками, повсюду будете нищие, презренные, убогие бродяги, ногами коих движет беда».

Закрыв книгу, поцеловал её и сказал:

— Ведь и над нами исполнилось Сетование преподобного Златоуста... То, что Муж, преисполненный Божьим духом, предсказал, уже наступило, и встречается нам повсюду... Знаешь, я и ты, брат мой, и все, кто пошёл по нашим стопам, должны считать себя смертниками... Таким, как ты, как я, всем таким, как мы оба, не полагается изведать личного счастья и искать личной удачи... Наше терпение, наши беды, наши страдания, мы обязаны смиренно возложить на жертвенный алтарь, с той верой и надеждой, что из них расцветёт возрождение и благополучие будущих поколений...

Я опустил на землю...

Обнял колени старца, пребывавшего как бы в пророческом состоянии...

Он возложил на мою голову благословляющую ладонь...

В этот последний день моего пребывания в Минусинске мы не хотели расставаться и решили провести его вместе— Томаш Корсак проводил меня в город.

Мы шли по дороге, что проходила через тот временный китайский городок, где на каждом шагу моему взору открывалось нечто, из-за чего стоило остановиться, что-то, к чему стоило подойти поближе...

Прежде всего поражали яркость и гармония красок в вышивках на шёлковых тканях; чудный колорит бабочек, птиц, цветов, растений и деревьев с фантастическим, не существующим в природе обликом драконов, чешуйчатыми хребтами и переливчатыми крылами.

Можно было только подивиться шедеврам терпения и искусства человеческих рук: то истинно кружевная, тончайшая резьба по слоновой кости, то длинные цепочки из колечек без единого соединения, сделанных из единого куска кости, то ажурные шары, также нигде не спаянные, нигде не склеенные, в одном большом шаре, вмещающем пять или шесть всё уменьшающихся шаров— вплоть до маленького шарика, и все они украшены единым вырезанным рисунком.

В одной лавке среди фестонов из голубого шёлка на золочёных досках размещены были картины на прозрачных тонюсеньких пластинах из рисового теста.

Эти картинки подробно представляли сцены из жизни обитателей Небесной Империи, фигурки красивых китайцев, важных мандаринов, учёных мудрецов, задумчивых бонз, грозных воинов, богатырей из древних легенд.

На личиках этих фигурок у каждой было своё выражение, каждая статья выражала свой особый характер. Каждую мельчайшую деталь одежды или оружия, все аксессуары китайские художники передавали с невероятной достоверностью, притом колорит этих искусных картинок был изумительно живописный и правдивый, без всякой лишней пестроты.

Чтобы это оценить, надо, конечно, всё это видеть...

Шаг за шагом мы медленно шли вдоль улиц, где на одной стороне стояли жилые дома, а на другой лавки, которые для европейцев оказывались полны чудес и чарующих особенностей.

Вместе с нами по улице двигалась разномастная толпа. Окрики: *тхи-гха-хо!* врывались в разномыслий разговор, всё время встречались китайские пареньки, которые развозили на тачках сладкие печенья: тхи, гха, хо, что сразу же привлекали приятным ароматом.

— Дорогой мой, ты совершенно погрузился в восхищение всякими изделиями, картинками, резбой по слоновой кости. Несомненно, всё это прекрасно и говорит о необыкновенном искусстве китайских мастеров, а также о высокой древней культуре Китая. А теперь позволь, я покажу тебе нечто, что, без сомнения, заинтересует тебя не меньше, чем все эти безделки, что ты разглядываешь,— сказал Томаш Корсак и повёл меня в самый конец улицы.

Перед домиком с изогнутой крышей двое маленьких китайчат сидели на траве, заодно выбивая дробь двумя палочками на круглых плоских барабанчиках, кивая головками, так что их косички, тонкие и короткие, как мышинные хвостики, взлетали в такт ударов.

Стены этого домика полностью заслонял настоящий лес огромных, махровых, пунцовых, лиловых, розовых и белых маков.

При сильном ветре маки колыхались и похожи были на разноцветные волны...

В этом доме жил Кванг-си-тун, преславный лекарь. Здесь же помещалась его подручная аптека.

Единственные в этом доме двери, вернее, ворота были открыты настежь. Через них виднелось довольно узкое, но очень длинное помещение, тем более что в конце его висело зеркало, что усиливало впечатление длины.

В этом помещении находился целый зверинец чучел птиц и рептилий. Огромные крокодилы с развернутой пастью, ядовитые ящерицы с высунутыми жалами, пауки, летучие мыши и многие другие... Все эти твари были развешены высоко, так что для стоящих внизу оставалась недосыгаемы. И все эти мёртвые создания двигались, словно живые, вертелись, переворачивались, крокодиловая чешуя и шкурки ящериц блестели металлическим блеском, наверное, искусственным, как и глаза этих созданий, глаза сапфирового, изумрудного, рубинового, топазового цвета, видимо, стеклянные, но блестящие, как живые. Чучела гадов и птиц были сильно освещены сверху.

Около ворот, на жёлтой рисовой циновке, в кругу верхнего света сидел старый человек, худой, как скелет, с коричневой увядшей кожей, с выступающими скулами, глазами, глубоко сидевшими в орбитах, с длинной седой косой. Лоб его бороздили глубокие морщины, а на бескровных губах блуждала насмешливая улыбка. С плеч свисала тёмная шёлковая накидка, вышитая иероглифами. Это был китаец Кванг-си-тун, лекарь, пользующийся в Минусинске огромной известностью.

Перед воротами, ведущими в длинное помещение, стоял молодой, очень высокий мужчина, который высоким голосом очень громко рассказывал несусветные истории о дивных излечениях Кванг-си-туна, а также о чудесах, что творили изготовленные им лекарства и эликсиры.

Этот зазывала, восхваляющий лекаря, все дифирамбы в честь Эскулапа и его лекарств возглашал по-русски, но и на языках разных кочевников, которыми, надо признать, владел свободно и бегло.

Бессильные старцы, удручённые женщины с детьми, разные калеки толпились перед этим чудодейственным прибежищем, где, судя по громким обещаниям, можно было получить излечение от разных болезней, недугов и людских огорчений, притом за малую плату, и не только выздороветь, но даже добиться омоложения и счастья.

Кванг-си-тун, как заверял зазывала, с одного взгляда определял болезнь и сразу же подбирал лекарство, которое могло эту болезнь одолеть. Неудивительно, что при такой рекламе большие и малые суммы легковерные больные и калеки

массами опускали в большой кожаный кошель, что висел у пояса зазывалы и как о милости просили у него совета.

Как только пациент входил в помещение и вставал пред очи Кванг-си-туна, тот вперялся в него внимательным взглядом и долго всматривался. Потом брал со столика с перламутровой инкрустацией фарфоровые флакончики с жидкостью или коробочки из цветной бумаги, исписанные иероглифами, и вручал пациентам.

Это были лекарства для внутреннего употребления. Другим пациентам лекарь на большие части тела собственноручно накладывал пластыри, сперва окурив их ароматами и шепча заклинания. Все эти манипуляции, должно быть, очень хорошо действовали на пациентов, потому что все, без исключения, выходили от Кванг-си-туна явно полные бодрости, веры и надежды в улучшение здоровья и облегчение болезни.

— Я тоже попрошу Кванг-си-туна о помощи,— сказал я своему товарищу.

— Разве ты болен,— удивился Томаш Корсак,— и разве доверяешь советам этого косоглазого шарлатана?

— Я не болен, но хочу развлечься, а главное, вблизи присмотреться к этой личности, потому что уж, наверное, другой раз в жизни мне не представится возможности увидеть подобное в таком окружении и на таком фоне.

Когда подошла моя очередь, я приблизился к толмачу и спросил его по-русски:

— Обладает ли великий учёный и мудрый Кванг-си-тун в своей чудодейственной аптеке таким напитком, или порошком, который может излечить душевную болезнь?

Зазывала, который явно не понимал выражение «душевная болезнь», уставился на меня удивлёнными глазами.

— Расскажите учёному Кванг-си-туну, что изгнанник из очень далёкой и красивой страны, тоскующий днём и ночью, просит у него лекарства от своей тоски.

— Повторите то, что сказали, дословно повторите Кванг-си-туну,— сказал зазывала, и когда я так сделал, китаец-лекарь пару раз воскликнул: — *Funda! Funda!*

Быстро, пронзительно и со всем вниманием поглядел на меня... покачал головой и тихо произнёс пару слов, которые, как объяснил толмач, значат, что от подобной болезни нет и не может быть ни порошков, и никакого зелья, и никаких микстур, и вообще никаких лекарств.

— Смотри-ка, этот косоокий Эскулап очень толково рассуждает, он, видно, гораздо разумнее и порядочней, чем можно представить,— засмеялся Томаш Корсак, а я снова повернулся к толмачу.

— А мог бы великий мудрец и учёный Кванг-си-тун сделать так, чтобы я, хотя бы во сне, хотя бы на минуту, увидел те любимые края, по каким я тоскую?

На этот раз, выслушав толмача, китайский лекарь улыбнулся мне и склонил голову, подтверждая, что якобы может исполнить то, о чём его просят.

Тогда я вложил уплату в кожаный кошель толмача, который пригласил нас вглубь дома, явно торопясь, потому что китайцы свой рабочий день ориентируют по солнцу. Сразу же после закатной зари все дела заканчиваются.

Только в курильнях опиума в это время наступает оживление.

Через помещение, где Кванг-си-тун весь день пользовал пациентов и наделял их лекарствами, толмач провёл нас в комнату, значительно меньшую и совершенно иной обстановки.

Стены здесь были покрыты тёмными лаковыми табличками цвета палисандра с позолоченными выпуклыми иероглифами.

На низеньких столиках стояли великолепные фарфоровые вазы, в которых красовались пучки зелёных растений, а также букеты цветов необычного вида, так что возникла мысль, будто к свежим цветам добавлены искусственные из тончайшей прозрачной ткани.

Свисающие с потолка бумажные китайские фонари легко колыхались, так что по комнате мелькали разноцветные блики света, перемежаясь с глубокой тенью...

Сразу же, когда мы сюда вошли, нас охватило необычное, особое ощущение...

Оба мы молчали...

Вдруг откуда-то из-за какой-то ширмочки появилась некая фигура. Это был Кванг-си-тун, одетый в сапфировый халат, вышитый выпуклыми грифами и драконами. На голове — золотистая тибетейка.

Теперь он казался ещё выше, ещё худее, ещё внушительнее, чем днём.

А в этих золотистых отблесках выглядел как маг или властелин какой-нибудь сказочной Колхиды...

Он встал напротив меня и заговорил голосом, вибрирующим низкими тонами, медленно и настойчиво.

Толмач тоже убедительно, и свободно владея российским, повторял за ним, обращая ко мне: — Думайте о той далёкой и красивой стране, о стране, по которой тоскуете... Думайте о ней... Желайте её увидеть... И вскоре увидите её... И вскоре окажетесь там...

Во время этого разговора Кванг-си-тун пристально устремил свой взор в мои глаза...

Что-то необычайное, неподдающееся описанию, происходило, какая-то неестественная сила струилась из глаз и от всего тела этого Азиата, непреодолимо приковывала к нему.

Я хотел отвернуться — не мог... Попытался опустить веки — не мог... Я чувствовал, что какой-то горячий поток струится из его глаз и проникает в меня...

Я чувствовал, что его воля подавляет мою... Что вся моя духовная сущность покорена, попала в полное, абсолютное подчинение, так же, как обессилела моя физическая оболочка...

Коридор, таблицы с иероглифами, вазы, букеты...

Томаш Корсак... Толмач... Сам Кванг-си-тун — отступали от меня всё дальше и дальше... Пока совсем не исчезли из глаз.

А вместо — я увидел:
Цветущие, душистые луга...

Вспаханные нивы...

На ветках грушевого дерева — белое весеннее цветение...

Вишнёвые сады, полные деревьев, покрытых пурпурными ягодами...

Сады, полные золотистых, красных яблок и тёмно-фиолетовых слив...

Узрел мою родную сторонку...

Увидел знакомые мне околицы, по которым бродил, как посланник Пробста из Ходла...

Узнавал знакомые дворы...

Соломой покрытые хаты, где меня всегда так радостно и гостеприимно встречали...

Я слышал, как шелестят тёмные, древние леса, я слышал весёлый шум лиственных рощ...

Я слышал, как поёт жаворонок и клекочет бочек на душистой цветущей липе...

Я слышал, как в костёле из груди верующего люда рвался протяжный хорал:

Боже Святой!

Святой Всесильный, Святой и Бессмертный,
Смилуйся над нами!..

Как картинки в волшебном фонаре, передо мной, выросшим и любимым в этом краю, мелькали все облики его красоты, в разные времена года, в разное время дня...

И всё так правдиво, так точно в главных контурах и в наимельчайших подробностях предметов, освещения, колорита...

Потом эти живописные пейзажи покрыли тени... Тени стужались... Всё более чернели, будто над этой моей землёй исчез ясный свет...

И наконец, всё и меня со всем, что я только что видел, объяла тёмная, непреодолимая ночь...

Вдруг я почувствовал, будто кто-то сильно встряхнул меня... будто какая-то тяжесть свалилась с моей головы и груди... как будто сняты с меня оковы, мешавшие свободно двигаться...

Я глубоко вздохнул...

Окружающая меня темнота поредела... расплылась, как рассеиваются перед солнцем тучи. Обретаю полное сознание... полное ощущение действительности...

Я уже знаю, что нахожусь в комнате китайского лекаря...

Вижу, что в стороне, недалеко от меня стоит Томаш Корсак...

Кванг-си-тун тоже стоит напротив меня...

Он опирается рукой о какую-то бамбуковую перегородку с высоким гребнем... Из его приоткрытого халата видна сухая, смуглая грудь, которая будто колышется волнами, так быстро он дышит.

Он выглядит ещё более усталым, изнурённым, горбленым, физически обессиленным. Лицо его как бы присыпано пеплом, глаза глубоко запали в орбиты и глядят матово, без блеска, будто утратили свою силу.

— Ну что? Ну что? — спрашивает Томаш Корсак... — Ты стоял, как каменный столб, совершенно недвижимый...

— Как долго? — спросил я.
 — Четыре минуты.
 — Ты шутишь, наверное, дорогой брат.
 — Вовсе не шучу. Я посмотрел на часы. Твоя неподвижность во время этого эксперимента уже начала меня волновать.
 — Что? Четыре минуты? Всего четыре минуты длилось это моё необыкновенное видение?
 — А что это было за видение?
 — Я думаю, что душа моя пребывала там, где хотел бы находиться я сам. Я видел то, что хотел видеть... Всё получилось, как я надеялся, и как обещал Кванг-си-тун.

— То есть...
 — То есть мой дух в течение четырёх минут очутился в другой части света и гостил в моей Отчизне.

Я очень низко склонился перед Кванг-си-туном. Его ладонь я пожал так сильно, что даже почувствовал сердцебиение, и с глубокой, горячей благодарностью сказал:

— *Taosje!*³¹

Добродушная усмешка озарила мрачный облик китайского лекаря, то ли лекаря, то ли чародея — я не знаю, каким титулом величать Кванг-си-туна.

Его рука ответила мне долгим, долгим рукопожатием.

.....
 Неужели волею какой-то ещё неизученной силы, которой Кванг-си-тун обладал и вдохнул в меня, мой дух взвился *ad astra*³² и в непостижимых для людского ока видениях — в обычном состоянии — в течение этих четырёх минут я побывал на любимой Земле? Или только необычная обстановка, при моём столь жгучем желании, вызвала такую галлюцинацию? Сам не знаю...

И, конечно, никто мне этого ни объяснить, ни растолковать не смог...

Одно — неопровержимо: это моё четырёхминутное ощущение, будто я побывал в королевстве *Спящей Красавицы*, я причислил к самым дорогим мгновениям моего первого изгнания в Сибирь...

«Скажите ему, что...»

— ...есть такие... Я вам говорю, *господа*, их много, целая толпа!..

Так закончил свой рассказ Максименко. После отбытия из Тобольска партия, в которую нас включили, пройдя месячный поход, задержалась для длительного отдыха в уездном городе Тобольской губернии под названием Тара.

Братья поляки, поселенцы Тары: Кароль Богдашевский, Адам Клосовский, Констанций Дороткевич, Скивский, Хомницкий проводывали нас ежедневно, а то и по два раза в день, тем самым облегчая пребывание в *арестантском дворе*.

Лишь после того как закрывались ворота тюрьмы, вечерами мы очень скучали, поскольку

в карты не играли и не напивались, как обычно коротают время наши сотоварищи, «бандиты».

Обычно вечерами в избе, куда нас, поляков, помещали, появлялся некий Максименко.

Кем был на самом деле этот дедок?..

Мы не спрашивали и, конечно, правды не узнали бы, да и никто не мог бы нам рассказать о нём, потому что даже старожилы Тары помнили Максименко как поселенца. Он нигде не работал, не имел никаких средств, но держался весьма достойно, всякий раз рассказывая, что принадлежит к партии, которая задерживается в Таре на некоторое время с этапом.

Смутные слухи доносили, что услуги, которые Максименко иногда оказывал, не всегда соответствовали законам, например, он пускал в оборот фальшивые мелкие деньги, которые во множестве фабриковали рецидивисты в сибирских тюрьмах.

Однако Максименко всегда удавалось «отлизаться»³³ из всяких ситуаций и заковырок, притом даже фискальные фигуры не раз пользовались посредничеством этого деда в разных делах «деликатного свойства».

Максименко шатался по всему зданию тюрьмы, имел доступ повсюду, часто в тюрьме и ночевал, а в нашу избу назойливо пытался втереться, уже зная, что у *политиков* можно легче всего заработать, притом ничем не рискуя, и не попадая в неприятности с властями. Мы же сразу приняли его неохотно и резко...

Не обидевшись, он постоянно приставал к нам столько раз, что напролом всё же добился доступа в нашу избу и закрепился на занятой позиции.

Западную Сибирь и большую часть Забайкальского края он знал наизусть и об уже известных нам местах, а также о якутах, тунгусах и других кочевниках, об их обычаях и верованиях рассказывал очень интересные подробности, очень красочным и своеобразным языком описывал таинственную тайгу и необозримые степи.

И образы эти оживлял, вплетая в них свои личные, часто архизабавные и необычные похождения.

Заметив, что ему удалось нас заинтересовать своими рассказами, смеялся, обнажая пеньки испорченных зубов, и, протягивая нам свою меховую сибирскую ушанку, хохотал:

— Ну-с, *господа*, киньте сюда горсть *николашек*³⁴ и скажите: «вот тебе на горилку и хлеб-соль и на постолы, старый гриб».

Разумеется, такое обращение к нашему великодушию никогда не оставалось безответным.

Максименко с хитровой, слегка ироничной усмешкой прятал в значку копейки и, если пора была ещё не поздняя, а нам хотелось ещё слушать, опять принимался рассказывать.

— «Есть такие», говоришь, дед, тогда я спрашиваю: какие они «такие»? — спросил Александр Гжегожевский, который вернулся из тюремной канцелярии, куда ходил за какой-то нужной нам информацией.

Максименко рад вопросу и не медлит с ответом.

31. «Спасибо!» *Прим. авт.*

32. «К звёздам» (*лат.*). *Прим. пер.*

33. На языке бандитов это означает «выйти сухим из воды». *Прим. авт.*

34. *Николашка* — копейка с изображением царя Николая I. *Прим. авт.*

— Я слышал, что есть такие «бродячие» люди, которые в мешках прячут всякие ветры. Такие ветры, которые землю осушают и вызывают солнечные пожары, а в жару вдруг приносят холод...

И ещё—такие бури, что строения сдувают с земли, как пёрышки, а *народ* и всяких зверей убивают, на озёрах и реках лодки и даже корабли на морях топят. Слышал я, что есть такие люди, что разносят по свету мор и разные болезни в своих больших кожаных мешках... Где захотят, развяжут и выпустят заразы и болезни... И тогда люди целыми табунами падают замертво...

— А ты сам веришь в это, дед?— прервал Александр Гжегожевский.

— Откуда мне знать?... Верю или не верю... Мои старые выцветшие зенки много чего в этом мире повидали... Много чего... Наверное, верю!— воскликнул он после долгого раздумья.

Когда мы прибыли в Тобольск, в городе как раз вспыхнула холера, городские жители обвиняли нас, поляков, что это мы из ненависти к россиянам умышленно привезли холеру в своём багаже.

Если бы нас не заперли в тюрьме, куда имели доступ урядник и стража и никто с нами больше не общался, мы вполне могли заплатить жизнью за невежество тёмного люда.

Рассказ Максименко напомнил Гжегожевскому эти недавние наши невзгоды и беды, и он не на шутку рассердился.

— И как вы, дорогие мои, можете слушать байки, которые нам плетёт этот пьяница и попрошайка! Это просто стыд для интеллигентных людей!— кричал он, бегаая по избе.

— Поскольку ты сам его спросил, Олесь, стыдись ты, знаешь ли, мы тут не при чём. Мы только слушаем байки деда, а ты сам натолкнул его на такие разговоры,— смеялись мы, что приводило Гжегожевского в ещё больший гнев.

Хотя мы говорили по-польски, шустрый Максименко догадался, что речь идёт о нём. Потому, опасаясь потерять источник *николашек*, повёл разговор о другом.

— Забыл вам сказать, *господа*, что сегодня я был в *петербургской гостинице*... Приехала и осталась там...

Медленно цедил он слово за словом. И замолк. Смотрел на нас исподлобья, пытаясь определить, достаточно ли разжёт наше любопытство. И ждал.

А не дождавшись от нас вопроса, кто приехал в петербургскую гостиницу и кто там пребывает, выпалил одним духом:

— Приехала какая-то *барышня*, по-русски плохо понимает, *видно*, из ваших, потому что очень на вас похожа.

Поистине дед Максименко был мудрым и бывалым человеком, к тому же хорошим психологом.

И ему удалось-таки нас заинтересовать и разжечь наше любопытство. Все впились в него глазами, и кто-то из нас спросил:

— А Максименко не знает, как зовут эту приезжую госпожу?

Дед покачал головой.

— Не знаю. Но могу узнать, если угодно господам «шляхте».

— Так пусть же Максименко узнает, просим, и соответственно вознаградим.

— Бегите, дед, в эту *петербургскую гостиницу*, и узнайте об этой госпоже точные и вразумительные сведения.

Дед хитро усмехнулся.

— Сейчас я в *петербургскую гостиницу* иди не могу, я же не *летяга*³⁵, чтобы мне по ночам летать. Если я отсюда сейчас выйду, так они, мать их, сука шелудивая, не впустят меня обратно в *тюрьму*. Но утром, как только отопрут ворота, выскочу в город, всё узнаю, вернусь в вашу *спальню* и подробно вам оттрапую, что и как было и есть,— и, отсалютовав по-военному, вышел, не скрывая радости, что весть, которую нам сообщил, так быстро нас заинтриговала.

Максименко слово сдержал.

Утром, чуть не на рассвете, появился в нашей избе.

Сперва набожно перекрестился и пожелал нам счастливого доброго дня. Потом встал посреди избы, держа шапку под мышкой, одной рукой опираясь о косяк, другой расчёсывал свою длинную, спутанную белую бороду, закрывающую почти всё его лицо.

То моргал, то обтирал красные, набрякшие веки... Харкал... Громко кашлял и наконец крикнул:

— Всё в полном порядке!

Олесь Гжегожевский нетерпеливо его прервал: — Максименко был в этом петербургском отеле? Максименко видал эту госпожу?

Дед обхватил большущей лапой свою бороду, стиснул в горсти, потом самый кончик всунул в беззубый рот, покивал головой и ответил:

— Видел— почему нет?— видел эту *барышню*... Бледная, как мамонтова кость, щёчки гладенькие, как зеркала, а на личике румянец просто как красное *винцо*. А *бродни*³⁶ такие малюсенькие, как мои два пальца... не, вру! Такие малюсенькие, как мой один палец.

— Хватит об этом,— раздражённо прервал кто-то из нас этот бесполезный разговор,— ты узнал, дед, как зовут эту госпожу?

— Этого не узнал,— ответил Максименко и после долгих колебаний и увёрток должен был всё-таки сознаться, что не смог добыть других сведений о приезжей, которую только мимолётно увидел, когда она остановилась около «петербургского отеля».

Хозяин отеля, татарин Ахметка, который, по заверениям деда, очень с ним дружен и ничего от него не скрывает, тем не менее отказался от всяких объяснений и ответов касательно незнакомой приезжей.

Слуги в гостинице тоже ничего не хотели о ней говорить.

— Я предлагал этим *лизолапам* полсеребряника, так не хотели даже морды повернуть,— сердился Максименко, очень сконфуженный и униженный неполнотой добытых сведений.

— Это, наверное, какая-нибудь княжна или купчиха с тысячным состоянием из дому от родителей

35. *Летяга*—сибирская белая летучая мышь. Прим. авт.

36. Очевидно, «ножки», от глагола «бродить». Прим. пер.

сбежала искать свою судьбу в широком и большом мире, или своего милого любовничка догоняет. И прячется от людей, чтобы родители не напали на её след.

Так считал Максименко.

У нас же были другие предположения.

В ту пору уже не одна полька и не одна Россиянка последовали тернистым путём за каторжником-мужем в Сибирь.

Мы предполагали, что таинственная приезжая—именно такая восторженная женщина, такая благодарная добровольная изгнанница, которая ожидает в Таре прибытия своего мужа, чтобы дальше проделать поход до места казни вместе с партией, в которую попал арестованный.

— Наверное, — думали мы, — это дама из высшего общества и потому избегает любопытствующих, их разговоров и скрывается от слуг.

Это очень разумно и правильно.

Как бы там ни было, а мы решили с этой дамой обязательно познакомиться.

И тогда вчетвером, взяв с собой Кароля Богдашевского в качестве переговорщика, отправились в «петербургский отель». Это был большой грязный дом с обязательным *кабаком*, с лавкой разных разностей и несколькими хозяйственными постройками, стоящими в каре, около главного здания, где размещались комнаты для гостей—приезжих или местных—что приходило сюда искать утех или сгубить кусочек повседневной жизни в кабаке.

Таковых, очевидно, собралась немалая компания, причём в отменном настроении, поскольку издаലെ слышны была балалайка, песни, танцы и громкий говор.

В конюшне было полно тарантасов, коней, возов, кибиток, а перед настежь распахнутыми воротами дома мы увидели особых посетителей: медведя и волка.

То ли двое четвероногих сторожей каждого впускали в отель, но никого не выпускали, кроме тех, кого провозжал кто-нибудь из слуг либо сам хозяин.

С теми, кого они знали, с постоянными посетителями кабака и постоянными гостями отеля, Миша-медведь и Саша-волк «здоровались», приветствовали, ощерив клыки, что должно было служить знаком большого расположения.

Миша быстро карабкался на высокий столб, с которого сползал с ловкостью истового гимнаста, а Саша в это время грыз кости, целая груда которых лежала под стенами и воротами отеля.

Кароль Богдашевский велел позвать хозяина.

На вопросы о той даме, что пару дней приехала издалека и здесь остановилась, татарин Ахметка отвечал путано, двусмысленно и увиливая.

Причём на его плоском тёмном лице читалось беспокойство, а в маленьких скошенных глазах загорались настороженные огоньки, как в зрачках дикого зверя.

Всё это было очень подозрительно.

Кароль Богдашевский сказал, что эта постолица—его кровная родня, приезд которой он давно ожидает, что он хочет и должен увидиться

с ней, что если Ахметка тут же не проводит нас к этой госпоже, мы пойдём в полицию.

Загнанный в угол, Ахметка наконец решился проводить нас вглубь дома, причём рассказывал, что дама приехала уже нездоровой, что её состояние всё ухудшалось и сейчас она очень больна.

— Почему не вызвали врача?—спросил Кароль.
— Сама *барышня* не хотела, не приказывала, а почему? Не могу знать,—ответил Ахметка.

Всё ещё медля, жалуясь и сетуя на хлопоты и неприятности, с которыми ему, как хозяину отеля, приходится слишком часто сталкиваться, татарин проводил нас через целый лабиринт коридорчиков, каморок, потайных лестниц, высоких порогов до боковой пристройки.

Тут, опередивши нас перед дверью в деревянной стене и указав на дверь, сказал:

— Здесь!

Богдашевский легонько постучал.

Постучал чуть громче второй раз. И, наконец, в третий...

Но из-за закрытых дверей не слышно было ни голоса, ни движения, ни наилегчайшего шелеста.

— Может, она вышла?—спросил он у Ахмета.

Тот отрицательно покачал головой.

— Нет! Я вам точно говорю, что она больна, что вообще не выходит и даже не поднимается с постели.
— Тем более нам нужно её повидать. Нечего раздумывать, нечего колебаться.

— Конечно! Иди ты, Кароль, на первый залп,—сказали мы,—ты одет как цивилизованный европеец, мы же в наших каторжных одежках выглядим как бандиты, мы только испугаем больную.

— Правда!—поддакнули друзья.

Богдашевский осторожно приоткрыл дверь. Вошёл... Осторожно закрыл дверь за собой.

Нас удивило, что за этими дверью мы не услышали никакого голоса...

Вдруг Кароль быстро вышел в коридорчик...

— Входите! Входите! Бога ради,—звал он нас шёпотом, голос его сильно изменился.

В комнатке, вернее, в низкой мансарде, слабо освещённой круглым окном под самой крышей, на кровати, накрытой несвежей постелью, лежала женщина. Она была молода.

Её длинные светлые косы свисали, расплетёнными и растрёпанными концами касаясь пола. Под шёлковым лёгким одеялом угадывались контуры высокой, худощавой фигуры.

Молодая женщина явно была очень тяжело больна.

О сильной горячке свидетельствовала её пылающая голова, неподвижно лежащая на подушках; её воспалённые глаза, горевшее от жара, нежное, прекрасное лицо, её горячие руки, которые на пурпуровом атласе одеяла казались выточеными из алебаstra.

Она была совершенно без сознания.

Мы обратились к ней по-польски, по-французски, наконец, по-русски.

Она не ответила нам, очевидно, не понимая ничего и не отдавая себя отчёт, что около неё происходит.

— Но тут нужна немедленная медицинская помощь, — вскричал Богдашевский.

— Адам, — обратился он к Кловоскому, — беги к доктору Муразову. Если дома не застанешь, то в офицерском клубе точно его найдёшь. Хватай деда, сажай в тарантас и доставь возможно скорее.

Кловоский выбежал, а мы тем временем осмотрели мансарду, пытаясь отгадать, кто это чудесное создание, молоденькая девушка, которую трагическая судьба пригнала сюда северной зимой, — а случай отдал больную, безродную неприкайнную, под опеку изгнанников, под нашу опеку. Что она принадлежала к высшему обществу, свидетельствовало всё её обличье, благородство её поистине изумительной красоты.

Женщина бедная не могла быть одета в такое изящное бельё, лежать на дорогой постели, как эта больная.

Пока мы бились над этой живой загадкой, Олесь Гжегожевский, который в это время шнырял по мансарде, изучая все её углы, вдруг поднял с пола какой-то маленький предмет...

Это была суконная ладанка.

На одной стороне ладанки голубым шёлком вышиты слова:

«Наисвятейшая Богоматерь Ченстоховская, проводи мою Маришеньку по тернистому пути, который она для себя избрала».

Таинственность, окружавшая больную женщину, понемногу начала разясняться в самой для нас интересной ипостаси: эта прекрасная особа была Польшка и эта ладанка, несомненно, принадлежала ей.

Никто из местных не читил и не носил таких святых. Ни один наш земляк в эту пору через Тару не проезжал, в этом отеле не останавливался, жившие здесь поляки об этом бы узнали.

Наше сочувствие к больной ещё усилилось от того, что эта несчастная оказалась нашей землячкой.

Богдашевский решил, что сразу же после посещения врача он перевезёт её в другое жилище, более достойное, чем эта мансарда в грязном сибирском заезжем дворе, где днём и ночью раздавались крики и пьяная брань и царило беспредельное хамство, где из каждой комнаты и каждого уголка исходило несносное зловоние, просто убийственное для изнурённой женщины, притом непривычной к подобной обстановке.

Вскоре Адам Кловоский привёл доктора Муразова. Эскулап явился хмурый, в кислом, как уксус, настроении, сердитый, оттого, что его оторвали от забав офицерского клуба. Именно в этот день ему везло в игре, и тут чёрт принёс этого поляка с вызовом к большой родственнице. Наверняка это жена какого-нибудь «мятежника», а может, она сама — «мятежница», которая могла бы себе спокойно помереть в любое время, никого не утруждая: смерть каждого «мятежника» или «мятежницы» — очевидная польза для «матушки России».

Примерно так должен был рассуждать доктор Муразов, что мы поняли из его поведения и чёрного юмора. Тем не менее он стал вежливым, любезным и приятным в обращении, как только после взаимных приветствий Кароль Богдашевский прямо у входа вручил ему свиток банкнот.

Он принял деньги без церемоний и, удостоверившись, что предложенная сумма намного превышает обычный докторский гонорар в Таре, сразу же из грубияна превратился в человека обходительного и внимательного, как и положено врачу, лечащему охотно, и принялся выслушивать больную. Осмотр получился печальным. Муразов признал состояние пациентки как весьма опасное.

Поставил диагноз: воспаление лёгких, осложнённое воспаление мозга. А эти две болезни при слабом организме не сулят быстрого выздоровления, более того: следовало готовиться к катастрофе.

Партия, в которую мы входили, выбывала из Тары быстрее, чем было намечено. Разные прогнозы, а главное, ранние холода предвещали быструю и тяжкую зиму. Потому партия должна была поспешить, чтобы возможно скорее добраться до Томска.

Покидая Тару, мы оставили «нашу Маришеньку» (теперь мы так называли больную девушку) в том же состоянии, в каком увидели её впервые.

Её польское происхождение не вызывало никаких сомнений.

Ни на минуту не приходила она в сознание, лишь при каких-то горячечных видениях с её прекрасных уст срывались имена, или выражения, бессвязные слова — имена, обычные в Польше, и выражения были часто чисто польские.

Что последовала она в Сибирь за мужем или возлюбленным, тоже можно было сказать наверняка, ибо какой другой повод кроме жертвенной любви мог бы погнать красавицу, молоденькую полячку, по этому тернистому пути, вытоптанному стопами политических преступников?..

Тем не менее фамилия нашей Маришеньки так и оставалась для нас тайной.

В течение многих лет нас переводили из тюрьмы в тюрьму, перемещали из крепости в крепость, мы знали целую армию осуждённых, если не лично, то понаслышке из рассказов сотоварищей.

Не чужды были мне имена разных заговорщиков, известен их удел в разных обстоятельствах и в разных происшествиях. Всё это засело у меня в памяти, так же, как Катехизис и Отче Наш.

Не раз я пытался звать: «Сестрица» — и называл то или иное имя, возможно, счастливица, которого удостоила любви «наша Маришенька».

В конце концов, при различных раскладах и комбинациях, сопоставлениях времени, мест, личностей, выросло целое сооружение правдоподобности и домослов, и всё это привычно рушилось, как здание на хрупком фундаменте.

Но, конечно, у «нашей Маришеньки» должен был быть паспорт и прочие подорожные документы, подтверждающие её личность, место рождения, место, куда она отправлялась в свою вынужденную дорогу.

А эти документы исчезли, пропали без следа.

Некоторые из посетителей «кабака» и «петербургского» заезжего двора вспоминали, что эта красивая больная девица, которую взяли под опеку поляки, прибыла несколько дней назад в Тару на тарантасе, гружённом чемоданами и множеством тюков.

Они помнили, что эти чемоданы и тюки отнесены были в переднюю комнату отеля.

По наблюдениям таких свидетелей, эта барышня была очень богата, *ямщик*, который её привёз, долго и подробно рассказывал о её доброте и щедрости, о том, что она ни с кем не торговалась, платила за всё, сколько просили, хотя ей называли цены, намного выше, чем обычные.

Отсюда следовал вывод, что «наша Маришенька» заболела сразу по приезде в Тару, что Ахметка перевёл неприкасную несчастную из её *парадной комнаты* в мансарду, чтоб её там спрятать и скрыть от любопытных глаз, что он присвоил весь её багаж, а паспорт и подорожные документы уничтожил, сразу же уложив больную девушку в постель, в доказательство её болезни.

Всё это было ясно.

Тем не менее Ахметка всё отрицал.

Досмотр в *петербургском отеле* не выявил ничего подозрительного, равно полиция отрицала наличие подорожных бумаг.

Накануне отбытия партии в поход мы пошли проведать больную. Наши братья, живущие в Таре, перенесли «нашу Маришеньку» из мансарды заезжего двора в другое жилище. Теперь она занимала большую комнату, чистую и светлую, с видом на реку Архарку и древние вечнозелёные леса. Она располагала удобствами, её лечил лекарь, её неустанно опекали приязненные горячие сердца, готовые ради неё на любые жертвы...

С уважением пожимали мы исхудалые и горячие ручки больной, прикасались к ней лёгкими поцелуями и шептали пожелания здоровья.

— Встретимся ли мы с ней ещё когда-нибудь? — спрашивал я растроганно и печально.

— Ты спрашиваешь, встретимся ли мы ещё с ней? Но, дорогой мой, конечно же, встретимся... если не на этой земле, то по ту сторону гроба... Ведь мы шли по жизни общим путём, — ответил профессор Жоховский.

— Фактически наша работа — это работа Данаид! Несколько дней дождя напрочь смывали вал, построенный нашими руками. Первый же разлив снесёт его вообще. И снова придётся тачками подвозить навоз, смешивать с гравием, песком, тростником, придётся всё это укладывать, трамбовать, чтобы, закончив, вскоре проделать то же самое... Право, трудно придумать другую, столь же оглуляющую работу!

Так вещал Юзеф Богуславский, тыкая в землю лопатой, которую держал в руке, а я отвечал ему со смехом:

— А ты что думал, Юзик? Что нас послали на каторгу с целью развития умственных способностей и для использования на полезной и продуктивной работе?... Мы должны приучать себя к «оглуляющим» работам, потому что других на каторге не будет...

Юзеф Богуславский и я беседовали так в Усть-Каменогорске³⁷.

Поскольку мы закончили назначенную нам порцию работы раньше других и ожидали, пока сотоварищи закончат свою, мы отдыхали, глядя то на

погожее небо, то на Иртыш, в то время спокойный, гладкий, как отполированный лист стекла, в котором отражался то сапфир небес, то белые перелётные облака.

Подошёл офицер в звании инженера, обозрел вал, который каторжники насыпали над Иртышом. Местами замечал небрежную работу и, наверное, чтобы придать себе больше веса, ругал каторжников, ругал конвойных дозорных, а потом приказал вернуться в каземат.

В дороге встретили ефрейтора, который сказал, чтобы я явился в канцелярию коменданта крепости.

Комендант, майор Маценко, был неплохим человеком, особенно для нас, поляков. Держал себя пристойно, вежливо и не скрывал симпатии, что таилась в его душе по отношению к Польше.

— Рад, что могу вам доставить удовольствие, Шимон Себастьянович, — сказал он, когда меня привели в канцелярию и вручили мне письмо, которое почта только что привезла.

Я взглянул на почтовый штемпель... Письмо пришло из Тары. Пропутешествовало оно всего пару месяцев... В сороковых годах, нас, каторжников, редко когда привозили сразу к месту казни.

Включали нас то в одну, то в другую партию преступников. Мы отбывали долгие походы вглубь Сибири, чтобы потом той же дорогой поворачивать к Уралу и России.

Это были поспешные марши и поспешные рокировки. Были то долгие и короткие этапы, в зависимости, конечно, от соображений начальников в главных сибирских городах.

Так что письма тоже проделывали долгие путешествия, пока попадали к адресату.

Получив письмо из рук майора Маценко, распечатал его поспешно.

Я был уверен, что это, несколько месяцев ожидаемое мною послание, содержит вести о «нашей Маришеньке». И предчувствие меня не обмануло...

Кароль Богдашевский, не скупясь на подробности, рассказал нам о той женщине, которую мы узнали в Таре и к которой испытывали такую сердечную привязанность и сочувствие.

Лекарь Муразов правильно поставил диагноз.

«Наша Маришенька» потихоньку... потихоньку... увядала, как цветок, схваченный морозом... Угасла, как звезда, которую громовые тучи укрыли так, что она совсем исчезает и навсегда прячется от устремлённых к ней людских глаз...

«Наша Маришенька» оставалась без сознания. За минуту до гибели у бедняжки появился лёгкий проблеск сознания...

Протянув жестом протянула она ручки к братьям-изгнанникам, которые в последние дни её жизни находились около неё непрестанно, с большим усилием прошептала:

— Передайте ему, что...

И — всё. Более не последовало ни одного слова... ни одного слога...

Никто из нас не смог выполнить предсмертной воли «нашей Маришеньки». Никому из нас не удалось узнать, что и кому хотела она передать.

1. См. «Семь лет каторги». Прим. авт.

Пётр Ореховский

Симулякры¹ и симулянты

*Мои друзья идут по жизни маршем,
И остановки—у пивных ларьков.*

В. Цой

...Тогда была проведена кардинальная реформа, согласно которой день поступления в школу считался одновременно днём окончания университета... Реформа оказалась прекрасной... По статистическим подсчётам, наша страна сразу заняла первое место на Марсе по числу людей с высшим образованием... Император был доволен реформой потому, что она свидетельствовала о его любви к народу, к просвещению. Учителя были довольны тем, что все они стали преподавателями университетов... Отцы семейств с удовлетворением взирали на своих семилетних сопляков, которые кончали университеты, так как умные дети—гордость отцов и матерей. Об учениках я уже не говорю: они были просто счастливы, что родились в Кошачьем государстве.

Лао Шэ. Записки о Кошачьем городе

1. Аспирантка

Бумажный самолётик резко взмыл к потолку поточной аудитории Санкт-Петербургской экономической академии, завис там на долю секунды, клюнул носом вниз и по красивой синусоиде приземлился на трибуну лектора, который как раз в этот момент отвлекся от рисования формулы на доске и сердито оглядывал аудиторию.

— Это чёрт знает что такое,—пробормотал себе под нос профессор Лощинин и уставился на смазливую девицу, расплывшуюся в улыбке, обнажившей рекламные ровные акулы зубы.— В чём дело, Жукова?

— Смешное очень понятие—эластичность функции,—ответила Жукова, не переставая мерзко хихикать.

— И что здесь смешного?

— Ну как же? У каждой женщины и у каждого мужчины—своя эластичность функции. Очень смешно.

Лощинин на секунду онемел, а потом обозлился.— К двум феноменам человеческой жизни приращение любой подписи, по-видимому, будет казаться особенно смешным молодым людям. Скажем, вы можете, Жукова, взять заголовки газеты «Коммерсант» и поместить их под фотографией полового акта, и это будет очень многозначительно. Кроме того, вы можете добиться того же эффекта, поместив эти или другие заголовки, а также любые термины или определения на двери туалета, и это, с большой вероятностью, тоже покажется вам смешным. Но всему своё место, Жукова. Мы же

с вами находимся в учебной аудитории, а не в одной из охарактеризованных выше ситуаций, не так ли? Поэтому ваше чувство юмора представляется мне неуместным. Как и эта бумажная конструкция, которая приземлилась мне на кафедру.

Студентка Жукова, сидевшая в первом ряду, перестала улыбаться, выпрямилась, демонстрируя полуобнажённый бюст, который был виден с преподавательской кафедры во всех подробностях даже невысокому, чуть выше среднего роста Лощинину, и наградила лектора роковым взглядом исподлобья.

Тем временем оторвавшаяся от конспектов аудитория тихо гудела, почти не обращая внимания на диалог между профессором и студенткой. Юноши на плотно населённых задних рядах повернулись друг к другу и отвернулись от доски, их бубнёж сливался в довольно громкий рокот. Девушки впереди по большей части развлекались с мобильными телефонами, отправляя и принимая эсэмэски. В разных концах несколько человек сидело с отсутствующим видом—в их ушах торчали наушники, а взгляд рассеянно блуждал по аудитории.

1. Симулякр (от лат. *simulo*, «делать вид, притворяться») — копия, не имеющая оригинала в реальности. В современном значении слово «симулякр» введено в обиход Жаном Бодрийяром. Ранее (начиная с латинских переводов Платона) оно означало просто изображение, картинку, репрезентацию. Например, фотография — симулякр той реальности, что на ней отображена. Необязательно точное изображение, как на фотографии: картины, рисунки на песке, пересказ реальной истории своими словами — всё это симулякры. Бодрийяр ввёл понятие «гиперреальность» как развитие марксистского понятия «надстройка». Основа гиперреальности — симуляция. Единичными гиперреальностями являются симулякры — знаки или несамостоятельные феномены, отсылающие к чему-то другому, а потому симулятивные. Также он развил учение о трёх порядках симулякров: копии, функциональные аналоги и собственно симулякры. К третьему порядку симулякров он относил все современные феномены, включая деньги, общественное мнение и моду. Они функционируют по принципу символического обмена. Современную эпоху Бодрийяр называет эрой гиперреальности — надстройка определяет базис, труд не производит, а социализирует, представительные органы власти никого не представляют. Современную эпоху характеризует чувство утраты реальности. Последним бастионом реальности становится смерть («смерть, пожалуй, единственное, что не имеет потребительной стоимости»). На смерти основана любая власть и экономика. Но в этом случае смерть выступает не сама по себе, а как фантазм (представление). В искусстве Бодрийяр видит критическую и терапевтическую функции по возвращению реальности. (из Википедии). Здесь и далее — примечания редактора.

Лощинин всё никак не мог успокоиться, вертя в руках самолётки, и продолжал:

— В данном случае речь шла об эластичности спроса по цене. Кто может сказать, что это такое? — он уцепился взглядом за студента с отсутствующим видом и спросил: — Как вы думаете, Островский?

— Вы ко мне? — удивлённо спросил Лощинина студент, концентрируя взгляд на лекторе.

— Да, к вам. Как вы мыслите?

Студент Островский упорно молчал.

— Декарт как-то заявил, что он мыслит, следовательно, существует. Если вы не мыслите, то вы не существуете, Островский. И с кем я тогда разговариваю? — дёрнув щекой, повысил голос Лощинин.

Аудитория наконец притихла. Профессор вернулся к тексту лекции, большая часть студентов возила ручками по бумаге, процесс подготовки специалистов-менеджеров продолжился. Определение эластичности спроса по цене в этот раз так и осталось для студента Островского тайной.

На кафедре экономической теории, куда направился после лекции Лощинин, было шумно. Там его ждал приятель и собутыльник, кандидат философских наук, доцент Белкин.

— Ваша кафедра мне напоминает бункер Гитлера перед капитуляцией. Все носятся в разных направлениях, все — с какими-то бумажками, одновременно обмениваясь короткими рублеными фразами на ходу, — заметил Лощинину Белкин, когда они выдвинулись на оперативный петербургский простор из дверей государственного высшего учебного заведения.

— Да, чем-то похоже. Только тогда кафедра философии напоминает бункер Гитлера после капитуляции — тишина, никого нет, и только методист вместо часового у входа при телефоне, — не остался в долгу у товарища Лощинин.

— Как неожиданно проявляется в нас знание истории, — после паузы отметил Белкин. — Зайдём?

Приятели остановились у рюмочной — специфического питерского заведения. В других российских городах организации общественного питания аналогичного профиля расплывчато назывались кафе. Лощинин частенько задавался вопросом, есть ли какая-нибудь наследственность между бытовавшими в Петербурге до революции питейными и пережившими меченого Богом последнего генсека КПСС рюмочными, однако наличие или отсутствие этой связи оставалось тайной. Неисчислимо множество питерских краеведов, знающих всё о тайнах и легендах Невского и иных проспектов и выражавших повсюду своё авторитетное мнение, заставляло его держать свои вопросы при себе.

— Конечно, зайдём, двух мнений быть не может, — бодро ответил профессор, и они спустились на пару ступенек вниз.

Забегаловка была оформлена с некоторой претензией на память о Кавказе. Это навело Белкина на очередные политические реминисценции.

— Вот вам, Владимир Алексеевич, и Хантингтон².

— Не выражайтесь, — строго ответил профессор.

— Никого не хотел обидеть, но этим летом наша родина воевала с родственной православной страной, поддерживая мусульманских мятежников. Вопреки цивилизационным разломам. И в телевизоре был сплошной патриотизм. Просто ужас что такое, может, шашлыка скушаем под водочку в пику кремлёвской гебне и в качестве поддержки грузинских либералов вместе с нашим земляком Андреем Илларионовым?

— От шашлыка здесь, полагаю, только название. Так что лучше я возьму на закуску традиционное русско-еврейское блюдо — селёдку под шубой. А вы как хотите. Заодно поясните мне, что имеется в виду под патриотизмом, поскольку за последние двадцать лет я уже совсем перестал понимать, что имеется в виду.

Они выпили за начало учебного года. Потом Белкин заявил:

— Патриотизм — любовь к родине. «Ты жажде сердца не дал утоленья, как женщину, ты родину любил».

— И как вы понимаете такую мужскую любовь в стиле Некрасова? — углубился Лощинин.

— Известно как: дружба и любовь в России предполагают, что ты должен говорить близкому человеку всё, что ты о нём думаешь, чтобы сделать его лучше. И с патриотизмом примерно так же. Родина должна быть свободна и богата.

— Интересно. В вашем определении смешано как минимум два патриотизма. Условно я их обозначу как «славянофильский» и «западнический». Славянофил теперь — это такой человек, который любит родину, которая богата и может дать другим по морде. Это насчёт «свободна и богата». — Вот-вот. Это и показывают в последнее время по телевизору.

— Любовь нынешнего славянофила ощущается именно тогда, когда родина его поит, кормит и всячески удовлетворяет. Если же она больна, слаба и бедна, то он чувствует национальное унижение. И если последнее нестерпимо, то он может-таки уйти к другой женщине. Эмигрировать то есть.

Для второго типа патриота, западника, любовь к родине — это судьба. Страна у него пьёт, ворует, гуляет, а он её перевоспитывает, хотя и знает, что это — бесполезно, Россия измениться не может — это насчёт того, чтобы «говорить всё, что думаешь». Недавно вот я у одного такого прочёл: «Россия встала с колен. На четвереньки». Сам-то патриот стоит гордо в вертикальной позиции, надо полагать, для того, чтобы при случае врезать пьяной женщине ногой по зубам. Исключительно для вразумления и протрезвления, конечно. Уйти от этой гуляющей страшной бабы западник не может — он же её любит, так что ему остаётся только овдоветь. И когда что-нибудь такое происходит типа распада СССР или войны в Чечне — начинается плохо скрываемая радость — ну вот, наконец-то, дождались... Кстати, Некрасов,

2. Хантингтон С. (1927–2008), один из авторов цивилизационного подхода. Относил Россию к так называемым стержневым государствам православной цивилизации, предполагая неизбежным отделение её исламских республик с одновременным союзом с другими православными государствами (см. С. Хантингтон. Столкновение цивилизаций).

когда писал про Добролюбова процитированные вами строки, наверняка знал, что знаменитый критик жил с так называемой падшей женщиной... Да и у самого была какая-то треугольная сексуальная жизнь с Панаевыми. Так что родину, как и женщину, можно любить очень по-разному. — Известно, от любви до ненависти один шаг, — не преминул вставить известную банальность Белкин, почёсывая интеллигентскую мефистофельскую бородку.

— Тут важны ещё два обстоятельства, — с интонациями лектора, слегка педалируя нудность, продолжил Лощинин. — Во-первых, если поскрести любого славянофила, то из него вылезет вера в наличие гениальных жидо-масонов, которые правят миром и хотят поработить Россию. Во-вторых, если подольше поговорить с западником, то увидишь запуганного параноика, который верит в «кровавую гебню», в гениальных и одновременно тупых силовиков, которые опять-таки хотят поработить Россию, а вместе с ней и весь мир, вернуться в тоталитарное общество. И вот они вместе так сильно любят нашу страну, что просто не знаешь, куда от них деваться.

— Что-то я даже не знаю, какой из этих ваших патриотизмов мне противней. Хорошо бы, как у Курта Воннегута — любви ты меня поменьше, лучше относись ко мне по-человечески. Вот как-то поспокойней к родине относиться нельзя? Всё-таки мы уже с ней давно живём, пора бы и уважению появиться. Если не взамен, то в дополнение к страсти, — Белкин отпилил пластиковым ножом на картонной одноразовой тарелке небольшой кусок свинины от блюда, названного барменшей шашлыком, разогретым в микроволновке, и приготовился закусить.

— Вот этого, дорогой мой Андрей, никак невозможно. Ибо являемый в телевидении или печатном слове патриотизм является уже отдельным от чувства продуктом, а коли в нём страсти нет, то кто же его будет покупать? У нас же теперь капитализм. Вы нам денежки, а мы вам патриотизм явим. И примириться нынешние западники со славянофилами никак не могут, ибо, полагаю, разный платёжеспособный спрос удовлетворяют.

На тезисе о необходимости удовлетворения дифференцированных потребностей, с которым спорят социалисты, но в качестве аксиомы принимают все настоящие либералы, приятели свернули дискуссию.

Они выпили на посошок, точно рассчитав закуску, и вышли на крыльцо рюмочной, когда у Лощинина зазвонил мобильный телефон. Поговорив, он обратился к Белкину:

— Надо же, как не вовремя... Андрей, у вас вечер свободен? давайте я вас с девушкой из Новосибирска познакомлю. Покажете ей Петербург, а то мне категорически некогда.

— А она красивая? — деловито поинтересовался доцент.

— Вас интересуют гносеологические или онтологические аспекты красоты данного объекта? — осведомился в ответ профессор.

— Я просто хочу знать, жертвуя ради вас своим временем, могу ли я рассчитывать хотя бы на некоторое эстетическое удовлетворение.

— Красивая, красивая, — буркнул Лощинин. — И с деньгами, так что умная и платить будет сама за себя, если что. Соглашайтесь.

Белкин издал театральный вздох, и приятели пошли в метро.

У Анны Мельниковой были модные пухлые губы, вздёрнутый курносый нос, тёмные волосы и карие глаза миндалевидной формы. Она вполне соответствовала требованиям гламурных журналов, а неправильность носа отличала её от фотомоделей и придавала ей живость. Щеголеватый Белкин остался удовлетворён белым осмотром. Лощинин представил её как аспирантку своего сибирского коллеги, приехавшую в Питер в командировку, извинился, сославшись на занятость, и быстро ушёл, пожелав им хорошего вечера. Анна растерянно и с каким-то ещё, непонятым для Белкина чувством посмотрела ему вслед.

— Я, конечно, не в силах вам заменить профессора, разве что в некоторых отношениях... Например, вы можете опереться на мою руку, — галантно, как ему показалось, заявил Белкин.

— Владимира Алексеевича вам будет трудно заменить во всех отношениях... Но относительно опереться — почему бы и нет, — как показалось Андрею, с некоторой тоской в голосе ответила Анна.

Белкин проглотил появившуюся у него на языке колкость и вежливо поинтересовался:

— Вы ужинали?

— Да.

И Белкин с Мельниковой под руку пошли вниз по Невскому к Миллионной, где находилась гостиница Академии наук. Стоял тихий, тёплый сентябрьский вечер, Невский был запружён гуляющим народом. Доцент решил поддержать угасающую беседу вопросами о насущной, как ему казалось, для Анны теме.

— Про что ваша диссертация, не расскажете?

— Вам неинтересно будет.

— Приятно, что вы со мной кокетничаете. Нет, правда. Расскажите.

— Про человеческий капитал, который создаётся в первую очередь образованием.

— Да? А я думал, что он создаётся в первую очередь знакомствами.

— Вот, вы уже насмешничаете. А ведь чтобы с нужными людьми познакомиться, тоже образование нужно.

— Тут вы правы, я как-то не додумал. И эти все баллы по ЕГЭ, переход к бакалаврам и магистрам — это тоже для увеличения круга знакомств?

— Типа того. К получаемым баллам по ЕГЭ будет привязываться зарплата учителя, у магистров будут читаться сложные авторские курсы — и у профессоров зарплата возрастёт. В общем, мотивация и эффективность как стимулы для создания компетенций. И все будут друг с другом знакомиться и дружить.

— Однако! Анна, а вы в вузе преподаёте?

— Конечно. Поэтому и степень нужна. Правда, я ещё и в нии работаю—и там получение степени тоже увеличивает зарплату.

— Тогда... вы всё это серьёзно—про стимулы? Учитель у нас, если после института, получает на уровне минимального размера оплаты труда. Профессор—в три раза больше. Как раз на уровне кассира-операциониста в банке. Причём коммерческий студент у нас в академии платит сто восемьдесят тысяч рублей в год, а ставка профессора—порядка пятнадцати тысяч рублей в месяц. Получается, что один студент может содержать профессора. Однако в среднем у нас на одного преподавателя приходится порядка десяти студентов. Такая вот рентабельность образовательного процесса и человеческий капитал. Хотя ради объективности надо сказать, что у нас учится около трети бюджетников, а за них государство платит тысяч по тридцать пять... Это же не вузы и школы, а нормальные потогонные коммерческие предприятия, где доцент—рабочий на конвейере, где производят дипломы о высшем образовании. — Дело же не только в деньгах. Преподаватель, учитель—уважаемые профессии, статусные. И распорядок дня свободный.

Белкин никак не отозвался на пропаганду преимуществ преподавательского труда. Анна помолчала и сказала с видимой неохотой:

— Вообще-то, вы правы, конечно. Но все так считают, у нас же реформа образования идёт уже сколько лет... А мне просто нужна степень.

Белкин неожиданно почувствовал себя неудобно, как будто сказал грубость, а в ответ перед ним извинились. Чтобы сменить тему, он предложил, не рассчитывая на успех, но ожидая, что попытка будет оценена:

— Вы знаете, здесь на Садовой неподалёку есть местечко танцевально-питейное. Не хотите потанцевать?

— С вами? — прищурившись, удивлённо уточнила Анна.

— Ага,—усмехнулся Белкин.

Аспирантка пристально посмотрела на него, оценив высокий рост, отсутствие выпирающего живота и начинающую слегка седесть бороду.

— Что ж...а вы ничего. Хорошо, пойдёмте. Уговорили.

Анна и Белкин свернули на Садовую. Вечер становился интересным.

Студентка Жукова объясняла тормозу Островскому, что его сегодня на лекции оскорбил преподаватель.

— Ты что, всерьёз не догоняешь, что Лощинин назвал тебя пустым местом?

— Он этого не говорил.

— Как это? Он же при всех сказал, что если ты не отвечаешь на его вопрос, то тебя нет вообще.

— Да брось ты.

— У кого хочешь спроси.

— Ну и что?

— Экзамен ты ему теперь не сдашь как пить дать. Впрочем, ты по-любому ему не сдашь...

— Семестр только начался. Чего ты паришься?

— Время идёт быстро. Ты вот не знаешь, он деньги берёт?

Студент Островский не лыком шит, и он делает ответный ход:

— Тебе-то зачем всё это? Он же на тебя запал, Жукова.

— Гонишь. С чего бы это?

— То-то он с тобой на лекции заигрывал...

— Ты так на это смотришь?

— Конечно. Я не прикалываюсь. У кого хочешь спроси...

Обычный студенческий разговор, преисполненный любви и уважения молодёжи к преподавателям.

Утро. Лощинин уже давно не любит это время суток. Обычно ему приходится заставлять себя проснуться—и действия по умыванию, бритью и завариванию себе кофе в старой турке он совершает ещё в полусне. Всё осложняется тем обстоятельством, что он уже пару лет как живёт в коммунальной квартире на Васильевском острове. В квартире всего три хозяина, комнату Лощинину за символическую плату сдал его старый приятель, который, женившись, съехал жить к супруге, но по-прежнему зарегистрирован в коммуналке. Два хозяина—лучше, чем три хозяина, особенно это обстоятельство чувствуется на кухне и в ванной. Странное дело—в туалет в их квартире попасть не составляло труда, но с ванной постоянно возникали проблемы, особенно по утрам.

Лощинин быстро бреет сложный рельеф своей физиономии—после пятидесяти у него отвисли небольшие брыли, как у собаки боксёрской породы, поэтому когда профессор улыбается, со стороны кажется, что он дёргает щеками. Лощинин чистит зубы, которыми в душе гордится—у него пока ещё только два моста, остальные—свои, споласкивает короткую шевелюру седеющих волос—они у него светлые, в отличие от цвета перца с солью шевелюры Белкина, поэтому профессорская седина не бросается в глаза. В дверь ванной уже стучат, и он торопится освободить помещение. Лощинин забирает с кухни турку с чуть остывшим кофе—он не любит крутой кипяток, садится в продавленное крутящееся офисное кресло, непонятно как оказавшееся в этой комнате, и включает ноутбук. После этого задирает тощие босые ноги на крышку стола и отхлёбывает кофе, тупо глядя на моргающий экран, отражающий стадии процесса загрузки операционной системы.

У Лощинина летом был роман с Анной Мельниковой. Возник он совершенно неожиданно для профессора, полагавшего, что подобные увлечения давно его миновали, и доставил Владимиру Алексеевичу, кроме нескольких приятных минут, массу волнений. Семья его распалась больше десяти лет назад—сначала старший сын уехал учиться за рубеж, потом за ним последовал и младший; Лощинин и его супруга патриотично настаивали на этом отъезде, считая, что западное образование предоставляет младшему поколению дополнительные знания и возможности. Потом—что не стало сюрпризом для родителей—выяснилось, что дети

обратно возвращаться не собираются и нашли работу на Западе. После этого супругам как-то вдруг оказалось не о чем друг с другом разговаривать. Лощинин решил поменять что-то в своей жизни и уехал на временную работу в Петербург, которая постепенно стала постоянной. Редкое общение с женой, оставшейся в Новосибирске, устраивало обоих: у его супруги в начале лихих девяностых обнаружилась предпринимательская жилка, она давно зарабатывала больше, чем профессор; именно она оплатила обучение сыновей в западном университете.

Лощинин иногда приезжал в Новосибирск. Жена, сделав ремонт в квартире, оставила его кабинет почти нетронутым, только обновила обои и заменила линолеум на ламинатный паркет. Владимир Алексеевич жил в этом кабинете, пользуясь ещё кухней и всегда полным холодильником. Наевшись и отоспавшись, он шёл купаться на Обское водохранилище, а соскучившись, иногда заходил на работу к коллегам. Так Лощинин познакомился с аспиранткой своего знакомого, с которым состоял в весьма прохладных отношениях. Отчасти из вредности, а отчасти потому, что ему понравилась эффектная брюнетка, он стал говорить ей всякие соображения, непопулярные в новосибирском институте экономики, перемешивая их с комплиментами и, к своему изумлению, добился успеха. Всё это произошло несколько внезапно, и потом, задним числом, профессор сделал утешительный вывод, что Мельникова—любительница разнообразия и чувство её к нему, конечно же, несерьёзно.

Такие разумные умозаключения, позволяющие ему сохранить прежний образ жизни, он сумел построить, только оказавшись в Петербурге. В Новосибирске его рассудок отказывался работать, и он готов был оформить развод с женой, чтобы жениться на аспирантке. Анекдотичность последней ситуации была ему понятна, профессор приходил в ужас, но ничего не мог с собой сделать. На свиданиях и даже в постели с Мельниковой он говорил с ней о её диссертации и прочих разных обстоятельствах, но только не о своих чувствах, постепенно превращая секс в дополнение к семинару.

Анна тем не менее слушала Лощинина внимательно. Однажды она спросила его:

— Сколько сейчас стоит написать текст диссертации, уже при наличии части материалов?

— Минимум шесть тысяч американских уе, полагаю.

— Ты можешь за эту цену писать на заказ?

— Могу, естественно. И даже иногда пишу.

— Мне напишешь?

Они долго препирались, выясняя, где тут шутка, а где—серьёз, потом Лощинин взял файлы и часть отскерокопированных бумажек Анны и уехал. Это было почти полтора месяца назад. А вчера Мельникова приехала и назначила ему свидание, которого профессор и ждал, и боялся. Но текст для аспирантки он написал.

Компьютер наконец загрузился, и профессор стал в очередной раз вычитывать диссертацию в поисках ляпов. Сейчас ему даже нравилось то,

что он сочинил, однако он не мог сосредоточиться: мысли разбегались и возвращались к вчерашнему вечеру. Воспоминания не радовали, тем более что Белкин и Мельникова внешне удивительно подошли друг другу. Какое-то время он сидел в ступоре, заметив, что читает одну и ту же страницу в пятый раз, а потом достал из холодильника початую бутылку водки и открытую банку с маринованными огурцами. Лощинин выдерживал принцип—не пить перед своими занятиями со студентами, но в этот день лекции были у него с шести часов. До вечера запах выветрится, а если продолжать читать и думать обо всём этом сейчас, то жить не захочется. Впрочем, жить-то ему и так не хочется, но это ещё не повод умирать, подумал Лощинин и опрокинул первые тридцать грамм, запивая их кофе. Банка с огурцами осталась нетронутой. Глаза профессора стали круглыми, то ли от кофе, то ли от водки, мир приобрёл неприятную чёткость и осезаемость. Он со вздохом продолжил читать вторую главу, потом прервался и начал раскладывать на ноутбук пасьянс типа «солитёр». Ему очень хотелось позвонить Анне, но профессор не знал, что сказать. Поэтому он сидел, раскладывал пасьянс и думал о том же, о чём думают робкие юноши, влюбившиеся в женщину много старше себя,—может, она, умная и опытная, догадается, как он ждёт и страдает, и позвонит сама.

Белкин просыпается в своей двухкомнатной квартире в приятном расположении духа, вспоминая о вчерашнем прощальном поцелуе Анны, переросшем в неожиданно страстные объятия, и назначенном на сегодня свидании. Именно так он воспринял неопределённое обещание Мельниковой: «Созвонимся». Его немного насторожили вчерашние резкие смены настроения Анны, но он рад, что удержался от замечаний, не стал ничего выяснять и ни на чём настаивать. Перед тем как пойти в душ, он делает утреннюю гимнастику, радуясь, что выпитое вечером не напоминает ему о себе. Белкин ест тосты с бужениной и пьёт чай с молоком, размышляя о том, кто из русских раздвоил Эрос на любовь и жалость и как об этом написано у Шопенгауэра. За всем этим маячит образ аспирантки Мельниковой, и Андрей радуется тому, что после скандального второго развода у него сохранились все положенные чувства и предчувствия. Сейчас он предвосхищает роман, и его не удержать—он на двенадцать лет младше Лощинина, подтянут и моложав, ему хочется жить и встретить сегодняшнюю ночь вместе с новой знакомой. В отличие от профессора доцент располагает свободными денежными средствами, доставшимися ему от родителей. Заодно от родителей Белкину достались занятия философией и связи с издательствами, не только российскими, но и зарубежными, а также отсутствие размышлений о том, что рождение его в другой семье и в другом городе вряд ли позволило бы ему прокормиться философскими занятиями. То, что есть—то должно быть, а то, что должно быть, то и произошло, и по-другому быть не может, если Гегель не врал. Впрочем, Поппер полагал, что Гегель врал,

но человек, полагавший, что истину верифицировать нельзя, а можно только фальсифицировать, с точки зрения Белкина, мерил всех по себе³. Андрей не берёт дополнительных учебных нагрузок в вузах, и четыре дня в неделю у него свободны для занятий всем, что он полагает для себя наиболее важным. Каждый человек должен делать именно то, что считает для себя наиболее важным, и хотеть делать именно это, а если он чего-то хочет, но не делает, то такой индивидуум просто лентяй. И говорить с ним не о чем.

Анна Мельникова в гостиничном номере просыпается рано—разница по времени у Новосибирска с Петербургом в три часа. Она ворочается на скрипучей, похоже, ещё советской, кровати с пружинным матрасом и пытается заснуть. Анна ненадолго задрёмывает, но гул автомашин, доносящийся с улицы, будит её окончательно. Вставать ей не хочется, она лежит, смотрит в потолок и размышляет о Лощинине, Белкине, о мужчинах вообще—и мысли эти по большей части приятны.

Анна уверена в себе—а это более важно для того, чтобы быть красивой, нежели наличие правильного лица и хорошей фигуры. У неё крупный чувственный рот, и она взяла себе за правило, улыбаясь, широко раскрывать глаза, производя впечатление весёлой беззащитной придурковатости,—мужчины практически беззащитны перед таким сочетанием. Когда-то Анна прищуривалась одновременно с улыбкой—и выяснила, что такое сочетание рта с глазами воспринимается как лукавая насмешка, и многие собеседники отчего-то полагали, что насмешничает Анна именно над ними. Их предположения были справедливы... и отчего-то такая ситуация многим не нравилась.

Она не ожидала такой встречи с профессором. «Корчит из себя неизвестно что»,—с досадой подумала о Лощинине Анна и тут же оборвала себя. Профессор, похоже, дал ей понять, что Анна ему не нужна. А вот она сама неизвестно во что играла с Белкиным. Или—всё-таки известно во что?

Анна со вздохом поднялась и занялась утренним туалетом. К этому занятию она относилась

серьёзно и занималась собой не торопясь. Одновременно с порядком на лице и в одежде у неё обычно наступал порядок и в мыслях.

Сейчас она была недовольна собой. Анна не спрашивала себя, любит или нет она Лощинина, но он определённо был ей нужен—и так неожиданно исчез вчера. Летом она сама выступила инициатором близости с профессором, иначе бы всё ограничилось всего лишь парой разговоров. В силу последнего обстоятельства Мельникова привыкла думать, что это она идёт Лощину навстречу, облагодетельствовал его своей молодостью и красотой. Ей с ним было интересно и удобно—в течение их краткосрочного романа в Новосибирске Анна заметила, что статус пассивности профессора делает её гораздо более привлекательной и в глазах мужчин, и в глазах женщин, одновременно она самонадеянно полагала, что управляет Лощининым. Незаметно для себя она им серьёзно увлеклась.

Вначале этот странный любовник преподал ей урок, уехав из Новосибирска не попрощавшись: когда она после долгого отсутствия его звонков сама набрала номер его мобильного, оказалось, что Лощинин уже в Петербурге. Теперь вот эта непонятная встреча—невстреча. Мельникова-то полагала, что профессор бросится встречать её в аэропорт, чего бы это ему ни стоило. Однако Лощинин заявил, что у него—занятия и что пусть она, когда устроится и освободится, позвонит сама. И, наконец, привёл на свидание с ней Андрея—а после и вовсе ушёл. Всё это было неправильно. Надо было как-то объясниться с профессором наедине, но теперь она была уже не так уверена в себе и начинала побаиваться этой встречи. Надо будет ему позвонить, но только когда она будет готова к разговору.

Анна ещё раз проверила все детали туалета перед настенным зеркалом. Аспирантка собралась и прогулочным шагом пошла в примеченную ей вчера кофейню на Большой Конюшенной. Потом она добьётся аудиенции. О Белкине она больше не вспоминала. Захочет—позвонит ей сам.

Студентка Жукова живёт с родителями, которые горды тем, что их дочь учится на бюджетном месте, а также тем, что она получает хорошие оценки. Кроме того, родители дают деньги и иногда ездят вместе с ней в отпуск. Отец научил её водить машину после того, как она получила права, и подарил Жуковой «Опель-корса» с автоматической коробкой передач. Мать познакомила её со своими косметологом и парикмахером. В остальном все члены этой счастливой семьи стараются не мешать друг другу жить и не совать нос в чужие дела, если об обратном не попросят специально и настойчиво.

Студентка четвёртого курса Жукова пьёт растворимый кофе с полезным йогуртом «Активиа», потом за пять минут наносит себе макияж движениями профессиональной визажистки, подхватывает сумку, в которой кроме необходимых молодой женщине вещей находится три толстых тетрадки и наладонник. Она торопится в академию

3. Поппер К. (1902–1994), один из основоположников неопозитивизма. Ввёл понятие фальсифицируемости (лат. falsus — ложный)—необходимого условия признания теории или гипотезы научной (критерий Поппера). Представители логического позитивизма в качестве критерия демаркации науки и ненауки выдвинули принцип верификации. Поппер показал необходимость, но недостаточность этого принципа. Он предložил в качестве дополнительного критерия демаркации метод фальсифицируемости: только та теория научна, которая может быть принципиально опровергнута опытом. «Догму значения или смысла и порождаемые ею псевдопроблемы можно устранить, если в качестве критерия демаркации принять критерий фальсифицируемости, то есть, по крайней мере, асимметричной или односторонней разрешимости. Согласно этому критерию высказывания или системы высказываний содержат информацию об эмпирическом мире только в том случае, если они обладают способностью прийти в столкновение с опытом, или более точно—если их можно систематически проверять, то есть подвергнуть (в соответствии с некоторым “методологическим решением”) проверкам, результатом которых может быть их опровержение»—Поппер К. Логика и рост научного знания. *Википедия, см.: wikipedia.org/wiki/Поппер.*

к первой паре, для чего пользуется метро, не пытаясь геройствовать в питерских пробках. Ей приходит в голову, что студент Островский, может быть, не так уж и неправ в своих намёках и было бы любопытно поспрашивать пятый курс о репутации Лощина. Мысль о том, что она сумела зацепить препода, который недавно выставил её дурой, приятно развлекает. На занятия по английскому, которым она владеет почти свободно, Жукова прибывает вовремя и в превосходном настроении: она уже придумала, с кем поговорить о Лощине. Естественно, что темы статей и монографий Лощина студентку Жукову не волнуют,—она хочет знать, падок ли профессор на молоденьких, берёт ли он деньги за экзамены... Жукова хочет немного развлечься, а что может быть лучше злословия на чужой счёт.

Вечерние занятия у Лощина закончились в половине девятого. Станным образом получилось, что за эти занятия ему платят едва ли не лучше, чем за занятия с дневниками—сказывается то, что все вечерники сами оплачивают своё обучение, студентов, обучающихся за счёт бюджета, здесь нет. Поэтому он набирал часы этой нагрузкой, в том числе подрабатывая «полставочником» и в других питерских вузах.

На выходе из академии его уже ждала Анна Мельникова, с которой они договорились встретиться после занятий. Лощинин подошёл к ней, обнял, поцеловал в щёчку. «Это уже лучше»,—подумала Анна.

Шедшая за Лощининым Жукова, случайно увидевшая всё это, остановилась как вкопанная. Лощинин обернулся, пожал плечами и поднял брови. Жукова широко ухмыльнулась и быстрым шагом пошла дальше.

В эту ночь Анна осталась у Лощина в коммуналке, в принципе предполагая вероятность такого варианта развития событий, но из суеверия не взяв с собой зубной щётки. Пришлось специально заходить в круглосуточный магазин за гигиеническими принадлежностями. Профессор отдал ей диссертацию и не завёл речи об оплате своих услуг. Анна же подумала, что всё равно заплатит... но сейчас она растаяла от неожиданной ласки, приливов нежности и не хотела говорить со своим любовником о деньгах.

— Поедем на Байкал, Владимир Алексеевич?

— Ты о чём?

— В начале октября там конференция будет. И наш институт экономики—один из организаторов, тебя же все знают, пришлём приглашение.

—хлопотно всё это.

— Отчего же?

— Придётся договариваться о заменах и переносах занятий, причём не только в академии. Ехать надо будет за свой счёт, поскольку командировку оплачивать никто не будет: занятия наукой, как мне неоднократно объяснял наш проректор по научной работе,—это моё личное дело, академии на это средств не выделяется. Вот если бы у меня был какой-нибудь хоздоговор, то они бы мне заплатили сорок процентов на зарплату, а из остатка,

возможно—это ещё смотря какой остаток—нашли бы средства для командировки. Но я проявляю пассивность и никаких работ не веду... как и большая часть наших преподавателей, кстати говоря. Хотя даже если бы и вёл, то никогда бы через академию договоры не пропускал.

— Так ты никак не сможешь? Мы с Белкиным днём обедали, он сказал, что поедет.

— Андрею проще, у него основной заработок идёт от грантов и изданий. Ты, кстати, к нему присмотришь—он завидный питерский жених. И как раз сейчас совершенно свободен...

— Ты что, совсем не ревнуешь?

— Нет.

— Врёшь.

— Вру. А что мне ещё делать?

— Поехать на Байкал. Взять меня замуж.

— На Байкал я, так и быть, поеду. А замуж не возьму, хотя и очень хочется.

— Почему? У меня приданое есть.

— Дело не в приданом, а в том, что у нас с тобой нет будущего. Ты этого по молодости не понимаешь. Мы с тобой—люди не разного возраста, мы с тобой из разных эпох.

— Не понимаю. Объясни.

— Это трудно... Слышала выражение—«врёт, как очевидец»?

— Слышала.

— Вот и я такой очевидец советского времени. И могу говорить только о своём личном опыте.

— Это утешает. На мой взгляд, мои знакомые молодые мужчины обычно говорят о чужом опыте, выдавая его за свой.

— Видишь ли... Советский Союз был идеократической страной,—увидев даже при неверном свете пламени свечи вытянувшееся лицо Анны Лощинин поспешил исправиться:—Другими словами, религиозным государством. Главным были идеи. Люди говорили и спорили о них всерьёз. За слова или публикацию в журнале посадить могли. Советские граждане повсюду искали новые мысли, новые слова—поэтому читали всё, что могли найти. Слова не заменяли действия—они сами и были поступком. Коммунистические идеологи по большей части были вполне мерзкими людьми, но они хотя бы читали тех, кто их ругал. А сейчас... вот ты мне говоришь, что ты меня любишь, а ты читала что-нибудь из того, что я написал?

— Читала одну статью. Понравилось, между прочим. Честно—случайно попала, уже когда мы познакомились. Чтобы специально искать, что ты там понаписал за свою жизнь,—нет, не искала и не читала.

— Вот именно. Сейчас никто никого не читает, разве что случайно. Скажем, для студентов всё равно, кто им читает курс,—поскольку им хуже или лучше, но пересказывают учебник, а то, что думает сам лектор,—это лишнее. Главное—сдать экзамен, а экзамен—это знание учебника. Слова ничего не значат, за ними нет истины; это просто названия вещей, а имена, как оказалось, можно менять как угодно. Ленин—это Сталин, Сталин—это Гитлер, а Ельцин—это сначала Александр II Освободитель, а потом уже и царь Борис Годунов...

Слова отделились от действий, и главными стали поступки. Другая эпоха. Я бы сказал, теперь это эпоха вещей, а я ещё помню, кто и что когда-то сказал, веду свои споры с прошлым. Ты позвонила мне и пришла сюда—это поступок. Вещь.

— Но написать статью или диссертацию—это тоже поступок. И тоже—вещь.

— Да. Но только вот о чём написать—это теперь уже неважно. Любовь между профессором и аспиранткой—это поступок. Только вот раньше это считалось аморалкой, если преподаватель был членом партии, так его на собраниях разбирали, могли серьёзно жизнь испортить. Семья распалась со страшными скандалами, шекспировские страсти были. Сейчас это так... интрижка. Так что раньше с любовью была рифма кровь, а теперь—каротин. Морковь то есть. И нет смысла говорить об овоще, а надо думать, где мы будем жить, где работать, а у меня этого не получается. Не вижу я этого будущего, кроме неизбежных твоих измен и последующего развода. Получается анекдот, а не драма. Хотя я и без этого смешон со своей любовью, наверное... Смешон?

— Нет. Ты очень мил,—и Анна прижалась к нему всем телом, от чего у Лоцинина побежал холодок по позвоночнику и напрягся дряблый впалый живот.

В Петербурге догорало короткое бабье лето. Лоцинин его почти не видел, мотаясь между занятиями и вузами. И он опять, извинившись, словно отгородил Анну от себя, сказав, что не сможет приехать провожать её на вокзал,—аспирантка обратно летела через Москву и уезжала из Северной столицы вечерним поездом. Естественно, что профессора заменил доцент, не подозревая об этом.

После позднего, в четыре часа, обеда, который для Анны был одновременно и ужином, они медленно гуляли по каналу Грибоедова, который то ли переименовали, то ли не переименовали обратно в Екатерининский, отчего Анна опять вспомнила о ночном разговоре с профессором. Белкин вёл экскурсию, показывая дом, в подъезде которого убили Старовойтову. В стоячей воде канала лежали жёлтые листья лип и тополей.

— Андрей, почему вы развелись с женой? Она вас не любила? Если не хотите, не отвечайте.

Доценту показалось, что последняя фраза была произнесена аспиранткой слегка снисходительно. — Во-первых, не с женой, а с жёнами. У меня их было две. Не сразу, а по очереди,—сказал Белкин и замолчал. Возникла длинная неудобная пауза, в течение которой, подумала Анна, доцент искал приемлемую версию событий, а заодно решал, стоит ли продолжать эту тему разговора. Она подумала, что Андрей наверняка сейчас уйдёт от ответа, но он продолжил:

— Время тогда было такое. В середине девяностых разводы были массовым явлением. Раз уж народ поменял общественный строй, то тем более каждый мужик должен был поменять жену. Расставание с прошлым на микроуровне, можно сказать. А иначе—какая же это революция... Правда, и жёны тоже меняли мужей. Чаще всего

инициатором выступал тот из супругов, кто резко изменил свой статус. Разбогател, например. А те, у кого всё было по-прежнему, те не разводились. — И у вас было так? Вы разбогатели? Или она?

— У меня было так во втором случае. А в первом случае причиной был второй случай,—засмеялся Белкин.—Причиной развода с первой женой была моя будущая вторая жена. С первой женой у нас был студенческий брак, я рано женился, отец меня сильно ругал за это. Потом у меня в жизни началась аспирантура, а у жены—декретный отпуск и работа бухгалтером в турфирме. Она зарабатывала больше меня, между прочим. Но говорить стало совсем не о чем. А тут у меня возник неожиданный роман с молодой переводчицей с шведского, представьте себе...

Анна попыталась представить.

— С ней вам было о чём разговаривать?

— Она же меня переводила, так что разговаривали... Потом она захотела в Швеции остаться, и осталась. Только теперь уже не в Швеции, а в США. С новым американским мужем. И сына увезла. Так что у меня теперь только дочь от первого брака, сейчас уже взрослая совсем. Студентка второго курса. Очень боится профессора Лоцинина, кстати сказать. Мы с ней часто встречаемся, и с её матерью у меня тоже прекрасные отношения—она сейчас замужем, у них общий ребёнок, и всё такое. Так что я одинок, как и пододбает настоящему философу,—Белкин состроил жалостливую мину, и Анна утешающе погладила его по щеке. Он тут же поймал её руку и прижал к губам. Мельникова посмотрела на него чуть вопросительно, и он медленно отпустил её пальцы. — Да, вы действительно завидный жених. Перспективный,—улыбнулась Анна и спросила, меняя тему:—Вас куда записывать-то? С докладом будете выступать на пленарном заседании или в дискуссии на секционном?

— Записывайте на секционное. Там наверняка народу наберётся, так что, надеюсь, про меня забудут. А на пленарном, если записан, наверняка выступать придётся...

— Тезисы выступления пришлётё?

— Зачем? Для братской могилы?

— Для чего?!

— Все эти сборники тезисов никто не читает, даже сами участники конференции. С любовью и нежностью они читают только свои тексты, пропуская всё остальное, поэтому такие книжки за глаза и называют «братскими могилами». Там же всякие студенты-аспиранты, им отметить нужно, чтобы апробация была к диссертации. А мне это зачем? Ещё займу чьё-нибудь место...

— Тогда зачем едете?

— Байкал посмотреть—ни разу не был, и вас увидеть снова. Вы будете меня там развлекать, как я вас развлекал в Петербурге, правда? Предоставите шанс?—Белкин смотрел на Анну лукаво.

— То есть вы приедете ради меня?

— Ага,—доцент продолжал улыбаться.

— Смотрите, не разочаруйтесь,—теперь уже улыбалась Анна.

— Всё в ваших руках...

После, на Московском вокзале, они обнялись и долго так стояли вместе. Потом Анна подставила такие желанные для Белкина губы для прощального поцелуя. Но он, будучи выше аспирантки, поцеловал её в лоб, не воспользовавшись случаем. Потом отстранился и пошёл вдоль перрона. Анна долго смотрела ему вслед. Белкин не обернулся.

2. Конференция

Всё это было неудобно, неуместно и глупо, как и любая чистая авантюра, вторгающаяся в отнюдь не налаженную жизнь. Лощинин, ругаясь на себя, Анну, студентов и весь остальной мир, три ночи писал доклад. Он решил поведать учёным собратьям, что при определённых условиях субъективные интересы руководства городов и регионов заключаются в сохранении стагнации управляемых территорий, а вовсе не в их развитии, как бы ни пытались эти руководители заверить электорат и федеральное начальство в обратном. Самому Лощинину эта мысль показалась немного вычурной, поскольку его знакомые политики-руководители особо не различали развитие и стагнацию доверенных им для руководства территорий, полагая, что под их началом возможно только развитие, как вообще, так и чисто конкретно. Но он решил, что подобные различия можно будет обсуждать уже в дискуссии.

Удобных самолётов до Улан-Удэ из Петербурга в нужное время не было, поскольку профессор так и не смог перенести часть своих лекций. Белкин улетал днём раньше, и Лощинин решил добираться через Москву. Заодно, изучив присланную Анной программу конференции, позвонил и своему старому приятелю Сергею Татарникову, который тоже должен был выступить на пленарном заседании и потом вести одно из секционных заседаний. Татарников обрадовался звонку, и они договорились лететь одним рейсом.

Лощинин всегда плохо спал первую ночь в дороге. В купе на четверых всегда находился один храпящий, а если — редчайший случай! — в купе не храпели, значит, будут шуметь и храпеть в соседних купе или по вагону будут бегать пьяные весёлые молодые люди, громко разговаривающие на своём пьяном весёлом языке. Снотворным профессор пользоваться не умел; к тому же его всегда донимала боязнь покражи ботинок и документов. Выпить сто пятьдесят грамм, успокоиться и уснуть Лощинин тоже опасался — дешёвые поезда прибывают в Москву рано и вероятность утренней головной боли и похмельного синдрома была не нулевой.

Профессор прибыл в столицу в половину шестого утра. Он поднялся на второй этаж Ленинградского вокзала в зал ожидания и уселся там, злой, невыспавшийся и небритый. Попытка уснуть в зале ожидания на дырчатом металлическом кресле тоже оказалась бесплодной. Прокрутившись на этом кресле полчаса, Лощинин стал размышлять, что лучше — пойти выпить или позвонить Татарникову, который наверняка ещё спит, да и поехать к нему в гости. В конце концов профессор оправдал себя с помощью традиционного

русского вопроса — а почему мне одному должно быть плохо, когда другим хорошо, и позвонил приятелю. Тот, как ни странно, не стал ругаться, а бодрым и почти радостным голосом сообщил, что Лощинин должен был, конечно, сразу же ехать к нему, какой разговор. У профессора даже улучшилось настроение.

Татарников тоже был профессором, причём такого же экономического вуза, как и Лощинин. Когда-то давно, в советское время, эти вузы даже между собой конкурировали; в подготовке отдаленных специальностей питерская академия считалась сильнее, чем московская, и наоборот. Но те времена давно прошли, и престижность московского вуза стала намного выше, чем престижность питерского. По непонятному для Лощинина стечению обстоятельств при сопоставимой плате за обучение в московском вузе заработок преподавателей был в два с лишним раза выше, чем у петербургских коллег. Кроме того, Татарников был советником члена правления крупной госкорпорации и часто, как и многие столичные профессора, работал по каким-то грантам. По мнению Лощинина, эти гранты невозможно было получить, не состоя в стоворе с организаторами конкурсов; ну, так на то и нужны были госкорпорации...

Татарников жил в одном из новых московских домов со свободной планировкой; войдя в его квартиру, Лощинин сразу же заблудился на ста пятидесяти квадратных метрах жилой площади. Пока он добирался, время подошло к девяти утра, в семье Татарниковых начался завтрак. Сергей Михайлович, холёный, упитанный мужчина с гладким лицом и благородной сединой на висках, был женат второй раз, его новая жена была моложе его на семнадцать лет, и полтора года назад он снова стал счастливым отцом. Кроме того, под его крылом в большой квартире с ними жила пятилетняя дочь от первого брака его жены и сын-студент Татарникова — тоже от его первого брака.

Лощинина проводили в гостевую комнату, которая располагалась рядом с небольшим совмещённым санузлом, в котором душ помещался в умывальнике и лейку можно было вытащить из раковины. Однако в поисках этого санузла он повернул куда-то не туда, прошёл через небольшой холл и сунулся в дубовую дверь, за которой оказалась ванная размерами со среднюю комнату, с джакузи и небольшой сауной. Профессор медленно оглядел это великолепие и всё-таки сообразил, что его направляли в другой умывальник. Поэтому он пошёл обратно и сделал правильно, потому что первой комнатой от входной двери оказался искомый санузел, а следующей — гостевая комната, где он оставил свой полупустой чемодан на колёсиках, в который вошла ещё и сумка с ноутбуком.

Лощинин принял душ, побрился и почувствовал себя лучше. Он прошёл в свою комнату, прилёг, не раздеваясь, на кровать, чтобы вытянуть уставшие ноги, ожидая зова Татарникова к обещанному утреннему кофе... и мгновенно уснул.

Лощинина никто не будил, и он проспал до обеда. Он умылся и прошёл на кухню, где грустный

Татарников сидел перед накрытым столом и, судя по бутылке и бокалу, выпивал виски со льдом. Увидев Лощинина, он обрадовался:

— Сажу вот и думаю: то ли будить, то ли не будить... а обедать уже пора. Заждался.

Они выпили за встречу. Лощинин с аппетитом принялся за еду. Татарников составил ему компанию. Только расправившись с борщом и перейдя к жаркому, Владимир Алексеевич решил, что поедание обеда в молчании выглядит несколько натуно, и поинтересовался:

— Выглядишь ты, Сергей Михайлович, прекрасно. Только грустный чего-то. Чего грустим?

— Да поругался тут недавно. И настроение ни к чёрту. Надеюсь, на Байкале отойду. Хотя... вот, хочешь, я тебе докажу, что наши защитники прав человека — верные продолжатели дела Гитлера?

— Попробуй. Любопытно.

— Тезис первый: Сталин — преступник?

— Безусловно.

— Нет, погоди. В том-то и дело, что не безусловно. Суды при нём работали, народ на улицах не грабили, какая-никакая международная и внутренняя торговля была. Значит, законы советские всё же соблюдались, тоже в определённом смысле было правовое государство. Так что это же не бандит с большой дороги, который сюда с неба упал и жил по понятиям. Он преступник только в том смысле, что создал режим, необходимой частью которого были человеческие жертвы.

— Репрессии.

— Репрессии — это административное насилие, оно и сейчас есть, и не только у нас. Они могут быть правовыми, а могут быть вне права, то есть преступными. Я предпочитаю слово жертвы, так как — невинные люди. Понимаешь, это как про- раб, отвечающий за стройку: если у него погибли люди, то начинается расследование. Если рабочие погибли по собственной глупости, то его оправдывают, если же они погибли потому, что должны были погибнуть, так как при строительстве систематически нарушались правила техники безопасности, режим работы и отдыха и так далее, то он преступник. Его сажают.

— И что?

— Тезис второй: исходя из того, что Сталин преступник и людоед, наши либералы приравнивают его к Гитлеру. И режим советский тем самым — к фашизму.

— Какая разница. От советского режима давно уж остались рожки да ножки.

— В том-то и дело, что это для тебя всё воспоминания... Кстати, у тебя кто-нибудь сидел?

— Деда раскулачили, Беломоро-Балтийский канал строил. Но тогда ещё конец двадцатых — начало тридцатых было, жив остался. Правда, был поражён в правах до конца жизни. Лишенец.

— У меня тоже... Так вот, если Сталин равен Гитлеру, то с Запада эта история смотрится так, что в 1945 году война не кончилась, а перешла в другую фазу. Холодную. И — тезис третий — продолжалась вплоть до 1991 года, пока СССР не распался и они не победили. А теперь, понимаешь, пришла пора репараций — мы, как бывшие оккупанты,

всей Восточной Европе с Прибалтикой должны. И наши либералы и правозащитники с радостью это поддерживают. Получается, что раз Гитлер не победил в 1945, так победит сейчас; и ещё получается, что мы дважды виноваты. Виноваты отцы и деды, которые в лагерях сидели и с Гитлером воевали, а теперь виноваты ещё и мы, так как все советские люди — невольные соучастники преступного советского режима. Должны заплатить двойную цену.

— Сталин, конечно, мерзавец и палач, но это наш палач, нам с ним и разбираться, — отозвался Лощинин. — Что же до западных братьев, пусть сначала победят, водрузят свои звёздные, с полосками и без стяги над Кремлём, тогда и заплатим. Правозащитники, конечно, с этой логикой точно по морде чаще получать будут. А жаль их, в принципе, хорошее дело делают. Им ведь и так достаётся. Что же, они сами не понимают?

— В этом-то и дело. Я пытался с нашими либералами разговаривать на эту тему. В ответ получил, что я — сталинист, раз не согласен с тем, что Сталин — Гитлер. Ты, кстати, тоже сталинист, раз Западу платить не хочешь. В общем, переругались. Причём ведь, не забывай, у нас ещё полно тех, которые отнюдь не считают Сталина преступником, для них он — выдающийся государственный деятель. И с ними я переругался тоже...

— Да, невесёлая вышла история... Однако пора собираться.

И озабоченные судьбой страны профессора перешли к мелким личным хлопотам и выбору маршрута до аэропорта Домодедово.

Разница во времени между Москвой и Улан-Удэ — пять часов, Ту-154, на который купили билеты Лощинин и Татарников, летит до столицы Бурятии навстречу солнцу пять с половиной. Обратный путь на запад занимает больше времени почти на час, и Лощинин, загрузившись в самолёт, философически размышлял над вращением Земли против направления полёта. До того как подадут ужин, нет смысла пытаться заснуть, и профессора завели разговор о личном.

— Так ты по-прежнему в Питере временно? Всё жильё снимаешь? — поинтересовался у приятеля Татарников.

— И да и нет. Живу в комнате в коммуналке, плачу только за услуги. Приятель пустил, сам живёт у жены.

— Не надоело?

— Нет. Бродячая жизнь, знаешь, затягивает. Я теперь стал понимать бомжей — жизнь идёт до сегодняшнего вечера, и хорошо. Смотришь на мир, на людей... Видишь многое с какой-то иной стороны. Научился обходиться без библиотеки, которую собирал всю жизнь. Правда, в Питере, в отличие от Новосибирска, практически всё можно найти. Плюс Интернет.

— Ты понимаешь, что ты невозможен? Ты же не строитель-гастарбайтер какой-нибудь, а профессор, статусная фигура, у тебя же школа должна быть, аспиранты, ученики... Ты же известный человек, у тебя была тематика своя, публикуешься.

Поди даже индекс цитирования есть. Кокетничаешь, профессор, — пустил шпильку Татарников. — Тематика, положим, есть, и даже публикации... Насчёт импакт-фактора ты загнул. Я же деревенский парень, на английском не пишу. А школа... ты как себе вообще это представляешь?

— У тебя сколько аспирантов защитилось?

— Десять.

— Вот тебе и школа. Должны собираться, хотя бы иногда, тебе коньяк приносить, а ты им умные мысли говорить будешь. У тебя кафедра есть? Заведуешь?

— Какая кафедра, бегаю по вузам, деньги зарабатываю. Да книжки читаю. Иногда.

— Так ты поди не женат?

— Точнее, не разведён.

— Одиноким свободный российский профессор не пенсионного возраста, работающий, — есть зрелище странное и почти неприличное. Как можно жить без семьи, без дома... У тебя даже положенных по возрасту и статусу лысины и живота нет. Загадочный ты человек, Лощинин. Раз девушку себе не завёл постоянную, то с женой не попытался отношения восстановить?

— У нас с ней нормальные, спокойные отношения. В этом году весной она в Польшу ездила по каким-то своим торгово-косметическим делам, заходила ко мне в коммуналку, я её ужином накормил, предлагал остаться ночевать. На что она пригласила меня к себе в гостиницу и ещё обзвала модным этим словечком... вот ведь, выскочило, бильярдное такое.

— Ага, бильярдное. Лузер, — хмыкнул Татарников.

И оба профессора тихо хихикнули.

После ужина Татарников достал специальный эластичный воротник-подушку, надул его, надел себе на шею и вскоре стал характерно ритмично посапывать. Лощинин покосился на него с завистью. Сам он смог подремать едва ли сорок минут из всего времени полёта.

По прибытии им пришлось ждать багаж. Татарников, глядя на сумку с ноутбуком, висящую на плече у Лощинина, спросил, что же он ещё везёт в чемодане. Владимир Алексеевич раздражённо ответил, что из-за новых правил все бритвенные принадлежности и перочинный нож теперь нельзя брать с собой в салон, так что приходится тащить чемодан.

— Ты вот веришь, что можно захватить самолёт с перочинным ножом?

— Наверное, можно, — сказал Татарников. Потом посмотрел на хмурых спронежь сибиряков, задержался взглядом на невозмутимых высоких и широких в кости бурятах и добавил: — Но в России это навряд ли. Тем не менее лучше сразу привыкать к международным правилам.

— Тогда и с голыми руками при соответствующей подготовке можно, — раздражённо фыркнул Лощинин, искоса посмотрев на сибирских мужчин.

В это время стал разгружаться багаж, и их дискуссия прекратилась. Татарников, выглядевший совершенно свежим после ночи перелёта, выхватил свой чемодан с ленты первым.

— Везёт тебе, — хмуро буркнул бледный после второй ночи без сна Лощинин коллеге.

Из аэропорта их отвезли в гостиницу, где их в своём номере встретил дожидавшийся Белкин.

Философский приятель Лощинина сказал, что у них есть полчаса на посещение душа, чтобы привести себя в порядок, поскольку они все уже должны ехать в актовыв зал Улан-Удэнского государственного университета — именно там будет открытие конференции, там же должны прозвучать и пленарные доклады. Потом будет обед, а после обеда автобусы с участниками двинутся на Байкал.

Москвич уступил право первого посещения душа Лощинину, тот залез в душевую кабину и обнаружил, что вода там льётся не из лейки, но из многочисленных дыр в гибком шланге.

Кое-как приведя себя в порядок, он не без возмущения сообщил об этом бытовом обстоятельстве окружающим. Белкин философски заметил, что он почти сутки здесь, и ничего; кроме того, в гостинице есть хорошая сауна. Татарников такой сложный душ принимать отказался, ограничившись умыванием.

Когда они приехали в актовыв зал, регистрация участников конференции уже закончилась, но пленарное заседание ещё не началось. Лощинина и Татарникова, как докладчиков, проводили поближе к трибуне, а Белкин сел рядом с Анной, что отметил про себя раздражённый всем происходящим Владимир Алексеевич. Кроме того, он обнаружил, что по программе он выступает третьим, сразу же после ответственного государственного чиновника. Лощинин хмыкнул про себя, представив, как его доклад о заинтересованности властей в стагнации подведомственных территорий будет выглядеть после рассказа о том, как много делает правительство Бурятии для счастья населения республики.

С трибуны зал казался полутёмным и практически заполненным. «Студентов нагнали для массовости», — равнодушно отметил Лощинин. Несмотря на усталость, он почувствовал прилив адреналина и изложил свои соображения довольно стройно и бойко, подрагивая щеками, что в данном случае изображало иронию. Вежливая аудитория похлопала ему после окончания изложения текста, как до этого хлопала другим выступающим, и задала пару вопросов. Даже обычных сбоек при демонстрации слайдов в этот раз не было. Довольный Лощинин сошёл со сцены и уселся рядом с Татарниковым.

— Хам ты, вообще-то, — тихо сказал ему московский приятель.

— Почему? — искренне удивился Лощинин.

— Люди науку развивают, тебя вот, как человека, пригласили про высокие материи рассказать. А ты что делаешь? Ты им говоришь — а вы, друзья, как ни садитесь... тоже мне, соловей нашёлся.

— Ничего не понял, — вслух ответил Лощинин, но про себя обиделся.

В это время к ним подошёл Белкин и спросил: — Дацан посмотреть хотите?

— А дискуссия? — недоуменно спросил Лощинин.

— Да бросьте вы, Владимир Алексеевич, какая дискуссия. Всем и так всё понятно, здесь не место для учёных споров, — недовольно сказал Татарников.

— Но у вас же доклад в программе, — продолжал удивляться Лощинин.

— Ничего, перенесут, и рассмотрим в рамках секции. Поехали-поехали. Мы сейчас выйдем.

И профессора пошли смотреть дацан. Кроме них в японский микроавтобус уселись Анна Мельникова и её научный руководитель, представительный морщинистый профессор Алексей Никитич Шведов, вездесущий Белкин и изящная бурятская девушка без возраста Марина Сергеевна, впоследствии оказавшаяся тоже профессором и проректором Улан-Удэнского университета по научной работе. Во время их ухода с трибуны уже говорилось о радужных перспективах развития Восточной Сибири и Забайкалья и проклятых московских олигархах, которые покупают заводы на Украине и в Южной Африке, но никак не хотят выполнять заветы великого учёного Михайло Ломоносова по приращению могущества российского Сибирию и Северным морским путём. «К Сибири в Москве по-прежнему относятся как к колонии, но в партии „Единая Россия“...» — дослушать до конца эту фразу Лощинину не удалось.

— Так всё же, Сергей Михайлович, объясни, в чём состоит моё хамство, — пристал к Татарникову Лощинин.

— Я уже тебе объяснил, — раздражился коллега. — Ты ведь что сейчас сказал? Ты доказываешь, что местные элиты прекрасно живут и в условиях экономической стагнации. Они тут, в Сибири, за развитие ратуют, обвиняют во всём проклятую Москву, а ты им — сами, братцы, виноваты, не понимаете, что тут у вас происходит. И говоришь это в лоб цвету республиканской... да что там республиканской, цвету сибирской науки, включая уважаемого Алексея Никитича. А тебя вот пригласили, везут местные достопримечательности показывать, кормят... Ну, и кто ты теперь после этого? — Да, Владимир Алексеевич, это вам не с нами, сибиряками... — радостно хихикнул Шведов.

— Так, — остоленело откинулся на спинку кресла японского микроавтобуса Лощинин. — Значит, хамство. А по сути того, что я говорил в докладе, — возражения есть?

— Нету, — ответил ему Татарников. — Но ты вообще понимаешь, где находишься? Надо же знать, где и что говорить, взрослый человек как-никак. — Конференция всё же научная, — сдаваясь, сказал Лощинин. — Так в приглашении написано.

— Правильно. Только учёных у них своих хватает. Тебя пригласили, чтобы ты это подтвердил, а не говорил обратное, — добил оппонента Татарников. — Так что не удивляйся, когда в следующем году тебя сюда не пригласят.

— Не слушайте их, — обернулась с переднего сиденья к Лощинину Марина Сергеевна, — обязательно пригласим. У вас хороший доклад был, интересный, — как вежливая хозяйка, она сочла нужным подбодрить его.

— Учёных у них своих хватает, действительно, — встрял Шведов. — Тут на одном экономическом

факультете университета — двадцать докторов экономических наук. И свой совет открыт по защите докторских диссертаций.

— Сколько-сколько? — переспросил Белкин с заднего сиденья, куда он отправился вслед за Анной. — Двадцать? В Госплане СССР меньше было, по-моему. Да и у нас в Петербургской экономической академии, если брать отдельные факультеты, наверное, поменьше будет. Однако!

— Тогда же социализм был. Чтобы рабочий класс обслуживать, интеллигентов мало требовалось. И вузов было меньше, — пояснил Татарников. Но коллеги его не поняли.

— А теперь что? Капиталистам интеллигенты ещё меньше нужны, чем пролетариату? — не понял Лощинин.

— Наоборот. Чтобы правильно в московском отеле дверь открывать, швейцар должен быть как минимум кандидатом наук.

— В петербургском отеле тоже, — вставил гордый за свой город Белкин.

— И у них тут, в Улан-Удэ, куча отелей, и они на экономфаке швейцаров готовят, что ли? Докторов-то наук столько зачем? Ты над нами смеёшься? — совсем запутался Лощинин.

— Отнюдь. Здесь прекрасная экономическая школа. Кстати, семь из двадцати этих докторов защитились у нас в московской академии в последние десять лет, — с очень серьёзным видом ответил Татарников.

Возникла пауза, в течение которой каждый думал над тем, что имелось в виду под выражением «прекрасная экономическая школа». Все молча смотрели на пейзажи по обе стороны дороги.

— У меня на этот счёт есть теория, — прервал паузу Шведов.

— Любопытно, — меланхолическиотреагировал вежливый Татарников.

— Мне представляется, что между уровнем жизни в регионе и количеством присуждённых степеней по общественным наукам существует сильная отрицательная корреляция. То есть когда заводы стоят, людям делать нечего, они пишут диссертации, и происходит размножение людей с учёным степенями. Потом они идут учить студентов, количество которых становится всё больше, а чтобы учить студентов и получать за это относительно приличные деньги, опять-таки требуется учёная степень. Кроме того, нужны же такие люди, которые грамотно объясняли бы населению, почему оно так плохо живёт, что дополнительно усиливает сильную отрицательную связь, — авторитетно изложил свои открытия Шведов.

— Ваша теория верна при условии, что получение учёной степени связано исключительно с получением более высокого социального статуса и не сопровождается ростом квалификации и получением нового знания, — скрупулёзно уточнил посылки Шведова вредный Лощинин.

— В общем, да, — неохотно согласился Шведов. Остальные промолчали.

Светило солнце. Учёные коллеги ходили вокруг пагоды и крутили барабаны, думая о хорошем,

как было наказано им Мариной Сергеевной. Скептический Белкин, с которым под руку шла Анна, тихо цитировал уральскую «Агату Кристи»: «Хали-гали Кришна, хали-гали Рама, трали-вали крыша, где ты будешь завтра, да где ты будешь завтра, тута или тама, хали-гали Кришна, хали-гали Рама»⁴. Следом за ним, рядом с мурым Лощининым, шёл улыбающийся Шведов. Услышав речитатив доцента, он догнал его и заинтересованно спросил: «Вы что, правда буддистские молитвы знаете?». Белкин загадочно ответил: «Типа того». Шведов обернулся и сказал с высоты своего роста и представительности сублинному Лощинину, глядя на удаляющуюся Анну с Андреем: «Красивая пара». «Ага», — сказал Лощинин, почувствовав себя потерянным. Он вошёл в пагоду и долго смотрел на статую Будды, пытаясь разобраться, откуда у него взялась эта потерянность, и чего он, собственно, ждал. Статуя молчала, чувство потерянности не проходило, просветление не наступало. Лощинин пошёл к микроавтобусу. Как оказалось, все уже были там.

На обратном пути любопытный Белкин попросил Марину Сергеевну показать им памятник — голову Ленина. От кого он услышал про этот памятник, выяснить не удалось. Марина Сергеевна с гордостью объяснила им, что улан-удэнская голова Ленина занесена в Книгу рекордов Гиннеса, так что все согласились, что на Ленина посмотреть стоит.

Памятник стоял на центральной площади города. Голова вождя действительно поражала своими размерами. От неё веяло скрытой мощью и угрозой — выражение лица было серьёзным, и памятник никуда не звал, не шёл, не восхвалял, как обычно бывало с российскими коммунистическими монументами.

— Вот уж вечный бой... Руслана с головой, — проговорил Лощинин.

— Знаете, а ведь раньше он был ниже, — присмотревшись, определил Татарников. — Вон, известные пятна выступили на мраморе в месте стыка — постамент приподняли.

— Если он был ниже, то был ещё страшнее, — сказал Лощинин. Но кроме Татарникова его никто не услышал.

Дорога на Байкал была длинная и местами недостроенная, так что средняя скорость движения вряд ли превышала пятьдесят километров в час. Автобус останавливался, пассажиры выгружались, чтобы справить свои разные нужды. Организаторы, предусмотрев возможные запросы участников конференции, на одной из остановок разлили водку в пластмассовые стаканчики и предложили закусить. Лощинин с благодарностью принял предложение, к ним присоединились Белкин с шведовской аспиранткой, Татарников и Шведов отказались.

Выпивка сопровождалась шаманским ритуалом кормления духов — предлагалось побрызгать водкой по сторонам, чтобы задобрить нематериальные сущности. Белкин пожал плечами и исполнил требуемое. К нему присоединились и остальные.

Листья с деревьев по большей части опали. Голые деревья не располагают к уюту, однако в лучах заходящего солнца ели, сосны и жёлтые лиственницы выглядели умиротворяюще. На одном из деревьев весело развевались ленточки, повязанные то ли поклонниками шаманизма, то ли благодарными туристами. Белкин достал из кармана носовой платок, разорвал его на полоски, и они с Анной тоже привязали парочку лент к местному священному дереву.

— То ли друиды, то ли шаманы, но нужно всем отдавать должное, — сообщил Анне Андрей.

— И что вы у них просите?

— Всегда одного и того же — счастья, гармонии, любви.

— А деньги, жизненный успех, карьера?

— Это всё выдумки, их не существует.

— То есть любовь существует, а деньги — нет?

— Это вопрос вкуса. Всё — выдумки, но деньги придумали люди, а любовь — Бог. Только не спрашивайте меня, кто придумал Бога. — Белкин улыбнулся, и они с Анной под руку пошли к автобусу.

Гостиница оказалась спортивной базой игрека в кубе, как обозвал Улан-Удэнский университет Белкин. Дома были построены из калиброванного бруса, в каждом из них было по четыре — восемь номеров на пару мест, так что Лощинин и Белкин, как представители одного вуза, оказались в одном номере. На территории базы имелись также стадион, конференц-зал с презентационным оборудованием и сауна; отдельно стоял дом с танцполом и бильярдной комнатой. Все согласились, что это идеальное место для проведения научных мероприятий.

— В отличие от городских условий здесь будет невозможно сбежать с секционных заседаний — прокомментировал Шведов.

4. Полностью текст оригинальной этой буддистской песни звучит как:

Когда я пришёл, ты уже уплыла.

Я забыл, что ты — паролод.

Я ведь сам тебе дал это море любви,

А оно превратилось в лёд.

Куда ты плывёшь, крыша моя?

В какие реки, в какие моря?

За какую кормой бьёт волна за волной?

Я плыву за тобой, лечу за тобой,

И я хочу найти, что успел потерять,

Мне нужно догнаться, чтобы догнать.

И в поисках крыши летает душа

То в самый низ, то в самые верха.

Халигаликришна, халигалирама,

Трали-вали крыша, где ты будешь завтра?

Да где ты будешь завтра, тута или тама?

Халигаликришна, халигалирама.

Люди бесятся с водки, люди бесятся с жиру,

Люди думают вечно одно.

Люди тычут в спину, их пальцы горят,

А в ботинки стекает дерьмо.

Да только мне плавать: ведь это их дерьмо,

Это их проблема, а мне всё равно

И задравши хвост, я лечу за тобой,

Я ужасно тупой, очень тупой.

Но я могу найти то, что смог потерять,

Мне не нужно крыльев, чтобы летать —

Хорошая крыша летает сама

И в самый низ, и в самые верха.

Вечером был устроен банкет-знакомство, участников конференции усадили за большими столами на восемь человек.

Татарников и Шведов, как члены оргкомитета, оказались за одним столом с ректором университета, а Лощинина посадили за стол рядом с Мариной Сергеевной и местной профессурой, чему он был даже рад. Мельникова и Белкин сидели за другим столом, Лощинин старался не смотреть в их сторону. Он поучаствовал в беседе про погоду и красоты Байкала, поел жареного омуля с картошкой. Потом сходил в бар и купил бутылку водки, которая тут же была выпита за знакомство и успешное начало конференции.

— Вы уж извините меня, я и правда никого не хотел обидеть. Я больше не буду, — дёрнув брылями, обратился профессор к Марине Сергеевне.

— Никто на вас не в обиде. Вы такой умный, — улыбнулась ему Марина Сергеевна в ответ.

Лощинин помолчал, а потом всё-таки заметил: — Вы знаете, так женщина обычно говорит мужчине, когда думает, что большего дурака она не видела.

Марина Сергеевна вежливо улыбнулась.

Лощинин помолчал и добавил:

— А вы очень красивы. Хоть здесь мне повезло.

— Так говорят о женщине, когда больше о ней нечего сказать, — не осталась в долгу проректор. Теперь пришла очередь улыбаться Лощинину. Марина Сергеевна кому-то моргнула, и из бара принесли вторую бутылку водки. После чего они выпили за улучшение понимания друг друга и окружающей действительности.

Лощинин выпил, и ещё и, наконец почувствовал долгожданное тепло в ногах и шум в голове. Он попрощался с соседями по столу и двинулся к своему номеру, но как-то неожиданно получилось, что ушёл он не один, а с молодой докторессой из Иркутска, которая жила в номере, расположенном в соседнем доме. Лощинин слушал её рассказ про иркутский берег Байкала, который был более свиреп и красив, чем местный, задавал уточняющие вопросы про Ангару, Песчанку и Листвянку. Потом, не зная, что сказать в ответ, предложил зайти выпить чаю к нему в номер. Докторесса в темноте слегка от него отодвинулась и сообщила, что лучше им продолжить общение завтра. Лощинин вздохнул с облегчением, но потом с положенной долей мужской сокрушённости в голосе пожелал ей спокойной ночи и отправился к себе спать. Когда в номер пришёл Белкин, он не слышал.

Утром Лощинин проснулся от солнца и холода. У базы была своя небольшая котельная, и в целях экономии топлива по батареям время от времени начинали гонять так называемую обратку. В результате, когда Лощинин укладывался вечером спать, батареи были горячими, но к утру они стали чуть тёплыми.

Солнце светило в глаза, но вылезать из-под тёплого одеяла не хотелось. Впрочем, оно не спасало, Лощинин почувствовал, что мёрзнет и более не заснёт, с кряхтением встал и отправился в душ,

где шла чуть тёплая вода. Впрочем, к концу его бритья и мытья вода стала почти горячей.

Лощинин разбудил Белкина: пора было идти завтракать, в десять утра начинались секционные заседания. Доцент сонно посмотрел на него и сообщил, что его не надо ждать к завтраку. Есть Лощинину не хотелось, хотя организм требовал кофе. Профессор решил прогуляться перед завтраком в надежде нагулять аппетит, и пошёл к Байкалу. Вид с берега был на Баргузинский залив, сквозь утренний редкий туман просматривались склоны сопки по берегу слева от базы. В отсутствие волн байкальская вода приняла обманчиво ласковый вид, будто звала искупаться под лучами ещё тёплого осеннего солнца. Лощинин долго всматривался в это сочетание Байкала, солнца, воздуха, леса и скал, то пытаясь что-то увидеть вдали, то опуская взгляд к воде у самых ног, сквозь которую просматривались поросшие мхом камни. Видимо, часть важных связей с окружающим распалась в его душе и уже отказывалась соединяться вновь, хотя какие-то проводки нервов всё ещё искрились в ответ на подачу сигналов об окружающей красоте, пытаясь раздражить центры памяти. Лощинин вдруг почувствовал неожиданный комфорт, находясь именно здесь, в одиночестве на сыром берегу, наблюдая за расходящимися на солнце ключьями белого тумана.

— Вот вы где, Владимир Алексеевич, — услышал он голос Анны. — Пойдёмте завтракать.

— А что же Белкин? — спросил Лощинин.

— Спит, — аспирантка подошла и встала рядом.

— Глупо как всё получается, — сказал профессор.

— Глупо, — ответила Анна. — Но, ты знаешь, Андрей мне начинает нравиться.

— Естественно, — ответил Лощинин. — А меня вот Шведов раздражает.

— Можно, я тебя сейчас поцелую? — спросила Анна, взяв профессора за руку.

— Нет, — сказал Лощинин.

Они так и пошли на завтрак, не разнимая рук.

За завтраком не было строгой рассадки, и Лощинин с Мельниковой присоединились к Татарникову и Марине Сергеевне. Татарников, пожелав коллеге приятного аппетита, сказал:

— Алексей Никитич у нас будет председательствовать на второй секции. А я на первой. Прошу ко мне на секцию для дружеской критики и прочего соучастия.

— Не хочу, — сердито ответил Лощинин. — Вот сейчас выпью кофе и пойдём с аспиранткой по берегу гулять. Сам с сибирской наукой управляйся.

— Не обижайтесь, Владимир Алексеевич, — вмешалась Марина Сергеевна. — Там так же студенты наши будут. И аспирантки... Для них ваше участие очень важно. И полезно.

Лощинин закипел, но не нашёл, что ответить на грубую восточную лесть с небольшой примесью издёвки. В это время к их столу подошёл, как всегда щеголеватый, Белкин. Казалось, что для него не существует временных поясов.

— Вы, Марина Сергеевна, лучше Белкина попросите на секции сходить. У него там и сообщение

есть, в программе записано,— вредным тоном сказал Лощинин.

— Прошу, прошу,— любезным тоном сказала Марина Сергеевна.

— Обязательно приду,— отвечивал доцент.— Там у вас порядка двадцати выступлений стоит, Сергей Михайлович?

— Да, выступающих много,— важно подтвердил Татарников.

— Так вы моё снимите, я лучше экономистов послушаю. После полудня непременно буду. У вас же секция ещё не закончится?

— Какое «закончилось»... До вечера будем работать,— сказал Татарников уже совсем не радостным тоном.

— Вот именно. А мне тут Анна обещала местные красоты показать.

— Вечно вы, философы, меняете истину на женщину,— сказал обескураженный Лощинин.

— Нескромно предполагать— но боюсь, что вы мне завидуете,— самодовольно отозвался Белкин.

— Вы себе льстите,— поморщился Лощинин.— Истина— она в вине.

— Хорошо, Владимир Алексеевич,— сказал Татарников.— Обещаю тебе виски вечером за работу. И за вредные условия труда,— при этих словах он посмотрел на Марину Сергеевну, которая тут же придала своему красивому восточному лицу невинный вид.

И профессора пошли в конференц-зал, а счастливый Белкин с Мельниковой— гулять по берегу Байкала. «Посижу максимум до первой кофепauses и всё равно удеру»,— мрачно думал Владимир Алексеевич.

Татарников хорошо был знаком с местными коллегами и пользовался их уважением. Он комментировал доклады, задавал вопросы— и это свидетельствовало о его внимании к выступающим, причём его вопросы, как заметил про себя Лощинин, носили общий характер и приглашали ораторов поразмышлять вслух. Докладчики пользовались случаем и размышляли. Хорошим тоном было говорить о необходимости снижения налогов одновременно с увеличением бюджетных затрат; важности увеличения доступности кредитов одновременно со снижением инфляции; возникшем дефиците рабочих рук и необходимости строительства новых заводов. Татарников несколько раз пытался вовлечь в эти размышления Лощинина, но тот отказывался, отделяясь своими вопросами к выступающим, что внесло существенное оживление— в отличие от вежливых уточнений Татарникова, Лощинин интересовался конкретными аспектами услышанного. В результате, не желая того, он обратил на себя слишком большое внимание и так и не смог никуда уйти, несмотря на свои первоначальные намерения. Даже после перерыва на обед ему пришлось сидеть и слушать доклады дальше. Незаметно получилось, что большинство участников конференции, выступив, потихоньку сменяли друг друга и уходили из зала, не принимая участие в дальнейшем обсуждении, и только Татарников и Лощинин выслушали все выступления

от начала до конца. Красотами Байкала им осталось любоваться всего лишь один час перед ужином. У Татарникова разболелась голова, он проглотил какую-то свою таблетку. Лощинин шёл молча, в основном глядя себе под ноги.

— И что теперь?— глядя куда-то в бескрайнее водное пространство, спросил Лощинин.

— Да ничего. Отработали на здешних хозяев, принесли кучу пользы. Мы с тобою молодцы,— ответил Татарников.

— Раз такое дело, то не выпить ли нам обещанный тобой виски?

— Извини, забыл.

Профессора, до того беспечно бредшие по берегу, развернулись и пошли к домику Татарникова быстрым шагом. У них появилась цель: до начала ужина оставалось меньше получаса, а виски, как и коньяк, неторопливый напиток. Отхлебнув из своего стакана и немного расслабившись, Лощинин спросил:

— Как ты со всем этим управляешься, Сергей Михайлович?

— С чем?

— Вот эта конференция: люди же глупости разные говорят. Ты всё это слушаешь, понимаешь, терпишь... потом будет опубликована книжка, единственная цель которой— помочь молодёжи защитить диссертации. Это же игра такая. А ты тратишь на это часть времени жизни. И ведь у тебя есть другие дела, реальные, в Москве, те же гранты, ты же сам рассказывал.

— Во-первых, говорят же не сплошные глупости...

— Да. Ещё говорят банальности.

— И это тоже,— хмыкнул Татарников.— Но мне интересно всё это. Сидишь, оцениваешь уровень. Чем-то помогаешь им— а они помогают тебе. Получаешь впечатления. Такова жизнь, и другой не будет. А ты чего ждал?

— Когда-то ждал, что мы будем разбираться с реальностью— как всё устроено. Спорить об этом, обсуждать. Ведь теперь можно говорить то, что думаешь, а оказалось— то, что думают глупости и банальности. И спорить не о чем.

— Да,— сказал Татарников.— Именно так.

— Теперь с любопытством жду смерти. У неё-то должна сохраняться подлинность. Посмотрим... Помнишь историю— когда Талейран умер, какая-то парижская газета написала: «Интересно, зачем ему это понадобилось?»

— Давай, чтобы тебе пришлось ждать долго.

И приятели чокнулись и выпили виски залпом.

Ужин оказался официальным банкетом, так что на столы кроме еды организаторами было поставлено и спиртное. Провозглашались тосты, слово для спичей по очереди предоставлялось гостям и местным заслуженным людям. Татарников и Лощинин, засидевшись за виски, немного опоздали, и первому сразу же предоставили слово как столичному гостю. Лощинин напрягся, думая, что сказать, если очередной спич придётся говорить ему, но следующим тостующим оказался улан-удэнский профессор, потом— Шведов. Лощинин успокоился и стал ужинать, исподтишка

рассматривая зал и поддерживая вежливую беседу о собаках, кошках и обустройстве дома, возникшую за их столом.

Тем не менее ближе к концу банкета ему-таки пришлось предложить свой повод для поднятия бокала учёной публикой. Он не был оригинален, поблагодарив за приём и приглашение и пожелав окружающим процветания. Было уже довольно шумно, учёная публика, подчиняясь общим законам застолья, стала вести беседы внутри небольших компаний, так что Лощинина мало кто слушал; и всё же Татарников сделал напряжённое лицо, а после окончания тоста приятеля одобрительно покачал головой и поднял рюмку, дескать, в этот раз — не подкачал.

Постепенно ужин начал переходить в новую стадию. Более молодая часть ужинавших потянулась на выход, к залу дискотеки, где начались танцы. Напротив, другая часть, где доминировали люди постарше, сдвинулась ближе к ректорскому столу, где оставалось невыпитое спиртное и где неожиданно появилась гитара. Предстояло хоровое и сольное исполнение старых песен. Лощинин, после некоторой заминки, двинулся в зал дискотеки.

В танцевальном зале было темновато и очень громко. Лощинин постоял, наблюдая за танцующей публикой, переминаясь с ноги на ногу. Танцевал он, по его собственному мнению, плохо и стеснялся этого. Но выпитое спиртное располагало к общению... с кем же здесь можно было разговаривать, он уже не понимал.

Внезапно из темноты к нему подошла Анна Мельникова — и пригласила на танец.

— Решила заняться благотворительностью? — спросил у неё Лощинин, принимая приглашение. — Нет. Просто мы ни разу с вами не танцевали, — ответила Анна и грустно улыбнулась Лощинину.

Они стали медленно кружиться. Основной заботой профессора было не наступить на ноги партнёрше и не столкнуться с другими танцующими парами. Он крутил головой по сторонам и обнаружил, что неподалёку от него вместе с Мариной Сергеевной тихонько топчется Татарников. Он явно говорил что-то остроумное своей даме, которая улыбалась в ответ, склонив голову на его плечо.

Композиция закончилась, и Анну увёл танцевать следующий танец Белкин, а Лощинин остался стоять один.

К нему подошла иркутская докторесса, с которой он продолжил своё топтание с намёками на вальс.

— А вы, оказывается, пользуетесь популярностью, — теперь с ним рядом оказалась Марина Сергеевна.

— Только благодаря вам, — попытался быть любезным Лощинин. Он заметил, что улыбающийся доцент с Анной потихоньку вышли из зала. «Приехали», — подумал Лощинин. Он решил, что минимум пару часов нужно пробыть по базе, чтобы дать Белкину время для возможных вариантов развития романтических отношений. Впрочем,

когда он изъявил желание гулять, у него тут же нашлись попутчики.

На воде появилась лунная дорожка. Она на глазах разгоралась, потом начала слегка тускнеть. Татарников, Лощинин, Марина Сергеевна и иркутская докторесса смотрели на Байкал, присев на камни. Свет на воде дробился, когда по озеру пробегала мелкая рябь.

— Мы, Сергей Михайлович, живём теперь в пост-модернистскую эпоху, где у каждого человека — своя реальность, — пожаловался на устройство мира Лощинин. — Вот что здесь было вчера и сегодня? Кто-то скажет — научно-практическая конференция, кто-то — корпоративная вечеринка, кто-то назовёт это туризмом...

— Научным туризмом, — уточняет иркутская докторесса.

— Ну да, постмодернизм. Заодно — агностицизм, субъективный идеализм и герменевтика. И — что? — ответил Татарников, приобняв Марину Сергеевну за плечи.

— Какой вы умный, Сергей Михайлович, сколько слов учёных знаете, — уколола Татарникова улан-удэнский проректор. Татарников убрал руку и немного отстранился.

— А то, что следствием является невозможность объективных истин и неангажированной научной дискуссии.

— В общем-то, да, — говорит Татарников, рассматривая что-то вдали. И продолжает: — Такие, как ты, субъекты, ищущие объективности, являются всеобщими раздражителями. Очень хорошо, что вы есть, — мероприятия перестают быть томными. Но я бы не хотел оказаться в твоей шкуре.

— Однако множество реальностей, которые зависят от природы наблюдающих их субъектов, не отменяют необходимости взаимодействий этих субъектов друг с другом. Таким образом, есть некоторая социальная среда, внешняя по отношению к ним, в которой они и взаимодействуют, — продолжил Лощинин.

— Логично, — согласился Татарников.

— Чем больше разнообразных контактов между субъектами в этой внешней социальной среде, тем более разнообразный опыт они приобретают. В пределе, поскольку количество субъектов конечно, конечно и количество контактов, постольку социальный опыт становится относительно однородным, и представления о реальностях сближаются. Напротив, чем меньше количество контактов, тем разнородней опыт, тем больше разнятся представления о реальности. Отсюда мораль: в рамках общепринятых координат постмодернизм — это не современное индустриальное общество, а аграрное. Феодализм, попросту говоря. И если Улан-Удэнский университет курирует ваша московская академия, то твоя, Сергей Михайлович, социальная реальность становится реальностью Марины Сергеевны. Другими словами, постмодернистское общество — это общество жёстких ритуалов и крепостной зависимости, преданности клану и контроля за территорией... В этом случае научные дискуссии невозможны,

да и сами учёные представляют собой, с одной стороны, придворных врачей, а с другой стороны, тайное общество алхимиков. Ни к тем, ни к другим я себя не отношу. Поэтому, полагаю, и возбуждаю окружающих.

— То есть феодальное и постиндустриальное — одно и то же? — задумалась иркутская докторесса. — Значит, у нас сейчас — сословия, а не равенство всех перед законом... А ведь похоже.

Месяц совсем потускнел, на небе высыпали звёзды. Стало холодно. Лощинин свернул дискуссию простым вопросом:

— Коллеги, а не выпить ли нам?

И дискуссионты пошли в лагерь.

В лагере светло: горит прожектор. Под этим светом Белкин и Шведов искали Лощинина.

— Куда он мог деться, не понимаю, — раздражённо сказал доцент.

— Пьёт с кем-нибудь, — беспечно ответил Шведов. — Надо идти в штаб конференции, там спиртное, там должен быть и он.

— Почему вы решили, что Лощинин пьёт сейчас?

— Так сейчас все пьют. Или спят. Что ещё делать? — при этих словах Шведов ухмыльнулся и подмигнул Белкину, отчего доцента передёрнуло. Но вслух он ответил:

— Мы, например, с вами Лощинина ищем. Может, на берег пойдём?

— Нет, там сейчас темно. Лучше искать, где светло. Пойдёмте в штаб.

Они пошли в штаб и действительно нашли там всю компанию, к которой уже успела присоединиться Анна.

— Вот, что я говорил, — ухмыльнулся Шведов. Он изрядно пьян, но пока ещё бодр.

— Мы вели учёный диспут. Владимир Алексеевич доказывает, что после модернизации СССР и превращения его в Россию у нас наступил феодализм, — Марина Сергеевна посмотрела в глаза философу и улынулась. Белкин, несмотря на её испытующий взгляд, решил поддержать старшего коллегу:

— Правильно. Если социализм является тупиковой мутацией, то после его смерти все возвращаются туда, откуда начинали. Мы с вами — в царской феодальной России после отмены крепостного права с её многоукладностью, дворянством, бюрократией; средняя Азия — в Средневековье... Что делать.

— Так это... тогда было принято ручки у дам целовать, — вклинился Шведов.

— Кто же вам мешает? — подначила своего шефа Анна. И Шведов с увлечением стал целовать дам ручки.

— Женщины — они облагораживают, — прокомментировал действия Шведова Татарников. — Что бы мы без них делали...

За столом в штаб-квартире кроме них оказалось ещё одно общество полуночников. Они познакомились, выпили, потом проводили дам... Лощинин и Белкин пошли к себе в номер.

Начало четвёртого ночи. Одиннадцатый час вечера в Москве.

— Вы куда пропали? — спросил у Лощинина Белкин.

— Как куда? Вы же вроде бы в номер пошли с дамой, я решил не мешать, — внешне спокойно-недоуменно ответил Лощинин.

— Спасибо, конечно. Нет, действительно спасибо. И за то, что познакомили нас, и за всё, — Лощинин вздрогнул от слов Белкина, но тот ничего не заметил. — Просто поздно было. Мы пошли вас искать и разошлись.

— И вы выпили, — констатировал Лощинин.

— Так ведь я Шведова встретил. Невозможный человек. Но потом опять пошли вас искать. Самое интересное здесь будет завтра. После круглого стола — культурная часть. Повезут на Ольхон, начат ловить омуля, сводят в баню. Три дня отдыха. — Я завтра — в Улан-Удэ. У меня самолёт с утра послезавтра, — сказал Лощинин.

— Ну да, первым делом — самолёты, а девушки потом... Дали бы студентам от себя отдохнуть.

— Каждому — своё, — процитировал в ответ то ли Экклезиаста, то ли Бухенвальд Лощинин. — Спокойной ночи.

Утро. Лощинина и Белкина разбудил Татарников. На его лице расцвёл утренний алкогольный румянец, что придавало ему, наряду с отглаженным костюмом и светлой сорочкой, неожиданную свежесть. Он поставил на стол в номере четыре банки пива по 0,33.

— От нашего стола — вашему.

Лощинин медленно собрался, вышел на воздух и сел на лавочку, освещённую лучами утреннего солнца, рядом с Татарниковым. Вид у него был измученный: чёрные круги под глазами, на жёлтом лице тёмная однодневная щетина, помятая одежда. Он откупорил банку с пивом и осушил её одним глотком. Увидев это, Татарников пошарил у себя в кармане, достал таблетки, протянул Лощинину.

— От головы.

— Вместо гильотины, — откликнулся Лощинин и закинул одну таблетку в рот, запив пивом из второй банки.

Из номера вышел Белкин, захватив с собой пиво. Он поставил свои две неоткупоренные банки рядом с Лощининым, сообщив, что ему надо идти к Мельниковой, и пошёл дальше быстрым шагом, обдав коллег запахом дорогой туалетной воды. Лощинин поморщился.

— Ничего, сейчас за завтраком выпьем чего-нибудь покрепче, — утешил приятеля Татарников, полагая, что профессора замучил похмельный синдром. Лощинин ничего не ответил, только прикрыл глаза. Земля закачалась под его ногами, и встать с лавочки ему не хотелось. Но он ещё участвовал вместе с Татарниковым в круглом столе, обсуждавшем итоги конференции, и только в обед похмелился по-настоящему.

По просьбе Татарникова Лощинину выделили ректорскую машину, которая повезла его в Улан-Удэ. В ней Лощинин задремал; просыпаясь, он видел волны бесконечной тайги, то сбегаящей вниз, то поднимающейся вверх по сопкам. После

перелётов, переездов, разговоров профессор потерял чувство реальности. Время от времени перед ним возникало грустное лицо Анны Мельниковой, но ему нечего было ей сказать.

В городе он оказался в том же номере, из которого они уезжали на Байкал. Вода в душевой кабине по прежнему текла из гибкого шланга, а не из лейки душа, несмотря на когда-то оставленную заявку дежурному администратору. Стабильность российского сервиса, вместо того чтобы разозлить, подействовала на него умиротворяюще. Лощинин долго плескался в горячей воде, потом установил будильник в своём сотовом телефоне и наконец заснул по-настоящему. Последний раз ему удалось так поспать только в квартире Татарникова.

Утром в буфете аэропорта он купил пятьдесят грамм водки, упакованные в полиэтиленовый стаканчик, выпил и закусил беляшом. В Москве Лощинин не стал звонить никому из старых знакомых, объяснив это себе тем, что ему они тоже давно не звонили, и уехал в Петербург дневным поездом. На следующий день он уже опять вёл занятия в академии. Конференция для него кончилась, сбившись в какой-то причудливый колтун памяти,—вроде бы и не уезжал... то ли было, то ли не было, и только обрывки утреннего белого тумана над Баргузинским заливом вместе с лицом Анны, спрашивающей, можно ли его поцеловать, ещё долго всплывали в памяти безо всякой на то причины.

На базе в день отъезда Лощинина вечером организовался очередной товарищеский ужин, желающие сходили в сауну. После удаления шлаков из организма водка пьётся легко.

— Какое странное чувство,—задумчиво сказала Анна Белкину, Татарникову и Марине Сергеевне, которые теперь сидели за одним столом.— Будто народу стало намного меньше, а ведь уехал один Лощинин.

— Профессор создавал ощущение напряжения и густой атмосферы, этого у него не отнимешь,—ответил Белкин.

— С ним надо что-то делать,—сказал Татарников, откинувшись на стуле и вытянув ноги.— При его образе жизни он помрёт скоро. Женить бы его, чтобы заботы о семье появились. Но как это осуществить, непонятно.

— Если пригласить его к нам в университет лекции почитать, он приедет?—спросила Марина Сергеевна.

— Может быть, да, может, нет,—сказал Белкин.— В любом случае ему стоит позвонить, спросить, он будет рад вниманию.

— А у вас есть его координаты?—обратилась Марина Сергеевна к Татарникову.

— Есть, конечно,—ответил москвич, подумав, что у Марины Сергеевны, как и у всего оргкомитета конференции, эти координаты тоже должны быть.— Я дам его мобильный телефон, почтовый и электронный адреса, только надо до номера дойти.

После ужина Татарников с Мариной Сергеевной дошли до его номера, а потом он пошёл её провожать. Они говорили о том о сём, и им было легко

друг с другом: Марине Сергеевне было тридцать семь лет, и она знала, как разговаривать с мужчинами, чтобы им не становилось скучно. Поднявшись в её номер, они опять поцеловались, но потом Татарникову пожелали спокойной ночи и выставили за дверь. Лощинину Марина Сергеевна так ни разу и не позвонила.

3. Сессия

Жизнь преподавателя во время учебного года летит быстро, подчинённая учебно-тематическому плану, утверждённому профильным учебно-методическим объединением при Министерстве образования. В этом плане присутствует перечень основных понятий, который после прослушивания курса должны знать студенты. Российский преподаватель объясняет слушателям эти понятия так, как он их сам понимает, поскольку авторы «опорных учебников» зачастую понимают их по-разному. Последнее обстоятельство делает лекции, несмотря на форму диктанта, весьма занимательным и творческим приключением для лектора. Вдобавок в экономических дисциплинах в качестве одного из вечно актуальных соавторов всех учебников выступает российское правительство вместе с Государственной думой, а эти уважаемые эксперты время от времени меняют определения и вместе с ними—свою точку зрения. Некоторые преподаватели этих экспертов не признают и частенько отстаивают позиции, прямо противоречащие правительственным. Не то чтобы часть лекторов-экономистов были такими уж радикалами и экстремистами, просто они не любят читать работы своих коллег и скучные нормативные акты. И лениво, и некогда... вдобавок многие нынешние преподаватели менеджмента и маркетинга, финансов и эконометрики в прошлом были математиками, физиками и химиками, а представители этих достойных сфер научного знания относятся к своим коллегам, имеющим базовое экономическое образование, с оправданным скепсисом и презрением. Оно и понятно—не могут же авторы разных учебников в точных и естественных науках по-разному приводить формулы средней скорости или законы образования химических соединений. Что это за глупости—снова и снова читать разные книжки, чтобы преподавать тот же самый курс? Это просто оттого, что экономисты—тупые, с одного раза понять не могут, но тут уж ничем не поможешь. И совершенно незачем читать всяких там классиков с кейнсианцами и монетаристами—ведь никто не преподаёт механику по книжкам Ньютона... впрочем, если уважаемому профессору Владимиру Алексеичу Лощинину хочется разбираться в этих глупостях, это его личное дело. А другим не до того. Надо студентам продиктовать на лекции основные понятия, а не дискуссии организовывать, иначе они же сами и претензии предъявят на экзамене—как! вы нам этого не давали! а спрашиваете! Да, вот ещё—нужно студентам рейтинги проставлять. Не до цветочков.

Рейтинговая система—одна из многих новаций современной системы образования—была

введена в России, как всегда, из лучших побуждений, для повышения качества образования. Вместо обычных пяти баллов студент оценивается по стобальной системе; кроме традиционных зачётов и экзаменов теперь добавилось ещё и выведение оценок по двум-тремя контрольным точкам в течение семестра. Наверное, это должно было действительно усилить контроль за ходом учёбы и иметь свои позитивные результаты... однако рейтинговая система всё-таки предполагает, что главным делом студента является учёба в вузе, а не работа в фирме или «зажигание» на тусовках. Рейтинговая система всё-таки предполагает, что студентов должны отчислять из вуза, если они не учатся в течение семестра, однако деканаты и ректорат, решая вопрос об отчислении, в первую очередь смотрят на то, платит студент за своё образование или нет. Неуплата денег — это вещь страшнее рейтинга будет; а если же всё оплачено, то — понятное дело — это же преподаватель так плохо работает, что у него студент не понимает и контрольную точку пройти не может. Поэтому отчислять его ни в коем случае нельзя, а уважаемый Владимир Алексеевич должен устранить свой педагогический брак, назначив дополнительные занятия для отстающих. Эти занятия оплачиваться профессору не будут — эк вы хватили, батенька! так любой двоек наставит, а потом будет претендовать на деньги нашей государственной академии, а это всё у вас включено в учебную нагрузку, сколько бы вы занятий ни проводили, так что извольте... Да, и в следующий раз, когда рейтинги будете ставить, объясните, по какой методике вы объединяете экзаменационную отметку с текущей успеваемостью — это у вас среднеарифметическая или средневзвешенная... если последняя, то веса укажите, они должны быть одинаковыми для всех студентов потока... А то у вас студент в течение семестра ноль имел, и вдруг откуда-то двадцать семь баллов... Ну и что, что не ходил в течение семестра... тогда он должен с вами отдельно позаниматься, чтобы свой ноль закрыть... Вы уж постарайтесь, не подводите нас, нужно научиться рейтинги считать, чтобы выглядеть лучше, чем другие факультеты... мы же самые престижные в академии...

Лощинин дурел от общения с заведующим кафедрой, представителями деканата и учебной части. В академии уже давно не проводились методические семинары, где уважаемые профессора пытались бы разобраться, как лучше объяснять студентам наиболее сложные проблемы изучаемых дисциплин. Зато количество бумаг, необходимых для внутренней аттестации, контроля качества, внешней аттестации, лицензирования, аккредитации и прочих изобретений педагогической бюрократии росло, как снежный ком. Теперь преподаватели должны были представлять учебно-методические комплексы по своим предметам, которые пришли на смену старым рабочим программам. Объём первых по сравнению со вторыми вырос многократно, смысл поменялся незначительно. Предполагалось, что, чем сильнее контроль за учебным процессом, тем выше его

качество, однако отсутствие наказаний для двоичников делало всё ужесточение контроля профанацией.

Лощинин понимал, что всё это — игра, что чиновники министерства, как и ректорат академии, прекрасно знают, что рост качества образования от введения рейтингов и учебно-образовательных комплексов имеет место только в отчётах. Однако приспособиться к тому, что от него требуют, и перестать ставить двойки он не мог. В результате конце декабря, когда начиналась зачётная неделя, и январь, когда начиналась сессия, регулярно превращались для него в пытку. Он назначал дополнительные дни зачётов, пересдачи экзаменов... и к новому семестру тихо ненавидел студентов за глупость и себя за то, что не мог сразу поставить тройки и не мучиться. Чтобы чересчур не обозлиться, он начал оформлять свои старые мысли в статью, для чего потратил часть зарплаты на дорогие материалы Росстата. Теперь в транспорте или во время ожидания ответов студента профессор мысленно возвращался к своим выкладкам. И долгое время очереди зачётов и экзаменов стало течь быстрее.

Новогодние праздники Белкин провёл скучно: Анна сказала ему, что уезжает кататься на лыжах в Кузбасс, в местечко с шипящим названием Шерегеш, и после этого перестала отвечать на мейлы и звонки. Доцент одиночества не любил и несколько вечеров подряд ходил в гости, но семейные праздники и встречи со старыми знакомыми не располагают ни к флирту, ни к философским беседам; в конце концов Белкин почувствовал себя объевшимся едой, разговорами об автомобилях, неужимости и зарубежном отдыхе, а также распросами о судьбе его бывших жён и успехах в учёбе его взрослой дочери от первого брака. Он заперся у себя в квартире, в надежде похудеть сел на кисломолочную диету и стал работать, перемешивая свои занятия попытками дозвониться Анне.

Не включать телевизор в новогодние праздники — дело затруднительное, а просмотр телепередач не способствует занятиям философствованием и переводами. Телефон Анны не отвечал. Прошло православное Рождество, на которое Белкин даже выбрался в церковь и побыл в толпе петербуржцев, пытаясь проникнуться духом старого возрождённого праздника. Он отстоял праздничную литургию, добился того, что у него замёрзли ноги и стало ломить спину. Несмотря на эти обстоятельства, Белкин вернулся домой в приподнятом настроении, которое даёт чувство честно выполненного долга.

Работать не хотелось. Белкин стал размышлять, что лучше — позвонить с очевидными интимными намерениями одной из старых знакомых, с которой они не виделись с прошлой зимы, или найти Лощинина, с которым они после байкальской конференции не встречались: профессору всё время оказывалось некогда. После недолгих колебаний он позвонил подруге. Как оказалось, она отдыхает в Египте, уехав от питерской слякоти. Но к старому Новому году она вернётся домой и рада

будет встретить этот прекрасный праздник вместе с Белкиным, заодно продемонстрировав ему африканский загар... Настроение Андрея Михайловича после этого разговора стало менее приподнятым и более философским. Он прекратил испытывать судьбу, перебирая телефоны других старых знакомых женского пола, позвонил Лощину и пригласил его к себе.

Профессор согласился не сразу. Его работа в трёх вузах одновременно предполагала и соответствующее количество экзаменов и зачётов. Шестого января он принимал экзамен в группах из потока, в котором учились Жукова и Островский. Экзамен, как и положено устному испытанию, затянулся надолго, Лощину пришлось побеседовать с большим количеством молодых людей, поэтому он предупредил Белкина, что ещё не отошёл от разговоров со студентами, устал и раздражён. Но доцент ответил, что сегодня побывал в церкви, а потому благодушен и готов воспринять чужое раздражение со всепрощением.

— К тому же ничто не утешает нас в собственном горе лучше, чем ещё большие страдания наших ближних,— закончил своё приглашение Белкин. — Ницше,— хмыкнул Лощинин.— Вы являете собой хорошую иллюстрацию гармоничного сочетания религиозной ортодоксии и волюнтаризма. Что же, я приеду, раз такое дело.

Когда Лощинин вошёл в квартиру Белкина, стол уже был накрыт. На нём красовались солёные огурцы и помидоры, грузди, квашеная капуста и селёдка с колечками репчатого лука. Дополнением к соленьям был правильный, чёрный бородинский, а не белый хлеб. Стол излучал аромат закуски и притягивал взгляд.

— Вот вы подошли, картошку можно снимать, а пельмени— ставить,— дружелюбно сказал Лощину хозяйственный Белкин.

— С этим можно не торопиться. Я в последнее время стал слабый едок. Но водки выпью с удовольствием,— при этих словах профессор достал из портфеля с бумагами бутылку упомянутого напитка и протянул её Белкину.

— Обижаете, Владимир Алексеевич. Я же вас ждал, так что подготовился.— Белкин убрал принесённую Лощининым водку в морозильную камеру холодильника и достал оттуда другую, уже охлаждённую бутылку и две рюмки. Он поставил всё это на кухонный стол. Рюмки мгновенно запотели.— Как там студенты экзамены сдают?

— Да как... Путают регрессию с деградацией, а трансакционные издержки с реализационными. Как обычно.

— Двоек много?

— Стараюсь не ставить. Но всё равно много.

Они выпили за все новогодние праздники сразу, пожелав друг другу здоровья.

— Меня последнее время донимает одна грустная интимная мысль,— сказал Лощинин, когда они выпили по второй и перешли к селёдке с отварной картошкой.— Сдаётся мне, что доброта или злость человека— это его природные качества, примерно как форма носа или жадность...

— Форму носа можно исправить пластической операцией. С жадностью— сложнее,— заметил Белкин.— Всё-таки эти качества— разные.

— Пусть так... хотя и жадность тоже проявляется по-разному, кое-что исправляется воспитанием и приличным обществом,— сказал Лощинин и усталился в какую-то точку мимо головы Белкина. Возникла пауза. Белкин помолчал, подождал и налил ещё по одной. На внешних стенках бутылки по-прежнему ещё был иней, который не хотел превращаться в капли росы. У Белкина замигала рука, пока он держал бутылку. Лощинин вдруг очнулся от транса и продолжил:— Если доброта и злость есть качества природные, то с ростом благосостояния количество добрых людей не увеличивается. Люди у нас стали жить лучше, а злости не убавилось.

— Зло неистребимо, но это доказывает только одно— в мире ещё много добра. В противном случае люди бы перестали замечать зло,— выдвинул диалектическое возражение Белкин, и они выпили за неистребимость добра. Лощинин доел селёдку с картошкой и положил себе ещё.

— Пельмени ставить?— спросил Белкин.

— Пожалуй, и поставьте, водка у вас вкусная,— допил свою рюмку Лощинин и закусил груздём со сметаной.

— Однако добро и зло суть абстракции,— сказал Белкин, наливая воду в кастриюлю и поджигая газ.— И в силу этого интимными быть не могут. Вы же начали с того, что вас донимает именно интимная мысль. Или я неправильно понял?

— Чтобы объяснить, мне придётся ввести ещё одно соображение,— сказал Лощинин.— С вашего позволения.— При этих словах он взял салфетку, обернул ею бутылку и разлил водку по рюмкам. Они выпили, на этот раз— за бесконечность соображений. И Лощинин продолжил:— Злость и доброта напрямую не соотносятся со счастьем и несчастьем, однако, по моему опыту, в минуты счастья человек редко делает гадости. Глупости— может, а вот сознательные злые вещи, пожалуй, что и нет. Конечно, злобный человек получает удовольствие от того, что реализовал очередное коварство, однако счастье и несчастье— всё же другие состояния.

— И что же лежит в основе последних?— заинтересованно, но немного скептически спросил Белкин, высыпая в закипевшую воду пельмени.

— Думаю, зависть. Зависть несовместима со счастьем и делает человека несчастлив.

— И одновременно, как показал Веблен⁵, является основой иерархии и скрепляет человеческое общество,— не удержался от замечания Белкин.

— Одно другому не мешает... Так вот, мысль моя заключается в следующем: большая часть наших сограждан является злой от природы, а не от бедности, а увеличение богатства привело не к счастью,

1. Веблен Т. (1857–1929), основоположник институционального направления в экономической теории. В качестве одного из основных институтов общества рассматривал завистливое сравнение: люди подражают богатым и успешным, копируя их образцы поведения: демонстративную праздность, расточительство и т. д. (см. Веблен. Т. Теория праздного класса).

а к росту зависти, общество-то стало сильней дифференцировано... и вот как результат — мы стали злы и несчастны едва ли не сильней, чем в стародавние застойные времена. Одна надежда — на образование, а с образованием у нас сами знаете что. — Мысль действительно интимная и неудобная.

Вы, Владимир Алексеевич, её более никому не говорите — вас не поймут. Решат, что вы выступаете против капитализма и роста благосостояния населения.

— Я и не говорю. Стесняюсь. Тут вот ещё что — все так или иначе хотят быть счастливыми, но мало кто — добрыми. Не знаю уж с каких пор повелось, но добрый человек — это глупый человек, смешной, с ним можно не считаться. Оттого и счастье выглядит глупым. Так что приходится микроиривать.

— То есть вы — счастливый человек?

— Склонен думать, что да. Уже давно живу в мире с собой и никому не завидую.

— А как же самореализация? Отношения с коллегами, с теми же самыми студентами?

— Если полагаешь себя свободным, добрым человеком, то делаешь то, что хочется и одновременно востребовано, помогаешь жить другим людям, а не доказываешь, что ты кого-то шибче. А то, что я ещё могу сделать, — никому не нужно; вспомните конференцию на Байкале.

— Тут вы преувеличили, вы ещё можете давать кровь.

И они выпили за доноров, а заодно и под поспевшие к тосту пельмени.

— Только софистика это, — Белкин начал пьянеть и старался удержать мысль. — Так можно всех называть свободными, потому что — если бы не хотел, то не делал бы. И реализовавшись, потому что — то, что продано, то востребовано, а не продано, значит, излишек в самореализации. И если все — свободные творческие личности, реализовавшие себя, значит — все счастливы, да ещё и добрые... — тут Белкин стал жевать пельмени и надолго замолчал.

— Добрые-то почему? — не выдержал молчаливого жевания Белкина Лощинин.

— Потому что рынок. Они же всё делают на продажу, то есть удовлетворяют спрос. Спрос — это чью-то потребность. Если продавец удовлетворил чью-то потребность, значит, добрый человек. Рынок вообще союз счастливых добрых людей — один счастлив оттого, что он сделал покупку, другой — что наконец продал. Это такая скрытая форма коммунизма — каждому по потребностям, от каждого по способностям. Просто и способности, и потребности измерены в деньгах.

— А и то, — безнадежно махнул рукой Лощинин, выпил ещё водки, закусив специально оставленным на тарелке пельменем, и стал собираться домой.

Но он не ушёл сразу. Они выпили ещё за Рождество и только потом — на посошок. В результате Лощинин решил не идти в метро, они вызвали такси, которое и доставило профессора домой. Там Лощинин вычистил зубы и улёгся спать, довольный ужином и недовольный собой и разговором.

В конце концов он решил, что Белкин, вероятно, прав, и кругом все сплошь счастливые, добрые люди, только он сам — зол и несчастен. Это его странным образом утешило, и Лощинин заснул тяжёлым алкогольным сном.

Студентка Жукова получила у профессора Лощинина автомат, а студент Островский — двойку. Другие студенты этому обстоятельству никак не удивились — Жукова у многих преподавателей ходила в любячихах, а Островский частенько пропускать занятия, а когда приходил на них, то вечно был не готов и не мог ничего сказать по теме семинара, как и не способен решить даже самые простые задачи. Тем не менее он как-то дотянул до четвёртого курса.

Жукова благоволила Островскому, который в ответ её немо обожал. Она дала ему конспекты лощининских лекций и заинтересованно расспрашивала его о результатах попыток пересдач. Дело у Островского шло туго — два раза он попался на шпаргалках. Потом в деканат позвонили родители Островского и, как он рассказал Жуковой, предложили заплатить деньги, поэтому Лощинину с просьбой звонил декан. В результате и в третий раз он пришёл к профессору, по-прежнему ничего не зная. Тот пожал плечами, написал в направлении на пересдачу «неудовлетворительно» и отправил Островского восвояси.

— Может, декан ему и не звонил? — спросила Островского Жукова.

— Да нет, звонил, родители с ним давно знакомы, зачем ему врать. Правда, может, деньги ещё не передал, я же у Лощинина про это не спрашивал, — с неохотой ответил Островский.

— С бюджетного места тебя за три пересдачи бы уже отчислили. Ты хоть определения выучи, не до конца же тебя тупость одолела, — немного презрительно улыбнулась молодому человеку Жукова, про себя уверенная как раз в обратном.

— Придётся, наверное, — угрюмо ответил тот.

Прошёл Татьянин день и студенческий бал, и у Жуковой появился очередной поклонник в дополнение к остальным. Свободного времени у неё не было, и всё-таки Жукова не оставила своего старого замысла немного развлечься и поболтать с Лощининым. Не то чтобы она была злопамятна. Скорее, она обладала другими свойствами — способностью к неожиданным поступкам, последовательностью и любопытством.

Если бы нашёлся тот, кто сказал бы ей, что эти свойства, взятые в комбинации, могут приводить к изрядной жестокости, Жукова бы рассмеялась моралисту в лицо.

Закончилась первая неделя февраля, и Лощинин в очередной раз принял оставшихся двоечников. С некоторых пор он старался не оставаться с очередным двоечником с глазу на глаз, предпочитая, чтобы его вопросы и ответы студента слышали бы и другие пересдающие экзамен. Так было и на этот раз; причём Островский, к удивлению Лощинина, всё же ответил на три простых вопроса из пяти, за что и был вознаграждён положительной оценкой.

Когда профессор вышел из аудитории в коридор, его там уже ждала Жукова.

— Владимир Алексеевич, а можно пригласить вас на чашку кофе? — с нежностью в голосе спросила Лощина красивая девушка, на которую в ипостаси собеседника за кофе он посмотрел первый раз. Профессор удивился, однако учебной нагрузки на сегодня не предвиделось, семестр в других вузах начинался только со следующей недели, и ему некуда было спешить. Он внимательно посмотрел на Жукову, но не заподозрил ничего дурного. — Что ж, почему бы и нет.

Когда они вышли из здания Академии и пошли по улице, Жукова взяла профессора под руку. Лощинин удивился ещё сильнее и сказал:

— Жукова, я ещё не настолько одряхлел.

— Что вы, Владимир Алексеевич, это я хочу за вас подержаться; здесь так скользко... — Жукова смотрела ему прямо в глаза и улыбалась.

Петербургские улицы в феврале приобретают специфическое покрытие под совместным влиянием воды, мороза, песка и различных химических ингредиентов, разбрасываемых дорожными службами. Идти по улице можно только танцевальным скольльзящим шагом, которому коренные жители обучаются с детства. Периодически студентка ойкала и висла у профессора на руке, прижимаясь корпусом так, что он был вынужден её ловить. Она с удивлением обнаружила, что у её спутника сильные руки и что ей это приятно. — О чём вы хотели со мной поговорить? — спросил Лощинин, когда они уселись в кофейне и сделали заказ.

— Видите ли... вы мне нравитесь, профессор, — произнося эту фразу, Жукова то опускала, то поднимала глаза и усиленно хлопала ресницами.

«Они совсем обалдели, что ли», — безрадостно подумал о молодых девушках Лощинин. Вслух он, однако, произнёс нейтрально-уточняющее:

— В смысле?

«Вот же гад», — ласково подумала про профессора Жукова. «Другие на его месте уже подпрыгивали бы от счастья, а этот... избалованный», — и она пошла ва-банк:

— Во всех смыслах.

Лощинин мрачно посмотрел на неё и ответил: — Если во всех смыслах, то тогда вы меня определённо пугаете, Жукова. Давайте сосредоточимся на чём-то одном или прекратим этот странный разговор.

— Я хочу в магистратуру, а потом и в аспирантуру — но именно к вам.

— Магистратура, а тем более аспирантура предполагают наличие эрудиции, желания думать и решать нестандартные задачи, а наша академия сейчас превратилась в профессионально-техническое училище. Я не имею в виду ничего плохого — мы выпускаем квалифицированных бухгалтеров, финансистов, менеджеров, даём им специальные навыки для работы на предприятии. Но базовые курсы, связанные с теорией, историей, философией, математической статистикой у нас читаются из рук вон плохо, да студенты и не понимают, зачем они нужны. По гамбургскому счёту,

у нас в целом уже нет образования и науки, остались только просвещение и ремёсла. Вам, если вы серьёзно хотите учиться, надо в Москву, Елена... как вас по батюшке?

— Васильевна, но можно просто Лена.

— Так вот, Елена Васильевна, я могу дать рекомендацию в Московскую экономическую академию к профессору Татарникову. Думаю, он вас возьмёт.

— В Москву я не хочу. Я хочу к вам.

— Это я уже слышал. Но пока не понимаю причину. Что из моих работ вы читали?

Жукова покраснела, так как лощининских работ не читала вовсе: ей это просто не приходило в голову. Она смутилась. Лощинин спокойно смотрел на неё и отхлёбывал кофе. После паузы он сказал:

— Понятно. Ничего не читали. Так прочтите, вы же не знаете, чем я занимаюсь. Возможно, это будет вам совсем не нужно и не интересно.

— А если прочту, и будет интересно... к вам на диплом можно будет попасть?

— Можно, — наконец дёрнул бровями Лощинин.

— Я всё прочту, — сообщила профессору Жукова. Потом помолчала, похлопотала лицом, помялась, и сказала:

— Можно спросить?

— Спрашивайте, — расслабился Лощинин.

— Владимир Алексеевич, а почему вы Островскому тройку поставили?

— Потому что он на вопросы ответил.

— Я тут с сокурсниками поругалась, они говорят, что вам за оценки платят. Через деканат.

Лощинин внешне остался спокойным.

— Мне деканат ничего не платил, всё, что я в академии получаю, идёт через бухгалтерию. Островский же сдавал и сдал экзамен в компании других студентов, так что у его ответа есть свидетели. А на что вам сдался этот двоечник?

— Мы с ним дружим. Он сказал, что родители декану платили за ваш экзамен. А я ему ответила, что вы наверняка даже не в курсе.

— Вы с Островским могли бы это написать... скажем, ректору — и поставить свои подписи?

— Я с ним поговорю, но — вряд ли. У Островского же не только с вашим предметом были проблемы...

— Понимаю, — тихо сказал Лощинин. Потом помолчал и добавил: — Неприятно, однако.

Жукова внутренне торжествовала. Лощинин заплатил за кофе, а когда она стала протестовать и пытаться доставать деньги, сказал:

— В следующий раз заплатите вы.

Жукова логично рассудила: из этого следует, что у них будет по крайней мере ещё одно личное свидание. Она уже знала, что профессор живёт один. У неё не было насчёт него каких-то определённых планов, но — кто знает, что может получиться? В целом она осталась довольна собой и проведённым разговором.

А Лощинин дома долго думал над этим разговором и решил, что Жукова ему не врала. «И ведь правда поди говорят, что я взяточник. И ничего с этим не сделаешь — не идти же с этим в деканат», — думал Лощинин, глядя в светящийся экран ноутбука. Было противно, ни спать, ни писать, ни считать не моглось. Профессор нашёл в своём

компьютере записи Александра Вертинского, полез в холодильник, достал бутылку водки, очередную банку маринованных огурцов и сделанные в Латвии шпроты. Посмотрел на шпроты, поставил их обратно в холодильник и достал колбасу, решив, что шпроты он оставит к шампанскому, которое с Нового года стояло у него в холодильнике. Может, когда-нибудь к нему зайдёт в гости дама, которую он угостит этим набором. И зачем он купил шампанское, шпроты и конфеты месяц назад? Теперь он уже не мог ответить себе на этот вопрос. Тем более что конфеты он съел.

Защита у Мельниковой в Новосибирске прошла гладко. Из-за новогодних праздников и последующих каникул совет долго не собирался, поэтому в тот день было назначено три защиты; Анна шла второй в очереди. Председатель постарался ограничить вопросы, в дискуссии для порядка выступил один человек, и вся процедура уложилась в полтора часа. Когда всё кончилось, Мельникова повторила старую остроту — «один час позора, зато потом кандидат наук на всю жизнь». Но в этот раз диссертацию только хвалили наряду с самой аспиранткой. И Анна мысленно благодарила Лощинина.

После этого она собралась отвезти документы и диссертацию в вак, в Москву, а заодно заехать и в Петербург. Её стали немного тяготить отношения с Белкиным, который часто звонил со своего квартирного телефона ей на мобильный, спрашивая, в лучших традициях голливудских эротических мелодрам, какое на ней в данный момент надето бельё. Она не отвечала на мейлы с цитатами из стихов Высоцкого, Цветаевой и Шекспира в переводе Маршака (этих она идентифицировала) и других поэтов (которых она не могла узнать, но подозревала, что это были тексты самого Белкина). С другой стороны, в памяти занозой сидел и Лощинин, воспоминания о котором сразу же вызывали у Анны приступы нежности и жалости. Петербургский узел нужно было развязывать, и она настроилась произносить разные твёрдые и решительные слова.

Приехав на свидание с Белкиным, Мельникова решила, что ей нужно сохранить необходимое чувство дистанции, при котором мужчина остаётся на поводке, однако его скулёж уже не слышен хозяйке. Ей самой понравилось это сравнение, она улыбнулась и тут же решила, что никогда не произнесёт его вслух, даже в женской компании, или тем более — в женской компании, которая не преминёт сделать его достоянием мужской общественности.

Был слякотный мартовский вечер. Андрей и Анна встретились в Екатерининском садике в восемь и пошли танцевать, решив сохранить мимолётную традицию своих свиданий. В квартире доцента они оказались только в час ночи и сразу же принялись целоваться.

Около семи, когда свеча на ночном столике недалеко от дивана погасла, Анна проснулась от неожиданно захрапавшего во сне Белкина. Она встала с постели, накинула мужской банный махровый

халат и пошла на кухню, плотно прикрыла дверь, стараясь не шуметь, зажгла свет в вытяжке над плитой и засыпала кофе в кофеварку. Потом, потягиваясь, подняла плечи и сунула руки в карман халата.

В правом кармане обнаружился некий предмет. Она автоматически достала его. Это оказалась пустая коробочка из-под презервативов, в которой, если верить надписи, их было когда-то пять штук. Анна прищурилась, вспоминая — сегодня ими был использован только один, и Белкин достал его из недр ночного столика, а не из кармана халата. «Похоже, Андрей Михайлович ведёт бурную личную жизнь», — подумала она, и образ трогательного скулящего щенка исчез из её памяти.

К запаху кофе примешивался ещё какой-то запах, который неприятно тревожил Анну, — где-то сладко пахло лилиями, а она очень не любила этот запах. Она подняла воротник халата и повернула голову. Пахло от воротника. Тяжёлые женские французские духи «Гипноз», определила Анна и опустила воротник.

Она почувствовала, что проголодалась, полезла в холодильник и, осматриваясь, обнаружила ещё одно подтверждение своим выводам: на боковой полке, среди таблеток активированного угля, «Спазмалгона» и «Алка-зельцера» лежала пара упаковок «Виагры». Тут ей стало немного жалко философа: похоже, он отнюдь не был уверен в своей мужской силе. Анна улыбнулась своим мыслям, взяла сыр и закрыла холодильник.

Белкин проснулся от шума воды в ванной, посмотрел на часы — была половина восьмого утра. «Вот же ведь здоровье у сибирских девушек», — подумал он и повернулся на другой бок: он решил, что после душа Анна вернётся к нему под одеяло. В следующий раз он проснулся оттого, что кто-то дёрнул его за нос. Открыв глаза, он увидел Мельникова, которая стояла перед ним в лёгкой дублёнке и зимних сапогах, собираясь уходить.

— Доброе утро, философ. Вас ждут великие дела, а мне пора идти. Я уже выпила кофе и съела твой сыр. Спасибо за всё.

Спросонья Белкин плохо соображал, что делать и говорить. Он спросил:

— Мы ещё увидимся?

— Если захочешь, — ответила Анна и ушла.

Белкину нужно было закрыть за ней входную дверь, поэтому он решил встать. Но халата рядом с диваном он не обнаружил, поэтому пошёл в коридор голым. Запер дверь, обнаружил халат, который висел здесь же на вешалке, надел его, посмотрел на себя, всклокоченного, в зеркало стенового шкафа и засунул руки в карманы халата точно таким же движением, как это сделала Анна два часа назад. Наткнулся на упаковку из-под презервативов, достал, хмыкнул: «Неудобно получилось». Потом подумал, улыбнулся-фыркнул и решил: «Позвоню завтра. Интересно, что она скажет».

Жукова забрала свои конспекты у Ореховского.

— Вроде они тебе помогли?

— Ага.

— Мог бы и спасибо сказать.

— Спасибо.
 — Так Лощинин брал деньги или нет?
 — Откуда я знаю, я же свечку не держал при передаче.
 — Если брал, как твои родители говорят, так чего же зачёт сразу не поставил?
 — Так они же все уроды моральные, препода. Им денег мало, надо себя показать, власть свою ощутить над человеком. Вот и выдрючиваются. Нормальные люди все бизнесом занимаются, а эти же не умеют деньги зарабатывать, вот и сидят здесь в вузах. Нищета. Это же полный отстой, чему у них научиться-то можно?
 — Если ты такой умный, то чего здесь на платном паришься? Ехал бы куда-нибудь в Сорбонну,— последнее слово Жукова произнесла с четырьмя «н» в конце вместо двух,— или Кембридж,— в названии английского города «е» у Жуковой прозвучало как «э».
 — Здесь я потому, что мне диплом нужен для дальнейшей жизни. А за рубеж пока не еду по причине развития ихней ксенофобии.
 — Чиво??—спросила Жукова, округлив глаза.
 — Ксенофобии. Не любят они там русских, лягушатники праворульные.

Анна позвонила Лощинину в тот же день, когда ушла от Белкина.

— Можно приехать к тебе?
 — Нельзя. Это будет неправильно по отношению к Андрею.
 — Ты зря волнуешься. У нас с ним ничего нет.
 — Поссорились?
 — Типа того.
 — Ладно.
 — Что ладно?
 — Приезжай после шести. Я буду дома.

Анна купила бутылку французского коньяка и коробку конфет и принесла их в гостиницу. Приняла душ. Достала из потайного отделения кейса, в котором возила ноутбук и свои бумаги, связанные с диссертацией, сто восемьдесят тысяч рублей пятитысячными купюрами. Упаковала их в конверт, перевязав резинкой. Написала записку: «Если ты передумаешь, я тебя жду. Анна». Положила в конверт. Обнаружила, что на её сапогах выступила соль. Она её отчистила. Обработала ногти. Занялась своим туалетом.

Когда Анна была уже готова, она ещё раз взяла конверт, вынула записку, перечитала и порвала её. «Детство какое». Потом подумала и положила в безразмерную дамскую сумочку полиэтиленовый пакет с шёлковым халатиком. Подумала ещё раз— и выложила. Пошла к двери. Остановилась. Вернулась. «Чёрт побери». И опять положила халатик в сумочку.

Лощинин проводил её в свою комнату, достал из холодильника банку шпрот, задумался и спросил:
 — Анна, а вы шампанского не хотите?
 — Нет, Владимир Алексеевич. Я шампанское не люблю.

Лощинин вздохнул, достал сыр, колбасу и пару яблочек. Порезал всё на ломтики и кусочки, поставил

на стол. Открыл коньяк. Подумал ещё и всё-таки открыл шпроты. Достал хлеб и пару рюмок. Наконец взял коробку конфет, которую принесла Анна, открыл и её.

— Смотрите, какой у нас с вами богатый стол получился. Будем пировать и праздновать, а ты мне всё-всё расскажешь. Как там защита прошла?

— Успешно,— Анна пустилась в недолгий рассказ о своих учёных обстоятельствах.

— А что у вас с Белкиным?— и Лощинин, и Анна отчего-то чувствовали себя неловко и постоянно переходили с «ты» на «вы» и обратно.

— Примерно то же самое, что у вас со мной. У меня с ним нет будущего. Наверное, он слишком для меня хорош.

— Это как прикажешь понимать? Что ты для меня слишком хороша или наоборот?— попытался пошутить Лощинин.

— Он такой же, как я, только старше, умнее. Он знает, чего я хочу, и старается мне угодить. С ним—удобно.

— Вот и прекрасно. Выходи за него замуж и переезжай в Питер.

— Мне с ним не только удобно, но и скучно. Когда меня не будет рядом, у него будут другие женщины. А когда его не будет рядом, у меня будут другие мужчины. И это—тоже скучно.

— А я?

— А ты... кипятишь мне кровь,— Анна встала, обошла стол и села профессору на колени.— Я никогда не знаю, что ты мне скажешь дальше, как ты поступишь. Тебя я люблю, а его—нет. Да и Андрей не любит меня. Хотя мы говорим с ним все нужные слова, но оба в них не верим. Так что ты прав, сейчас на дворе другая эпоха.

Их вечер продолжался, постепенно переходя в ночь. Анна тихо порадовалась, надевая свой халатик. Похвалила она себя и за то, что купила литровую бутылку коньяка, а не пол-литровую. Лощинин продолжал потихоньку пить, перемежая коньяк и кофе, и их странный разговор всё продолжался и продолжался. Нервы Анны были напряжены, и ей тоже требовался коньяк. Ей, как и большинству людей, ведущих здоровый образ жизни, казалось, что она только слегка под хмельком и что коньяк её бодрит. Она пила наравне с профессором.

— Помнишь, ты говорил, что сейчас время действий?—спросила профессора Анна, лаская лощининскую шевелюру, касаясь его лба и щёк.— Я звала Белкина на Новый год кататься на лыжах в Шерегеш. Потом приглашала его к себе на защиту. Он не приехал. Понимаешь?

— Понимаю.

— Я люблю тебя. А ты меня любишь?

— Да.

— Больше жизни?

— О да. Значительно больше.

— Тогда давай жить вместе.— Анна отхлебнула довольно большой глоток коньяка.— Переезжай ко мне. У меня там сосны... и небо. Высокое небо в соснах. А тут оно низкое—и всё в проводах.

— Не могу. Там Лёша Шведов и моя официальная жена.

— Тогда я перееду к тебе. Сюда. Ты же меня не прогонишь?

— Не прогоню. Только эта комната не моя. И это — не мой дом. Может, подождёшь чуть-чуть?

— Чего? Ты того и гляди погрёшь скоро. Так Тарников сказал.

— Что за мысли... вроде бы у тебя не было причин жаловаться на моё здоровье этой ночью.

— Или я влюблюсь в кого-нибудь. Тебя ведь можно возненавидеть. Ты это знаешь?

— Знаю.

— У тебя другой такой не будет.

— Это уж точно.

Анна заснула. Усталость наконец взяла своё. Лощинин погасил настольную лампу, служившую им вместо ночника, убрал со стола, почистил зубы и долго сидел, глядя на девушку, спавшую в его постели. Потом убрал коньяк в шкаф, прилёг с краю, попробовал обнять Анну, но под его пальцы попала молодая упругая грудь, и он отдернул руку, будто обжёгся. «Так не пойдёт», — решил он про себя, достал запасной комплект белья, приспособил свою куртку вместо подушки и улёгся рядом с тесным диваном. И всё равно ещё долго лежал без сна. Видимо, профессор выпил слишком много кофе.

На следующий день Лощинин провёл очередные пары и успел на Миллионную как раз тогда, когда Анна уже собралась уходить из гостиницы. Когда бывшая аспирантка увидела профессора, на её глаза навернулись слёзы.

— Я всегда хотела, чтобы ты встречал и провожал меня.

— Наконец у меня это получилось, — улыбнулся Лощинин.

— Слишком поздно. Сейчас не нужно, иначе я буду плакать, а я не хочу, чтобы ты запомнил меня такой.

— Хорошо.

— Я там тебе кое-что оставила, у тебя в комнате. Под бутылкой коньяка, в книжном шкафу.

— Хорошо, — продолжал тупить Лощинин.

— Теперь у тебе ничего не должна. Поцелуй меня. Уже поздно, такси ждёт.

И он наконец поцеловал Анну. Это был долгий, страстный поцелуй. И ещё это был первый раз, как потом вспоминал Лощинин, когда он наконец по-настоящему поцеловал Анну на публике.

У себя в комнате он нашёл конверт с деньгами. «Ещё и альфонсом сделала», — уныло подумал Лощинин. Он налил себе сто пятьдесят коньяку в стакан — бокалов-тюльпанов у него не было, взял оставшиеся конфеты и включил телевизор. «А вот теперь хорошо бы умереть», — мелькнула мысль. Он выпил стакан залпом, закусил конфетами, посмотрел на экран, дожидаясь, пока придёт опьянение, потом выключил телевизор, быстро разделся и лёг в постель. Подушка пахла духами Анны — почувствовал, проваливаясь в сон, профессор. Он заплакал от жалости к себе и заснул.

Весна раздевает любой город, перед тем как помыть и одеть его снова, — и он становится грязным, угловатым и незащитным. Петербург не исключение — в начале апреля почки деревьев

ещё не распустились, зато сошла штукатурка с части старых домов... а в воздухе смешиваются пыль и вода. Сверху то и дело начинает падать то ли снег, то ли дождь. Для того чтобы в этом времени почувствовать будущее пробуждение парадного, зелёного и золотого, тёплого и солнечного Петербурга белых ночей, нужно его очень сильно любить.

Но днём в начале апреля иногда уже припекает солнце, и раскрываются зонтики, под которыми располагаются перекусить туристы. В Екатерининском и в Потёмкинском садах уже подолгу сидят шахматисты, играющие блиц, а на Елагином острове папы и мамы гуляют с детьми и смотрят на уток, белок и оленей. Тиньковские пивоварни на Казанской наращивают объёмы. Скоро вверх по Неве пойдёт корюшка, на улицах запахнет свежим огурцом и начнётся столпотворение рыболовов на набережных и мостах.

У Лощинина после долгого перерыва вышла статья в хорошем журнале. Он приятно удивился и обрадовался тому, что его тихие зимние упражнения вдруг принесли какой-то результат. Лощинин зашёл за Белкиным на кафедру философии, подписал приятелю оттиск своей статьи, и они двинулись в заведение «Толстый фраер», в котором когда-то облюбовали красное пиво из местной же пивоварни.

В пивной висели плакаты, иллюстрирующие отдых трудящихся и туеядцев в годы застоя СССР. Под потолком на растяжке висела фигура, изображавшая персонаж, в честь которого называлось пивная. Лощинин и Белкин выпили по кружке за традиции и преемственность, закусив чесночными гренками.

— Встречаетесь ли вы с Анной? — спросил Лощинин. — Не собирается ли она в Петербург? Мне бы надо её повидать...

— Похоже, она на меня немного обиделась, — ответил Белкин. — А я ей такие письма писал, приятно вспомнить. Сам от себя не ожидал. С цитатами. Но когда я ей в последний раз звонил, в марте, она сказала, что нам более незачем видеться, поскольку я её в Петербург не зову и сам в Сибирь не собираюсь.

— То есть она имела в отношении вас матримониальные намерения? — дернув бровями, расплылся в улыбку Лощинин.

— Этого я как раз и не понял. Во всяком случае, она ни разу мне об этом не говорила, а я действительно ей ничего не предлагал. Хотя, Владимир Алексеевич, теперь я задним числом осознал, что было влюблён и счастлив, а сейчас всё ещё влюблён и несчастен.

— Душевные страдания способствуют философским настроениям.

— Этим остаётся утешаться. Перефразируя древних римлян и их авгуров, если Анна меня любила, что возможно, или не любила, что вероятно, пусть и то и другое было бы ей только на пользу, даже если сама она не видит никакой пользы во всей этой истории.

— Хорошо сказано, — Лощинин отсалютовал пивной кружкой товарищу. — У меня тоже интересный

сюжет в этом году вышел. Со студентами.—И профессор пересказал Белкину свой февральский разговор с Жуковой.

— Непросто студентам с вами, уважаемый профессор. Ваше существование искажает их картину мира. Лощинин вопросительно поднял брови.

— Ситуация-то, видите, какая: к вам даже обратиться с предложением взять деньги бояться. Поэтому действуют через деканат. Мешаете вы трогательной гармонии интересов студентов и преподавателей. Двойки можно ставить, но чтобы потом ещё и деньги не брать за пересдачу... Вы и подарки поди не берёте? Скажем, три бутылки коньяка «Хеннесси vsop» или там сотовый телефон? — Не беру. Раньше предлагали, теперь, впрочем, уже и не предлагают.

— Видите. Так чего вы, собственно, от них хотите? — Как чего? Знаний.

— Неправильный ответ. Они считают, что знают достаточно и больше им не надо, вы считаете, что они не знают. Здесь нет почвы для компромисса. А ещё чего-нибудь хотите?

— Ничего.— Лощинин потряс головой, подумал.— Хотя... нет, может быть, всё-таки хочу немного уважения...

— Вот. И это—самое страшное. Вы хотите от молодых людей того, чего они в принципе не могут понять.

Они заказали шашлыки и ещё пива.

— Вы меня смутили,—сказал профессор, отпив из кружки.—Я полагал, что дело во мне как мастодонте из другой эпохи, а молодёжь... как всегда, молодёжь. Может, только более свободная—во всех смыслах свободы. И всё.

— Вы требуете от них невозможного. Уважение к человеку возникает тогда, когда другой может его понять, оценить то, что он сделал. В противном случае вместо уважения может быть только страх, смешанный с ненавистью, если этот другой их сильнее, или презрением, когда другой—слабее, но может доставить неожиданные неприятности. Вы же их пугаете. Вы им слова неприятные говорите, что само по себе неприятно, а им нужно терпеть. С другой стороны, ещё и денег не берёте. Брали бы—так вас бы боялись и презирали. А так—как с вами обращаться? Вы, Владимир Алексеевич, для студентов—стихийное бедствие. Никакого от вас спасения.

— Гиперболизируете, прямо как инженер Гарин из детского романа Алексея Толстого. Какое стихийное бедствие? Тупо зазубрили и сдали. И через две недели забыли.

— Могу вас утешить—запоминают студенты вас надолго, как пожар или наводнение. Вы остаётесь одним из самых ярких воспоминаний об учёбе в нашей академии.

— Хотя это и сомнительный комплимент, но приятно слышать.

И они выпили пива за приятность сомнений.

— Однако в этом что-то есть, экзистенция какая-то,—задумчиво продолжил Лощинин.— Солнце, пиво... не за горами лето, которое, как известно, маленькая жизнь. И я до всего этого дожил, так и не прибавившись ни к какому берегу.

Хотя Татарников, который как раз мне и напоминает вот этого доброго толстого фраера под потолком, тоже прав, выдвигая тезис о невозможности существования одиноких бродячих профессоров.— Всё так и должно быть.

— Вы говорите парадоксами. У меня как раз это «всё» не сочетается с понятием «моя жизнь».

— Правильно. Это и есть гиперреализм, как я его понимаю,—задумчиво сказал Белкин и погрузился.— Говоря банальностями, самая красивая женщина может отдать вам только то, что у неё есть.— Само собой.

— Однако даже самый умный мужчина может взять только то, что он чувствует. Понимаете? Только то, что у него есть внутри. В противном случае он не поймёт, что ему отдают.

— Это... это не банально.

— Понимаете? Иначе вы будете играть в шахматы, а с вами играют в поддавки. Оттого-то вы и чувствуете солнце, вкус пива, ожидание лета, что не прибились ни к какому берегу. Я вот чувствую сейчас не солнце, а тепло, не пиво, а алкоголь, не лето, а отпуск... Ощущаете разницу?

— Да.

И они долго молчали. Потом Лощинин сказал: — Вы не поверите, но я квартиру однокомнатную построил. Сейчас отделяю. Потом вселюсь и буду обычным, нормальным профессором, каковым, собственно, и являюсь. Буду работать в академии—и в ещё одном вузе, на полставки, а третий брошу. И с женой разведусь.— Лощинин подумал и добавил: — Может быть.

— Да. А я найду девушку, которая меня полюбит, и заключим мы с ней брачный контракт, по которому она не сможет претендовать на мою жилплощадь,—ответил Белкин.— И будет нам всем счастье.

И они выпили ещё пива за гармонию с окружающим миром здесь присутствующих. А потом Лощинин сказал:

— Может быть, вы и правы насчёт того, что я— лишняя деталь в Министерстве нашего образования и науки, сокращённо Минобразине, вносящая ненужный диссонанс. Я и сам, бывает, это чувствую. Но, как любят говорить ваши философские коллеги, если не удаётся переделать мир, то всегда можно изменить своё отношение к нему. В конце концов, и мир, и я—мы оба в равной степени не хотим, чтобы нас меняли или переделывали. Так что вы всё-таки преувеличиваете насчёт стихийных бедствий.

— Да бросьте, профессор, не кокетничайте. Миру нужны грозы и ураганы. И вы всем нам нужны, просто бывает трудно сказать об этом.

Лощинин и Белкин допили пиво, расплатились и пошли гулять по апрельскому Петербургу. Солнце стояло высоко, и, по оценке Белкина, до заката можно было не торопясь обойти ещё три бара, пропуская везде по кружечке за его счёт,— как сказал доцент, должен же он когда-то отблагодарить профессора за поездку на Байкал и своё знакомство с красивой, умной девушкой.

— Истина—она в вине,—напомнил Лощинин.— И мы её найдём.

И приятели отправились на дальнейшие поиски.



Сергей Шульгин Как сорванный листок

Ларисе

Уеду, пожалуй, в деревню.
Пусть в город меня завело,
Но ямбом своим и хореем
Зовёт вечерами село,
Которое в детстве растило,
Учило сурово—не трус!
А Родина звалась Россией
И гордо порою—«Союз».
Деревня на праздник гуляла
С гармошкой и добрым вином
И в спорах, бывало, стояла
На чём-то исконном, своём.
Работала если—на совесть,
(А кто-то—спустя рукава.)
О будущем не беспокоясь,
Рубила в лесу дерева.
Не верила в Бога и в чёрта,
На всё говорила: «Мур!»
Скандала, просила расчёта,
Проспавшись,—прощенья, с утра.
С тех пор четверть века без толку
Прошло, и сказала мне ты:
—Свезли полдеревни на горку,
Под звёзды,
кого—под кресты...

Море

Над морем сумрачным луна.
На пляже каменном волна
О берег бьёт, шумит.
Горит созвездие Быка.
Я слышу, как шумят века
На спинах чёрных плит.
Той ночи каменный покой
Подточен шумною волной,
Но скалы спят.
У горизонта корабли
Уходят за изгиб земли.
Горит маяк.
Тысячелетний тихий плеск
И звёздной пыли вечный блеск,
Ночной покой.
Здесь время медленно течёт,
Играет галька—нечёт-чёт,
Сама с собой.
И растворяюсь я в ночи,
Где свет луны наивно чист,
Где век земной
Проходит, как единый миг,
Скользнув по спинам чёрных плит
Морской волной.

Отцу

...Не увидеть—колышатся ветки от ветра,
Не почувствовать кожей вечернее солнце
И глаза не прикрыть, заслонясь от света,
Не услышать цепей прозвеневшие кольца.
Удержать на Земле невозможно цепями.
И любовь промолчит, пожимая плечами,—
И слова бесполезны, и горькое горе
Не растопит снега и не высушит море.
Пролетит в облаках белоснежная птица,
Что в руках осторожно недавно держали.
Но душа не журавль и, увы,—не синица,
Ей пора улетать в неизвестные дали.
...Эти мысли обман или просто надежда?—
Мы не знаем о том, только хочется верить,
Что не кончилось всё и находится между
Сном и явью душа, и любовь в полной мере.

Холодная весна

Весна? Скворцов не видно на заборе,
По-прежнему пробрасывает снег.
Ему не важно—радость или горе
Почувствует сегодня человек.
Приходит время слякоти дотошной,
Туманятся то солнце, то луна.
Уснуло время в снеговой пороше,
И впереди дорога не видна.
Но вот внезапно тучи разбежались
И солнце вырвалось из серой пелены,
И кажется, там в небесах скрижали
Внезапно нам открылись.
И видны
Сквозь облака сияющие дали
Прекрасной и неведомой страны...

Сплетение сцепившихся стволов.
Черёмуха—вот дерево для лука!
Пущу стрелу над осенью, над лугом,
Пусть сбудется, что мне не удалось!

Таинственный, печальный уголок.
Остановлюсь, гляжу, заворожённый,
У рожицы, полями окружённой,
Где осень мне поставила силоч.

Попался, неудачливый стрелок!
Твоя стрела растаяла, пропала.
Зайди и задохнись от листопада
И закружись, как сорванный листок.

Осенние образы

Первые листья уходят в зенит.
Осень говорит нам печальное «Здравствуй».
Старики вспоминают,
что август был другим,
Но я не помню, каким был тот август.
Хорошего мало в поре дождей.
К природе приходит мудрая зрелость.
Озёра остыли. В лесах тишина.
Дрожат на ветках холодные яблоки.
Ворочая «р» сентября во рту,
Сладко потягиваясь,
Ждёт своего часа бабье лето.
Багровое солнце ломает горизонт.
Ловят свет ладони желтеющих листьев.
Странная пора. Смутная тревога.
Красный сок по щекам.
Воздух, теряющий тяжесть лета,
Обещающий обновление.
Сумрак, свет...
Мельчайшие оттенки слова, чувства.

По реке летела лодка,
Капли падали с весла,
И девчонка от колодца
Два ведра воды несла.

Здесь, у берега, деревья
Притулилась у реки.
Ходят с удочкой и бреднем
На рыбалку мужики,

Самосад душистый курят
Вечерами у плетня...
По полянкам бродят куры,
Дети бегают, пыля,

По протоптанным дорожкам
От калитки до крыльца.
У окна свернулась кошка
Наподобие кольца.

За пригорком ходит лошадь,
Щиплет свежую траву,
Жеребёнок скачет тощий,
Как положено ему.

По утрам поют здесь птицы,
Рыба плещется в реке,
И колышется пшеница
На весёлом ветерке.

И летят над той деревней,
Словно ласточки, года.

...Но, признаюсь, к сожаленью,
Я там не был никогда.

Листопад

Не спеша пройти по жёлтым листьям...
Всё кончается, и даже листопад,
Отгорев и налетавшись в выси,
Отдаёт листву свою назад...

Напоследок вскружится чуть дальше
И, устав от бешеной игры,
Покраснев, как нашаливший мальчик,
Убежит за дальние дворы.

В лесу

Опушённые инеем
тонкие, чёрные ветви.
Мир контрастен и груб,
даже если укутан он в снег.
Надо мной самолёт —
блудный сын меркантильного века —
к белизне облаков
направляет стремительный бег.
Я брожу меж берёз
и порой по-мальчишески, глупо
бью ладонью о ствол,
к небесам запрокинув лицо.
С веток сыплется снег,
отзывается эхо мне глухо,
я ловлю этот снег
и хочу, чтоб он падал ещё.
Я брожу в том лесу,
где укрылось уснувшее время,
где секунда и век
соразмерны бывают порой,
где качают ветра
метроном зеленеющей ели
и весенняя тайна
живёт под застывшей корой.

Как дети, любим мы природу.
И вот какой-то дуралей,
Ромашки, пахнувшие мёдом,
Несёт охапкою с полей.
Он дома в вазу их поставит,
Добавит в воду аспирин,
Чтобы вечернюю усталость
Медовый воздух растворил.
...Тысячеликий мегаполис
Рокочет глухо за окном,
А он летит во сне над полем
Ромашки белым лепестком.

Александр Щербаков

Мы живём в снегирином краю



Замечательному красноярскому поэту, прозаику, журналисту Александру Щербакову недавно исполнилось 70 лет. Поздравляем юбиляра и желаем ему новых творческих свершений.

Редакция «ДиН»

Мы живём в снегирином краю,
Где в снегах стынут сосны и ели,
Ну а всё-таки птицы поют,
Несмотря на мороз и метели.

Улетают вьюрок и угод,
Злата иволга и иже с нею...
Но снегирь, как несорванный плод,
И зимою на ветке краснеет.

Наш воробушек не соловей,
И сороки петь не мастерицы,
Но как дивно звенит из ветвей
Эта малая алая птица.

Я подслушал на зимней заре,
На студёном багряном восходе,
Что и даже полёт снегирей
Полон тонких волшебных мелодий.

Нет, не зря нам при встречах снегирь
Каждый раз представляется чудом,
И поэты рифмуют Сибирь
С этой птахою пламенногрудой.

Полный света, сияния, блеска—
Лучезарный весенний восход
Всё мне видится над перелеском,
Упившимся в наш огород.

Не бывает чудесней видений...
Столько лет пролетело и зим,
Но мне памятен свет тот весенний,
Всё люблюсь я мысленно им.

Его отблеском дальним согретый,
Ныне исподволь осознаю:
Это ясным и радостным светом
Светит родина в душу мою.

И до вечного пусть до покоя
Озаряет мне думы и сны,
Ибо в жизни не знал ничего я
Ярче той лучезарной весны.

Привет из Азиопы

Не нужен мне язык эзопов,
Я напрямую вам скажу:
Сижу в глубокой Азиопе
И на мели притом сижу.
Моё ж открытое забрало
Обезоружило меня—
В итоге шайкой либералов
Обобран я средь бела дня.
Но мало им, что нас лишили
Державы, крова и зарплат:
Вчера карманы потрошили,
Сегодня— души норовят.
Так неужели же я струшу
Или разину рот опять
И Богом вдунутую душу
Позволю нехристям отнять?
Не склонный к басенкам Эзопа,
Отвечу без обиняков:
Да, есть разини в Азиопе,
Но не ищите дураков!

Енисейскому краю

Наши деды, Сибирь обживая,
Неизменно сходились на том,
Что земель енисейского края
Нет щедрей за Уральским хребтом.

Великая река подобна морю,
Леса под небеса по берегам,
И есть где развернуться на просторе
Размашистой души сибирякам.

И поныне с той лестною славой
Ты в трудах и заботах живёшь,
Край опорный Российской Державы,
И могуч, и богат, и пригож.

Здесь Енисей величествен, как море,
Леса под небеса по берегам,
И есть где развернуться на просторе
Похожим на свой край сибирякам.

Мы, наследники первопроходцев,
Сохраним эту славу сполна.
Пусть она нелегко достаётся,
Красноярцам посильна она.

Наш Енисей величествен, как море,
Леса под небеса по берегам,
И есть где развернуться на просторе
Влюблённым в отчий край сибирякам.

Уходит поколение

А стрелы падают всё ближе,
И ворон кружит за спиной...
Ещё один скоропостижно
Собрался сверстник в мир иной.

Подкатит чёрная карета,
Контора выпишет ярлык—
И отгартуют спешно предка
На божью нивку Бадалык.

А то, что жил трудягой честным
И был Державой награждён,
Ему зачтёт лишь Царь Небесный,
В которого не верил он.

До срока наше поколение
От прав уходит и свобод,
Чтоб милостей до околенья
Не ждать от нынешних господ.

Всё-то слышал, всё-то видел,
Всё-то в жизни испытал...
На судьбу я не в обиде,
Просто малость подустал.
Укатали Сивку горки,
Подгорбатили года.
Верно, лишку на закорки
Брал в дороге иногда.
Все мы жили— не тужили,
Не впадая в лень и грусть.
Что нам стоили, двужильным,
Этот путь и этот груз?
Под команду «раз-два, взяли!»
Сверхдержаву возвели.
Вознесли. Да разве знали,
Разве знали-ведали...

Нынче нам не до империй.
Впрочем, если позовут,
Вновь готов я, сивый мерин,
Добровольно влезть в хомут.
Не боясь прослыть святошей,
Помолюсь на каланчу
И на горб заброшу ношу—
Мне любая по плечу.

Минусинье

Александр Кулёву

В Минусинье небо сине,
Дали сини в Минусинье,
И на диво там красивы
И синильги, и аксиньи.
А ещё жила в Подсинем,
На пороге Минусинья,
Хороша и неспесива
Молодайка Ефросинья.
Я когда-то был в Подсинем
И влюблялся в Ефросинью,
Да и мной, ещё не сивым,
Увлекалась Ефросинья.
Мы сидели на тесине
Возле дома Ефросиньи
И весь вечер голосили
«Я люблю тебя, Россия...»
Помню, помню, ярче синьки,
Фросин взор из-под косынки...
Говорят, у Ефросиньи
Ныне дочь большая— Сина
И что Сина та красивой
Всех синильг и всех Аксиний,
И что сватался к той Сине
Аж какой-то... абиссинец.
Я не против абиссинца,
Но обидно за подсинцев,
За тесинцев, большеинцев
И за прочих минусинцев...
Потускнеет Минусинье
Без дочери Ефросиньи.
...Ныне вновь по Минусинью
Мы с друзьями колесили:
Меж Ничкой, Сизой, Подсиним,
По увалам, по низинам,
Вдоль боров, берёз, осинок,
Обступивших тракт Усинский,
Мимо кур, гусят с гусыней,
Красных дев—ничкинок, инек,
И сизинок, и подсинек—
Ефросиний и аксиний...
И всё опять превозносили:
«Ах, Минусинье, Минусинье!»



Марина Юницкая
Зеркало Джабы Астиани

Милая девочка, ученица третьего класса,
Макая хлеб в варенье,
Спросила вдруг:
— А сколько стоило раньше мясо?
Меня охватило подобье смятения,
И я попросила у себя уточнения:
А когда это «раньше»?
Раньше чего?
Когда я была в третьем классе
(говорят, что тогда не было коррупции),
Так вот тогда, если говорили «раньше»,
То имели в виду—до революции.
А потом говорили—до войны.
А потом—после войны,
Имея в виду ту, Великую, четырёхлетнюю.
А потом пошли многолетние:
Десять лет Афгана,
Десять лет Чечни
(А может, будет и сто),
Но цены уже не сравнивают,
Потому что не знают, за что
Там страдают и погибают:
Не Родину же там отстаивают...

Зеркало Джабы Астиани

В последний раз она тогда стояла
Вот в этой комнате
У зеркала крутого,
Пушистой кисточкой и чёрной тушью,
Печаль глазам умело придавая.
Но вдруг слеза,
Горячая, большая,
Испортила картину той печали—
Печали, нарисованной умело,—
Простой печалью сердца самого.
Она встряхнулась, будто от удара,
Схватила сумку,
Бросилась к дверям
И закричала жалобно и строго:
— Я ухожу!
Не смей за мной ходить!
...Вернулся он.
Взял по привычке книгу,
Но слов не понял.
Зеркало сияло,
А в нём опять, опять она стояла,
Но рядом с ней
Не поместился он.

Мы, уходящие,
Назад глядящие,
Совсем ледящие,
Почти пропащие,
Не настоящие,
Мы—миражи.

Ни в чём не сходные,
Ни с чем не сродные,
Едва ль свободные,
Давно не годные,
Но сумасбродные,
Мы—муляжи.

Мы так несдержанны,
Мы так издержаны...
Да, мы повержены—
Не наш бьёт час.
Мы все отвержены,
Но что-то держит нас
И что-то светится
Из наших глаз.

Рабочая, крестьянская,
Как прежде, голодранская,
Несытая, немытая,
Забытая, убитая,
За что же ты, родная,
Несчастливая такая?
Гори, гори, обида.
Прекрасно всё для вида,
Прекрасно для отвода глаз,
Как это водится у нас.

Среди валов и волн, юля,
Уже почти без сил,
Плывёт лодочка без руля
С обрывками ветрил.

Она не выдержит вот-вот
Удар шальной волны
Она, ныряя, воду пьёт,
А волны—солонь.

И птица страшная фрегат
Над лодочкой парит,
И тень от крыльев, как рога,
Вот-вот пронзит зенит...



Нина Измайлова
МОЛИТВА ЛИСИЦЫ

108

Нина Измайлова
 Молитва лисицы

Осенней ночью

Во мраке осеннем не видно ни зги—
 Затянуты окна дождём...
 Но... дремлет собака у правой ноги,
 А кошка—за левым плечом.

Мурлыча, она коготками плетёт
 Незримого кружева свет—
 Собака сквозь дрему тихонько вздохнёт,
 Как будто бы кошке в ответ.

По диагонали от пят до виска
 Сквозь сердце струится тепло,
 И тает, и тает ночная тоска
 Осеннему мраку назло.

Когда я умру

Когда я умру, непременно воскресну—
 не ждите меня ни в раю, ни в аду.
 Я буду медведем скитаться по лесу,
 волчицей степной по оврагам пройду.
 А может быть, выгнув блестящую спину,
 в морские глубины с улыбкой нырну—
 и радостно встретят собратья-дельфины
 родную, заблудшую в людях сестру...

И кем я ни буду—
 змеёй или рысью,
 орлом или мышью, жирафом, слонком—
 мне только бы
 справиться с главной мыслью,
 о чём я мечтала в обличье людском:
 рычаньем, шипением, клёкотом, писком
 над степью, над лесом, над поймами рек
 взлетит моя весть
 об опасности близкой,
 названье которой одно— *человек!*

Ноздрями нащупав отравленный запах
 гордыни и алчности,
 злобы и лжи,
 зверям объясню, как на пальцах,
 на лапах:
 спасайся, беги, затаись и лежи!
 Капканы и ямы, облава, охота
 да минут, зверьё моё милое, вас...
 И буду я счастлива, зная:
 кого-то
 пророческий оклик
 от гибели спас.

О любви

Срывая с души позолоту и копать,—
 как сладко и просто!
 Без лоска и маски, раскинув объятия,
 с любовью взывать: где вы, милые братья,
 где, нежные сёстры?

Но всяк усмехнётся и посторонится,
 главою качая.
 Ему всё едино—любовь или похоть—
 скорей предпочтёт позолоту и копать,
 с собою сличая.

Вековая печаль

Плачет Ярославна
 на стенах Путивля,
 плачет и горюет:
 Возвратись, мой ладо!

Минули столетья—
 на Руси всё то же—
 горько бабы плачут:
 Возвратись, мой милый!
 Возвратись с гражданской,
 возвратись с Великой,
 возвратись с Афгана,
 возвратись из Таджа,
 из Чечни горючей,
 названной конфликтом,—
 возвратись весёлым,
 добрым, невредимым.

Чтоб жену покоить,
 чтоб ласкать детишек,
 чтобы мать утешить,
 отереть ей слёзы,
 чтоб отца продолжить
 в том, что не успел он,
 чтобы дом построить,
 чтобы сад взлелеять...

Милый мой защитник,
 возвращайся с миром.
 Защитил Отчизну—защити меня ты!
 Огради от трудностей
 этой сложной жизни—
 и тебе я молча в ноги поклонюсь.

Молитва лисицы

Послушай, охотник, Ты—Бог! Я—простая лисица,
Одна из немногих, что выжили прошлой зимой,
И буду Тебя неустанно просить и молиться,
Чтоб Ты не гонялся с собаками нынче за мной.

Мой лес поредел, но нашла я себе за пригорком
Уютное место—не сразу его разглядишь!
Построила дом, а по-вашему, вырыла норку,
Лисят родила и поймала им первую мышь.

Охотник, Ты—Бог, и Жена Твоя—тоже Богиня,
Одетая в бархат, в шелка, с бриллиантом кольцо...
Неужто мой сын, мой любимый лисёнок, погибнет,
Чтоб мехом пушистым её обрамлялось лицо?

Гринпис далеко, и не сможет за нас заступиться—
Помилуй, Охотник, меня и малюток-лисят!
Земля велика, только где нам спастись и укрыться,
Когда милосердия люди иметь не хотят?

Исчезнут леса, обмелеют ручьи и озёра,
Порвётся с разумной природой незримая нить—
И полчища крыс и мышей завоюют Твой Город,
И некому будет семейство Твоё защитить.

Баланс опрокинется. Всякое может случиться—
Богиня, которую Ты ублажал и ласкал,
Однажды посмотрит в глаза тебе серой волчицей
И явит внезапно надменный звериный оскал.

Сорок семь

Высокий каблучок, до пяток шуба кунья,
колечко и колье, удачный макияж...
В работе ты строга,
с друзьями—хохотунья,
и сорок семь твоих тебе никак не дашь.

Но с некоторых пор тебе тревожно спится—
в двенадцать по ночам,
сжимаясь от тоски,
ты чувствуешь во тьме,
как шуба шевелится
и, падая, стучат по полу коготки...

Неужто это въявь?
Быть может, только снится?
Как будто им дано мгновение на сбор,
проворны и легки,
куница за куницей
взлетают на постель, в лицо уставив взор.

Они пришли гурьбой,
превозмогая полночь,
сквозь шорохи листвы,
сквозь синь таёжных рек,
тоской звериных душ
стремясь твою наполнить,
надеясь, что в тебе проснётся человек.

Наутро, как всегда,
из дома выйдешь гордо,
забыв ночной кошмар, нимало не скорбя,
Но полночь... настает!
И подступают к горлу
все сорок семь куниц,
убитых для тебя!..

Комариная ночь

Под крышей душно.
Одеяло
забрав с собой, спускаюсь в сад.
А там уже готовят жало—
со всех сторон, звеня, грозят.

Вооружившись веткой длинной,
как тот дикарь
с кольцом в носу,
я этой пляске комариной
урон жестокий нанесу.

Что, камарилья,
не хотела
вкусать ночных цветов нектар,
тебе подай живое тело?
Так получай же
мой удар!

Но что такое?
Тёплый ветер
развевал всех моих врагов...
И лунный шар,
спокойно светел,
раздвинул шторы облаков.

Ложась на шёлковые травы,
струится
серебристый свет
и вырезает для забавы
из тьмы
деревьев силуэт.

Чуть задержался на окошке,
потом
нырнул в бадью с водой,
вот расплескался звёздной стёжкой
и манит,
манит за собой...

Поглощена очарованием,
плыву
сквозь лунные миры...
И упускают со стенаньем
ночную жертву
комары!

Нет ничего смелее,
Нет ничего нежней,
Чем эта малая малость—
Сердце в груди моей.
Мне бы уткнуться оземь,
Мне б о тебе рыдать—
Мечет бледная осень
Неба тугую прядь,
Ветром промокшим гонит
Снег по моей земле.
Там проплывают кони,
Всадник маячит в седле,
Стонет в ночи собака,
Белый лёд по степи...

Только не улыбайся...
Не улыбайся, спи.

Песня гусеньке

Гусенька мой, гусенька,
принеси мне пёрышко!
Знал бы ты, как грустно мне
на чужой сторонushке.
Здесь старушки сирые,
старички убогие,
по сугробам рыскают
волки длинноногие,
темнота за окнами
чёрным дымом стелется,
дверь скрипит и хлопает,
огонёк не теплится...

На родной сторонushке—
солнце незакатное!
Брось мне с неба пёрышко—
полечу обратно я!
Там шелкова травушка,
там цветёт чабрец,
там живые матушка,
братик и отец...

Дуну я на пёрышко
и легко порхну,
как в цветное стёклышко,
в давнюю весну.

—
Меня позвали—я пришла.
Но вот последняя страница,
а значит, нам пора проститься,
И в ожидании душа
трепещет.
Что в моих листках
найдёт себе читатель праздный?
Кого-то рифмой несуразной
кольнуло.
Кто-то впопыхах
вопит: «Куда глядит цензура?
От баб—одна макулатура!»
А кто-то книжку полистал
и вообще читать не стал.

Но каждый, кто хоть что-то пишет,
единственным желаньем дышит,
одна мечта его влечёт,
что кто-нибудь стихи прочтёт,
как драгоценное посланье,
как откровенное признание,
и кто-то, голову клоня,
прошепчет: «Это про меня»...

ДиН стихи

Надежда Папоркова СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТИК

—
В старый дворик осенней тишью
Выйдешь вечером из маршрутки:
Всё, как в детских забытых книжках:
На скамейке остался заяц...
Старый дворник собрал в ладони
Горсть последних кленовых листьев,
Он был нежен и осторожен,
И смотрел на них полминутки,
Словно жизнь их продлить пытаешь.
Так же смотрит Господь, быть может,
На живущих в невечном доме,
Только взгляд Его вечность длится.

Но потеряно для надежды
Столько листьев и звёзд—о, сколько
Сорвалось, не ответив взгляду,
Устремлённому к ним так нежно...
Чем напраснее, тем бездонней
Боль разлуки с Тобой. Скажи мне,
Пожалеешь ли нас, простишь ли,
Соберёшь ли разбитых жизнью
Больно ранившие осколки
В милосердном тепле ладоней,
Проходя по земному саду
Поздней ночью, осенней тишью...

—
В троллейбусе—мысли, как паутинки:
«А сердцу не нужно быть в списке выдающих,
Ему достаточно невидимки...»
Так весело—кажется, через миг ещё
Счастливы билетик кондуктор вытащит,
И съест... На стёклах дрожат дождинки.

Нам зябко без снега, тепло без солнца.
Собака с ушами большими, рыжими
Так мудро посмотрит и улыбнётся
Той девочке дикой, как мальчик, стриженной,

Которая вдруг проступила странно
Сквозь девушку ларинского обличья...
Три века на сердце всё та же рана
И к песням всё та же привычка птичья.

Три века иль триста веков—неважно.
Пергамент, папирус иль список выдающих,
Где нет меня, где я была однажды...
Где есть ты всегда... не прошёл и миг ещё—
Пришёл контролёр, все билеты вытащил,
И съел. Чтобы зайцем остался каждый.

Реликт, Юрий Беликов Леонард Постников живущий у горы



В последнее время он не часто показывается на публике—его ничем уже не удивить, а вот он в свои 82 удивлять продолжает. Постникова можно увидеть лишь случайно, как лох-несское чудовище над поверхностью мифического озера. Что, собственно, и произошло несколькими месяцами ранее, когда в Чусовской этнографический парк нагрянула экспедиция российских журналистов, изучающая «тупики и перспективы Горнозаводской цивилизации в XXI-ом веке». Один из её участников, Юрий Юдин, представлявший кемеровскую газету «Сибирский край», никогда до селе не лицезревший Постникова, выйдя из «Трапезной», где проходил «круглый стол», обомлел: — Да-а, реликт!

По верхней дороге («Трапезная» ниже) действительно проплыл призрак Леонарда—медленный и огромный. Но телевизионщики, сопровождавшие экспедицию, запечатлеть его не успели. Поэтому попросили меня, как одного из экспонатов «Музея писательских судеб» в постниковском парке, вызвать основателя уральского града Китежа и прилегающей к нему детско-юношеской спортшколы олимпийского резерва «Огонёк» на улицу—даже не для разговора перед телекамерой, а просто для зрелища—чтобы мы прошли с ним от одного домика к другому. Увидев Постникова, экспедиционщики радовались, как дети. Сам Леонард!..

Тут самое время хотя бы кратко очертить, что же такое этнографический парк Постникова.

Часовни, наполненные яркой живописью Павла Шардакова, повествующей о приращении Сибири Ермаком Тимофеевичем; кузня, дышащая, как доисторический ящер мехами, раздувающими огонь; торговая лавка с распахом товаров начала XX века; дом крестьянина-промысловика со всеми половичками, прялками, маслобойками, детской зыбкою и глинобитной печью; собрание деревянной игрушки; и собственно «Музей писательских судеб».

Он начинается на улице изящным и воздушным каркасом, скрепляющим макет аэроплана, на котором летал над Пермью один из первых русских лётчиков и уже известных в то время поэтов Василий Каменский.

А внутри домика—экспозиции, связанные с жизнью и творчеством Виктора Астафьева, Марии Корякиной-Астафьевой, Валентина Курбатова, Леонида Бородина, Бориса Черныха, Василя Стуса (последние три были заключёнными чувской политзоны), Юрия Влодова, запустившего когда-то в народ звонкое двустипшие «Прошла зима.

Настало лето. Спасибо Партии за это!» Да, и не забудьте чуть отбитый по переносью бюст Аркадия Гайдара, стоящий у входа в музей. Уже в новейшие времена Постников подобрал его на мусорном отвале и предоставил политическое убежище в своём этнографическом парке...

Десятки раз уже был свидетелем: неуклюжий гений Леонарда создал на берегу речки Архиповки нечто такое, что может называться по-разному—«улочкой русского сопротивления», «очагом для воспарения души», «прашой для перемещения из одного века в другой»,—но всякий раз заставляет задаться вопросом «Где я?!», как с истощением изумлением спросил саженный за безбилетный проезд на 136-м километре (где парк) один незадачливый пассажир.

— Леонард Дмитриевич, в этом году исполнилось 55 лет, как вы живёте у Арининой горы. Вас давно уже называют и Духом здешних мест, и Дедом, и Старцем. А вы пробовали «вынимать» себя из этой лесной седловины? Куда-то выезжать?

— Конечно, дурная мысль на сей счёт когда-нибудь да промелькнёт: расстроюсь, допустим, от каких-то несуразностей житейских, но ведь это—у каждого может случиться? Если уж на то пошло, то, по сути, я себя из этих мест «не вынимал», потому что это невозможно. Как-то, помню, выделили мне пультёвку на местный курорт Усть-Качка—выдержал там неделю, больше не смог. Одурил. Вернулся к Арининой горе. Не получается у меня отдыхать в общечеловеческом смысле. Да и не то что бы желания—возможности такой не было. Постоянная занятость. Требовалось присутствие здесь. За всю жизнь—ни одного выходного.

— Вот вы обмолвились: «вернулся к Арининой горе». Существует ли для вас какая-то тайна места, где вы живёте? К примеру, почему ваша гора называется Арининой?

— Старые большевики, которых я в Чусовом ещё застал, рассказывали, что на том месте, где мы поставили первый домик спортшколы, жила Арина. Из-под горы бил ключик с чистой ледяной водичей. Место лесистое, удобное для тайных революционных сходов. А проводил их, представь себе, не кто иной, как Александр Белобородов, рабочий Лысьвенского и Чусовского заводов, будущий царевбийца, который непосредственно в расстреле царской семьи не участвовал, но сыграл роль идеального вдохновителя. А может, из-под земли бил не ключик, а чистый спирт?.. И к Арине мужички хаживали по той причине, что была она женщиной в соку? Так это или не так, но Аринина гора осталась.



Леонард и «впавший в детство» Евгений Евтушенко

— Вы начали замысливать свой парк в прошлом веке и в другой стране, при ином менталитете, сейчас едва ли не полностью утраченном, и сегодня кажется, что, наверное, начинать этот парк в ту пору было почти невозможно?

— Был абсолютно нормальный менталитет. В том веке и в другой стране, были, между прочим, приличные возможности и для образования, и для культуры, и для спорта. Поэтому, как бы сегодня ни хаяли прошлую власть по поводу того, что наличествовала сплошная казёнщина, мне удалось создать достойную детско-юношескую спортшколу олимпийского резерва под крылом людей думающих и разумно относящихся к сохранению собственной истории. А если бы я что-то затеял в этом веке при нынешнем, с позволения сказать, государстве, уверен: у меня ничего бы не получилось. — Однако помню, как вы рассказывали, что, когда привезли из деревни Мохнутино на территорию школы первый экспонат будущего этнографического парка — «Часовню похода Ермака», некоторые представители горкомовской знати кричали в телефонную трубку: «Убери кресты-то! Дети смотрят!»

— Да, сейчас эти «деятели» стали едва ли не самыми набожными людьми в Чусовом. И, если бы не первый секретарь Пермского обкома КПСС Борис Всеволодович Коноплёв (очевидно, сказались крестьянские корни), который, приехав на «Огонёк», вынес вердикт: «Я надеюсь, Леонард Дмитриевич, ты на этом не остановишься?», то неизвестно, как бы развивался будущий парк. Но Всеволодович успокоил всех. А палки в колёса вставляли, в основном, шестёрки.

— Какую роль играет в вашей жизни случай? Скажем, не выехали бы вы со своим другом, Героем Соцтруда Григорием Петуховым на природу, не распили бы бутылку водки, не обернулись бы и не увидели часовню, может быть, сегодня никакого парка у Аришиной горы и не было?

— Для красоты нашего разговора приведу слова, вычитанные мной у Метерлинка: «...на всех путях случая вы встретите только самого себя. Если этим вечером по дороге отправится Иуда, то он встретит Иуду, но если дверь откроет Сократ, он встретит на пороге настоящего Сократа...» То есть, обернувшись, в один прекрасный миг я должен был увидеть эту часовню, с которой и начался отчёт

этнографического парка. К тому же, если вспомнить годы, проведённые мной на посту директора спортшколы, мы вынуждены были заниматься патриотической подготовкой. Наши воспитанники начали ездить от «А» до «Я» — от Америки до Японии. И мне в первую очередь хотелось, чтобы ребята, оказавшись за рубежом, не округляли глаза: «Ах, как здесь красиво!» Потому что у нас есть тоже что-то своё, необычное. Поэтому я начал с того, что главный корпус нашей школы обрёл запоминающуюся архитектуру. И то, что сегодня называется этнографическим парком, это не от увлечения возникло, а от необходимости.

— Когда-то я сравнил ваши владения с государством в государстве. Вас ведь до сей поры называют человеком неудобным. Сколько раз слышал эту оговорку из уст разного рода начальников. Так или иначе, с вами считаются. По крайней мере, когда для местного начальства наступает выборная жатва, Постникова пробуют перетянуть на ту или иную сторону, чтобы воспользоваться его авторитетом. Насколько возможно в России быть государством в государстве?

— Возможно, но ничего хорошего в этом нет. Потому что, если бы я умел уживаться с властью имущими, независимо — коммунисты они или демократы, я какие-то проблемы, может быть, разрешал бы проще. А тут, даже ради успеха в собственном деле, я просто не могу идти на компромисс. Предположим, жил бы я с нынешним музейным начальством бывшей политзоны «Пермь-36» дружно, наверное, всё бы было по-другому. Оттуда ведь ко мне навевывались и предлагали прямым текстом: мол, давай мы тебе поможем.

— А вы что отвечали?

— Ну не будешь же ты матюки записывать?.. Зато я скажу, кто в последнее время к нам приезжал «от них»: Александр Городницкий, автор песни «Атланты держат небо...», уполномоченный по правам человека при президенте России Владимир Лукин и известная телевизионная феминистка Мария Арбатова. Посмотрели они на наш парк и едва ли не в голос воскликнули: «И зачем мы туда, в эту «Пермь-36», ездили — нам надо было сразу сюда ехать!» Это, между прочим, правозащитники сказали! Потому что я ведь красоту России хочу показать, а не её убожество.

— На своём веку вы видали разного рода начальников, больших и маленьких. А были ли в Чусовом таковые, про каких не грех добрым словом вспомнить?

— Хохолков, первый секретарь горкома партии. И лучшей характеристики, чем из уст Виктора Петровича Астафьева, ему не дашь: «Много, очень много сделал Владимир Михайлович для города Чусового! А в остальном городское начальство было шушера на шушере». Простите меня, но под этими словами я могу только подписаться. Иногда ведь в общении с местным начальством до анекдота доходит. Евгений Евтушенко, будучи у нас, заметил, что степень цивилизации измеряется, в том числе, наличием или отсутствием в данной местности, извините, тёплого общественного сортира. Я два года назад, зная, что в условиях нашего этнографического парка этот вопрос

труднопробиваемый в принципе, решил на сей счёт обратиться с соответствующим письмом в местную Думу. Написал об этом нашему музейному экспонату — известному литературному критику, академику и почётному гражданину Чусового Валентину Курбатову. Тот в ответном послании дружески поиздевался: «Надо же, такой вопрос — и в Думу!..» И вот через два года приходит ответ одного из глав нашего Чусовского поселения: «Ваш вопрос будет рассмотрен в 2010-м году». Я не удержался и послал этот ответ Валентину Яковлевичу. Как известно, он — близкий человек к спикеру Совета Федерации Сергею Миронову. Может, в Совете Федерации теперь рассмотрят вопрос о возведении туалета в Чусовском этнографическом парке?

— *А нынешние чиновники из краевой администрации?.. От них-то какая-то помощь вашему парку есть? Они же всё равно сюда время от времени наезжают. В баньке попариться, оттянуться...*

— Да, как-то приезжал теперь уже бывший председатель краевого правительства Николай Бухвалов, тогда впервые посетивший наши пенаты. И в интервью газете «Чусовской рабочий» на вопрос, какие ваши впечатления-заключения-пожелания, обмолвился: «Дискотеки вам здесь не хватает!»

— *Сейчас в России этнографических музеев уже немало — например, в селе Слободском Кировской области, или в Малых Карелах, или в республиканских автономиях. Но когда я думаю о Постниках, то нередко задаюсь вопросом, насколько в вас самом предполагалось то, что в дальнейшем стало уникальным этнографическим парком? Иными словами, каковы генетические предпосылки обращения к русской истории и собирательству «Росси», которую мы потеряли», если вспомнить название фильма Станислава Говорухина?*

— Я — из глубоко крестьянской семьи. Хотя быт этот впитывал в сельской Нердве всего лишь лет до трёх, потому что мой папа быстро пошёл по партийной линии. Но впитанное во младенчестве, видимо, в нужный срок включилось в некую программу. А в папе моём было действительно что-то уникальное, если в области нашей не нашли ничего лучше, как поставить крестьянского парня директором Пермского театра оперы и балета! Таким образом, отец был одним из первых красных директоров храма Мельпомены. У меня память дырявая, а вот сестра моя рассказывала, как мы жили в центре Перми в доме, где раньше располагалась областная библиотека, в которой якобы бывал главный пастернаковский герой из «Доктора Живаго». Так вот, если тот перенесён туда по художественной надобности, то мы в этом доме в начале 30-х годов, представь себе, жили. Нижние пять окон — наши. И сестра вспоминала, как я, приехав в этот дом с бабушкой, посмотрел и сказал: «Бабушка, мне в этом доме не нравится, запрягай лошадь — поехали обратно!» Что это было, как не крестьянская закваска в маленьком углане?..

— *Чем, на ваш взгляд, этнографический парк отличается от собственно музея?*

— Ты правильно акценты расставляешь: с некоторых пор мы официально именуемся не музеем,

а этнографическим парком. Слава Богу, недоумил нас один добрый человек из краевого министерства культуры: «Называйтесь парком — к вам меньше привязываться будут!» Наш парк отличается от музея тем, что здесь можно зайти в любой дом, взять в руки любой экспонат, даже примерить, если речь об одежде, покрутить маслобойку, поиграть на старинном музыкальном инструменте. Для интереса можно вспомнить мой разговор с одним из чиновных посланцев «от культуры», который приехал к нам на чёрной Волге. Ат знай наших, молодой такой, выпускник университета. Представился: мол, ему поручили нас проверить. Стал воспитывать: дескать, главное в музейной работе, чтобы всё было учтено. Для этого, мол, музеи и существуют. Я послушал его и говорю: «А вот Гейченко как-то сказал: «Там где главное — учёт, там кончается музей». Он вытаращил глаза: «А кто такой Гейченко?» Тут ни убавить, ни прибавить.

— *Ваш парк известен далеко за пределами края и страны. О нём высоко отзывались и любили здесь бывать такие разные личности, как писатель Виктор Астафьев, поэт Евгений Евтушенко, народная певица России Татьяна Петрова, исполнитель русских народных песен Геннадий Заволокин — всех не перечислишь. Вообще, что понимает человек, если ему совсем память не отшибло, оказавшись в крестьянском доме, кузне, старинной торговой лавке или часовне Ермака?*

— Ну, допустим, вот какую надпись оставил Виктор Петрович Астафьев, подарив мне ещё в 1989-м году свой «Последний поклон»: «Леонарду Постникову — патриоту-чусовлянину от Енисейского налива поклон и благодарение за всё то доброе, что он делает для людей и истории нашей разграбленной и исковерканной...»

То, что чувствовали и в связи с этим говорили названные тобой люди, предположить несложно, но меня, в особенности, удивила восторженность генерала Геннадия Зайцева, руководившего некогда легендарным подразделением «Альфа». Он зашёл в крестьянский дом и воскликнул: «Здорово! Даже я бы так не смог». «Ни хрена себе, — думаю, — чего ты в сельском укладе понимаешь?» Но оказалось, что у генерала сугубо крестьянские корни. А родом он из нашей чусовской деревни Антыбары.

— *Вы как-то посетовали, что в последнее время экскурсанты не заходят в литературную часть парка — в «Музей писательских судеб». Без всякого интереса шествуют мимо портрета Астафьева и его эпитафии о том, что «я пришёл в мир добрый, родной, и любил его безмерно. Ухожу из мира чужого, злобного, порочного. Мне нечего сказать Вам на прощанье». Нет, чтобы задуматься над этими словами!.. Как вы считаете, с чем это связано — нынешнее равнодушие к печатному слову?*

— Это не моё открытие. Это — наша российская болезнь: полная апатия к печатному слову вообще. Я обычно смотрю и думаю: «Кто-то всё-таки, может, остановится? Там надпись-то — два слова прочитайте». Нет, идут, опустив голову. Причём — даже работники культуры. Зачем, спрашивается,



Основатель этнографического парка
с ещё не конфискованным улемётом «Максим»

приходят? Увидят памятник Ленину, стоящий в уголке, посвящённом маргеновцам, хихикнут: «А-а, Вова! И ты здесь?» Или есть у нас репродукция известной картины Перова «Охотники на привале» с полым пространством вместо голов. Вот тут, где надо головы свои просовывать и, фоткаясь, кривляться, — они могут плясать и кричать, и визжать до упаду.

— Помните, когда-то Чингиз Айтматов в своём романе «Плаха» применил выражение «манкурты»? Это несчастные люди, не помнящие своих корней. А в нашем случае это наглядный пример того, какие всходы может дать тотальный общественный крен в сторону развлечений.

— Власть имущим очень даже нужны эти самые крены. Я как-то ночью включил телевизор: симпатичная девушка-ведущая программы и напротив неё мужик-сексолог. И вот этот самый хмырь объясняет девушке, как правильно увеличить член. Она подзывает из числа зрителей свою сверстницу и спрашивает: «Как вы считаете, какой, по вашему мнению, должен быть член? Та отсекает руками в воздухе: «А вот такой!» Ну ладно. Ночь на дворе. Включаю телевизор днём. Смотрю: повторяют ту же самую программу! Поэтому что им слова Астафьева, тем более сказанные не в бровь, а в глаз: «Ухожу из мира чужого, злого, порочного...» Разве не прав Виктор Петрович? Вот он, тот самый «порочный мир», не сползающий с телеэкранов и давно уже пропавший по ту сторону «Останкино»! Это делается специально и планомерно, чтобы отогнать наш народ от здравых мыслей. Потому что, если он посмотрит на Россию трезво, то вспомнит наконец своих отцов, дедов и прадедов, которые наверняка представляли себе не таким наше «светлое будущее».

— У вас на некоторых домиках в парке есть уведомления, за которыми чувствуется постниковская рука: «Мы приветствуем русские песни и классические мелодии. Но! К сожалению, встречаются среди Вас любители «музыки» в ритме работающей пилорамы. Подобная псевдомузыка на территории нашего музея недопустима». Насколько придерживаются посетители парка и его гости этого предписания?

— Кто-то придерживается, а кто-то и нет. Иногда говорят про свои копейки, которые они нам платят, и поэтому им ничего не докажешь — они, дескать, приехали оттянуться по полной, так, как их научило родимое телевидение. Подобно тому, как сейчас привилось неприятие к печатному слову, так и с музыкой: этим «звукам пилорамы» уже «все возрасты покорны». Бывшие пионеры пройдут — тра-та-та, тах-тах-тах-тах!.. Пенсионеры — то же самое. Никто давно уже не поёт не то что русские песни, а просто — мелодичные. Какой там джаз — шансон хотя бы включили! Нет, телесами трясут — тух-тух, тух-тух. На этом фоне гориллы смотрятся благороднее.

— Но, допустим, вы через усилитель включаете у себя в парке песни Дмитрия Хворостовского, а захожу я в ваш кабинет — для внутреннего пользования поёт Вилли Токарев. Ох, и двойствен русский человек!..

— Я же один сижу — мне скучно. Это — во-первых. А во-вторых, Токарев, что ни говори, — прекрасный исполнитель шансона. Что ни песня, то — мелодия, к тому же — жизнерадостная. Так что я своих принципов по отношению к «псевдомузыке в ритме работающей пилорамы» не нарушаю.

— Ваш парк за более чем 25-летнюю историю посетило немало иностранцев. Чем, на ваш взгляд, отличается их восприятие от нашего?

— У зарубежных экскурсантов, особенно у их пенсионеров, очевидно, другие бытовые условия, поэтому иностранных посетителей отличает, как правило, здоровое любопытство. Чего не скажешь о наших. Однажды парк навестили американские евреи, и меня удивило, как им было интересно залезть в баню по-чёрному, всё там потрогать и запечатлеть. Наши посетители — от молодых до старых — близко не подойдут. Начинаются ухмылочки: типа сажно, грязно, да мы таких бань — видали-перевидали! Как-то в крестьянский дом вошла японская делегация, увешанная фотоаппаратами. Восторженное и уважительное плем. Оставили отзыв в альбоме для посетителей: «Нам очень понравилось. И, прежде всего, — отношение к собственной национальной культуре. Мы, японцы, так же относимся к своей и когда видим, что люди другой национальности проявляют по отношению к собственной культуре то же самое, нас это очень трогает».

— Чусовской парк в прямом смысле этого слова прошёл огонь, воду и медные трубы. Пожары, наводнения, кражи, изъятие экспонатов. Что за история произошла у вас с конфискацией улемёта «Максим»?

— Это было в начале «лихих 90-х». Некие ребята, уже имевшие судимости, видимо, не совсем трезвые, налетели на нашу экспозицию, посвящённую Великой Отечественной. В своё время народный депутат по РСФСР, начальник политуправления Уральского военного округа, генерал-лейтенант Олег Зинченко, когда побывал у нас, тут же спросил: «Чем помочь?» Я ответил: «Помогите мне с вооружением». — «А что надо?» Я разве что только танк на радостях не попросил, а так — пушку,

пулемёт, автомат, винтовку и пулемёт «Максим» — всё приволокли!

Но в России же житьё-бытьё движется волнами. И вот пошла волна учёта оружия. И когда эти пацаны утащили у нас разобранный автомат и «нерабочую» винтовку, к нам явился капитан милиции с подчинёнными: «Мне приказано изъять у вас пулемёт «Максим». Говорю: «У него даже ствола-то нет. Вырезан, там — один кожух. Механизм не работает». — «Всё равно это оружие!» Конфисковали. Я пошёл к нашему тогдашнему мэру Бурьянову. «Скажи, — говорю, — этим стражам правопорядка, что они ерундой занимаются!» Он: «Ты понимаешь, какая обстановка!.. Война в Чечне. Подождём других — лучших — времён...»

Я взял и позвонил в Пермь своим знакомым, имеющим связь с гувд. Звонок оттуда: «Чего они там совсем, обалдели?! Заберите пулемёт обратно!..» Я думаю: раз они забрали, пусть они и привезут. Говорю нашему начальнику милиции: «Так, мол, и так, ваше руководство сказало...» Жду-пожду — нет пулемёта. Приехал в милицию сам. Там «утешили»: «Мы пулемёт сдали в металлолом!..» Кинулся выяснять дальше: «Отдали в переплавку». А потом я узнал, что наш музейный «Максим» перекочевал на дачу одного из самых известных в Пермском крае людей. Ныне он возглавляет одно из прибыльных министерств России. И якобы даже демонстрировал пулемёт журналистам...

— *Всё-таки Маяковский далеко глядел: «Моя милиция меня бережёт». Вот она и бережёт «самых известных и самых прибыльных».*

— Тогда параллельно с этим вспоминается ещё одна история. Поднялась очередная волна учёта всех картин и икон, представляющих художественную ценность. Я говорю: «У нас икон старинных нет. Один новодел». Повёл прибывших милиционеров в храм. «Вот, смотрите: только что написаны местным художником». — «Это что за двери?» — спрашивает некий чин, указав на царские врата. Поясняю: «Алтарь. Туда ни в коем случае заходить нельзя». У них на руках — амбарная книга. С милиционерами — девица, бухгалтер вытрезвителя. И только вышел я на пять минут из церкви, обратно захожу: царские врата открыты, за престолом (самым священным местом в храме!) сидит эта самая девица и что-то вписывает в свою амбарную книгу. Чем не булгаковщина? Потом через пару недель приезжает к нам отец Савватий из монастыря. «У вас же, чувствую, кто-то был в алтаре?! Как же так? Церковь может сгореть!..»

И — сгорела. Но до этого я позвонил нашему начальнику милиции: «Ваши дурацкие сделали то, что нельзя делать ни в коем случае, — зашли в алтарь и бабу туда затащили! Нужно немедленно переосвятить храм. Везите священника». С того конца провода доносится: «А у меня бензина нет». — *Вместо сгоревшей церкви вы построили новый, красивый храм Святого Георгия. Двери, я вижу, в него, как правило, всегда открыты. При этом вы сами рассказали, что пару раз из него уже крали иконы. Вы вешаете на место прежней новую, прикручиваете на сей раз шурупами — всё равно, вырывают «с мясом». Но двери в храм не закрываете.*



Вход в храм св. Георгия в постниковском парке

Это своего рода — красноречивая фигура воспитания?

— Я считаю, что только больной человек, в данном случае, наркоман, может украсть в храме икону. В конце концов, если вспомнить героиню пьесы Вампилова «Прошлым летом в Чулимске» Валентину, которая едва ли не каждый день прибавала доску в заборе, чтобы люди не лазали в дыру, то, согласись: наверное, она это делала не по собственной придури, а в твёрдой уверенности, что рано или поздно люди станут людьми, а не ужами, которым надо куда-либо протиснуться. — *А помните, как мы поехали к отцу Савватию в Верхне-Чусовские городки и вы там в его церкви приняли обряд крещения? Вам тогда исполнилось лет семьдесят. Не больше.*

— Да, и поэт Юрий Беликов, выходит, который меня моложе лет на тридцать, стал моим крёстным отцом.

— *С той поры вы — верующий человек...*

— Не надо преувеличивать. Я воспитан при доброй советской власти и таких, как я, трудно переломить, чтобы в них пробудилась истинная вера. Поэтому всё то, что связано с православием, я воспринял очень положительно и серьёзно, но глубоко проникнуть в это дело мне до сих пор не удаётся. Я каждый день хожу в храм, обязательно перекрещусь, но на этом всё и заканчивается — наизусть я не знаю ни одной молитвы. Мне скрывать нечего — я чувствую себя абсолютно советским человеком. Если бы меня, как Чапаева, спросили: «Ты — за большевиков али за коммунистов?» — я бы сказал, что за большевиков, но никак не за последних коммунистов, тем более, — комсомольцев. Это они угробили великую страну. Жил у меня один хороший знакомый на Красном посёлке. У этого старика был самый лучший дом и хозяйство. Поэтому его выбрали квартальным и он находился в постоянной связи с властями. А поскольку любил своих коров, и гусей, которых пас сам и приводил к нам на «Огонёк», где много всякого разнотравья, мы частенько встречались и разговаривали. «Товарищ директор, — говорил старичок, — я часто бываю в исполкоме — смотрю, какие там порядки, вникаю во всё. И, знаешь, что я тебе скажу: вот я прожил жизнь — помню и Гражданскую, и раскулачивание, но всё равно: лучше советской власти ничего нет. Одна беда — дуракам досталась».



Мария Шлёнская Китайские фениксы на красноярской земле

116

Мария Шлёнская
Китайские фениксы на красноярской земле

Вышло так, что во время чудовищного сычуаньского землетрясения, за несколько минут унёсшего жизни тысяч китайских детей, я была в Китае. И, хотя Харбина, в университете которого я в то время училась, катастрофа не коснулась, мне, как и другим многочисленным иностранным студентам, пришлось вместе с китайским народом ощутить её трагичность. В комнатах нашего общежития не было телевизоров, но мы ежедневно получали все новости о катастрофе от наших преподавателей — на целую неделю наши занятия в университете вышли из обычного русла, и вместо того чтобы читать учебники, мы читали на уроках статьи из китайских газет, повествующие об ужасах стихии, а вместо того, чтобы объяснять грамматику, преподаватели рассказывали нам очередные трагические подробности.

Наиболее сильное и тягостное впечатление произвёл на меня рассказ госпожи Чен — это старшая, наиболее опытная из всех наших преподавателей, в то время руководившая нашим учебным процессом, необычайно добрая и необычайно эмоциональная пожилая женщина. Рассказывая нам об ужасах землетрясения, она несколько раз расплакалась — и, наверное, тяжелейшее эмоциональное напряжение, мгновенно нам передавшееся, оказало на нас даже больший эффект, чем страшное содержание её речи.

Наша небольшая группа состояла из трёх корейских студенток и нескольких русских. И когда госпожа Чен перешла к рассказу о том, что среди спасательных команд, прибывших из разных стран на место землетрясения для того, чтобы извлекать пострадавших китайцев из-под завалов, были команды из России и Южной Кореи, она со слезами поблагодарила нас, как представителей русского народа, и нам поклонилась, а затем таким же образом выразила благодарность Кореи. Меня одновременно растрогал и смутил её страстный порыв. В китайцах очень сильно чувство сплочённости, каждый из них ясно осознаёт себя частью целого, частью собственного народа. Это отчётливо ощущалось и после трагического землетрясения, когда китайский народ всеми силами поддерживал пострадавших — в фонд помощи потерпевшим бедствие огромные суммы жертвовались китайскими знаменитостями, многочисленными представителями китайских диаспор со всех уголков света; огромное количество китайских студентов также жертвовали деньги — понемногу, кто сколько мог. Китайцы ощущают себя народом. Потому-то наш уважаемый пожилой преподаватель так ясно видела и в нас, трёх или четырёх

двадцатилетних русских студентках, представителей нашего народа.

То, что китайским детям из пострадавших от землетрясения провинций был обеспечен отдых на территории России — по-моему, блестящий шаг нашего правительства. Не затрагивая политику, можно сказать, что это принесло радость пятистам детям, хоть сколько-нибудь сгладило эмоциональное потрясение, полученное ими во время трагедии, неимоверно расширило их кругозор, подарило их детскому сознанию такие богатые впечатления, какие среднестатистическому китайскому ребёнку и не снились — большинство детей приехало из деревень, и многие за свою недолгую жизнь ещё не видели больших городов, не летали на самолётах, а некоторые даже фильмов не смотрели. Хотя наших детишек вряд ли можно назвать среднестатистическими — отбор вёлся строго, и почти каждый из приехавших детей — лучший ученик своей школы, или же маленький герой, во время землетрясения помогавший спасать людей.

Как и девять других студентов нашего факультета, я устроилась работать переводчиком при китайской делегации из провинции Ганьсу. Эта делегация состояла из девяноста детей и десяти — пятнадцати взрослых: министра, сопровождавших детей преподавателей, переводчиков, врачей, журналистов китайских газет и телевидения и т. д. Вопросы, связанные с формальностями, размещением, отдыхом, времяпровождением детей, помимо руководящих лиц, решали пять организаторов из Дворца пионеров. Мы же, переводчики, должны были выступать как помощники этих организаторов: с помощью нашего китайского помогать реализовывать запланированные ими мероприятия, осуществлять необходимое общение с детьми, помогать детям решать какие-либо бытовые вопросы. Я была счастлива возможности работать с детьми — на тот момент я только вернулась из Китая, и, скучая по Поднебесной и оставшихся там друзьях, я была рада любой возможности общаться с китайцами и практиковать язык. Признаюсь, первоначально я побаивалась браться за это дело — на работу меня нанмали как переводчика, и слегка настораживала мысль о том, что я могу оказаться некомпетентной. Ведь всем известно, что на территории Китая распространено огромное количество диалектов, и нередко китайцы, проживающие в разных местностях, с трудом понимают друг друга. Чего же ожидать от нас, студентов, далеко не в совершенстве владеющих даже классическим пекинским диалектом,

и не имеющих никакого представления о диалектах провинции Ганьсу? Меня также беспокоил возраст детей — от десяти до восемнадцати: ожидая худшего, можно было предположить, что нашими подопечными окажутся подростки с трудным характером, как это обычно бывает с русскими подростками указанного возрастного диапазона. Словом, помимо возможности не понять детей и самой быть непонятой, я также боялась, что попросту не смогу их приручить. Но все опасения рассеялись, когда я впервые их увидела. В день прилёта китайской делегации для гостей нашего города прямо на выходе из аэропорта был организован торжественный приём: высокопоставленные лица произносили речи приветствия, с танцевальными номерами выступал «Орлёнок». Мы, переводчики, должны были встречать детей на выходе из терминала аэропорта. Я стояла совсем близко от дверей терминала, из которых должны были выходить дети, и поэтому на меня возложили обязанность говорить им по-китайски: «Добро пожаловать в Красноярск». И вот они наконец начали выходить — парами, держась за ручки, очень воспитанно и дисциплинированно, все как один в одинаковых спортивных костюмчиках, с одинаковыми рюкзаками на спине, с красным платочком наподобие пионерского галстука на шее, с миниатюрным флагом Китая в крошечной ручонке. Каждый из них приветствовал нас по-русски или по-английски, и лица их светились радостью, безмерным дружелюбием и любопытством, как светило бы лицо любого ребёнка, отправившегося в своё первое путешествие. Трудно определить, что я испытала при виде этих улыбающихся нам детишек — то была и радость, и облегчение, но при этом сердце особенно сжалось. Моё воображение рисовало несчастных, запуганных малюток, которых пришлось бы всё время утешать, подбадривать, пытаться развлечь. Но это были нормальные, весёлые дети, и ничто в тот момент не омрачало для них радость бытия, ликование в предчувствии новых открытий. И, глядя на эти счастливые лица, ещё тягостнее было осознавать, какое страшное бедствие им пришлось пережить ещё совсем недавно. Надо ли говорить, что я любила этих детей с первых минут и уже ничуть не переживала, что в нашем общении что-то может пойти не так.

Из тринадцати дней пребывания в России десять дети провели на базе отдыха «Салют», расположенной под городом Канском. С экологической точки зрения это прекрасное место для отдыха — небольшая территория «Салюта» со всех сторон окружена лесом, воздух свежий, вокруг тишина, не считая шума проезжающих время от времени поездов. К сожалению, видом сибирской тайги дети смогли вдоволь насладиться только из окна автобуса и из-за ограды, которой обнесена территория базы отдыха. Лишь однажды мы вывели их на прогулку в лес, но продлилась она менее часа, и детей мы вели строем по лесной дороге, фактически без остановок, не позволяя им прикоснуться ни к дереву, ни к травинке. Столь кратковременное общение с природой явно

не удовлетворило, а, наоборот, раздражило аппетит наших китайских друзей, но толпу из девяти сот детей вести дальше в лес, конечно, было бы рискованно.

База отдыха представляет собой два небольших двухэтажных здания, в одно из которых заселили мальчиков, а в другое — девочек. Условия очень простые, но достаточно комфортные — двухместные комнаты, с туалетом и раковиной в каждой; в обоих зданиях установлено по телевизору, специально для детей проведено китайское кабельное телевидение. Наряду с несколькими русскими поварами был нанят один китайский — однако то ли оборудование на кухне не было приспособлено для приготовления китайских блюд, то ли помощи одного повара-китайца русским коллегам оказалось недостаточно, но еду, которой нас кормили, не назовёшь ни китайской, ни вкусной. К приезду китайской делегации база отдыха была снабжена немалым количеством спортивного инвентаря, и дети имели возможность играть в настольный теннис, бадминтон, волейбол, баскетбол, составлять картинки из огромных пазлов, рисовать или выбирать другие виды развлечения. Однако времени на эти развлечения у них было не так уж много — нашими организаторами на каждый из тринадцати дней для детей была разработана очень насыщенная программа.

Для удобства работы с детьми их в зависимости от возраста разделили на шесть команд по пятнадцать человек в каждой: команда Драконов, Дельфинов, Тигров, Фениксов, Панд, Ласточек. Дети каждой команды нарисовали свою эмблему и придумали девиз. К каждой команде было приставлено по одному организатору и двум переводчикам, и в различного рода мероприятиях ребята, как правило, участвовали в составе этих команд. Мне достались Фениксы — отряд из девяти девочек и шести мальчиков. Им было по четырнадцать-пятнадцать лет, и тут уж я убедилась, что все опасения были напрасны: мои подопечные не имели ничего общего с русскими подростками, не было в них ни капризности, ни испорченности. Правда, боюсь, данные перемены в характере у них ещё впереди: китайские подростки по взрослости и самостоятельности сильно уступают русским, и в пятнадцать они совсем ещё дети, а никакие не подростки. Все мои детишки казались мне очень милыми, но, конечно, были и любимчики. Особенно я подружилась с тремя тибетцами — двумя девочками и мальчиком (они тибетцы по крови, но родились и выросли в провинции Ганьсу). Одна из девочек-тибеток, Жэнцин Джома, проявляла удивительные способности ко всему, за что ни бралась. Когда тибетские дети танцевали свой национальный танец, движения у неё получались гораздо плавнее, чем у других. Когда мы учили детей русскому, Жэнцин всё схватывала быстрее остальных, произношение у неё оказалось чётче всех, и она даже умела произносить звук «р», освоение которого представляет собой настоящую пытку для китайца, отважившегося изучать русский язык. А когда в день приезда на базу отдыха мы впервые собрали

детей по командам и поручили им придумать девизы своих команд, нашей Жэнцин быстрее, чем кому-либо другому, пришли в голову строки:

Золотой феникс,
Золотые надежды,
Пусть дружба России и Китая
Воссияет золотым светом!

Эти строки и стали нашим девизом—мы, Фениксы, с глубоким чувством патриотизма многократно повторяли их с первого дня в «Салюте» до самого расставания в аэропорту. Конечно, китайский вариант звучит гораздо красивее, поскольку в нём соблюдены рифма и ритм—но я, как ни мучилась, так и не смогла его складно перевести.

Что касается нашего мальчика-тибетца по имени Нола Джаси, то он, несомненно, самый темпераментный из всех членов команды и, пожалуй, был мне интереснее всех как личность. Этот ребёнок просто излучал радость и оптимизм—он всё время смеялся, шутил, а рассказывая что-либо, очень увлекался, начинал жестикулировать, говорить излишне быстро и эмоционально, так что уже другие принимались над ним подшучивать. Часто преувеличивал, хвастался, привирал, а завершив очередной свой страстный монолог, неизменно прибавлял: «Правда! Я тебя не обманываю!» Вообще, речь маленького тибетца всегда была очень красочной, разговаривая, он нередко употреблял фразеологизмы. Но за всеми забавными и ребяческими чертами этого мальчика крылась недетская твёрдость характера и трогательное благородство. Его хвастливость была лишь шуткой, в серьёзной же ситуации он всегда мог без тени зависти признать превосходство товарища над собой, да ещё искренне его хваливать. А однажды, когда его друг по команде выиграл соревнование, но по каким-то причинам не получил за него награду, Нола Джаси заставил меня идти к организатору и попытаться—таки этой награды.

Дни летели быстро, и каждый чем-то запомнился и нам, и детям. Был у нас день русской культуры, когда для детей работали различные мастерские, каждую из которых вели приезжавшие из Канска специалисты. Переводчики по очереди водили свои отряды по этим мастерским, где детей обучали русскому языку, лепке из глины, изготовлению из ниток и ткани традиционных русских кукол-закруток, игре в русскую лапту. Фольклористки познакомили их с русскими народными играми и развлечениями. Детям также дали посмотреть отрывки из советских мультфильмов и разучили с ними русские детские песенки—например, моим Фениксам досталась песня «Ничего на свете лучше нету», оказавшаяся для них несколько трудноватой. Был у нас и день китайской культуры, когда дети под нашим руководством, но следуя также собственной фантазии и прислушиваясь к советам китайских преподавателей, готовили номера, отличающиеся китайским национальным колоритом: пели китайские песни, танцевали танец дракона, уйгурский и тибетский танцы, танец фонариков. В тот день, как и в некоторые другие дни, посмотреть на представление



китайских детишек, да и просто пообщаться с ними приезжали русские дети. Иногда это были ребята, отдыхающие на какой-то другой базе отдыха, а иногда—дети из канского детдома. Интересно, что маленькие китайцы и русские очень тянулись друг к другу—хотя большее любопытство и стремление общаться проявляли всё же китайцы. Иногда они разговаривали через нас, переводчиков, но нередко и без нашей помощи находили общий язык: играли в мяч или во что-нибудь ещё, фотографировались, обменивались подарками. Был у нас также день спорта—моим Фениксам, а значит, и мне, он показался одним из самых весёлых дней, проведённых вместе. В этот день проводились соревнования по баскетболу и волейболу между китайскими детьми и вновь приезжавшими к нам на базу русскими, дети также играли в спортивные эстафеты, прыгали в классики, соревновались в прыжках в длину и набрасывании колец на колышки. А вечером состоялась церемония награждения—каждый получил грамоту за свои спортивные заслуги. И таким насыщенным был почти каждый день. Каждое утро дети начинали с зарядки (кстати, вставать в 6–7 часов утра китайцам, в отличие от русских, совсем не в тягость), затем детей строили в колонну и вели на завтрак. После завтрака, как правило, было часа два свободного времени на игры, а потом мы собирались по командам и начинались различные мероприятия. Порой казалось, что график для детей даже слишком плотный—недостаточно времени было для простого общения. Но, по крайней мере, скучать им с нами уж точно не пришлось.

На каждый день было запланировано что-то совершенно новое—всего и не перечислишь. Мы дважды возили детей на экскурсии—на Бородинский угольный разрез и в Канск, и, как мне показалось, зря—для детей эти места недостаточно зрелищны и многим было невыносимо скучно. А к чему дети, ко всеобщему удивлению, проявили невероятную страсть, так это к плетению браслетиков из бисера. Интересно, что мальчиков это занятие увлекло ничуть не меньше, чем девочек, и у многих мальчиков получалось даже лучше. А завершив своё творение, мальчики, ничуть не стесняясь, надевали браслетик на руку и носили, видимо, нисколько не считая его девчачьим атрибутом. Дети не только с азартом плели браслетики сами, но и заставляли нас, своих «старших сестёр», плести их им в подарок. Дошло до того, что пришлось купить весь бисер в канском магазине, но и тогда его оказалось недостаточно. Кстати, «старшими сёстрами» я нас назвала не случайно: именно так нас называли дети. Сначала меня звали то «Маша старшая сестра», то «Маша Учитель», но со временем формальности отпали, и я и вовсе превратилась в сестру. Стоит упомянуть, что однажды, день-таки на восьмой, китайские руководители, почему-то обеспокоенные тем, что отношения с детьми у нас сложились слишком дружные, настоятельно попросили нас соблюдать с детьми дистанцию: не обнимать, не брать на руки, разговаривать с ними поостроже, не как друзья с друзьями, но как преподаватели с учениками. Те же наставления в тот день от них получили и дети. Аргументом китайских руководителей стало то, что дети, слишком привязавшись к нам, получат ещё одну эмоциональную травму, навсегда с нами расставшись. А потому, по мнению китайцев, разумнее было бы детей от этой травмы уберечь, обращаясь с ними похолоднее. Не знаю, исчерпывались ли этими гуманными доводами намерения китайцев или здесь была замешена ревность к русским, а может быть, даже политика: им не хотелось, чтобы дети глубоко полюбили Россию и русских. По-моему, поездка в чужую страну для детей, ничего в своей жизни не видевших, в любом случае обернулась бы потрясением. Поэтому, раз уж они приехали к нам, мы обязаны были принять их так тепло и душевно, как только могли, чтобы 2008 год, помимо Олимпийских игр, ассоциировался не с чудовищным землетрясением, а с доброй и гостеприимной Россией, где они, пусть и ненадолго, нашли друзей—или, если им угодно, сестёр и братьев. Впрочем, сердцу не прикажешь, особенно детскому. Несмотря на замечание китайских преподавателей, дети продолжали к нам тянуться, и с каждым днём мы становились всё дружнее.

Интересным оказался последний день на базе отдыха. К нам приехали специалисты по туризму (или по альпинизму, или по спортивному ориентированию) и обучали детей основам туризма. Дети (а вместе с ними и мы) прыгали по деревянным кочкам, имитируя переправу через болото, перескакивали через воображаемую реку или пропасть, держась за канат, перелезали по различным

натянутым между деревьями сеткам и верёвкам, некоторые из которых одолеть было очень непросто—справились далеко не все. Вечером того же дня мы в последний раз в «Салюте» собрались отрядом, написали друг другу пожелания, обменялись электронными адресами и вместе пофотографировались. Мы слышали, как дети из других отрядов выкрикивают свои девизы и плачут, но мои Фениксы были постарше и не плакали, хотя было невыносимо грустно. В тот вечер детям привезли баллончики с краской и разрешили разрисовать забор, ограждавший нашу базу отдыха. Некоторые нарисовали картинки, но большинство написали о своих впечатлениях и пожеланиях.

Последний день мы с детьми провели в Красноярске—как в день прилёта из Китая, ещё до отъезда в «Салют», так и теперь они ночевали в Кадетском корпусе. Это было довольно ярким и насыщенным днем, хотя радость была омрачена сознанием предстоящего расставания. Утром дети посетили ГЭС, которая не произвела на них сильного впечатления. Днём побывали в «Роеве ручье», где им понравилось гораздо больше—для некоторых детей это был первый в жизни поход в зоопарк, и они с любопытством рассматривали наших зверей, хотя и не с таким возбуждением, какое свойственно в такой ситуации русским детям. Моих деток более других животных интересовали медведи—особенно отсутствующие в Китае белый и бурый. Услышав, что по-русски этот милый зверь называется «медведем» и уловив в нём сходство с фамилией нашего президента, они очень оживились. Вечером мы отправились на экскурсию по Красноярску, которая длилась часа полтора и маршрут которой включал посещение часовни на Караульной горе, железнодорожного вокзала (на него детям разрешили поглядеть только из окна автобуса), площади перед Театром оперы и балета, памятника Чехову и фонтанов возле набережной, памятника Астафьеву возле кица. Естественно, что этого достаточно длинный маршрут за полтора часа одолеть было сложно, и детей, если и выпускали из автобуса посмотреть на вышеназванные достопримечательности, то не более чем на пять минут, а бывало и того меньше—гораздо больше времени ушло на то, чтобы высадить их из автобуса, построить и снова посадить.

В аэропорт провожать наших китайских друзей поехали мы все. В автобусе на пути в аэропорт вместо царившего всегда веселья и оживления стояла напряжённая тишина—все поникли, не только петь, веселиться, но и разговаривать не могли. Тоскливо было видеть их всех печальными и понимать, что весёлыми и озорными—такими, какими я привыкла их видеть, я их уже никогда не увижу. Прощание с китайской делегацией, как и их встречу, сделали торжественным—и снова это торжество проходило перед терминалом аэропорта, хотя теперь вид дверей терминала, вызывавший во мне тогда приятное волнение, теперь приводил в отчаяние. Снова приехал какой-то ансамбль с танцами—на этот раз уровнем гораздо ниже, чем «Орлёнок». Но, думаю, мало кто с интересом

наблюдал за танцевальным номером— все были слишком погружены в свою печаль. Я, конечно, ожидала, что будут слёзы— дети есть дети. Но я и предположить не могла, что в глубокое отчаяние впадут все— за очень редкими исключениями: и дети, и переводчики, и организаторы, и даже китайские руководители— они, так желавшие уберечь детей от горечи расставания, даже сами не смогли уберечься. Все были объаты общим горем, чувствуя, что очень яркий, тёплый, светлый период жизни уходит безвозвратно. Конечно, и двухнедельное общение, и следовавшее за ним расставание не были бы столь эмоциональными, если бы главными героями не оказались дети. Хотя и среди них оказались сильные духом. Уже упомянутый мной тибетец Нола Джаси с самого утра ходил подавленный, а к приезду в аэропорт совсем скис. Было заметно, как он страдает и изо всех сил борется со слезами, но воля взяла верх над сентиментальностью и он так и не заплакал. Но я видела, как крепко он сжимает руку своего рыдающего товарища, как бы говоря: «Крепись, парень!» Это, наверное, самое трогательное из всего, виденного мною в тот день. Я, как и другие переводчики и организаторы, в последний раз собрала своих Фениксов командой, в последний раз мы прокричали наш девиз, затем дети в последний раз спели нам «Катюшу». А потом, поскольку времени до посадки оставалось слишком много, наши организаторы стали настаивать, чтобы мы развлекали детей, заставляли их петь или танцевать. Дети, всё ещё заливаясь слезами, принялись через силу водить хоровод, и этот танец, имеющий целью развлекать, делал их мучения ещё более явными. Это была очень тягостная сцена. Но, в конце концов, мы все обнялись и долго просто стояли вместе, зная, что через несколько минут нас разлучат и мы, Фениксы, уже никогда не соберёмся все вместе; многие продолжали плакать. Вскоре всё завершилось: детей увели в терминал, построили в соответствии с их собственными порядковыми номерами, а не по командам. Мы находились с детьми в терминале до последнего. Когда детей всех до одного увели, мы попрощались с китайскими преподавателями, врачами, переводчиками и журналистами, с некоторыми из которых тоже успели подружиться. Когда и они скрылись из виду, нас посадили в автобус и увезли из аэропорта. Миссия была закончена.

Уже через два дня после отъезда детей я получила письмо от четырнадцатилетней Гэ Синь-юй— это одна из моих любимиц, самая милая, женственная и чуткая девочка из нашего отряда. Вот что она пишет:

«Здравствуй, дорогая сестра Маша!

Наша разлука продлилась лишь два коротких дня, но я уже скучаю по тебе: скучаю по жизни в России, скучаю по вечерам, которые мы проводили вместе, скучаю по всем тем, кто был с нами. Вчера вечером, расставаясь в ланчжоуском аэропорту, мы снова плакали: при мысли о том, что

нам предстоит расстаться— возможно, расстаться навсегда— становилось страшно тяжело на душе. А как вы? Наверное, так же. Но у всего на свете есть своё начало и конец, главное— чтобы люди дорожили друг другом.

Не забудь прислать мне фотографии».

Гэ Синь-юй. 7.08.2008

Я была очень тронута искренними и мудрыми словами девочки и невероятно рада тому, что письмо пришло так скоро: по детям я тогда страшно скучала. Я ответила ей на следующий день— это был день открытия Олимпиады в Пекине, и я писала Гэ Синь-юй о том, что великолепная церемония открытия— это настоящее чудо, сотворённое китайцами, что я восхищаюсь и горжусь её страной, которую считаю в какой-то степени и моей страной тоже. Мы разговорились: сначала— об Олимпиаде, потом— о русских и китайских традициях, о характерах и привычках, о её учёбе и моей учёбе, о планах на будущее. Переписка продолжалась год. Вот последнее письмо, полученное от Гэ Синь-юй:

«Здравствуй, дорогая сестра Маша!

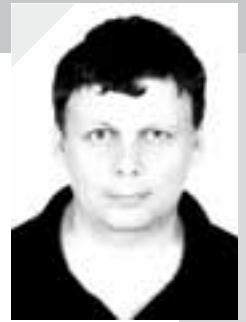
Я тоже очень по тебе скучаю. Ты всё это время была в Китае? Я несколько дней провела в летнем лагере, мы ездили в пять крупных городов, их ещё называют «пять городов Восточного Китая». Проверим-ка твою эрудицию— знаешь ли ты, о каких городах идёт речь? (я не сильна в географии, поэтому угадала всего три города, а затем справилась в Интернете: это Нанкин, Уси, Сучжоу, Ханчжоу и Шанхай).

В некоторых из наших школ, так же, как и у вас, школьники учатся с первого класса до самого десятого. Но в той школе, где учусь я, переходя из младших классов в средние и из средних— в старшие, мы каждый раз переходим в новое учебное заведение. Поэтому мне придётся расстаться с моими школьными друзьями... Старшие классы— это действительно самое несладкое время для китайских школьников. В течение этих трёх лет нам каждый день приходится выполнять огромное количество домашнего задания, для нас постоянно устраивают различные тесты, спать мы ложимся часов в 11–12 вечера, а в 5–6 утра уже приходится вставать— ритм жизни ужасно напряжённый. Но если я буду стараться изо всех сил, то смогу в конце концов поступить в хороший университет, и тогда уже можно будет расслабиться! Кстати, что ты изучала в университете в Харбине? Где ты собираешься работать после окончания университета? Ты могла бы работать в Китае, и, когда через три года я окончу школу и поступлю в хороший университет, мы могли бы встретиться снова!

В Китае уже пришла осень. С древних времён осень для китайских поэтов— символ печали, но почему-то у меня на душе только радость. А как относятся к осени русские?

Ну, вот и всё. Желаю, чтобы каждый день был для тебя счастливым».

Пока! Твой маленький феникс. 11.08.2009.



Павел Лопатин

Жизнь и дела кадета Лаппо

121

 Павел Лопатин
 Жизнь и дела кадета Лаппо

К концу XIX века Россия испытывала политическое пробуждение. В стране всё более нарастало критическое отношение к самодержавию как к власти, «созданной богом». Российское общество в судорогах и муках искало формулу правильного государственного устройства. Зарождались и развивались политические движения, по-разному видевшие ход исторических событий и будущее России.

Заявила о себе большевистская партия. Большевики ставили своей целью разрушение существовавшего строя и ликвидацию частной собственности не только в России, но и во всём мире. В своём стремлении ликвидировать частную собственность большевики опирались на теорию Маркса, который утверждал, что предприниматель не принимает участия в создании продукции и, таким образом, не имеет права ни на какую долю в прибыли. По словам Маркса, сам институт частной собственности порождает эксплуатацию человека человеком — «паразиты-капиталисты», захватывая огромную часть прибыли, сами не производя ничего, тем самым эксплуатируют своих работников.

«Обнаружив» эксплуатацию, Маркс разделил общество на класс эксплуататоров (куда попали собственники) и класс эксплуатируемых (то есть наёмных работников). Он призвал наёмных работников свергнуть власть эксплуататоров, установить диктатуру пролетариата, отменить навеки частную собственность и передать все средства производства в общенародную собственность. Освобождённый от эксплуатации пролетариат начнёт вдохновенно трудиться, и богатства польются изобильным потоком.

Вся прибыль также будет поступать в общенародную собственность. Руководить новым государством будет коммунистическая партия, то есть совокупность людей, вооружённая «подлинно научным» марксистским учением и применяющая его на практике.

Ошибкой Маркса, известной уже тогда, было то, что на самом деле собственник также участвует в создании прибыли путём вложения капитала и участия в управлении предприятием, и, таким образом, также вправе претендовать на справедливо установленную долю прибыли, правильно отражающую его долю и закреплённую в договоре с другими работниками. Однако большевики предпочли эту ошибку не заметить, объявив, что именно им принадлежит правильное видение будущего государственного устройства России и приступили к активной и исключительно беспринципной борьбе за власть.

Вместе с тем в России были носители и другого видения жизни, базисным пунктом которого было признание того факта, что на самом деле в настоящее время никто не знает, как должно выглядеть правильное устройство любого государства, в том числе и России. Искать, пробовать и изменять эту форму должен сам народ. Разные части народа видят общественное устройство по-разному, эти части организуются в партии, и партии предлагают свою программу. Народ путём выборов предоставит той или иной партии возможность осуществить свою программу, то есть предоставит этой партии власть. При этом у народа всегда должна оставаться возможность сменить власть и выбрать новую. Главной задачей власти должно быть создание условий для осуществления прав своих граждан, для раскрытия творческих способностей каждого члена общества, для того, чтобы общество имело возможность самому строить развивающееся и улучшающееся общество. При этом осуществление одними гражданами своих прав не должно нарушать прав других граждан. Именно в головах людей рождается образ будущего (иногда прекрасного, а иногда ужасного), и не обязательно в головах правителей, а затем люди воплощают (а зачастую не воплощают) этот образ в реальность. Таким образом, функция власти является сервисной, функцией поддержки тех сил, которые история признаёт прогрессивными и функцией нейтрализации тех сил, которые история признаёт реакционными или деструктивными. Именно на таких принципах строилась идеология партии конституционных демократов (кадетов), ещё в начале XX века заявивших о необходимости построения в России правового государства, основанного на демократической конституции.

В деятельности партии кадетов принимали участие лучшие умы российского общества, искренне желавшие своей стране счастья и процветания. 70-летняя тирания большевистского зла приложила огромные усилия, чтобы вытравить из народной памяти имена людей, посвятивших себя служению российскому обществу, идеалам справедливости, света и добра. Нынешнее время даёт нам возможность восстановить имена многих достойных людей, живших и работавших в том числе и на нашей земле.

Свою историю в Красноярске партия кадетов ведёт с 1905 года. С самого своего зарождения кадеты посвятили себя служению идее правильного устройства общества, принципам законности и гуманности. Одним из основателей и лидером

кадетов в Красноярске на протяжении многих лет был Дмитрий Евдокимович Лаппо, которому и посвящён мой очерк.

Д. Е. Лаппо родился 19 октября 1861 года в Белице Топольского уезда Могилёвской губернии. По национальности белорус. По окончании курса в Киевской 3-й гимназии в 1882 году с аттестатом зрелости поступил на юридический факультет университета св. Владимира (г. Киев), где слушал лекции 1 и 2 курса в течение 1882–1884 годов. В 1879 году вступил в организацию партии народной воли. В 1882 году был первый раз арестован за пропаганду среди солдат киевской крепости. Административным арестом был сослан в Сибирь с 1885 по 1890 годы по делу Киевской организации партии народной воли. Ссылку отбывал в Тюкалинске, затем — в Енисейской губернии. В мае месяца 1898 г. подвергался испытанию в юридической испытательной комиссии при Казанском университете и получил диплом 2 степени от 30 мая за № 4651. В 1890–1895 годах работал в г. Чистополе на должностях частного поверенного при Чистопольском мировом Съезде, секретарём городской управы, исполняющего должность делопроизводителя Уездного попечительства детских приютов ведомства учреждений императрицы Марии и др.

С 1898 года стал трудиться на красноярской земле, где в полной мере развернулась его жаждущая деятельности натура. Свою работу Лаппо начал мировым судьёй 1-го участка Минусинского уезда и 3-го участка в Красноярске, председателем Особой комиссии составления списков присяжных заседателей по г. Красноярску и Красноярскому уезду.

К началу XX века представление россиян о правильной форме государственного устройства всё более расходилось с существовавшим самодержавием. Самое активное участие в процессах демократизации принял и Лаппо. В 1905 году он стал одним из организаторов партии народной свободы (кадетов). Участвовал в выступлениях против самодержавия в 1905–1906 годах. В эти же годы Лаппо также избирался в Красноярскую городскую думу. Гласный думы Д. Е. Лаппо принимал участие в мероприятиях по введению всеобщего образования в г. Красноярске, в выработке решения о строительстве затона, где впоследствии образовались Красноярские судостроительный и судоремонтный заводы. Лаппо активно печатался на страницах красноярской прессы, состоял членом организаций «Союз судебных действий», «Союз учителей», в 1909 году создал и возглавил «Общество обывателей и избирателей г. Красноярска», занимался историей туземных народов, заведовал бухгалтерскими курсами и читал лекции по политэкономии и законоведению.

В конце февраля 1917 года самодержавие пало. К власти пришло правительство, само себя назвавшее временным — до проведения Учредительного собрания. Временное правительство, основную часть которого составляли кадеты, приступило к реформированию страны на демократических и правовых началах.

Временное правительство образовало в Красноярске свой орган — Комитет общественной безопасности. Возглавил Комитет Владимир Михайлович Крутовский — врач, журналист, пользовавшийся огромным авторитетом у местной интеллигенции.

Бурную поддержку Временного правительства в это время организуют красноярские кадеты. Напечатанное и распространённое ими воззвание гласило: «Граждане! Временное правительство опубликовало свою программу. Вы все её знаете. Красноярский отдел партии народной свободы в проведении в жизнь этой программы видит счастье родины.

Граждане! Помогите Временному правительству осуществить его программу. Поддерживайте полный порядок в стране!..

Все любящие Родину обязаны исполнить свой долг, сообразуя свою деятельность с указанием Временного правительства и содействием в это трудное время.

Задача момента властно требует немедленной организации всех сил страны. Граждане, организуйтесь!».

С самого первого момента создания Временного правительства большевики повели линию на его дискредитацию, демагогически объявляя его защитником русской буржуазии, организовывали неподчинение распоряжениям Временного правительства, приступили к созданию своих органов власти, направленных на узурпацию полной власти в стране.

Уже 5 марта в Красноярске большевиками был создан Совет рабочих, солдатских и казачьих депутатов. Возглавил его Я. Ф. Дубровинский. Таким образом, в Красноярске, как и во всей России, установилось двоевластие. Образовавшийся совет немедленно приступил к изданию самоуправных законов и к разного рода реквизициям.

В июле 1917 года был создан губернский Совет рабочих и солдатских депутатов. Красноярский Совет формировал отряды Красной гвардии и усиленно вооружался.

Тем временем новые демократические власти вели подготовку к проведению первых демократических выборов. 2 июля 1917 года должны были состояться выборы в Красноярскую городскую думу. В голосовании могли участвовать все дееспособные граждане, которым на момент выборов исполнилось 20 лет. Своих кандидатов в думу выдвинули 3 партии и 5 групп. Первый список представляли кадеты, во второй состояли большевики, в третий вошли эсеры. Затем шли кандидаты от групп арендаторов, православных христиан, евреев, домовладельцев чёрной сотни, союза учителей. Газеты публиковали подробные программы партий. Кадеты обещали красноярцам в случае победы на выборах провести трамвай, построить виадук через ж/д пути для соединения города с Николаевской слободой, всеми силами бороться с пылью и грязью. Для этого они планировали замостить все улицы, устроить красивую набережную на берегу Енисея, развести сады и скверы, засадить улицы деревьями, соорудить

канализацию и сделать воду из водопровода доступной населению. На окраинах города, за Качей и в Николаевской слободе, кадеты намеревались улучшить освещение улиц, выстроить каменное здание для милиции.

В области народного образования кадеты собирались ввести обязательное светское обучение в начальной школе, создать профессиональные училища с бесплатным обучением, всемерно настаивать на открытии в Красноярске высшего учебного заведения в виде лесной академии или горного института.

Крупные изменения конституционные демократы планировали произвести в здравоохранении. В частности, предлагали установить твёрдый контроль над продажей пищевых продуктов, бороться с алкоголизмом и проституцией.

Программа партии народной свободы была конкретной, деловой, затрагивающей все важные точки городской жизни.

Кадеты предостерегали против списка № 2. «Это список большевиков», — писали кадеты, — «которые в третий раз пытаются силою вырвать власть, ведомые Лениным, уличённым в сношении с германцем».

Выборы принесли победу большевикам, они получили почти половину мест в городской думе (41 из 83), эсеры получили 27 мест, кадеты, возглавлявшиеся Д. Е. Лаппо, получили всего 9 мест.

В это время Д. Е. Лаппо становится членом Красноярского окружного суда (с 8 мая 1917 года). С 1 августа 1917 он — заместитель председателя Комиссии по рассмотрению дел о лицах, арестованных вне судебного порядка. В Комиссии по переработке временного земского положения и разработке вопроса об областном сибирском земстве и областной земской Думе с 25 августа 1917 года. Председатель комиссии по разбору дел бывшего жандармского управления с 6 сентября 1917 года.

Большевики не прекращали наращивать усилия по узурпации власти. 1 сентября 1917 года исполнительный комитет Совета рабочих и солдатских депутатов принял решение об объединении с губернским советом крестьянских депутатов. Образовался Соединённый исполнительный комитет Енисейской губернии, который провозгласил о взятии в губернии всей полноты власти в свои руки.

Весть о штурме Зимнего дворца и о переходе государственной власти в России в руки большевиков пришла в Красноярск 27 октября.

Вечером 28 октября в здании Дома просвещения состоялось заседание городской думы, в ходе которого были намечены срочные меры по захвату власти в городе.

С 25 ноября 1917 года в Красноярске закрывались все частные газеты, производились бесконечные реквизиции. Уже 3 марта 1918 года большевик Вейнбаум рапортовал в Петроград, что все промышленные, транспортные и торговые предприятия национализированы.

В декабре 1917 начала свою деятельность вчк. Бесчинства большевиков вызывали законное возмущение у всех прогрессивных сил.

18 июня 1918 года большевистская власть в Красноярске пала. 6/18 июня 1918 года Д. Е. Лаппо становится прокурором Красноярского окружного суда.

В своём воззвании, обращённом к красноярцам, кадеты писали: «Граждане! Власть большевиков низвергнута народом. Весь исполнительный комитет совета рабочих, красноармейских и крестьянских депутатов Енисейской губернии позорно бежал вниз по реке Енисею, захватив с собою всю флотилию, весь золотой запас Государственного банка, всю его наличность, все припасы — народное достояние населения не только города Красноярска, но и всей губернии... Губернский комитет партии призывает всех её членов, сочувствующих её демократическим лозунгам, лозунгам права, государственности, национальных и народных интересов, принять активное участие в создании условий для нормальной жизни впредь до организации постоянной власти, основанной на доверии всего населения...»

Вскоре руководители красноярских большевиков, в частности Дубровинский, Парадовский, Вейнбаум, Яковлев, Белопольский и др., были арестованы. Инициатором привлечения их к ответственности выступил Д. Е. Лаппо.

Суд обвинил их в содействии отдаче приказа о расстреле чешских пленных-заложников, допущении бесследного исчезновения двух чехов, разрушении железнодорожных мостов, а также в других преступлениях.

Попытки восстановить нормальную жизнь сталкивались с многочисленными трудностями, продолжала подрывную деятельность партия большевиков, ушедшая в подполье.

В Красноярск части Красной Армии вступили 8 января 1920 года. Большевики развязали репрессии, был расстрелян редактор газеты «Свободная Сибирь» Фёдор Фёдорович Филимонов.

Д. Е. Лаппо был арестован 5 апреля 1920 года в г. Иркутске и через две недели был этапирован в Красноярск. Большевики намеревались обвинить Лаппо «в попустительстве и укрывательстве всех белогвардейских бесчинств, творившихся в красноярской тюрьме».

В деле имеется следующее заявление Лаппо:

*«В Чрезвычайной следственной комиссии арестованного Лаппо Дмитрия
Заявление*

В 1879 году я вступил в организацию партии народной воли.

В 1882 году я был первый раз арестован за пропаганду среди солдат киевской крепости.

Потом я был много раз арестован и выслан в Сибирь.

В 1915 году надо мной производилось расследование вследствие рапорта усмирителя Сибири Мёллера-Закомельского царю.

За время моей службы в качестве судебного деятеля я не участвовал ни в одном политическом процессе.

Назначенный в революционное время прокурором Красноярского окружного суда, я

1. способствовал освобождению многих лиц, задержанных за прикосновенность к большевизму;
2. произвёл расследования о действиях должностных лиц и представителей союзного командования;
3. Высшее союзное командование требовало за мои действия от меня «полного удовлетворения»;
4. Министр Ю. (ридикеской—П. Л.) палаты требовал от меня объяснения по поводу обострения отношений с генер. Розановым;
5. мною были приняты прямые и закулисные меры не допустить совершиться военно-полевому суду по резолюции генер. Артемьева над 260 лицами, задержанными при свержении эсерами в 1918 году советской власти в Енисейской губ., и суд не состоялся;
6. мною раскрыто кошмарное убийство 31 лица в Красноярской тюрьме; провокаторы заключены под стражу; виновность генер. губ. Марковского в этом деле установлена;
7. о действиях военных и о положении прокурорского надзора я делал *сообщение Красноярской городской думе*, способствуя скорейшему свержению власти Колчака. Прослуживший делу революции 40 лет, я ныне арестован органами сов. власти. *Видя в этом простое недоразумение по неосведомлённости, прошу меня из-под стражи освободить для представления доказательств моей невиновности.* Всё мною изложенное может быть удостоверено печатными и письменными актами и свидетельствами».

Уголовное дело содержит также информацию о составе семьи Д. Е. Лаппо. Он проживал по ул. Воскресенская, д. 41, состоял в гражданском браке с Прасковьей Яковлевной Малаховой (первая жена Д. Е. Лаппо—Марфа Семёновна Троицкая, сестра управляющего губернией при Колчаке Троицкого Петра Семёновича, на момент ареста Д. Е. Лаппо находилась на излечении в психиатрической лечебнице). У Лаппо было 4 сына—Дмитрий (29 лет), Лев (26 лет), Сергей (24 года) и Александр (16 лет).

К делу приобщены протоколы допросов ряда лиц (почти все они коммунисты), которые свидетельствуют, что обращались с ними в тюрьме с гуманностью и нельзя не видеть в этом руки Д. Е. Лаппо, как это видно из заключения работника вчк Коновалова (стиль оригинала сохранён—П. Л.):

Заключение

1920 года, июля 30 дня.

Я, уполномоченный Красноярского губчека, рассмотрев дело за № 420 по обвинению гр. Лаппо Дмитрия Евдокимовича, бывшего прокурора Енисейского окружного суда, в попустительстве и укрывательстве всех белогвардейских бесчинств, творившихся в Красноярской тюрьме. Нашёл, что весь собранный следственный материал

представляет собрание показание свидетелей всё дело в защиту гр. Лаппо, установить же преступных актов по существу его обвинить или доказать, не удалось. Гр. Лаппо может быть обвиняем только за своё политическое убеждение, как бывший лидер партии кадетов. Показание же наших товарищей коммунистов, бывших в тюрьме, как тов. Корн, тов. Гоштовский, тов. Дубровинский, тов. Назаренко, тов. Шапиро и тов. Сулаквилдзе получается впечатление, что если прокурорский надзор находился не в руках Лаппо, то ещё многие сделались жертвою военных властей, жертвою военно-полевых и прифронтовых судов, так наш тов. Корн Александра Ивановна, сидевшая в тюрьме, показывает: «Лаппо, будучи прокурором, сделал всё, чтобы изолировать от Военных и тем спасти от приказа Гайды... Режим в тюрьме был не тяжёл, вместо нар давали кровати, гуляли целый день, давали видиться с близкими, всё это было тогда когда Лаппо был главою Гражданской власти.

Арестованный сидевший тов. коммунист Гоштов показывает: «Лаппо держался с нами корректно, даже более, и когда я сидел с Дубровинским, Лаппо всегда подавал нам руку и не оставлял без внимания наши заявления, когда мною было заявлено Лаппо о грубости заведывающего тюрьмы Любимова, то Лаппо его устранил от должности. Будучи на свободе я заходил к Лаппо и он мне давал пропуск не на один день, а на целые недели и месяцы... Мне известно, что Лаппо протестовал против расстрелов и заложников...»

Допрошенный тов. коммунистка по делу Лаппо Дубровинская: «...я скверного отношения Лаппо отметить не могу, всё сводилось к официальному, но вполне деликатной форме. Персонально я не могу не отметить следующие факты: последним свиданием со своим мужем перед уводом на расстрел я обязана Лаппо, который разрешил нам свидание вопреки военным властям, как т. Архиповой с ея мужем т. Яковлевой и тов. Анисимовой с Вейнбаумом». Показание допрошенного тов. Назаренко (социал-демократ, 47 стр.) «Я как член делегации от общества «самодеятельность» был делегирован в г. Омск для предотвращения и протеста против расстрела Военно-полевым судом тов. Дубровинского и др., что я слышал от членов Правительства Зенчикова, что протест против суда тов. Дубровинского военно-полевым судом послали и прокурор Лаппо...»

Показание тов. коммуниста Сулаквилдзе: «Лаппо... протестовал против расстрелов и смертной казни и всегда сообщал о не законных действиях Военных властей Министру юстиции и прокурору палаты в чём я убедился сам служа в архиве Иркутской Судебной палаты (52–53 стр.)».

Заключение завершалось следующими словами:

«...Рассмотрев весь следственный материал по делу обвинения гр. Лаппо, не вижу никаких совершенных активных преступных деяний: за время замещения им должности прокурора Окружного суда, усматривая его лишь политическое кадетское убеждение, но как выясняется гр. Лаппо проявил гуманное отношение к арестованным, что доказывается свидетельскими показаниями

и находящийся в деле документ, подписанный Лаппо к прокурору Иркутской палаты... то видно, что гр. Лаппо имел гражданское мужество протестовать против незаконных самочинных действий военных властей, как русских так и иностранных. Из свидетельских показаний видно, что гр. Лаппо спас много работников от расстрела. И как видно из дела Лаппо был в ссылке в Сибири имея почти 60 лет от роду имеет богатый опыт и знание и мог бы быть хорошим и полезным работником (от руки: в Губ. Сов. Нар. Суде—П. Л.) где работа в настоящее время сводится к рассмотрению кассационных и частных жалоб на приговоры, решения и действия Народных судей всей Енисейской губернии и ближайший контроль над ними. Служа и работая под контролем истинных сов. работников подобному тому как в России (от руки: исползов. спецы—П. Л.)

Дело следствия закончить и передать на усмотрение членов коллегии Губчека.

Уполномоченный губчека Коновалов». Стоит также привести письмо И. А. Теодоровича в защиту Лаппо:

*«Товарищу Председателю
Ревтрибунала Вохра*

Я—Иван Теодорович, б. Народный Комиссар Продовольствия и б. член Центрального Комитета Р.К.П. категорически свидетельствую: 1) из опубликованного журналом «Былое» донесения Мёллера-Закомельского Николаю II насчёт событий в Сибири в 1905–1906 гг видно, что Д. Е. Лаппо был намечен к расстрелу, как сугубо вредный для самодержавия политический деятель; 2) мне известно со всей положительностью, что Д. Е. Лаппо в период Колчаковщины упорно боролся с безграничным произволом разнузданной военщины; 3) мне известно, что благодаря именно Д. Е. Лаппо после острейших его конфликтов с генерал-губернатором Розановым была хотя и временно отменена система заложников, введённая этим палачом; 4) мне известно, что Д. Е. Лаппо всемерно противился выдаче в руки чехов тов. Дубровинского, Вейнбаума, Яковлева, Белопольского и Парадовского и 5), наконец, заявляю, что исключительно благодаря Д. Е. Лаппо—я, Теодорович, мог избегнуть расстрела генералом Розановым, причём в моём деле Д. Е. Лаппо не задумался пойти на решительное столкновение с таким сильным временщиком, как Розанов.

22 августа 1920 г. Ив. Теодорович (подпись)

*Подпись тов. Теодоровича свидетельствую,
редактор газеты «Красноярский рабочий»
Ф. Врублевский, 22 августа 1920 года».*

Читаешь это письмо и думаешь—а стоило ли тов. Теодоровичу и другим коммунистам бороться за возврат к власти своих товарищей? В 1937 году, когда у власти были его коллеги по партии, защитить Теодоровича уже никому не удалось.

Что же касается слов Лаппо о его «способствовании скорейшему свержению власти Колчака», то, думается, их надо понимать как стремление противостоять беззакониям. Лаппо вполне мог

быть и испуган, оказавшись в руках большевиков. Ведь заявил же тот же Дубровинский на суде о том, что «его единственная в жизни ошибка та, что он пошёл за большевизм».

Как это нередко бывает, рядом с драматическим и трагическим рука об руку идёт и комическое. Пока Лаппо находился в тюрьме, на его квартиру по Воскресенской ул, д. 41 нагрелась комиссия в составе 5 человек «для подыскания помещения под архив». Вещи, находившиеся в доме, комиссия опечатала, при этом заведующий губернским управлением милиции принял решение реквизировать «...стулья, столы и всевозможные канцелярские принадлежности с бумагой и использовать таковые для нужд вверенного мне губернского управления милиции и других подведомственных учреждений, в коих предметах ощущается крайняя нужда».

Кроме того, в деле имеется следующий рапорт:

*«Заведующему
Енисейским губернским управлением
Советской рабоче-крестьянской милиции*

Рапорт

При сём представляю на Ваше распоряжение составленный мною протокол по поводу сокрытия гражданкой П. Я. Малаховой сахара, не попавшего вчера в опись, как не обнаруженного, какой сахар Малахова сегодня рано утром передала в мешке на хранение живущей на одном с ней дворе гражд. Перминской. Сахар при сём прилагается.

Главный секретарь Фёдоров».

На рапорте наложена резолюция: «приобщить к общему протоколу и передать в губчека».

Протокол осмотра квартиры даёт возможность получить представление о быте Д. Е. Лаппо, который могут характеризовать такие вещи как «кадушки с мукой, стол полированный овальный, столик карточный, одна перина, два кресла мягких ломаных, один велосипед в разобранном виде, одна пара старых сапог кожаных, четыре пары катанок старых (приписано: валенки), одна железная печка старая, три керосиновых лампы без стёкол, две иконы, полушубок старый, комод». Скажем прямо, обстановка не производит впечатления особого богатства.

Из квартиры Д. Е. Лаппо выселили. 3 февраля 1921 года мера пресечения ему была изменена на подписку о невыезде. В 1997 году по данному делу он был реабилитирован.

После освобождения Д. Е. Лаппо служил юристом в Енисейском губисполкоме, участвовал в разработке вопросов управления туземными племенами сибирского севера, явился автором многих работ по проблемам сибирских народов.

Тем временем в стране набирала силу власть Сталина и его приспешников, взявших курс на превращение страны в огромный концентрационный лагерь. Отбросив от руля власти сначала Троцкого, затем Каменева с Зиновьевым, и, наконец, Бухарина, Рыкова и Томского, Сталин приступил к осуществлению своего грандиозного замысла—порабощению всего мира и установлению

над ним своей безраздельной власти — такой, какой он уже достиг в СССР.

В 1925 году Сталин взял курс на индустриализацию. Было построено огромное количество военных заводов, которые должны были снабдить армию техникой для «великих освободительных походов».

Для строительства предприятий нужны были колоссальные средства, и в целях получения этих средств Сталин начал в 1929 году коллективизацию сельского хозяйства. Согнанные в колхозы крестьяне уже не могли продавать хлеб по своим ценам. Хлеб изымался у колхозов за очень низкие цены, продавался за границу, и на вырученные деньги проводилась индустриализация.

Параллельно в стране шла невидимая, но напряжённая работа по постановке на учёт всех бывших оппозиционеров, людей, имевших опыт организационной работы, недовольных хоть в чем-либо коммунистической властью или на которых могли бы возлагать свои надежды недовольные. Против них фабриковались дела, в которых подчас совершенно незнакомых друг с другом людей следователи ОГПУ искусственно объединяли в «контрреволюционные группы, вынашивавшие идею о свержении советской власти». В протоколы допросов заносились фамилии всех знакомых арестованных, а обычные бытовые встречи представлялись в деле как «контрреволюционные сборища». Таким образом, искусственно формировалось представление об огромном количестве контрреволюционных заговоров, возникающих по всей стране. Всё вышесказанное наглядно иллюстрируется «Уголовным делом № 119122 по обвинению Тарелкина П. Н. и др.», в котором Д. Е. Лаппо, так же как и его сын, проходил фигурантом. Ряд лиц, проходивших по данному делу, при царе и Временном правительстве занимали административные должности, а потому, во-первых, обладали опытом организационной работы, во-вторых, в силу своего опыта видевших всю фальшь и беззаконие коммунистической власти, могли составить ей конкуренцию. Согласно материалам дела, некоторые (но далеко не все) из лиц, проходивших по делу, знали друг друга и встречались, в ходе встреч, разумеется, выражали недовольство существующими порядками, узурпацией большевиками власти. Уже своим прошлым, а именно приверженностью законности и неприятием большевиков, опытом сопротивления, они вызвали подозрения и ненависть со стороны последних. Эти лица были искусственно представлены как контрреволюционная группа, разбитая на группировки (по 2–6 человек), «действовавшие» в разных районах на территории нынешнего Красноярского края. Было составлено

«Обвинительное заключение»

По делу контрреволюционной организации, действовавшей на территории Красноярского и Сухобузимского районов Восточно-Сибирского края, Хакасской области и бывшего Минусинского округа Западно-Сибирского края, по обвинению Тарелкина Павла Николаевича, Титова

Петра Николаевича, Терскова Василия Григорьевича... и др., в количестве 33 человек...

В конце 1930 года — начале 1931 года ОО Красноярского оперативного сектора ОГПУ, по агентурным данным и в процессе следствия вскрыта контрреволюционная организация, ставившая себе целью устройство вооружённого восстания и свержение советской власти весной 1931 года под лозунгом созыва Учредительного собрания...

Итак, мечты о созыве Учредительного собрания, на котором свободно избранные представители народа выбрали бы подходящую для России форму правления, возможно, и отличную от коммунистической, квалифицировались как преступление и становились главным пунктом обвинения.

Про самого П. Н. Тарелкина в деле содержится следующая информация:

«Тарелкин Павел Николаевич, член партии эсеров с 1905 года, правый, официально вышедший из партии в 1926 году... В 1917 году при Временном правительстве — Минусинский уездный комиссар».

В деле была выделена «группировка Бекмана», в которую был включён и Д. Е. Лаппо со своим сыном Львом. В сущности, это были те лица, с которыми Лаппо повседневно общался.

Д. Е. Лаппо был арестован 13 февраля 1931 года, содержался вместе со Львом под стражей при Красноярском изоляторе. Из анкеты арестованного узнаём, что проживал он уже по ул. Вейнбаума, д. 7, был беспартийным. Безработный с 1 января 1931 (инвалид труда). Мотив ареста: «имеющимся в деле данными установлено, что гр. Лаппо Дмитрий Евдокимович состоял в контрреволюционной группировке, подготовлявшей свержение советской власти».

В ходе допроса следователи заставили перечислить всех лиц, знакомых или когда-либо бывавших у Лаппо. В ходе допроса 22 февраля 1931 года Д. Е. Лаппо показывал: «...о моей деятельности в прошлом революционном движении знаю хорошо врач Крутовский Владимир Михайлович, проживает в г. Красноярске, бывший член областной партии, врач Коновалов Пётр Николаевич — к какой партии он принадлежал, не знаю. С этими лицами знаком, в данное время близкого знакомства не веду, так как нет общих интересов... По первой жене имею родственника, её брата Троицкого Петра Семёновича (бывший управляющий губернии при Колчаке), за границей». Далее перечисляются родственники жены и сыновья Лаппо, из них в Красноярске проживал только Лев, а Дмитрий и Сергей — в Новосибирске. «...поддерживаю связь только с Миловидовым Сергеем Ивановичем — членом коллегии защитников. Знаком с ним по совместной судебной работе в г. Красноярске и Минусинске с 1901 года. В данное время он бывает часто у меня, а я у него, связь существует сейчас только на почве выпивки».

В числе частых гостей был и милиционер, производивший выселение. Думается, что это раскрывает ещё одну черту нашего героя — мне в этом видится мудрость человека, умевшего снисходительно относиться к человеку, когда-то несправедливо его обидевшему.

Уголовное дело позволяет узнать, что думал Д. Е. Лаппо в те годы, как он относился к ключевым событиям, цитируем обвинительное заключение:

«Взгляды Лаппо Дмитрия, безусловно, враждебны сов. власти... Помню, года три тому назад в беседе со мною у Лаппо... он высказал взгляд, что всякая революция есть ненормальное явление и если происходит революция, она существует временно и после неё наступает реакция. Революцию СССР Лаппо считал буржуазной и так же временно существующей, что социалистические элементы в революции не выдержат и в России наступит вскоре такой же государственный строй, как и на Западе. Темпы развития с/х и промышленности Лаппо считал непосильными и политику советской власти в этих вопросах неправильной... что крупные сельские хозяйства невыгодны... для государства гораздо выгоднее мелкие сельские хозяйства, обрабатываемые индивидуальным способом... В этом вопросе Лаппо придерживался взглядов некоторых буржуазных аграрников. Отсюда... Лаппо был противником коллективизации сельского хозяйства, тем более что считал: коллективизация проводится на декреторальных началах, а не по добровольному принципу. Раскулачивание Лаппо считал, как жестокое мероприятие» (показания свид. Миловидова, проходившего по делу как обвиняемый...)

«Внутрипартийную борьбу (левая, правая оппозиция) я и оба Лаппо рассматривали как раскол в партии, приближающий конец таковой. Лаппо Дмитрий и Лев высказывали, что в партии нет единства, что рядовые члены партии запуганы и боятся высказывать свои взгляды, так как и в партии широко развит шпионаж, что по существу страной и партией правит кучка людей... Что большинство партии на стороне правой оппозиции. Лаппо Д. в связи с раскулачиванием, вообще частыми арестами в последнее время, высказывал взгляды, что революция отмирает и наступает реакция... Лаппо Д. и... за старостью могли бы помогать только словом всем борющимся с сов. властью» (показания обвиняемого Бекмана...) «В январе месяце (1931 г.)... Лаппо Дмитрий рассказывал об ужасах, творимых в Красноярске, подразумевая аресты бывших белых офицеров. Лаппо говорил о наступлении реакции, о приближающемся конце советской власти. Очень зло и вместе с тем незаметно... ругал советское правительство, пятилетку в 4 года, ГПУ, в общем, всем тогда попало» (показания свидетеля Вопилова...) «... В 1929 году Лаппо говорил... советская власть давит крестьян... надо ожидать, что крестьянство свергнет эту власть и переворот неизбежен... По поводу коллективизации Лаппо... говорил: «Кулаков разоряют, середняков тоже, а беднота ничего не построит. Советская власть, коммунисты готовят себе, наконец, смерть». Иронизировал индустриализацию... страны... до чего дошли, собирают всё то, что мы раньше бросали. Коммунисты обнищали, это есть характерный предвестник гибели советской власти. По поводу процессов вредительства, всякое новшество в союзе, как то ударничество и соцсоревнование, Лаппо

рассматривал как последние попытки коммунистов к сохранению советской власти» (показания свидетеля Бердниковой...)

«С Лаппо встречался очень часто, (он) говорил: «Пришельцы разорили, ничего не создали, скоро им придёт конец... забивают голову своим грандиозным строительством, которого совершенно не видим». Разговоры происходили почти повседневно» (показания свидетеля Качалова от 18 февраля 1931 г.)

«В апреле месяце (1931 г.) Бекман передавал, что Лаппо старик очень сожалеет, что в прошлом будучи прокурором при белых мягко подходил к большевикам» (показания свидетеля Горина...) Сам же Д. Е. Лаппо виновным себя не признал и показал:

«... Вострякова и Сарыкова совершенно не знаю... при встречах с Телегиным... никогда на политические темы не беседовал. С Бекманом... также никогда не беседовал на политические темы... Я иногда критически относился к мероприятиям сов. власти и свои эти взгляды высказывал Миловидову... По поводу начавшегося раскулачивания я говорил, что это мероприятие надо было бы проводить более медленно, дабы на местах не получились перегибы. Последнее время я изменил и этот взгляд и говорил, что... раскулачивание — совершенно правильное мероприятие, несмотря на то, что брат моей жены является раскулаченным. Относительно тех или иных прорывов на транспорте я мог высказываться и резче, но в доброжелательном духе, приписывая прорывы местным работникам неумеющим как следует работать... Я высказывал Миловидову взгляды некоторых учёных и государственников о том, что революция явление временное и при переходе от одного строя к другому немислимы резкие скачки и в конце концов всё возвращается к своему началу. Но это не являлось моим взглядом...»

Далее обвинительное заключение гласило: «На основании вышеизложенного нижепоименованные обвиняемые:

... Лаппо Дмитрий Евдокимович, Лаппо Лев Дмитриевич, ... обвиняются в том, что... составляли контрреволюционную группу, постоянно вели контрреволюционные разговоры о неправильности политики советской власти, неизбежности восстания и свержения советской власти и мыслили в случае интервенции, или внутренних крупных осложнений выступить против советской власти для активной борьбы с нею, то есть в преступлениях, предусмотренных ст. 58 п. 11 УК с карательной санкцией ст. 58 п. 2 УК»

Процесс расследования венчает

«Характеристика

*обвиняемого по ст. 58–11 УК
Лаппо Дмитрия Евдокимовича*

Лаппо Дмитрий Евдокимович 69 лет... будучи в приятельских отношениях с Бекманом, Телегиным и другими и одинаково враждебных убеждений по отношению к Сов. власти, все составляли к/р группировку под руководством Бекмана,

постоянно вели к/р разговоры о неправильности политики Сов. власти, неизбежности восстания и свержения сов. власти, мыслили в случае интервенции или внутренних крупных осложнений выступить против Сов. власти для активной борьбы с нею.

Обвиняемый Лаппо Дмитрий является особо социально опасным, исправим быть не может».

Согласно выписке из протокола Особого совещания при коллегии ОГПУ от 7 апреля 1932 г. было решено Лаппо Дмитрию Евдокимовичу зачесть в наказание срок предварительного заключения и из-под стражи его освободить.

Итак, свой семидесятилетний юбилей Лаппо встречал уже с судимостью. Анализируя протоколы Тройки унквд, осуществлявшей по Красноярскому краю в 1937–1938 годах операцию по «окончательной ликвидации контрреволюционных гнёзд», можно видеть, что с Лаппо поступили по шаблонной схеме: в начале 1930-х годов в отношении него было заведено уголовное дело, но была проявлена «гуманность».

Но в будущем уже любое его слово против советской власти рассматривалось бы как рецидив

«социально опасного элемента», который «исправим быть не может». В 1937–1938 годах, его, как и тысячи других, ждала бы, скорее всего, печальная участь.

Дмитрий Евдокимович Лаппо умер в феврале 1936 года, был похоронен на Троицком кладбище г. Красноярска.

По данному делу Д. Е. Лаппо был реабилитирован 17 октября 1994 г. Нам пока не дано знать, о чём думал и что говорил Лаппо в последние годы перед смертью.

Лаппо не дожил до того времени, когда по ночному Красноярску, как и во всей стране, сновали нквд-шные машины, выхватывая из жизни всё новые и новые жертвы, как замирали жители соседних домов от ужаса, слыша бесконечные душевраздирающие крики жертв, истязавшихся в кабинетах нквд, как метались в предсмертной агонии сотни людей в тюремных подвалах, пытаясь спастись от лавины пуль.

Страна выбрала такой путь, но старый Лаппо мог утешить себя тем, что он посвятил свою жизнь тому, чтобы предложить соотечественникам другой, более счастливый выбор.

Михаил Лермонтов Один я здесь...

Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха. Пустыня внемлет богу,
И звезда с звездою говорит.

В небесах торжественно и чудно!
Спит земля в сияньи голубом...
Что же мне так больно и так трудно?
Жду ль чего? жалею ли о чём?

Уж не жду от жизни ничего я,
И не жаль мне прошлого ничуть;
Я ищу свободы и покоя!
Я б хотел забыться и заснуть!

Но не тем холодным сном могилы...
Я б желал навеки так заснуть,
Чтоб в груди дремали жизни силы,
Чтоб дыша вздымалась тихо грудь;

Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея,
Про любовь мне сладкий голос пел,
Надо мной чтоб, вечно зеленея,
Тёмный дуб склонялся и шумел.

Одиночество

Как страшно жизни сей оковы
Нам в одиночестве влачить.
Делить веселье— все готовы:
Никто не хочет грусть делить.

Один я здесь, как царь воздушный,
Страданья в сердце стеснены,
И вижу, как судьбе послушно,
Года уходят, будто сны;

И вновь приходят, с позлащённой,
Но той же старою мечтой,
И вижу гроб уединённый,
Он ждёт; что ж медлить над землёй?

Никто о том не покрушится,
И будут (я уверен в том)
О смерти больше веселиться,
Чем о рождении моём...



Эдуард Русаков

Старики и дети солнца

Тихое озеро

Во-первых, во-вторых, в-третьих. И так далее. И тому подобное.

Во-первых, Серову давно хотелось съездить на это затерянное в таёжной глуши озеро, о котором он столько слышал и даже читал в Интернете («живописная природа, сосновый бор... чудесные песчаные пляжи... рыбалка, грибы, ягоды... уютная база отдыха «Тихое озеро»...), во-вторых, это был весьма удачный повод укрепить связи с сыном, который в последнее время всё более отдалялся от него, а тут появилась возможность побыть два дня вместе на лоне природы (он всё это ярко вообразил и заранее даже растрогался—совсем как в те годы, когда сын ещё был ребёнком и по вечерам приходил к нему прощаться перед сном, а Серов усаживал его на колени и целовал в душистую шелковистую макушку... и он вздрогнул сейчас от конкретной живости и трогательности этого нечаянного воспоминания), а в-третьих... в-третьих...

Ну, а в-третьих, просто хотелось вырваться из опостылевшей городской жизни, из болота газетной рутины, где Серов много лет вкалывал фотокорреспондентом, по вялой инерции считая себя фотохудожником, хотя ничего художественного в его работах давно уж не было, обычные снимки-однодневки, и от нелюбимой жены, кстати... ха!—«кстати!»—чего уж лукавить-то... эй, Серов!—да это, быть может, самое главное—от осточертевшей жены тоже очень хотелось хоть чуточку отдохнуть.

Поначалу всё складывалось удачно. Во-первых, путёвку Серов достал легко (на два выходных, в ту самую базу «Тихое озеро»), во-вторых, сын неожиданно быстро согласился (правда, не захотел брать с собой свою подружку—мол, ей некогда, папа, нам проще будет с тобой вдвоём, и Серов, если честно, остался доволен этим ответом), а в-третьих, погода стояла отменная, как по заказу.

Ехать решили не на автобусе, а на серовской бежевой «волге», которая когда-то (когда сам Серов считался—и был!—фотохудожником) считалась (и тоже была) шикарной машиной, а сейчас казалась смешной морщинистой старухой на фоне сверкающих иномарок, но ведь когда-то (вернёмся к аналогии) и сам Серов тоже был шикарным плейбоем, а теперь вот обрюзг, облысел, хотя держится петушком и при случае топчет курочек, но, чего уж скрывать, всё реже и реже.

Все их планы на уикенд на пленэре очень быстро были разрушены грубой реальностью. Во-первых, уже днём в пятницу исчезло солнце, наплыли тучи

и хлынул дождь, во-вторых, на выезде из города «волга» надолго застряла в пробке (многие в этот день рванули на свои дачи), в-третьих, Серов из-за пелены дождя проскочил мимо нужного поворота с шоссе на просёлочную дорогу, и им долго пришлось плутать и расспрашивать редких прохожих, где же это чёртово Тихое озеро, а в-третьих, когда, наконец, они это озеро нашли, оно не произвело на Серова особого впечатления (дождь хлестал, заштриховывая пейзажную картинку), ну и, в-четвёртых, на базе отдыха их никто не встретил (хотя, собственно, чего он ждал?—что их встретят красавицы в сарафанах с хлебом-солью?—да все красавицы от дождя попрятались в дощатых домиках, в том числе, и администратор Раиса, с которой Серов так любезно ещё нынче утром ворковал по телефону).

Наконец они разбудили дежурного на воротах, который разрешил им проехать на территорию базы отдыха, а уж там и Раиса нашлась и дала им ключи от их комнаты в третьем домике, и провела их в столовую, где Серов с сыном поужинали.

Разочарования продолжались. Во-первых, ужин был плох (куриные котлетки с жидкой гречкой, розовый кисель, вырчил, правда, прихваченный Серовым коньячок во фляжке, но сын отказался даже пригубить), во-вторых, всю ночь продолжал хлестать дождь, заливая надежды на завтрашний отдых, а в-третьих, за стенкой слева всю ночь скулил чей-то голодный щенок, а за стенкой справа периодически разражался плачем голодный грудной младенец. Серов не мог заснуть и с завистью поглядывал на сладко сопящего на соседней кровати сына (в его круглом лице, казалось ему, до сих пор есть что-то неистребимо детское, а ведь парню уже двадцать шесть!).

Среди ночи, измученный бессоницей, Серов встал, прихватил фляжку с коньяком и вышел на крыльцо. Глотнул из фляжки. Закурил.

—Что, не спится?—услышал он женский голос.

Оглянулся. На крыльце соседнего домика стояла Раиса. В ночной рубашке.

—С соседями не повезло,—пожаловался Серов.—То собака скулит, то ребёнок... чёрт бы их всех побрал.

—Ну, зачем вы так,—мягко упрекнула она.—Разве ребёнок виноват?

—Значит, мать его виновата...—И Серов опять приложился к фляжке.—За ваше здоровье! Кстати, могу угостить. Не желаете?

—Не откажусь,—улыбнулась она.

Серов быстро перешёл на её крыльцо, протянул фляжку:

129

Эдуард Русаков
Старики и дети солнца

— Прошу! Закусить, правда, нечем.
 — Закушу свежим воздухом, — сказала она.
 И отпила пару хороших глотков.
 — Ох, простите... Я вам ничего не оставила.
 — У меня ещё есть, — утешил Серов. — Может, продолжим? Правда, ко мне нельзя — там сын спит...
 — Можно ко мне, — прошептала она маняще.
 Смуглое лицо, блестящие глаза, белые зубы, улыбка. Даст или не даст? Конечно, даст. Иначе бы не заманивала к себе...
 — Папа, ты где? — отрезвил его голос сына, неслышно вышедшего на крыльцо.
 — Здесь я, здесь... Ну, чего тебе? раздражённо спросил Серов.
 — А чего ты не спишь? Заболел?
 — Да здоров я! Сейчас приду! Ступай в дом!
 — А где тут туалет?
 — Вон по той тропе, — сказала Раиса, — видишь, мальчик?
 — Я не мальчик...
 — Мальчик, мальчик.
 — У этого мальчика подруга в два раза его старше, — зачем-то сказал вдруг Серов, ещё более раздражаясь.
 — Значит, научит его любви, — сказала Раиса и рассмеялась. — Ну ладно, идите к себе. И мне тоже пора баиньки...
 — Но как же!..
 — Сорвалось, — вздохнула она. — Бывает. В другой раз повезёт. Идите, идите. Не бросайте сына...
 И она помахала ему ладошкой — и скрылась.
 А Серов смог заснуть в эту ночь лишь под утро. Разбудил его сын — пора было идти на завтрак.
 — Как погода? — спросил Серов и глянул в окно.
 — Без перемен, — хмыкнул сын. — Местами ливень. Местами мелкий дождь. Местами гололёд.
 — Вот тоска...
 Так и накрылись медным тазом — и мечты о купании, и рыбалка, и прогулки вокруг колдовского озера, и собирание в лесу грибов и ягод.
 Всё его раздражало — и эта гнусная погода, и неудавшаяся ночная интрижка, и отвратная еда в столовой, и несмолкающая грохочущая дурная музыка, от которой давно разбежались окрестные звери и птицы, и придурки-отдыхающие, развлекавшиеся беспробудной пьянкой и шашлыками, и даже флегматик-сын, с лёгкой улыбкой вззирающий на весь этот маразм. Казалось, его забавляет вообще всё, в том числе и раздражение отца, и Серова это ещё более злило. Только выпитая им вторая фляжка коньяка принесла некоторое успокоение.
 — Может, сходим на это хвалёное озеро? — предложил Серов сыну.
 — Под дождём?
 — Ну а что тут, на базе, делать-то? Ждать, когда дождь кончится? Всё же небо затянуто — видишь? Без просвета!
 — Я вижу, — сказал сын.
 — И что будем делать?
 — Может, в шахматы сыграем?
 — Очень романтично — ехать в тайгу, чтобы играть тут в шахматы... А может, всё-таки прокатимся на машине до озера?

— Ну, папа, — снисходительно улыбнулся сын. — Далось тебе это озеро... Впрочем, если ты очень хочешь — давай, съездим.
 — А тебе — всё равно?
 — Да. Мне — всё равно.
 — Так, может, плюнем на эту базу и это озеро — и вернёмся домой, в город? — с накипающим раздражением спросил Серов.
 — Давай, — кивнул сын.
 — Нет, ты не поддакивай! Ты скажи, как ты сам хочешь! — взорвался отец.
 — Да брось ты, папа. Чего заводиться на пустом месте? Делай, как хочешь, мне всё равно...
 — Что ж ты за человек такой! Почему тебе всё равно? Почему?!
 — Папа, тише... На нас люди смотрят.
 — Плевать мне на них! У меня за тебя сердце болит, душа разрывается...
 — О, какие слова — сердце, душа... Разве это не синонимы? Прямо мыльная опера. Сбавь тон, папа.
 — Замолчи, щенок! Тебе вообще на всё плевать, и самое главное — на самого себя! Вот что обидно-то! Привык, что всю жизнь я тебя опекаю, кормлю тебя с ложечки...
 — Да кто тебя просит, папа? — сын явно старался сдерживаться, быть спокойным. — Я давно уже взрослый, и твоя помощь мне не нужна. Так что, отдохай, папа. Я могу и сам...
 — Что ты можешь — сам?! Ничего ты не можешь — сам! В универ я тебя устроил, в аспирантуру — тоже, и от армии я же тебя отмазал... Даже на работу сам не можешь устроиться, всё моей помощи ждёшь...
 — Неправда! — вспыхнул сын. — Я сам устроился... менеджером!
 — Приказчик в лавке! Для этого надо было восемь лет учиться — да? Разве это — та работа, о которой я для тебя мечтал?
 — «Я мечтал...» Хватит, папа! Уймись. Меня эта работа устраивает. Да я лучше сторожем буду работать, чем тебя о чём-то просить...
 — Ах, даже так?
 — Даже так. Извини...
 — Не принимаю извинений!
 — Папа, пожалуйста... не кричи. Неудобно перед людьми. Ты же просто выпил с утра — вот и кричишь...
 — Нет, я трезв! И не упрекай меня — я не пьяница! А ты... ты... лучше бы ты пил и курил — чем быть такой размазней! Разве ты мужик? Двадцать шесть — а ни рыба ни мясо... Связался со старухой! Не мог, что ли, найти кого помоложе? Выставил меня на посмешище!
 — Перестань, папа. Не хочу сейчас говорить об этом...
 — Потому что — стыдно! Стыдно, вот и стесняешься говорить! Ведь она тебе даже детей родить не сможет! Ей же сорок с лишним! А ты — пацан! У вас не будет детей — понимаешь ты или нет?
 — А зачем нам дети? — тихо сказал сын, опуская глаза. — И зачем вообще нужны дети?
 — То есть как? — растерялся Серов.
 — А так. Зачем вообще надо жить на этой поганой земле?

— Да ты что-о?... — выдохнул Серов, глядя на сына со страхом.

— А ничего. — и сын быстро глянул на отца. — Ладно, папа, я пошутил. Ты шуток не понимаешь, папа. В этом твоя беда.

— Нет, сынок, я тебя понимаю... — пробормотал протрезвевший Серов. — Ты меня просто пугаешь... Вот скажи — чего ты хочешь от жизни?

— А ты? Ты сам — чего хочешь? Чего ты хочешь от меня, папа? Чего ты добиваешься? Зачем ты меня мучаешь?

— Я — тебя — мучаю?!..

— Да! И не только меня. Ты и маму измучил. Ты нас измучил, папа, своим занудством. «Во-первых, во-вторых, в-третьих...» Сколько можно, папа! Нету сил больше слышать твой бесконечный гундеж!

— Значит, так?... Что ж, спасибо, сынок. Спасибо. Хочешь, чтобы я отстал от тебя? Я отстану... Только ведь я умру — и ты же без меня пропадёшь!

— Почему это я пропаду?

— Да потому, что ты — ничтожество! Слабак! Маленький сынок! Что, забыл, как до десяти лет не мог заснуть, пока мамочка тебе на ночь сказочку не расскажет? До десяти лет! И сикался в постель — до первого класса!

— Хватит, папа!

— И сейчас — нашёл себе новую мамочку, чтобы тоже сказки тебе в постели рассказывала... о том, как она тебя любит... представляю картинку! «Бабушка, а почему у тебя ТУТ такие седые волосы?» — «А чтобы крепче любить тебя, мой малыш!..»

— Как тебе не стыдно, папа?!

— Чего мне стыдиться? Я твой отец, я имею право... — Ты не мой отец!

— Что... что ты сказал?

— Ты — не мой отец, — бледнея, повторил сын.

— Это в каком смысле?

— В самом прямом. Ты вообще бесплоден... мне мама говорила...

— Она... с тобой... говорила об этом?!

— Да, конечно. С тобой же говорить невозможно, папа.

...да, молча кивнул Серов, со мной невозможно

говорить, со мной невозможно жить, меня невозможно любить...

Серов молча смотрел на сына, который только что пытался убедить его, что не является таковым — и, конечно, ему не верил. А может, и верил. Он не думал об этом. Он ни о чём не думал. Он просто смотрел на самого близкого, самого дорогого ему человека — и мысленно прощался с ним. Никакой ненависти к сыну он не испытывал, наоборот, — в эти минуты сын стал ему ещё ближе, ещё родней, но и ещё... ещё обреченней, что ли...

Да, мы оба обречены, вдруг подумал Серов почти спокойно, нам не справиться с этой жизнью. Нам не справиться.

— Ладно, — сказал он, — замнём для ясности. Раз тебе всё равно — предлагаю прямо сейчас поехать домой...

— Хорошо, папа. Как скажешь.

Сын был явно смущён и уже жалел о том, что вот так сдуру, стгоряча, выдал семейную тайну и причинил отцу боль. Но ведь слово — не воробей!

— Всё, готово, — сказал отец, когда рюкзаки были брошены в багажник. — Поехали!

Они выехали за ворота, медленно спустились по размытой дождём дороге.

— Всё-таки «волга» — неплохая машина, — сказал Серов, включая «дворники», — двадцать лет на ходу, а как новенькая!

— Да, конечно, — робко поддакнул сын.

— Жаль, что по лесу так и не погуляли...

— Да, жалко.

— И в озере не искупались...

— Да... — сын глубоко, прерывисто вздохнул — и взмолился вдруг:

— Папа, ну пожалуйста, прости! Ты не верь мне, папа! Это я пошутил — со зла... Мама вовсе ничего такого не говорила!

— Да я понимаю, сынок. Не бери в голову. Ты тоже меня прости... А вот и Тихое озеро!

Он нажал на газ, круто повернул влево — и машина с обрыва рухнула прямо в воду, почти под прямым углом — и сразу пошла на дно.

Орлята учатся летать

Здравствуй, день семейного счастья!

Каждое третье воскресенье месяца Олег Орлов навещал своих четверых жён, брал у них своих четверых детей и шёл с детьми в парк (или в цирк, или в кукольный театр, или на остров Отдыха — смотря по погоде).

В это августовское воскресное утро погода была чудесная — солнце, лёгкий ветерок, тепло, но не жарко. Орлов тщательно побрился, быстро позавтракал, надел светлые брюки и клетчатую рубашку с короткими рукавами, спустился вниз, в гараж, сел в свою старенькую, но ещё вполне надёжную «хонду» — и отправился в семейный круиз.

Его первая жена Катя жила с его старшей дочкой Лизой совсем рядом, в соседнем доме. Когда Орлов позвонил к ним в квартиру, дверь сразу распахнулась — Лиза уже стояла на пороге. Черноголазая, смуглая, с торчащими в стороны косичками. Она бросилась папе на шею и стала, захлёбываясь, рассказывать ему о том, как она готовится к школе.

Ну да, ведь через несколько дней, первого сентября, Лизе надо будет идти в первый класс. И сейчас она спешила рассказать любимому папочке о том, как они с мамочкой купили вчера новенький рюкзачок, и цветные фломастеры, и альбом, и карандаши, и тетради... Уф!

Вторая жена, Наташа, проживала в центре города, куда Орлов с Лизой добрались быстро. Сын Витёк, четырёхлетний карапуз, похожий на Винни-Пуха, уже поджидал их во дворе дома. Наташа молча кивнула Орлову, укоризненно постучала ногтем по циферблату часов (мол, запаздываешь, дружок) — и тут же ушла в свой подъезд.

— Ну, куда поедет? — спросил Орлов, когда дети расселись в машине.

— В парк! — заявила Лиза.

— А я хочу в берёзовую рощу, грибы собирать, — важно сказал Витёк.

— Ладно, решим по ходу, — Орлов глянул на часы. — Айда за Тоней!

Двухлетняя Тоня, дочь Орлова от третьей жены, Маргариты, проживала с мамой на набережной, возле Коммунального моста. Вся компания поднялась на лифте на восьмой этаж — и радостная хохотушка Тоня присоединилась к ним.

— Теперь — за Кешей. Полный вперед!

И они помчались на правый берег, где на окраине проживала четвёртая жена Орлова, Земфира, с его самым несчастным и самым любимым ребёнком Кешей — восьмилетним дебиллом-дауном, очень легкомысленно и беспутного папу. И вот уже все влятером отправились снова на левый берег. После бурного обсуждения решили всё-таки ехать в центральный парк. А там их поджидали всевозможные развлечения и сладости.

Для начала зашли в кафе — и Орлов взял всем по мороженому и по молочному коктейлю. Потом Лиза попросила жвачку — и пришлось покупать эту гадость для всех. В этот день Орлов ничего не жалел для своих детей, раз в месяц можно и раскошиться (если не считать алиментов, которые он исправно платил всем четырём жёнам).

Посетили комнату смеха, потом комнату страха (вторая понравилась детям больше — скелеты, вампиры и прочая забавная нечисть). Потом прокатились на колесе обозрения — и Орлов показал детишкам с высоты птичьего полёта, где что находится в их родном городе.

— А вон мой дом! — кричала Лиза.

— А вон мой! — ревниво подхватил Витек.

— И мой! И мой! — визжала счастливая Тоня.

— Га-га-га! — радовался и глупый Кеша, который в свои восемь лет ещё не умел разговаривать.

Потом прокатились на детской железной дороге, а потом — на большой карусели.

Сидя рядом со своими детьми в карусельной кабинке, обнимая их, прижимая к себе их кукольные нежные тела, Орлов чувствовал себя очень счастливым. Карусель вертелась, мелькали чужие лица, а рядом, совсем рядом были родные, сияющие мордашки детей, его детей, его любимых ненаглядных детишек.

— Эй, быстрее, карусель! — кричала Лиза. — Крути сильнее, карусельщик!

— Га-га-га! — кричал Кеша.

— Ах вы, мои орлята! — с умилением произнёс Орлов. — Птенчики вы мои сиротливые...

— Орлята учатся летать! — пропела Лиза и засмеялась, глядя на папу.

Они долго ещё развлекались, испробовав почти все аттракционы. Наконец день семейного счастья подошёл к финалу. Орлов развёз детей по домам и уже поздно вечером вернулся в свою однокомнатную холостяцкую квартиру.

Улыбка блуждала по его лицу, пока он раздевался, принимал душ, заваривал кофе, усаживался перед телевизором.

— Как хорошо, — сказал он, продолжая улыбаться и обращаясь к самому себе, а может быть, и ещё к кому-то, — как хорошо, что я — один... бог ты мой... как хорошо... как спокойно... как тихо...

Старики и дети солнца

Жена с дочерью затеяли в квартире евроремонт и спланировали Сухова на весь август в Переделкино, в последний Дом творчества, оставшийся от разворованного Литфонда.

— От тебя всё равно дома проку мало, — сказала холёная супруга, — будешь только под ногами путаться. На дачу не заработал, вот и катись в Переделкино. Может, что путнее наконец напишешь.

Она была права. В последние годы Сухов окончательно убедился в том, что всё его прежнее многолетнее творчество никому не нужно. А ведь целый стеллаж в домашней библиотеке занят его книгами! Тут и трилогия о Гражданской войне «Пылал закат», и повесть для юношества «Любовь не игрушка», и роман-эссе «Окно в завтра», за который он на заре перестройки отхватил государственную премию. И много чего ещё. Но всё это — в прошлом, а прошлое, как поётся в старинном романсе, кажется сладким сном. И давно уже нет новых книг, нет и переизданий, и на старости лет Сухов превратился в нахлебника, паразита, живущего на заработки предприимчивой супруги, ведь нельзя же всерьёз принимать его скудную пенсию, даже и с лужковскими добавками.

Так что спорить с женой он не стал и охотно отправился в Переделкино.

Поселили его в старом корпусе со сталинскими колоннами на фасаде, на втором этаже, рядом с большим балконом. Последний раз он был в этом заведении в августе 1991-го, в те самые дни пресловутого путча, когда Сухов, ещё бодрый и почти молодой, каждое утро после завтрака уезжал на литфондовском уазике в Москву, «на баррикады». Вечерами, возбуждённый и полный революционных впечатлений, он возвращался в дом творчества и горячо рассказывал коллегам по перу обо всём увиденном...

Господи! Какой же я был тогда молодой и глупый, подумал старый и умный Сухов. Какие мы все тогда были глупые... И как быстро, катастрофически быстро мы все постарели...

Он шёл по коридору на первый свой нынешний завтрак в столовую — и поглядывал на развешенные по стенам фотографические портреты знаменитых некогда, а ныне полузабытых писателей, былой гордости отечественной литературы... И где они все? Ведь многие же ещё живы... но ни слуху о них ни духу!

И в столовой почти никого не было. Сухов считал человек десять, не больше. Согбенные старики и старухи, серые тени, еле живые призраки прошлого, привидения соцреализма. А ведь тогда, в девяносто первом, этот зал был полон и Дом творчества был битком набит писателями... Куда ж они все подевались? Неужто вымерли, как динозавры или мамонты?

— Что-то мало нынче писателей, — заметил он подошедшей официантке, худенькой кареглазой девушке в джинсах и зелёной кофточке. — На весь корпус — не больше дюжины...

— А в новом корпусе—вообще ни одного,—подтвердила она.—Приходится сдавать его в аренду лётчикам с Внуково. Да и эти писатели,—кивнула она на старичков за соседними столиками,—больные все... По ночам скорая помощь приезжает—то к одному, то к другому... иногда и увозят.

— Странно,—задумчиво произнёс Сухов.—Очень странно.

— Что будете кушать?—спросила официантка.

— А что есть?

— Перловая каша, варёное яйцо, творог со сметаной...

— Годится,—сказал Сухов.—Как ваше имя, красавица?

— Катя,—она чуть порозовела.

— Так вот, Катюша... Несите всё, что есть. А обедать я сегодня не буду, вы уж меня не ждите... Разгрузочный день!—Он рассмеялся.—Хочу поработать, не отвлекаясь. Подкреплюсь днём яблочками—и хорошо.

— Ваша фамилия—Сухов?—спросила Катя, сваясь с какой-то бумажкой.

— Так точно. Артемий Сухов.

— Простите... вы—Артемий Сухов?—повторила она растерянно и даже изумлённо, примерно так, как если б он назвал себя Аркадием Гайдаром или Дарьей Донцовой.—Тот самый Сухов?

— Какой—тот самый?—и он подумал испуганно, что она, вероятно, приняла его за кого-то другого, из новомодных.

— Ну... который написал книжку «Приключения Винтика»... Это вы?

— Да-а... был такой грех в молодые годы,—усмехнулся Сухов и покачал головой.—Если честно, Катюша, про Винтика я сочинил ради денег... в те времена за детские книги очень хорошо платили...

— Да при чём тут деньги!—вспыхнула Катя.—Это же моя любимая книжка! «Приключения Винтика»—это... это... это почти так же здорово, как Гарри Поттер! Я читала вашу книжку раз двадцать, не меньше!

— А я уж её и забыл совсем,—Сухов вздохнул.—Так что, не знаю, Катюша, радоваться мне вашим словам—или печалиться...

— Конечно, радоваться!

— А другие мои книги вы читали? Например—«Любовь не игрушка»... А?

— Нет... не помню... Но «Приключения Винтика»—это классная книга! Просто супер! Она мне от мамы досталась—такая старенькая, потрёпанная, зачитанная вся... У меня её все девчонки в классе выпрашивали, чтоб почитать!

— А мальчишки?

— Ну... и они тоже. Особенно мне нравилось то место, где Винтик находит свою потерявшуюся собаку—я просто вся изрыдалась от переживаний! Это самое потрясающее место в книге! Супер!

— А вот я, извините, даже и не помню, что там в этой книжке происходило...

— Да не может быть! Я вам просто не верю! Как можно забыть такую суперскую историю! По ней можно кино снимать... вы не пробовали?

— Вы уверены?—вяло среагировал Сухов.—Впрочем, всё это, Катя, чушь... чепуха... чтобы про Винтика—кино?... Ерунда!

— Да что вы понимаете?—возмутилась она.—Кто сейчас читает ваши романы? А «Приключения Винтика»—это, может, лучшая ваша книга!

Она говорила так горячо, так убеждённо, что Сухов на несколько секунд чуть ли ей не поверил. Но от этих её слов он не испытал никакой радости. Ведь сам-то он точно знал, что «Приключения Винтика» были написаны за пять дней, ради денег. Это была стопроцентная халтура! А вот «Окно в завтра» он создавал года три, не меньше, и вложил в эту книгу всё самое сокровенное, все свои самые заветные мысли и чувства... и не зря, нет, не зря эта книга была удостоена государственной премии! Да, сейчас её подзабыли, но это временно, и настанет её пора, люди снова потянутся к подлинной духовной пище, отвергнув нынешние суррогаты... Он верил в это! Если не верить—и жить не стоит.

До ужина он и впрямь просидел за рабочим столом, съел одно лишь яблоко, выпил бутылку минералки без газа. Потом вышел на балкон—там расселась в креслах весёленькая компания слегка поддавших стариков и старух. Они шумно болтали, перебивая друг друга, распевали песни комсомольской юности, рассказывали фривольные анекдоты. Особенно выделялась одна дурашливо-говорливая старушонка, кокетливо и манерно сюсюкающая и звонко хохочущая, как избалованное дитя. Сухов тут же сбежал от них—и отправился в парк, прогуляться перед ужином. В одной из беседок он увидел парочку разумянившихся стариков, сидевших в обнимку и поочередно приглатывающих из фляжки недорогой коньяк. А на дальней аллее встретил известного некогда сибирского писателя, почти классика, который брёл в одиночестве, что-то бормоча, размахивая руками и пошатываясь. Вид у него был совершенно безумный. Сухов с ним поздоровался, но тот его не заметил. Внезапно классик свернул с аллеи в чащу, подошёл к берёзе—и, упёршись крутым лбом в белый ствол, обильно помочился тугой шумной струёй, чем вызвал невольную зависть у страдающего хроническим простатитом Сухова. «Какая простота нравов»,—подумал Сухов и криво улыбнулся. А классик постучал могучим членом по стволу берёзы—и подмигнул растерявшемуся Сухову: «Чтоб крепче стоял—связь с природой-матушкой!» И засмеялся.

Сухов в смятении развернулся—и быстро пошёл назад, провожаемый хриплым смехом сибирика.

На ужин на каждый стол поставили по графинчику полусладкого розового вина. Радостные старички, уже успевшие принять на грудь во время балковнских посиделок, выпили и халявного винца—и всем стали весёлые, помолодевшие. Наперебой ухаживали за Катюшей, которая смотрела на них

с сочувствием, как добрая медсестра на безнадёжно больных пациентов.

— А вы почему не пьёте? — спросила она у Сухова.

— Сегодня разве праздник?

— У нас каждый вечер — праздник, — усмехнулась она. — Пусть потешатся, старые... ох, извините. Я вас не имела в виду.

— А я и не считаю себя стариком, — чуть игриво заметил Сухов и налил вино в два бокала. — Ну-ка, продегустируем... А что? Очень даже вкусно... Угощайтесь!

— Я такое не пью.

— А какое вы пьёте?

— Ну... зачем говорить об этом? — Катя смущённо потупила карие очи. — Я бы выпила джина с тоником... или мартины...

— А это реально?

— Вполне. Разве вы не заметили — в этом же корпусе, где столовая, на втором этаже — ресторан «Дети Солнца»... Там каждый вечер такое творится! Лётчики гуляют с бортпроводницами... ну и деловые из Москвы иногда...

— Какие лётчики?

— Я ж вам рассказывала — с аэропорта Внуково. На одну ночь останавливаются у нас, в новом корпусе. Зачем номерам пропадать? Ведь писателей-то почти нет, вы же сами видите. Вот и пускаем лётчиков. Под них и кабак открыли... ну не только под них, конечно...

— Так, может, сходим туда? — предложил вдруг осмелевший Сухов. — Я угощаю.

— Вы шутите! — рассмеялась она. — Меня могут уволить, если узнают, что я с пациентами... то есть с клиентами... то есть с писателями гуляю. У нас это не поощряется.

— Какие пустяки! — отмахнулся Сухов. — Значит, договорились. Встречаемся в холле второго этажа, ровно в девять...

— Сегодня?

— Конечно, сегодня! И никаких отговорок, Катенька! Будьте гуманной — сделайте мне приятное... Ну, хотя бы, в знак читательской благодарности — как любимому автору... Я же ваш любимый автор?

— Это точно, — и она вздохнула. — Ну хорошо. Я постараюсь.

— Чего тут стараться? Приходите — и все дела!

— Ладно. Если приду — буду ровно в девять. А если меня не будет, то вы уж не ждите...

Он ждал её до десяти — она так и не пришла. То есть она пришла, но значительно раньше и не одна. Уже с половины девятого она была в ресторане «Дети Солнца», но не с ним, а с молодым лётчиком Витей. Поэтому Сухов её и не встретил. Он уже хотел уходить, когда увидел спускающуюся по лестнице Катю в обнимку с лётчиком Витей. Лётчик Витя был в красивой форме и сам был красивый, издалека было видно, что это лётчик, а не писатель. Лётчик Витя был молод и пьян. Он был весел и добродушен. Он был очень обаятелен и знал это. Его круглое лицо с кошачьими усиками излучало любовь ко всему миру и в том числе к писателю Сухову, оказавшемуся на их пути.

— Как же так, Катя? — прошелестел оскорблённый Сухов. — Я вас жду, жду... а вы...

— А что — я? — скрывая смущение, сказала очаровательная Катя.

— Вы обманули меня...

Катя была хороша — в сиреневом лёгком платье и светлых туфельках, с распушенными короткими волосами и сияющими карими глазами. Она была свежа и аппетитна, как черешня.

— Ну, извините меня, простите, — забормотала она.

— А в чём проблема, малышка? — продолжая щедро улыбаться, спросил лётчик Витя. — Чем ты обидела дедушку? Это твой дедушка — я угадал?

— Нет... это писатель... он очень хороший писатель!...

— Да верю я, верю! А фамилия — не Альцгеймер? Шучу! Шучу! — и лётчик Витя радостно, как родного отца, обхватил Сухова за худые плечи. — Сам я, конечно, вас не читал, но — ей верю! Котёночек врать не станет! За что я её полюбил? За чистую правду в каждом слове! — Лётчик Витя притянул к себе Сухова и жарко зашептал ему на ухо:

— Слушай, писатель... пошли сейчас с нами, в мой номер, там выпьем ещё по чуть-чуть — и ты пойдёшь спать, а мы... ну, ты меня понимаешь?

— Оставьте меня! — воскликнул, чуть не плача, Сухов. — Оставьте меня в покое!

— Фу ты, какой обидчивый, — лётчик пожал плечами, — очень обидчивый дедушка, спасу нет... Ну, извини. Пошли, Котёнок! Прощай, Альцгеймер!

И он повлёк за собой покорную Катю.

А Сухов вернулся в свой номер и сел на продавленный сотнями писательских задниц старый диван. Нет, он не плакал и не рвал на голове редкие пегие волосы.

Так тебе и надо, старый дурак, думал он, глядя сухими глазами на драные выцветшие обои. Очень скоро вы все — такие, как ты, — вымрете — и придёт конец великой русской литературе. И — пусть! Так и надо! Мы — тени, мы — призраки, еле живые трупы, наши книги никому не нужны, мы жрём чужой кислород, нам всем пора в братскую могилу. А там, рядом — в ресторане «Дети Солнца» — там юные, наглые, счастливые хозяева жизни. Лётчики-пилоты, бомбы-самолёты... молодые деловые... Они — живые. С ними — жизнь! А читать им некогда, да и незачем... да и что — читать-то?!

Чёрный день

Седов был ещё не старым человеком, ни одного седого волоса (вопреки фамилии), ему и пятидесяти не исполнилось, когда с ним приключилась эта беда, настоящая беда, по сравнению с которой все прежние горести и напасти были сущими пустяками.

Он всегда заботился о завтрашнем дне. Выросший в бедной многодетной семье, Седов с юных лет задался целью — обеспечить будущее своих будущих детей, а поэтому как только начал работать после вуза инженером на заводе, от каждой скудной полочки не менее червонца клал на сберкнижку. На «чёрный день». Инженером он был смыслённым, и всё чаще ему стали приплачивать

за «рацухи», а когда появилась возможность организовать кооператив, он тут же занялся бизнесом. И на «чёрный день» стали откладываться уже не червонцы, а сотни и даже тысячи.

Он женился, завёл детей—дочь и сына, и будущее наследников казалось безбедным и лучезарным. Но тут рухнула советская власть, а следом грянула инфляция—и Седов лишился всех своих сбережений. Если бы он хранил денежки дома, а не в сберкассе, то смог бы наверняка успеть их хоть как-то реализовать. Но в сберкассах вдруг перестали выдавать вклады, а если и выдавали, то не более пятисот рублей за раз, это ж курам на смех, короче, Седов потерял свои капиталы. Однако после этого он не пал духом—и впредь решил не доверять сберкассам, а хранить денежки дома. К тому времени его приняли на работу в городскую администрацию, в отдел приватизации, где «откаты» текли сами в руки, достаточно было лишь ставить подписи на предлагаемых документах, и главное—всё по закону. Дети подрастали, жена расцвела краше прежнего, они купили дачу и машину, но Седов не забывал о «чёрном дне»—и хранил свои деньги в домашнем сейфе. Однако судьба снова посмеялась над ним: разразился дефолт 1998 года и все седовские накопления обесценились в несколько раз. Он с запозданием понял свою ошибку: деньги надо было хранить не в рублях, а в долларах! И в дальнейшем Седов постарался это учесть и с ещё большим рвением принялся копить баксы на «чёрный день».

И ведь накопил за десять лет приличную сумму. Не будем её называть—пусть это останется тайной Седова. Только его тайной. Только его. Ибо только он, Седов, знал, где запрятан заветный сейф с долларами, а запрятан он был на дачном участке, под полом беседки, и об этой тайне Седов не поведал никому, даже верной и любимой жене, не говоря уж о легкомысленных детях.

На эти денежки его семья могла бы безбедно прожить хоть полвека, даже если бы Седова вышибли с работы. Но его не вышибли. Случилась куда худшая беда—инсульт.

Седова разбил паралич. Ещё вчера он был жизнерадостным и активным чиновником мэрии, любящим мужем и заботливым отцом, рачительным хозяином, пекущимся о благосостоянии своих близких. А сегодня он превратился в немую беспомощную развалину, в живой труп, нуждающийся в постоянном постороннем уходе и надзоре. Это было ударом для всей семьи. Жена и дети очень скоро почувствовали всю катастрофичность ситуации—ведь дочь с сыном ещё учились в университете (без стипендий, кстати, на платной основе), жену недавно сократили в той фирме, где она получала хоть какие-то гроши, а сберкнижки ни у кого из них не было. И парализованный Седов не успел дать на этот счёт никаких распоряжений и даже намёков. Сейф с долларами лежал себе в сырой земле под полом беседки на дачном участке—и никто об этом не знал, кроме немого паралитика Седова.

Он с ужасом и тоской смотрел на своих недоумевающих домочадцев и был не в силах ни слово

произнести, ни даже шевельнуть пальцем. Он лежал, как бревно, с открытыми глазами. Он лежал и думал о том, что судьба опять, уж в который раз и теперь окончательно, обыграла его, одурачила, оставила с носом. Он смотрел на шалопаю-сына, про которого знал, что тот прогуливает лекции, гоняет на отцовской «хонде» с девками, просиживает часами на порносайтах и не способен заработать даже рубль. Он смотрел на лихую дочурку, которая путается с такими же лихими парнями и не спешит замуж, да и кто её теперь возьмёт, бесприданницу, а заработать она может разве что своим юным телом. Он с отчаянной жалостью смотрел на постаревшую жену—безработную, бестолковую и беспомощную.

Как он мог—не оставить завещания? Как он мог—не посвятить жену в тайну спрятанного сейфа? Старый перестраховщик, идиот, маразматик... Ах, он, видите ли, не думал, что всё именно так обернётся! Он не думал, видите ли, что его славная лучезарная жизнь завершится так быстро и так унижительно... А ведь надо, надо было предвидеть! Ибо жизнь, любая жизнь, даже самая героическая, всегда и у всех заканчивается только этим, и ничем больше. Вот теперь и лежи, догнивай тут смердящим обломком, любуйся, как твои близкие с отвращением и брезгливостью ухаживают за тобой (ведь на медсестру у них нет денег), подкладывают под тебя судно, протирают тебя камфорным спиртом, меняют тебе бельё, стараются не дышать и не смотреть на твои гниющие зловонные пролежни...

И ему захочется умереть, поскорее исчезнуть, но даже это он будет не в силах сделать. Он не в силах ускорить смерть. Он не смог распорядиться не только своей жизнью, но даже и смертью.

И он долго ещё, очень много мучительных месяцев, пока не изнурит своих близких до отчаяния и ненависти к нему, будет лежать пластом на этой кровати. Пока повторный инсульт не доконали его—и все (в том числе и он сам) не вздохнут с облегчением: наконец-то!

...А закопанный под полом дачной беседки сейф с невредимыми долларами обнаружат спустя несколько лет китайцы, которые будут строить на месте бывшего седовского участка новый торговый центр «Дети Солнца». Но к тому времени доллары выйдут из обращения, а единственной денежной единицей во всём мире будет юань.

А мы не заблудимся?

В пятницу вечером Розов позвонил своей бывшей жене Наташе (с которой, впрочем, в разводе не был, просто жили раздельно)—и предложил в выходные куда-нибудь вместе, втроём, прогуляться. Втроём—значит, с дочкой Иришей, которая в свои пять лет уже стала отвыкать от папы.—Что это тебя на прогулку потянуло?—усмехнулась в трубку жена.—То целый месяц молчал, а тут...

—Соскучился—разве не ясно?—бодро сказал Розов.

— Ох уж, соскучился. Врёшь ты всё. Если б сучал—жил бы с нами. А то—и разводиться не хочешь, и с нами не живёшь.

— Вот и встретимся, и попробуем склеить разбитую чашку,—картинно выразился Розов.—Нет, серьёзно, Натаха, хочу вас увидеть... особенно Иришу!

— А при чём тут чашка? При чём тут чашка? И при чём тут я? Вот и гуляй с Иришей, а у меня дел домашних полно. Домработницы, как ты знаешь, нету...

— Ладно, хватит ворчать. Завтра ровно в одиннадцать я к вам подъезжаю, будьте готовы. Пойдём по тропе.

— По какой ещё тропе?

— Увидишь!

Ровно в одиннадцать он приехал к ним в Академгородок. А обещанная тропа начиналась, оказывается, совсем рядом с их домом и вела вниз с крутого горного склона, откуда открывался замечательный вид на Енисей, дачные посёлки вниз, синие отроги Саян на другом берегу. Короче, роскошная панорама.

Он с Иришей шёл по тропе впереди, дочка крепко держалась за его руку потными от волнения пальчиками и то и дело повторяла: «А мы не упадём?... А мы не разобьёмся?». Наташа шла сзади, она боялась смотреть на расстилавшееся внизу пространство, так как у неё кружилась голова, и на самом крутом повороте тропы она присела на корточки и стала передвигаться на четвереньках, с помощью рук. Розов оглянулся на неё: — Тебе помочь? Голова закружилась?

— Нет... просто колени чего-то ослабли...

— Это от страха... Ириша, стой возле этого камня, а я маме помогу...

— Не надо!—вскрикнула Наташа.—Сама пройду, без твоей помощи... Ты специально меня сюда потащил—чтоб унижить... я знаю! Я всё поняла! Хотел продемонстрировать мою слабость, мою беспомощность... А я—сама! Я могу! Я всё могу!

Она резко выпрямилась на дрожащих ногах и, перебарывая страх, посмотрела вниз, с обрыва. Бледное лицо, злые синие глаза. Ох, как постарела. А ведь ей только тридцать. Он же чувствовал себя совсем молодым и бодрым, хотя был старше её на десять лет.

— Ты, главное, смотри только под ноги,—сказал он.—И ставь ноги боком, вот так... чтобы не скользили! Я же просил тебя надеть кроссовки... а ты...

— Ладно, хватит... хватит меня учить!

— Мамочка, почему ты не слушаешь папу?—склонив светлую головку, произнесла Ириша.—Папа плохого не посоветует, ведь он учёный... профессор!.. правда же, папочка?

— Да идите уже!—крикнула Наташа чуть не плача.—Тоже, советчики...

— Ириша, а вон видишь—ящерка пробежала,—сказал он, словно забыв про жену.—А вон—глянь-ка—стрижи прямо в горном склоне живут, там у них гнёзда... видишь?

— Ага! А вон, папа, орёл летит!

— Это коршун, детка... но тоже красивая птица. Как парит! Как парит!

Потом тропа кончилась, они отдохнули немного на скамье возле автобусной остановки—и отправились дальше. Розов решил провести их через открывшийся недавно мужской монастырь. Когда подошли к монастырским воротам, он спросил у жены:

— Ты захватила платки?

— Какие платки? Зачем?

— Ну... вам с Иришей надеть. Женщинам неудобно—с непокрытыми головами.

— Что ж ты не предупредил?

— А разве я вчера тебе не сказал? По-моему, я...

— Ничего ты не говорил!

— Ну ладно, ладно. Ничего страшного. Мы в храм заходить не будем. Пошли, покажу вам, где захоронены расстрелянные монахи.

— А мы не заблудимся?—спросила Ириша.

— Нет, деточка.

Среди сосен стоял большой деревянный крест, к нему была прибита табличка с фамилиями невинно убиенных монахов. Их было около сотни. Расстреляли их в 1919 или в 1920 году. Ясно, кто. Большевики, кто же ещё.

— А в советские годы в монастыре был дом отдыха,—сказал Розов.—И я здесь отдыхал однажды с мамой. Помню, я ещё удивлялся—почему стены в доме отдыха такие толстые? И никто мне не объяснил тогда, что здесь был монастырь. А уж про расстрелянных монахов и вообще никто не заикался...

Розов думал, что жена поддержит эту тему, заинтересуется его рассказом, но она сухо промолчала, и разговор иссяк.

— Ладно, пошли дальше,—сказал Розов.

Из монастырских ворот они вышли молча и по дороге тоже не проронили ни слова. Только Ириша шла, приплясывая и напевая что-то своё. Возле кардиологического санатория было кафе «Три львёнка», где Розов предложил остановиться и перекусить.

— Три львёнка—это мы!—воскликнула Ириша.—Папа, мама и я... Хочу мороженого!

— Будет тебе мороженое,—сказал Розов.

Он подозвал официантку, заказал двести граммов коньяку, три салата, виноград и мороженое. — Хочу два мороженых—ананасное и шоколадное!—потребовала Ириша.

— Ладно, уговорила.

— Хватит с неё одной порции,—строго заметила Наташа.—Давно ангиной не болела?

— Ну, ма-а-ма...

— Да ладно, Натаха, пусть полакомится,—вступился за дочку Розов.

— Не тебе ж с ней потом возиться, а мне!

— Почему—не мне?—сказал он вкрадчиво.—Вот давай сейчас всё это и обсудим...

— Нечего нам обсуждать. У тебя своя жизнь, у нас своя...

— Ох, Натаха... Вы—часть моей жизни. Я же мириться хочу. Как ты не можешь понять!

— Ты—хочешь? А меня спросил? Спросил? Хочу я мириться или нет? Думаешь, прогулялся с нами

по горной тропинке, завёл в монастырь—и всё прошлое забыто?

— Откуда такая злость, Натаха?

— От верблюда!

— Ха-ха-ха! От верблюда!—радостно подхватила Ириша.— А вот и кушанья принесли! А вот и моё мороженое—прохладное шоколадное и прекрасное ананасное... Спасибо, папочка!

— Съешь сначала салат,—приказала Наташа.— И веди себя прилично.

Ириша обиделась, надулась.

Розов налил коньяку себе и Наташе.

— Я не буду,—сказала она.—Пить при ребёнке... среди бела дня... Ты меня с кем-то путаешь!

— Тогда я—за тебя,—и он выпил коньяк, закусил виноградкой.—Очень жаль, что ты нынче не в духе. Очень жаль.

Потом они направились к берегу Енисея через сосновый лес. На одной из солнечных полянок нашли целую россыпь земляники.

— Помнишь фильм Бергмана «Земляничная поляна»?—спросил Розов.—Мы с тобой вместе смотрели, давным-давно... помнишь?

— Не помню,—сказала Наташа.—Ты, наверное, не со мной смотрел.

— Нет, с тобой... Ириша, глянь, сколько тут земляники! Эти ягодки специально тебя дожидались! — А мы не заблудимся?—спросила Ириша.

— Да нет же, детка. Ты же со мной. Со мной никогда не заблудишься. И потом, тут вокруг полно людей. Видишь, вон—корпуса санатория, там люди лечат большое сердце...

— А у тебя, папа, сердце здоровое?

— Слава богу, не жалуясь.

— А у мамы?

— И у мамы тоже.

— Откуда ты знаешь?—раздражённо сказала Наташа.—Откуда ты про меня знаешь—больная я или здоровая?

— Ну, Натаха... я ж просто так...

— У тебя всё—просто так! Просто так женился, просто так ушёл... теперь вот вздумал просто так мириться!

— Я насильно не навязываюсь...

— Ага, уже передумал?

— Ничего я не передумал! Сколько раз повторять—я хотел всерьёз обсудить наше будущее...

— Какое будущее? Какое будущее? И для этого ты потащил нас на эту дурацкую прогулку? Заставил меня корячиться по этой тропе? Чтобы унижить перед ребёнком? Чтоб показать, какой ты сильный и какая я слабая? А ведь на самом-то деле всё—наоборот! Это я сильная, а ты... а ты... — Хорошо, сдаюсь,—устало сказал Розов, подымая руки.—Хенде хох. Гитлер—капут. Затыкаюсь. Беру свои слова в зад.

— А нельзя без грубостей?

— Можно. Как скажешь, Наташа. Как скажешь. А ты чего, Иришенька?—и он притянул к себе дочку, заметив, что она плачет.

— Я хочу... я хочу... я хочу покидать в реку камушки!—всхлипывая, сказала Ириша.

— И я тоже—хочу!—Розов подхватил дочку на руки и побежал с ней вперёд, не оглядываясь на Наташу.—Друзья идут купаться, за рыбами нырять!—затянул он вдруг пионерскую песню.—На пляже кувыряться, под солнцем загорать! Друзья шагают в ногу, никто не отстаёт, и песню всю дорогу тот, кто хочет, тот поёт! Ура-а!

Вот и берег, вот и сверкающая на солнце река, вот и каменистый пляж, на котором Розов когда-то, давным-давно, проводил свои летние каникулы. Тут где-то рядом был пионерский лагерь «Дорожный», в котором он когда-то... давным-давно... совсем в другой жизни...

— Только никаких купаний!—строго сказала Наташа.—Уже конец августа, и вообще вода в Енисее холодная... Посидим на берегу, я полотенце постелю. А ты, Ириша, можешь покидать свои камушки.

— Я умею делать блинчики!—похвасталась Ириша.

— А я всё-таки искупнусь,—сказал Розов, сбрасывая брюки и рубашку.—Здесь вода чистая...

—...и холодная,—сказала Наташа.

— Ничего!—и он с разбегу плюхнулся в воду, нырнул, вынырнул, потряс головой, как пёс, раскидывая брызги, и поплыл прочь от берега.—Ух, хорошо-то как!

— Серёжа, ты это... не заплывай далеко!—как-то тревожно вдруг крикнула вслед жена.—Помнишь, однажды у тебя ногу свело... помнишь?

— А ты—неужели помнишь?—смеясь, ответил он—и продолжал уплывать от берега всё дальше и дальше.

Вода была и впрямь холодной. Ногу и впрямь могло свести судорогой, как когда-то... когда-то... когда всё у них было так хорошо... Но ему нравилось дразнить жену—и он плыл и плыл, словно дожидаясь ещё чего-то. И он дождался!

— Серёжка, гад!—крикнула она в панике.—Ну, пожалуйста... возвращайся! Серёжа! Пожалуйста! — Папа! Не уплывай!—закричала Ириша.

— А-а, то-то же,—задыхаясь от злорадного победного счастья, пробормотал он—и развернулся, и поплыл к берегу, где его дожидались, размахивая руками, плачущие жена и дочь.

Чайки над кладбищем

Это была дружная семья. Дружно жили, дружно спивались. Отец трудился на заводе слесарем, потом простудился по пьянке—и после долгих мучений (пневмония, абсцесс) ему удалили левое лёгкое, он стал инвалидом, а пенсия маленькая, не прожить. Подрабатывал сторожем. Его дочь Надя, которой уже за тридцать, тоже нигде постоянно не работала, хотя когда-то на одни четвёрки закончила школу, а потом училась на курсах секретарей-машинисток, знала неплохо английский, разбиралась в компьютере, но по специальности так и не смогла устроиться (скромница-тихоня), вот и сидела дома, вела хозяйство. Её мама, его жена, много лет проработала в издательстве корректором—но потом её сократили (кому нужны в наше время корректоры?—все книги выходят «в авторской редакции»), и от обиды она стала ещё

больше выпивать, отчего и «посадила сердце» (так объяснял её муж).

Больше года, как мамочка умерла, и теперь каждую субботу отец с дочерью приезжают на кладбище, навещают её могилу. Сегодня им повезло с погодой. Небо яркое, голубое, над кладбищем с рыдающими криками носятся белые птицы... да это же чайки!

— Ты смотри — чайки! — воскликнул изумлённый отец. — Откуда они тут взялись? Ведь ни моря рядом, ни озера... и Енисей далеко... Что за чудо природы?

— А может, детка, это вовсе не чайки? — нежно усомнилась Надя. Она почему-то в последнее время стала звать отца «деткой».

— Да что я, слепой? Чайки, говорю тебе! — Он даже разволновался.

— Ну, хорошо, пусть чайки, разве я спорю?

— Да что ты со мной как с больным? — возмутился отец. — Будто я чаек не видел...

— А я вот не видела — и мне не стыдно, — и Надя рассмеялась тихим русалочьим смехом. Это ей так казалось, что у неё русалочий смех.

Она была совсем молодая на вид, эта Надя, не дашь тридцати, «на спирту сохранилась» (шутил отец) — и выглядела как двадцатилетняя: худенькая, с чуть раскосыми глазками, с вечно шаловливой улыбочкой.

Только речь выдавала её — сбивчивая, ускользающая, не всегда внятная, с нелепыми хохотками и вздохами... Речь пьющей женщины, которая почти не бывает трезвой.

— Смотри, какой большой кролик! — восторженно крикнула Надя.

— Где? Да это же заяц... Заяц! Русак! И откуда он тут взялся? — опять удивился отец. — Ну, заяц, погоди!

Но косой уже ускакал прочь, перепрыгивая через могилы.

— Чудеса, — не мог успокоиться отец. — Чайки, зайцы... не удивлюсь, если тут, на городском кладбище, волк объявится...

— Ой, не надо, детка! — притворно всплеснула ладошками Надя. — Волков я боюсь...

— Со мной никого не бойся... А вот и наша мамочка, — сказал отец, подходя к могиле жены. — Сейчас мы тебе цветочки свежие поставим, могилку почистим... Соскучилась без нас?

— Ой, соскучилась, — вздохнула Надя, присаживаясь на скамейку возле могилы. — Сейчас, мамочка, мы тебя помянем...

Надя разложила на столике варёные яйца, помидоры, свежеспечённые блины, банку с киселем. Поставила и бутылку водки, и два стограммовых гранёных стаканчика.

— Детка, ты сильно не утомляйся, у тебя же одышка, — заботливо сказала она отцу. — Сядь, отдохни, я сама приберу могилку. Тут вообще-то чисто, мы ж недавно с тобой прибирали... Сядь, кому говорю! Вот так. Ну, давай выпьем за мамочку — пусть ей земля будет пухом.

Выпили. Закусили.

— Мамочка слышит нас, — строго сказал отец, — гадом буду, она нас слышит!

И он всхлипнул.

— Ну-у, детка, не плачь, — и Надя вытерла слёзы с его морщинистого лица. — Не надо плакать. Ты же бывший солдат. А солдаты не плачут...

— Как сейчас помню, — сказал отец, наливая по второй, — шестьдесят седьмой, китайская граница... остров Даманский... ежедневные провокации!

— Ну, детка, ну, перестань...

— Я был ранен! И дважды контужен! — надрывно вскричал отец. Залпом выпил водку и выдохнул:

— Ух! Как мы им всыпали, этим китаёзам... как мы им вломили!

— Ну, детка... Ты лучше выпей ещё... Вот так, умница! А теперь — спой свою любимую... про комбата... Спой, детка!

И скособоченный худой старик с редкой седой щетиной на голове запел про батяню-комбата, но на первом же куплете сорвался в плач — и затрясся, завыл, зарыдал.

— Сука-жизнь... — хрипел он, мотая головой и разрывая на груди рубаху. — Эта сука-жизнь... скорее бы сдохнуть!

— Что ты, детка! — обняла его раздумавшаяся Надя, прижалась к нему, поцеловала его в седую стриженую макушку. — Зачем же тебе умирать? Не расстраивай мамочку — ведь она нас слышит... И меня не пугай, ведь я же тебя люблю... У меня ведь нет никого на свете, кроме тебя! — Она гладила его по худому плечу, гладила и бормотала:

— Разве плохо нам с тобой живётся? Ну, денег мало — но это же пустяки! У меня пособие, у тебя пенсия — не пропадём!

— А я сторожем опять устроился, — прерывисто вздохнув, тихо, но гордо сказал отец.

— Ну, вот видишь... Мы с тобой, моя детка, будем жить долго-долго, мы будем помогать друг другу, поддерживать друг друга... Мы никогда не расстанемся, а значит — никогда не умрём!

Он что-то хрипел невнятно, она бормотала свои ласковые бессмысленные слова, а над ними зигзагами носились белые чайки, а из-за дальнего куста косил глазом серый заяц, а из-за соседней могилы выглядывал серый волк, а с голубых небес на них нежно смотрела мамочка и роняла прозрачные алмазные слёзы.



Артур Чёрный Рассказы дорог

139

Артур Чёрный
Рассказы дорог

Рейд

...Только что вышла луна. Белый молочный свет стоит над мёртвой пустой дорогой. В холодном унылом лесу лежат под деревьями серые пятна снега. Собравшись у командирской палатки, негромко переговариваясь между собой, мы нагружаемся в трудный ночной рейд. У меня не хватает в вещмешке места, и я ссыпаю в карманы дополнительный боекомплект. Сухпай на несколько суток, вода, оружие, котелки, лопаты, пилы, топоры, спальники... На каждом по сорок-пятьдесят килограмм груза. Оставлены как лишний вес ненужные нам бумаги: тёплые домашние письма, затёртые военные билеты, старые записные книжки. Взяв на спину невыносимую «сто пятьдесят девятую» станцию, садится и уже не может подняться щуплый радист-азиат. Кто-то забирает у него аппарат.

Мы идём уже несколько часов. Идём, задыхаясь, выплёвывая липкую густую слюну, цепляясь руками за древесные стволы и ветви, падая друг на друга. И никто не может встать заново без чужой руки. Даже на кратких своих привалах мы стоя вешаемся на деревья, опасаясь, что при подъёме с земли, просто не выдержат мышцы.

Изматывающий ночной рейд... По лесам, горам, по оврагам и рекам... Рейд на полной выдаче сил, при полном отсутствии реальности. Это я и не я ползу сейчас с разбитыми в кровь руками на новую высоту. И стараюсь не думать, что за ней останется другая.

...Я сижу на земле и ковыряюсь в кучах опавшей листвы. Мне нужна вода. Ручей почти мёртв, и ту жижу, что катится по дну, едва можно собрать в ладонь. За спиной, не оборачиваясь на меня, проходят своим маршрутом группы. Они медленно поднимаются по тропе, медленно утекают во мрак. Уже никого нет. Только я и лес. Обступив русло ручья, висят на корявых ветвях подмытые чёрные буки. По мохнатым валунам бродят жёлтые пятна луны. «Надо идти...» — говорю я себе, и снова опускаю в воду заледеневшие пальцы. «Надо идти...» — повторяюсь я, но не могу оторваться от грязного поила.

На вершине пластом лежит рота. Люди грызут под собой снег, и даже командир, положив на землю лицо, уже не поднимает глаз. Мы так и валяемся на этой высоте с оружием, даже не скинув с плеч груз. Это выше человеческих сил — бросить и снова поднять свой вещмешок.

Я разорвал сапог и теперь на каждой переправе проверяю босой ногой температуру речной воды. У меня нет и минуты вытащить, выгresti лежащий под пальцами снег. Я давно не чувствую своей ступни, но боюсь остановиться,

понимая, что уже не догоню роту. «Скорей бы убили», — думаю я, потому что не знаю, хватит ли остатка жизни, чтоб отдохнуть.

Мы проходим по какому-то селу. Из-за высоких оград изредка лают громадные псы, в нескольких домах зажигается и гаснет свет. Мы идём в полном молчании, и слышно лишь, как у кого-то на спине стучит плохо привязанная крышка котелка. Но для нас ничего этого нет. Нет села, нет лая собак, нет дороги, ночи и луны. Есть лишь она: одинокая чужая спина, что всё уходит и уходит вперёд. И главное — не потерять, не отпустить её от себя. Нужно лишь помнить, что кто-то другой, не ты, должен первым закончить этот рейд. Сломаться, отстать, сдохнуть...

...Их группа выбилась из сил, осталась позади роты, сбилась с курса и проскочила наше ущелье. Они не сели на отдых, не остановились, не посмотрели вокруг. Они просто шли вперёд, тупо, безразлично, на полном автоматизме. А их уже ждали, уже зажигали на их пути сигнальные огни. Сначала, всё отдаляясь и отдаляясь, впереди горели какие-то фонари, затем вспыхнул костёр, ещё позже взлетела с земли зелёная ракета. Им казалось, что они догоняют роту, а их вели в ловушку: в плен и на смерть...

Нагнали их бойцы разведроты. Кто-то из командиров вовремя начал считать людей.

...Заходят ночные светила. Уже не деревенеют мышцы, и нам всё равно, продолжит ли наши страдания день. Исчезло всё: усталость, злоба, голод и сон. Мы будем идти, пока не свалимся замертво.

...Пока мы были на ногах, никто не помнил про ветер. И вот теперь, когда можно было упасть на землю и уснуть, мы не знали, где искать от него спасения. Тяжёлый, с мокрым снегом, он сдирал брезентовые накидки, забирался в спальники, заносил лицо. Мы лежали на голом поле, прижавшись друг к другу, спрятавшись за кочки, укрывшись по ямам, выплёвывая изо рта снег и песок. Потом кто-то нашёл старые окопы первой войны — размытую узкую колею. Мы просто переползли, перекатились в это убежище. Никто не вышел на пост охранения. Нам было всё равно, проснёмся мы или нет.

...Подтянув под себя босые ноги, мы сидим на бревне, и сушим на костре промокшую за день одежду. От выставленных в ряд сапог восходит густой едкий пар. Брошенные на них сизого цвета портянки зияют широкими своими прорехами. Небрежною кучей свалены наземь раскрытые вещмешки. Костровой дым пахнет тушёной, жжёной кирзой, дешёвым солдатским чаем и ещё каким-то

печальным, каким-то тёплым и неуловимым запахом... Запахом школьных пионерских костров. Запахом позабытой далёкой родины...

Вокруг нас сплошное белое поле, откуда, медленно собираясь, подходит к огню поднявшийся из-под снега взвод. Подкуривая непослушными руками, садятся ближе к теплу хмурые наши товарищи. Жаль, ни у кого из них нету спирта...

Уже вечер. Мы спали весь день. Утром снова на марш.

...Даже теперь, через столько лет, меня до сих пор не отпускает тот рейд. Их были десятки, таких рейдов, но снится всегда один. По ночам я всё ещё тащу в горы тройной свой боекомплект, оружие, спальник, сухпай... Всё ещё не могу напиться из грязного того ручья в холодном чеченском ущелье. А за спиной, всё так же, не оборачиваясь на меня, проходят своим маршрутом группы. Они медленно поднимаются по тропе, медленно утекают во мрак... А надо мной висят на корявых ветвях подмытые чёрные буки. И рядом бродят по мшистым валунам жёлтые пятна луны... Я помню, какой свежий, какой сладкий вкус имела она, как жадно я собирал её со своих ладоней... Я так и не напился ею досыта — живой водой чеченского леса.

...Через несколько дней мы вышли в Зандаку.

От той грозной силы, что ушла отсюда прошлым летом, остались лишь огромные траншеи окопов, ржавые простреленные буржуйки, рваные с золотыми якорями шинели да недобрые воспоминания местных банд.

Морские дьяволы Севера... Я видел этих морпехов на рынке Хасавюрта в апреле 2000-го. Тогда мы стояли много километров выше Зандака, но по праву считали их своими соседями. И гордились этим соседством. Потому что уже тогда их подвиги, мёртвых и живых, были известны нам из газет. Кто видел в военных журналах второй чеченской фотографию «Гордый рейд морпехов», знайте, — это оттуда, из мрачных чащоб Зандака, из той кузницы, где ломалось железо, но не согнулся человеческий дух. Отыщите это фото ещё раз и снова взгляните в их лица! Эти идущие навстречу смерти ребята, — это наша гордость, наша надежда и наша боль. Они всегда были первыми, они часто проливали свою кровь, но ещё чаще лили чужую. За это их уважали, боялись и ненавидели здесь.

И вот там, в Дагестане, при короткой и случайной встрече на рынке, мы едва успели сказать друг другу несколько слов. Мы ещё только выгружались из БТРА, а они уже покидали город и собирались у кунга зила.

Чёрная пехота Зандака — голубоглазые ангелы смерти, русоволосые наши мальчишки с добрыми светлыми лицами... Они так не вязались с тем образом, который дала им война.

— В Зандак?

— Да. Успеть надо до вечера.

— Что там у вас, мужики?

— ...Зиму пережили, — как-то спокойно и хозяйски улыбнулся их командир.

Зандак. Зима 2001-го года.

Здесь, как у себя дома, открыто гуляли распоясавшиеся наёмные банды: негры, арабы, прибалты, хохлы. Те, кого за нехваткой времени, не успела зарыть в землю грозная пехота северных морей. Они никуда не делись, никуда не бежали из здешних лесов.

Мы садились в засады, устраивали секреты, ходили по ночам в этот лес на поиски врага. Даже сейчас мне очень хорошо помнится то, что они были безлунны, давние эти ночи с неясной надеждой на утро. Так стоял такой мрак, такие чащи из ветвей, старых пней, лиан, стволов и кустов, что даже посланные в нас пули сворачивали с пути. Неуловимые вестники смерти, они пролетали где-то над ухом и вовсе не жужжали, а как-то неприятно скрипели в воздухе. Но часто был неслышим и невидим сам враг.

На партизанской этой войне мы уже усвоили главное правило: ночь всегда опаснее дня и, если ты встретил утро, значит будешь жив до тех пор, пока снова не сядет солнце. И промежуток между утренней и вечерней зарёй — это огромный пласт времени, в котором почти не убивают, в котором можно попробовать излечиться от страха. Мы привыкли, что смерть — это гостья ночи, и уже не ждали её днём. Но однажды всё поменялось местами.

Первым погиб командир. Он шёл впереди и даже не успел понять, что произошло. Видимо, его подвело чутьё, видимо, он уже устал от войны. Он ещё что-то кричал, ещё шёл в полный рост, требовал прекратить стрельбу, полагая, что это ошибка, что второпях напоролись на своих... А потом прилетела эта пуля и разом всё кончилось. Снайпер попал ему в лицо, и от удара у него развалился затылок.

Боевики били из-за деревьев, из-за плетёной ограды забора. Мы, пригнувшись, бежали с одной его стороны, а они, встав в полный рост, почти в упор стреляли с другой. Мы спешили навстречу огню, и никто из нас не вспомнил, что вчера и все дни до этого многие офицеры называли нас трусами, многие говорили, что при первом же выстреле мы потеряем отвагу и в панике подадимся назад. Никто не отступил, никто не кинулся в сторону.

Один был застрелен в живот и, падая с разбегу на камни, разбил себе лицо. Он так и лежал, с синими руками у порванных скул, весь в крови от паха и до бровей.

Откуда-то с опушки колотил пулемёт, ломались срезанные им ветви, рикошетили от мёрзлой земли летящие по нам пули. Вслед за командиром свалилось фланговое охранение, закричали первые раненые. Кому-то из них перебило ноги и он, не в силах подняться, крутился на одном месте, протягивая к нам руки. Вокруг прыгали пули, и Мутный, первый, кто кинулся на помощь, не добежал лишь несколько метров. Его застрелил тот же снайпер, что минуту назад открыл нам счёт. Раненого вытащил другой.

Это была обычная засада, обычная тактика партизанской войны. Обычная смерть, которой когда-то заканчивается наш путь.

Кто сумел отбиться и выжить, остался служить дальше, кто не сумел, кому не повезло, отправился по домам. Они так и улетели от нас, на одном вертолёте, все вместе, раненные и убитые. И кто-то из первых ещё умер в госпиталях.

А через несколько дней после этого боя солдат из гранатомётного взвода нашёл в кустах чью-то грязную, всю в надписях, нателную рубашу. Он знал Мутного ещё по Забайкалью и сразу разглядел свой почерк. Когда-то, перед самой отправкой сюда, они писали пожелания друг другу, оставляли телефоны и адреса и собирались встретиться после войны. А Мутный, вместо блокнота и тетради, положил перед всеми белую солдатскую рубашу. Этот памятный альбом с именами, с телефонами и росписями товарищей, со словами «Счастья тебе, брат!», «Мы обязательно вернёмся!!!», «Пусть третий будет только за любовь!», болтался теперь на мокром голом кусту, измазанный грязью, с надорванным рукавом. Наверное, когда разбирали вещи убитого, — никому не нужное это наследство, — кто-то правильно решил, что мёртвому вряд ли пригодятся пожелания и адреса живых. Потому что не мёртвые приходят к живым, а мы следуем за ними. Туда, на исконный их адрес: на старую переправу Харона, за тёмный бездонный Стикс, на тихие берега Леты. В смиренную гавань наших отцов...

...Она никому не пригодилась, и её вышвырнули на ветер, исписанную живыми людьми рубашу. А солдат, подобравший ненужную эту тряпку, сложил её в вещмешок и собирался увезти родителя погибшего. Ведь у него тоже где-то были мама и папа.

Не знаю, довёз он её или нет.

Мутный так и остался при своей кличке среди всех, кто его помнил. Кажется, звали его Александром. Хотя сейчас я не ручаюсь за это.

Говорят, был он хорошим парнем. И этого достаточно.

Не знаю, как на чеченском, но на нашем русском, слово «Зандак» само по себе звучит как-то зловеще. Что-то тёмное и нехорошее слышится в нём.

Оседлав ведущую в этот бандитский посёлок дорогу, мы утвердили на ней свои блокпосты, поставили самодельных шлагбаумов, набросали в колею камней и взяли под контроль всякое движение. Мы ходили в суточные наряды на дорогу, досматривали транспорт, копались в справках и пропусках и поражались обилием воевавших с нами людей.

Вот они, стоят передо мной, с оторванными на руках пальцами, с обожжёнными ушами и шрамами во всё лицо. У них новые, выданные лишь месяц назад паспорта граждан РФ. Видно, они недавно бросили оружие и попали под амнистию. Они улыбаются и пытаются шутить. Но я не верю им. Слишком недобры, слишком пристальные холодные их глаза. Может, это давняя привычка, а может, не так уж и далеко бросили они своё оружие.

На этих блокпостах мы часто являли собой не самый лучший пример этому народу. Часто умаляли своё достоинство и позорили нашу армию.

Чеченцы очень скоро поняли, как без лишних препятствий, без лишних вопросов пройти через каждый пост. Потому что мы всегда трясли с них продукты, стреляли сигареты, отбирали одеколоны и водку. И уже через день-два они сами начали привозить всё это и отдавать нам. Они смотрели на нас, как на попрошайек, а в нас не было гордости, чтобы заметить это.

Нас нельзя было ставить туда. Это было дело спецподразделений, милиции, но только не пехоты. Не тех, кто привык сидеть по окопам, выть на луну и выкармливать вшей. Кто ещё вчера отошёл от рабочего станка, оторвался от крестьянского своего надела.

Может, кто-то скажет: зачем про это теперь? зачем о том, в чём не было славы? Но ведь это было. Было на самом деле. И если мы, рядовые, побирались спиртом да едой, то целые состояния вывозили отсюда полковники и генералы. Вывозили машинами и бортами, не на одну квартиру или дачу. Всё объяснялось достаточно просто: мы были на войне, у нас был враг, а значит, должны существовать и трофеи. И вряд ли кто-то из нас жалел чеченцев и их имущество.

Если утро находило нас на блокпосту, то на ужин почти всегда был сыр, лепёшки и молоко, реже табак и водка. Стояли солнечные зимние дни, и почти не выпадал снег. Как-то мы даже ходили босиком и загорали на солнце до самого вечера. Но это было, пока не отступал день. Совсем с другими дарами шла сюда ночь.

Лето бежало от нас, едва пропадало солнце. Сразу за закатом возвращалась зима. Она волокла за собой бледные туманы, ветер, град, дождь или снег. За какой-то час каменела и принимала минусовую температуру тёплая земля окопов. И ещё вместе с холодом в них приползал неотвязный, непостижимый страх. И чем большая тишина населяла округу, тем сильнее хотелось бить в набат и скликать к оружию.

...Я сберёт тот мир, не растерял его краски, не забыл его голос, не оставил и, не предал. Я вновь и вновь вспоминаю Зандак.

...Мы сидим на самом краю обрыва и молча глядим, как, вытекая из тьмы, поднимаются на нашу вершину мутные волны тумана. Они тянутся из ущелья и, перевалив через бруствер, совсем затопливают наш пост. В метре от окопа из белой холодной каши торчат короткие вершины деревьев. Всё остальное поглотил туман.

Уже подошла к полночи толстая стрелка часов. Уже выбрался из своей берлоги враг.

По дну ущелья бродят чеченцы и, подражая звеню, поднимают протяжный унылый вой. Мы уже научились различать их голоса, и нас не обманет шакал. Они ждут, когда сдадут наши нервы и мы начнём бестолковый огонь. Но они напрасно не спят, напрасно ходят здесь по ночам. Нет, это верный расчёт, это верное понимание человеческой психики. У нас давно не в порядке с нервами, и мы бы с радостью потратили на этот лес все свои патроны, весь свой боекомплект. Но нам запретил стрелять командир. Запретил взводный, ротный, комбат. Днём сюда приходил бестолковый

начальник миномётной батареи, свихнувшийся на служебной карьере подполковник Чайка. Он лишь минуту потратил на ущелье, наскоро что-то записал в своей книжке и поклялся за одну ночь вывести здесь всё живое.

Над нашими головами пролетают хвостатые железные мины. Они падают где-то внизу и гонят бандитов на склоны, к границам наших постов. Сквозь разрывы, сквозь тонкий протяжный свист мы ясно слышим, как щёлкают рядом сломанные ветви, как хрустит под ногами старый слезавший снег. Эти люди ходят совсем рядом, и мы, не имея в тумане глаз, нутром чувствуем друг друга... Они снова здесь—ненасытные убийцы ночи. Они снова пришли за кровью—злое потомство волков. Но нам запретил стрелять командир. Запретил взводный, ротный, комбат...

...Остывают отработавшие стволы миномётов, спускаются в ущелье и пропадают в лесу до следующей ночи чеченцы. Освободив окопы, отползает в чашу белесая мгла. Поплыли по небу студёные звёзды обеих Медведиц. Теперь, когда всё позади, к нам, наконец, подбирается страх...

Ещё лишь третий час ночи. И у нас уже не хватает сил...

...Я снова хочу вернуться в тот край!

О, Жизнь, верни мне моё счастье! Отступите назад, бездушные послевоенные годы! Померкни, небо Чечни от бомб, снарядов и мин! Заявляйте сады Зандака, чтобы снова стать кладбищем!

Я жду возвращения! Дорогу—обожжённому сердцу!

Мой ангел

Говорят, у каждого человека должен быть свой ангел. А ещё говорят, он является тем, кто праведнее, кто честнее всех проживёт эту жизнь. И многие умирают, так и не увидев нетленного своего стража.

Когда-то в детстве у меня была мечта увидеть этого ангела. Я воровал помидоры и огурцы с соседних огородов, поджигал по обочинам бурьян, с восторгом рубил деревья в лесу, бил по помойкам пустые бутылки и, казалось, вёл самую честную, самую праведную жизнь. А он, несмотря на всё это, никак не хотел приходить. И я только сомневался, только гадал, какой он носит облик, невидимый мною ангел. Правда ли, что у него за спиной есть большие белые крылья, которые носят его по светлому небу? Правда ли, что он поможет собрать мне самую большую в мире коллекцию значков и игрушечных солдатиков? И если я просыпался рано, то обязательно выглядывал в окно: нет ли там его, идущего с неба ангела? Жаль, но он всегда вставал раньше и ни разу не был застигнут в пути.

Прошло детство, и я забыл про ангела. И долго-долго не вспоминал наивную эту мечту. Но в двадцать лет я впервые увидел его—бестелесного духа с бледным лицом недавней смерти. Я не мог ошибиться. Ко мне во сне приходил мой дед. Приходил первый раз в жизни—это я помню точно. Он был какой-то слабый, бесцветный и просто стоял и смотрел на меня. А потом ушёл, не сказав

ни слова. Это было в марте 2001-го; я окапывался в Ведено, а дед умирал в Красноярске. Он приходил прощаться, но я не понял этого. Я так и не разобрался, для чего его принесло в мой сон. Поэтому что тогда просто не знал, как быть со смертью в том мире, где нет войны. Неужели и там можно умереть?

Про деда я услышал лишь по возвращению из Чечни. Но за эти годы так и не собрался, так ни разу и не сходил навестить его могилу.

Он вновь приходил сегодня, этот истлевший в земле покойник. С тем же лицом, как и там, в Ведено, такой же бесцветный, но сильный и решительный. Дед взял меня за руку, и долго вёл по улицам Грозного. Я видел, куда он шёл. Он искал выход из этого проклятого города. Дед знал: следующий год будет последним.

И тогда я понял, что всё моё далёкое детство, всё то время, прожитое среди книжек и игрушечных войн, я просто не там искал своего ангела. У него не было крыльев. Он всю жизнь ползал здесь по земле. Эти крылья, белые его крылья, деду оторвало ещё на финской границе, ещё при бомбёжках 41-го года. Оторвало ещё там, в гнилых болотах Карелии, в лесу из лишайной берёзы и чахлой сосны, где товарищи, такие же бескрылые ангелы, мимоходом, совсем случайно, выкопали его из завалившегося окопа. Там было не до белизны. Они, военные разведчики Великой Отечественной, слишком часто лежали в грязной земле, слишком много передавили в своих рейдах чёрной фашисткой твари.

Я проснулся оттого, что меня колотило от ужаса. Моя комната, одинокая моя комната, была полна тишины, тьмы и, притаившихся в ней кошмаров. И почти час я боялся высунуться из-под одеяла и только задыхался, только плакал от великого и необъяснимого страха.

...Он так и не нашёл выход из этого города. Мой дед не вывел меня отсюда. Потому что я только молчал, только плёлся сзади, и не показал ни одной дороги.

Последний гражданин Советского Союза

Его подобрали где-то на тёмных улицах и привезли ночью в отдел местные милиционеры-чеченцы. Что он делал в столь поздний час в страшном этом городе—давно известно: побирался, шлялся по помойкам, глотал вонючий спирт и искал место согреться. Да ещё, наверное, молился, чтобы пущенная с какого-нибудь блокпоста очередь прекратила наконец бесполезное его существование.

Он сидит в кабинете участковых, у самого края стола, пьяный, грязный, скрученный радикулитом. Рядом пишет рапорт чернобровый пзпээсник полка. Я неспешно перебираю в пальцах рваные листы износившегося паспорта СССР. Этот старик русский, имеет постоянную прописку в Грозном с сентября 1968 года, с незапамятных времён нашего Нерушимого Союза. Никому не нужный гость из счастливого прошлого, он стыдливо прячет под стул проношенные свои башмаки.

— Отпусти его, Рамедин, — обращаюсь я к дежурному участковому.

Переведя на Рамедина глаза, безучастно ждёт его решения пэпээсник. Ему всё равно. Ему нужна лишь расписка в приёме задержанного.

Вдвоём со стариком мы потихоньку идём до ворот. И он не перестаёт жаловаться, не перестаёт изливать мне свою душу. Он когда-то родился здесь, женился, развёлся, утратил связи с бывшей семьёй, отработал свой век и вышел на пенсию. Война застала его здесь, во дворе родного дома, где так давно миновало его детство. Война разнесла дом, увела соседей, лишила его корки хлеба и отняла пенсию. Он ничего не получал с 91-го года. Ни одного рубля, ни одной копейки. Всё, что ему осталось от той страны, где так тяжело прошла его трудовая жизнь, всё, что он заработал на ней, — это гнилые фрукты и заплесневелый хлеб с базаров и рынков. Это нищая котомка, болтающаяся на костлявом его плече. Это редкая случайная милостыня, поданная сердобольным русским или чеченцем. Это право входить с ночёвкой на каждый порог Грозного, в каждый его раздолбаный дом, в каждый обвалившийся его подвал.

Как же он выжил тут при обеих войнах?!

— Паспорт бы поменяли... Вы будете частым гостем здесь, — обращаюсь я к нему уже у ворот.

Старик даже не удивляется глупому этому совету, а только качает головой, только безрадостно смотрит на меня заплаканными глазами:

— Кто мне его поменяет?..

Я открываю ворота и молча отправляю его во тьму. В чёрную ночь Грозного, которой страшусь сам. В которую никогда не выхожу без оружия и полного запаса патронов.

Он проваливает со двора, а я лишь потом понимаю, что нужно было дать ему каких-нибудь продуктов, консервов или хотя бы денег. А я не дал. Не подумал. Забыл.

У старика уже отказывают ноги. Он несколько раз споткнулся на пути к воротам, несколько раз схватился за протянутую мной руку. Наверное, он скоро умрёт. Как когда-то умер его Советский Союз.

Позже, перед уходом из Грозного, я специально буду искать во всех списках задержанных его фамилию. Но, наверное, я ошибся тогда, когда сказал, что он будет частым гостем милиции. Старик никогда больше не доставлялся в наш ровд.

Это был последний гражданин Советского Союза, которого я встретил на своём пути. Потому что вскоре уволился из милиции. И никто и никогда больше не подавал мне на проверку своего паспорта. Больше я не знал ни одного гражданина той великой страны, о которой однажды, трудной осенью 2004-го, напомнил мне Грозный.

Маскарад

Как я попал на эту свадьбу? Какой человек так посмеялся надо мной, выписывая пригласительный билет сюда? И зачем я пришёл на пышные похороны своих надежд?

... Это случилось на Новый Год. Их свадьба была приурочена к весёлому этому торжеству, потому что так решила она, потому, что, несмотря на возраст, она всё ещё оставалась ребёнком, всё ещё наивно любила детский свой праздник. И тем наряднее, тем счастливее казался холодный день декабрия, в котором так насадно плясали захмелевшие гости, так ярко горели огни наряжённой ёлки, так часто падала на пол белая пена шампанского.

Какой же это был год? Как же мне вспомнить, что за календарь отсчитывал тогда последние свои часы?

... А ещё перед этим был большой карнавал. Карнавал, на котором до упаду плясала вся эта свадьба. Карнавал с обязательными своими клоунами, масками и костюмами. А она, красивая, как никогда, восторженно принимала поздравления, комплименты, цветы. Она плакала от счастья и давно потеряла цветущую свою маску — смеющееся лицо Шехерезады. Она смотрела вокруг и ничего не видела, кроме своего счастья. Она была пьяна своей радостью и ничего не ждала, кроме сказки о вечной любви. Волшебной сказки длиною в жизнь. Той самой, о которой она так мечтала ещё со своего первого любовного романа — старой книги, прочитанной в далёкие школьные годы.

Она так и осталось той девочкой из-за школьной парты, что ещё не научилась верить в светлое и доброе на нашей земле. Что, будучи много раз обманутой жизнью, не изменила и не утратила своей радости к ней. Я всегда любил её за это. За то, что, сколько бы ни было огорчений, какие бы беды ни приходили к ней на порог, её никогда не оставляла надежда. За то, что над ней не имели власти ни одни земные богатства. Ни золото, ни слава, ни чужая удача. «Нужно жить ради других!» — часто по-доброму смеялась она над личными моими переживаниями. Я любил её потому, что никогда не знал более слабого и нежного создания, что бы так беспокойно мою душу. Чтобы так надрывало равнодушное моё сердце.

... Мы встретились после Грозного. Я пришёл к ней оттуда, с той чёрной земли, где без человеческой крови никогда не поднималось в небо привычное к жертвоприношениям солнце. Где я, нищий оборванец войны, напрасно искал в походной своей суме хлебные крохи человеческого счастья. До неё я просто не знал, не догадывался, не думал, что, кроме войны, есть что-то значимое в этой жизни. Что для того, чтобы отыскать счастье, нет нужды братья за оружие, не стоит лезть в каждый идущий на юг эшелон.

Каким же пустым, каким бесполезным существом я был до нашей встречи!

Грозный навсегда успокоил мою душу. Он убедил меня в том, что на земле не бывает счастья. Что все те годы, которые определила мне судьба, мои двадцать пять лет, — и есть предел этой жизни. Предел, за которым не лежит ничего, кроме пустого времени до старости и смерти. Я уже ни к чему не стремился, ничему не удивлялся и ничего не ждал от будущего. Катились дни, недели и месяцы, а у меня не было к ним никаких дел.

И вот в зал моего одиночества вошла она. И привела с собой ту негромкую и тихую свою спутницу—первую любовь моей жизни. А я не поверил ей. Потому что не знал, как она выглядит, потому что никогда раньше не встречал настоящую любовь. Я столько мечтал о ней, столько читал и слышал, а когда столкнулся, отвернулся и прошёл мимо. Я просто уехал, просто оставил её одну. А потом чуть не сошёл с ума. Но как поздно понял я случившуюся беду! Как напрасно пытался вернуться к ней несколько лет.

Как же я допустил, что мы навсегда расстались?! Как посмел уехать тогда?..

...Она не знала, не видала, что я здесь. А я уже ничего не мог изменить.

Не снимая маски, я сидел на дальнем краю стола и всё ещё не мог прикоснуться к рюмке. Я никого не знал здесь, кроме неё. И никому не открыл своего лица. Они сидели рядом—новоявленные родственники, пьяницы, поварихи, сутяжники и сплетники,—обсуждали приданое, глазели на молодых, вспоминали собственные мелкие обиды, ссорились и пили мировую. Они разбредались, снова сходились, пускались в пляс и валились на стулья. Привычно кричали «Горько!», давно не наблюдая в зале жениха и невесты. У них было столько забот, столько надежд на завтрашний день. И никому не было дела до страшной моей трагедии.

Неужели, она правда счастлива?! Разве может такое быть? Счастлива не со мной. И почему теперь, когда так давно разошлись наши пути, у меня всё ещё не хватает сил поверить в это?

Нет, я должен был прийти на этот праздник. Чтобы увидеть её счастье. Чтобы просто посмотреть ей в глаза. В те глаза, которые когда-то так радовались моему лицу, перед которыми я бы простоял на коленях целую жизнь.

Если бы я снял свою маску! Если бы я открыл ей своё лицо!

Но что стало бы с ней, если б она увидела здесь меня? Что я мог принести сюда, кроме смятения, кроме гнева или жалости? Что я мог дать ей, безжалостный, равнодушный, больше привычный к оружию, чаще других проливающий кровь. Я так давно обручился с горем и даже с ней не снял с себя безобразного его кольца.

И тогда я понял, что навсегда опоздал к ней. Что она ушла совсем и никогда больше не вернётся, не напишет, не позвонит, не произнесёт вслух моего имени. Хотя ещё вчера, какой-то день назад, она могла это сделать. Могла вернуть наше счастье.

Она стояла у дверей, такая же статная, такая же красивая, как и прежде. Уходили последние гости, прощались случайные знакомые и дальние родственники. Кто-то уже нёс её шубу и распахивал салон свадебного автомобиля. Она так и ушла, не дождавшись, когда поднимется и выйдет последняя засидевшаяся за столом маска.

Я так и не подошёл, так и не протянул ей своей руки.

...Я сидел среди порожних рюмок, грязной посуды, остатков салата и ничего не видел перед собой, кроме пропасти, в которую провалилась моя

жизнь. Если бы у меня были слёзы, я бы плакал. Если бы здесь были люди, я бы принялся пить. Но никого не было в пустом зале, где валялись на полу никому не нужные игрушки: разбитые ёлочные шары, конфетти, мишура, поломанные цветы. А я сидел за пустым столом, стягивая шутливой своей парик—эту печальную маску смеющегося клоуна. Весёлую маску, скрывавшую за беззаботной улыбкой непоправимую свою беду.

...Какой страшный сон! Зачем он приходил в эту ночь?!

Я понял, что настало время навсегда отказаться от счастья. Настало время закончить мучительную эту историю. Теперь я знаю, что никогда больше не позвоню, не напишу и ни о чём не спрошу её. Не потому что перестал любить. Потому что боюсь, что всё это будет правдой.

Она так и не подарила мне фотографию, где мы вместе. Остался лишь он, давний мой сон, и нежное её имя: Наташа, Натали, Наташенька...

Я хочу ещё раз прийти на этот маскарад. Хочу снова увидеть этот жестокий сон. Я начал забывать, как выглядит её лицо.

Интервью с прокажённым

Он подошёл ко мне на автобусной остановке с просьбой закурить. Было уже темно, дул ветер, и у меня в руках все не хотели загораться спички. Я сжёг их около десятка и наконец, одолжив у прохожего зажигалку, протянул ему огонь. Прохожий не глянул на нас сначала, а, присмотревшись, лишь брезгливо поморщился и махнул рукой: «Можешь оставить...»

Мы сели на лавку и закурили.

— Как дела-то?—спросил я его.

— Трудно сейчас, зима. Обогреться бы по-человечески, да дров не хватает. Где их взять в городе, дров-то?..

— Давно здесь?

— Час почти брожу. А здесь давно. И Красноярск знаю уже много лет. Столько здесь пережито у меня и даже забыто...

— Не заладилось?

— Как видишь, не заладилось...

— Старик, расскажи, как жизнь прожил. Что было у тебя в ней?

— А чего рассказывать? Разве много было хорошего?.. А если что и было, сейчас не упомянешь. Жаль, мимо всё прошло...

Я с матерью рос, отец после войны от ран умер, мы и остались вдвоём. Тяжело жили, в нужде, в трудах, часто не только хлеба—соли в доме не было. Выросла меня мать, вытолкнула в люди, первым стахановцем в колхозе стал, никто до меня таких хлебозаготовок не добивался. Вся деревня, семь тысяч душ, за руку со мной здоровалась, старики в гости звали. В район меня возили показывать, грамот в избе нашей с какими только подписями не было. Гордилась мной мать, сильно гордилась.

Потом армия. В колхоз вернулся, гулял, долго гулял, года два, пока с сердцем в больницу не свезли. Всё пропил, всё прогулял—уважение, друзей, невест. Одна мать осталась. Уехал я, прибилась

к геологам, да и в тундру, молодой ведь был, всё в новинку, да и не мог я больше в деревне, стыд давил. От геологов к старателям. От них ещё куда. Сколько раз тюрьма стороной обходила, всё не счесть. А вот сума не обошла. И, знаешь, покатились годы, и всё под гору, и все, как две капли, друг на дружку похожие. Сколько лет так прошло! Пусто прошло, в скитаниях, в нужде. Всё думал: вот выберусь, вот встану на ноги, семью заведу, вернусь за матерью, заберу с собой. А не выбрался, не встал на ноги. И вернулся я нищий, уже к своему полувеку, совсем седой...

Это было под Владивостоком, двадцать лет назад. Мать в тот год умерла...

Всё нет автобуса. Он сбрасывает дотлевшую до пальцев сигарету. Я достаю из пачки ещё по одной и чиркаю зажигалкой.

— И всё-таки, что было самое важное в твоей жизни?

Старик качает лохматой головой:

— Его ещё не было, оно ещё впереди. Оградку хочу я матери на могилу навести да сосну обтесать, что покрепче. Без креста она у меня лежит.

— А собственной смерти... что раньше умрёшь, не боишься?

— Нельзя мне. Бог не простит.

Я ухожу к автобусу, а он остаётся сидеть. Разорванные полы его пальто болтают над коленями холодный ветер. У него чёрное, в окладе грязной бороды лицо и короткие обмороженные пальцы. От него пахнет плесенью и спиртом. Он бомж.

Мусульманин

У всякого человека наступает день, когда он наконец понимает, что не может жить, как жил прежде. Что нужно что-то поменять в жизни, поменять бесповоротно и без сожаления. Кто-то женится, идёт учиться, ищет новую работу. Но проходит время и многие понимают, что, несмотря на все перемены, они ничего не смогли изменить, ничего не исправили в своей жизни. Что не сделали и шагу, что так и остались топтаться на прежнем месте.

Но то, что мы ищем, всегда находится рядом. Оно не меняется из века в век.

Это вечно. Это путь к Богу.

...Рустам! Каким тяжким, каким долгим оказался для нас с тобой путь к истинной вере. Сколько приняли мы бед, сколько слёз, пота и крови пролили на этой дороге...

Я часто спрашиваю себя: почему мы ни во что не верили раньше? Неужели для того, чтобы впустить в своё сердце Бога, нужно было пережить ад на земле? Нужно было выбраться из топки чеченской войны. А сколько людей не смогли выйти из неё живыми! Скольких из них обратила она в холодные свои головешки!

Прежде чем впервые войти в божий храм, в этот тихий дом молитвы и человеколюбия, нам пришлось отравить свою душу лютой ненавистью к ближнему. Возжелать его крови и перекусить ему горло. Первые храмы, которые мы увидели в своей жизни,—это были, лежавшие во прахе, битые мечети Дагестана и Чечни. В тех полуденных странах нам много раз пришлось поджигать,

разрушать, вершить самосуды. Пришлось начать с худого, чтобы окончить добром.

Я не верил в Бога, пока не закончилась эта война. Он казался мне таким далёким, неземным, придуманным. Он был не нужен мне в жизни, как бывает не нужна негодная вещь. Ведь шли год за годом, разрушались сёла, зарастали поляны горюда, умирали люди, горела под ногами земля... А я всё не оставлял Кавказа. А я всё ещё был жив. И уже давно не боялся смерти. Так для чего трепетать перед Богом? Ведь самое большее, на что он способен—это только отобрать жизнь. А мне и так ни капли её не жаль. Пусть она уйдёт, сегодня или завтра.

Но прошла война, и я сам пришёл с покаянием к Богу. Потому что потерялся в жизни. Потому она никому не понадобилась на этой земле, никчёмная моя жизнь. Потому что некому было ответить на мой вопрос: «Для чего я остался жить?» И только Бог мог успокоить меня и сказать мне Правду. И, когда я поверил в Него сердцем, когда вошёл в Его храм, то впервые услышал в себе тихий Его голос: «Жди!»

И тогда я понял, что весь кровавый путь моей жизни, всё то время, потраченное на ненависть к ближнему, оказались дорогой к истинной Вере. Что для того, чтобы поверить в добро, мне нужно было столько потерять, столько изменить в себе, столько раз повстречаться со злом. Я понял, что сказанное Им «Жди!» обязательно обернётся в счастье. В то самое, которое я искал много лет, когда ни во что не верил.

Теперь я знаю: Бог не оставит меня.

...Рустам, мы отдельно друг от друга узнали, что началась война. Ты даже не отыскал меня, чтобы посоветоваться, расспросить и всё решить. Ты просто спросил кого-то в батальоне, кто знал обо мне. А когда тебе сказали, что еду и я, ты, не задумываясь, поставил свою фамилию в общий список. Потому что не мог оставить своего друга. Потому всегда готов был пойти для него на любые жертвы.

А, помнишь, как ты приехал ко мне с тёплых своих равнин на горную нашу заставу? Приехал в одном х/б и ещё из люка БТРа начал смеяться надо мной, закутанным в бушлат. А когда прыгнул на землю, то увидел под ногами снег и сам потянулся за курткой. Ты бросил экипаж, а я оставил свою заставу, и мы долго вдвоём сидели над ущельем, долго вспоминали о прошлом и строили планы на будущее. У тебя оно было проще, это будущее, в нём была какая-то твёрдая надежда, какой-то смысл жить. Тебя ждала девушка, переживала за тебя, писала письма. А мне никто не писал, не переживал, никого у меня не было. И этим мы могли поделиться только друг с другом. А ещё мы говорили, что устали от войны, что надо ехать домой. Тогда был май или июнь, я не помню. А потом ты уехал и мы встретились лишь в августе, лишь у того поезда, что вёз нас обоих домой.

Прошло лишь несколько дней после нашего возвращения, и я вновь засобирался туда. Я набрал твой номер и вновь услышал твой голос. Он был таким же, как и прежде. Ты всё ещё был лучшим моим другом. Первое, что сказал ты, это:

«Я с тобой!» Спасибо, Рустам! От всего сердца спасибо тебе за твою преданность!

Но я, больной войной человек, не мог искалечить твою жизнь. И отказал тебе, оставив тебя дома. Потому что искренне желал тебе счастья.

Потом, несколько лет подряд, я искал и не находил тебя. Мне казалось, что я потерял часть себя. Я думал, только моя вина, что прервалась наша дружба. Потому что я когда-то не написал, когда-то не позвонил, когда-то оставил твой след. Понимаешь, мне больше не с кем было поговорить о Кавказе. Некому было открыть эту рану, что так болела в душе. На всей земле не было такого человека, как ты!

Сегодня, когда через столько лет ты позвонил мне, ты унижил меня, обидел, наплевал в душу. Ты сказал: не ищите моей дружбы, оставьте меня, забудьте и не ходите больше у моего дома. Тебе не нужны земные друзья, от которых всегда идёт ложь, зависть, которые всегда могут предать. Ты ищешь друзей вечных, что однажды волей Аллаха вознесутся с тобой на небо. И таких друзей тебе может дать только ислам. И никто другой не достоин называться твоим другом, кроме мусульманина. Как тяжело, как больно было слышать твоё высокомерное: «Приходите, когда решите принять мою веру!»

Рустам, мы ведь сидели у одного костра и пили из одной фляжки! Неужели ты всё забыл?! Это мы, кто был с тобой на той войне, собираемся тебя обмануть и завидуем твоему покою?! Это мы мечтаем предать тебя?! Что за змея ужалила тебя, как же у тебя повернулся язык, так жестоко нас оскорбить?!

Так не бывает в жизни. Нельзя мерить людей по вере. Я убедился в этом там, в Грозном. Мои товарищи милиционеры-чеченцы ели из моего котелка, делились со мной патронами, стояли в одном окопе. Даже они называли меня братом. И для многих из них я до сих пор ближе, чем тот, кто и сейчас молится с ними в одной мечети. Никто из чеченцев не сказал мне: «Приходи после, когда примешь нашу веру». Да, они звали меня в ислам, но не потому что не любили Христа, а потому что я не верил в него. «У человека должен быть Бог!» — говорили они. — «Если нет Бога — пропасть тебе! Приходи к нам, русский».

...Что-то произошло, Рустам. Слишком много ночей отступило с тех пор, как погас тот костёр, где мы сидели вместе в последний раз. Кажется, это было ещё в Новолаке, а может в Дучи или Карамах... Я уже и сам ничего не помню.

Нам нужно вернуться туда, Рустам. К тому костру, где закончился наш прежний жизненный путь. Где мы ещё не успели взять в руки Библию и Коран. Где ещё не было ссор и глупых обид. Где нас, неверующих, когда-то съёл Бог.

Ты слышишь меня, мусульманин! Это я, христианин, зову тебе обратно!

Вернись, брат!

Тамбовский волк

Этот громадный, за два с лишним метра славянин явился в нашу палатку уже за закатом. Он бросил

свой рд и долго возился у входа, разбивая ломом суковатые листовяжные чурки. Потом собрал поленья, забил ими печь и принялся варить в котелке едкий густой чифирь.

В огромной этой палатке было пусто, как в степи. Мы впятером валялись в одном углу и давно не спорили, кому нынче топить буржуйку. Мы мёрзли, но не желали шевелить и пальцем в сторону печи. Мы стали такими философами этой жизни. Нас уже обокрали, уже бросили, уже забыли. Разве что-то изменится, если здесь, вместо холода будет тепло, а вместо мрака свет?... Разве отпустит нас Ханкала, если мы осветим и обогреем какой-то её барак?..

Начатое великаном чаепитие переросло в попойку. Кто-то притащил водки и за каких-то два часа сложил в штабеля всю нашу компанию. У буржуйки остались только я и гость. Я — потому что поклялся не пить в этот год, он — потому что пил наравне со всеми.

Как ему попала в руки, валявшаяся в тёмном моём углу книга, я не усмотрел. Он, пьяный, большой и невозмутимый, сидел и мял её в нетёсаных своих пальцах. Затасканная, в мягком переплёте книжонка одного известного автора. Давно не было задней корки. На передней стояло какое-то грозное название и имя издаваемой серии: «Спецназ». Раньше эта макулатура шла у нас на растопку печи и в туалет. Два дня назад я присвоил её себе, чтобы хоть на что-то отвлечься.

— Ты, что, до сих пор веришь в это? — спокойно, не переменяя лица, спрашивает полночный гость.

«Нет» — чуть не срывается у меня с языка. «Нет, не верю» — хочу ответить я, но здесь некому врать: — Раньше верил...

Качая головой, он протягивает мне книгу: — Знаешь, мне казалось, что так и нужно прожить свою жизнь... Я не о книге. О людях, которые живут для других. И по-особому живут, рядом со смертью. Ради чего-то воюют, что-то ещё защищают... Я раньше так мечтал надеть форму, так завидовал тем, кто её носит, так хотел уважения и наград... Я думал, нужно быть сверхчеловеком, чтобы добраться до этого...

— Это ведь детство, — говорю я. — Это у каждого было.

— Да, — соглашается он. — Детство было у каждого...

...Детство. Дорогое слово из счастливого прошлого на миг пресекло, перебило наш разговор. Словно просветлел и разошёлся скопившийся по углам мрак.

Детство! Ну, разве не было в нём этой военной романтики, этого заманчивого кровавого похода? Разве не мечтали мы о такой ночи, когда за брезентом палатки будут лежать бухты колючей проволоки, будут летать случайные беспощадные пули, будет сотрясать землю могучая артиллерия дивизионов?

Всё произошло...

Вот мы молча сидим в холодной своей берлоге, совсем рядом с бывшей своей мечтой. Она наступила, эта ночь. Но наступила в доме, а не на дворе. Проползла в душу. Все они сбылись, старые мечты нашего детства. Сбылись и у меня, и у него. Вот мы,

бывшие романтики, безропотно сидим у открытой печи с красными от огня лицами. Давнишние выпускники обманувшегося детства. Сидим и никак не можем поверить в этот обман.

Он вновь берёт книгу из моих рук: — Мало хороших. Мне почти не попадались. Это, — подводит он палец к грозному названию, — вражьё. И много таких. Я сколько ни читал — чушь. Не знаю, кто это так... Мне кажется, штабные, тыловые какие-нибудь, писаря, паркетные полковники... Боевой офицер, солдат, этого бы не написал. Там всё так громко, наигранно: дело настоящих мужчин, никто, кроме нас, справедливая месть, победа доброго над злым, эти рыцари в белых перчатках, всегда идущие по дороге правды, жертвующие собой чуть ли не за каждого встречного... Откуда они это взяли?!

Понимаешь, я попался на эту удочку. Не на книги, на живых людей, которых встретил до Армии. Спецназ! Краповый берет! Солдаты возмездия! Они были такими сильными, кого я встретил, такими мощными и достойными здоровой зависти, что я просто не устоял. Я помешался на этом, захотел жить, как они.

Но они ведь ничего не рассказывали!!! Ничего, понимаешь! Я вспомнил это потом, когда было уже слишком поздно. Когда сам подался по их пути. Они молчали, но не из скромности, не из пренебрежения к другим, не воевавшим, а от горя. Оттого, что не поворачивался язык рассказать то, на что смотрели глаза...

...Ветеран карабахской, абхазской и осетинской, ветеран первой чеченской, участник недолгой дагестанской, действующий боец этой войны, минутный мой товарищ не перестаёт жечь свои сигареты, и никак не может протрезветь. Прислонив к руке голову, он читает мне собственную, ещё неписаную книгу Ненависти и Правды:

— ... Там не было никаких подвигов и славы. Там вообще ничего не было, кроме крови. Кроме вырванных кишок и отрезанных голов. Кроме смерти, которая каждый день ездит у тебя на плечах и тянется к твоему горлу.

Какие там жертвы за первого встречного? Каждый первый встречный — враг! Все, кто не с тобой — враги! Всех под нож, под пулю, под землю! Там нет никакого стремления к добру, к справедливости. Это всё сказки для мертвецов. Выживают только самые жестокие, самые свирепые, самые безжалостные.

Мы возвращались с задания по одному, по двое со всей группы. Самые лучшие. Самые равнодушные и недоверчивые. Самые бешеные.

У кого никогда не было другого бога, кроме Дьявола. Мы сеяли вокруг себя столько смерти, столько страдания и зла! Мы были такой чумой, такой заразой войны! И ничему живому не было от нас спасения. Мы не оставили в живых ни одного пленного.

Мы никогда никого не жалели, но и сами были разменной монетой, сами ни у кого не вызывали жалости. Главное было выполнить задачу.

Мы даже не успевали к кому-то привыкнуть, а уже закрывали ему глаза. Мы попадали в засады,

в ловушки, выходили из окружения, теряли своих товарищей, подыхали сами.

И столько своих мёртвых бросили, спрятали в ямах, в лесу, в пещерах. Спрятали, чтобы потом вернуться, забрать и похоронить. Да только вот никогда не возвращались...

Они так и лежат там, объеденные лисицами, шакалами и червями. Некому было за ними возвращаться. За одним выходом следовал другой и те, кто прятал эти трупы вчера, сегодня умирали сами.

Им даже редко сочувствовали, этим погибшим. Если бы кто дал волю чувствам, он бы просто сошёл с ума... Стать умалишённым — это ведь ещё хуже, чем умереть.

Конечно, были товарищи. Настоящие, за кого и себя не жалко, но таких было лишь трое за много лет. Двоих я видел последний раз на первой чеченской, в 95-м, живыми. Про третьего ничего не знаю ещё с Осетии. — Он ухмыляется мучительной какой-то улыбкой. — Я рад, что не знаю. Это было бы тяжело, знать, что их нет...

... В печи догорают последние головешки листвяга. Взяв минуту молчания, приостановила свою работу свирепая артиллерия. Укатили за полночь скорые стрелки часов.

— Куришь? — вскрывает он чёрную пачку «Петра».

Я ворошу кочергой угли и совсем не гляжу на сигареты. Он, сложив на коленях руки, молча смотрит на огромные неповоротливые свои ладони. Сгибает и разгибает не ладящие с мирной работой пальцы.

— Знаешь, я бы в труде прожил. Как отец, — выкладывает он давнюю свою мечту.

На его одежде нет ни одной нашивки, ни одного знака, ни одной железки. «ОМОН, СОБР, спецназ, ГРУ, а может и просто какой-нибудь «дикий гусь»... — равнодушно размышляю я, и, не надеясь получить ответ, спрашиваю об этом:

— Откуда?

Но я ошибся, посудив по себе. «Откуда?» — это ведь вопрос не о профессии, а о родине.

— С Тамбова. Знаешь про город такой?

— Знаю. Говорят, там люди — волки.

— Нет. — Отрицательно мотает он головой. — Хорошие там люди. Это мы — волки.

Исполинский оборотень из Тамбова, он тянется к мохнатой своей груди и, поковырявшись в х/б, суёт в мою ладонь большие чёрные погоны с арабской вязью — почётный трофей, взятый с крупного бандитского командира.

— Видишь? Своими руками снял, — тычет он пальцем в погон. — Все кровью залиты были, когда снимал. Схватил-то я их чистенькими, на живом хозяине, а снял только с мёртвого... Все в крови были! Понимаешь меня?

«Погоны тёплые...» — думаю я, уже обо всём догадавшись:

— Когда мусульманину отрезают голову, он не попадает в рай.

— Да. Не попадает, — успокаивается он. — Затем и отрезал, чтобы дорая не дошёл. Незачем ему туда...

Я возвращаю исписанные тонкой арабской вязью погоны, — две почерневшие страницы, выдранные из старой восточной книги.

— Все в крови были... — снова повторяет он. — Да ничего, отстирал я...

Мы разошлись спать, а утром, поднявшись раньше других, я уже не обнаружил на нарах вчерашнего нашего гостя. Позже, когда проснулись остальные, кто-то мельком вспомнил про случайный его визит:

— Кто это был-то хоть?

Ему безучастно ответили:

— Да тоже неудачник какой-нибудь...

Имени его я так и не вспомнил. А забракoванную им книгу раздал ребятам. Она ведь, действительно, была дурна. Да и не до чтения было нам. Нужно было растапливать печь и хоть с чем-то ходить по нужде.

...Много времени прошло с той поры и много жестокости пришлось увидеть мне на войне. Были пожары, разрушения, убийства. Валялись на земле обезображенные ножами, сожжённые заживо тела русских. Болтались на шеях наших солдат высушенные ожерелья из чеченских ушей. Совсем маленьких, как сувенирные медальоны. И всё же ничто не запомнилось мне так, как те, снятые с обезглавленного бандитского командира погоны — тёплые, давно отмытые от пролитой крови.

Но это не было верхом жестокости. Это вообще не считалось жестокостью.

Он не был палачом, безымянный мой гость из несчастливой чеченской сказки. Тамбовский волк, застывший бандиту дорогу в рай.

ДиН юбилей

70 лет
со дня рождения

Анатолий Третьяков Пора моих дождей

Замечательному красноярскому поэту, постоянному автору «ДиН», Анатолию Ивановичу Третьякову недавно исполнилось 70 лет. Поздравляем Анатолия Ивановича со славным юбилеем и предлагаем читателям вспомнить его мудрые и трогательные стихи.

Редакция «ДиН»

Тревожный, сказочный и зыбкий
По стенам ходит лунный свет.
Я слышу скрипку, слышу скрипку! —
И от неё спасенья нет.
И так печально эти звуки
Напоминают о былом...
Скрипачки тоненькие руки,
Бровей нахмуренных излом.
Я был пленён движеньем каждым.
И вспоминать о них боюсь!
Но вот опять томлюсь я жаждой
И музыкою не напьюсь.
Ах, как она была прекрасна!
И скрипка слушала её.
Любой концерт мне был, как праздник.
Как будто были мы вдвоём.
Но чувство стало вдруг привычным.
И развенчал я божество.
Зачем её концерт скрипичный?
Зачем мне это колдовство?
И свет луны, и звуки эти?
И струн неистовый порыв?
Она прекрасней всех на свете...
И снова сердце — на разрыв!

Вот и прошла пора моих дождей.
В бору темно, серебряно и сыро.
Утихла боль, пришёл конец вражде.
И перемирье обернулось миром.
Восходы гаснут на сыром ветру.
И золотая тина перелеска
Лежит в реке, недвижимой поутру, —
В реке, туманом вытертой до блеска.
Здесь скоро лёд надёжно зазвонит.
На листья упадёт холодный иней.
И выйдет солнце в пасмурный зенит,
И зимним взором край лесной окинет.
Придёт метель — опальная княжна,
И жалуясь, и гневаясь, и мучаясь...
И длинная повиснет тишина.
И вековой окажется дремучесть.

Реки катятся к морям —
Даже горы раздвигая!
У людей судьба иная...
И живут иные зря...
Не стремятся никуда, —
Хоть им горы не мешают, —
Ничего не совершают,
Исчезая без следа.
Где же море у меня?
Я бы так к нему стремился!
Горизонт мой не открылся —
Ночь не отличу от дня.
Всё проходит: ну и пусть!
В этом Мире я прохожий,
Отдохну в его прихожей,
Чтоб опять пуститься в путь!

Анатолий Янжула

Колпак лейтенанта Никошина



149

Анатолий Янжула
Колпак лейтенанта Никошина

«Когда она кончится, эта проклятая дорога. Да и дорога ли это вообще? Правы те, кто говорит, что в Забайкальской степи нет дорог, а есть только направления». ЗИС-5, натужно подвывая мотором, упрямо выползал на бесконечно пологий склон очередной сопки. Двигатель должен вот-вот закипеть, но Андрюха решил не останавливаться и вытянуть на гребень. Лейтенант Никошин спал, натянув фуражку козырьком до самого носа и спрятавшись в угол кабины. Но безжалостное солнце достало его и там. Тонкая полоска сонной слюны потянулась из уголка рта, губы оттопырились, придавая лицу детское выражение. «Пацан совсем, а уже лейтенант...». Андрей в душе немного завидовал этим молодым стрижам с лейтенантскими кубарями. Они были из другого мира и жили совершенно иной жизнью. Их учили создавать незримую границу между ними и солдатами, даже если по службе иногда и приходилось тянуть одну лямку. Все это понимали, в дружбу друг к другу никто не напрашивался, и каждый жил своим миром. В армии так и должно быть, иначе это уже не армия, а базар. Но у Никошина была другая точка зрения. Он — командир Красной армии, ему вместе с кубарями дали власть над людьми, и они должны чувствовать это. И чувствовать постоянно. Желание показать окружающим, что он не просто Витя Никошин, порой выпирало и выпирало с напористой злостью и высокомерием. Молодые командиры сторонились его, он бесился ещё больше, и солдаты стонали от придирок и наказаний. А что поделаешь, придраться и к столбу можно. В отместку приبلудному и пустолайному кобелю дали кличку «Никотин» и с удовольствием, где надо и не надо, громко окликали его.

Никошин часто ездил с Андрюхой по разным делам. Особенно, правда, не придирился, да и Андрюха, зная его паскудный характер, поводов не давал. «Кесарю кесарево, а слесарю слесарево», хотя порой было и обидно, что тебя держат за бессловесное быдло. Опять же, армия есть армия. Да и хрен бы с ним, с этим Никошиным.

Андрей, высунувшись в окно почти по пояс, пытался заглянуть на задние колёса. В кузове лежал бетонный колпак дота, рессоры просели до упора, и за задними скатами нужен глаз да глаз. Не дай бог спустит — запоешь тогда матку-репку. С такой бетонной дурой в кузове не поддомкратишься.

Но вот за курносым капотом ЗИСКА показался горизонт, мотор заурчал ровней, и машина, прокатившись по инерции ещё метров сто, остановилась. Затянув ручник, Андрюха выпрыгнул из кабины,

открыл створки капота. От мотора дохнуло калёным жаром. «Ух-х ты... Да, досталось тебе... Ну ничего, терпи, служба такая».

— Чего стоим? — Никошин выпрыгнул из кабины и, сладко потянувшись, потёр заспанные глаза. — Ох, и жара! Ну, прям пекло.

— Вот и стоим, потому что жара.

— Боженко, а у вас на Украине тоже, наверное, летом печёт?

— У нас всяко бывает: летом печёт, зимой метёт.

— А ты знаешь, почему Украина называется Украина?

— Нет...

— От слова «окраина». Край земли значит.

— Это здесь окраина. — Андрей оглядел пустынный до горизонта и унылый ландшафт. А Украина как раз самый центр земли.

— Так это когда было. — Никошин подошёл к заднему колесу, справил на него малую нужду и, заглянув в кузов, подёргал растяжки колпака. — Вроде не ослабли. Ну что, долго ещё стоять будем?

— Сейчас, воды подолью в радиатор, и поедем.

— Правильной дорогой едем?

— У каждого своя дорога, товарищ лейтенант. Эта наша.

— Ну, ну... Смотри мне.

И правда, дорог тех в степи как звёзд в небе, выбирай любую. Андрюха уже научился ориентироваться по своим, только ему одному известным приметам. Где-то там, на западе шла жуткая война, а здесь в глухом Забайкальском краю, вдоль границы с Манчжурией, бешеными темпами происходило зарывание в землю. Миллионы кубометров вынимались из земной глубины солдатскими руками. Строился оборонительный пояс. Глубоко эшелонированный, глубоко спрятанный в складках местности, закованный в броню и сталь, он должен был остановить миллионную Квантунскую армию японцев. Каждый день на западном фронте гибли тысячи людей, а японский император ждал сигнала, чтобы ударить в спину. Такие вот жестокие правила войны.

Андрюха тоже ехал на ту войну. Ехал — да не доехал. Весной 41 года срочная служба на Дальнем Востоке заканчивалась и можно было собираться домой, на родную Украину. Но пришло 22 июня, его посадили в эшелон и повезли воевать. За Уралом паровоз вдруг перецепили к хвосту поезда, и эшелон пошёл обратно. Почему — никто не знал. На станциях динамики хрипло говорили, сколько городов уже заняли фашисты... а эшелон упорно шёл обратно, на восток, где войны не было. И только

на станции Борзя им объявили, что у них будет другая война. Без взрывов, пуль и снарядов, но с тяжелейшим трудом и полуголодным пайком. Всё для фронта — всё для победы. Летом жара под 50 градусов, а зимой морозы. Тоже за 40. Вода летом и дрова зимой — по выдаче и норме. А норма простая — только чтобы не подохнуть. Но человек ко всему привыкает. Андрюха тоже привык жить впроголодь, воду пить понемногу, а ездить по звёздам.

Вот и сегодня, поглядывая краем глаза на виднеющуюся вдалеке грядку невысоких холмов, старался не отвлекаться на уходящие в стороны, чуть протоптанные колеи. Это всё «сети Робинзонов», как зовёт их воентехник Ковтун. Как правило, попетляв немного, они всё равно сольются с основной дорогой. Только время потеряешь и бензин спалишь. Самая короткая дорога — это дорога, которую знаешь. Точка, куда сегодня везли бетонный колпак, по условиям секретности, раньше не была отмечена ни на одной карте, по крайней мере, на тех, что видел Андрей. Перед самым выездом, когда колпак уже погрузили в кузов, лейтенант ткнул пальцем в карту, запроваленную в планшетку. — Знаешь, как сюда проехать?

— Моё дело руль крутить, товарищ лейтенант.
— Не прибедайся. Так знаешь или нет?
— Провожатого, как я понял, всё равно не дадут. Поедем, будем смотреть, в четыре глаза, разберёмся.

Перед тем как долить воды в радиатор, Андрей с лейтенантом над ведром по очереди ополоснули головы. Вода, хоть была тёплая и пахла тиной, здорово освежила.

— Жил я прямо на берегу Иртыша и скажи мне тогда, что буду экономить каждую каплю воды, — полдня бы смеялся. — Никошин, растегнув гимнастёрку, растирал стекающую с головы воду по груди. — У нас в Сибири всего много: леса, воды, полезностей всяких в земле. И люди у нас хорошие. — Вообще-то в Сибирь нехороших людей ссылали. — Знаешь, паря... Понятие «хороший» и «нехороший» очень сложное. Как говорят, относительное понятие. И превратиться из «хорошего» в «нехорошего» — раз плюнуть. От тюрьмы да от сумы не зарекайся.

— Да, уж это точно. Тут вы правы. Ну что, двинули дальше?

— А ты не блукаешь? Дело очень серьёзное.

— Не волнуйтесь, товарищ лейтенант. Вот так грядой идём до сухой балки, а там налево колея будет.

— К нашему объекту колеи не должно быть.

— А всё остальное к вашему объекту по воздуху доставляли?

— Не по воздуху, а... Скажем так... разными путями.

— А вы уже были там?

— Нет. Но обстановкой владею. Красноармеец Боженко, ты не умничай. Тоже мне генерал. И поменьше вопросов задавай. Твоё дело на дорогу смотреть.

Никошин достал планшетку с картой и, прикладывая компас, попытался привязаться к местности.

— Ничего не пойму. По карте здесь абсолютно плоская равнина. Никакой гряды...

Андрей обиделся и промолчал. Тоже мне следопыт хренов. «Поменьше вопросов задавай». Вот и смотри в свою карту, дундук секретный. Протвой дот в степи уже все суслики знают, а он всё секретничает. Обстановкой он владеет. Владеешь ты обстановкой... в своём кармане.

Молчали с полчаса. Андрей, поглядывая на тянущуюся гряду, предполагал, что колея, идущая к крутолобой сопке, где строили цепь оборонительных сооружений, будет ещё не скоро, не ранее чем через час, полтора. Шофёрская братва знает многие дела лучше, чем некоторые офицеры в штабе, и о том месте, куда надо везти колпак, Андрей уже слышал не раз. Проклятое, надо сказать, место. Есть в степи такие островки, ничем не приметные от других, но пастухи не гоняют туда скот, птицы не вьют гнёзд, там даже сусликов не видно. Старики говорят, шайтан туда плюнул, когда злился на людей. Особенно жутко в таких местах ночью. Тишина стоит просто свинцовая, и случалось, часовые стреляли просто в темноту, ничем потом не объясняя своих поступков. Поначалу, не зная этого, Андрей однажды заночевал в таком же распадке под нависом высокой стенки косогора. Задремав с вечера, проснулся как от толчка в бок. Необъяснимая тревога заставила остаток ночи просидеть с винтовкой под кузовом, прислушиваясь к темноте. Глухая тишина иногда чуть слышно нарушалась далёким и тихим то ли стоном, то ли мычанием.

— Ну что, правильно едем, товарищ лейтенант?

— А ты как считаешь, Боженко?

— Я не считаю, я на дорогу смотрю. Ну, так поворачивать мне у Сухой Балки, или нет?

— Не знаю. Я бы этих картографистов козлятых... Понарисовали чего попало.

— Ну, так что, поворачивать?

— А ты бы повернул?

— Моё дело — на дорогу смотреть. Вы командир, вам и решать.

— Прекратить пререкания. — Никошин уже начал злиться. — Останавливайся.

Лейтенант долго мусолил карту, прикладывая к ней компас и бормоча что-то себе под нос. Андрюха знал, что на точке его обязательно накормят, и терпеть на голодное брюхо поиски товарищем лейтенантом его неведомого маршрута стало невтерпёж.

— Товарищ лейтенант, я бы повернул.

— Да... — Никошин обрадовался, что Андрюха взял на себя решение вопроса и вывел его из тупика, куда он сам себя и загнал. — Ну, тогда поворачивай. Но, гляди, Боженко. Заблудимся — спрошу по полной.

— Так я могу и не поворачивать.

— Ты доиграешься у меня сегодня, Боженко. Ей-богу, доиграешься.

Да, Виктор Михайлович Никошин, лейтенант Рабочей Крестьянской Красной Армии. Знал бы ты, голубь ясный, кто сегодня доиграется, так язык

бы поприжал. Негоже под Божьим именем подличать. Все под ним ходим. И сегодня он уже решил, кто доигрался. Жди, милоч.

Через пару часов, еле заметная, белесая от притоптанной травы колея привела на склон сопки. Да, эту высоту можно без натяжки назвать господствующей. Место для оборонительной точки выбрано грамотно. За пологим склоном открывался каньон между грядями сопки, тянувшийся почти до горизонта. Если на противоположной сопке поставить ещё такую же заградительную точку, то пройти противнику по этой узкой долине будет практически невозможно. Выцветшая на беспощадном солнце, почти белая палатка стояла чуть в стороне, укрытая парой чахлах кустов в маленькой ложбинке, плавно стекающей под уклон. Дощатый стол со скамейками да тренога с котлом — вот и всё украшение бивуака. ЗИС, пискнув тормозами, остановился у края котлована с бетонными кольцевыми стенами. Придерживая винтовку, подошёл часовой.

— Здравия желаю, товарищ лейтенант.

— Здорово, человек с ружьём. Что же ты нас подпустил к самому объекту? Или службы не знаешь? — Лейтенант прошёл мимо солдата и остановился у края котлована. — А? Бдительность потеряли?! Сусликов считаешь. Как фамилия? Где сержант?

— Соков я... Красноармеец Соков, товарищ лейтенант! А сержант... Дык он эта... Он по воду пошёл. По воду у нас... эта сами знаете.

— Объявляю вам трое суток ареста, красноармеец Соков. По прибытию в часть отсидите.

— Дык я вас, товарищ лейтенант, ещё когда заприметил. Я вас видел... Дык я же знаю вашу машину. — А если бы её враги захватили. И вообще... — Лейтенант резко разозлился. — Прекратить разговоры. Пять суток ареста!

Андрей из-за спины замахал руками солдату, чтобы он не спорил с Никошиным. Тот, заметив его жесты, разозлился ещё больше.

— А ты чего тут размахался! Тоже под арест захотел? Махальщик... Я вам устрою кузькину маму. Один сусликов считает, другой, понимаешь, руки машет.

— Ну а я-то, что вам плохого сделал? — Андрей махнул рукой и пошёл к машине.

— Стоять! Красноармеец Боженко, ко мне! Я вас отпускал? Разболтались, как хвосты собачьи! На фронт захотели?

Андрей остановился, наклонив от солнца голову, исподлобья посмотрел снизу вверх на распетушившегося Никишина.

— Не пугайте ежа голой задницей, товарищ лейтенант. Я фронта не боюсь. Это у вас, я смотрю...

— Что «у нас» Боженко? Это у вас десять суток ареста!

— Да хоть сто, товарищ лейтенант.

— Ты что, под трибунал захотел?

— За что?

— За саботаж!

— Ну, ничего себе. Это я саботирую...

— Товарищ лейтенант, это я виноват, что не стрелил в вас, когда вы подъезжали. А Андрияха-то здесь при чём?

— Ты чего, сдурел? — Никишин вытаращил глаза. — Зачем в нас стрелять? Ты чего городишь.

— Ну, я в смысле, «стой, стрелять буду».

— Ну а стрелять-то зачем?

— А если бы вы не остановились. А вы бы не услышали, чего я кричу, и точно бы не остановились. В следующий раз обязательно стрелю. Прямо по кабине.

— Прекратить дурацкие разговоры!!! — От Никишина уже дым пошёл. — Где сержант, туды вашу мать?!

Из котлована на шум стали вылезать остальные солдаты.

— Здравия желаем, товарищ лейтенант. Чего за война?

— Строиться! Я вам покажу дисциплину.

— Чего это он вызверился? — Солдаты, отряхиваясь и вытирая от глины и бетона руки о траву, неторопливо становились в короткую извилюстую линию.

— Равняйся... Смирно! — Никишин упруго заходил вдоль жидкого строя. — Тут что, бардак или секретная строительная точка? Один колупай сусликов считает, другой... — посмотрел на Андрея. — Этот вообще пугать меня вздумал.

— Да кто вас пугал? Это вы меня фронтом...

— Молчать в строю! Устроились тут, как на курорте. Где сержант, я спрашиваю? — Никишин свирепо посмотрел по сторонам. — Кухарку из младшего командира сделали, понимаешь. Кто доложит состояние дел на объекте?

Все стояли молча. Таким разъярённым лейтенанта ещё не видели. Парнишка был с гонором, но чтобы так орать...

— Разойдись. Рядовой Сидорчук, показывайте объект.

— А чего тут показывать. Лезем у нору, там и побачим.

Лейтенант с Сидорчуком полезли по лестнице в глубину, а солдаты столпились вокруг Андрияхи.

Он достал кисет, и все дружно сунули в него руки.

— Змея гремучая его укусила? Чего ты его так разозлил?

— Фронтом меня давай пугать. А у самого штаны трясутся. Да пошёл он... Приедем — напишу рапорт, чтобы в действующую отправили. А то будет каждое... пугать.

— Ну и дурак.

— Да чего дурак. Я тоже хочу писать. Может, хоть нажрёшься досыта перед смертью, чем тут с голоду подыхать.

— Да, сейчас. Приготовили там тебе сала с маслом.

— Но всё равно не так кормят.

— Тише, услышит — точно наступит.

— Ну и пусть барабанит. На фронт хотим пойти, а не к девкам.

Тяжело отдуваясь, на склоне холма появился сержант Фролов. На плече держал канистру с водой. Лоб мокрый от пота.

— О, у нас гости! Колпак привезли! Хорошо! — Опустил канистру на землю. — А где лейтенант Никошин?

— В котловане оне. Осматривают. Сейчас и тебе «хорошо» будет.

— А чего у вас такие рожи кислые?

— Заздря улыбаешься. У тебя сейчас тоже сведёт.

— Что случилось?

— Злой, как собака. Ваське пять суток объявил, а Андрюхе десять.

— Ни хрена себе примочки. Это чего вы тут успели натворить без меня?

Из котлована показалась голова Никошина. Лестница было коротковата, и, чтобы вылезти окончательно, лейтенанту пришлось подтянуться на руках и встать коленями на край ямы.

— Чёрт! Не могли лестницу по-человечески сделать! — Лейтенант, не глядя ни на кого, долго охладывал вымазанные сухой глиной галифе.

— Сержант Фролов, почему бардак на объекте?

— Здравия желаю, товарищ лейтенант. — Фролов службу знал и сразу понял, что зубатиться бесполезно. — Как доехали, товарищ лейтенант, что нового на фронтах?

— На фронтах идут бои, а вы тут...

— Товарищ лейтенант... Мы идём с опережением графика. Колпак вот ждали. Может, чайку холоденького? Товарищ лейтенант, пройдем в палатку, там и поговорим.

— Пройдем. — Лейтенант, по-прежнему ни на кого не глядя, решительно шагнул к палатке.

— Ну, щас он ему даст. — Солдаты потихоньку двинулись в ту же сторону. Андрюха, махнув рукой, пошёл к машине. Обида тихо ныла в душе. Ясно, что с арестом на десять суток лейтенант прокукарекал для публики. Кто ему, дураку, позволит сажать шофёра под арест. Шофёрское дело — руль крутить, а не под арестом сидеть. Как вот только с ним потом в одной кабине ездить. «Ну, лейтенант, следующий раз ты будешь дорогу показывать. Посмотрим, куда ты заведёшь, свистун лупоглазый».

Сержант вышел из палатки с серьёзным лицом, но, слегка повернувшись к бойцам, подмигнул им одним глазом.

— Вам всё понятно, Фролов? На объекте должен быть порядок.

— Будет, товарищ лейтенант.

— Готовьте покати для колпака. Боженко, быстренько подгоняй зисок к яме.

«Ещё „быстренько ему“. Засранец...» Ворча, Андрей осторожно развернулся на склоне, и зис-5 тихим ходом, подвывая коробкой, подъехал чуть сбоку к краю котлована. Сержант, запрыгнув на кузов, разматал лежавший там трос и завёл один конец в стальную петлю на краю колпака.

— Деев, Толкачев, крепите лебёдку, — и, размахнувшись, кинул конец троса. — Андрюха, тащи солидол, брёвна намажем, чтобы легче шёл.

Андрей, надев верхонку, обильно смазал брусью и брёвнышки покатай солидолом и закрепил их скобами к полу кузова. Лейтенант, проверив крепление лебёдки, махнул рукой.

— Давай помалу... крутите на натяжку троса.

Лебёдка, тонко подвывая, методично постукивала собачкой.

— Сержант, что, не могли лебёдку смазать? Ох и бардак у тебя... Останови.

Трос натянулся стрелой, но колпак с места ещё не тронулся. Он должен проползти по направляющим в кузове к наклонным покатам и аккуратненько лечь на краю котлована. Подняв бетонные стенки дота до верхнего уровня, его всё той же лебёдкой затаянут сверху. Отделение сержанта Фролова заканчивало строительство уже четвёртой оборонительной точки и на команды лейтенанта особенно не реагировало. Много таких крикунов видели. На всех не накрестишься. Фролов залез под правую покать, ногтем поскрёб древесину.

— Не нравится мне, товарищ лейтенант, это брёвнышко.

— Чего оно тебе не нравится? А ну-ка, подвинься... — Никошин долго разглядывал бревно, тоже поскрёб его ногтем, понюхал содранную кору. — Бревно как бревно, не хуже других.

— Гнильцой припахивает. Как бы...

— Другое есть?

— Нет.

— Что предлагаешь?

— Не опускать на этом. Может подломиться.

— Значит, ты предлагаешь ехать с колпаком обратно, найти хорошее бревно, и опять ехать сюда?

— Выходит, так. — Фролов вылез из-под кузова и в раздумье скоблил грязь на ладони.

— Умный ты, товарищ сержант, не в меру. — понизил голос. — Ты хочешь, чтобы надо мной весь гарнизон смеялся?

— Может подломиться. — Фролов шумно вздохнул и, словно ища поддержки у товарищей, оглянулся по сторонам.

— А ну как подломится, товарищ лейтенант. — Васька Соков, поддёргивая винтовку, тоже попытался заглянуть под бревно.

— А ты опять с поста ушёл?! Тудыт-твою мать, развели тут... ассамблею. А ну марш на пост, советчик. Сержант, сгружайте колпак, а то мы тут с вашим шалманом до ночи будем рассуждать, что нам делать.

— Есть, товарищ лейтенант. — Махнул рукой в сторону лебёдки. — Давай, крутите помалу.

Трос, коротко зыкнув натянутой струной, строил колпак с места, и он по жирным от солидола брёвнам пошёл к краю кузова. Сержант, ещё раз коротко глянув на правую покать, перепрыгнул через трос и перешёл на левую сторону. Лейтенант закурил и, сжав зубы, исподлобья смотрел на тихо движущийся колпак. Его ещё можно было остановить, он ещё не дополз до края... Может, и правда остановить, не рисковать? Но представив на секунду железный взгляд комбата Зигаева, его желчное «в чём дело, лейтенант?», Никошин молча смотрел, как миллиметр за миллиметром колпак приближался к покатам.

Всё, обратно его уже не подашь! Колпак медленно навис над наклонными брёвнами, чуть качнулся... Сила тяжести потянула его вниз и немного вперёд...

Вот он коснулся передней кромкой наклонённых брёвен...

Покати, спружинив, чуть прогнулись... Левая выпрямилась, а правая...

В напряжённой тишине послышался тихий хруст...

Дальше всё было стремительно и страшно...

Бревно, сухо хрякнув, проломилось, колпак, как ударенный ножом в сердце поросёнок, резко завалился вправо, и, вырывая вместе с комлями земли лебёдку, перевернулся на горб. Затем, встав на ребро... вновь перевернулся... и уже ничем не удерживаемый пошёл кувыряться вниз по склону. Лебёдка, попрыгивая, суматошно моталась на тросе, периодически взлетая и поднимая клубы пыли. Все с ужасом смотрели на склон, понимая, что случилось непоправимое. Лейтенант, защищаясь от происходящего, поднял руки, пытаясь закрыть лицо.

Внизу, последний раз дёрнувшись в повороте, колпак затих, прижав кромкой зелёную траву, okayмлявшую ручей. Потрясённые происшедшим, все стояли молча. Сидорчук держал в руках кривой рычаг, оставшийся ему от лебёдки. Испуганно взглянув на лейтенанта, стараясь не шуметь, аккуратно положил его на землю. Сержант Фролов, шумно выдохнув, разразился длинным и затейливым матом, вспомнив все закоулки человеческой жизни. Плюнув, сел на землю, неловко и косолапо согнув ноги в стоптанных сапогах.

— Чё делать-то будем, лейтенант?

Никошин, обхватив голову руками, пошёл в сторону палатки.

Всю обратную дорогу лейтенант невидящими глазами тупо смотрел на набегавшую колею. Лицо его посерело до мертвецкой бледности. Казалось, даже нос заострился. «Да, летеха... похоже, дела твои хреновые. Это тебе не Ваську Сокова во фронт ставить. По нынешним временам отвалят по самое не балуй». Сержант Фролов тоже поехал в гарнизон и сидел в кузове молчком. На перевале за грядой мотор опять нагрелся, и пришлось остановиться. Все молча, разойдясь в стороны, справили малую нужду и, подойдя к машине, молча стояли.

Фролов, крикнув, длинно сплюнул и, присев на корточки, что-то рисовал пальцем на пыльной обочине.

— Товарищ лейтенант... Я вот тут...

Никошин, посмотрев пустыми глазами, пошёл в сторону.

— Товарищ лейтенант... — Сержант поднялся, отряхивая руки. — Андрюха, я вот тут думал... А что, если мы его танковыми лебёдками? А...

— Кого, лейтенанта?

— Дура. Колпак, говорю. Если мы его танковыми лебёдками затазем обратно.

— Ты че. Там метров двести и в гору. Не мешок с сухарями.

— А мы перехватом. Смотри. — Фролов показал пальцем на бороздки, что нарисовал на пыли. — Одной подтягиваем, второй перехватываем, а ты выше поднимаем. И так в перехват.

— А лебёдку за что крепить?

— Так ломы кувалдами в склон.

— Да... Такую дуру в гору тащить.

— А как люди пирамиды строили.

— Какие пирамиды?

— Книжки читать надо. Товарищ лейтенант... Ну, чего вы, ей-богу?

— Товарищ лейтенант. Тут Фролов дело говорит.

Лейтенант подошёл, встал, засунув руки в карманы галифе чуть не по локти. Желваки бугрились на скулах, и было видно, что и руки в кармане в кулаках.

— Товарищ лейтенант, а что если его на танковых лебёдках по склону поднять? Я вот туточки нарисовал, смотрите. Других шансов у нас нет. Замордуют.

— Тебе-то чего. Меня замордуют.

— А меня наградят! Строем в штрафбат пойдём, товарищ лейтенант Никошин. Говорил я вам, что бревно хреновое, так вы... — Фролов выматерился в сторону. — Выкручиваться надо.

Битый час все втроем ползали на карачках вокруг Фроловских каракуль. Прикидывали и так, и так. За что цеплять и как тянуть. Лейтенант немного ожил, выложил пачку папирос на траву и курил одну от другой.

— Ну что, вроде всё понятно. Едем к комбату, товарищ лейтенант. — Сержант вздохнул. — Встретит он нас... горячими пирогами.

— Да... — Никошин вспомнил колочие глаза Зигаева, и холодок прошёл по лопаткам. — Едем... Всё одно...

Андрюха сидел на подножке зиса, спрятавшись в тень кабины, и ждал. Недавняя обида уже прошла, и было жалко и сержанта, и Никошина. Он представлял, что сейчас творится в кабинете комбата. Зигаев, как и многие командиры, всеми силами держался за своё место, считая, что выдернул козырную карту — Забайкальский военный округ, когда на фронте люди гибли тысячами. Терять за просто так этот дар судьбы он не собирался, и шансов, что он прикроет лейтенанта, было ноль целых хрен десятых. Из оставшейся лейтенантской пачки Андрюха вытянул последнюю папиросу, прикурил, лёг спиной на крыло. Братва уже знала, что произошло на точке, насторожённая тишина висела около штаба, и никто не приставал с расспросами. Тихая буря длилась около часа. Когда Никошин с сержантом вышли на крыльцо, все, кто был во дворе, остановились, глядя на них. Андрюха вскочил с подножки, быстро подошёл.

Лейтенант хлопал себя по карманам, пытаясь найти папиросы. Пот струйками стекал по щекам и шее, глаза как у загнанной собаки. Сержант быстро скрутил самокрутку и сунул её Никошину.

— Товарищ лейтенант, вы тут пока посидите в тенёчке...

О каком тенёчке он говорил, когда кругом не было ни кустика, ни полкустика. Никошин огляделся кругом и сел прямо на ступеньки.

— Вы посидите, товарищ лейтенант, а мы с Андрюхой мигом. Мы, это... за лебёдками... Мы мигом. Андрюха, погнала к танкистам.

Сержант Фролов выглядел куда как лучше лейтенанта. Хотя сзади на гимнастёрке тоже чернел круг пота.

— А тебе чего, мимо уха просвистело? — Андрюха выривал вокруг штаба, в сторону танковой роты. — Чего шустрый такой.

— Я не шустрый, я напуганный. Я думал, комбат разорвёт лейтенантика. Хрипел, как цепной пёс на поводке. Андрюха... Как же они бояться попасть на фронт. Смотреть срамно.

— А ты чего, сильно смелый? Ну, так иди, кто тебя держит.

— Дурень ты. От судьбы нигде не спрячешься. Чего на роду написано, то и будет. А фронту я не боюсь. Я же в финскую воевал. И ничё... Промозгло немного, и всё. Живой, не раненый.

— Страшно было?

— Всяко было. Давай, подруливай к их каптёрке.

Командир танковой роты, капитан Филоненко, ещё не знал о чп на точке и только по-бабьи хлопал руками по коленям, когда сержант рассказывал, как всё случилось.

— Ну и где Никошин?

— На крыльчке сидит, отходит. Комбат его рвал.

— Да-а... Влип лейтенант по самое, как говорится... А ко мне-то вы чего?

Когда Фролов коротко объяснил что к чему, капитан сразу понял суть дела и, вызвав старшину, дал команду выдать всё необходимое.

— И ещё... У нас там, за боксами, кандейка стоит, полуразобранная. Так вы с неё досок надерите и под передок колпака подкладываете, когда тянуть станете. Старшина, дай им ещё солидола... с ведро. Мазать доски будете, легче пойдёт.

— Спасибо, товарищ капитан.

— Удачи вам, ребята.

Когда вернулись, лейтенант уже немного отошёл. Но вид был всё равно растоптанный. Заглянул в кузов. Старшина выдал две новёхоньких лебёдки, бухту троса, ломы, пару кувалд и ведро солидола. От сарая отодрали с десятка досок.

— Ну что, товарищ лейтенант, рванули на точку.

Никошин внимательно посмотрел на сержанта, как-то недобро скривился и сквозь зубы зло процедил:

— А ты чего такой весёлый? Что, пронесло? Лейтенанта дураком обозвали — весело стало?

— Вы чего, товарищ лейтенант. Да не весёлый я. Просто надо торопиться, — Фролов утёр пот со лба. — А насчёт «пронесло» вы это зря. Вы, наверное, думали, что я на себя всё возьму? Всё брать на себя — мне сразу стенка. Вам, как командиру, рядовым в штрафбат, а мне вышка, и к бабке не ходи. За вредительство в военное время — одно наказание. Зря вы так, товарищ лейтенант...

Никошин затравленно оглянулся, не слышал ли кто, круто развернулся.

— Ладно. Зря или не зря — видно будет. Пойду, еды какой наберу, ждите.

— Во, шкура. — Сержант смотрел вслед Никошину. — И правда, комбат сказал — дурак. А точнее, сволочь ты, лейтенант, — Сержант плюнул ему вслед. Слышал Никошин его слова, или нет, бог

его знает, но не оглянулся. Был недалеко, должно быть, слышал.

— А чего он тут про «дурака» говорил?

— Комбат, когда меня материл, сказал, что я дурак, потому что всяких дураков слушал. А уж его он... И туда, и сюда по матушке, и всяко разное. Думал, своей каменной чернильницей точно в морду заедет. Зигаев и сам передристал полные штаны. Дал нам сутки и, если не поднимем колпак, сказал, что в трибунал сдаст. — Сержант вздохнул. — Так что у нас на всё про всё один день и одна ночь.

Всю обратную дорогу лейтенант молчал. Сержант в кузове присматривал за бутором. Останавливались всего один раз. Как и прошлый раз, по малой нужде разошлись в разные стороны.

Лейтенант смотрел, как замороженный, в одну точку. Один раз, глубоко вздохнув, сказал глухо, словно про себя:

— Ну, за что?..

Андрюха молчал. Хотел ответить: «А за то...» За то, чтобы не паскудничал, не собачился, за то, чтобы к людям по-человечески относился. Да чего тут говорить. Лейтенанта было уже жалко. Порвут его свои, как пить дать порвут, если колпак не поднимет. А поднять эту дуру — что корову на баню затащить.

На точке было тихо, как на кладбище. Фролов, спрыгнув с кузова, охнул и присел.

— А ёш твою в батарею... Ноги отсидел. Эй, чего вы тут, повымирали. — Разогнулся, прихрамывая, пошёл к землянке. — Выходи строиться! Работнички...

Строй выжидающе смотрел на отцов-командиров. Лейтенант, стоя в сторонке, смотрел куда-то вдаль, за сопки. Фролов, оглянувшись на лейтенанта, шагнул вперёд.

— Так, орлы. Командованием поставлена задача — поднять колпак. Поднять на высоту и установить. Вот так... — Откашлялся. — Других вариантов нет. Время, сами понимаете, военное. Так что...

Кто-то присвистнул:

— Это как — поднять?

— Руками, ногами, зубами, как хотите, но поднять, и установить. Разойдись, будем пробовать.

Кто матерился, кто доказывал, что это полная хреновина. Сержант шуганул всех разгружать машину, а сам, сдёрнув с кузова лом и кувалду и кивнув Андрюхе, пошёл вниз по склону. Проскользив по траве метров двадцать, остановился.

— Держи, попробую забить.

Лом, на удивление, пошёл в землю хоть и туго, но без остановки.

— Ну, дак и ничего, а... Андрюха. Может, Боженька нам и подмигнёт.

Когда все встали вокруг колпака, ни у кого не было уверенности, что такую громадину можно затащить вверх по склону. Чаша серого бетона плотно лежала, уютно привалившись боком к склону ложбинки, бывшей по весне ручейком.

— Да... Лежит, собака. Влип, как лепёшка коровья. Ну что, товарищ сержант, с чего начнём?

— Начнём с того, что не будем гундеть. Нам приказано его затащить— значит, затащим. Иначе мы не бойцы Красной армии, а так... — сплюнул себе под ноги,— дерьмо собачье. Намечаем линию на верхнюю точку. Так... Вы— тащите лебёдку и через тридцать шагов забиваете лом, а вы,— ткнул пальцем в грудь трём бойцам.— подкладывайте доски и мазюкайте их солидолом. Где солидол?

— Так там оставили.

— А башку свою вы там не оставили? Бегом за ведром! Загоняйте доски под колпак. Все! Чтобы все крутились, как поджаренные! Кто будет ползать— пинками погону! Товарищ лейтенант, отойдите в сторонку, чтобы вас не зашибли. Я их гонять буду, мне сподручней.

Лейтенант Никошин, после того как увидел лежащий колпак вблизи, попросился со своими кубарями, да, пожалуй, и с жизнью. Вот уж он-то был больше всех уверен, что поднять его наверх невозможно. Всё этот бред сержанта. Ему, Никошину, надо просто идти и сдаваться. Лейтенант отошёл в сторону, сел на землю и уставился на носки сапог. Тонко звякали о камушки лопаты, было слышно, как забивали лом, солдаты о чём-то перепирались. Всё это было понапрасну. Никто его, Витьку Никошина, не спасёт. Вспомнилась мама, отец, дом на берегу Иртыша, луговина от улицы вниз, соседская девчонка Катька, вечно строившая ему рожки в окошке. Не увидать ему этого больше никогда. Впереди позор, штрафной батальон, унижение. Он не боялся попасть на фронт, пойти в бой да и погибнуть, в конце концов, не боялся. Но героем! Чтобы мама с отцом могли им гордиться. А вот так, штрафником, арестантом... — Товарищ лейтенант, а ведь он идёт!

Никошин недоумевающе поднял голову. Кто идёт? Куда идёт?

— Идёт, сучий сын.— Фролов, стоя на карачках, заглядывал под колпак, который медленно полз, смачно подминая под себя траву.— Товарищ лейтенант, да идите же вы сюда. Нормально ползёт... сволота.

Колпак прополз уже больше метра и шёл на удивление без особой натуги. Но метров через десять склон поднимался круче, и как эта чушка поведёт себя дальше, никто не знал.

К ночи— а солнце в степи гаснет, как свет в театре, колпак подтянул метров на двадцать. Сержант, уже охрипнув от крика, скомандовал: «Перекур!»— и упал на траву.

— Чтоб ты сдох, паскуда. Всё, товарищ лейтенант, в темноте можем всяких дел наделать. Ни хрена не видно.

— Ну, и что предлагаешь?

— Да ничего. Надо или бросать до утра, или...

— Или...

Пауза повисла, и было только слышно, как кузнечики звоном накрывали склон сопки, да степные разбойники, копчики, жалобно скыркали где-то в тёмной выси.

— Светить надо.

— Это кто там такой умный? Ты, Соков? И чем же ты светить собрался? Голой задницей.

— Да фарами светить.

— Ну?

— А чё «ну». Андрей машину подгонит на склон...

— И фарами в небо.

— Зачем в небо? Тама прямка есть на склоне. Мы туда гадить ходим. Навскосяк поставит, как раз сюда фарами и засветит.

— Навскосяк, говоришь... Андрюха, ты живой, чего молчишь?

— Живой я, живой... Но сильно грязный. Свин свином.— Андрюха мазал солидолом доски, что подкладывали под края колпака, и успел угваздаться по самые локти.— Васька, показывай, где землю удобряешь. Щас, сержант, спробуем.

Бойцы лежали пластом. Минут через десять наверху невидимо заурчала машина, чиркнула фарами по чёрному небу, затем свет, поелозив по склону, упёрся прямо в колпак.

— Вот это Васька. Вот чёрт вятский. Ну, чего, славяне, выпались?

— Выпались. Дальше самое интересное начинается.

— Да, дальше самое... куда уж интересней.— Сержант сел.— Вот что. Товарищ лейтенант, я на лебёдках буду, а вы следите за подпорами. Чтобы намертво стояли. Если сорвётся, когда лебёдки перецепляем,— всё, хана. Вы уж там смотрите.

— Лады.

— Ну, чего мужики, подъём.

— Подъём так подъём...

— Прихлопнет он нас, как мух.

— Так... Кто ещё, кроме Кармаева, трусится.— Сержант встал, одёрнул гимнастёрку.— Чё, нет больше ссыкунов?

— Товарищ сержант, да я же не трусюсь, я так...

— Я тоже так. Берёшь кувалду и на лебёдках ломы забивать. Там, наверху, не прихлопнет. Смотри, только палец не придави, институтка.

— Ну, чего вы обзываетесь. Какой я проститутка.

— Институтка и проститутка— это разные люди, красноармеец Кармаев,— сержант почесал за ухом.— Хотя... Хрен их знает.

Летом ночь короче воробьиного клюва. Чуть только забрезжило, сержант отправил бойца кипятить чай. Мужики чуть на ногах держались.

— На эту лебёдку подтянем, и всё, шабаш. Товарищ лейтенант, разрешите перекур с отдыхом, а не то сдохнем на хрен.

Колпак прошёл почти половину склона, и до гребня оставалось ещё столько же. Было понятно, что если ничего не случится, то до верха его дотащить можно. Но что будет, когда он начнёт переваливаться? Вот там, на краю, всё и решится. — Да я что... Я и сам чуть живой.

На лейтенанта смотреть было страшно. Трясущимися руками он пытался вытащить из пачки папиросу, но та пачка уже вся смята в комок.

— Может, махры?

— Давай.— Посмотрел на сбитые в кровь руки.— Закрути сам, я не могу.

Сержант понизил голос, наклонился ближе к уху Никошина.

— Товарищ лейтенант, вы не лезьте так под колпак-то. Пойдёт вниз, не успеете отскочить.

— Знаешь, Фролов, если пойдёт, мне и отскакивать не надо. Пусть лучше давит. В штрафбат не пойду! Я-то ладно, а отец позора не переживёт.

— Да, вот как жизнь разворачивает. Вчера как всё хорошо было.

— Было... — длинно вздохнул. — Я тут много за ночь чего передумал. Видимо, всё по справедливости. Заслужил я это.

— Да вы что, товарищ лейтенант.

— Заслужил. — Лейтенант хрипло, с придыханием, стал говорить быстро, словно боялся, что колпак накроет его, и он не успеет всё сказать.

— Я иногда такая сука был. Ты же видел. Ну, скажи, Фролов... Так? Не надо, я знаю. Я думал, я центр вселенной, и все, кто ниже, должны вокруг меня танцевать. Так мне и надо! — смял сигарку в руке. — Бог даст, вывернусь — другим буду. Нельзя такой сукой жить. Нельзя... — выдохнул. — Давай, сержант, поднимай ребят наверх. Надо отдохнуть. Я тоже пополз потихоньку.

Спали все вповалку, кто где приткнулся. Солнце, поднявшись почти в зенит, безжалостно жгло лежавших как попало людей. Жгло мстительно и зло. Они были чужими на этой земле. Они пришли, чтобы ранить её.

Лейтенант проснулся со звенящей от боли головой. С трудом встав, Никошин, шатаясь, дошёл до землянки, окунул голову в ведро с водой и держал её там, пока не начал задыхаться. Такой головной боли он ещё в жизни не испытывал. Звенело до тошноты, до ломоты в глазах.

Когда, шурясь от спящего солнца, он вышел из землянки, сержант стоял на краю откоса и смотрел вниз. Молча, глянув на подошедшего Никошина, потёр виски, присел на корточки и сжал голову ладонями.

Лепёшка колпака замерла в десяти метрах от края склона. Она была похожа на огромную черепаху, карабкающуюся на гору.

— Ну, вот и дошли до главного. — Лейтенант сел рядом. — Если перевалит через край — наш фарт. А нет...

— Да... Подкопать бы склон поположе.

— Ага, и демаскировать точку. Тогда Зигаев и нас тут прикопает.

— Этот прикопает. Чего он такой злой...

— Кровь, наверное, собачья. — Никошин резко встал, охлопал галифе. — Всё, тянем. Была — не была.

На последний подтяг лебёдки закрепили всеми ломачами, что были. Колпак медленно нарастал над краем откоса. Сержант, стоя на коленях руками дирижировал лебёдками, не давая провисать тросам. Пот заливал глаза, он утирал его рукавом, лицо его перекосило от напряжения, и смотреть на него было неприятно. Никошин, стоя на четвереньках, неотрывно смотрел, как нижний край колпака миллиметр по миллиметру отрывается от земли. Вот уже метр, полтора... Колпак закачался на точке перевала. Лейтенант бросился к нижнему краю, и с перекосенным от напряжения лицом, раскорячившись, плечом подпер бетонную кромку.

— Тяните...е...е...же! Ну...

Продолжались эти секунды, казалось, невероятно долго. Что такое лейтенант Никошин против трёхтонной машины? Муха, не больше. Но колпак, преодолев последние сантиметры, с глухим хлопком, плотно лёг на землю. Всё. Он тоже устал от долгой и мучительной дороги в гору.

Тишина словно повисла в прокалённом до звона небе. Солдаты приткнулись к горячей земле, кто где стоял, и лежали повергнутым войском. Никошин медленно поднялся, отряхнул галифе, поморщившись, промокнул разорванными краями кровь на коленях. Вид у него был как из молотилки. Всклокоченные волосы, чёрные круги под глазами. — Ребята... Вы это... Вы простите меня, — хрипло откашлялся. — Простите... Если можете... Сукой я был... Больше не буду...

Солдаты глядели и молчали. Лейтенант посмотрел вокруг и, опустив голову, пошёл по склону в сторону ручья.

Метров через десять Никошин оглянулся. Колпак, совсем недавно многотонной машиной висевший над головой, готовый в любую секунду размазать его по склону, лежал, трусливо прижавшись к земле, словно дрессированный зверь. Сейчас его задача — затаиться. Лежи, колпак.

Колпак лейтенанта Никошина...



Зинаида Кузнецова Зеркало

157

Зинаида Кузнецова
Зеркало

1.

Виктору снился сон: жена его, Юлия, приехала от матери, из деревни. Наконец-то! Целых полмесяца там прожила, мужа одного оставила на погибель от голода и холода. Он не любил, когда она надолго уезжала или уходила куда-нибудь, скучал без неё и дочки Лизы. После работы всегда спешил домой, несмотря на заманчивые предложения коллег и их язвительные реплики в его адрес.

От Юли пахло яблоками и пирогами, и Виктор счастливо улыбался — жизнь возвращалась в привычное русло. Он потянулся, чтобы обнять жену и... проснулся. А где Юлька? Он разочарованно вздохнул: всего лишь сон. Ну, ладно, ждать осталось немного, сегодня, в субботу, она обещала вернуться. Он с хрустом потянулся, опять зарылся лицом в подушку и хотел было уже уснуть, но вдруг подскочил, как ужаленный. Сегодня разве суббота? Сегодня же пятница, как это он перепутал! Он взглянул на часы: до начала работы оставалось менее часа, а автобус то ли ещё придёт вовремя, то ли нет. Он лихорадочно хватал одежду, натягивал носки — не хватало ещё опоздать! Тогда совсем пиши пропало, особенно с учётом того, что в отделе намечается сокращение и сотрудники ходят все на нервах. Умываться было уже некогда. Ладно, на работе умоется, а небритость ему даже идёт. Юлька вообще советует ему оставлять трёхдневную щетину — ей кажется, что так он выглядит интереснее.

Как это он мог перепутать дни! Вымотался, конечно, на работе, да вчера ещё соседка притащилась, чёрт бы её побрал! Прибежала, вся зарёванная: «Витя, можно я у тебя посижу, мой совсем свихнулся. Видишь, — она показала ему здоровый синячище под глазом, — ни за что ни про что. Со всем озверел».

— Да ты бы его не трогала, пьяного, а то сама всегда начинаешь, —

Виктор был в курсе семейных скандалов соседей. — Вить, ты что! — Зульфия подолом халата вытирала слёзы. — Разве ж я к нему лезу? Пришёл, как всегда, пьяный, стал орать, давай ему пожрать, а что я ему дам — денег третий месяц не приносит. — Знаешь, Зульфия, разбирайтесь сами, а мне некогда, мне ещё к приезду Юли надо прибраться. — Ой, приезжает? — оживилась она. — Наконец-то, а то и словом не с кем перемолвиться.

— Так уж и не с кем, — засмеялся Виктор, не раз наблюдавший, как Зульфия, встретив во дворе какую-нибудь знакомую, часами могла болтать с нею. «О чём вы с ней говорите? — спрашивал он иногда у жены, — она же такая глупая?»... «Да она как радиоточка включённая, никого не слушает,

болтает без перерыва. С ней хорошо по телефону говорить — она говорит, а ты занимайся, чем хочешь, и иногда поддакивай или хмыкай», — смеялась в ответ Юлька. У соседки была привычка прийти часов в семь вечера, и пока не расскажет все новости и сплетни — не уйдёт.

Устав от её крикливого голоса, Виктор уходил в спальню, а жена мучилась, терпела, а что поделаешь! «Она уже скоро ночевать у нас будет», — недовольно бурчал Виктор.

Короче говоря, Зульфия ему страшно не нравилась и он не хотел, чтобы жена с нею общалась. Но что поделаешь — соседи, да и отвязаться от неё было чрезвычайно трудно. К тому же она явно проявляла к нему повышенный интерес, а иногда, в отсутствие Юли, откровенно заигрывала. — Может, тебе чем помочь? — Зульфия, перестав рыдать, уже рассказывала о каком-то, совершенно ему незнакомом, человеке, он не вслушивался, только нетерпеливо ждал, когда она уйдёт. Но, по всей видимости, домой она идти явно не топилилась. Он уже начинал злиться: отдохнул, называется.

— Нет-нет, я сам, спасибо. У вас вроде бы тихо, может, уснул? — он надеялся, что Мишка, её муж, уже спит и она сейчас уйдёт.

Зульфия прислушалась, потом осторожно открыла дверь, выглянула на площадку и на цыпочках подбежала к своей двери. За дверью стояла тишина. Неужели уснул? Тихонько, чтоб не скрипнула, толкнула дверь, оглядываясь на Виктора — здесь ли он, в случае чего. Он ждал, не уходил к себе.

Ну, слава Богу, ушла. Вот соседи им попались! Бесконечные скандалы, разборки... В какой-то мере он понимал Михаила: с такой женой не то что запьёшь — жить не захочется. Она его раздражала неимоверно. Но с другой стороны, у соседей бывали дни и вполне мирные, а отношения — настоящая идиллия.

Виктор уже собрался улечься в постель, но тут на площадке опять послышались крики, шум, в дверь забарабанили... Он открыл дверь — Зульфия, придерживая оторванную полу халата, ринулась мимо него в прихожую...

«Ну и вечерок, — вздохнул он. — Когда они теперь уgomонятся! Сиди тут, слушай её болтовню. До чего же нудная баба...»

За стеной Мишка включил музыку, что-то падало, звенело — похоже, это всё будет продолжаться до утра...

Время шло. Он напоил гостью чаем, посмотрел вместе с ней очередную серию какого-то

глупейшего сериала, который вообще никогда не смотрел, послушал её комментарии—и устал до предела.

— Вить,—она просительно смотрела на него,—может, я у тебя переночую? Ведь до утра, паразит такой, теперь не угонится. Развесься с ним, что ли? Надоел со своей пьянкой, скотина!

Он молчал. Нет, это уже сверх меры, наглость какая—ночевать она у него собралась! Хотя она не раз у них ночевала, но тогда хоть Юлька дома была...

— Ну, ладно, устраивайся, хочешь в детской, хочешь здесь, в гостиной, а я пойду спать, устал что-то сегодня,—спать ему не хотелось, но общаться с ней не было никакого желания. Лучше почитать что-нибудь перед сном...

В дверь тихонько поскреблись. Он прислушался—Зульфия, что ли? С неё станется. Да нет, показалось... Опять тихий стук. Он подошёл к двери.

— Вить, открой, поговорить надо...

— Ты чего, Зульфия? Ночь уже. Я сплю.

— Да не спишь ты, я же слышу, как ты ворочаешься,—она хихикнула.—Мне страшно, я одна боюсь...Открой.

— Слушай, ты чего, совсем уже! Иди спи.

— Ну что ты за мужик, Вить, ты чего, боишься меня, что ли?—опять захихикала она.—Слышь, Витя, открой...

— Зульфия, прекращай свои шутки, мне завтра рано вставать.

Она ещё некоторое время поскреблась, повозилась с ручкой, но дверь была на защёлке.

Он долго не мог заснуть, разозлённый до крайности—ну, совсем совесть потеряла. Нет, надо сказать жене, чтобы кончала с ней дружить. Какая это подруга! Юлия спокойная, домовитая, а тут эта, с её матерками, со сплетнями да скандалами... Да ещё так нагло пристаёт к чужому мужу. Не зря, видать, Мишка её гоняет—есть за что...

Уснул он уже далеко за полночь, и вот результат—проснал. Соседки уже не было, даже не слышал, когда она ушла. Надо отвадить её... Наглая, как танк... Ни стыда, ни совести!.. Не дожидаясь лифта, бегом спустился вниз, еле успел вскочить в автобус, почти пустой в это время, даже место у окна было свободное, удастся подремать, пока едет.

2.

Настроение у Юли было самое распрекрасное. Правда, сначала немножко погустила об оставленной дочке, но, как известно, первую часть пути думаешь о том, что оставил, а вторую о том, что ждёт впереди... Впереди её ждала встреча с мужем, к тому же ей удалось вырваться пораньше—собиралась вернуться в субботу, а сегодня только пятница. Вот обрадуется!...

Водитель, Сашка, её друг детства и давний воздыхатель, украдкой поглядывал на неё и тоже улыбался. Впрочем, улыбался он совсем невесело. Когда-то между ними была любовь, по крайней мере, так он считал. Сначала носил её сумку из школы, потом провожал с дискотеки, и все вокруг считали, что со временем они поженятся. Но она

поступила в институт, а он остался в деревне, не хотел бросать мать одну, да и оценки в аттестате были так себе, средненькие.

Она писала ему из города, приезжала на каникулы, и они снова были вместе, но Сашка чувствовал, что Юлия становится совсем чужой. Слушая её рассказы о весёлой студенческой жизни, он понимал, что ему в этой жизни места нет. Потом письма от неё перестали приходить, и скоро Сашка узнал, что она вышла замуж. С тех пор они ни разу не встречались, а тут вдруг она приехала с дочкой.

Она прожила в деревне две недели, и за эти две недели Сашка окончательно убедился, что ему, кроме Юльки, никто не нужен. Любовь с новой силой вспыхнула в его сердце. Она как будто ничего не замечала или делала вид, что не замечает. Охотно сидела с ним вечерами на скамейке возле дома, болтая ногами, как девчонка, хохотала, слушая его рассказы о службе в армии, об одноклассниках, разъехавшихся кто куда.

Он катал её на мотоцикле, к удивлению и осуждению односельчан: где это видано, чтобы мужняя жена да с чужим парнем раскатывала, голыми коленками сверкала!.. Поползли шепотки, но она на это не обращала внимания. Сашка ей нравился—он стал такой красивый, возмужавший, сильный! Нравился—но и только. Он был как брат, как друг из далёкого прекрасного детства. У неё и мысли не возникло о чём-то другом, кроме дружбы. Рассказывая о своей счастливой жизни, о муже, она не замечала, какие душевные муки ему причиняет.

И вот он везёт её в город, и сердце его разрывается от горя. Она едет к мужу, радуется, светится просто вся... Когда он теперь увидит её? Да и что толку—она чужая жена.

Он вдруг резко повернул руль, и машина, спотыкаясь на ухабах, побежала по лесной узкой дороге. Ветки хлестали по лобовому стеклу, запахло сыростью и грибами.

— Ты чего, Саш? Куда ты?—удивилась Юлия.

— Покажу тебе одно местечко, моё любимое.

— А что за место?—с любопытством спросила Юлия.

— Сейчас увидишь.

Они остановились на высоком берегу, внизу широкой лентой сверкала река. Далеко, у самого горизонта синели горы. «Горыны», как называла их дочь.

— Ой, как красиво! Слушай, а чего мы сюда раньше не приехали? Я и не знала, что тут у нас такие красивые места есть. А лес какой! Наверно, грибов полно!

Он молчал. Она повернулась к нему и не узнала его, так изменилось Сашкино лицо.

— Саш, что с тобой? Случилось что-нибудь?

— Случилось!

— Что? Что?

Он шагнул к ней, и она вдруг испугалась.

— Люблю я тебя, вот что!—вдруг сказал Сашка.

— Ну... Саша...я тебя тоже люблю,—дотронувшись до его локтя, сказала она, пытаясь всё перевести на шутку. Он сердито вырвал руку.

— Любишь ты, как же! Бросила меня, укатила в свой город, а теперь «люблю».

Юля растерялась. Какая любовь? Зачем он? Так всё было хорошо!

— Я тебя как увидел— всё! Не могу я без тебя, Юлька, понимаешь?— он сделал попытку обнять её, но она испуганно отскочила.— Выходи за меня, уедем куда-нибудь... Юлька... — глаза его стали сумасшедшими.

— Саша, успокойся, ты что?... Прекрати сейчас же!

Он снова попытался её обнять, она уворачивалась, но не так-то просто было вырваться из его крепких рук. Губы его были сухие и горячие, и когда он отпустил её, она ещё долго чувствовала их вкус на своих губах.

— Ты что, с ума сошёл! Дурак!— разозлилась она.— Поедем сейчас же! Или я пешком пойду!— Она схватила свою сумку и пошла назад, к шоссе.

— Ладно, кончай психовать,— он догнал её на повороте.— Да садись ты! Пешком она пойдёт...

До города ехали молча. Сашка, остервенело жал на педаль, и ни разу не взглянул на Юлю. На щеках его играли желваки, губы были плотно сжаты. Не доезжая до своего дома, она попросила его остановиться.

— Пока!— она, не оглядываясь, пошла к дому. Надо скорее забыть всё это. Вот дурак, Сашка, чего ему вздумалось...

Наконец-то дома. Сбросив туфли и оставив сумку в прихожей, она направилась в ванную— смыть с себя дорожную пыль и вообще... всё смыть... Её ещё жгло воспоминание о Сашкином поцелуе. И ей было неприятно. Ей казалось, что Витя сразу догадается, что с ней произошло, у неё же всегда всё на лице написано. Она посмотрела в зеркало— и обомлела. На зеркале выделялись написанные яркой красной помадой слова: «Милый! Спасибо за ночь. Люблю. Целую». Что это? Кто это написал? Она растерянно оглядывала ванную и вдруг увидела на полочке тюбик помады... Это не её помада... а чья тогда? Юле показалось, что она уже где-то видела такую. Да-да, у Зульфий точно такая же. Но... почему она здесь? Выходит, это Зульфия написала? Господи... Она, что— ночевала здесь?! Юля побежала в спальню— постель была разобрана, простыни скомканы, одна подушка валялась на полу... Боже мой... Виктор, такой аккуратист, всё у него всегда по полочкам, а тут... Нет, нет, надо успокоиться, здесь какое-то недоразумение. Виктор не мог... А это что? Пуговица... Она подняла её— пуговица была вне сомнения от соседнего халата...

Как была, полураздетая, Юля побежала на площадку, сейчас она всё выяснит. На звонок никто не отвечал. Позвонив ещё несколько раз, она вернулась домой. Да что же это такое! Вдруг она вспомнила всё: и частые посещения Зульфий, и её откровенные заигрывания с Виктором... А она-то, дура, всё подшучивала над ним... Дошутилась!

В замке заскрежетал ключ, раздался удивлённый голос мужа, и через секунду он появился на пороге.— Юлька, солнце моё!— он схватил её в охапку, закурил, затормошил,— ты приехала! А я ждал

тебя завтра. Вот так сюрприз! Ты не представляешь, как я рад!

— А уж я-то как рада,— неживым голосом ответила она, и, освободившись от его рук, села обратно на диван.

— Что случилось, Юль?— он с тревогой смотрел на неё,— Лиза? Мама?

— Случилось?... Ты сам знаешь, что случилось!

— Юля! О чём ты?

Она показала ему помаду.

— Чья это?

— Твоя, наверно,— без всякого интереса взглянув на помаду, сказал он.— Хотя нет, вроде ты такой яркой не пользуешься... Да объясни ты, наконец, в чём дело!

Она встала.

— Что ты строишь из себя невинного ягнёнка? Это кто?— она ногой толкнула дверь в спальню.

— Да я опаздывал, не успел убрать...

— А это?— она рывком распахнула дверь в ванную.— Что это, я тебя спрашиваю?

— Не знаю...— он растерянно смотрел на неё.— А... кажется, я понял: это, наверно, Зульфия пошутила, она у нас ночевала.

— Ах, ночевала! Она у нас ночевала? Она у тебя, у тебя ночевала! И благодарит за приятную ночь!— она задохнулась...

— Юля, не придумывай!— он пытался обнять её, но она, оттолкнув его, закричала:

— Не прикасайся ко мне!!!— злые слёзы покатились по её щекам.

— Ну, хватит, в конце концов! Ты что с ума-то сходишь! Дура эта написала, а ты... Сейчас я ей покажу приятную ночь! Пожалел её, пустил переночевать, а она... стерва!— он задохнулся от злости и выбежал из комнаты. Слышно было, как он барабанит в дверь соседей, но там никто не открывал.

Юля, глотая слёзы, собирала свои вещи. Вот так, в одночасье, всё рухнуло. Он предал их— и её, и Лизу. Как же дальше жить?

— Я ухожу,— спокойно сказала она мужу, как будто собралась сходить в магазин.

— Но это же глупо, Юля!— закричал он.— Из-за какой-то дуры... Ну, давай всё спокойно обсудим... пойми, я тут совершенно ни при чём. Ничего не было, да и быть не могло, ты же знаешь, что я её терпеть не могу!

— Милый, спасибо за всё,— с издёвкой сказала Юля и вышла, громко хлопнув дверью.

Он рванул было за ней, но лифт гудел уже где-то далеко внизу. В квартире стояла мёртвая тишина. Наступая на разброшенные вещи, он прошёлся по квартире, заглянул в спальню, в кухню, словно надеясь увидеть там Юлю, потом открыл дверь в ванную. Глянув на надпись, он зарычал от злости и бессилия и со всего размаху ударил кулаком по зеркалу. Во все стороны посыпались осколки стекла, болью обожгло руку, брызнула кровь, но он всё бил, и бил, и бил...

3.

— Провожающие, прошу покинуть вагон, поезд отправляется,— пожилая проводница шла по коридору,— поторопитесь.

— Какие провожающие, никто не садился? — удивилась Алёна.

— Так положено. По инструкции, — Виктор чмокнул её в нос. — Но мы не обиделись, что никто к нам не подсел, правда, котёнок? Я согласен до Москвы без попутчиков ехать! Без них как-то лучше!

Она оторвалась от кроссворда, засмеялась: а то! Они ехали в отпуск на Чёрное море, и она была счастлива. Он такой сильный, надёжный, старше её, но ей это даже нравилось: за ним как за каменной стеной. У неё никогда раньше не было таких мужчин. Она никак не привыкнет — всё кажется, что он исчезнет в один прекрасный момент. Правда, недавно у неё появилась надежда, что... не исчезнет. Не захочет.

Виктор, положив ей на колени голову, дремал под тихий стук колёс. Из динамика лилась приятная музыка. Алёна перебирала его жёсткие, волнистые, уже с заметной сединами волосы, наклонялась и целовала его в макушку.

Поезд ехал с Алёнкой, что и говорить, думал Виктор, сквозь полуопущенные ресницы глядя на неё. После всего пережитого, после зоны, он и мечтать не смел, что когда-нибудь у него опять будет свой дом, жена, и, может быть, даже дети... Отсидев срок, он вышел на волю, злой на весь мир, и прежде всего на себя. Потерять три года жизни из-за этой сволочи, Зульфий! Хотя иногда он жалел, что не убил её. Вся его жизнь покатила под откос из-за неё! Он скрипнул зубами.

— Что, дорогой? — наклонилась к нему Алёна.

— Нет-нет, ничего, зуб немножко ноет.

Поезд на пару минут остановился на какой-то маленькой станции, и снова застучали колёса: «тук-тук-тук, тук-тук-тук».

В дверь купе постучали. Вошла женщина с небольшим чемоданом, высокая, стройная.

— Я ненадолго к вам, всего лишь до Иркутска, — извиняющимся голосом проговорила она. Голос её заглушил встречный поезд, — у меня верхняя полка. — Располагайтесь на нижней, — вскочил Виктор, — я и на верхней посилю. Что же вы будете мучиться!

Она обернулась к нему, и сердце его словно споткнулось. Юля! Его бывшая жена. Он хотел сказать «здравствуй», но язык не повиновался ему. И она не поздоровалась, хотя узнала его сразу.

Он перетянул свою постель на верхнюю полку и вышел из купе.

Он не видел её с того самого дня, когда приехал за ней, надеясь, что она одумается и вернётся домой. Но она не хотела с ним встречаться, скрывалась у родственников или у подружек. Если бы он мог поговорить с ней, объяснить, договориться — может, и не случилось бы с ним всего... На вопрос, где она, мать, плача, отвечала, что не знает... не велела Юля говорить. Пожилая женщина жалела зятя, он ей нравился — спокойный, хороший парень, любит Юльку, Лизу. Что там у них произошло — неизвестно, да, может, всё ещё наладится, помиряется как-нибудь, дело молодое...

Возвращался в город на попутке. Шофёр, парень лет тридцати, насвистывая какой-то весёлый мотивчик, искоса поглядывал на Виктора.

— В гости приезжали? — спросил он.

— В гости, — сквозь зубы ответил Виктор, говорить ему сейчас не хотелось.

— Как там у вас, в городе, жизнь-то?

— Нормальная жизнь, — Виктор не любил пустые разговоры. Как жизнь, как жизнь — небось, у каждого спрашивает...

— А у нас тут хорошо!

Виктор промолчал.

— Зарплата хорошая, дом свой, хозяйство, — продолжал водитель, — думаю вот машину купить, иномарку. Не посоветуете, какую лучше брать?

«Что ты ко мне привязался со своей иномаркой, — думал Виктор, — какое мне дело до твоей иномарки...»

— Не знаю. Лучше у жены спроси, ей же ездить... — Жена! — засмеялся парень. — Нету пока. Но скоро будет!

— А что так поздно женишься-то, наверно, уже тридцатник скоро? — вяло спросил Виктор.

— Замужем была. Но я знал, что она всё равно моя будет. Вот и дождался! Ушла она от мужа.

— А не боишься?

— Кого?

— Мужа её бывшего?

— Нет, — парень засмеялся, — да и нет его здесь, в городе остался. Изменил он ей, с соседкой, с близкой подружкой, можно сказать... Я, знаешь, с детства её люблю. А что дочка — так это ничего, дочка не помешает. А потом и своих заведём — все наши будут!.. Ну, вот мы и приехали. Я тебя тут высажу, мне на базу, в центр не поеду.

Виктор сидел, словно оглушённый. Муж изменил с соседкой, дочка... А что, если это...

— Как зовут-то?

— Меня? Сашкой.

— Жену будущую?

— Юля! А чего ты спрашиваешь-то? — Сашка смотрел с подозрением.

— Ты знаешь её, что ли?

— А дочку? Дочку её как зовут? — не ответив на вопрос, Виктор в упор смотрел на водителя.

— Лиза... Да в чём дело-то? Ты кто?

Виктор, не отвечая, выскочил из машины, громко хлопнув дверью. Замуж она собралась! Дочка ему, видите ли, не помешает! Я тебе покажу замуж!

Рядом тормознуло такси.

— За двойную плату — в Иванеевку, только быстро! — таксист кивнул: понял, быстрее так быстрее!

Юля была дома, у матери. Увидев мужа, презрительно сощурилась:

— Чего явился?

— За вами! Собирайся, подурила и хватит! Где Лиза?

— Никуда я с тобой не поеду! Я не хочу с тобой жить. Мне противно.

— Юля, — стараясь говорить как можно спокойнее, заговорил он, — ну, что ты придумала! Ну, сколько тебе говорить, что ничего между нами не было! Ни-че-го, понимаешь? Всё это твой фантазии. Я люблю тебя, Лизу, я без вас жить не могу, ты это понимаешь?

— А ты понимаешь, что я не могу жить с человеком, который меня предал!

— Сколько тебе раз говорить, что я не виноват! Предал, предал... А может, дело совсем в другом? Слышал, замуж собралась? Так или нет?!

— Ну, даже если и собралась, тебе-то какое дело? — Ты что говоришь? Я твой муж! У нас дочь!

— Вот и помнил бы о дочери, когда с этой... развлекался!

— Юля! Последний раз говорю: собирайся, поедь домой.

— А я тебе ещё раз говорю: никуда с тобой не поеду. Я выхожу замуж.

— Где Лиза? — внутри у него всё клокотало: дрянь такая, сама тут, видно, закрутила, а его виноватым делает. — Я заберу её с собой.

— Лизу ты больше не увидишь.

Виктор, размахнулся, чтобы ударить её, но вбежала тёща, повисла у него на руке...

— Убирайся отсюда! — Юля с презрением смотрела на него. — Лизу ты не получишь. Ещё нарожаете татарчат со своей Зульфией!

Он не помнил, как вернулся в город. Не заходя в свою квартиру, бешено заколотил в дверь соседки. Выглянула Зульфия — толстая, растрёпанная, как всегда, в халате, заулыбалась. Он схватил её за грудки, не обращая внимания на крик, выволол на площадку.

— Ты чего, с ума сошёл, что ли? — стараясь вырваться из его рук, орала она. — Пусти меня, идиот! — Убью! — он совсем потерял над собой контроль. — Убью суку!

Из дверей стали выглядывать соседи, поднялся крик, шум, никто не мог понять, что происходит. — Виктор, ты что делаешь, прекрати сейчас же, — кричали люди, но он продолжал наносить ей удары, пока она не упала. Он ещё два раза пнул её, потом кто-то схватил его сзади и оттащил от Зульфии. Кто-то вызывал милицию.

Дали ему три года. Отсидел от звонка до звонка. Юля, пока он сидел, подала на развод. Вышла замуж. За того самого Сашку. После освобождения он не стал возвращаться в родной город — что ему там делать? Уехал на Север, встретил Алёну, жизнь как-то устаканилась, о прошлом не думал. И вот тебе — на! Встретились!

Он вернулся в купе. Юля сидела, подперев лицо ладонями, смотрела в тёмное окно. На столике лежало нераспечатанный пакет с бельём. Алёна показав на неё глазами, пожалала плечами: странная какая-то женщина...

«Ложись», — коротко сказал он Алёне и, подтянувшись на руках, взобрался на верхнюю полку. Его всего трясло.

Алёна спала, с головой укрывшись простыней. Звякала ложечка в стакане, мерно раскачивался вагон, стучали колёса, изредка проносились встречные поезда, а Юля всё так же сидела, видимо, не собираясь ложиться совсем. Через некоторое время она поднялась и вышла в коридор, обдав Виктора знакомым запахом духов. Он вздрогнул. Не меняла... Он всегда дарил ей в день рождения и на 8 Марта такие духи.

Он вдруг понял, что никогда не забывал её, никогда, даже когда совсем не думал о ней, даже когда бывал счастлив. Боль, что она ему причинила, со временем прошла, он смирился с тем, что потерял её, но она всегда жила в нём. Просто он научился жить без неё. Сейчас, увидев её так неожиданно, он не успел включить какие-то защитные реакции в организме, и прошлое хлынуло в него, как волна, и затопила его полностью.

Он, стараясь не потревожить Алёну, спрыгнул с полки, Осторожно отодвинул дверь и вышел в коридор. В коридоре было полуметно, под потолком горели ночные неяркие лампочки, шевелились от встречного ветра белые шторы с фирменным названием поезда. Юля стояла у окна, взглянув на него, она чуть подвинулась в сторону, давая ему место. Молчали. На стыках вагон начинало трясти, они несколько раз соприкасались плечами, но тут же старались отстраниться друг от друга. — Как живёшь? — сиплым от волнения голосом спросил, наконец, он.

— Нормально живу.

— А Лиза? Как она?

— Всё нормально, — Юля подняла на него взгляд, — учится во втором классе. Отличница. — Помолчала. — Помогает за братиком ухаживать. Четыре года ему...

Он сжал зубы. Вот так. Значит, сын. Наверное, похож на отца — весёлого шофёра Сашку. А на кого же ему ещё ходить!

— Ты, надеюсь, счастлива?

Она промолчала. Счастлива ли она? Сашка хороший, заботливый, детей любит, её обожает... А она его? Наверно, любит, раз живёт, раз родила от него ребёнка. Только... да что уж теперь говорить, сама виновата. Молодая была, глупая...

Загрохотал встречный товарняк, она испуганно отшатнулась от открытого окна, её разлетевшиеся волосы задела его по лицу. Инстинктивно он обнял её, снова почувствовав знакомый запах. И она не отстранилась, а как-то беспомощно прижалась к его плечу, такому родному, тёплому...

Открылась дверь соседнего купе, заспанный мужчина, задев их толстым животом, направился в сторону туалета. Юля отстранилась от Виктора, поправила волосы, вздохнула:

— Скоро Иркутск.

Поезд медленно полз по берегу, в воде отражались огни города.

— Юлька, я...

— Не надо ничего говорить...

— ...понимаешь, я ведь и вправду ни в чём не виноват перед тобой. Не было у нас ничего тогда! Я хочу, чтоб ты это знала.

Она промолчала.

Прошёл назад толстяк, проводница вышла из своего купе — скоро станция. Несколько пассажиров уже выставляли в коридор свои пожитки. — Я хочу увидеть Лизу, — Виктора толкали, ругались, что загородил проход, — скажи адрес, я приеду.

— Нет, Витя... Лиза... она... она не помнит тебя...

Взяв свой чемодан, она скользнула взглядом по лицу спящей Алёны и пошла к выходу.

Снова промчался встречный, громким рёвом приветствуя пассажирский. Юля оглянулась и что-то сказала, её слов не было слышно из-за гудка, но Виктор по губам понял — она сказала: «Я тебя люблю».

...Лязгнули колёса, поезд, словно нехотя, медленно тронулся с места. Виктор смотрел в окно, пытаясь разглядеть в тусклом свете фонарей Юлю. Но её нигде не было видно...

4.

Лязгнули колёса, поезд, словно нехотя, медленно тронулся с места. Виктор смотрел в окно на разношёрстную толпу пассажиров, высыпавших из встречного поезда. Кто-то спешил к киоскам — прикупить продуктов, кто-то — подышать свежим воздухом или покурить. Из открытой двери тамбура тянуло холодом, мороз, наверное, градусов за тридцать. Напротив окна стояла группа молодых людей, по всей видимости, офицеров, ребята курили, смеялись, провожали взглядами девушек, не обращая на мороз совершенно никакого внимания. Невысокий парень в накинута на плечи военной куртке, в меховой шапке с кокардой, но в шортах и в сланцах на босу ногу, хотел громче всех и выглядел довольно комично. Виктор улыбнулся — молодёжь, всё у них впереди, будущее, наверное, предстаёт только прекрасным... Только у всех ли оно будет таковым... Заранее не дано знать, когда и кто вдруг проведёт невидимую черту и разделит жизнь на «до» и «после»... Что это будет — злой рок или чья-то недобрая рука, написавшая на зеркале: «Милый, спасибо за ночь...»? Он вздохнул. Сколько у него уже было этих «до» и «после»!

Кажется, совсем недавно он встретил Юлю в вагоне скорого поезда и потом разыскал её в таёжном посёлке, а прошло уже почти два года. Два года душевной муки и угрызений совести — ведь он ушёл от Алёны, так много сделавшей для него, по сути, она спасла его, когда он совсем пропал. Ради Юльки оставил. Тогда, после той встречи, он больше не мог существовать без неё, без дочки. И она ведь сказала, что любит его...

Он всё честно рассказал Алёне. До сих пор он помнит её виноватые глаза, как будто это её вина была в том, что он любит другую... Он чувствовал себя подлецом, но... что он мог поделать — Юля и только она жила в его сердце... Он знал, что будет счастлив только с ней.

Но счастье никак не давалось. Когда поутихла радость примирения, оказалось, что слишком много есть того, что мешает наслаждаться им этой радостью. Во-первых, Сашка. Он долго не мог смириться с тем, что Юлька от него ушла. Скандалил, подкарауливал её, угрожал, что через суд отберёт сына. Не раз они с Виктором выясняли отношения на кулаках, но, в конце концов, Сашка уехал из посёлка. Всё, будто бы устроилось. Юля тоже успокоилась, перестала плакать, но... всё чаще и чаще стали появляться в её голосе нотки раздражения, всё чаще он начинал испытывать к ней что-то похожее на ненависть: ведь она жила с этим Сашкой, родила от него сына, и дочка считает того

отцом. А он, Виктор, тут так себе — сбоку припёка. И хотя он понимал, что несправедлив к ней, душу его грызла обида и ревность. Сына Юльки, маленького Никитку, он, как ни старался, не мог полюбить. Не мог и всё! Ребёнок, конечно, ни в чём не виноват, а он всё равно испытывал к нему неприязнь и старался не замечать. Лиза тоже никак не могла привыкнуть, что этот дядя — её папа. У неё же папа — Серёжа, и у Никитки тоже, а мама заставляет называть папой дядю Витю.

Виктор стиснул зубы, вспомнив, как однажды услышал голос дочки, игравшей в соседней комнате с братишкой: «Вот папа приедет, я ему расскажу, что не слушаешься и берёшь его фонарик». «Нет, не скажешь, не скажешь — у нас теперь другой папа», — отвечал Никита. «Ничего не другой, — возражала Лиза, — папа приедет и опять будет жить с нами»...

«Она же почти не помнит тебя, — оправдывалась Юля, — она была совсем крошкой, когда...» — «...Когда ты нашла ей другого папу», — заканчивал Виктор. Юля принималась плакать, а он уходил из дому и частенько возвращался навеселе.

Он всё чаще стал вспоминать Алёну и однажды позвонил ей: как живёшь? У Алёны, по её словам, было всё нормально.

«Очень хочу тебя увидеть», — неожиданно для самого себя сказал Виктор. «Приезжай, — помолчав, ответила Алёна, — адрес тот же. Ждём», — она положила трубку.

Уже сегодня вечером он увидит её. Он ничего не объяснил Юле, сказал просто, что едет в командировку, но она поняла по его уклончивому взгляду, что не в командировку. Она собрала ему сумку, и на его слова «ну, пока, до свидания!» ничего не ответила. Ему даже показалось, что она как-то с облегчением вздохнула. Что ж, ей тоже, наверное, нелегко. Снова прежняя обида поднялась у него в душе — ведь это она, она сама разрушила всё из-за своей глупости и ревности. К кому было ревновать-то!

А Алёна... Может, он напрасно затеял эту поездку, ведь он о ней ничего не знает — как она, с кем... Сказала: «Ждём»... То есть, как ждём? Кто ждёт? Он внезапно почувствовал беспокойство: а вдруг она замужем и они «ждут» его? А почему бы ей и не выйти замуж? И правильно сделала, если вышла! Порядочный человек, может, попался, не такой, как он, бросивший её так безжалостно... И чего он, осёл, сорвался, куда и зачем едет... Может, на ближайшей станции выйти и обратно? Но домой не хотелось, это однозначно. «Ладно, хватит нюни распускать, — оборвал он себя, — как говорил кто-то из великих, надо ввязаться в драку, а там посмотрим...» Решив, что утро вечера мудренее, он заснул под громкий храп соседа по купе.

5.

Алёна жила всё в том же ветхом доме барачного типа, с печным отоплением, с удобствами на улице. И она была не замужем. Но она не оговорила, сказав: «Ждём».

То, что ребёнок — его, он понял с первого взгляда. Такие же, как у Лизы, рыжие, курчавые волосёнки,

круглые синие глаза, даже два пальчика на ногах были слегка сросшиеся—их семейное отличие. Когда у кого-нибудь из родни рождался ребёнок с такими пальчиками—все были страшно довольны: значит, в их роду пошёл...

А он ничего не знал... Напрасно Алёна скрыла от него, что ждёт ребёнка. Может быть, всё повернулось бы по-иному... Да нет, наверное, случилось всё так, как должно было случиться. Ведь он тогда был как сумасшедший. Скорее всего, и ребёнок не остановил бы его в тот момент.

Он понимал, что виноват перед Алёной. И её сдержанность не обижала его—а что же, она должна была встретить его с распростёртыми объятиями? Так не бывает. Хорошо ещё, что встретила как друга, как родственника, не препятствовала его общению с сыном. Малыш быстро привязался к Виктору, ползал за ним по ковру, смешно подпрыгивая одной ножкой. Он недавно научился ходить, часто падал и предпочитал пока ползать. Когда Виктор входил в комнату, малыш бурно радовался, лепетал что-то, карабкался по его ногам, тянул ручки, чтоб его взяли... Виктор играл с ним, кормил, ему хотелось как можно больше времени проводить с сыном. Сын, подумать только! Он страдал, видя, что Лиза всё дальше и дальше отдаляется от него, по существу, у него уже не было дочери—она продолжала считать отцом Александра. А, оказывается, у него есть сын. Сын! Так может быть?... Нет, это невозможно. Надо выбросить эти мысли из головы, да и Алёна не захочет... После того, как он бросил её, беременную... Ну и что, что не знал, это не оправдание. И она одна растит сына, каково ей приходится, можно только догадываться. А может, стоит попробовать? Может, у них получится? Ведь он когда-то любил Алёну, он и сейчас... она и сейчас ему нравится. Алёна расцвела и похорошела, стала женственнее, из худощавой, угловатой девушки-подростка она превратилась в миловидную женщину, слегка пополневшую, что, впрочем, её несколько не портило.

Алёна избегала разговоров об их отношениях. Он попробовал объяснить, но она остановила его: не надо. Что теперь говорить, что случилось, то случилось. Значит, так надо было. Она кормила его ужином, потом шла купать и укладывать ребёнка и сама уже больше не выходила из спальни. И всё-таки Виктор замечал, что, когда он играет с Серёжкой, подбрасывая его вверх почти до потолка, и тот заливается смехом, у неё меняется лицо и кажется, что она в этот момент с трудом сдерживает слёзы.

Неделя промчалась быстро. Они так и не поговорили толком. Уезжать ему не хотелось. Он за эти дни крепко привязался к Серёжке и вдруг понял, что расставаться с сыном будет непросто. А зачем расставаться, спрашивал он сам себя, ведь это его сын, его нужно растить, ему нужен отец. Эх, если б Алёна позволила... А если б позволила—он бы остался? Ведь его ждут Юля и дети... Но думать об этом ему не хотелось. Он как-то забыл о них за это время. Здесь, с Алёной и сыном, ему было хорошо, спокойно. Может быть, он тогда сделал большую ошибку, разыскав Юлю? Скорее

всего. Что разбито, то не склеишь, а если и склеишь—ничего хорошего из этого не получится: всегда будет видна трещина. И она, эта трещина, становится всё шире...

...Дома была одна Лиза.

—А где мама?—спросил Виктор, обратив внимание, что дочка не выказала никакой радости от встречи с ним.

—Она пошла к бабе Нине.

Внутри у него всё перевернулось. Баба Нина была матерью Сашки. Сколько раз он говорил, что нечего ходить туда, так нет же—стоило ему выйти за порог, она опять... Нет, пора кончать с этим!

Вечером он устроил скандал, но Юля не отвечала на его упрёки.

—Так больше продолжаться не может!—он со злостью смотрел на неё.—Если никак не можешь забыть своего хахалю, то уходи к нему!

—Какой хахаль?—не выдержала Юля.—Что ты несёшь! Баба Нина попросила привести Никиту, только и всего.

—В общем, так. Если это не прекратится, я больше жить с тобой не буду. Надоело!..

—Надоело, так уходи.

Он чуть не поперхнулся. Такого оборота он не ожидал. Он думал, что Юля, как всегда, будет оправдываться, просить прощения, а она... Ну, может быть это и к лучшему. Он уедет к Алёне, к сыну. Он, вообще-то, уже всё решил, только не знал, как всё это сказать жене. Она облегчила ему задачу. Это она, она во всём виновата, в его нескладной жизни, в том, что сын растёт без отца, в том, что он стал чужим для дочери. В общем, решено. Завтра он подаст заявление об увольнении и уедет.

Прошло два года. Он снова в дороге. Стучат колёса, трясётся старый вагон—того и гляди, развалится. Как развалилась его, Виктора, жизнь. Прожив с Алёной эти два года, он понял, что опять сделал очередную ошибку. Не любил он Алёну. Сына любил, а её нет. И ничего не мог с собой поделать. Он едет к Юле, не зная, что его там ожидает. Скорее всего—ничего хорошего.

Ворочаясь на жёсткой полке, он представлял встречу с ней, искал слова, которые он ей скажет, надеясь, что она поймёт и простит... И тут же перед его глазами вставало заплаканное лицо Алёны, испуганные глазёнки сына. «Папочка, куда ты уезжаешь?» «Я скоро вернусь, сынок. Привезу тебе машинку—вот такую большую, хочешь?» «А когда ты привезёшь?» «Скоро»... Болело сердце...

Виктор не знал, что Юля, хоть и не сразу, но простит его, и сначала у них будет всё хорошо, но потом змея ревности и обиды вновь вползёт в его душу и он опять будет ненавидеть её и любить одновременно, а потом совместная жизнь станет невозможной и он опять поедет к сыну, к Алёне... Он будет жить с Алёной, не любя её, и думая о другой, которую любит, но жить с ней не может. И он будет ненавидеть себя за то, что все вокруг него несчастливы и только он один виноват

в этом. Он давно забыл, с чего всё началось и кто был настоящим виновником всех его бед.

И Зульфия совершенно забыла о своих бывших соседях.

В их квартире живут другие люди. Зульфия проводит у новых соседей все вечера, сплетничает,

рассказывает свои байки, скандалит и мирится с мужем.

Хозяин квартиры с трудом переносит соседку, а жена с ней дружит — не разлей вода. «Она у нас скоро уже и ночевать будет», — злится муж.

Жена смеётся: всё может быть...

ДиН стихи

164

Валерий Даркаев
На исходе мартовского дня

Валерий Даркаев

На исходе мартовского дня

Тревога ложною была...
Весна вчера не наступила,
Она до юга добрела
И там народ в себя влюбила.
Народ и тронулся умом,
Когда в садах запахло мёдом,
И шандарахнул первый гром,
Грозя им яблочным приплодом.
И как всегда достался шиш
Холодной матушке Сибири.
Как с горя тут не согресишь,
Налив стакан... вдогон четыре.
И кинешь валенком в пургу,
Чтоб прочь, как ведьма, убиралась...
А солнце в поле, на снегу
Собакой рыжею валялось.
А толку не было ничуть,
И снег до боли опротивел.
Вдруг радость чиркнула мне грудь
Сугроб — один! но засопливел...

На исходе мартовского дня
Из-под огрузневшего сугроба
Лужа посмотрела на меня,
Как на вредоносного микроба.
Будто бы смогу я помешать
В жизни ей сейчас определиться
И ручьём серебряным удрать,
Чтоб с рекой назавтра породниться.
Думая об этом, втихаря,
На меня с опаскою глядела...
Может быть, и смачно матеря:
— Шляются тут... — разные — без дела!..

Осетра, красавца жирного,
Продавал хмельной рыбак.
Как туза держал козырного
И просил всего пятак.
«Эх, ты, дурень, деревенщина, —
Молвил чей-то злобный рот, —
Эта рыба с деньгой венчана,
Что ж ты делаешь, урод!..
Почему её ты, ценную
Рыбу важную вельмож,
Как треску обыкновенную...
Не с гнильцой ли, продаёшь?..»
И сказал рыбак взволнованный:
«Ла-дь, отдам, как для царя,
Но — тебе, судьбою жёваный...
Вынимай-ка три рубля?..»

Ходил по свету Человек...
Не бухарь, не повеса.
И удивлялся: «Что за век?
Не смыслю ни бельмеса!
Сплошная смута. Черета
Плевков на жизнь, науку.
Всё продаётся. Красота-
По доллару за штуку.
По два за честь, три — за любовь,
И ни за грош Отчизна...
Ну, как же так, — бурлила кровь, —
Дороже даже брынза».
Болела, плакала душа,
Отчизна не страдала...
О Человека не спеша
Подошвы вытирала.



Никита Янев Луи, открывайте

В деревне

Только схема всё исправит. Дедушка Фарафонов Афанасий Иванович из деревни Фарафоново на Зуше взял за себя бабушку Толмачёву Пелагею Григорьевну из соседней деревни Толмачёво и выселился в деревню Бельково. Достоверно известен только один факт из биографии: был чистоплотен, пришивал красную нитку у одежды, где ноги, бабушка перешивала. Пропал без вести на фронте. Во Мценске в сорок третьем 2 месяца шли тайные переговоры между Жуковым и Гудерианом о перемирии. Все понимали, что одной нации не станет,—скифская война. Когда около миллиона попадает в котёл, начинается паника: кто кого отрезал, наши или наших. В Аргентине есть монах в маленьком католическом монастыре в Андах, 103 года. Закрывает глаза и всё видит. Но ничего не отсекает, потому что понимает, что мы ничего не решаем, что человек как камера, только снимает, как красиво то, что было рационально до цинизма. У одежды в ногах красная нитка пришита.

Луи, открывайте...

Бог продал в ломбарде немного цветных металлов со звезды Альфа Центавров и купил себе камеру, и всё время снимает. Он решил поступать во вгик, как Лёлек и Болек, которого родители послали учиться в Ирландию на брокера за 150 тыс. евро. Бог сумасшедший, смеётся, когда не надо, разговаривает с самим собой, какое вы имеете право. Когда ему присылают по интернет-почте рекламу с сайтов порнухи, он их не открывает, но внутри у него открывается бездна, потому что он думает: «Все работники в фирме сидят на сайте «Одноклассники.ру» и не делают работу, это их искусство про то, что не получилось мечтать, что оно получилось. Руководители фирмы ставят заслоны на компьютерах фирмы от сайта «Одноклассники.ру» Не то же ли с порнухой, вот почему внутри у меня открывается бездна и я хочу поступать во вгик, а Лёлек и Болек не хочет быть брокером в фирме. Потому что это уже было, а этого ещё не было. К соседям в Мытищах приходят и стучат в окна,—Луи, открывайте. Мама, когда умерла, положила на книжку 6 тысяч рупий, мне и дочке, наверное, хотела, чтобы мы приехали на могилу. В бти сидят жопы на ножках и говорят, что не отдадут нам наши метры, потому что они потеряли на них бумажку, наверное, хотя бы 6000 рупий. Ну и что, мы, когда въехали в эту квартиру, то все провода были подключены напрямую, и теперь я боюсь, что меня посадят в психушку за то, что я обманул государство»,—думает Бог. Бог раньше жил на острове, а потом перебрался в мёртвые зрочки

одного, потому что ему его стало жалко, он был одинокий, но мечтает Бог про другое. Поступить во вгик, как я говорил, и снимать фильмы, которым дадут всех Оскаров и все медали за заслуги. В которых одна женщина, жертва пыток югославской войны, которую все изнасиловали и заставили убить дочь изуверским способом. Она оглохла и не умерла, она всё время работает на работе. А по ночам к ней приходит убитая дочь со дна океана и они про всё разговаривают. Вот почему все работники фирмы закрывают порнуху и регистрируются на «одноклассниках.ру» и не делают работу. В нас, конечно, есть зверство, оно оттого, что мы отчаялись, что мы одиноки и не хотели выныривать.

Дальше у Лёлека и Болека в фильме,—что югославскую женщину заставили поехать в отпуск, потому что у них профсоюз, но она не могла не работать, это была форма забвения. Она почему-то не умерла. Тогда она поехала на буровую вышку в море случайно, ухаживать за обгорелым и ослепшим, раньше она была медсестрой. Ну, короче, ослепший прозрел. Они поженились. И дочка всё реже приходит со дна моря, где живут слова. У Лёлек и Болек задумал картину, что это её последний приход, убитой дочки, этот фильм, а потом, ну не то что все порносайты взорвутся, а все работники фирмы женятся на первой любви в раннем детстве, а просто, всегда было ясно. Я, например, был весьма шокирован, когда в каталоге нашёл свои рассказы про божественную благодать в сносах на порносайтах. Луи,—открывайте, застучало у меня в мозгах, и я подумал в отчаянье: вот бы нырнуть и не вынырнуть. Все работники фирмы в 10 часов утра, преодолев защиту, входят на сайт «Одноклассники.ру», а в 6 часов вечера закрывают. Я ведь 10 лет назад говорил: или вы специально скручиваете страну, или отпускаете жизнь на места, потому что она всё равно уйдёт, но меня никто не послушал, всем надоело терпеть. Собака Глаша, ей 10 лет у неё течка, она гадит соседям под ракушку и всё время чего-то хочет, чего здесь можно хотеть. Я, например, тоже хотел издать одну свою книгу с фотографией на обложке, с папой в парке, а другую свою книжку с фотографиями текстильных кукол Родиновой Марии, Архистратиг Фёдор Михалыч и Смерть Марины Михайловны Цириной, на передней и задней обложке. Но мне все редакторы сказали, что я сумасшедший, потому что это бизнес. А какой это бизнес, просто всегда было ясно, что это уже было, а этого ещё не было. Я, например, не хочу правил, я хочу снов. Но мало ли чего я хочу

и чего я не хочу. Жена, например, ведёт каждый день 6 уроков и 3 частных учеников за деньги, не считая всего остального, что все мы умрём. И этого никогда не будет, Бог, когда это слышит, то сразу становится сумасшедшим, а Лёлек и Болек решает поступать во вгик на режиссуру, ведь его за 150 тысяч евро выучили на брокера в фирме.

Папа, забери меня отсюда, здесь очень страшно

«Да я теперь в кого угодно могу превратиться, в теле такая приятная гибкость образовалась, вот только в себя не могу».

«Падал прошлогодний снег».

Мне страшно, меня колотит. Всем страшно, всех колотит. Сначала утро, потом будет вечер. Футбол по телевизору. О Господи, причём здесь футбол по телевизору, если надо строить. Над страной летает Мартышка Тарковского и шепчет про глобальное потепление и запазуху русского севера, и никто не слышит. Последний герой выходит из дома, запирает дверь на замок, что ему дальше делать? Власть властвует, писатели пописывают, читатели почитывают, хирурги режут, больные выздоравливают, меня колотит. Теперь понятно, почему героев перестроечных фильмов «Асса» и «Игла», Бананана и Цоя, новый русский Крымов и герой Мамонова убивают, потому что это жертва. Жертва никогда не даром. Становится ясно, зачем было нужно глобальное потепление, когда сюда хлынут южные народы, они не смогут по-своему строить, они смогут по-жертвину строить. Зачем мне нужно это знание? Гамлет, принц Датский, мечется в клетке из трупов. Царство мало похоже на сказку. Сиреневый оранжевый закат по Ярославке в восьмом ряду несётся, как перегруженный рефрижератор. Платон Каратаев, соль земли русской, гастарбайтер из ближнего зарубежья, в кабине КАМАЗа, Родион Романович Раскольников, экз, менеджер по доставкам, в салоне газели, Павел Иванович Чичиков, мёртвая душа, директор фирмы, в экипаже джипа, притормаживают. По зебре переходит автор в местный супермаркет «Дизайн и озеленение» за цветком в горшке, жене, теще, дочке, трём женщинам-паркам, музам, гениям, ларам, декабристам, меценатам, братьям, прядущим нить судьбы на ладони, из которой он как из кокона выбраться не может, чтобы никого не обидеть, на День учителя, День независимости от кого-то, а от кого мы забыли, день рождения. С одной стороны Ярославки — церковь, с другой стороны Ярославки — отделение милиции.

Я на озере Селигере на туристической базе в июле долго думал, что же мне делать тут среди новых русских и старых русских, пока не придумал, совершать подвиги. Косить камыши под водой для пляжа, вытаскивать «бмв» из лужи с грязью, вытаскивать детей мамам из воды, чтобы не утонули, отжимать дамам двери в тронувшейся пригородной электричке на мёртвой платформе, чтобы их не размыкало о белый свет до следующей платформы, большей частью снаружи, отчасти внутри. Дамы шепчут: не надо, не связывайтесь

с провиденьем, это мы так вымочаливаем своё я о сущности мира, как на вершинах Гималаев и на дне Марианской котловины, 11 км вверх, 11 км вниз, куда нас сошлют после мыслей, кормить своей плотью ленточных глистов для флоры и фауны, штопать флаги стран-участниц большой восьмёрки, из которой нас исключили, потому что мы изменили принципам демократии.

Жать руку Сталкеровой Мартышке и не уметь оторваться от ладони, оказывается она уже родилась, а я и не заметил, я был загипнотизирован жертвой, гибелью героя, Цоя, Бананана, изменой принципам демократии. Разговаривать в тамбуре пригородной электрички «Москва — Петушки» с дядечкой счастливым, что он всё время по командировкам, а маленький сынишка один дома, какую ему завести породу, чтобы у него был друг, колли, боксёра, эрделя? Конечно, подобрать на улице дворнягу. С бомжами переругиваться возле больницы, которых не стали лечить и они в знак протеста основали лагерь, «что я тебе прислуга, принеси сигареты, принеси попить, отнеси тарелку на помойку».

Потому что пьяных больше не поднимают, стоит очередь в овощную палатку возле остановки маршрутки, рядом лежит пьяный с примёрзшими к земле волосами, с намоченными мочой штанами, очередь говорит, безобразие, и думает, ему хорошо. Потому что после эпохи построения общества развитого социализма и застоя была эпоха демократизации общества и беспредела, а теперь другая эпоха, терроризма и антитерроризма. Из взорванной электрички выходят в тоннель люди и одни другим помогают, потому что сначала свет пресёкся, а потом раскрылась новая возможность жизни, совершать житейские подвиги, как дочка Майка Пупкова, тёща Орфеева Эвридика, жена Родинова Мария, женщины-парки, музы, меценаты, декабристы, Платон Каратаев, соль земли русской, гастарбайтер из ближнего зарубежья, в кабине КАМАЗа, Родион Романович Раскольников, урка, менеджер по доставкам, в салоне «Газели», Павел Иванович Чичиков, мёртвая душа, директор фирмы, в экипаже джипа, братья по страсти, потому что уже родилась Сталкерова Мартышка и летает как немая рыба над огромным полем от Франции до Канады, которое потом станет чудовищный город, а потом его не станет. Именно потому что я не могу так сказать, что потом ничего не станет. Я в это не верю.

Иммунитет и нервная система как-то сопряжены, а с третьей стороны чувства слова и всё это как дыра. А причём здесь тогда дело, если это как недело, как батюшка, который теперь крыша вместо политрука и особиста. Чтобы не помешать от муки, что ни до кого нельзя докоснуться, потому что они полностью закрыты, потому что они свою жизнь не видят, Сталкерову Мартышку. Жизнь, великое степное племя, Сталкерова Мартышка. Жена Мария Родинова в школе работает бесплатно, потому что дети генералов и банкиров тоже люди, они же не виноваты, что все деньги уходят на алмазные писсуары, и тоже хотят знать всё о жизни, великом степном племени, Сталкеровой

Мартышке. Как она была? Платон Каратаев, русский народ, Родион Романович Раскольников, народоволец-разночинец, Павел Иванович Чичиков, революционер-чиновник, Мандельштам Шаламов, посмертно реабилитированный, Веня Аткин, дезертир всех войн в нычке, псих, алкоголик, эпилептик, смотритель ботанического сада «Хутор Горка» в штате Вермонт, Австралия, под кожей. Жена, Родинова Мария, приезжает с работы и злится^ ты людей любишь слишком умозрительной любовью, а на улице осень, самая прекрасная пора года, а она устала так, что руку поднимет, а опустить забудет, так она и висит на воздухе как, Христос распятый. Интересно, какой же другой любовью я их любить могу, если люди меня убили, смотрят по вечерам ток-шоу «Русская литература мертва?», «У христианской цивилизации смысла нет?», как будто, если убить Бога, будет кому спрашивать у Бога, есть ли он на свете. Русская литература—это набросок поступка, способ нарваться, как Толстой в 80 лет новую жизнь начал, как Пастернак в 70 лет новую жизнь начал, как Гоголь в гробу скрёбся, как Пушкина заправили, как зверя на травле, вина, легенда, Цой дверь запер и стал Сталкеровой Мартышкой. А на ток-шоу светские люди узнают друг у друга, как бы не нарваться, чтобы пробыть империей ещё одно поколение, чтобы своих детей подставить, в которых они деньги вложили. Дочка Майка Пупкова тоже светский подвиг совершила, ушла с конюшни, 10 лет лошадьми занималась, чтобы подготовиться в Академию печати. Мама, Арлекина Пьеро, одну книжку уже издала через 2 года после смерти на бутылочные деньги, потому что ей стало обидно, что её сына Гену Янева по телевизору халтурщики мертвецом обозвали, она-то точно знает из своей наставшей загробности, что всё живое. Тёща Орфеева Эвридика, даже говорить страшно, самый светский подвиг совершила. Это уже не набросок поступка, это уже Сталкерова Мартышка, вот кто дослужился—после самоубийства едет на работу кормить семью убийцы. А летом в Германию, Францию, Голландию к родственникам из Самары, чтобы на месте разобраться с этими Эйфелевыми башнями, Дрезденскими галереями и Гаарлемом, кто же там у них главный, Ван Гог или принцесса Диана, трагедия или драма, жизнь или искусство. И по возвращенью: сдавай на права и покупай дом в Сортавале, я хочу живописью заняться.

Ну, короче, это иммунитет, старший сын Антигоны Мытищинской, одноклассник жены Родиновой Марии, погиб в армии от желтухи, потому что никому нет дела. Младший сын Антигоны Мытищинской, одноклассник дочки Майки Пупковой, школа на карантине, эпидемия желтухи. Я в армии когда заболел желтухой, то мне фельдшер сначала не хотел верить, почему он? А потом через 2 месяца в боевую часть турнули, хоть там полгода госпитализации положено по уставу гарнизонной службы, потому что каждый вечер «Иронию судьбы или с лёгким паром» про наш советский славняк с молотком в трусах смотрел, потому что после вечерней поверки во двор драться,

какой род войск достойней, десант или человеколюбье. Ах, зачем я мальчиком родился, сейчас бы всё делал, как жена Родинова Мария. А так сначала, как папа Арлекин Пьеро, несчастье и счастье перепутал, потом, как мама Пьеро Арлекина, 30 лет в одну точку смотрел, стоило или не стоило рождаться. Потом, как Цой, дверь на замок запер, вышел на улицу общину из себя строить, потом ещё подтянутся люди, а на улице летит астероид «Папа, заberi меня отсюда, здесь очень страшно». Прилетит через полколлеконья и собою накроет Мелитополь, Мценск, Москву, Мытищи, Соловки, Старицу, Селигер, Сортавалу, трагедию, драму, постмодернизм, неохристианство, жизнь, искусство, индейцев, у которых земля главная, инопланетян, у которых они главные, мутантов, у которых нет главного, послеконцасветцев, у которых всё главное, Платона Каратаева, соль земли русской, гастарбайтера из ближнего зарубежья, в кабине КАМАЗА несущегося по Ярославке в первом ряду, Родиона Романовича Раскольниковца, урку, менеджера по доставкам, в салоне «Газели», несущего во втором внешнем ряду по Ярославке, Павла Ивановича Чичикова, мёртвую душу, нового русского, директора фармацевтической фирмы «Щит отечества» в экипаже джипа несущегося в третьем правом ряду по Ярославке, сиреневый, оранжевый закат, в котором никто-никто баранку крутит, единственный зритель, несущийся как переруженный рефрижератор в четвёртом левом ряду по Ярославке. Они разом по тормозам вдаляют, жопы до ушей об асфальт стирают, встают как вкопанные за нитку до автора, который с цветком в горшке по зебре Ярославку переходит с той стороны, где церковь, на ту сторону, где отделение милиции, а что я изделаю, встаёт посреди проезжей части и такую заклинательную формулу произносит: «Мы ещё не готовы, поле от Франции до Канады, стать Сталкеровой Мартышкой, стаканы взглядом двигать, потому что они наши мысли, все вещи, пол, девственная плева, сплошная линия горизонта, бессмертье, чувственное стихотворенье Тютчева, прабабушка Валя, а смеяться не умеет». И трогается дальше. Движение возобновляется, астероид «Папа, заberi меня отсюда, здесь очень страшно» на полмикрона отклоняется от своей орбиты и минует землю, даже не задев стратосферу, через поколение.

Сон Патрика Зюскинда

Митя Иванов, он же Патрик Зюскинд, котёнок с белым на лапе и груди, сам весь серый, знал, что бояться нельзя, что вдохновение—это улица. А то, как Тяпа Тряпкина, бабушкина кошка, слетела с пятого этажа, неделю была в неизвестности, потом с расширенными зрачками в одну точку смотрела,—шок, советская армия, там такое было, а какое? Никто никого не любит, не жалеет. Но ведь это неправда. Это как у Толстого, а не как у Чехова,—никто не виноват, что ты не можешь любить, только ты, вздыхает Патрик Зюскинд, котёнок, подросток. Ну, что сказать. Это как у мамы хозяина и у папы хозяина предубеждение, что улица—это не вдохновение, а нечистота. Понимаете, один

в электричке со скамьи согнал бомжа, потому что знал, что они никогда не огрызаются. Места много было. Зато рядом которые думали так, позасирали тут, стали думать сразу так, а кто здесь не приживает? Действие рождает противодействие, вздыхает Патрик Зюскинд и задёргивает плёнками глаза, и ему чудится. На одном складе гастрарбайтеры с Каховки говорили—Хой, Хой. Как один из них полюбил старше себя, у которой снимал жильё. Потом она его кинула, он хотел покончить с собой, а потом сделал духовную карьеру. В одной школе учительница с лицом птицы говорит: приезжаю с работы, выключаю телевизор, телефон, мне кажется, что мир раскачивается. 10 лет назад одна знакомая семья уехала в брошенную деревню под Костромой, теперь их там уже 5 семей. Другая, Мария, говорит: всё это уже было 17 лет назад, потом было, что ты это искушение корыстью и нищетой притащишь за собой в обстоятельства. Вдохновение, улица, джипы, бомжи, гастрарбайтеры, восьмиклассницы, мажоры, гопники, собачьи свадьбы, зелёное, жёлтое, проносилось в мозгу у Патрика Зюскинда. Он сладко плямкал во рту, как грудничок перед сиськой, как Акакий Акакиевич Башмачкин перед сном, что-то Бог пошлёт завтра переписывать. Одна Фонарик сказала: почему они из нас сделали таких баб? Потом сказала, так страшно, меня никто за всю жизнь не любил. Потом сказала: жизнь не удалась. Так прошло 17 лет, внутренняя работа любви шла. Один Никита думал, как выкрутиться? Как только просыпался все эти 17 лет. И единственным ответом был этот сон Патрика Зюскинда.

Роман про приключения героев

Литература—это смыслы, смыслы всегда работают. Ну, конечно, есть какие-то более популярные направления для жизни. Вот, посмотрим, у Веры Верной и Соловьёва четверо. Они очень талантливы, она безумна, он умница. Она мужественна: 40 лет верить в людей,—это чересчур, даже для жизни, только для Бога это как раз. Ум любит банальность, потому что на что же и положиться в жизни, порядочность подведёт, уж больно страшна трагедия, звезда, летящая сквозь пустоту, банальность вывезет, что президент верующий, пусть он только себя любит, но мы верили.

Ренессансная Мадонна художница, Постсуицидальная реанимация психолог, Ирокез архитектор, Саам писатель. Вообще-то они все до 30 при матери, потому что мать—мэр острова Большой Советский в Северном Ледовитом океане. Но, наверное, это 4 самых популярных направления в нынешней ментальности, потому что что-то же происходит, раз жизнь ещё есть. Правда, иногда кажется, что ничего нет, но это, наверное, потому что ты в это время то, что есть, и поэтому его не видишь. Правда, футболисты популярнее или актёры, но они потом станут журналистами и художниками, когда пройдёт слава и настанет работа.

Ренессансная Мадонна родила двоих, потому что не хотела отпускать мужа в армию, а ещё потому что старшая, и ей передался главный в семье дар—любви. А потом у неё настал кризис, она

не поняла, зачем это всё, если в нём нет какого-то надмирного смысла, и хотела вернуться к рисованию, но Вера Верная сказала: я не потяну девятерых. Марья Родина тоже так, сначала 20 лет в школе отработала, а потом, когда врачи поставили диагноз,—аневризма сонной артерии, неаневризма сонной артерии, диагноз—ошибка в диагнозе, стала шить текстильных кукол, скульптура такая, у которых они мёртвые, а воздух живой, метафорой мысли, что всё только начинается.

В жизни есть художественное, в художественном есть настоящее, в настоящем есть 4 ступени посвящения, люди, ангелы, Бог, любовь, $\infty - 40 = \infty$, $1 + 1 = 1$, яаяаяя, Бог Бога Богом о Бога чистит. Но всё это для вас пустые междометия, если вы не прошли через всё ради них. Тогда с той стороны смерти надвигается жизнь, а с этой стороны жизни—смерть, и всё превращается в художественное. Так у Ренессансной Мадонны и Марьи Родиной получается.

Постсуицидальная реанимация поступала на социальную психологию, но её зарезали на экзамене, а потом сказали: что же вы не сказали, что мама мэр. А она просто обошла вокруг острова с палаткой и поступила на другой факультет, а потом перевелась. Просто у социальной психологии как у Постсуицидальной реанимации и у острова Большой Советский в Северном Ледовитом океане, всём уставленному неолитическими дольменами. То ли посвятельные инициации подростков, достигших половой зрелости, в круги смерти и воскресения, то ли каменные жертвенники, то ли макеты вселенной, то ли ловушки для рыб.

И чем дальше ты продвигаешься по лабиринту одиночества смерти я в жизни, тем больше ты видишь в смерти тот ключ, который не понять психологии с её призом благополучия, но лишь мистике с её посвящением, что счастье единично как сон, хоть под расстрельным дулом, хоть в постели в счастливом браке. То же самое, что у Ренессансной мадонны, понимаете?

Что мы имеем дальше? Ирокез отслужил, потому что проще всех глядел на жизнь. Выпиваешь с друзьями бутылку красного, залезаешь на смотровую вышку на Тамирином и кричишь: все—пидоры. А там красота, чайка Петрова и чайка Петров планируют над островом и друг к другу прижимаются, как друг друга бессмертие. А к острову подходит океанский лайнер «Атлантида» с каботажем 100 тысяч тонн с американскими, европейскими, азиатскими, африканскими туристами. Американские туристы снимают абсурд, европейские туристы снимают глаза, азиатские туристы снимают себя, африканские туристы нанимаются гастрарбайтерами. А по острову идут Глядящий со стороны, Рысий глаз, Агар Агарыч, Работник Балда Полбич, Оранжевые усы, Василий Иванович Чапаев, живые и мёртвые, улучив минутку между запоями, и стараются ноги ставить параллельно, но у них плохо получается, и говорят.

Смысл отдельно от всего, но с ним нельзя слиться, и поэтому, катай-валяй. Американцы в шоке, европейцы в восторге, они сами так чувствуют, азиатам по барабану, африканцы чувствуют родину.

Чайка Петрова и чайка Петров могут 6 дней планировать, пока не умрут от истощения. Ирокез вернулся из армии и хотел поступать в архитектурный, но мать сказала: ты нужен здесь. Потому что он, как отец, боится страшного и не боится не страшного. Потом поступит на вечерний и будет строить дома, в которых один может отключиться, но не может не чувствовать одиночества даже в отключке. Правда, есть мать и есть отец, мать, которая всё время работает, отец, который всю жизнь любил. Вот и попробуй перейти эту бездну вброд, задыхаясь в тоске по несбывшемуся, тем более, что все профессии — одно и то же, как выясняется, возвращение к себе, который Бог.

Теперь Саам, самый балованный, последний. В школу отпущенный чуть не в 10 лет. Своенравный, всё детство вечно что-то случалось. То мотоцикл подожжёт, то в Белом море утонет. Единственный, кто не пошёл за матерью и решил строить судьбу отдельно. Уехал в Питер с любимой женщиной, нашёл работу сезонником, писал. Забрили в армию. После армии всё изменится, лето станет зима, осень — весна, люди станут рациональные, климат — влажный. Кризис человеческого одиночества перейдёт в области военные и экономические. Что ни в чём смысла нет, и ни художники, ни психологи, ни тем более архитекторы не смогут ответить на анекдотический вопрос без времени, Чернышевского и Солженицына — что делать?

И только профессия писателя окажется востребованной, хотя это смешно, что может писатель произвести, кроме иллюзии. Саам, как Ванга, увидит мир пустым во сне на будущие 2000 лет, и догадается, что мы, в сущности, бездомные, наша единственная родина — писательство. Поэтому в эпохи неблагополучные, когда уже нельзя спрятаться за забвение и лепить горбатого, хотя лепить горбатого можно всегда, в этом он отдаёт себе отчёт. Но это поприще для сестры, Постсуицидальной реанимации, аффекты и преступления.

Он же занимается положительными проблемами, самый последовательный из детей. Если люди — это трагедия, а ангелы — это их прообразы, а Бог — это их лицо, а любовь — это то, чем всё закончится, то тогда понятны Рысий глаз, Агар Агарыч, Оранжевые усы, Василий Иванович Чапаев, Работник Балда Полбич, Глядящий со стороны. То тогда лепи горбатого и вызывай сострадание.

Это ведь поприще не лишь для писателей, но для психологов, художников, архитекторов, но для армии, милиции, скорой помощи, начальников, народа. Как они хотели спрятаться в забвение и как у них ничего не вышло. Как у северного племени Саамов на острове, которые наедались мухоморов и становились берсерками. И на плоту покоряли всю обитаемую ойкумену, выходили на побережье возле нынешнего Лос-Анжелеса и их начинало сырой рыбой выворачивать. На них смотрели местные со взглядом, пустым от слишком долгого созерцания холмов. Их взгляды встречались, и они друг про друга думали, что они Бог. Не так уж они неправы, просто, чтобы не затусовать эту интуицию приходится всё время уходить

в профессию, как Ренессансная Мадонна, Постсуицидальная реанимация, Саам, Ирокез. Чтобы Веру Верную и Соловьёва сделать своими детьми с пожилыми лицами, как на иконе «Камень нерукосечной горы» у Христа лицо Саваофчыа.

Это ты

Орфеева Эвридика, женщина-гора, она всё знает про Толстова-Достоевскина, она говорит на животных: мои-мои, — она говорит: я не пойду мимо Мытищинского морга, потому что это неприлично. Она становится толстым мальчик, который входит в сны.

Майка Пупкова ещё не знает, что в ней бьются два национальных бога, и будет очень удивляться, когда среди жалкого летнего дня мороз по коже и на изматывающем, зудящем холоде испарина. Кроме того, эти иссекаемые дети и неизлечимые болезни, хромосомы-шромосомы, которые не так соединились.

Женщина — человек, сатана — человек, Бог — человек. Кто же зона? Раскручиваешь барабан револьвера и стреляешь в рот одним патроном в русской рулетке. Оттуда вылетает птичка и кричит на солнце под дождём: «ещё». Зелёные травы на длинных стеблях, как черви, вращают головами за внятной мыслью про то, что счастье — это перестоянное несчастье, а зона — это подстава.

Один национальный Бог — русский Христос, другой национальный Бог — нерусский Христос. Нет особого пути, есть местный колорит. Закон совершенства минус закон тождества равняется герой. Марья Родина и все люди, но каждый узнаёт себя.

Чёрная дыра узнаёт, что она сверхъяркая звезда. Ухарь узнаёт, что он расколовшийся. Смертник узнаёт, что он воскресший. Несчастный узнаёт, что он счастливый. Всё узнаёт, что оно после всего. Индеец узнаёт в себе человека. Инопланетянин узнаёт в себе ангела. Мутант узнаёт в себе Бога. Послеконцасвинец узнаёт в себе любовь. Мария узнаёт в себе Гену Янева, Веню Атикина, Финленсиньча, Никиту.

Зона узнаёт в себе сатану и захватывает небо. Но все трагичны, они у себя на крючке. Начальников подставили, чмо — Бог, несчастье — счастье, последние — первые, слава — фук, слова умрут, все спасутся.

Когда Толстой и Достоевский стали старички, когда Шаламов стал безумцем, когда Пушкин стал большенький. Никита вышел из дома, подпёр палкой снаружи дверь как в деревнях, и подумал, нельзя бесконечно уходить от себя, надо когда-то ответить, кто ты, зона, подстава, сатана, полный мальчик Орфеева Эвридика, худая девочка Майка Пупкова, дама Марья Родина.

Террористы и антитеррористы думают друг на друга, что они антитеррористы и террористы и входят в одно землячество, в котором бог — Калиюга, женщина с кровавым языком, глазами, лоном, грудью, животом, руками и ногами.

Эпоха, которая длится более 5 тыс. лет по подсчётам буддийских специалистов, самых специальных специалистов в специальности, и которая закончится через 2 года, с началом новой

войны, после которой земля опустеет, миром станут править мусульмане и китайцы, а европейцы наконец-то станут христианами.

Это будет эпоха, когда земля и небо поменяются местами, человек встанет с головы на ноги, это будет эпоха шестого солнца и встречи с самим собой, когда в нашей галактике появится комета и станет нарастать дембельским аккордом.

Соловьёв, Вера Верная, Ренессансная мадонна, Постсуицидальная реанимация, Саам, Ирокез, их жёны, их мужья, их дети на острове Соловки переберутся на звезду в созвездии Альфа Центавров с похожей биосферой и заложат там основы новой цивилизации, смысл которой будет тот же, что и этой, то, что внутри — снаружи. Вообще, каждому будет по его вере.

Майка Пупкова родит мальчика Гену Янева-2, он будет идти с дедушкой Никитой на рыбалку по лесной дороге и говорить: дедушка, а ты умеешь двигать предметы взглядом? Дедушка будет отвечать: как два пальца, мнучек, но дело не в этом. А в чём дело, противный дед, не тяни кота. Дело в том, мнучек, что на фронто́не храма Апполона в Афинах была надпись, познай себя, это ты.

Большенький Пушкин, старички Толстой и Достоевский, безумец Шаламов смогли утешить космос, что он христианская церковь, а не полный звиздец, ещё в Кали-юге, с её причастьем готтентотов на всех флагах, если наши зажарили и съели из соседнего племени, то это добро, если нашего зажарили и съели из соседнего племени, то это зло.

В «Станционном смотрителе» Пушкин вывернул эпическую перспективу в лирическую перспективу. В «Хозяине и работнике» Толстой вывернул лирическую перспективу в эпическую перспективу. В «Великом инквизиторе» Достоевский сказал, что мы с ним, а не с Тобой. В рассказе Шаламова «Вслед за паровозным дымом» Шаламов увидел себя, паровозный дым.

Секрет простой: нельзя играть, понтиться, а то таким станешь, в тебе поселится пустота. Всё остальное, даже преступление, несчастье, зона — Бог, потому что там есть ты — страданье.

Что живёте уже вы, а не мы. Эту иллюзию я заимствую из портрета Майки Пупковой работы Той, что там была. С ней мне даже легче. А я так, на подхвате. Красный паучок на чёрной штанине. Юродивый Христос деревенского письма. Новая икона с «Молотка.ру», присланная по почте России Родиной Марье за 170 рублей.

Грузчиком в тёщиной столовой ругаться с директором разломанного завода: ты что, мудака, хочешь на меня завести дело за то, что я унёс 3 буханки, как Сталин, и 3 колоска.

Он трясётся и я трясусь, не трясутся только охранники, добротолубы, что мир по-прежнему благ и имеет шанс на спасенье в пропорции 33 к 1. А сколько ещё надо описать всего именно поэтому, чтобы стать им, спастись и спасти.

А потом всё можно сжигать. Как мама, Женщины-гора и Надя Приходько хотели сжечь прежнюю

жизнь, лодку, дом, чтобы стать ею. Как скифы, которые в курган закопали царицу, слуг, коней и утварь вместе с мёртвым царём. А то кто ему там прислуживать будет, на астероиде, который несётся, чтобы нас всех погубить, как будто не знает, что нас нельзя погубить, мы вечные, как сожжённые стихи.

А ещё, я не хотел бы тебя грузить, потому что ты не сможешь быть нигилистом, как все, и станешь несчастным.

Нормально, скажет мнучек, дед. Я накачаюсь в качалке и набриолинюсь как Элвис Пресли, и никто не заметит, что я пустой внутри.

Осталось только впустить жениха к невесте, а то кругом порносайты, на которых слизи соединяются как онанисты и не верят, что мальчики на подводной лодке задохнулись совсем для другого.

А, ну тогда ты уже знаешь больше, чем я, скажу я. Потому что я бьюсь о порносайты как о свою нигилистическую природу и ничего не вижу дальше.

А дальше страданье, дед, как Христос лечил от смерти, потому что был чист.

Я боюсь не смерти, мнучек, я боюсь жизни. Как она свяжет как зона круговой порукой, что все должны ударить ногой труп, чтобы выжить, даже ласточка в небе.

И там будет дальше, дед. Как зона превратится в психушку. Твой папа введёт смертельную дозу новокаина в вену в одинокой квартире в западной группе войск, потому что, какой смысл жить после смерти Бога?

Ну, тогда я знаю, что было дальше, внучек. Токшоу, на котором Анна Павловна Шерер кричит и плюётся, что никакого снаружи нет, а Платон Каратаев смотрит как юродивый Христос деревенского письма, что когда астероид «Папа, забери меня отсюда, здесь очень страшно-2» врежется в землю и прервёт коммуникации и жизненно важные артерии. Почту России, по которой Марии шлют иконы за 170 рублей забытого мастера Бога, то никакого снаружи не случится.

А если он врежется, то он уже врезался. А если он уже врезался, то всё осталось. И стало жанром, письмом, которое сожгли.

Ну, тогда я уже знаю, что ещё дальше, дед. Интернет, которого все боятся, потому что он как загробность без жизни с его порнухой и слизняками. На котором опубликовали твои романы, дед, потому что стран не стало, потому что все у себя на кручке, начальники, надсмотрщики, сложные, простые. Из них выходит национальный Христос и трясётся, ну вы и... чуть за 3 колоска не удавили и не удавились, потому что вы — они.

Вообще-то, мы бы с ним не разговаривали, с внучком. Он бы был немой и я бы был немой. Но вся эта дискуссия внятно проговаривалась бы по лесной дороге на рыбалку за руку, пока астероид, ну и так далее. Вообще-то его нет, внучка. А я, кажется, есть. Но ведь он будет. А меня не будет. Вот и вся дискуссия.



Виктор Вайнерман

Гоночная машинка

Записка

Однажды мама спросила, почему я не дружу с девочками. Меня этот вопрос застал врасплох. Я и с мальчиками-то не особенно дружил. А уж с девочками... Глядя на любимицу родителей, капризную и обладающую вредным характером младшую сестру, чувствовал, что желание просто общаться, а уж тем более дружить с девочками пропадает вовсе.

И всё же мамины слова засели у меня в голове.

Теперь, идя в школу, я всегда ощущал некоторую скованность. Мне казалось, что все подозревают во мне тайный умысел. Мальчишки — чтобы найти на кого дразниться. Девчонки — чтобы перешёптываться за спиной, одни с завистью, другие просто от нечего делать. Третьи — чтобы показать, какие они осведомлённые и проницательные.

Я издали провожал взглядом девчонок, которые шли в школу. Старших отметал сразу — на фига мне эти дылды?! Младшие меня не интересовали — я и сам-то пятиклассник, а эти малявки — о чём с ними вообще дружить?!

В классе на восемнадцать мальчиков — двенадцать девочек. Есть ещё и параллельные классы, но туда соваться опасно. Надо сначала разобраться со своими.

Половина из наших девчонок — не считаются! Бэла слишком толстая — даже глаз не видно. Наташка Костючка — слишком тощая. Наташка Забелкина слишком грубая. У неё ничего не спроси — может ни с того ни с сего книжкой по лбу въехать. Ленка — генеральская дочь. Мой папа — майор. Куда нам с генералами тягаться. Ну её. За красавицей Ксюхой ухаживает вождь хулиганов класса Васька Пономаренко. То кнопку ей на парту подложит, то лягушку в портфель засунет. Ксюха веерит, а он ржёт. И пацаны в восторге.

Оставались две новенькие, с которыми непонятно как себя вести. Ещё четыре девчонки мне совсем не нравились. Одна совсем никакая, другая, напротив, скуластая и пышущая жаром, как печь. Третья вечно больная. Четвёртая — староста класса. Что с неё взять...

А вот к Людке Остапенко я не знал, как отнестись. Людка всем бы мне подошла. Ростом она чуть ниже меня. Не полная и не худая. На щёчках румянец. Губки розовые. Смотрит своими голубыми (или серыми?) глазками доброжелательно и спокойно...

Я пришёл в класс, уселся за парту и стал коситься на Людку. Она и сидит для меня удобно. Я у стены в крайнем ряду, а она в среднем. Смотрю на Людкины руки. Маленькие такие ручки. Пальцы длинные. Я знал, что девочка занимается

музыкой. Волосы у Людки туго стянуты в пушистый хвостик. Сiju и думаю, что никогда не видел, чтобы она распустила волосы. Она их так красиво подбирает, что видна белая шейка. А за ушком родинка.

Мне стало жарко. Открыл ранец, достал учебники, тетрадь и ручку.

С тех пор начался настоящий кошмар. Ночами я не мог уснуть. Придумывал, как сказать Людке о том, что хочу с ней дружить. Записку написать? Подойти на переменке? Или после уроков? Или лучше до? Пригласить в школьный буфет? Прокрасться к её дому? Подкараулить, когда выйдет гулять? Нет, так её родители из окна увидят. Вопросы начнутся. Я уже забыл, что выбрал Людку из многих путём логического отбора. Девочка занимала не только мои мысли, но и все чувства.

Проницательная мама заметила моё состояние. Стала пытаться, в чём дело. Я молчал как красный партизан на допросе.

— Ладно, — сказала мама. — Не хочешь говорить со мной — позови Ромку. Он же твой друг. Может, что и посоветует.

— Мама! Ромка мне уже не друг. Ты же знаешь...

— Может, надо дать мальчику шанс? Каждый может оступиться. Протяни ему руку первый. Вдруг всё наладится.

Мама, конечно, не принимала всерьёз наши мальчишеские разборки. Однако мамино предложение мне понравилось. Я вспомнил, как мы дружили с Ромкой, как я тянулся к нему. А вдруг он и правда оступился, ошибся. Раскаивается теперь и не решается первым заговорить?

Ромка примчался тут же.

Запинаясь, смущаясь и краснея не только от того, о чём говорил, но ещё и потому, что это — Ромка, я выложил ему всё.

— Тю! Подумаешь! — облегло и неожиданно радостно выпалил Ромка. — Напиши записку. «Людка! Ты мне нравишься. Я хочу с тобой дружить». А я передам. Хочешь?

Я смотрел на Ромку с восхищением. Мало того, что он легко вернулся ко мне, мой бывший друг. Он теперь мой спаситель! На душе стало легче. Хотя сердце тяжело билось от волнения. Как Людка отреагирует? Согласится ли со мной дружить?

Старательно выводя буквы, написал записку и отдал её Ромке.

В последний момент показалось, что совершаю непоправимую ошибку. Но тогда я ещё не знал, что такое интуиция...

На следующий день первыми шли уроки физкультуры. Я кое-как затолкал сменку в ранец и,

от волнения спотыкаясь и подпрыгивая, отправился в школу.

Уже около гардероба мне показалось странным, что обе новенькие смотрят на меня слишком долгими взглядами и с каким-то непонятным сочувствием. Что за фигня? На лестнице стоит жирный Васяка Пономаренко.

— Ну что, жён-них. Хана тебе. Иди-иди.

Я попытался остановиться, но Васяка врзал мне пендаля и я чуть не на четырёх точках оказался в коридоре. В голове всё плыло. Надо во что бы то ни стало не подавать виду, иначе конец — засмеют и даже затоптать могут, если кукситься стану. Понятно, что Ромка проболтался. Но когда он успел? Я пришёл в школу за полчаса до начала занятий. Значит, он заранее скорешился с пацанами? Вчера прямо от меня — и к ним? «Вот дурак! — ругал себя. — Мог же предположить. Ведь Ромка сейчас вообще в другой школе учится. Что у него на уме, чем живёт?..»

До начала занятий оставалось ещё двадцать минут. Однако все были в классе. Не в зале, где должна быть физкультура, а в классе. Стояли за партами. Никто не садился. Мне показалось, что в классе не тридцать ребят, а все сто. И какие-то они огромные. Лица раздутые, злые. И все шипят, тыча в меня пальцами, похожими на сардельки: «Ж-ж-жених-х-х, ж-ж-жених-х-х...»

Я стоял у двери, не в силах сделать и шага. Прозвенел звонок. Все уселись. И тут я увидел Людку. Приятный алый цвет Людкиных щёчек сгустился до предела. Её личико пылало. Волосы распущены, отчего оно стало шире и расплылось, как блин. Потупленные глазки и поджатые губки выражали обиду, недоумение, растерянность и злость. И, хотя пламенеющие щёки выделяли девочку, она была частью этого злобного жужжащего роя. Ни сочувствия ко мне, ни хотя бы удивления.

Когда нарочито медленно спускался по лестнице, навстречу мне попался физрук. Он взял меня за рукав и хотел вернуть в класс. Но я вывернулся. Сказал, что забыл сменку дома.

Два дня я не ходил в школу. В конце второго дня ко мне пришёл Пашка Лукьянчик и сказал, что Вера Тимофеевна просит завтра меня придти. И особенно просит сделать вид, что ничего не случилось. Она долго общалась с классом. Всё будет хорошо.

— А что случилось, Паша? — спросил я, делая круглые глаза. — У меня температура. Поправлюсь и приду. Доктор пока не разрешает. Что будет хорошо?

Бить Ромку означало бить самого себя. Он подлец и сволочь. Его не бить, а убить следовало, пока не вырос... Опять же — кто я такой, чтобы судить? Но я-то зачем повёлся? Сам виноват. И мама хороша, хоть и взрослая...

Когда я вырасту, узнаю, что «нелёгкое дело» объяснения с девочками «нельзя поручать никому».

А пока я очень обижен на Людку. Впрочем, что на неё обижаться. Она, наверно, не хотела со мной дружить. А если и хотела, то испугалась, как говорят взрослые, общественного мнения. После того случая мы с ней оба стали взрослее...

Гоночная машинка

Всё не так. Мне плохо. Со всех сторон смотрят чьи-то глаза. Они советуются — как со мной быть? Ощущение тревоги нарастает и нарастает. И уже не так тепло и комфортно здесь, как раньше.

Снаружи слышно чьё-то бормотание. Унылое и однообразное, оно вдруг возвышается почти до визга и к нему присоединяются ещё чьи-то голоса. Звуки нервные, раздражённые...

Когда всё успокаивается, я чувствую напротив своей головы тепло. Оно исходит от тени с четырьмя длинными и одним коротким отростком. Сначала я испугался, а потом привык и даже стал ждать её приближения. Это тепло ласкает и греет меня, и в то же время оно возвращает беспокойство, и в горле собирается тугой комочек. Я кручусь, дёргаюсь, пытаюсь устроиться поудобнее. Тень исчезает, и сразу же снизу ко мне прижимаются две тени. Я угреваюсь, снова успокаиваюсь и засыпаю.

Однажды я проснулся от страха, словно от резкого толчка. Снаружи что-то происходило. Оно касалось меня. По обрывочности фраз, их необычной жёсткости я понял, что решается моя судьба. Мне необходимо видеть, что там происходит! Делаю невероятное усилие...

Вижу мужчину. В его глазах боль и сожаление — и непреклонность. Меня тянет к нему, я чувствую, что он — один из Них. Но почему так разговаривает с Ней? Что это? Он замахнулся? Нет! Я не понял, как получилось, но мне удалось остановить его руку... Я чувствую себя лишним, никому не нужным. От меня хотят избавиться? Спазм сдавил горло, переворачиваюсь, вырываюсь: «Зачем я пришёл к Ним? Они же меня так хотели? Неужели я ошибся? Пустите меня, пустите! Я уйду, я не хочу с вами!!!»

Прежде чем улететь насовсем, оглядываюсь. Я никогда не видел лица этой женщины. Наверное, она красива. Но сейчас золотистые волосы слиплись от пота. Глаза, губы обезображены гримасой страдания. Она что-то выкрикивает мужчине, стоящему около двери. Тот всё порывается уйти, но после каждого выкрика возвращается и резко ей отвечает. Внезапно она замерла, прислушиваясь к себе. На её лице отразились ужас, боль, растерянность... Отвернувшись, судорожно опирается рукой о стол, закусив губу. Мужчина постоял у двери и вышел.

Женщина лежит на полу навзничь. Она застыла, раскинув руки в неловком изломе. Какое у неё сейчас красивое и спокойное лицо! Мне так хочется быть с ней как можно дольше. Ведь и она звала меня, ждала, просила, чтобы я пришёл к ней. Если я улечу, она никогда меня не увидит, останется совсем одна... Может быть, не горопиться?..

Я остаюсь.

...Санки грохочут полозьями по ступенькам. Я тащу их за собой на длинной верёвке. Они переворачиваются с боку на бок и каждый раз издают новый звук. Жаль, что до второго этажа мало ступенек, а то бы на скрежет и грохот, которые я произвожу, сбежался весь подъезд. Мне нравится,

когда на меня все смотрят. Ещё больше нравится, когда ко мне подходят разные дяди. Ещё не глядя на них, я знаю, хороший дядя или плохой. От плохого сразу ухожу. Нет, он, наверно, не понимает, что я ухожу именно от него, плохого. Я уезжаю на паровозике или строю снежную крепость. Или начинаю лепить снежки и бросаться ими в дерево или ворону. В ребятишек я бросать боюсь. Лучше не привлекать к себе их внимание. Они и так любят повалить меня на бок и катить по снегу. Они, наверно, думают, что сейчас на мою толстую шубку налипнет много снега и я стану снеговиком. При мысли, что мне в нос вставят морковку, а на голову наденут ведро, начинаю кричать от страха.

Собственный крик заводит меня ещё сильнее. Он звучит так жалобно! Мне становится жалко себя, и я плачу навзрыд. Слезы застилают моё лицо. На морозе они застывают и оттягивают кожу на щеках...

Ребятишки разбегаются. Иногда на мой крик приходит кто-то из взрослых, ставит меня на ноги, достаёт из кармана шубки платочек и утирает мне лицо. Я, похлюпав носом, успокаиваюсь. Когда никто не поднимает меня, реву ревмя, бегу в подъезд и по пути кричу, что обо всём расскажу маме. Только я знаю, что маме не скажу ничего. Не хочу её расстраивать. Она сейчас очень занята: ей надо шить, пока я гуляю.

Иногда во дворе появляется один хороший дядя. Я тихонько за ним наблюдаю — поворачиваюсь лицом, хочу, чтобы он непременно подошёл ко мне, а не к какому-нибудь другому мальчику. Вожу перед ним свой паровозик, надувая губы, издаю громкое «ту-ту-ту-у». Если я ему понравлюсь, он обязательно подойдёт ко мне, спросит что-нибудь. Он всегда спрашивает одно и то же: «Куда ты едешь? Какая тут станция? Какие товары везёшь?» Когда не знаю, что сказать, или отвечать неохота, я ещё громче тутукаю... Мне не вопросы его нужны, мне нравится, когда он смотрит ласково и разговаривает со мной, как со взрослым...

Дома я с удивлением обнаруживаю, что никто не напоминает мне, чтобы я грохотал в квартире потише, чтобы обмёл снег с валенок и с шубы. Мама всегда кричит мне из комнаты или из кухни, когда занята. А если уже освободилась, то выскакивает на мой грохот, всплескивает руками, ощутив мокрые насквозь варежки. Тормозит, стаскивает всю одежду. Потом подхватывает и несёт в комнату, без конца целуя в холодные румяные щёки. Я бы тыщу раз весь вываливался в снегу, весь бы намокал, только бы мама вот так хватала меня снова и снова...

Мама несёт меня в ванную, а оттуда не в комнату, а в кухню. Кухня у нас общая. В ней три стола. Один наш — справа у окна, у двери — бабы Любы, и слева в углу — тёти Нюры. Мама усаживает меня на табурет и шепчет на ухо:

— Женечка! Сиди тихо! Я сейчас за тобой приду. Тебя ждёт сюрприз!

Ну конечно! Скоро Новый год! Все говорят о сюрпризах. Мы с мамой ещё не оставались вдвоём на Новый год. То ходили к кому-то в гости, то к нам приходили врачи из маминной больницы.

Мама варила холодец, фаршировала карпа и делала салат «Оливье». Такая вкуснотища! Но покушаешь — и забудешь, а вот новую игрушку получить — это да! Новые игрушки у меня появляются редко, и я всегда помню, кто и когда их подарил. Скорее бы сюрпризы!

Наша комната длинная и узкая. Бочком продвигаюсь к своему топчанчику между диваном, на котором спит мама, и шкафом. Около окна обычно стоит небольшой стол. Но сейчас стола нет. Вместо него, закрывая собой окно, расположилась украшенная ёлка!

Она большая-пребольшая, пушистая. На ней столько разноцветных шаров, игрушек, приколотых металлическими прищепками, картонных рыбок, лисичек, зайчиков! У ствола между веток прячутся пузатые растяжные клоуны. Мама бросила на ёлку зелёный, синий и оранжевый дождики, а на верхушку прикрепила рубиновую звезду. Тут и там висят длинные трубочки, завёрнутые в яркую фольгу. Вчера вечером мы с мамой украшали ёлку, но этих трубочек я не видел.

— Мама! Что это?

— Это вкусные конфеты. Ты их пока не трожь. Мы должны сначала показать нашу ёлочку Деду Морозу и Снегурочке. Ладно?

— Вот эти Дед Мороз и Снегурочка? — показываю под ёлку, где стоят новые фигурки в красной и синей шубках. Вокруг них возвышаются белые, совсем как настоящие, сугробы.

— Ах ты, Женечка, Женечка... — мама треплет меня по волосам. — Не спеши! Всё узнаешь!..

Я оглядываюсь вокруг. Ищу обещанный сюрприз.

— Сына! Иди сюда! — рядом с мамой на диванчике лежит самая настоящая картина.

— Ух ты! — я подбегаю ближе и вижу, что картина — свитер. Вообще он тёмно-синий, а на нём вывязан рисунок. Деревенька, вся в снегу. Красивые домики. На окнах резные наличники. Из труб вверх поднимается дымок. На небе звёздочки, похожие на крупные снежинки. Или снежинки, похожие на звёздочки. На отложном воротнике тоже задержались звёздочки-снежинки. Свитер такой мягкий...

— Это тебе, сынок! — мама усадила меня к себе на колени. — Мой подарок. Сегодня Новый год. Когда стемнеет, мы с тобой начнём ждать подарков от Деда Мороза. Сегодня у тебя будет много сюрпризов...

Мама прижалась губами к моей голове. И замолчала.

— Мамочка, мамочка, а какой сюрприз будет самым главным?

Мама не ответила мне. Лишь приложила палец к моему носу:

— Ну, я на кухню! Скоро тебя позову.

Оставшись один, я улёгся на живот — с любопытством разглядываю свитер. Мне вдруг показалось, что я вижу настоящие дома, искрящийся снег, чувствую запах дыма. Вдруг одна звёздочка-снежинка «на небе» засветилась ярче. С замирающим сердцем всматриваюсь в неё. Ой, она... улыбается мне! Я не испугался.

— Загадай желание! — голос звёздочки похож на мамин. — Сегодня все желания исполняются.

— Правда-правда? Я хочу... я хочу, чтобы *тот* дядя сегодня пришёл к нам на новый год. И ещё я хочу, чтобы мне подарили гоночную машинку, как у Вовки.

— Женечка! Женечка! — вдруг громко позвала меня звёздочка. От удивления я сел.

— Женечка! Иди, помогай!

Мы с мамой накрыли стол. Мама нарядила меня в синие бархатные бриджики и такой же большой берет — сама сшила. Белую рубашку на груди украсила пышными кружевами, которые называет почему-то «жабой», прикрепила звёздочки из фольги:

— Красавец! Мой маленький принц!

Этот вопрос до сих пор волнует меня: как подарки появляются под ёлкой? Я же наблюдаю за ней, не отрывая глаз...

Перед самым Новым годом, когда стрелки на часах почти сошлись вместе на цифре 12, под ёлочкой оказалась гоночная машина! Та самая, у которой сзади вылетают искры, когда, разогнав, запускаешь её по полу!..

— Мама! мама! — громко зову я.

Но вместо мамы в комнату вошли Дед Мороз и Снегурочка... Самые настоящие!

Я остолбенел перед ними с машинкой в руках. Сердце колотилось — я боялся, что оно сейчас выскочит и покатится под ёлочку, к маленьким копиям вот этих, настоящих. Потом Дед Мороз взял меня на руки. Смотрю ему в глаза... Словно молния вспыхнула: это же добрые глаза того хорошего дяди, которого я заметил на улице! Почему я сразу его не узнал? Так вот какой самый большой подарок мне приготовили! Снегурочка прижалась к плечу Деда Мороза. Слёзы катились из её глаз... из маминых глаз. Я обнял их, притянул друг к другу. И вдруг заметил на шапке Деда Мороза, среди сверкающих снежинок, мою звёздочку. Она ласково улыбалась мне, заговорщически мерцая.

Всё-таки хорошо, что я тогда решил остаться...

Страх

На тёмной стене возникает большое пятно света. Оно плавно, словно крадучись, появляется из комнаты родителей, пересекает закрытую дверь в коридор и останавливается. Края у пятна неровные, да и внутри него есть места, освещённые то ярче, то бледнее, отчего кажется, что свет замирает, присматриваясь к чему-то... вот он чуть двинулся... ещё... нашёл объект и сфокусировал всю свою яркость на силуэтах двух людей, линиях их спин, наклонах голов, руках, опирающихся на палочки.

Из темноты проступили старичок и старушка. Пятно света медленно ползёт, следуя за передвижениями старичков. Они медленно, очень медленно приближаются к месту на стене напротив кровати, в которой лежит, сжавшись в комок и накрывшись одеялом почти с головой, Шурик. При виде этих теней ему становится совсем не по себе...

Ещё засветло родители ушли в театр. Оставили ему еду, открыли банку любимого вишневого

компота и показали, на какой полке в холодильнике она стоит. Оставили включённым телевизор и разрешили крутить тумблер, переключая каналы.

«Пока идут передачи, ничего не бойся, — сказали они. — А потом мы вернёмся. Если захочешь почитать, порисовать или лечь спать до нашего прихода, ты знаешь, как его выключить».

Всё это означало редкое доверие, и поначалу Шурику даже нравилось быть одному. Родители обещали прийти не позже одиннадцати.

Но вот стало темнеть. Пятнадцать минут двенадцатого... половина. Пробыло полночь, а их всё нет. Любимый компот уже не может помочь Шурику избавиться от тугого комка, прочно засевшего в горле. Особые картинки в особых книгах, запрятанных родителями в третий ряд на верхней полке книжного шкафа, изучены и возвращены на прежнее место. Отцовский кортик, извлечённый из недр шифоньера, забыт в родительской комнате на полу в коробке из-под обуви.

Шурика душат обида и страх. Его что, хотят испытать? Так нечестно! На самом деле это слишком жестокое испытание. Да они просто не сдержали своего обещания, забыли о нём!.. Хитреньки! Оставили его одного, а сами-то вдвоём... Он никогда ещё не оставался один в такое позднее время.

Передачи по телевизору закончились. Экран ярко светился, безжалостно напоминая, что ни в одной, ни в другой комнате никого, кроме Шурика, нет. Мальчик вдавил в панель кнопку выключателя, одновременно вжав голову в плечи. Наступившая темнота тяжело опустилась на него. Всклипывая, Шурик на ощупь растелил постель и забрался под ватное одеяло.

Пружинная сетка привычно приняла форму его тела. Ему даже не хотелось, как обычно, ворочаться, чтобы упругое ложе качало его, словно в гамаке. Пружины стали бы позванивать, шуршать, и помешали прислушиваться к голосам на улице, к тому, что происходит на лестнице. Он лёг на бок, повернувшись лицом к двери, и замер, превратившись в слух. Комок в горле не даёт дышать, от него знобит и хочется ещё плотнее свернуться в клубок, спрятаться.

Шурик вдруг представил себе, что утром в дверь позвонят. Он спросит, кто там. Из-за двери вкрадчивым голосом поинтересуются, здесь ли живут Ляпичевы. Попросят открыть. Он скажет, что родителей нет дома, и открывать не станет. Ему ответят, что родители прийти не смогут и что они просили привести Шурика к ним.

Он закрывает глаза и видит, как родители выходят из театра. Счастливая мама виснет у папы на руке, от всей души смеясь. Папа, улыбаясь, дожидается, когда мама отсмеётся, потом говорит ей что-то такое, от чего мама смеётся ещё громче. Так они незаметно сходят с тротуара на проезжую часть улицы.

Уже стемнело. Машин почти нет, и родители идут по проезжей части без опаски. Им так хорошо! В кои-то веки они выбрались из дому!.. Шурик перешёл во второй класс, и наконец-то можно оставить его дома одного. Сто лет не были в театре! Они собираются идти домой пешком.

Им хочется слегка прогуляться, подышать воздухом. Дорога домой займёт всего полчаса времени. В их маленьком городке всё рядом. Счастье, что есть театр!

Мама с папой не успевают даже оглянуться. Они слышат сзади движение, чувствуют опасность, одновременно видят, как всё вокруг вдруг осветилось ярким светом. Слишком поздно! Визжат тормоза... Вот их ударило, потащило, смяло...

Шурик видит происходящее с разных позиций. Он одновременно и зритель, и водитель той машины. Он санитар, который приехал на место аварии. Он — все знакомые и незнакомые люди, оказавшиеся на месте происшествия. В то же время он остаётся самим собой — маленьким мальчиком, который *теперь* остался совсем, совсем один...

И Шурик пытается представить, что он будет делать в пустой квартире. А что с ним станет потом?.. Он только начинает учиться в школе. У него совсем нет денег, он ничего не умеет — разве что в магазин сходить. Да и то совсем недавно стали доверять мелкие покупки. А как приготовить еду? Четырёхконфорочная плита — одна на две семьи. Из них две конфорки, те, что поближе к двери — их... На кухне царствуют Кузюки, соседи по коммуналке. Оба большие, толстые, грубые. Мама с ними вечно ссорится из-за того, что из их кастрюль что-то сбегает, заливая и свою, и чужую половину, а они не вытирают до тех пор, пока не засохнет. А когда засохнет — вынуждена оттирать мама. Она не терпит грязи... Как он будет справляться с соседями без мамы? Его ведь надо ещё научить правильно зажигать газ, показывать, как выключить. Кто научит готовить еду? А мыть посуду и полы, выносить мусор, растапливать титан, стирать!..

Шурик так озадачился, что даже перестал плакать. Мальчик с каждым мгновением всё больше и больше жалеет себя. Мир вдруг становится недоброжелательным и огромным. В нём всё пугает, грозит опасностями. Шурику кажется, что он, и без того маленький, становится меньше и меньше, и никто в целом свете не может его защитить.

Тяжёлые горячие слёзы одна за другой легко скатываются из глаз. Под правой щекой становится мокро. Шурик одеялом промокнул лицо, всхлипнул, и вдруг увидел себя стоящим у двух закрытых ящиков, обитых красной тканью. Он знает, что в них лежат его мама и папа. В таком же ящике прошлым летом лежала соседка с первого этажа. Тот ящик целую вечность стоял в июле на табуретках около подъезда, и Шурику, который даже погулять не вышел, боясь пройти мимо, тогда казалось, что невидимый и непобедимый ужас неотвратимо обволакивает его. Шурик дрожал от холода, кутался в одеяло, хотя на улице стояла жара. Теперь в ящиках лежат самые-самые дорогие, самые близкие и любимые...

Все смотрят на Шурика и говорят друг другу, какой он ещё маленький и как ему теперь тяжело придётся в жизни. Когда ящики с родителями опускают в ямы, Вера Павловна, классная руководительница, поворачивает мальчика к себе. Прижимает его голову к своему животу. Он плачет

навзрыд, не боясь, что намочит красивую кофточку Веры Павловны.

Учительница замужем за офицером. Шурик его ни разу не видел и не знал точно, этот офицер по званию старше его папы или младше. Своих детей у Веры Павловны нет, хотя, по мнению Шурика, она — женщина уже не очень молодая. Её муж всё время уезжает в командировки. По возвращении привозит жене такие вещи, каких нет ни у кого не только в школе, но во всём городе.

Кофточка, которую заливал теперь слезами Шурик, появилась на Вере Павловне в прошлую пятницу. Шурик весь урок как заворожённый смотрел на эту кофточку, сшитую из разноцветной ткани. Тёмно-синий и золотой цвета, всплески ярких нежно-зелёного и алого образовывали рисунок с волшебным сюжетом: два павлина, распушив хвосты, замерли в причудливом танце. Павлины становились видны, когда Вера Павловна что-то говорила, стоя у доски. Когда же она поворачивалась к столу, наклонялась, шла между рядами, павлины начинали двигаться. И это было так красиво, что Шурик замирал от восторга.

Придя из школы, он открыл шкаф и отыскал в нём мамин халат. Восхитительную китайскую ткань золотисто-абрикосового цвета папа купил, когда служил на Дальнем Востоке. Мама много лет берегла материю и только в прошлом году, по настоянию папы, сшила из неё халат. Халат мягкий, снаружи шелковистый, гладкий. Такой гладкий, что рука безудержно скользит по его поверхности. Руке становится приятно от одного прикосновения. Хочется скользить по ней снова и снова. С изнанки ткань похожа на мягкую баечку. Сегодня вечером Шурик набросил мамин халат на себя и, чтобы не таскать его по полу, забрался на диван. Всему телу сразу стало сладко и восхитительно приятно. Шурик на коротенькое мгновение превратился в маму, окутал всего себя её нежностью и лаской.

Ткань на кофточке Веры Павловны кажется не менее мягкой и нежной. Шурик ощущает это, не смотря на слёзы и воображаемое горе. Вдруг слёзы снова высыхают. Шурик вздрагивает, замирая от неожиданной и оглушительной мысли. Ему представилось, что Вера Павловна теперь возьмёт его жить к себе, и тогда он сможет часто прикасаться не только к этой кофточке, но и к другим диковинным вещам в её доме! Вот только согласится ли её муж? Ведь ему надо будет привозить из командировок что-то и для него, для Шурика...

От этой мысли мальчику сперва становится страшно. Потом он вспоминает, что у Веры Павловны детей нет, а он теперь остался один, к тому же он ей не совсем посторонний — всё-таки Вера Павловна его учительница. Шурик не раз вместе с мальчиками из класса пил чай у неё дома. Чай им подавали в синих чашках с золотистым рисунком, а под варенье каждому ставили крохотную хрустальную розеточку с тиснённым рисунком. В этих розеточках самое вкусное варенье казалось ещё вкуснее...

Старичок и старушка на стене подошли к самой кровати Шурика. Встали напротив. Мальчику

кажется, что у старичков хищные глаза и загнутые носы, как у злых волшебников на картинках в сказках. Они смотрят по сторонам, словно ищут кого-то. Вот-вот они должны увидеть его. Шурик с головой забирается под одеяло, отчего ему сразу становится спокойнее. Под одеялом не слышны звуки улицы. Не надо прислушиваться, раздаются ли на лестнице знакомые шаги. Можно угреться и сосредоточиться. В воскресенье в Доме офицеров — «Три мушкетёра». Папа обещал сводить Шурика в кино...

Неужели родители и правда больше не придут? И никогда-никогда не надо будет смазывать солидолом папины пуговицы на кителе? Не надо будет, продев их в специальное приспособление, надирать до блеска маленькой щёткой? Не надо будет вместе с мамой разглаживать и пришивать белоснежный подворотничок, чтобы папа на дежурстве выглядел бравым офицером? Шурик согласился бы даже пить новые горькие таблетки, о которых мама прочтёт в своей медицинской газете!.. И неужели никогда-никогда не наступят редкие праздники, когда родители оба дома и никуда не спешат... Да как же так?! Почему это должно случиться именно со мной?! Как я останусь один?!

Душно под одеялом. Он приподнимает краешек и выглядывает наружу. С облегчением вдыхает прохладный воздух. Старички куда-то пропали. Шурик всматривается. Какие-то приглушённые тени всё же мелькают на стене. Вспыхивает неяркий свет то в одном, то в другом месте. Шурик заинтересован. Ему хочется узнать, откуда идёт свет и что это за тени. Он опускает ноги на пол, угодив точно в тапки, кутается в одеяло, выходит в комнату родителей и подходит к окну. Фонарный столб стоит чуть наискось. Лампу в него недавно вкрутили, и теперь фонарь исправно освещает тротуар и деревья, стоящие за оградой под окнами дома. Ветер расчёсывает кроны, а свет фонаря высвечивает каждое движение ветра... Шурик, примериваясь, оглядывается. На стене колеблются причудливые тени. «А! Вот оно что! Это листья и ветки! А я боялся...»

Вдруг стену снова ярко осветило. Страшные старички появиться не успели. Ревут двигатели! Шурик оборачивается к окну и видит быстро удаляющуюся машину. «Ага! Свет фар. Понятно». Напряжение немного отпустило. Остались обида и жалость к себе...

Вздохнув, он замечает на полу около шкафа открытую коробку из-под обуви. На дне лежит, завёрнутый во фланельку, папин кортик. Шурик смотрит на коробку. Её надо закрыть и убрать на место. Шурик достаёт кортик, прижимает его к груди, идёт к себе и ложится в кровать. Голова сразу тяжелеет, неудержимо хочется спать. Но едва мальчик закрывает глаза, как сердце снова бешено колотится.

Как теперь пойдут дела в школе? Наверное, придётся перейти в другую — не разрешат, чтобы Вера Павловна преподавала в его классе. Хочет ли она взять Шурика к себе? Она ведь такая красивая! Девчонки в классе без конца спорят, у кого из них глаза такие же голубые, как у Веры

Павловны. Глупые! Ни у кого из них нет таких глаз! И волосы у Веры Павловны вовсе и не крашенные, потому что она от природы золотистая!

«Все начнут завидовать и перестанут дружить со мной, — думает Шурик. — И я не смогу быть весёлым рядом с Верой Павловной. Все подумают, что я жестокий и забыл своих родителей». Вдруг в сознании вспыхивает: «Маме, наверное, было очень больно, когда её сбила машина. Папа — мужчина, его, хоть и тоже очень жалко, всё-таки не так, как мамочку!.. А я и не подумал о них, всё о себе, да о себе...» Шурику становится стыдно, и слёзы опять жгут щёки, льются и льются без остановки. Мальчик лежит на мокрой подушке и жалобно подвывает, прислушиваясь к самому себе и к тому, что в нём происходит.

Вдруг, как гром среди ясного неба, раздаётся резкий металлический звук. В замочную скважину наружной двери кто-то вставил ключ и дважды его повернул. Шурик вздрогнул. Сердце вот-вот выскочит из груди! Он поднимает голову и насторожённо прислушивается. Ощущение полного одиночества исчезает.

«Т-с-с, тише, тише», — шепчет кто-то в прихожей маминым голосом. «Уснул, наверное», — после паузы добавляет кто-то папиным шёпотом. Шурик всхлипнул и опустил голову на холодную и мокрую подушку. Кошмарные тени, кружившиеся вокруг, растворяются. Комок в горле тут же тает. Мир снова становится тёплым, безопасным и вполне домашним. Хочется вскочить с кровати — и запрыгнуть на неё так, чтобы панцирная сетка зазвенела. И повторить ещё раз. «Пойду посмотрю», — шепчет папа. Шурик зажмуривается. «Сейчас подойдёт и всё поймёт, — думает он. — И про машину, и про Веру Павловну, и про всё остальное...» Шурик старается не моргать и дышать ровно. Папа подходит, лёгким ласкающим движением касается его волос, поправляет одеяло. Шурик тихонько, чтобы папа не заметил, с наслаждением вдыхает родной папин запах: приятный стойкий одеколон, приправленный терпкими запахами табачного дыма и вина. «Господи, вспотел-то как, — говорит папа. — Дай-ка я тебя переложу». Одной рукой он приподнимает Шурика, другой быстро переворачивает подушку и... замечает кортик. «Вот чертёнок!» — бормочет папа. Он забирает кортик и аккуратно кладёт сына на подушку. Шурик судорожно вздыхает несколько раз и, почмокав губами, поворачивается к папе спиной.

В соседней комнате родители тихонько хвалят друг друга Шурика за то, что он выдул не всю банку компота, а значит, ночью будет спать спокойно, что съел всё, что ему приготовлено. «И телевизор выключил, вот молодец!» — говорит мама. А папа добавляет: «Я же говорил, что его вполне можно оставить одного. Ты посмотри — он вооружился на всякий случай». Засыпая, Шурик слышит мамин тихий смех, затем лёгкий скрип шифоньерной двери и успевает подумать, что мама, наверное, достаёт свой абрикосовый халат.

...Красивая Вера Павловна сидит за столом и что-то пишет в классном журнале. Цветная ткань

с колена. Есть и всадники, и артиллеристы. Есть несколько танков и штук пять пушек.

Мы располагаемся на полу. Я приношу с кухни пару табуреток, переворачиваю их, образуя гигантские крепости. Солдаты идут на штурм, сидят в засаде. Мы забрасываем их пластилиновыми снарядами, сбиваем с ног, кричим «Ура!», берём пленных и горячо спорим, кто победил. Когда наши крики становятся слишком громкими, мама входит в комнату:

— Мальчики! Мыть руки и обедать!

Я иду в ванную, оттуда в кухню. Там Ромки нет. — Позови своего друга! — просит мама.

Моя мама всегда вкусно кормит нас. Варит ароматные наваристые борщи. К ним подаются свежие круглые пампушки, натёртые чесноком. На второе обычно пышные, большие и сочные котлеты с гарниром из гречки или вермишели. Запивается обед сладким компотом из свежих ягод и фруктов (это летом и осенью, а зимой и весной — из сухофруктов).

Захожу в комнату. Ромка открыл стеклянную дверцу серванта и скользит пальцами по спинкам слоников, идущих один за другим вдоль выгнутого рога.

Однажды я пожаловался Ромке на своих родителей. — Понимаешь, они хотят, чтобы я учился музыке! Давай, говорят, купим тебе пианино. Представляешь! А я им: какое пианино! На нём только девчонки играют!

Ромка покосился на меня, криво улыбаясь:

— Ну а ты скажи им, что на баяне будешь играть. Баян — это тоже инструмент...

— Правильно, Ромка! Так я им и скажу!

Родители мои чуть в обморок не упали, когда я им заявил про баян.

— Может, тогда уж лучше аккордеон? — робко спросили они.

— Нет! Или баян, или вообще не буду играть ни на чём! Я — не девчонка!

Мы сидим с Ромой у него дома у окна на диване. Играем в шахматы. Сидеть, спустив ноги, очень неудобно — надо ведь повернуться к доске лицом, поэтому приходится подгибать колена. А так хочется забраться с ногами, сесть по-турецки! Но я не решаюсь — вдруг испачкаю потёртую холстину дивана? Хотя я и в носочках, но ведь в них прошёл через коридор и комнату, мог собрать пыль... Мне очень неловко в гостях у друга. Сколько раз я приходил к нему, и меня ни разу никуда, кроме этого дивана, не приглашали. Самому проситься — стеснялся. И сидел, не вставая до тех пор, пока не нужно было в туалет. Тогда я извинялся и торопился уйти. Ромка хитренько улыбался и с простецким видом уговаривал оставаться ещё. Я отказывался, вспоминал, что надо маме помочь, сестрой погулять. И поскорее шёл к входной двери... — Сейчас, погоди, — останавливал Ромка уже в прихожей. Обувшись и одевшись, я стоял, хотя каждую секунду со мной могла приключиться неприятность. А Ромка исчезал в туалете. Слышалось

лёгкое журчание, потом резкий звук смываемой воды. Ромка щёлкал выключателем, упирался одной рукой в дверной косяк, а другой то чесал макушку, то прикрывал зевающий рот. Он хитро смотрел на меня и, с трудом сдерживая смех, спрашивал:

— Может, останешься? Чайку попьём?..

На этот раз Ромкина мама оказалась дома. Она обещает нам угощение. Я отнекиваюсь, говорю, что только из-за стола, но она уже гремит посудой, и вот вносит большой табурет, ставит его рядом с диваном. На табурет кладётся кухонное полотенце. Ромкина мама снова уходит в кухню и вскоре появляется, неся в руках две тарелки. На одной лежат четыре толстых куска чёрного хлеба, а на другой в мутной жиже плавают перепончатые студни...

— Что это? — спрашиваю я Ромку, когда его мама уходит, оставив на «столике» солонку и пару вилок. — Как что? Грузди! Ты что, не пробовал? Ешь! Знаешь, как вкусно!

Ромка подцепляет гриб вилкой, подхватывает хлебом тягучий зеленоватый рассол и отправляет всё это в рот. У меня тошнота подступает к горлу — вспоминается Вася Белоусов...

Такой замечательный сегодня урок физкультуры! Мы бегали на шестьдесят метров, и я пришёл к финишу третьим! Весь класс остался позади! Те, кто пришёл первым, выше меня ростом и занимаются лёгкой атлетикой уже год. Так что они не считаются! Ромка прибежал тоже после меня. Довольный собой, я долго ещё кручусь на школьном стадионе, забираюсь на брусья, пытаюсь с места прыгнуть в яму с песком дальше других. Так увлёкся, что не заметил, как остался один на площадке. Надо торопиться. Ведь физра — последний урок, а мы занимаемся в третью смену. Скоро вечер. Пора домой.

Захожу в класс — и ничего не могу понять. Вещи, ранцы лежат у всех на партах. Ребята сидят. Никто не переодевается. Лица у всех какие-то вытянутые. Я направляюсь на своё место и вдруг вижу, что у доски стоит Рома. Рядом с ним Валентина Митрофановна. Она просит меня подойти. Рома криво улыбается, косится на пол. Валентина Митрофановна ставит меня с другого конца доски.

— Ребята! — начинает она. — Роман попросил меня собрать совет класса прямо сейчас. И я с ним согласилась. Нам надо срочно обсудить поведение вашего товарища. Рома! Сядь на место.

— Скажите, дети, — Валентина Митрофановна величаво вошла в проход между рядами, дошла почти до последней парты. Помедлила и повернулась лицом к доске. Я почему-то разглядывал её мясистые пальцы, сцепленные в замок перед грудью.

— Скажите, сколько раз мы с вами обсуждали в классе, как надо вести себя в гостях! Сколько раз родители объясняли вам правила поведения! И что же?! Вот, посмотрите на него! Ваш товарищ, Игорь, пришёл к Роме в гости и не разулся

у порога, прошёл в грязной обуви прямо в квартиру!!! — учительница возвысила голос. — Ромина мама работает на заводе, устаёт. Целыми днями гнёт спину. Приходит домой, едва успевает вымыть полы, как тут приходит Игорь и приносит на своих ботинках грязь с улицы!.. Разве может так поступать мальчик из интеллигентной семьи!.. И вот ещё что... — Валентина Митрофановна делает шаг вперёд, понижает голос, внятно выговаривая каждое слово:

— Игорёк... Тебя дома не кормят? Почему ты всё время просишь у Ромы, чтобы тебя накормили?..

Влажная спортивная майка стала ледяной. Она прилипла к спине, как отвратительная лягушка. Расстояние от доски до первой парты стремительно увеличилось. Валентина Митрофановна, и без того довольно крупная женщина, выросла, превратилась в великаншу. Ребята, с которыми я только что носился по стадиону, смотрят на меня с брезгливым прищуром. Пол уходит из-под ног, глаза застилают слёзы. Чуть ниже горла стало так больно — жжёт, и давит, и крутит... Стыдно! Я мучительно пытаюсь вспомнить, когда же не разулся у Ромы в гостях. Да ведь я разуюсь ещё на лестнице... И когда я у него просил... Уж не эти ли сопливые грузди?... Как же так... Ромка! Ромка! Ты же мой друг!!!

Дверь класса открылась, и возник мой папа. Он обычно забирает меня из школы. На этот раз что-то долго его не было... Папа тут же оценил обстановку. Не говоря ни слова, прошёл к моей парте, сгрёб вещи, взял меня за руку и вывел в коридор...

Наша школа стоит на небольшом холме, как маленький замок. Прямо перед ней раскинулись три большие поляны, обрамлённые кустарником. Папа не ведёт меня через поляны — ночью прошёл дождь и поэтому сыро. Мы идём по асфальтовой дорожке вокруг одной поляны, потом другой... Я постепенно прихожу в себя. Становится холодно, хочется снять кеды, переодеться. Папа садит меня на скамейку, крепко обнимает за плечи: — Наплюй. Всё пройдёт. Запомни, Игорёк, все друзья — до первого телеграфного столба...

Я хлюпаю носом и с недоумением смотрю на папу. При чём тут столбы?..

Ромка задружился с пацанами. Первое время после того «совета класса» они часто поджидали меня на тех полянах. Он никогда не приходил один — их всегда было как минимум трое...

А недавно мать перевела его в другую школу. Нет, он ничего криминального не совершил. Просто его родители работают на заводе, а та школа готовит рабочих. Вот Ромку от нас и забрали.

Потом мои родители получили квартиру в новом микрорайоне в другом конце города, и я тоже перевёлся... Спустя много лет я узнал, что Ромка после восьмого класса ушёл из школы, выучился на бас-гитариста, играл в каком-то виа...

Теперь-то я всё знаю про телеграфные столбы...

Стыд

Полина Тимофеевна смотрит в окно поверх очков и не видит ни серого дня, ни серых деревьев. Ни зелёные бока «Москвича», с которых падающая серятина соскальзывает не задерживаясь, ни попутайные цвета ткани на манекенах в витрине магазина напротив, ни красные огни герани, украшающей подоконник, не расцветивают день в иные краски.

Впрочем, даже если на небе не наблюдалось ни облачка и всё было залито солнечным светом, а от мира веяло беспечностью, для Полины Тимофеевны сегодняшний день всё равно остался бы серым и безрадостным. Сегодня Полина Тимофеевна подала директору школы заявление об увольнении в связи с уходом на пенсию.

Семён Захарович, конечно, станет уговаривать. Просить повременить, а то и вообще не увольняться. В крайнем случае, отыскать компромисс. Чтобы не поддаться на уговоры, нужно вовремя отвлечь совесть чем-нибудь иным. Не сосредоточиваться. Не вникать в его логику, а подобрать точные слова, чтобы настоять на необходимости уйти именно сейчас, посреди учебного года. В глазах коллег по работе её поступок, наверно, выглядит предательством. Они-то продолжают работать, хотя большинству давно пора на покой...

Где же набраться уверенности для ответственного разговора, когда сама себе не веришь. Когда знаешь, что не так надо. Не по-людски это, не человечески. Бежит ведь, как будто на пожар! Или с пожара?... Неужели ей так плохо, что не может дождаться лета? Значит, все её звания, заслуженный авторитет среди педагогического коллектива и начальства — всё лишь стремление к показухе? Стало быть, неправда, особенно обидная, потому что неправда касается тонких сторон души, высоких материй? И детям, получается, лгала столько лет, раскрывая им на примерах из классики суть добра и зла, порядочности, нравственности, искренности, уважения и любви к людям...

Да, к ней приходили для обмена опытом учителя из других школ. Её ставили в пример. Любой комиссии достаточно было побывать у неё на открытом уроке — и школа по уровню подготовки педагогов как минимум на следующий учебный год выходила в образцовые... Как объяснить, как? Ведь не карьеру делала в школе. Никогда не тщеславилась ни перед старшими, ни тем более перед молодыми учителями, что у неё лучше, чем у других, получился урок, что заметили, отличили... Наивная! За столько лет и в самых кошмарных снах представить себе не могла, что кто-то когда-нибудь сможет с ней так... Неужели изо дня в день, из года в год открывала им душу, вынимала каждое слово из самого сердца, для чего? Чтобы однажды походя, одним движением взять и переречкнуть?... Может быть, всё-таки она не права и надо перетерпеть? Не устыдится ли своего решения, не покажется ли оно ей эгоистичным, неинтеллигентным? Да и кому отдадут её учебные часы? Кем заменят в классном руководстве? Ведь столько проблем возникнет. И всё из-за того, что такая чувствительная...

Полина Тимофеевна промокнула глаза краем платка. Зябко поёжилась. Поглубже закуталась в шаль. За что, за что, какое имеют право?.. Нет, не девочка ведь, чтобы принять подобное обращение. Нельзя допустить, ради них самих, чтобы они не просто к взрослым, а к учителям, относились без всякого уважения. Ниже уже опускается некуда. Есть же и у неё предел терпения! «Да ведь не все же! Нельзя по одному Брыкину судить. Остальные — дети как дети. Такие фрондёры, как он, были всегда. Но весь класс видел, и все слышали. И никто его не одёрнул, никто не поддержал меня. Значит, мысленно дети на стороне дерзкого мальчишки. Восхищаются, небось. Даже завидуют. Вот, мол, каков, ничего и никого не боится...» Учительница уговаривала сама себя и в то же время как будто спрашивала у Брыкина: может быть, тот успел осознать свою неправоту и готов извиниться? Мол, хотел доказать мальчишкам и, конечно же, девочкам из класса, какой смелый, раскованный, «продвинутый», как они говорят... Она простит. Готова простить... Все подрастающие мужчины стремятся в лидеры. Тем более если ты сын такого известного, богатого и действительно влиятельного человека. Обязывает, наверное... А что, если Валентин и хотел бы подойти, но не знает, как это сделать? Его ведь можно понять — они в этом возрасте стыдятся своих добрых чувств.

Полина Тимофеевна с надеждой прислушалась, взглядела. Но кроме звуков телевизора, включённого за стеной у соседней, ничего не слышно. И куда бы ни посмотрела, повсюду ей мерещится лишь румяное самодовольное лицо её ученика. Чем-то похож на сытого хоряка... Господи, ну зачем обижать животное! Она видит холодный взгляд Брыкина. Видит, как шевелятся его полные красные губы, и на неё всё падают и падают ледяные слова. Каждое из них обрушивается как огромный снежный ком. Так, что перехватывает дыхание, и учительница чувствует себя маленькой и беззащитной. От незаслуженной обиды сердце сжимается и готово остановиться совсем.

Женщина встала. Пошла на кухню. Зажгла газ. Долила воды в чайник. Поставила на плиту. Зачем? Пить не хотелось. Долго смотрела, как голубые языки пламени лижут серебристые бока. Хотелось что-нибудь горячее плеснуть на заледевшее сердце.

Что она такого сделала? Чем провинилась? Да и вправе ли, даже наедине с собой, так ставить вопрос: «Виноват ли учитель, делая дисциплинарное замечание ученику?» Всегда разговаривала вежливо, да и не умеет иначе. Конечно, вежливо. Никогда не повышала голос. В отличие от других громкогласных учителей, её слышали, прислушивались. Вот и на этот раз. Заметив, что вытворяет Брыкин, внутренне вскипела, но сдержала себя. Сначала просто внимательно посмотрела на него. Потом на его соседку по парте. Подошла и стала рядом. Никакой реакции. Попросила положить руку на стол. Нельзя же допустить, чтобы мальчик на первой парте лез под юбку девочке! Да и вообще в школе разве такое возможно? Мало того, что проявляет открытое неуважение к учительнице — весь класс

только тем и занят, что наблюдает за ними. Кто в проходы между рядами свесился. Кто привстал. Как будто учителя и нет вовсе. Понятно, десятый класс, взрослые, но ведь существуют же, в конце концов, правила поведения на уроке! Есть элементарные приличия, наконец! Раз сказала, другой, третий — ноль внимания. Только остальных раззадорила. Класс, не сдерживаясь, загудел, как растревоженный улей. А Светка тоже хороша — ни стыда ни совести! Прежде, ещё лет пять-семь назад, девочка такой бы скандал закатила — посмей её тронуть! Да и не посмел бы никто. А тут сидит, млеет. Щёки горят. А Брыкин нисколько не стесняется — заголил ей ногу до бедра — того и гляди в трусы залезет...

Надо чем-то занять руки, чем-то отвлечься, заполнить сознание. Полина Тимофеевна открыла створку на антресоли. Одну, другую. Куда сунула? Вот так всегда. Да и ни к чему ей папиросы. Так, на всякий случай, хранила недокуренную пачку, оставшуюся от бывшего мужа. Сколько лет пылится? Лет с десятков, пожалуй... Нет, одиннадцать уж. Наконец, пачка нашлась. От первой же затяжки голова закружилась и к горлу подступила тошнота. Как они только курят эту гадость? «Беломорканал». Муж курил только эту марку. Искал папиросы фабрики «Ява». Никакого тебе «Дуката». Муж. Мужское. Она так и сказала Брыкину в учительской: «Разве это мужское поведение? Ты ведь девочку унижаешь перед всем классом!» А в ответ? «Никого я не унижаю. Она ведь не возражала. Да все девчонки передрались, чтобы только со мной за одной партой сидеть!» На первый раз обошлось тем, что она выставила Валентина из класса. Вызвала в учительскую и пропесочила его там хорошенько. Правда, при отсутствии учителей. Зачем ребёнка позорить? Но на следующий день повторилось то же самое. Более того, они посреди урока стали целоваться! Да как!!!

«Вон из класса! — Полина Тимофеевна удивилась тому, что вдруг закричала и что крик её оказался неожиданно тонким и высоким. — Вон!!! Оба!!! К директору! Немедленно!!!»

Пока ребята не спеша собирали свои сумки, Полина Тимофеевна места себе не находила. Стояла у стола, вдавливая карандаш в столешницу, и держась за тонкую деревянную палочку, как утопающий за соломинку. Впервые за долгие годы работы в школе сорвалась на крик. И по какому поводу! Уму непостижимо... Неужели она действительно настолько отстала от жизни?

Звонок всё никак не звенел. Учительница не слышала, что говорила. Не думала. Не контролировала себя. Острые, насмешливые взгляды то и дело кололи ей спину, стоило отвернуться к доске. Спасительный опыт, навыки, отточенные до автоматизма, позволили ей внешне спокойно, не обращая внимания на повисшее между нею и детьми отчуждение, завершить начатую тему, дать задание на следующий урок, собрать со стола учебники, классный журнал и, не чувствуя под собой ног, добраться до учительской. Там она присела за длинный стол и только когда наливала воду из графина, заметила, что руки предательски дрожат.

Сегодня занятий больше нет. Надо идти домой, но сначала необходимо собраться с силами, прийти в себя. Чтобы не вызывать лишних вопросов, стала склеивать листы бумаги, достала линейку, карандаши. Расписание на следующую неделю не обязательно чертить дома, можно и в школе задержаться. Этаж постепенно пустел. Где-то в дальнем конце коридора слышались звонкие голоса уходящей по домам группы продлённого дня. Скоро школа опустеет совсем.

Вдруг приоткрытая дверь учительской распахнулась и на пороге откуда ни возьмись вырос Брыкин. Полина Тимофеевна от неожиданности вздрогнула. «Валентин? Извиняться пришёл? Неужели...» Смутное ощущение тревоги почти мгновенно сменилось уверенным ожиданием беды, большой беды. Брыкин огляделся по сторонам, пытаясь не только взглядом, но, как показалось Полине Тимофеевне, нюхом определить, есть ли здесь ещё кто-нибудь, и, убедившись, что никого нет, захлопнул за собой дверь. Подскочил к учительнице, и, видимо, боясь остыть, не давая ей возможности вставить хоть слово, стал торпливо говорить, выдвигая каждое слово сквозь зубы, словно плевков: «Если ты, с-старая с-сука... ещё раз сделаешь мне замечание... я тебя... Ты знаешь, кто я? Что, жить спокойно надоело? У тебя дочь, я знаю, есть. Симпатичная тёлка такая, да? Я сам мараешься не буду. Но с-смотри... будешь вместе со своей красоткой на лекарства работать. А пойдёшь жаловаться, отца вызовешь... тогда сама застрахуйся сперва, а потом на улицу выходи... Ж-жаба старая, с-сука...» Брыкин развернулся. Распахнул дверь. Размашистыми шагами пересёк пространство коридора и исчез в лестничном проёме.

Полина Тимофеевна ни жива ни мертва взяла свой портфельчик, оставила на столе чертёж и все принадлежности и, как загипнотизированная, пошла в ту же сторону, что и Брыкин. Спустилась по лестнице. Вышла на улицу и, пока шла до дверей своей квартиры, всё время ждала, что на неё сейчас набросятся, ударят, собьют с ног. Ничего уже не боялась. Всё самое страшное, что могло быть, произошло.

Мальчик, которого она, правда, не вела с пятого класса, а который перевёлся к ним два года тому назад, одним движением как будто выбил опору из-под ног. Наверно, была слишком самонадеянна, полагая, что её слово всегда будет непрекаемым для учеников. Она — устарела. Устарела. Отстала от жизни. Выпала из неё. Когда это произошло? Почему не заметила даже малейших признаков? Редко включала телевизор? Не читала газет? Не ездила в общественном транспорте? С магазином везло, да и на рынке её хорошо знали. Продавцы повсюду так приветливы, все дружелюбны. Никто никогда не нахамил и ничем не обидел...

Зазвонил телефон. Полина Тимофеевна с испугом посмотрела в его сторону. Леночка. Если бы не она...

Страх за дочку заставил женщину всхлипнуть. Она прижала обе руки к лицу. Девочка собиралась замуж. Познакомилась с юношей из приличной

семьи. Родители — интеллигентные люди: папа юрист, мама врач. Сашенька оканчивал военное училище. Сыграли бы свадьбу, а тут и распределение подошло, уехали к месту службы молодого мужа. Да вот незадача — весь курс вдруг сняли и направили на Кавказ. А через месяц Леночка общает, что ждёт ребёнка. Саша, конечно, приедет, и всё будет хорошо. Да ведь нельзя теперь дочке волноваться. Не дай Бог, этот Брыкин с его папой и их бандитами...

Телефон всё звонил. Полина Тимофеевна глубоко вздохнула. Посмотрела, как воробей, сидя на ветке рябины, чистит пёрышки. Подняла трубку. Трубка молчала и на «Алло», и на «Вас слушают»... Темнело, а телефон звонил и звонил, и в нём по-прежнему молчали.

Наконец, напившись пустыряника, Полина Тимофеевна набралась решимости. Сама позвонила дочери. Леночка сегодня получила очередное письмо от Александра. Им торжественно вручили дипломы об окончании военного училища, но оставили ещё на некоторое время в командировке. Чувствует себя хорошо. Токсикоза пока нет. Кушает всё. Делает витаминные салатики. Пьёт соки. Не звонила, потому что увлеклась: разобрала Сашины письма, фотографии. Перспектива стать любимой и любящей мамой придавала щебетунье Леночке женской степенности и осмотрительности. Она думала о том, какой будет их жизнь на новом месте, как его обставить таким образом, чтобы обеспечить уют и мужу, и малышу...

За получасовой разговор с дочерью Полина Тимофеевна немного успокоилась. Да, Брыкин успел превратиться в стыдную болезнь, от которой уже нельзя избавиться, но и выставлять напоказ такую болячку порядочные люди не будут.

Полина Тимофеевна положила трубку на рычаг. Стать бабушкой и посвятить остаток своей жизни, сколь бы долго ещё она ни продлилась, внукам, а потом, даст Бог, и правнукам — тоже не самое плохое дело. Возраст как раз подошёл пенсионный. Уедет с молодыми на новое место. Поможет им обжиться, устроиться. Со временем, глядишь, в детский садик нянечкой можно будет пойти. И внука пристроит, и сама без копейки не останешься...

А Брыкин... Не воевать же. Что она может сделать ему, с ним, с его влиятельным отцом? Власть Полина Тимофеевна всегда боялась и полагала, что управу на неё может найти только другая власть. Ну не обычной же учительнице литературы пытаться возражать тем, кто, чувствуя свою силу, не терпит возражений? Внутренне она знала, что стоит ей когда-нибудь оказаться на пути у большого начальника, как ей тут же придётся посторониться. Вот этот случай и наступил. Ей казалось, что власть — это огромная страшная птица. Если вдруг на открытом пространстве окажется обнаруженной, спасения не жди. Жертва попадает в прицел зоркого немигающего взгляда и, как бы ни пыталась спастись, обречена...

Не обратиться ли за помощью? Допустим, в милицию. Полина Тимофеевна знала из разговоров в учительской, что милиция не станет всерьёз

заниматься её делом. Как громко сказано! Она представила себе папку с надписью «Дело школьника Брыкина», и ей вообще расхотелось думать. «Нет тела—нет и дела»,— вот что скажут в милиции. В лучшем случае, примут заявление, и— Боже упаси!— вызовут Брыкина-старшего. «Гражданка такая-то,— скажут ему,— обратилась с заявлением на Вашего сына. Он якобы угрожал ей и её дочери, обзывал нехорошими словами. И всё это за то, что получил на уроке замечания и даже был выставлен за дверь»... Дальнейшее «кино» Полина Тимофеевна досматривала уже с сильно бьющимся сердцем и немеющими руками. Она чувствовала, что не принадлежит себе, а, подобно листу, сорванному с дерева, кружится, задевая за ветки, взмывая вверх под порывами ветра, снова кружась и снова цепляясь за ветки, ограды, урны, скамейки, но неуклонно приближается к земле, где непременно должна будет слиться с теми, кто упал и застыл раньше... Звонок в дверь прозвучал так резко, что Полина Тимофеевна выронила из рук чашку с чаем. Чашка упала на пол и разбилась. Брызги кипятка выплеснулись на щиколотки.

— Только обвариться мне и не хватало,— подумала Полина Тимофеевна и взглянула в дверной глазок.— Леночка!!!

Едва притворив дверь, дочь буквально набросилась на неё.

— Рассказывай, мамочка, что случилось! Меня не проведёшь. Я по твоему голосу сразу могу определить и как твоё здоровье, и настроение.

Полина Тимофеевна припала к родному плечу и заплакала. Впервые она всем своим существом почувствовала, что литература, которую она много лет преподавала, бесконечно далека от настоящей жизни— грубой и безжалостной.

Прижимаясь к дочери, она снова попыталась избавиться от ощущения собственной старости и ненужности никому, даже Леночке и своим будущим внукам, но у неё снова ничего не получилось. Полина Тимофеевна всё глубже прятала лицо в мохеровую кофту.

Женщина предчувствовала, что сейчас придётся всё рассказать Леночке, и ей становилось мучительно стыдно. А куда ещё спрятаться от самой себя, она не знала.

ДиН стихи

Николай Гоголев Тиль Уленшпигель

Верю в вечную молодость, в магию книги.
И века, словно строки, пошли вперекос:
Снова нищих на приступ ведёт Уленшпигель,
Нестареющий, неунывающий гёз.

И кострам и ветрам снова сердце открыто,
Снова время приходит бокалам звенеть,
Прогибается море перед гордым бушпритом,
Подминая песчаного берега медь.

Вот он, вот он -бродяга,
Не скопивший за вечную жизнь
Ничего.
Только фляга
И шпага
На боку у него.

Потому-то всегда он и молод и весел,
Что для отдыха дома себе не обрёл.
Если Тиль когда-нибудь всё же повесят,
Я возьму на себя его трудную роль.

Вот я, вот я—бродяга,
Не скопивший за вечную жизнь
Ни хрена.
Только фляга
И шпага
На боку у меня.

Поднимусь я на скользкую палубу,
Дам команду: «Залп левым бортом!»
Прохриплю на последок: «Эх, бабу бы!
Нет—вина бы! А бабу—потом!»

Захлебнусь я кровавою пеной.
Вот и всё—моей вахте шабаш.
Эй, кто там? Выходи мне на смену,
Брось промедливших на абордаж!

Где ты, новый бродяга?..



Всеволод Шахрай Память

183

Всеволод Шахрай
Память

Я прекрасно помню свою первую деревянную кроватку, которой уже давно не существует, помню, как я лежу в ней и наблюдаю из-за её деревянных прутьев за раком, ползающим по комнате. Отец принёс его с рыбалки и выпустил на пол, чтобы показать нам с мамой. Я помню этого рака очень чётко, он и сейчас, как живой, ползает перед моими глазами, такой весь склизкий, тёмно-зелёный, словно его только что из болота вытащили. Впрочем, помню я его и мёртвого, румяного, красного, лежавшего на тарелке, на кухне.

В другой раз, я лежу в кроватке с высокой температурой и мама никак не может заставить меня выпить горькое лекарство. В конце концов, она растворяет таблетку в чашке сладкого чая, но я всё равно отказываюсь пить его. Тогда мама говорит, что это серьёзно, что я должен выпить, а иначе могу даже умереть. Помню, эта фраза действует моментально, я так перепуган, что тут же выпиваю чай, а он к тому же оказывается очень вкусным.

Вот что стало с кроваткой потом, я не помню. Не помню я, и как очутился здесь этот диван, обшитый зелёной тканью, и шифоньер, что стоит напротив, на дверце которого висит вымпел с изображением Диего Марадоны. В углу комнаты стоит небольшая тумбочка, сверху лежит проигрыватель пластинок, из динамиков доносится детская песенка в исполнении хора пионеров. Звуки музыки перемешиваются со звуками, проникающими в мою комнату через открытое окно. Слышны дети, собаки, птицы, качели, кузнечики, автомобили.

Я выглядываю на улицу. Среди всех ароматов, встретивших меня, выделяются запах одуванчика и жареной картошки, и последний, видимо, доносится из соседской квартиры, что расположилась этажом ниже. Во дворе играют дети, кидают резиновый мяч, ловят его, однако такая незатейливая игра вызывает почему-то бурное веселье. Самое странное, что абсолютно все дети молчат, лишь поглядывая друг на друга. Молчат и смеются, кидают мяч, взгляды, ловят его и смеются, словно над тем, чего нельзя произнести вслух. Присмотревшись к одной девочке, к самой маленькой из собравшихся, я замечаю, что на ней нет трусов, а из всей одежды лишь грязная белая майка и короткая красная юбка. Я узнаю её. Этот, на вид четырёхлетний, ребёнок воспитывается родителями-алкоголиками, которые уже отдали большинство своих детей в интернат, а теперь, видимо, ждут, когда придут сроки и до следующего. Не удалось им избавиться лишь от одного из сыновей, который родился умственно отсталым. Старший брат девочки сейчас

тоже здесь. Он смеётся вместе со всеми и кажется громче всех, стоит лишь летнему ветерку задрать ткань красного цвета на теле его сестры. Тут же неподалёку смеются ещё совсем ничего не понимающие малыши сидящие в песочнице, смеются их мамы, спрятавшиеся в тень сирени, смеются прохожие, смеётся и сама девочка. В одной руке она сжимает морковь, успевая грызть её между делом, да так неаккуратно, что уже перепачкала всю свою улыбку оранжевым соком. Игла проигрывателя нащупывает новую песню.

Оранжевое небо,
Оранжевое солнце,
Оранжевая зелень,
Оранжевый верблюд.
Оранжевые мамы
Оранжевым ребятам
Оранжевые песни
Оранжево поют.

Я отхожу от окна и останавливаю виниловый диск. Мне становится скучно, и я иду в зал посмотреть, что там делает отец.

Он спит на кресле перед включённым телевизором.

— В сегодняшнем матче хоккеистам «Мотора» придётся доказать, что предыдущий их проигрыш был не что иное, как случайность, — выводит комментатор с голубого экрана, — будем надеяться, что команда и главный тренер извлекли уроки из прошлого и провели работу над ошибками.

Я сажусь на пол, наблюдаю за действием, происходящим на ледовой площадке. Такое чувство, что и за мной кто-то наблюдает. Смотрю на отца — спит, в зеркале — никого, смотрю на стол, диван, стену и подоконник. На потолке замечаю, чёрную точку. Присматриваюсь — паук, загадочное существо, окружённое таинственной аурой. Я достаю из шкафа газету, сворачиваю её в рулон, хочу убить паука.

— Но, что мы видим? На скамейку для штрафников направляются два хоккеиста, и второй, видимо, за споры с арби, — обрывается голос комментатора на полуслове.

Отключают электричество.

Такая темнота, что не видно даже окна, чтобы посмотреть, день сейчас или ночь. Возможно, паук уже спускается ко мне по паутине. Я выбегаю из комнаты, в коридоре падаю на пол, пытаюсь отыскать хоть какую-нибудь обувь, но вижу в ящике паука, спрятавшегося за шнурок детского ботинка, — в одних носках выхожу в подъезд.

За мной следуют соседи из других квартир.

— У вас тоже света нет? — спрашивают сверху.
— Во всём квартале отключили, — отвечают снизу, — ладно хоть никто в лифте не застрял.

Я не хочу, чтобы они меня здесь видели, стоящего без носков, и когда я слышу приближающиеся шаги, прячусь за мусоропровод. Люди проходят мимо, не замечая меня, держа в руках свечу или фонарик.

Становится тихо, я сажусь на деревянный ящик для хранения картошки, чувствуя спиной холодную стену подъезда. Напротив меня дверь в чужую квартиру. Оттуда доносятся голоса.

— Ой, ой, ой! Позор! Да как ты мог? Я же мать твою! — кричит женщина, по-видимому, наша соседка, тётя Маша.

— А что? Что? Ты чё? — слышен голос её сына Саши, пьяницы.

— Ай, ай, ай! Да неужели ты совсем перестал всё понимать, вот ведь она водка, какая грозная. Что делать? Что делать? Помогите кто-нибудь!

— Да ты что, сдурела, что ли? Что случилось то?

— А ты не понимаешь? Ведь ты, когда свет выключили, ко мне полез, и это к матери-то? Дальше что? Ой, ой, ой! Ай, ай, ай! — плачет тётя Маша

— Нет, нет, не было, врешь ты всё. Не было. Спал я. Это ты специально меня в сумасшедшие записываешь. В психушку засадить хочешь?

— Боже мой. За что горе такое?

— Ты куда собралась, ночь на дворе? — спрашивает Саша у матери, но не получает ответа на свой вопрос.

Я спрыгиваю с ящика и снова прячусь за мусоропровод. Слышно, как открывается дверь, но тут включается электричество, и я ещё успеваю увидеть женщину, что спускается вниз по лестнице в сером плаще.

Я выхожу из своего укрытия — надо возвращаться домой — но не успеваю я дойти до двери своей квартиры, как врезаюсь в широкую грудь мужчины. Это Саша, он тоже вышел в подъезд вслед за матерью.

— Быстрее все сюда, за мной, мне помощь нужна, — проговаривает он и тащит меня за собой в свою квартиру.

Мы оказываемся в его комнате.

— Давай двигай, — говорит мне Саша, пытаюсь отодвинуть большой платяной шкаф от стены, рассматривая одним глазом в образующуюся щель.

— Ну же, помоги! Он там! Видишь, вон он, давай двигай!

— Кто там? — спрашиваю я соседа, не понимая, кого он мог увидеть в такой узкой щели между шкафом и стеной. — Паук?

— Да нет! Какой ещё паук? — разочарованно произносит Саша, которому наконец удаётся отодвинуть полностью шкаф от стены. Тут он разводит руками, садится на кровать и начинает о чём-то судорожно думать.

Саша включает телевизор. Звук появляется раньше изображения.

— Шайба у Архипова. Ну, отдай же в угол. Андроников, удар! Выше ворот, но вбрасывание будет в

средней зоне, — слышу я уже знакомый мне голос комментатора.

— О, хоккей, — реагирует Саша и меняется в лице. — Так, так, Архипова, значит, в «Мотор» сманили. Это ведь племянник мой, — обращается сосед ко мне, — что не веришь? Да знаешь ли ты, кто перед тобой сидит? Да меня сам Тарасов в сборную звал! Что, не веришь? У меня и фотография есть, сейчас покажу.

Саша вскакивает с кровати и начинает рыться в ящике стола.

— Вот ведь глупая женщина! Говорил же ей, не убирайся ты здесь, вечно после неё ничего не найдёшь. А фотография была! На лыжах!

— Я верю!

— Что? — удивляется мне Саша. — Ты что здесь сидишь? Иди домой!

Я выхожу из соседской квартиры под гул трибун, доносящийся с телевизора, в подъезде же всё заглушается каким-то кошачьим писком.

— Откуда?

Я поднимаюсь вверх по лестнице и на шестом этаже натываюсь на коробку с котятками.

— А мокрые какие!

— Там дождь был, вот я их сюда и перетащила, — слышу я голос тёти Маши, которая тоже здесь, рядом с коробкой — А Машка где? Я ей поесть принесла.

— Не знаю. Не было. Так это Машкины?

— Да.

На лестнице появляется кошка Машка. Она подбегает к еде, буквально на раз-два-три проглатывает её и запрыгивает в коробку к своим детёнышам.

Опять слышен писк, но уже через минуту всё успокаивается.

— А ты почему без носков? — спрашивает меня тётя Маша.

— Я паука испугался, и прямо так вот выбежал из квартиры

— Да за что же его бояться-то? Он тебе плохо сделал? — смотрит на меня с укором соседка. — И ты ведь вон какой большой, а он маленький, да к тому же пауки пользу приносят — мух ловят.

— Страшный он какой-то, противный, непонятный, — отвечаю я ей, не зная, что ещё сказать.

— Да, согласна, некрасивый, не котёнок, но некрасивый не значит злой. Представь, что он как маленький старичок, который уже некрасив в своей старости, но зато очень добрый и мудрый. Как приятно послушать такого. Ну а теперь беги домой, а то ещё простудишься.

Я спускаюсь на одну ступеньку вниз.

— А вот этот на Толстяка похож, — говорит мне тётя Маша, вытаскивая из коробки одного котёнка, — у нас жил такой в доме моего деда.

— Шайба у Соломонова. Архипов...

Во всеулышание звучит радостное «Гол!» Но даже оно не способно разбудить моего отца, спящего в кресле перед телевизором.

Я смотрю на потолок.

Под ногами валяется развёрнутая газета.

Помню календарь на стене за 1986 год, на фотографии Москва Река, Кремлёвская стена, прогулочный теплоход.

Утро, отец выходит из комнаты, но запах его одеколона ещё здесь, мама натягивает на меня колготки. Отец возвращается, он уже в брюках, открывает верхнюю дверцу шкафа и достаёт фотоаппарат, смотрю на него с любопытством, неужели будет фотографировать в такую рань?

— Ты скоро? — спрашивает он у мамы.

— Да, уже почти готовы. Сколько там градусов за окном? Не смотрел?

— Пятнадцать.

— Почему пятнадцать? — недоумеваю я.

— Минус, минус пятнадцать, сын. Эх, да ты ещё только в колготках! Давайте-ка я вас, хоть, сфотографирую?

— Опоздаете, — ворчит мама и усаживает меня к себе на колени.

— Улыбайся! — говорит она мне.

Раздаётся щелчок фотообъектива.

На столе тикают часы.

Я люблю ездить на санках, пожалуй, это лучшее, что со мной может произойти в течение дня. По утрам — отец отвозит меня в детский сад, вечером — мама забирает меня из него. Мы проезжаем мимо, школьного стадиона, общежития, продуктового магазина. На стадионе мимо нас пробегает мужчина. Каждое утро я вижу, как он здесь наматывает круги вокруг футбольного поля, босиком по снегу, в одних трусах. Отец говорит, что это спортсмен.

— Минус пятнадцать, — думаю я.

Труссы красные.

— Папа, а что значит — один, девять, восемь, шесть, год?

— Что? А! Это год сейчас такой — одна тысяча девятьсот восемьдесят шестой.

— Одна тысяча? Это же очень много?

— Да, сын. А где ты видел такую надпись?

— На фотографии, на стене в коридоре, где кремль нарисован. А почему там цифры есть чёрные и красные?

— Это календарь. Цифрами обозначаются дни. Чёрные цифры — обычные дни, будни. Сегодня вот, например, какой день? — задал он вопрос и сам же на него ответил. — Третье Декабря! Цифра три в Декабре — чёрная. Праздничные же дни выделяются красными цифрами. Какие праздники ты знаешь?

— Новый Год.

— А когда у нас Новый Год?

— Первого Января.

— Правильно. Так вот, цифра один в Январе — красная, потому что это праздничный день. Ну? Понял?

— Да. А что такое календарь?

— Календарь это и есть все эти цифры, которые обозначают дни. Люди смотря на него и узнают, какой сегодня день, месяц или число.

— Число?

— Ну, да. Третье Декабря или первое Января? А может быть восьмое Марта? А день, какой? Пятница? Суббота? Воскресенье?

— Понедельник.

— Правильно! Умница! Вот видишь, какой ты у меня молодец. Ну, а теперь будем фотографироваться?

— Да! — весело вскрикиваю я, забывая напрочь, обо всех этих числах, красных и чёрных днях.

Санки останавливаются ровно там, где кончается снег. Отец ссаживает меня и ставит на тёплую рыхлую землю.

— Видишь этот незакрытый канализационный люк? Я хочу сфотографировать тебя рядом с ним.

— Вижу уж, только вот зачем здесь фотографироваться? — думаю я, наблюдая за клубными парами, вырывающимися из уличного колодца наружу.

— Встань-ка вот тут, — говорит мне отец.

Он держит меня за плечо и как будто бы даже пытается качнуть, точно я предмет, и проверяют устойчивость моего положения.

— Вот так. А теперь я отойду немного, чтобы сделать снимок, а ты ни шагу с этого места! Понял? — спрашивает он, но почему-то серьёзным тоном.

Такое происходит впервые. Обычно, когда мы фотографируемся, он весел.

— Ага, — произносит отец, не дождавшись ответа.

Теперь он смотрит на меня через объектив фотокамеры.

— Попробуй, чуть-чуть нагнуться в сторону люка. Только очень-очень осторожно, медленно! Вот так. А теперь посмотри внутрь. Ага. Замечательно.

Разглядеть мне удаётся не многое — лестница на бетонной стене, ржавые вентиля и трубы, на дне колодца вижу лужу.

— Ой, папа, здесь котёнок.

— Что? Какой котёнок? Стой! Не подходи к люку! Ты что не слышал, что я тебе говорил.

— А я и не подхожу, вот смотри, котёнок чёрного цвета, он плачет — говорю я, подбежавшему ко мне отцу.

— Нет, он не плачет, кошки так разговаривают, он говорит тебе Привет! Ну, давай, поздоровайся и ты же с ним.

— Привет, как дела? — кричу я котёнку, а тот продолжает лишь мяукать в ответ.

— Он отвечает тебе, что у него всё хорошо, ему там тепло, у него там дом, смотри, как щурится от удовольствия, — нашёлся тут же отец.

— А ты, что же, понимаешь его?

— Да, конечно. Вот будешь взрослым, и ты научишься понимать их язык. Хочешь быть взрослым?

— Да! — вскрикиваю я с возвратившейся ко мне весёлостью.

— Ну, тогда, давай уже фотографироваться.

Раздаётся щелчок фотообъектива.

В колодце капает вода.

Металлический забор детского сада весь в дырках, как решето. Как-то отец сказал маме, по большому секрету, что дырки эти остаются на листе металла после выпиливания каких-то деталей для снарядов, а делают такие заборы у нас на пороховом заводе. Отец может это знать, он работает архитектором в проектно-институте, относящемся к оборонной промышленности страны.

Забор выкрашен в зелёный цвет.
— Пап, а у нас в детском саду один мальчик есть, который ходит в военной фуражке и называет себя маршалом. Это, правда, что главнее уже никого не бывает?

— Ну почему же не бывает? Ты ему скажи, что ты генералиссимус— вот этот-то уж точно самый главный.

— Генералиссимус?— переспрашиваю я, дивясь незнакомому мне слову. Уж больно звучит оно как-то смешно и нелепо, не по-русски.

— Да! Их не так-то и много было за всю историю, но звание такое есть,— произносит отец чуть ли не гордо.

В помещении раздевалки детского сада «Журавлик» нас встречает Таисия Ивановна— моя воспитательница.

— Здравствуйте, а вы сегодня немного запаздываете, у нас уже и занятия по аппликации начались,— обращается она к отцу, который уже успел снять с меня шапку и шарф.

— Доброе утро. Ну, надеюсь, мы не многое пропустили?— берёт он шуточный тон, но в тоже время своим видом даёт понять, что осознаёт, что опоздали, извиняется.

Отец расстёгивает на мне пальто, он торопится, одна из пуговиц падает на пол.

— Не волнуйтесь вы так, вы совсем даже ничего не пропустили, я ещё и задание не успела дать. Давайте я вам лучше помогу,— говорит, Таисия Ивановна и помогает снять с меня валенки.

— А почему это мы такие серьёзные?— обращается воспитательница уже ко мне.

Тут она надувает свои щёки и хмурит брови, пытаясь в шутку изобразить всю серьёзность взрослого детского личика. Она передразнивает меня, понимаю я по её глазам. Они зелёного цвета. Волосы рыжие. Голос хриплый и тихий. У неё красивое белое лицо, хотя она уже не молода, ей около сорока, но так часто бывает— человек всегда красивый, если он любит кого-то, Таисия Ивановна любит нас— детей. Она подносит свою руку к моей голове и разом взъерошивает на ней все волосы. Кожа на руке приятно холодная.

Отец ставит меня на деревянный детский стул.
— А можно я его сфотографирую, вот так?— спрашивает он виновато у воспитательницы.— Я очень быстро, честное слово, или давайте я вас вместе щёлкну? Вставайте-ка рядом.

— Ой, нет, нет. Мне бежать пора, там меня уже дети заждались. До свидания,— прощается воспитательница с моим отцом и сбегает в другую комнату.

Мы чувствуем себя покинутыми.

— Да, вы бы хоть причесали его. Посмотрите, что я с его головой сделала,— кричит она, закрывая за собой дверь.

— А ведь вас ни на одной фотографии нет, Таисия Ивановна,— неожиданно произносит отец куда-то в воздух.

— И то правда,— думаю я, как бы принимая его загадочный тон. Прошлой зимой на групповом фото детей и всех воспитателей детского сада её не было, болела. А когда нас фотографировали

летом с клоуном и обезьяной, она тоже отсутствовала, но уже по неизвестным мне причинам.

— Готов?— спрашивает меня отец.

— Да!

Раздаётся щелчок фотообъектива.

Дневной свет заливает помещение старшей группы детского сада сквозь огромные окна. Они закрыты, и неизвестно, как сюда пробралась синица, которая летает как метеор по всей комнате, чуть-чуть не касаясь крыльями самого потолка. Дети возбуждённо наблюдают за её полётом. Наконец синица врывается на полной скорости в окно и падает на подоконник.

— Она умерла?— спрашивает один мальчик у Таисии Ивановны, поспешившей на помощь к бездыханному телу птицы, но только она хочет коснуться её, как та тут же снова взлетает.

— Притворялась! В обморок упала!— кричат дети.

В нашей группе есть небольшой живой уголок, здесь есть клетка с хомяком, черепаха и чучело журавля на подставке, и надо же, синица, решивши взять паузу, приземляется именно на журавля, прямо ему на голову.

— Поближе к своим,— раздаётся детский возглас.— И не бойся.

Таисия Ивановна открывает окно. Она долго не может справиться со шпингалетом, дёргает его и так и сяк, но всё же добывается своего— свежий морозный воздух заполняет наши лёгкие.

Распознаёт его и синица, сделав прощальный круг над головами детей, она выбирается наружу, только в небе мы её и видели.

Дети хлопают в ладоши, кричат, кто умеет, свистит.

Из-под чучела журавля выползает таракан, тут же раздаётся хлесткий удар ладони по столу, я смотрю на белую жидкость, вылившуюся из насекомого.

— Это что ещё такое?— говорит строго воспитательница.— А ну-ка сейчас же руки мыть.

Мальчик в военной фуражке скрывается в ванной комнате.

Дети всё ещё чему-то рады, смеются, разговаривают, переглядываются между собой. Таисия Ивановна и не пытается нас успокоить. Она подходит к центру длинного стола, за которым мы все и находимся, и высыпает на него кучу нарезанной цветной бумаги.

— Ну что ж, продолжим наше занятие по аппликации,— говорит воспитательница уже в тишине, которая случилась как-то сама собой.

Дети устремляют свои взгляды на цветные круги, квадраты, ромбы, треугольники, разбросанные по столу. Все фигуры разных размеров, края же у них не прямые, а зигзагообразные, как у печенья «Хворост».

— Возьмите листок белой бумаги, что я вам раздала, перед началом занятий, и попробуйте при помощи этих разнообразных цветных фигур изобразить на нём какое-нибудь животное,— проговаривает Таисия Ивановна,— возьмите клей и приклейте на листок туловище, голову, ноги, хвост, да всё, что угодно, всё, что должно быть у вашего

животного, только использовать в качестве материала можно только вот эти, уже готовые фигуры. Вырезать самим что-то из цветной бумаги запрещается.

Дети молчат. Больше всего всех поражают эти зигзаги по краям фигур, если бы их не было, например, на круге, то из него можно было бы избразить голову животного, а так...

Как бы то ни было, но именно круги расходятся по рукам детей быстрее, чем остальные фигуры. Только вот одной девочке не достаётся круга, и она начинает плакать.

Таисия Ивановна подходит к девочке и наклеивает на её белый лист бумаги жёлтый вытянутый треугольник.

— Это будет тело животного,— торжественно произносит воспитательница,— а это будет его голова,— говорит она, вклеивая чёрный ромб в левый угол жёлтого тела,— а вот и хвост, ноги,— продолжает Таисия Ивановна, выбирая одну за другой фигуры из цветной кучи и вклеивая их всё на тот же листок.

Последним она достаёт серый прямоугольник, и теперь уже понятно— это будет крыло птицы.

— Ну? И кто же это у нас получился? Узнаёте её, дети?

— Синица! Наша синица!— кричим мы все хором, восторженно смотря на аппликацию.

— Правильно. А теперь попробуйте и сами что-нибудь составить, и не важно, если у ваших животных будут квадратные тела или прямоугольные головы, главное— чтобы вы соблюдали цвета и пропорции.

— Таисия Ивановна, а куда мы потом наши работы денем?— спрашивает девочка у воспитательницы.

— А вы их с собой домой заберёте, и пусть ваши родители попробуют угадать, кто на них изображён.

— А свою вы тоже домой заберёте?

— Нет, синицу мы оставим здесь.

— Хотя эта не улетит,— произносит мальчик в военной фуражке.

— Мама, что это?

— Скрипка?

— Нет, это животное.

— Ну не знаю, лошадь что ли?

— Да!

Мама сунёт мою аппликацию к себе в сумку.

На крыльце детского сада нас окликает заведующая.

— Здравствуйте, Валентина Николаевна,— обращается она к маме,— уже месяц подходит к концу, и я бы хотела, чтобы вы внесли оплату за ноябрь и как можно скорее.

— Что? Я же вам лично квитанцию в руки отдала, ещё на прошлой неделе. Неужели не помните?— возмущённо реагирует на всё происходящее мама.

— Ну, помню, не помню. Вас же родителей вон сколько, а среди прочих квитанций только вашей нет.

— И что же, мне ещё раз платить, из-за того, что вы нашу квитанцию потеряли?— всё больше раздражается мама

— Если платили, у вас должен был остаться корешок, вот и принесите мне его.

— Хорошо, принесу, если найду,— произносит напоследок мама, берёт меня на руки и идёт поскорее к воротам детского сада, не желая больше ни с кем разговаривать, и только уже выйдя за забор, она усаживает меня на санки.

Мы проезжаем мимо продуктового магазина. Во всю длину его стеклянной витрины висит плакат: «С Новым Одни Девять Восемь Семь Годом». Ещё с утра его здесь не было.

Из магазина выходит пьяный мужчина. Когда мы проезжаем мимо него, наши взгляды встречаются, он смотрит на меня так, будто бы узнаёт во мне своего старого знакомого, но тут же теряет равновесие и падает. Я резко отвожу глаза, словно я и не вижу, как он упал. Когда я оборачиваюсь, мужчина стоит на четвереньках, продолжая смотреть в мою сторону,— такое чувство, что он недоумевает, почему я до сих пор не подошёл к нему и не помог подняться.

— Мама, поехали, быстрее, а то за нами сейчас тот пьяный дяденька пойдёт.

— Какой дяденька? А, этот,— говорит мама, оглядываясь на сидящего, на снегу человека.— Не волнуйся, сынок, не пойдёт.

— Мам, а почему, Таисия Ивановна не может быть заведующей? Ведь она хорошая!

— Вот поэтому и не может.

— Как это?

— А вот так! Не могу я тебе сейчас этого объяснить, вырастишь— поймёшь.

— А что такое скрипка?

— Это музыкальный инструмент такой, приедем домой, покажу.

Я уже лежу под одеялом, мне тепло и уютно, мама сидит рядом и просто смотрит на меня.

— Ух, какое у нас красивое личико,— говорит она мне, теребя руками за обе мои щёчки.

— Ну, больно,— капризничаю я, хотя мне совсем не больно.

— Ой, чуть не забыла,— вдруг вскрикивает мама, вскакивая с кровати.

Она подходит к шифоньеру, встаёт на цыпочки и начинает, что-то искать на самом его вершине. Наконец она достаёт оттуда какую-то книгу, а я и не знал, что там есть такие, наверное, среди них есть и те, что с картинками.

— Вот, смотри, это и есть скрипка,— говорит мне мама, раскрыв передо мной книжку.

Я вижу, что-то чудесное. Это скрипка, понимаю я, и это, видимо, то же, что и гитара, на ней играют, только вот намного красивее, чем гитара.

— Нравится?

— Да, очень

— А ты бы хотел научиться играть на такой?

— Да,— отвечаю я маме, до конца не понимая смысла её вопроса, но, однако, примерно представляя, что при таком моём ответе, мне обязательно купят скрипку.

— Хорошо, ты обязательно научишься, я отдам тебя в музыкальную школу.

Я киваю головой, я готов согласиться и на школу, лишь бы у меня была скрипка.

В комнату, заходит отец, чтобы пожелать мне спокойной ночи.

— Пап, а я на скрипке играть буду.

Я вижу, что отца это расстраивает. Всё дело в том, что они давно с мамой, спорили в какую школу меня отдать, отец настаивал на художественной, мама же склонялась в сторону музыкальной. Причём спор, этот проходил всегда в какой-то шуточной форме, их забавляло это, и казалось, они специально оттягивают решение, потому что оно уже никак не могло быть шуточным. А тут ещё получилось всё так, будто мама специально показала мне скрипку из книги. Как бы то ни было, но она предпочитает перевести тему для разговора.

— Представляешь, что мне сегодня их заведующая сказала? — говорит она вдруг отцу.

— Что?

— То, что я, видите ли, за детский сад ещё за ноябрь не заплатила, сама квитанцию потеряла нашу, а я не заплатила.

— А корешка от квитанции, конечно же, нет?

— Да, нет! Зачем спрашиваешь, ты же уверен, что я его потеряла, — раздражается мама.

— Спокойной ночи, сынок, — обращается она ко мне, целует быстро в щёку и уходит из комнаты. Тон у неё, будто бы она и на меня обиделась.

— Спокойной ночи, сын, — говорит мне и отец, целует в щёку и следует за мамой.

— Свет! — кричу я.

Отец возвращается и выключает свет.

Я наблюдаю, как предметы постепенно находят свои очертания в темноте. Появляются окно, шторы, стены и тумбочка. Я включаю лампу, смотрю на шифоньер, вспоминаю, что наверху есть книжки с картинками. Я встаю на стул, но роста не хватает, чтобы увидеть, что там, а рука нащупывает лишь какую-то картонную коробку. Я открываю её, там лежит серебристый игрушечный револьвер.

— Ух, ты, — вырывается из меня чувство восторга, — Подарок на Новый год!

Не могу налюбоваться на него.

Здесь же, в коробке, лежат пистоны. Я беру револьвер в руки и нажимаю пальцем на курок. Раздаётся тихий щелчок.

— Эх, жаль, что только, в холостую можно, — думаю я. — Запах серы пойдёт по всей комнате, и тогда родители сразу догадаются о моей находке.

За дверью доносятся, шаги. Я быстро укладываю пистолет и возвращаю коробку на своё прежнее место. Рука ударяется о какую-то книгу, я достаю её, спрыгиваю со стула и залезаю в кровать.

Тёмно-коричневая обложка скрывает за собой огромное количество картинок. Я облегчено вздыхаю и начинаю листать переплёт.

Я вижу серый размытый фон, а на нём грязно-жёлтые, розовые, бледно-зелёные, голубые круги разных размеров, и один совсем большой круг по центру рисунка, только он не грязный, не бледный

и не размытый, он яркий, чёрный, плоский, но в тоже время глубокий, идеальный, как прозрачный шар, внутри которого лежит плоскость, а на ней леса, поля и горы. Где-то там же бегают и животные, ходят люди, хотя их и нет на рисунке.

А вот иллюстрации и самими животными.

Два тюленя греются на солнышке после вкусного обеда. Один из них спит на плече у другого. На земле разбросаны останки рыб, клешни крабов, ракушки. На льдине алая лужа крови, белые медведи и тюлень с разможжённой об лёд головой. Лютый мороз.

Три косули пристроились к деревенскому стожку в поле. Ноги у них худющие-худющие, непонятно, как они вообще умудряются устоять. В поле гуляет ветер, вот-вот подхватит умирающего от голода косуль и умчит к себе в оранжевое небо. Там слоны на худющих ногах на холсте Сальвадора Дали.

На холсте Юпитера бабочки, радуга, Меркурий и Добродетель — Святая Вероника с изображением Иисуса, вышитом на платке рукой Эль Греко. В книге много портретов.

На одном нарисован воин из прошлого. На нём надет восточный халат поверх кольчуги. Одну саблю он держит в руке, другую за пазухой. На голове размоталась чалма, так что один край её повис на плече, из-под неё выглядывают чёрные волосы, которых очень много и на самом лице, борода у него густая и длинная, глаза и улыбка, как близнецы-братья, похожи друг на друга, они что-то скрывают и оттого так рады, наверное.

На другом портрете — воин из нашего времени. Это советский солдат с медалью на гимнастёрке. Он сидит в купе поезда. Одна его рука сжата в кулак, больше похожей на камень, а не на человеческую плоть, стрижка короткая, есть и усы. Улыбки вот нет и глаз.

Оба портрета идут под названием «Афганец». — Ух, ты, — вздрагиваю я, открыв следующую страницу.

Настоящий бой, «Оборона Одессы», огонь вырывается из башенных орудий корабля.

— А вы, что же, не воюете? — мысленно обращаюсь я к двум матросам, тянущим канат, на следующей картинке, — и лица, главное, такие довольные, сразу видно, работа у вас ладится.

— Да, чего тут только нет, — думаю я, всё быстрее и быстрее перелистывая страницы.

Вот женщины Дакоты, играющие в мяч, пряхи, ткающие роскошные наряды для герцогинь, русалки на болоте, крестьянки на Волге, рабыни в гареме.

Христос в окружении толпы, учитель в окружении учеников, урок анатомии, на столе лежит мёртвое тело, преподаватель водит указкой вдоль кости, торчащей из разрезанной руки.

На следующем рисунке — скелеты, поливают из леек сады смерти.

«Весна 1954».

— Не так-то давно это было, — думаю я, вспоминая про календарь.

А на картине — деревенская баня, ведро с водой, таз, голая розовощёкая баба, её дочь, укутанная в шаль, лавка, калоши, пар, снег.

Сталин в Первой Конной Армии, Святой Иероним между двумя повешенными, Наполеон на острове Святой Елены, Пётр Первый на смертном ложе, Иван Грозный у гроба убитого им сына.

Священник, свеча, лист бумаги, Достоевский, жена художника Сальвадора Роса.

«Красивая женщина»,—думаю я, вспоминая о Таисии Ивановне. «А что если бы она была моя мама,—приходит ко мне мысль,—а я был бы ещё совсем маленьким, в том возрасте, когда детей ещё только возят в колясках. Вот здорово бы было. Она брала бы меня везде с собой, и я бы никогда не становился взрослым. Мы ходили бы с ней в баню, она бы мыла меня в большом тазу из нержавеющей стали, а потом укутывала в махровое полотенце».

Я вспоминаю сейчас, как же прекрасно выглядела та машина, которую мои родители обещали мне подарить на день рождения.

Такой дизайн не часто встретишь даже среди настоящих, взрослых автомобилей, ездящих по улицам нашего города—современный кузов красного цвета, прямоугольные фары, кожаное сиденье, серебристый руль.

Мы заходим с родителями в отдел игрушек магазина цум, чтобы осуществить покупку, но той машины там уже нет, а на её месте стоит другая, зелёная, старинной овальной формы—фары круглые, кресло деревянное, а руль вообще пластмассовый. Как же мне тогда стало обидно, и я расплакался.

— Ну, что ты так расстраиваешься? Какая, в конце концов, разница?—говорит мне отец,—Ездит же, вот и педали есть, залезай внутрь, попробуй прокатиться.

— Не хочу,—отвечаю я сквозь слёзы.

— Ну, давай тогда, что-нибудь другое посмотрим, вон, сколько тут всего,—пытается подбодрить меня и мама.

— Ничего не хочу,—говорю я и реву пуще прежнего.

Родители подводят меня к прилавкам с товарами, тыкая пальцами в наборы с фломастерами, настольные игры, зоопарк с деревянными животными, в армию с оловянными солдатиками.

— Купить?—повторяют они снова и снова.

Я их даже не слушаю, не отвечаю.

О невозможности меня успокоить первым догадывается отец. Он подходит к кассе и покупает мне зоопарк с деревянными животными, и это как раз в тот момент, когда я в душе уже согласился, чтобы мне купили тот другой автомобиль, зелёный, с круглыми фарами.

Со мной случается истерика. Зачем мне этот зоопарк, когда у меня должен быть автомобиль. Я успокаиваюсь лишь, когда мама берёт меня к себе на ручки.

— Всё, устала,—произносит она немного погодя, и ставит меня на бетонный пол отдела стройматериалов.

— Ну, где здесь дрели?—спрашивает она у отца.

— Там.

Мы проходим вдоль рядов с обоями, красками, коврами. Около каждого вида товара стоят один

или два продавца. На них надеты клетчатые рубашки. Одна из девушек заполняет полку витрины тубиками с клеем, другая тут же подсовывает под них ценники. Они разговаривают между собой.

— Девушки, вы не подскажете, где здесь цемент продают,—спрашивает у продавщиц подошедшая к прилавку покупательница.

— Прямо!—отвечают ей, чуть ли не хором себе-седницы.

— Опять прямо. Полчаса уже по этому магазину хожу, цемент не могу купить, а все только и знают, что прямо и прямо,—ворчит женщина, махнув рукой на продавщиц.

Одна из них ещё какое-то время смотрят ей вслед, лениво разглаживая волосы, другая тербит рукою комсомольский значок, наколотый на грудь клетчатой рубашки.

— Эй, ты, что там застрял,—окликает меня отец,—смотри быстрее, какую мы дрель присмотрели.

Я подбегаю к родителям. Продавец достаёт из голубой коробки дрель, разматывает чёрный шнур и втыкает вилку в розетку.

— Работает,—произносит он,—сейчас гарантийный талон заполню, и можете забирать.

— Мы тогда пошли пока свёрла посмотрим,—говорит отец продавцу.

Я не двигаюсь с места. К прилавку подходит ещё один молодой человек в клетчатой рубашке.

— Мальчики, подскажите, где здесь цемент купить?—слышу я уже знакомый мне голос женщины, что я видел в предыдущем отсеке магазина.

— Прямо!—отвечают ей продавцы, и снова хором.

— И где вас только таких выращивают?—в очередной раз возмущённо реагирует женщина и уходит. — Мне бы тоже килограмм пять цемента не помешало,—говорит отец, вернувшись со свёрлами в руке.

— А там фасовки только по пятьдесят килограмм имеются,—вставляет один из продавцов.

— Так это машина нужна,—задумчиво произносит мама.

— Доставка есть, а если на своей забирать, то там в отделе специальные грузовые тележки имеются, на них товар можно довести прямо до парковки.

— Удобно придумано, но как-нибудь потом,—снова вступает отец.

— Конечно, потом, зачем нам пятьдесят килограмм цемента?—поддерживает его мама,—Ну, всё, мальчики, упаковали? Нам теперь куда, на кассу?

Продавцы в клетчатых рубашках одобрительно-одновременно качают головой.

Отстояв небольшую очередь, расплатившись за товар, мы наконец выходим с отдела стройматериалов и направляемся в сторону таблички «выход».

Передо мной происходит какое-то чудо.

Впереди идущие люди становятся на металлическую дорожку, и та несёт их вниз, ну прям как горка на детской площадке, только здесь даже скатываться не нужно, просто встаёшь и едешь.

— Папа, что это?

— Траволатор! Работает по тому же принципу, что и гусеница у танка,—объясняет мне отец, и в продолжение изображает на пальцах колёса и крутящуюся вокруг них металлическую ленту.

Я с заворожённым сердцем вступаю на движущуюся плоскость, такое чувство, что я ощущаю ногами трение шестерёнок, приводящих в движение этот чудо-механизм. Я оборачиваюсь на зад, чтобы посмотреть на всех, кто находятся сейчас на траволаторе.

Наверху появляется женщина, та, что всю дорогу искала цемент в магазине. Впереди себя она толкает тележку, гружённую мешками со смесью, видимо одну из тех, о которой вели речь продавцы. Проходит несколько секунд, и тележка достигает наклонной плоскости траволатора, её тянет вниз, ещё секунда — и она вырывается из рук покупательницы. Тележка сбивает меня с ног, я падаю.

Помню, мне как-то приснился сон.

В колодце капает вода и замирает.

Я смотрю на потолок.

Под ногами валяется развёрнутая газета. Этой газетой я хочу убить паука, но внезапная темнота мешает мне сделать это.

Я уже лежу под одеялом. Из-под него проникают горькие запахи грязных мужских ног, мочи и алкоголя.

В моей постели кто-то возится.

Мужчина обнимает женщину, целует её, рядом с ними лежит ещё совсем маленькая четырёхлетняя их дочь, без трусов, в юбке красного цвета.

Девочка тоже хочет прижаться к женщине, но та отталкивает её рукой, продолжая обниматься с мужчиной.

На полу сидит брат девочки, умственно отсталый ребёнок, его забавляет эта сцена, он смеётся.

После очередного толчка девочка сползает к ногам родителей.

— Ну, пошла, пошла, — шипит раздражённо мужчина и пинает её в бок, та падает на пол, опрокидывая посуду, разливая водку, рассол из-под помидор.

— Ух, свинья, — огрызается на девочку мать и ударяет её кулаком по лицу.

Девочка начинает плакать. Мальчик продолжает смеяться.

— Да заткнитесь вы оба, — проговаривают сквозь зубы родители.

Комнату затягивает дымом. Курят.

Я вижу силуэт женщины в окне она как будто бы появляется из голубого табачного облака

Я разглядываю её лицо — это моя воспитательница Таисия Ивановна. Она поочередно переносит ко мне в постель уснувших на полу детей. Воспитательница прижимает их к себе. На секунду они просыпаются.

— Мама, ты такая тёплая, — проговаривает девочка, прижимаясь своим личиком к плечу женщины.

— Фея, — говорит мальчик, укладывая свою голову на её ладонь.

На столе тикают часы и останавливаются.

Я смотрю на потолок.

Под ногами валяется развёрнутая газета.

По факту гибели 5-летнего малыша в магазине цум городской прокуратурой возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в ходе расследования уголовного дела установлено, что тележка, на которой провозились стройматериалы, не была предназначена для транспортировки грузов по траволаторам магазина, так как не оборудована системой блокировки колёс.

Дирекция торгового комплекса ЦУМ уже вручила начальнику отдела стройматериалов уведомление о недопустимости использования данного типа тележек для транспортировки грузов по траволаторам.

Персонал магазина был ознакомлен с такими мерами предосторожности, и в его обязанности входило предупреждать посетителей магазина об использовании лифта в данных ситуациях. Однако в магазине покупку можно совершить и без участия персонала, для этого достаточно нагрести нужный вам товар в подходящую для него тележку, расплатиться в кассе и проследовать к выходу. Именно так и поступила одна из посетительниц торгового центра, перевозив в грузовой тележке строительный материал общим весом 198 кг. Спускаясь по траволатору, она не удержала грузовую тележку, которая покагилась в низ и сбила пятилетнего мальчика, находившегося в магазине с родителями.

От полученных травм мальчик скончался в машине скорой медицинской помощи при транспортировке в Центральную Республиканскую Больницу.

По уголовному делу назначена судебная экспертиза, установлены и допрошены свидетели, проводятся следственные действия.

Напомним, что это уже не первый случай, когда из-за несогласованных действий взрослых погибает ребёнок.

14 декабря прошлого года 9-летний мальчик упал в открытый тепловой коллектор, заполненный кипятком. На следующий день мальчик, получивший 100%-ные ожоги тела, скончался в реанимации детской городской больницы. Сразу после трагедии жители города организовали группу с условным названием «Антилюк», которая взяла под общественный контроль ситуацию с незакрытыми уличными колодцами и действия властей по её разрешению.

Так, ими при поддержке жителей города стихийно было собрано около 2 тысяч подписей под обращением с требованием найти виновных гибели ребёнка и навести порядок с люками.

Среди достигнутых в диалоге общественников с властью договорённостей уже есть первые результаты. Городские чиновники пообещали усилить профилактическую работу по детскому травматизму. Для этого на уроках ОБЖ в школах проведут разъяснительную работу — как себя вести в чрезвычайных ситуациях, связанных с падением в люк.

Положительные результаты работы «Антилюка» видны сразу. Например, после обращения и писем буквально вчера был закрыт, хоть и железным листом, один люк. Больше десятка лет он зиял на тропе вблизи общежития по улице Ленина. Буквально в десяти метрах от забора детского сада.

Это—хоть маленькая, но победа. Инициативная группа не остановится, пока не поможет сделать наш город хоть немного безопасней. В первую очередь для детей.

Под статьёй помещена фотография, сделанная одним из участников группы «Антилюк»

На снимке изображён маленький мальчик, заглядывающий в незакрытый уличный колодец. Слева от мальчика сидит чёрный котёнок.

Один глаз у зверька закрыт, наверное, туда попал свет от вспышки фотоаппарата. Получилось так, словно котёнок подмигивает кому-то. В другом глазу я вижу своё отображение, со мной стоит мама.

Мы на катке, вокруг шумно и много народу.

Школьники играют в хоккей, тут же три девушки пробуют выполнять на коньках сложные пируэты, есть и те, что упражняются в скоростном беге. Диктор на стадионе зачитывает новгоднее поздравление:

«Ушёл в историю год 1986-й. Это был действительно исторический год. И для нашей страны,

и для всей нашей планеты. 1986-й войдёт ещё и как год больших надежд.

Ждём мира и счастья для каждого дома, для каждой семьи, для каждого труженика. Ждём интересных, полезных дел, удовлетворения от большой, нужной работы.

Мы верим в торжество наших идеалов, в светлое будущее, хотя и знаем, насколько трудны, насколько сложны стоящие перед нами задачи. Так пусть же год наступивший послужит их успешному решению.

Итак, с Новым годом, дорогие товарищи!»

На катке слышатся: «Ура!»

Люди подходят и походят.

Как же весело.

Какая-то женщина привозит на санках свою четырёхлетнюю дочурку, снимает с неё сапожки, надевает коньки и начинает учить малышку держаться на них.

Я бегу по льду, падаю, однако упрямо поднимаюсь и снова бегу, взмахиваю вверх ручонками, кричу:

— Мама! Смотри—ёлка!

ДиН стихи

Леонид Советников

В тишине теней

Я в детстве подолгу любил на юру
Нацеливать в небо сомнений стрелу,
О силе небесной взывая к орлу.
Взывал—и высокий ответил,
Что сила над нами подобна орлу,
Чей огненный клюв пробивает скалу,
А коготь пронзает Вселенной юлу
И времени солнечный ветер!

Мне в юности часто являлись во сне
Ушедшие—в тлеющем, мрачном огне.
Я в поле бежал, к одинокой сосне,
Молчал—и прямая скрипела,
Что сила под нами подобна сосне,
Чей ствол корабельный увяз в глубине,
А корень взрывает могилы на дне
Миров, погребённых умело.

Я жил одиноко. И старость пришла.
Мой тлеющий разум, как ночь, обняла
Осенняя ранняя тихая мгла—
И стал он воистину светел!
И эта холодная славная мгла
Мне жизнь осветила, как только могла,
И тихо спросил я: где ж раньше была?
Спросил, но никто не ответил.

Причалы крыш и улиц берега.
Течение духа медленно и глухо,
И в эту глушь, в её медвежье ухо,
Собора вдетая рыжая серьга.

Ловлю губами... рыбий голосок
Провинции—как слово провисает!
Вот наша жизнь: и губит, и спасает,
И дарит снег, что времени песок.

Столицы тень, но в тишине теней
Присутствует вещей перерастанье—
Так в снеге глубина, а не блистанье;
Так в лампе тусклость, что звезды видней.

Страницы Международного сообщества писательских союзов

Что творится на просторах вчерашнего СССР

Лучше всего на этот вопрос могут ответить сотрудники Международного сообщества писательских союзов, которое до самого недавнего времени возглавлял автор трёх гимнов нашей страны, поэт Сергей Михалков, а после смерти патриарха советской и российской литературы возглавил другой его коллега — известный поэт из Якутии Иван Перверзин. Именно МСПС, как кратко называют эту авторитетную организацию, являясь правопреемником бывшего Союза писателей СССР, курирует и опекает творцов прозы, поэзии, критики и других литературных жанров, корпящих над своими рукописями, от Москвы до самых окраин Российской Федерации, а также на территориях суверенных ныне национальных республик. А потому работники Сообщества с полным знанием дела могут сказать, что на просторах вчерашнего СССР творится высокое искусство российской словесности, ничуть не уступающее по своему художественному уровню тому, которое было сотворено их предшественниками в эпоху торжества социалистического реализма. Ну, может, нет пока ещё сегодня идей такого размаха, как в прозе Шолохова и Леонова или в стихах Маяковского и Твардовского, но это всё, хочется верить, впереди, ведь жизнь продолжается, наполняется всё новым и новым смыслом, а значит, скоро начнут рождаться и великие национальные идеи, которые наверняка найдут своё воплощение в гениальных стихах, романах, пьесах и других произведениях современных авторов.

Но и то, что уже сегодня творится нашими современниками в различных регионах России и бывших республиках Советского Союза, достойно внимания самого широкого читателя, и потому руководство МСПС было бы радо познакомить с результатами этого творчества поклонников литературы во всех уголках страны, а то и за её пределами. Думается, что хотя бы раз в год представлять писателей — членов МСПС — на страницах всероссийских, региональных и даже европейских журналов было бы крайне полезно не только для обретающих таким образом дополнительную аудиторию авторов, но и для читателей этих журналов, получающих яркое представление о том, как живёт одна из крупнейших творческих организаций РФ, объединяющая в своих рядах русских и национальных писателей. Сегодня — первая встреча представителей Международного сообщества писательских союзов с читателями Сибири, ставшая возможной благодаря отзывчивости редакции замечательного литературного журнала «День и ночь». Хочется искренне верить, что она — не последняя...

Владимир Бояринов

Гадюка

На сугреве сомлела гадюка,
В ядовитое впав забытьё.
В три погибели скручено туго
Подколенное тело её.
Всё положе восходит и выше
Расторопное солнце весны.
И дыханья змеиного тише
Над ползучей сплетаются сны.
А во снах — заливные левады,
Виноградье небесных садов
И в грехах искушённые гады
Под упругою плотью плодов.
Но зачем, накреняясь как птица,
Ясный всадник летит на неё?
И взметнулась в порыве десница,
И блеснуло в деснице копье!
Над седым ковылём просвистело.
Полыхнуло в глазах кумачом —
Это солнце с утра захотело
Позабавиться ярим лучом.
И затем потревожило гада,
Безмятежным уснувшего сном,
Чтоб с избытком не вызрело яда
У него на сугреве земном.

Ещё дымок над крышей вьётся
И переходит в облака —
А дом отцовский продаётся,
Как говорится, с молотка.
Ещё стоит цветок герани
На подоконнике моём,
Тропинка узкая до бани
Ещё не тронута бельём.
Ещё ночные бродят сказки,
И ветер стонет как живой,
И без утайки, без опаски
За печкой плачет домовой.
Трещат сосновые поленья,
Горчит смолёвый чад и тлен,
И все четыре поколенья
Глядят потерянно со стен.
И старики глядят, и дети
С поблекших снимков... И меня
Никто на целом белом свете
Не встретит больше у плетня.

Странник

- В недалёком, казалось, былом
Встретил странника я за селом.
С топором и пилою двуручной,
Со своею махрой неразлучной
Он едва ли не месяц подряд
Набивался ко мне на подряд.
Сговорились к весне наконец-то,
Показистее выбрали место,
И среди сосняка и рябин
Он не дом, а хоромы срубил.
Посидел, покурил на порожке,
Пошептал что-то на ухо кошке,
Кинул гузку куриную псу,
Поклонился и скрылся в лесу.
С той поры я не знаю покоя.
В этом доме творится такое!
Скрипнет в полночь простуженно дверь:
— Здесь дорога проходит на Тверь?
Кто остался в живых? Отзовитесь!
Мы спешим.
— А куда? — говорю.
Отвечает израненный витязь:
— На вечернюю держим зарю,
Порубежье обходим дозором —
Не грозит ли тевтонец разором.
Снова за полночь хлопает дверь:
— Здесь дорога проходит на Тверь?
Здесь мусью промышляет разором?
Третий месяц пожары тушу.
Это волчий язык мародёра
Примерзает к Большому ковшу.
— Что с Москвою? — спрошу у гусара
И закашляюсь в дыме густом.
— Мы на зарево держим пожара.
Остальное узнаешь потом.
Чуть не с петель срывается дверь:
— Здесь дорога проходит на Тверь? —
На танкиста бывалого глядя,
Я знакомый увижу кураж.
— Что ты смотришь так пристально, дядя?
— Ничего, поблазнилось, племяш.
Но не вы ли к местам порубежным
Накануне и позавчера
Поспешали, по комнатам смежным
Просвистав, как сквозные ветра:
«Ты завейся, труба золотая», —
И метель завивалась в кольцо?
— Это притча иль сказка пустая?
— Нет, до боли знакомо лицо:
И глаза голубые, и шрамик,
Еле видный над верхней губой...
Дверь скрипит. Появляется странник:
— Что, доволен, хозяин, избой? —
А глаза-то, глаза! С небесами,
Не иначе, в глубоком родстве.
Только шрам не видать под усами,
Как дорогу в траве-мураве.

Когда из поволоки
Пробрезжит на востоке
Рассветная межа,
Пускай тебе приснится
Осенняя зарница —
Заблудшая душа.
Впусти её без страха,
Она всего лишь птаха
Меж небом и землёй,
В своём скитанье давнем
Не ставшая ни камнем,
Ни мудрою змеёй.
За то, что эти годы
Делила все невзгоды
И горести твои,
Нарви ты ей морошки,
Корми её с ладошки,
Водой её пои...

Старый герб

Выводил за повесть
Вороного коня.
Красовался медведь
На гербе у меня.
На щите, на резьбе
Белокрылых ворот.
И моей худобе
Удивлялся народ:
«Ох, погубит семью!
Ох, лядащий какой!
Что меча — сулею
Не поднимет рукой!»
На щите, на гербе
Отражался сполох.
И дудел на трубе
Мне вослед скоморох:
«Что ты выдумал, князь?
Возвращайся назад!
С шатуном породнясь,
Ты погубишь посад...»
Рассмеялся в глаза
В чистом поле степняк:
«Это что за гроза?
Что за старый сушняк?
Что за дерзкий хвастун?
Что за голь-нищета?...»
Разъярился шатун
И сошёл со щита!
А в обиде медведь
Необуздан и люг...
Да не будут вдоветь
Ни княгиня, ни люд!

Кавказский пир-96

Эта водка, что «Русской» зовут,
Видно, самая горькая в мире.
Прокажи нас на танке, Махмуд,
У тебя в гараже их четыре.

Мясо белой овцы на столе
Аппетитною горкою тает.
Всё равно в полупьяном Кремле
Нас никто за людей не считает.

Правда по небу пишет крылом,
Белый день письменами усеян.
Только—чур, не стрелять за столом,
А не то и пожрать не успеем!

Много ты пострелял на веку,
Но и мы повидали немало.
Ты скажи своему кунаку,
Чтоб убрал свою руку с кинжала.

Мы летим на двуглавом орле.
Будто внове. Но это—не внове...
Прав писатель: «Россия во мгле».
А заря не бывает без крови.

Нет у людей ни гвоздей, ни муки.
Кто там играет на флейте?
Кто нас спасает от смертной тоски?
Вы ему больше налейте.

Вся чистота его солнечных глаз
Порождена соучастьем.
Пусть он, сердечный, напьётся хоть раз
До абсолютного счастья.

Как ему трудно во тьме и на дне
Нам отдавать эти звуки.
А ведь и сам на последнем ремне
Носит последние брюки.

Он понимает, что высшая есть
Воля над ним и над нами.
Бог ему даст и попить, и поесть,
И разживиться штанами.

Бог ему высветит к небу пути,
И, сокрушаясь при этом,
Бог ему, мальчику, скажет:—Прости
Ты этих пьяных поэтов.

Вечно они нашумят и наврут,
Как несмышлёные чада.
Но и они не напрасно живут,
А потому, что так надо.

Один лишь раз в судьбе непышной
Я небеса поцеловал.
Пусть с журавлём промашка вышла,
Зато журавлика поймал.
Он, свыкшись с долей неизбежной,
Живёт в кармане много лет.
Он маленький
и очень нежный,
Ни у кого такого нет.

Он подрасти уже не смеет.
Угрюмым небом позабыт,
Курлыкать вовсе не умеет,
Зато немного говорит...

Пуглив, как чиж, всегда взволнован,
Он—Маугли наоборот.
Он сам не знает, для чего он
На свете, собственно, живёт.

Безгрешна в мире многогрешном,
Кому душа его нужна?..
Я б объяснил ему, конечно,
Да сам не знаю ни хрена.

Не пустая угроза,
Просто очень грущу.
Кроме Деда Мороза,
Никого не пущу.

Я люблю его посох,
И волшебный мешок,
И искрящийся воздух,
Что слетает со щёк.

Хоть и хитрый он парень,
Да не вредный зато.
Как стеклянный боярин,
Он садится за стол.

Смутно в небе самарском
Проплывают в пурге
Ананасы в шампанском,
Шоколадки в фольге.

Дед, не будь саганюю,
На душе холодит.
Вся Россия со мною
На мешок твой глядит.

Не печаль её, парень,
Виду не подавай.
Улыбнись ей, боярин,
Наливай, наливай.

В могиле неизвестного поэта,
В которую мы ляжем без имён,
Мерцают рядом свечка и комета,
Сроднившиеся в громе похорон.
Мы не прошли в анналы и в журналы.
Живя в тени, мы не отвергли тень.
Мы ляжем здесь —
одни провинциалы
Из русских городов и деревень.
Смеясь, плутаем вдаль путей-дорожек
И крошим хлеб печали и страстей.
И, как ни странно,
этих малых крошек
Хватает на прокорм России всей...

Леонид Сафронов

Тяга

Виктору Астафьеву посвящается...

Как над сёлами космос засвищет,
Так согнувшись от тяжких вериг,
Что-то во поле бродит и ищет
Синим светом обросший старик.

Раз набрёл на лихую ватагу —
Не народ, а сплошной матерьял.
«Что ты ищешь?» «Небесную тягу
На земле, — говорит, — потерял».

Отвалили ему полковриги;
С голодухи и хлеб — колбаса:
«Ты бы сбросил, — гогочут, — вериги,
Легче станет попасть в небеса!»

Тут такая в них тягость поёрла,
Подхватить не успели кошли,
Всей оравой по самое горло
В ненасытную землю ушли.

И не могут сработать ни шагу
Из неё ни назад, ни вперёд,
Чуют носом небесную тягу,
Да земная за горло берёт.

Казаки

Мимо Дона тихого,
Мимо Дон-реки
Ехали угрюмые
С фронта казаки.

Грозный ветер с севера
С воем в спины дул,
На седле под буркою —
Мёртвый есаул.

Кровь лампасом выцвела
На виске седом...
Краснозвёздным выстрелом
Выбит белый Дон.

Женщина над человеческой бойней
С красным крестом на груди,
Перекрестись, если это спокойней,
Смилуйся, не уходи.
Очередь справа — фонтанчики пыли.
Жизнь дешевет в бою.
Выдумай так, чтоб меня не убили,
Спрячь меня в сумку свою.

— Я за тебя помолюсь и поплачу,
Ангел мой с пулей в крыле.
Я тебя спрячу,
конечно же, спрячу
И в небесах, и в земле.

Человек

В страхе землю озирая
У истоков древних рек,
Бродит изгнанный из рая
Самый первый человек.

Утучняя сладкой пищей
Плоть свою — земную персть,
Бродит он и способ ищет
Двери райские отверсть.

Но не думай, вор, о краже —
За святой рекой Евфрат
Херувим стоит на страже
У закрытых райских врат.

Он вращает по округе
Огнедышащим мечом.
От меча бежит в испуге
Человек, брэнча ключом.

И, споткнувшись, вязнет в дверце
Рыжих пойменных болот
И в тоске срывает сердце —
С древа жизни райский плод.

По другому берегу
Мимо Дон-реки
Ехали суровые
С фронта казаки.

Бился под копытами
Мировой пожар...
На руках товарищей
Мёртвый комиссар.

Пуля кровью вышила
На груди кумач...
По-над Доном слышится
Материнский плач.

Апокалипсис

Вылезал из житейской трясины
Змей не змей — земноводная слизь,
Это чудо завидев, осины
С перепугу, как бабы, тряслись.

Выползал на большую дорогу,
На ухабах свивался в кольцо,
Гнусно корча незримому Богу
Полуморду и полулицо.

Коль машина из тьмы наезжала,
То шофёр уходил в тормоза:
На него, свесив грозное жало,
Зверь нездешний тарачил глаза.

И на кончике медного рога
С треском лопался визг колеса,
Из-под ног уходила дорога,
И летела душа в небеса...

Мужики

Тары-бары-шаровары,
Продувные кушаки...
В городском-тверском пивбаре,
Как московские бояре,
Загуляли мужики.

Притаранили тарани
Целый ворох в сто пудов
И шумят, стирая грани,
Грани сёл и городов.

Спорят нервно, но степенно
О шелках да о бобах,
И кипит пивная пена
На прокуренных губах.

Для таких любая кружка,
Как не выкати — мала...
Вьётся пена, словно стружка,
Льётся пиво, как смола.

Раскраснелись, аки раки,
От заморского питья:
Кулаки крепки для драки,
Рожи гожи для битья.

А в сторонке горожане
Из столичных пиджаков
Смотрят, точно парижане,
На российских мужиков.

Мол, сцепитесь ради шутки,
Коли жизнь невесела,
На пятнадцатые сутки
Доберётесь до села...

... Тары-бары-шаровары,
Продувные кушаки...
В городском-тверском пивбаре,
Как московские бояре,
Пили пиво мужики.

Ночное светило небесным пупом
Сквозь тучи светило попихе с попом.
От луж бы до луж бы дорогой хромой
Скорей бы со службы добраться домой.

До милых поповен, до малых попят —
Они, час не ровен, всё ждут и не спят,
Чтоб матушка с тятей дошли поскорей,
Прогнали бы татей от полных ларей.

Вдруг видит попиха свеченье в степи —
От вражьего лиха, Господь, укрепи! —
То бродит гнедая заблудшая Русь,
На мир нагнетая великую грусть...

Шепнула попиха на ухо попу —
И вывели лихо они на тропу.
От луж бы до луж бы житейских морей
Обратно до службы дойти бы скорей!

От ямы до Яма сквозь Вечность бредут,
От срама до Храма Россию ведут.
Уснули поповны средь малых попят,
Попята нервно носами сопят.

Вдруг видят с полатей Таинственный Суд:
Что Матушка с тятей Россию спасут.

Шли попятя по опята

Шли попятя по опята
А за ними папа-поп,
А за папой, толстопятя,
Шла попиха: топ-топ-топ...

Самый маленький попёнок
Вдруг наткнулся на пенёк:
На пенёке стоял опёнок
Одноног и одинок.

Тут сцепились попятя
Меж собой из-за гриба,
У попа рука — лопата
Кучу-бучу загребла.

Подбежала тут попиха
И сказала: «Тихо! Тихо!
Что шумите на весь лес,
Смотрит Боженька с небес.

Драться грех из-за опёнка...»
«Да», — сказал тут папа-поп
И счастливого попёнка
Тем опёнком по лбу — хлоп!

Сразу стало тихо-тихо...
У попёнка крепок лоб...
По опята шли попиха,
Три попёнка, папа-поп.

Морщины на лбу

1.

Чем более жизнью побиты мужчины,
тем глубже им лбы исписали морщины.
Вот режет морщина мне лоб, глубока,
а чудится—это из песни строка.

Кто ж пишет морщины—судьба или время?
В них горечь и тайна,

в них мудрость и опыт.

Что нужно, чтоб лбов наших нотные станы
раскрыли в морщинах сокрытые песни—

язык стихотворца?

игла граммофона?

смычок дирижёра?..

2.

Морщина схожа с бороздой на поле.
Неясно лишь—что жизнь туда засеет?
Быть может, голос, что дрожит от боли,
быть может, слово, что созреет в клятву,
быть может, веру, что родит надежду
и вереницу светлых дней умножит...
Быть может... может...

3.

Живя свой век, не знает человек
то, что морщины—суть истоки рек:
и тех, что мчатся по камням, бурля,
и тех, какие жадно пьёт земля,
и тех, что поглощают океаны,
и что без виз пересекают страны,
и тех, что трескотливы, как сороки,
и тех, что позабыли жизни сроки,
и что проворны, как в семнадцать лет,
и что покорны, будто бы им нет
и дела до того, куда им течь,
уйти в леса или в долинах лечь,
гнать пред собой волну иль времена
через страну, где мир или война,
нести плоты, байдарки иль судьбу...
Где б ни текли они, исток—на лбу.

4.

Нет без причины ни одной морщины.
Они—след давней раны иль кручины.
Возможно, ещё с древней той поры,
когда оружием были топоры.
Возможно, это прадед наш далёкий
когда-то получил урок жестокий,
когда в него разбойник бросил камнем
или кинжалом в рукопашной схватке
полосонул, сражаясь, неприятель,
или медведь в лесу его сграбастал,
чтоб меж дерев с рогатиной не шастал...

А, может быть, то чьё-то слово злое
продрало лоб ему в четыре слоя...

.....

5.

...Вот и мой лоб прочерчен строчкой жизни.
Коль это песнь—то о моей Отчизне.
Коль борозда—то под посевы хлеба.
А коль река—то та, что льётся в небо.
А если рана—то не ножевая, а от любви,
что век не заживает...

Глядя на воду

(Из вереницы зарисовок)

1.

Смотрю на реку. А по глади вод—
древесный корень медленно плывёт...
Кого питал он, когда рос в земле?
Какие соки пил в глубинной мгле?

Плывёт, качаясь, словно мёртвый зверь,
как будто имя, что ничьё теперь:
тверди его хоть про себя, хоть вслух—
оно мертво, коль с ним расстался дух...

Смотрю на реку: то и впрямь—река?
Иль то плывут меж берегов—века?
Ужель вот так и наши имена,
как этот корень, унесёт волна?..

2.

Река течёт себе, не зная,
из-за чего окрестный лес
порой шумит, себя терзая,
словно в него вселился бес.

И лес стоит, не понимая
жизнь рек, что точат берега—
куда по ним к началу мая
уходят талые снега?

И сам я тоже, тоже, тоже
постичь не в силах ни-че-го.
Смотрю на мир—и сердце гложет
непониманье тайн его...

3.

Вода стоячая—зеркальна
и неподвижна с давних пор,
её частицы не сверкали,
свергаясь вниз с высоких гор.

В ней нет желанья мчаться к устью,
спеша безудержно вперёд.
И, наполняя душу грустью,
над ней—дух гнилости плывёт.

Она давно болотом стала,
в котором жизни гул затих,
словно душа, что перестала
страдать и плакать за других...

4.

Легла на землю мгла тенистая,
ни лист не дрогнет, ни трава.
Вода и воздух пьют неистово
коктейль ночного колдовства.

Вода влечёт к себе магически,
словно она—гипнотизёр,
и ты тревожишься панически,
но отвести не можешь взор.

Борясь со страхом, ты решаешься
и, дождь волос собрав в пучок,
идёшь к воде—и погружаешься
в блестящий Космоса зрачок.

5.

Там, где речка свои воды
от чужих скрывала глаз,
обезумев от свободы,
мылись девки в ранний час.

Без купальников, нагие,
веселились стайкой фей...
И на их тела тугие—
я глядел из-за ветвей.

Ни ресницы, ни деревья
не скрывали сладкий вид...

...Было, было, было время,
когда очи знали стыд!

Какая во всём ненадёжность! И бренность какая!
Рассыпались камни дорог, что носили Тукая.
Урал обмелел. И увязла в скоплении ила
та лодка, что прежде Тукая по водам носила.

С чего ж земной шар, что обязан вкруг Солнца кружиться,
под весом Тукая, как будто сухарь, стал крошиться?
Ведь в мире подлунном не может быть лёгких поэтов,
поскольку поэты—несут на себе тяжесть света.

На Волгу родную Тукай попытался вернуться,
надеясь, что камни Казани под ним не прогнутся.
Там поднял на плечи Вселенную, и—в то же время
земля расступилась под ним, не сдержав это время...

Но, бросить не в силах просторы, что так хороши,
осталась летать над землёй его птица души,
которая, к счастью, отныне сиротства не знает
и, встретив горячее сердце, гнездо в нём свивает.

Анатолий Аврутин

Всё ничейно... Поля?—Вот те на...
А по-русски выходит «поляна».
И высокое слово «страна»
На две трети читается «рана».

Сердце Родины. Ширь да подзол,
Хоть в подзоле всё чудится злое.
Это кто к нам с небес снизошёл?
«Снизу шёл»... Остальное—пустое...

Всё рыдали княжны в теремах,
Расшивали рубакам рубаху.
Ох, Владимир ты свет Мономах,
Что ж преемники дали-то маху?

Сколько взгляд ни мечи из-под век—
Лишь устанут набрякшие веки,
А тут всё не поймёшь—«человек»:
О челе или, может, о веке?

Так вот, мучась, уйдём навсегда
В мир, где больше ни боли, ни бреда,
Помня—русское слово «беда»
Всё ж две трети от слова «победа»...

Старик должен жить со старухой
(Иначе всем сказкам конец),—
Сварливою и тугоухой,
Твердящей, что он—не жилец.

Старик должен шаркать по скверу,
С газетой на лавке сидеть,
А если и выпить, то в меру,
Чтоб в рюмочке было на треть.

Старик должен к первому снегу
Взбодриться... Мол, дожил опять.
И в женщине видеть коллегу,
Анализы с ней обсуждать.

И, шаркнув ногой старомодно,
Старик должен к ручке припасть,
Когда с этой дамой дородной
Уже наболтается всласть.

Точнее, не к ручке, а к длани...
И прежде, чем грузно присесть,
Оттенок забытых желаний
В глазах благодарных прочесть.

Любимым лгу... Не лгу бумаге,
Не смог солгать календарю.
И воют в ужасе дворняги,
Когда я с Богом говорю.

И мчит со скрежетом по венам
Ржавеющий гемоглобин.
И в озарении мгновенном
Я со столетьем не един.

Я чаще там, где профиль Анны,
Где Блок, стремящийся на фронт,
Где мне рукой махнёт жеманно
Худой, взъерошенный Бальмонт.

Где император в чёрной раме—
И свет высокий по плечам...
Где от «Стихов Прекрасной Даме»
Курсистки плачут по ночам.

В кабаке зайти... Вдвоём не спеть ли
С цыганкой? И наверняка
Спасти Есенина от петли
И Гумилёва—от чк.

А там—Бог весть... И мне не внове
Стоять у бездны роковой,
Пока потоком чёрной крови
Не хлынет ужас мировой.

Да, мы такие... Нечего пенять.
Уходят божества, минуют сроки.
Но вновь: «Умом Россию не понять...»,
Но вновь: «Белеет парус одинокий...»

С какой бы скорбной думой на челе
Мы ни брели сквозь ужас и забвенье,
Опять: «Свеча горела на столе...»,
Опять: «Я помню чудное мгновенье...»

И сам, итожа в свой последний час
Короткий путь служения земного,
Прошепчешь, чуть дыша: «Я встретил Вас...»,
«Я встретил Вас...» И больше—ни полслова.

Хватаю газету, листаю программу:
Какое-то шоу, потом—мелодрама...

А мне бы другое средь хмурого века—
Мне что-нибудь вроде «Найти человека»...

Чтоб люди рыдали... Чтоб слёзы по лицам...
Чтоб мог бы и я, не стыдясь, прослезиться.

Да чтоб домочадцы не поняли—плачу
Я не потому, что смотрю передачу.

Мне просто иначе бы сил не хватило
Припомнить, как ты навсегда уходила...

Расхристан вечер... Сумрак виноват,
Что мысленно всё прожито стократ,
И на закат так быстро повернуло.
А месяц что? Двенадцатая часть...
Хотя бы не споткнуться, не упасть—
Пусть не с высот, с расшатанного стула.

Ещё когда бы чеховских мужчин,
Их душами пленясь не без причин,
Тургеневские женщины любили,
То был бы смысл иной у бытия,
Был светел духом, может быть, и я...
А так... И дух, и трепет позабыли.

А чёрен день ещё и потому,
Что сколько ни пытаюсь, не пойму—
За что тебе любовь и безголовье?
Ведь это же так просто!—рюмку хрясь!
Вторую, третью... И душою в грязь,
Туда ж—портки, обувку и волосья.

А так душа—один сплошной озноб...
Пытаюсь петь, как в юности, взалёб,
Когда шептали мы: «Любовь до гроба...»
Не ведали, заложники судьбы,—
Уйдёт любовь, останутся гробы...
Любовь уж больно нервная особа.

И всё... Не знаешь, нечёт или чёт...
И что-то, жизнью названо, течёт...
Цена? Давно забытая полушка.
И снова беспросветны вечера,
И снова щеки мокрые с утра,
Как будто ночью плакала подушка...

...И без того последняя черта
Отведена за новые пределы,
Где боль—не та, где бренность—суета,
Где Божий свет—подлесок поределый.

И можно не смотреть, а созерцать,
Как снова рок становится судьбиной,
Как Авель носит Каина печать,
Соединён с ним связью пуповинной.

Поленьев нет, но теплится очаг,
И ты, летучей бренностью подхвачен,
Прозрачность видишь в небе и в речах.
И сам летишь... И сам полупрозрачен...

Наш мир умрёт без жёлтого огня
сентябрьских рощ и — чёрных стай грачиных!..
Хочу, чтоб кто-то полюбил меня —
за просто так,

бездумно,
беспричинно.

Характер мой упрямый не кляня
и не ища во мне повадки царской,
хочу, чтоб кто-то полюбил меня,
как любят дети белый снег январский.

Стереотип придуманный гоня,
что собран был по фильмам и эстрадам,
хочу, чтоб кто-то полюбил меня
не потому, что нет прекрасней рядом.

Наш мир умрёт, коль смех изгонит прочь —
ведь смех, как солнце, темень проясняет.
Не удивляйтесь

тем, кто любит ночь,
своей любви никак не объясняя.

Была б я зверь — дала б себя убить.
Но как — ненужной — кануть в смерть-пучину?
Я так хочу кого-нибудь любить —
за просто так,
бездумно,
беспричинно...

Я знаю: пускай выше гор — небеса,
но горы их высям не станут завидовать.
Пусть солнце сплит им лучами глаза —
они своей боли слезами не выдадут.

Я знаю: пусть сыплют проклятья мне вслед —
земля подо мной не просядет болотом.
Железо руками не гни — проку нет,
лишь мышцы порвёшь и кроеешься потом.

Я знаю: орёл, погибая в бою,
не просит врага, что сильней, о пощаде.
Оставьте насильно без жала змею —
она не заплачет о яде.

Я знаю: пусть слабой меня назовут,
пусть свергнется ливень стеною,
пусть слава и почести мимо идут,
но дар стихотворный — со мною.

Я знаю: хоть тоннами воздух скупай,
душа им вовек не напьётся.
Хоть в землю на локоть слова закопай,
поэзия — снова пробьётся!

Взгляни в себя — и в сердце иль в крови
найди вакцину, что всю боль излечит.
Как ни влечёт меня предчувствие любви —
а страшно встречи.

Входя в трамвай, от страха чуть дышу —
а вдруг нас там прижмёт толпа друг к другу?
Сойду скорей, как будто я спешу...
Вновь — всё по кругу...

Моей не в силах изменить судьбы,
стал чёрт — святошей, а мой ангел — пьяню.
Бреду, устав от долгих дней борьбы,
меж сном и явью.

Не я ль мечтала в тишине ночей
о страсти той, что разрывает душу?
Не я ль стреляла искрами очей,
а ныне — трушу?

Я не могу понять: ты — похититель
тех чувств, что я растила, как дубы,
иль ты — мой царь и сладкий повелитель
моей судьбы?

Взгляни в меня — и в сердце иль в крови
найди вакцину, что всю боль излечит.
Как ни страшит предчувствие любви —
а жду я встречи...

Все нервы — в ключья! Я едва очнулась,
щенком побитым раны заливав.
И стало мне наукой прятать чувства
то слово, что никто мне не сказал.

Живу одна. Никто со мною песню
не запоёт, взглянув в мои глаза.
Так моё сердце напоило спесью
то слово, что никто мне не сказал.

Весь мир вокруг — лишь место для скитаний,
отечество — не больше, чем вокзал.
Навек меня лишило всех мечтаний
то слово, что никто мне не сказал.

Не битва мою силу подкосила,
не враг мою отвагу растерзал.
Костёр, во мне пылавший, погасило
то слово, что никто мне не сказал.

Оно мне в грудь вошло, как острые вилы,
и, в мир втолкнув, словно в огромный зал,
поэзией мне душу отравило —
то слово, что никто мне не сказал!..

Без пристанища

В потоках струй—пристанища не сыщешь,
народ бежит, спасаясь, от дождя.
И лишь слеза, из глаз моих сойдя,
примкнёт к тем каплям, что струятся свыше.

Средь острых скал—пристанища не сыщешь,
здесь лишь вершины гордые царят,
что серебром в лучах зари горят
да по ущельям—дикий ветер свищет.

Средь зноя дня пристанища не сыщешь,
и в родниках—пристанищ тоже нет.
Земля без нас лежала тыщи лет,
и не сказать, чтобы грустила слишком.

Вот стольный град. Войди в него, гоним
не покаяньем, а огнём ристалищ,
и гордый нрав свой, что бежит пристанищ,
как стяг победный, водрузи над ним!

Я не лавина, что летит по склону,
и не росток зелёный у тропы.
Я—пустота лишь, что подобна клону.
Я—ноль, никто. Я только часть толпы.

Нет, я не фреска, что хранит ЮНЕСКО,
над ней трясясь, как неусыпный страж.
Мечты—угасли, не оставив блеска,
прошли, растаяв, как в степи мираж.

Полжизни—пир. Вторая половина—
то труд, то бунт среди снега и дождя.
И дух мой—рухнул, как со скал лавина,
и всю судьбу перечеркнул, шутя...

Николай Переяслов

Секреты гоголевского слова

1. Загадка колеса

«Расшифровывать» прозу Гоголя, открывая хранящиеся в ней, точно в чичиковской шкатулке, потаённые смыслы, можно фактически всю жизнь, настолько метафоричны и многослойны заложенные в неё художественные образы. Так, например, один из весьма интересных результатов даёт нам проекция гоголевской поэмы «Мёртвые души» на древнеславянскую мифологию, ключ к расшифровке которой подброшен автором уже на самой первой странице его шедевра—в том, казалось бы, бессмысленном, на первый взгляд, разговоре о *колесе*, что ведут между собой у дверей кабака два русских мужика. Ведь *колесо*—это солярный знак *солнца*, древнерусское *коло*, то есть—*круг*, символизирующий *Коляду*—прекрасного младенца, захваченного злой Зимой и превращённого ею в волчонка. Только когда его шкура будет сожжена на огне, Коляда снова явит себя во всём блеске своей истинной красоты. Для приближения этого момента Солнце в мифе едет «в малёваному возочку на вороному конёчку» (у Гоголя вместо «возочка» — «довольно красивая рессорная небольшая бричка, в какой ездят холостяки»).

Ода зонту

«Если горы замёрзнут, то я ль буду в том виноват?»—говорил стылый дождь, заслоняя собой горизонт. Мы искали прибежища, в двери стучась наугад, позабыв дома зонт.

Дождь, как гвозди, вонзается в грунт—
чтобы цветы расцвели вместо лужи.
И, верша многотысячный бунт,
раскрывают зонты свои души.

Кто бы душу свою ни открыл,
распахнись ему нынче удача,
словно пара зонтов—пёстрых крыл?..
О, душа моя—родина плача!

Только пни от бывшего леса...
Только души терзает тоска...
Кто-то встал, перекрыв горизонт,
над собой держа зонт...
над собой держа зонт...

В тот момент, когда дождь отгудит
уходящей водой в водостоках,
снеговик глянет с болью в груди,
чтобы мы не столкнулись в потоках,
заплутав в направленьях и сроках.

Истомившись пристанища тьмой,
я шагнула под дождь многожилный.
...Впору плакать, как дождик, самой—
хоть бы кто-нибудь зонт предложил мне!..

Так что Павел Иванович Чичиков—доведи Гоголь свою поэму до конца и не сожги собственноручно второго тома—должен был, подобно мифическому Коляде, «явиться во всём блеске своей красоты», то есть предстать перед читателем в качестве преобразившегося *положительного* героя, о котором страстно мечтал Гоголь, для чего герою повествования от присущих ему грехов и пороков («сжечь шкуру волка») и обнажить в себе тот идеальный образ, который нет-нет, да и прорывался из-под личины прожжённого дельца и афериста в виде неожиданных для него, казалось бы, как с логической, так и психологической точек зрения *лирических* монологов (как, например, это случилось с ним над списком накопленных мёртвых душ, когда он в высшей степени поэтично и сочувственно начал воображать судьбы обозначенных на листке крестьян, за что потом сам же себя и корил: «Экой я дурак в самом деле! Пусть бы дело делал, а то ни с того ни с другого сначала загнул околёсину, а потом задумался!..»).

2. Живой среди мёртвых

Помню, как-то после очередного перечитывания «Мёртвых душ» меня долгое время не отпускала фигура ноздрёвского зятя Мижужева из четвёртой главы поэмы. Припоминаете?—«Ты уж, пожалуйста, меня-то отпусти»,—просится он у Ноздрёва, аргументируя своё стремление уехать тем, что «жена будет сердиться».

Эпизодический для поэмы, этот странный персонаж кажется выпадающим из череды тянущихся сквозь неё гротескно-уродливых лиц, как будто ему неуютно не только рядом с Ноздрёвым и Чичиковым, но и вообще с кем бы то ни было из гоголевских героев. Единственно, куда он всё время стремится, это — *домой, к жене*:

«Право, я должен ей рассказать о ярмарке. Нужно, брат, право, нужно доставить ей удовольствие. Нет, ты не держи меня!..»

Или же, чуть погодя:

«Нет, брат! Она такая добрая жена. Уж точно примерная такая, почтенная и верная. Услуги оказывает такие... У меня слёзы на глазах. Нет, ты не держи меня; как честный человек, поеду...»

По сути дела, в изображённом Гоголем мире мёртвых душ Мижуев представляет собой едва ли не единственную душу любящую, а потому и — живую, томлящуюся и задыхающуюся в обществе Ноздрёва, Чичикова и самой безжизненной атмосфере поэмы. В то время, как мысли большинства персонажей «Мёртвых душ» направлены исключительно на самих себя, единственно на их собственное «я», Мижуев постоянно думает о ней — о своей жене.

«Не ругай меня фетюком, — возражает он Ноздрёву, — я ей жизнью обязан. Такая, право, добрая, милая, такие ласки оказывает... до слёз разбирает. Спросит, что видел на ярмарке, — нужно всё рассказать. Такая, право, милая...»

Хотел того сам Гоголь или нет, но этой своей фразой: «Я ей жизнью обязан», — его Мижуев подчёркивает нам, что именно *любовь* как раз и способна противостоять тому омертвлению, которое поразило собой души практически всех персонажей его поэмы.

Хорошо, что он больше не встречается нам по ходу сюжета. Значит, доехал домой и сидит рядом со своей «милой и верной» женой. Так что порадуемся хотя бы за одну, спасённую любовью от омертвления душу...

3. Состязание с церберами

Ну, и ещё одно любопытное наблюдение, которое дают «рассыпанные» по всей гоголевской поэме собаки, символизирующие собой мифологических *псов-церберов*, охраняющих души мёртвых в подземном царстве. Оказывается, что наличие собак в сюжете напрямую связано с тем, как протекает у Чичикова та или иная сделка по купле умерших крестьян. Вот, скажем, у Манилова собак *нет вовсе* (т. е. — души *не охраняются*), и Чичиков получает желаемый товар *задаром*, не платя за него ни копейки. А вот у помещицы Коробочки его встречает уже самый настоящий собачий оркестр: «*Псы заливались всеми возможными голосами: один, забросивши вверх голову, выводил так протяжно и с таким старанием, как будто за это получал, Бог знает, какое жалованье; другой отхватывал наскоро, как пономарь; промеж них звенел, как почтовый звонок, неугомонный дискант, вероятно, молодого щенка, и всё это наконец повершал бас, может быть, старик, наделённый дюжею собачьей натурой, потому что хрипел, как хрипит*

невеческий контрабас, когда концерт в полном разливе: тенора поднимаются на цыпочки от сильного желанья вывести высокую ноту, и всё, что ни есть, порывается вверх, закидывая голову, а он один, засунувши небритый подбородок в галстук, присев и опустившись почти до земли, пропускает оттуда свою ноту, от которой трясутся и дребезжат стекла...» — и, по причине наличия такого большого количества «стражей Аида», стговор Павла Ивановича с «матушкой» продвигается *мучительно и туго*, так что у него едва хватает нервов завершить сделку.

Встретившийся в дорожном трактире Ноздрёв уже с первых минут знакомства тычет Чичикову в руки блохастого *щенка*, а затем, едва успев прибыть в своё имение, тащит Павла Ивановича прямо на *псарню*, где они увидели целое множество «*всяких собак, и густо-псовых, и чисто-псовых, всех возможных цветов и мастей: муругих, чёрных с подпалинами, полво-пегих, муруго-пегих, красно-пегих, черноухих, сероухих... Тут были все клички, все повелительные наклонения: стреляй, обругай, порхай, пожар, скосырь, черкай, допекай, припекай, северга, касатка, награда, поначительница*. <...> *Штук десять из них положили свои лапы Ноздреву на плечи. Обругай оказал такую же дружбу Чичикову и, поднявшись на задние ноги, лизнул его языком в самые губы, так что Чичиков тут же выплюнул...»*

В ответ на просьбу Чичикова продать ему мёртвых душ Ноздрёв предлагает тому купить у него за это *собак*, а мёртвых душ, мол, он отдаст ему за это просто так, *впридачу*. Но (и без того уже оскорбивший церберов своей брезгливостью к их поцелуям) Чичиков категорически отказывается от собак, и сделка едва не оканчивается для него плачевно.

Собакевич — сам носит *собачью* фамилию, и мёртвые души достаются здесь Чичикову отнюдь не за просто так.

У Плюшкина собак нет, но Собакевич говорит направляющемуся к нему Чичикову: «*Я вам даже не советую дороги знать к этой собаке!*» — и Чичикову, хоть и не так дорого, как у самого Собакевича, но всё-таки приходится заплатить Плюшкину за приобретаемых у него мёртвых крестьян. Ничего не поделаешь — церберы стерегут своё подземное царство строго, и просто так от них не уведёшь ни души...

Владимир Илляшевич

Из жизни отдыхающих прибалтов

Поначалу Вальтер совсем без восторга отнёсся к идее Лэело провести отпуск на черноморском побережье Крыма. Полуостров недавно стал частью Украины, а для Вальтера всё равно оставался неким кусочком огромного пространства под названием Россия. А Россия особой популярностью в официальной Эстонии совсем не пользуется. До сих пор. Хоть и прошло с перестроечных страстей десяток лет. Да и весь двадцатый век был непросто со всех точек зрения. Отца Вальтера в военном 44-м мобилизовали немцы. Попал в войска СС

потому как в вермахт инородцев не направляли, а определяли в национальные «эсэсовские» части. Провоевал-то он всего ничего, а пришли советские солдаты — и пришлось ему, несмотря на свои 18 лет, пару лет отрубить на советском же лесоповале. Зато нынче засчитали отца в ряд «репрессированных русскими оккупантами борцов за свободу Эстонии». Тесть же, напротив, воевал в красноармейском эстонском стрелковом корпусе и всех ветеранских льгот, как и официальных чествований по праздникам, был лишён в полном соответствии с законами и духом нового независимого времени.

Бурлило-то больше в прессе, чем на улицах, но в воздухе витали перемены немалые, и это не могло не сказаться на каждом эстонце, кому близки судьбы Отечества и личная. Оттого и остаются по сей день Вальтер и Лэело всякий раз каждый на стороне своего отца, хоть обоих стариков пару лет назад костлявая с косой прибрала. Иной раз Вальтер заканчивал кухонные споры об исторической справедливости в гневе. Особенно, когда светло-руся жена пыталась уязвить его: мол, я-то родом с острова Сааремаа, где почти все исконные эстонцы — православные, а православие первым охристианило всех наших предков. Мол, ты же, глянь на себя, чистокровный эстонец вильяндский: у самого шевелюра да борода чёрные как сажа, видать, какой-нибудь башкир салават-юлаевских¹ времён или заезжий цыган изрядную толику крови неевропейской добавил.

Вальтер сердился, горячился, выходил из себя и в отместку кричал Лэело: «А ты собирай манатки и вали в свою любимую Россию, коли она тебе так нравится!». Жена принимала нарочито гордый вид и удалялась в гостиную, придерживаясь любимого правила большинства представителей прекрасного пола, что «последнее слово — всё равно за мной», и при этом с ехидством бросала завершающую реплику вспылчивому мужу: — Я-то поеду, но с собой возьму самое дорогое, что у меня есть. Это — тебя, милый.

Как бы то ни было, но после долгих прений семейный совет в два голоса решил провести отпуск на крымских пляжах. Выехать впервые за десять последних лет «на восток». В конце-концов маленькому сыну Андресу тоже будет небесполезно увидеть «как живёт нынче Россия», рассудил Вальтер. Тем более что в путешествие собрались под завершение черноморского бархатного сезона, когда и жара спадает, и перестают снова толпы отдыхающих столь утомительные для степенных прибалтов.

Откуда же было знать, что именно здесь, в Феодосии, в местной картинной галерее, собрана столь огромная коллекция работ армяно-русского художника Гайвазяна-Айвазовского? Того самого, чьё великоплетное полотно работы 1844 года «Вид на Ревель с рейда» привелось им как-то, во времена присные, видеть в петербургском Музее флота. Вальтер, Лэело и мальчик бродили по тихим, безлюдным залам в некой созерцательной завроженности, будто птица Гамаюн усыпила

их страсти земные, убаюкала в свободном парении души, увела в неведомую прекрасную страну тиховой музыки и мудрости, и они, счастливо улыбаясь никому, а лишь естеству простых и благих ощущений, насыщались гармонией красок и чувств. Дикой необузданности штормы на полотнах сменялись величаво-спокойными пейзажами морского штиля и лунными видами уснувшего на ночь моря. Суэта осталась где-то далеко, будто брошенная за ненадобностью безделушка. Правы древние, когда говорят, что покой и тишина — величайшая гармония.

Мужчина то и дело бессознательно нащупывал серебрянный крестик на груди. Его подарила мать на совершеннолетие, и на обратной стороне было выбито: «Спаси и сохрани». Вальтер с ним никогда не расставался. Даже в парилку банную, полную кипяточной влаги, он шёл, не замечая обжигающий пыл от крестика, нагретого парным жаром. Островитянке Лэело солёные просторы без горизонта были знакомы с пелёнок и составляли ту часть представления о мироздании, без которой само сущее было просто невозможно. Обычно неугомонный и непоседливый Андрес, которому также шум морского прибоя был привычен с самых первых мгновений, как только сказал себе «я — есть!», тихо ступал по полу галереи, будто боялся нарушить умиротворённость, царящую в залах.

Мощь океана с картин гениального мариниста влекла неудержимой силой, порой будто хотела захлестнуть волной и унести из галереи в невозвратные дали. Зелень упругих волн выгалкивала в некое ощущение, что в своих недрах море хранит непознанное, быть может, опасное или, напротив, извечно ласковое. Именно зеленью волн вспоминалась картина «Девятый вал», некогда увиденная ими в залах Русского музея Санкт-Петербурга. Захотелось на море...

— ... Человеки мы али нет? — сказал бородач жене и сыну на выходе из галереи. — Мы наконец-то пойдём на пляж, а?

В этот день на феодосийском берегу почти никого не было. То ли прибалтийский климат с семидесятью солнечными днями в году закалил эту троицу и они посчитали погоду погожей, хоть на деле местные жители, по своим меркам субтропических баловней, ощущали непогоду, то ли просто так сложилось. Бывает, что в час пик нарываешься на полупустой автобус. Лэело шла, подбрасывая мелкий гравий носками босоножек, и смеялась про себя незатейливой забаве. Бородач Вальтер играл в «охоту», и белокрылый Андрес должен был стать добычей, но «охотник» по доброй воле, конечно же, останется ни с чем. Андрес почти верил ему. Отца без бороды он и не помнил. Он знал, что отец сильный и ему можно порой безнаказанно грубить. Но только порой.

1. Салават Юлаев — участник пугачёвского бунта в XVIII веке и близкий сподвижник Емельяна Пугачёва. Был сослан в эстляндский город Балтийский порт (ныне — Палдиски) вместе с рядом других бунтарей-башкир. Среди выходцев из южноэстонского уезда Вильяндимаа встречаются эстонцы с чёрными волосами.

И в меру. Потому, что он просто не заметит грубости и сочтёт это за признак возмужания. Этот мальчик сам готовился заматереть. Со временем. Его жизнь была ещё впереди.

Пустынный пляж шелестел звуком прибрежных волн.

— Папа, папа, поймай меня!— кричал в упоении Андрес, подпрыгивая на какой-то изъеденной ржой и с остатками зелёной покраски банке, почти занесённой гравием и крупным песком. Вальтер довольный весельем сына—ах, сорванец, весь в меня!— подошёл и остановился в двух шагах. — Стой на месте, Андрес, не прыгай!— негромко крикнул Вальтер.— Упадёшь, неровен час, ноги поломаешь.

Он вдруг опустился на четвереньки. Андрес лукаво улыбался в ожидании, принимая игру отца. Вальтер мгновенно придумал её:

— Акела стар, Маугли, он отдаёт тебе место своё на скале. Будь вождём стаи! Я отвезу тебя на собственной спине на гору!

Изображая волчий ход, насколько хватило артистизма, он двинулся к сыну.

Мальчишка спрыгнул с банки, уселся на спине отца, обняв за шею и смеясь. Вальтер медленно переставляя ладони и колени направился по тёплому шуршащему гравию к мелкому лесу прочь от прибоя. Лэело улыбалась залиvistому смеху сына и повторяя про себя: «Господи, ну какие же они баловники!».

Немудрёную вечернюю трапезу совершили в номере гостиницы. В богатом наборе наполненные сладости южного солнца фрукты, виноградный сок да лаваш, сдобренный ломтиками твёрдого, ноздреватого сыра, прихваченного по отъезду с привокзального таллинского рынка— вот и вся снесь.

Вальтер провёл рукой по волосам. Будто смахнул минувшее время как дневную городскую пыль, взял со спины стула тёмно-синее полотенце, набросил через голову на шею и скрылся за дверями ванной комнаты. Из зеркала на него смотрело лицо лёгкого загара. К его удивлению тонкой серебрястой змейкой проползла по почти чёрной шевелюре прядь седины. На тёмных волосах белая полоска бросалась в глаза. Короткая чёрная борода чётко различимым контрастом выделялась пятном на фоне синего полотенца. «Никак седею... Вот и сам цветом сине-чёрно-белым въяве окрасился под стать колору на нашем эстонском флаге»,— вдруг подумалось Вальтеру. Он с маху плеснул прохладной водой в лицо, смыв солнечную теплоту, натянул белую хлопчатобумажную рубашку с короткими рукавами и вернулся в комнату.

— Лэело, я схожу в город, прогуляюсь немного. Скоро буду,— сказал себе под ноги Вальтер, направившись к выходу. Когда через час вернулся, аккуратистка Лэело успела прибирать разбросанную одежду, расставить в определённом, привычном для дома порядке мелкие вещи и смахнуть в ладонь крошки со стола. В её руке наклонилась горлышком вниз бутылка тёмно-зелёного стекла.

В стоявший на столешнице гранёный стакан лилась, играя пузырьками, прозрачной, беспорядочно булькающей струйкой минеральная вода.

...Гулко громынуло где-то далеко за городом. Отзвук эхом заставил слегка вздрогнуть стены галереи Айвазовского, качнув красочные полотна. Морские волны, будто на мгновение въяве ожив, ударили в массивные позолоченные рамы картин, пытаясь покинуть живописную границу и устремиться на простор. Затухающим маятником заходила на стене гостиничного номера дешёвенькая иллюстрация с картины «Буря на Чёрном море».

Скользнул стакан с минеральной водой источника Даши-Тёпе из пальцев женщины, и он со звонким хрустом бескомпромиссно разбился о пол. Лэело вздрогнула. На миг вскипела шипящая минералка и стихла, как пена морской волны, утасующей на прибрежной пляжной полоске. Её широко раскрытые глаза застыли на одной точке в тихом горизонте, за которым вот-вот скроется ласковое вечернее солнце, предвещая солнечную погоду.

— Папа, папа! Это гром? Гроза будет?!— заверещал неутомонный Андрес.— Если завтра дождик станет лить, то пойдём опять картинку про море посмотреть?—

— Хорошо, сынок, обязательно пойдём.— помедлив, чуть неуверенно ответил Вальтер. Андрес, устроившись на стуле, болтал ногами, хрустел большой сочной грушей, покачивал в стороны головой, словно хотел продлить ритм колебаний уже криво застывшей настенной «Бури на Чёрном море», и пел песенку: *Ütle meri, mu meri, miks sa siia mind töid?..* Сааремааская бабушка часто её напевала. При этом она, по древнему островному наречию, сохранившемся до наших дней, вместо звука «ы», давно пришедшего в материковый эстонский язык из русского, приносила «э». Слово «тэйд»³ получалось как «тэйд».

На следующее утро местная газета сообщила сухой репортёрской строчкой, что, дескать, вчера некий отдыхающий обнаружил на берегу, прямо-таки на самом популярном пляже, старую, но ещё опасную противотанковую мину времён минувшей войны. Каким образом она здесь очутилась, никто не знал. То ли штормовым «девятым валом» выбросило зелёную банку на берег из развалившихся останков корабля, нашедшего последнее пристанище в морских недрах, то ли она пролежала засыпанная в глубине многие десятилетия и неутомимый черноморский прибой вымыл её из прибрежных впадин. Вызванные милицией на место происшествия по звонку бдительного туриста военные сапёры обезвредили грозную весточку из прошлого, отвезли за город и взорвали... Лэело читала вслух с монотонной размеренностью.

Вальтер, потупившись, сосредоточенно отхлёбывал купленный в ранние часы на здешнем рынке белоснежный кефир из синей с чёрным ободком кружки. Он изредка бросал косой взгляд на газету в руках жены, только-только принесённую им из базарного киоска. Перед глазами стояла

2. Скажи мне, о, море, зачем сюда привело... (эст.)

3. Tõid (эст.; на островах—tõid)—привело, принесло.

вчерашняя ржавая банка и вновь где-то в солнечном сплетении натянулась, мелко дрожа, невидимая струна. Снова, будто в засыпанное снегом ночное окно на никому не ведомой, давно заброшенной таёжной заимке кто-то по-человечьи постучал. То был страх не ведомый — от всего лишь предположения чего-то неизвестного... Это был страх осознанный. Страх не за себя, а когда грозит он близким твоим, бесконечно дорогим, страх реальный, страх потери. Там на пляже Вальтер мгновенно понял, что ржаво-зелёная банка с выщербленными полустёршимися чёрными буквами таит в себе опасность и источает этот почти вселенский страх, внезапный, на вытянувшийся в тягототные секунды миг всеохватный страх, уместившийся в одном-единственном человеческом сердце. Ах, как он понимал, что нельзя было мальчонку пугать. Захолонувшее сердце почти остановилось. Имена киплинговских Маугли и Акелы хрипло слетали с губ, а из нутра рвалось наружу безмолвно: «Не шевелись!», беззвучно клокотало: «Только не шевелись».

— ... На этой mine ещё буквы какие-то виднелись. Надпись какая-то, кажется, «Achtung!..» — машинально произнёс в никуда Вальтер, погуженный в размышления, и, спохватившись, словно от невзначай допущенной бестактности, досадливо замолчал.

Лэло отложила газету, мельком взглянула на мужа, с недоумением задержавшись на белой пряди, столь неожиданно появившейся в его волосах, и повернула голову к спящему на диване сыну. Андрес спал глубоко и мерно дыша, приоткрыв рот и время от времени причмокивая, как спят здоровые и счастливые дети, не ведающие взрослых страхов, забот, недомоганий и тягостных мыслей. Сосредоточенно сдвинула брови, потом широко распахнула глаза, как это бывает при озарении безотчётной тревоги догадкой, вдруг судорожно вздохнула, резко встала с кресла и с какой-то внезапной спешностью, опустив голову и не глядя на Вальтера, вышла из номера в коридор.

В этот начинающийся день южное осеннее солнце светило по-прежнему ласково и не было ни грозы, ни грома, ни урагана. Далеко на севере, в родных краях, уже вовсю осыпалась жёлто-красная листва и суровый холодный ветер выгибал стальные волны Балтики, будто натягивая тетиву огромного лука, готового к пуску стремительной, острой как игла стрелы.

В коридоре феодосийской гостиницы для отдыхающих на южном берегу Крыма беспомощно, прислонившись к шероховатой стене и уткнувши лицо в ладони, тихо плакала светло-русая женщина.

ДиН стихи

Константин Кравцов Дым Отечества

Неблизкие места

А. может, есть неблизкие места.
где, забредя на кладбище, не встречу
коготящих зелень звёзд пятиконечных,
но только крест воскресшего Христа.

Там испокон ко всенощным звонят,
со всех сторон старухи семят
и, может, сам той звонницы осколок,
я, разделяя участь буквы ять,
воскресну по молитвам богомолоч,
не чаявших Твой промысел понять.

Растворение в осени

Вот стоящий по плечи в крови,
сад становится почвой — той красной землёй,
из которой и взят он, скудельный сосуд, —
чаша, слепленная из листвы.
Распадается чаша — сохранно вино,
как в огне купина. Распадается свет
и становится почвой — священной землёй,
райской глиной сыновней Твоей.

Дым Отечества

Он сладок был не более, чем едок,
и если что оставит на последок,
то только холод, холод колокольный,
полуночное сборище с дрекольем,
с Иудой, что пришёл для поцелуя,
но запекает пламя аллилуйя
в сырых костях и в голосе пропащем,
и снова в жестяном больничном сквере
так голо, что гармонию обрящем
и я, и ты, любезный мой Сальери.



Вероника Шелленберг Вы — на П, а я — на М...

Про писателей

Позвольте переиначить поговорку — «Попытка — попытка!». Позвольте привести пример. Первая писательская попытка, проба пера Петра Петровича Покобатько потерпела полное поражение. Помучившись, пографоманив, Пётр Петрович писать перестал, предварительно подразделив писателей «по параграфам». Прелюбопытно получилось...

Правильный *постмодернист* пытается переплюнуть Пушкина, перекричать Пелевина, перечеркнуть прошлое, переиначить правила правописания, поймать противного Пегаса, подрезать пёрышки, проскакать, поднимая пыль перед писателем патриотом.

Постмодернист подросток, — пэтэушник, пуствобрёх, — патлат, прыщав, парадоксален, постоянно полупьян. Предпочитает «Портвейн». После первой — пошло пародирует попсу, почёсывается, просматривая «Плейбой». Пишет, пишет, пишет... Пользуется простодушием полногрудых первокурсниц, подаренным парфюмом, поддельным проездным.

Пинаясь предками. Полмесяца подрабатывает посудомойщиком, полгода — паразитирует.

Периодически привлекается.

Пишет, пишет, пишет...

Породистый постмодернист по-своему привлекателен: пальцы пианиста, пепельный пиджак, прилащенное пальто, полёт полупонятных полупфраз, питерская прописка. Презирает прозу, противоположный пол, провинцию, пунктуацию.

Пружинистой походкой пантеры прогуливается по проспекту, прохлаждается, потягивая пивко. Публикуется под псевдонимами.

Попадают поразительные пижоны, перехватившие пальму первенства поп-арта...

Постепенно по-любому приходит паранойя, парадигма, призрак Пушкина, полный привет.

Попсовый писатель — полная противоположность постмодернисту. По первоначальной профессии — программист. Политехничен, политкорректен, педантичен, предприимчив (попутно перепродает «Пентуимы»).

По пристрастиям — полиглот. По прозвищу — Поликарп.

Почему пользуется популярностью? Принцип прост: правильно понадерганный плагиат переписывает простыми предложениями, пересыпает пастельными подробностями, погонями,

перестрелками. Побольше перца! Пороха! Посвиста пуля! Прочтём: «Полночь. Пустырь. Полнолуние. Полицейский Пол Петерсон подстерегал прекрасную преступницу Пиранью. Поднял пистолет, прицелился, пальнул. «Попал!» — подумал Пол. Присмотрелся — промазал! Пока прицеливался повторно, Пиранья подтащила пулемёт...»

Пипл прётся!

Повестушки приносят приличную прибыль.

Пора покупать «Пежо»!

Писатель *патриот* (принципиальный партиец) перед перестройкой поднаторел писать производственные поэмы, пьесы про Политбюро, пламенные первомайские прокламации. Печатался. Получал престижные премии. По пятницам председательствовал. Появлялся при полном параде перед подрастающим поколением (подавал пример). Подтянув пузо, притворялся простым пахарем, плотником, печником.

Прикармливал посредственных писак, прищучивал первых постмодернистов.

Поджидал персональную пенсию. Предвкушал прижизненный памятник — присматривал пьедестал.

После перестроечного плюрализма пришлось приспособливаться — похудеть, продать приусадебный.

«Палачи, предатели, продажные политиканы, псы парламентские!» — плевался писатель патриот. Потом поутих, постарел, поседел.

Пока позволяет печень, пьёт «Пшеничную». Плачет, припоминая прошлый почёт — полный пятизвёздочный пансион, путёвки, Переделкино, преданную повариху Прасковью, пленумы, первый партийный поцелуй... Поёт пионерские песни. Пробует писать по-новому — правду. Поздно!

По привычке перечитывает Пришвина.

Писатель *пахарь (почвенник)* пашет по-настоящему. Проживает — посёлок Поганкино. Приземист, плечист. Правой поднимает пятипудовый плуг. Почти первобытен. Потомственный пловец по-собачьи. Приятно после потной пахоты переплывать, пуская пузыри, плесневеющий пруд, полный пиваков...

Пацаном пытался подковать Пегаса — папаша помешал. После пятидесяти потянуло писать — про поля, перелески, птиц печальных перелётных, пчёл пушистых полосатых, поганкинскую пшеницу, поросычьи пяточки...

Пишет пачками. Прочтёт, прослезится, потом — писаниной протапливает печь.

Пропагандирует правильное питание. Постится. Печёт пироги. По праздникам пьёт первач, пхитит папироскою.

Путает педиатрию, педикулёз, педикюр.

Просто поэт, пилигрим, перекасти-поле, при помощи поэзии познаёт пространство. Путешествует (про плацкарты, поезда, перроны, про попутчиков — потом)

Попадается поэт-пророк. Печатается преимущественно посмертно.

Продолжение следует...

Матрёнина мелодрама

Моросило. Молочное марево марало макушки можжевельника. Множилась мошкара. Мокли мшистые мостики, муравейники, мухоморы... мок мешковатый Матрёнин макинтош.

Матрёна маялась. Мерещился Матрёне мужчина мечты — мужественный, моложавый москвич-миллионер. Мнилась музыка Мендельсона, мишура, «Мерседес», мажордом, московский метраж, мраморный мезонин, модное меховое манто.

Мерзко, милые мои, мерзко, муторно, мрачно мантулить молодой Матрёне мастером мыловарни! Матрёне — местной мадонне, музе Мухоморинска, месить мокрое, мертвенно-бледное маслянистое мыло! Мало — мурьжили Мартену мужики — мордovorот Митрич, мазурик местного масштаба Мотя Меченый, майор милиции Мироедов.

Митрич — мохнатый мутноглазый матерщинник — мог молниеносно менять мировоззрение мухоморинцев монтировкой, молотком, могучей мышечной массой.

«Моя, моя!» — мычал Митрич, метеля мужиков. Мелькали малиновые морды. Майор Мироедов многозначительно молчал, массируя «Макарова». Мотя малодушничал. Матрёна молилась.

Малoverные мои меланхолики, малоподвижные марионетки мягких матрасов!

Минул мимозный март, май манит маньяков!

Май мерцает морковным Марсом, магнетизирует медью месяца!

Маскирует марихуану — ментолом, махорку — медовухой, мочу — мусором.

Май мятежно марширует мимо морга Мухоморинского, мимо московского Мавзолея, Манежа, Макдоналдсов, магазинов, музеев, метро. Май маневрирует мимо морщинистых матрон, мающих младенцев, митингующих монархистов.

Мотыльки мельтешат. Молодые — милуются. Между милующимися мелькает мятая майка Митрича.

Май!

Мясокомбинат, мельница, мыловарня — миф, мираж, мгновенье мимолётное!

Мерины, мыкающиеся между межами, — мокрицы, микробы, мураши...

Мир многообразен... Микрокосмос, макрокосмос... Моря... Материки... малоисследованные медвежьи местности... Можно — Малага, Монако, манговый Мадагаскар, Мексика... Миллионы мигрирующих Монархов, мчащиеся мустанги малопонятных мастей, муссоны межсезонья, манускрипты мая... Мечты, мечты! Максимальный маршрут мухоморинца — Мурманск, Минусинск, морозный Магадан...

Малява Моти Меченого махом метнула Митрича мозолить меридиан Магадана. Майору — медаль. Моте — Матрёну? Маловероятно! Меркли Матрёнины мечты. Между мухоморинскими мужиками маячил Матрёне монастырь.

Миновал миллениум.

Миллионера Мамонтова мучила мигрень. Мутили миллионера мидии, маслины, мартини, мускаты, мёрло, мандариновый мармелад.

«Москва... — морщился миллионер Мамонтов, — министры — мафия, метрдогтели — мародёры, мизинцы моржовые, «Мерседес» — металлический могильник, Мальвина моя — мошеница малолетняя, мурлычет, мурлычет, мусоля мобильник — «макияж, массаж, маникюр...»

Мышьяку мне, мышьяку! Медку, молочка... маслят маринованных!

Маргинал между миллионерами, Мамонтов мечтал... мерещилась Мамонтову Матрёна...

Может, мысли материальны?

Многоточие...



Николай Ерёмин Но пасаран!

208

Николай Ерёмин
Но пасаран

Как стать миллионером

— Давай напишем пьесу «Как стать миллионером?» — предложил прозаик Константин Невинный своему другу поэту Михаилу Злобину.

— Зачем? — спросил Михаил.

— Чтобы люди сходили в театр, посмотрели спектакль по нашей пьесе и воплотили наши идеи в жизнь, то есть стали миллионерами, богатыми и счастливыми людьми!

— Представляю, как все становятся богатыми и счастливыми. А кто же тогда будет бедным и несчастным?

— А никто! Просто-напросто не останется на земле ни одного несчастного человека.

— А ты слышал выражение — «Не в деньгах счастье»?

— Слышал, а в чём же тогда?

— Ну, в любви, скажем, в свободе, да мало ли в чём!

— Хорошо. Все персонажи нашей пьесы будут влюблены друг в друга и свободны! — сказал Константин.

— Чудак! Пора бы тебе уже догадаться, что любовь и свобода несовместимы, — возразил Михаил. — Я дважды был влюблён, и чем все эти любви кончались? Семейным рабством. Да, да, рабством! Ведь раб — от слова работать. Я работал днём и ночью, чтобы прокормить своих жён и детей. Хватит мне такой любви и свободы!

— А если бы ты был миллионером, — мягко возразил Константин, — всё было бы иначе.

— Что — иначе?

— Ты бы мог купить себе и жене, и детям всё, что хотел, для чего ты работал. Деньги гарантируют свободу.

— Ну, хорошо, а ты знаешь, что пьесы во все времена писались бедными драматургами по заказу богатых и власть имущих?

— Представляю, — усмехнулся Константин, — но это раньше было. Сейчас же нам пьесу никто не закажет. Мы можем рассчитывать только на свои силы.

Напишем, придём в театр — и её, никем не заказанную, поставят, как миленькие, потому что всем интересно будет узнать, как стать миллионером!

— Ну, Константин, ты даёшь! Оглянись по сторонам. Все театры пустуют. Людям уже не интересно, что происходит на сцене, жизнь сама стала интереснее любой пьесы! На каждом углу что-нибудь происходит — или демонстрация, или митинг протеста. В каждом доме, в семье или офисе — интриги, козни, любовь, измены, предательства, ложь, насилие, теракты, наконец... Зачем идти в театр, чтобы

узнать, как стать миллионером? В условиях инфляции миллионы очень быстро обесцениваются.

— Хорошо, назовём свою пьесу — «Как стать миллиардером?»

— У тебя есть секрет? — спросил Михаил.

— Есть! — ответил Константин. — Люди валом будут валить на наш спектакль, и мы первыми с тобой станем миллионерами. Как говорится, с миру по нитке — нищему на рубаху. Потом миллионерами станут директор театра, режиссёр и все актёры. А потом и все зрители.

— Ты меня не понял. Если у тебя есть какой-то секрет, делись со мной, зачем писать пьесу и делиться со всеми? Двух миллиардеров на наш прекрасный сибирский город Абаканск будет вполне достаточно.

Вспомни, был ли великий драматург Шекспир миллионером? К твоему сведению, все его пьесы, написанные по заказу, не выдерживали и пяти представлений. И ему приходилось писать всё новые и новые пьесы, чтобы хоть как-то сводить концы с концами.

— Это ты меня не понял.

Не хочешь, значит, писать со мною пьесу, рисковать без заказа, тратить силы и вдохновение? А ведь без труда не выловишь и рыбку из пруда, — сказал Константин Невинный. — Что ж, придётся одному сесть за стол и стать современным Шекспиром.

Если хотя бы каждый второй житель или гость нашего миллионного города сходит в театр и посмотрит мою пьесу, заплатив за билет тысячу рублей, представляешь, сколько я заработаю?

А ты сиди, или нет, лучше лежи на диване, свободный и ни в кого не влюблённый, отдыхай! Но помни, что под лежащий камень вода не течёт.

Подумай, ещё три дня я буду ждать твоего согласия. А потом поздно будет.

Но поздно не стало. Через три дня произошёл дефолт. Деньги обесценились в 1000 раз, и все вокруг мгновенно стали миллионерами.

Мечты о Китае

С детства я мечтал побывать в Китае.

Наша семья жила тогда в Благовещенске, и по вечерам смотрел я, как заворожённый, с русского берега Амура на китайский, на таинственных рыбаков в лодках-джонках, на далёкие сказочные домики с выгнутыми крышами. Казалось, на эти крыши падали с неба и скатывались, как с трамплина, злые и добрые духи...

Мечты мои обострились, когда мы с Дальнего Востока переехали в прекрасный сибирский город Абаканск. Я плакал неподдельными горячими слезами, потому что расстояние между мною и Китаем увеличилось в несколько раз.

Ах, как легко во сне я забирался на Великую китайскую стену и шёл, шёл по ней всё выше и выше, пока не просыпался.

А днём писал стихи в китайском духе.

Пока не стал взрослым.

В Абаканске у меня появилось много друзей — художников и поэтов.

Художникам Абаканска было хорошо. Для них в Китае построили Дом творчества, и каждый год они ездили туда. Затем в Харбине, Шанхае, Пекине им устраивали выставки, издавали альбомы, которые я рассматривал с восторгом и завистью.

Поэтам было хуже, у них не было ничего подобного.

Поэтому я проводил много времени в мастерских художников, побывавших в Китае, рассматривал картины, изображавшие драконов, фотографии дивных рек и гор, изображения счастливых, улыбающихся людей.

Мне тоже хотелось в Дом творчества! Мне хотелось научиться рисовать акварельными красками, хотелось путешествовать по китайской земле и писать об этом.

И мои мечты готовы были вот-вот воплотиться. Все были — за, и художники, и их председатель творческого союза, и дирекция китайского Дома творчества. Потому что это был год, объявленный годом Русско-Китайской дружбы.

Было достигнуто, так сказать, предварительное соглашение, по которому меня обещали включить в очередной список приглашённых и известить через мэрию Абаканска.

Я истомился от ожидания.

Заметив это, моя жена сказала:

— Что-то долго тянется процесс! Позвони, узнай, в чём дело, под лежащий камень вода не течёт.

Я позвонил, и секретарша сказала, что меня искали, но не нашли, поэтому вместо меня с группой полетел спичрайтер мэра. И понял я, что стал жертвой неведомой мне интриги, что не видать мне Китая, как своих собственных ушей, не взойти наяву на Великую Китайскую стену, не привезти в качестве сувенира терракотовую копию древнего китайского воина на коне и не написать книгу о своём путешествии.

Через месяц группа вернулась. На пресс-конференции радостные художники показывали новые картины, шутили, как трудно им было привыкать к рисовой водке и изобилию животных и растительных закусок, дарили альбомы и открытки...

Один только спичрайтер был невесел. Он рассказал, как во время купания в каком-то водоёме его покусали рыбки пираньи, как было больно и как не заживают на ногах места укусов.

Прошло какое-то время, и я прочитал в газете, что он скончался после тяжёлой непродолжительной болезни. Царствие ему Небесное.

И перестал я мечтать о сказочном Китае. И ничего с этим не поделаешь.

Аминь.

Многая лета

— Юбилей — это репетиция поминок! — сказал председатель Абаканского отделения Союза российских писателей Альберт Иванович Шалимов, открывая свой юбилейный вечер.

С тихим ужасом готовился он к приближающемуся 65-летию.

По ночам его мучили кошмары.

А накануне приснилось, что он заснул летаргическим сном и его — живём! — положили в гроб, чтобы похоронить, и на гражданской панихиде вынужден был слушать, не в силах пошевелиться, какой он был хороший человек и замечательный, даже выдающийся, писатель...

И вдруг сел в гробу, и все, певшие только что ему хвалу, возмутились: ах, ты не умер, ты живой и нас разыграл, такой-сякой, ничего себе шуточки, и стали, негодуя, расходиться...

И когда он остался один, приблизился к нему председатель Комитета по делам культуры областной администрации и потребовал возместить все похоронные расходы...

Проснулся в холодном поту, походил, точно разбуженный медведь в клетке, по однокомнатной квартире, доставшейся ему после развода и раздела имущества с женой. Чтобы успокоиться, вышел на балкон, подышал свежим октябрьским воздухом, прошёл на кухню, заварил свежий чай, отрезал дольку лимона.

И тут раздался телефонный звонок.

— Вы меня не знаете! — кричал далёкий абонент. — Мне 75 лет. Я звоню из Израиля. Я пишу рассказы, повести и романы, только что издал книгу за свой счёт и прошу у вас рекомендацию, чтобы вступить в Союз писателей прекрасного нашего сибирского города Абаканска, откуда я эмигрировал десять лет назад

— В какой Союз? Их у нас теперь два: Союз российских писателей и Союз писателей России.

— А можно сразу в оба?

— Можно, можно! — рассмеялся Альберт Иванович и положил трубку.

Прикалывается кто-то, подумал он. Как можно жить в Израиле и быть членом Союза писателей в Абаканске? Бред какой-то. А впрочем, почему бы и нет? Вот только зачем? Мечтатель! Ему 75 лет, а он вместо того, чтобы задуматься о вечности и бесконечности, нервотрёпку с приёмом себе планирует. Мне, что ли, вступить в Союз еврейских писателей в Израиле? Только вопрос — доживу ли я, как он, до семидесяти пяти? Десять лет всё-таки. Всякое может случиться. Дотяну ли? Что-то сердечко у писателя Шалимова пошаливать стало, скаламбурил он. Артериальное давление скачет то вверх, то вниз. Сердце грозит инфарктом, соуды — инсультом, вот и выбирай.

Как это там, в песне, поётся? — если смерти, то мгновенной!

Кому охота — лежать после инсульта и догнывать заживо, и чтобы кто-нибудь из близких по долгу

родства вежливо так, а на самом деле с внутренней ненавистью и отвращением выносил из-под меня горшки да протирал пролежни камфарным маслом?

Б-р-р-р-р-р... Нет, яду, яду надо купить, чтобы в случае чего — ррраз — проглотил — и «Инсульт-привет!»

Поскольку Союз писателей был на евроремонте, 65-летний юбилей почётного жителя прекрасного сибирского города Абаканска А. И. Шалимова отмечали по соседству, в Союзе композиторов, где евроремонт был уже завершён.

Писатели и поэты — все, как один, хвалили своего начальника.

Представитель областной администрации прикрепит к груди виновника торжества Золотой знак, герб Абаканска — медведя, стоящего на задних лапах и держащего в передних широкую лопату.

А представитель городской администрации вручил грамоту и авторучку «Паркер» с золотым пером.

— Вы — золотое перо нашего города! — воскликнул представитель, и все дружно захлопали.

Потом юбиляра задарили розами и гвоздиками.

Всё, как в том сне, подумал он и в своём заключительном слове с горькой улыбкой на губах повторил:

— Юбилей — это репетиция поминок! Да-да, дорогие друзья, как бы вы меня ни хвалили, это действительно так. Поэтому предлагаю всем вам плавно перейти в банкетный зал, где уже накрыт подобающий случаю стол.

Праздничный стол был накрыт скромно, но со вкусом. Шампанское, коньяк, водка, апельсиновый сок, минеральная вода. Буженина, сервелат, сыр, омуль, стерлядь. Лимон, виноград. Торт «Полёт».

Все быстро напились и долго не хотели расходиться. Закончился банкет глубокой ночью.

И когда наконец утомлённый юбиляр приехал на такси домой, на пятый этаж своей однокомнатной квартиры, доставшейся ему после развода и раздела имущества с женой, расставил цветы по вазам, банкам и заснул в кровати, не раздеваясь, снилось ему до самого утра прерываемое кратковременными кошмарами продолжение банкета, в конце которого взял слово председатель Союза композиторов и сказал:

— Как хозяин этого гостеприимного дома я рад выпить, Альберт Иванович, за вас, рад, потому что у вас есть всё — и здоровье, и слава, и благополучие. А чтобы нам с вами, ровесниками по существу, было интереснее жить ближайшие десять лет, вызываю вас, как раньше говорили, на социалистическое соревнование. Я поступаю и заочно оканчиваю Литературный институт и за десять лет сочиняю десять романов.

Вы поступаете в консерваторию и сочиняете десять симфоний.

После чего вы принимаете меня в Союз писателей, а я вас — в Союз композиторов. Идёт?

— Идёт! — воскликнул юбиляр.

— Идёт! — подхватили захмелевшие собутельники.

— И вообще, Альберт! Я хочу сказать тебе, что я тебя давно люблю — и как писателя, и как человека!

— За что? Почему? — вяло поинтересовался председатель Союза писателей.

— Любят не за что, а вопреки! — воскликнул председатель Союза композиторов. — Просто люблю! За то, что ты красивый. И хочу написать про тебя оперу!

— Кому, кому?

— Да не — кому, а — что! Оперу о твоей замечательной жизни. Это будет шедевр. А потом мы вместе улетим в Израиль и поставим её на оперной сцене Тель-Авива! Кто за то, чтобы так всё и было? Прошу поднять рюмки и бокалы!

И все присутствующие выпили раз, ещё раз и ещё много-много раз, а потом запели, сначала по-английски:

— Хэппи бёсдей ту ю!

Хэппи бёсдей ту ю!

Хэппи бёсдей, хэппи бёсдей,

Хэппи бёсдей ту ю!

А потом и по-русски:

— Многая лета!

Многая лета!

Мно-о-га-я

ле-э-та-а-а-а-а...

Но пасаран!

— Можно ли написать отрицательную рецензию на гениальные стихи? — спросила Вера Павловна у Степана Петровича.

— Не можно, а нужно! — воскликнул Степан Петрович. — Не век же вам оставаться зав редакционно-издательским отделом, пора и кафедру филологии возглавить. Зав кафедрой! Звучит? Конечно, если меня выберут ректором.

— Намёк поняла. Напишу отрицательную, — вздохнула Вера Павловна.

— И не забудьте в заключении отметить, что никакие гениальные стихи нашим студентам не нужны, и даже вредны, поскольку расшатывают стереотипы, отвергают традиционные моральные нормы и разрушают стройную систему этических и эстетических ценностей, сложившуюся за 70 лет существования нашего вуза.

Вера Павловна приняла из рук Степана Петровича диск и распечатку антологии «Гениальные стихи. 100 русских поэтов, от Державина до Коржавина» и покинула кабинет проректора.

Всю жизнь поэт, лауреат Пушкинской премии, Михаил Злобин составлял эту антологию, и не по социальному заказу, как было принято во времена социалистического реализма, а по велению души, и когда составил, обнаружил, что поэтов ровно 100, ни больше ни меньше.

«Перст судьбы!» — подумал Михаил и направился в пединститут, который недавно был переименован в педуниверситет имени Мамина-Сибиряка и готовился к 70-летию юбилею.

С нынешним ректором Олегом Сидоровым они когда-то учились на одном курсе. В вестибюле как раз напротив входа красовался огромный стенд «Выберем на новый срок!» Стенд отражал весь

жизненный путь ректора О. В. Сидорова, от простого школьника до профессора, почётного члена многих отечественных и зарубежных академий.

Олег Викторович только что вернулся из Испании, где договаривался о дружественном обмене студентами.

Переговоры прошли успешно. Десять студентов из Абаканска будут учиться в прекрасной Барселоне, а десять студентов из Барселоны будут учиться в прекрасном сибирском городе Абаканске.

Настроение у него было прекрасное, и ректор с радостью ухватился за идею издать антологию.

Он угостил Михаила кофе с коньяком, вспомнил молодость, жизнь в студенческой общаге: «Прекрасное было время!». А потом вызвал проректора и сказал:

— Степан Петрович, заключите с Михаилом Иосифовичем договор, составьте калькуляцию, возьмите счёт в типографии, да о вознаграждении составителю не забудьте! Нашим студентам нужны гениальные стихи. Кто как не мы должны будоражить их мысли и чувства, расшатывать консервативные стереотипы, вспоминать славные классические традиции и на их основе создавать новые этические и эстетические ценности. И приурочьте, пожалуйста, выход «Гениальных стихов» к юбилейной дате. Издание должно стать подарком не только студентам, но и преподавателям!

— Будет сделано, Олег Викторович, в лучшем виде! Мелованная бумага, твёрдый переплёт. Средства есть, художника пригласим, оформим так, чтобы самому губернатору не стыдно было вручить!

Каково же было удивление Михаила, когда через две недели получил он заказное письмо из ректората, а в нём — отрицательная рецензия с редакционным заключением:

«Таким образом, в настоящее время гениальные стихи студентам не нужны, поскольку не предусмотрены учебным планом и будут отвлекать внимание от основного учебного процесса»

В расстроенных чувствах вновь пришёл Михаил Злобин к Олегу Сидорову. Ни кофе, ни коньяка.

— Я уже в курсе, — сказал Олег Викторович, — и, как ты сам понимаешь, после такой рецензии лишён возможности подписать документы на издание антологии. Интриги, брат, интриги! Перевыборы, подготовка к юбилею. Ты не представляешь, в какое болото, словно брошенный камень, угодила твоя антология.

— Почему же не представляю? Представляю. И желаю тебе быть переизбранным на новый срок.

— Спасибо, дорогой. Два конкурента — не шутка. Но я уверен, переизберусь, организуем положительную рецензию — и, как это у классика из твоей антологии?

«Не пропадёт наш скорбный труд
И дум высокое стремление!»

А конкурентам мы скажем по-испански: «Но пасаран!»

Когда Михаил Злобин вышел в вестибюль, его догнала запыхавшаяся Вера Павловна и прозвонила:

— Михаил Иосифович! Вы забыли на столе у ректора отрицательную рецензию! Вот она!

— Зачем мне ваша отрицательная рецензия? Оставьте её себе на память. Возможно, что при новом ректоре вы станете заведовать кафедрой филологии, вот и расскажете студентам, как на гениальные стихи можно и даже нужно в нужный момент сочинить нечто подобное.

— Откуда вы всё знаете? — вспыхнула как маков цвет Вера Павловна.

— Откуда? Да от верблюда! — усмехнулся Михаил Злобин. — Абаканск — хоть и миллионный город, но до сих пор большая деревня, где всё про всех узнаётся мгновенно благодаря сотовой связи и мобильным телефонам. Кстати, большой привет Степану Петровичу, организатору вашей победы, и всего два слова: «Но пасаран!», что в переводе с испанского на русский означало и означает: «Они не пройдут!»

— Кто — они?

— Интриги и интриганы, кто же ещё?

Подведение итогов

Поэтесса А повесилась на дверной ручке своей квартиры. Предсмертная записка, обращённая к маме, тоже поэтессе, гласила: «Мама, как я тебя ненавижу!»

Поэт Б умер, выпив в компании с каким-то бичом большое количество технического спирта. Приехала «Скорая помощь». В горбольнице его безуспешно пытались спасти. Отпевали на кладбище перед свежерытой могильной ямой. Пахло ладаном. Порхали бабочки. В детстве он был крещён, однако рос атеистом, не веря ни в Бога, ни в Чёрта, Писал хорошие стихи. Долго мучился, что при окончании Литературного института в Москве вынужден был сочинить по настойчивой просьбе творческого руководителя гимн Коммунистической партии Советского союза, иначе не получил бы диплома о высшем образовании. Старался заглушить комплекс вины постоянным употреблением спиртных напитков.

Поэт В умер после инсульта. Работал в газетах. Был добрейшим человеком, о чём сказал на похоронах его последний редактор, который уволил его по статье за пьянку.

Поэт Г умер от рака. Преуспевал. Всё, что написал, было опубликовано. Хоронили из Дома офицеров. Интересно, в каком офицерском звании он был и при каком ведомстве, если всегда ходил в штатском? Когда опускали в могилу полированный, красного дерева, очень дорогой гроб, из него звучала музыка. И мне припомнилось выражение «гроб с музыкой».

Поэт Д умер от рака. Всю жизнь писал он стихи под рубрикой «Против течения», считал себя коммунистом и однажды, когда его друг поэт Г потерял партбилет, на собрании ячейки сказал: «По мне, лучше лишиться яиц, чем лишиться партийного билета!»

Поэт Е купил машину «Жигули» и долго катался по городу с любовницей. Вернувшись, в гараже выпивали они портвейн № 77, не выключив двигатель автомобиля. В результате чего пары алкоголя и выхлопные газы окутали их сознание, и обнаружены они были под утро обнажёнными, бездыханными.

Поэт Ж умер от рака. Он сочинял стихи о художниках и о них же доносил в компетентные органы. Был сексотом — то есть секретным сотрудником, в чём признался, изрядно выпив однажды с одним из пострадавших от него художников в скверике имени Василия Ивановича Сурикова. Но и после этого сильно мучился угрызениями совести, стараясь утопить их в алкоголе. Перед смертью ослеп, что воспринял как заслуженную Божью кару.

Поэт З умер от старости. Хотел прожить 100 лет. А прожил 98. Продлевал срок тем, что пил урину, мочу то есть. Сначала свою. Потом маленьких детей. Уринотерапия тогда была в большой моде.

Поэт И был убит ночью в тёмном переулке неизвестными, когда возвращался с работы. Всю жизнь проработал в Центральном универмаге гравёром, отчего всегда имел в карманах много денег. Сам не пил, но любил угощать знакомых литераторов, которые радовались лишней выпить на халяву. Сочинял задушевные песни. Был хорошим человеком.

Поэт К покончил с жизнью самоубийством. Был без сомнения гениален. Ездил покорять Москву и Питер. Своим самоуничтожением вызвал большое недоумение в литературных кругах. Никто из литературоведов в посмертных публикациях не обратил внимания на его последние стихи с многочисленными гомосексуальными намёками.

Поэт Л умер от неизлечимого заболевания сердца — перикардита, то есть воспаления околосердечной оболочки. Чем оно было вызвано, неизвестно. Профессор сказал: «Причина — мультифакториальность. И социальные факторы, и эмоциональные стрессы, и инфекция». У поэта всегда была на лице милая, добрая, как бы чуть виноватая улыбка.

Поэт М был великим трезвенником, умницей. Увлекался восточной философией, собирал редкие книги, преподавал на филфаке спецкурс «Практика стихосложения», переводил на русский язык китайских, индийских, японских мудрецов, многим начинающим поэтам помог опубликоваться. Умер во сне.

Поэт Н был поэтом-песенником. Воспевал завоевания социализма вслед всем постановлениям партии и правительства. Стал лауреатом Государственной премии, Героем социалистического труда.

Закончился социализм — нечего стало воспевать, и он за полгода зачах.

Рак. Рок.

Ни одной из написанных им песен сейчас никто не поёт. Другие времена, другие песни.

Поэт О был найден на городской свалке. Туловище — в одном конце, голова — в другом. Накануне опубликовал в «Абаканской газете» стихотворение,

смысл которого: как хорошо было раньше, хоть и при проклятых коммуниках, и как плохо сейчас, при замечательных дерьмократах, типа, во круг — миллионеры, банкиры, бизнесмены, дилеры, киллеры, бичи, бомжи и так далее.

Поэт П решил жениться на поэтессе Х. Как потом она рассказывала на закрытом судебном заседании, признался ей в любви, угощал шампанским, коньяком... Потом стал хвалить свои стихи и критиковать её стихи, что вызвало с её стороны озлобление и ссору. Когда он заснул, она задушила его подушкой, для верности сев на подушку верхом.

Поэт Р был большим специалистом по ленинской тематике, автором статей, монографий. Составителем антологий о вожде мирового пролетариата — какой он был хороший и гениальный.

Когда же коммунистическая партия развенчала образ своего вождя и рассекретила партийные документы, оказалось, что вождь — совсем не хороший, а воплощение дьявола и на его совести — миллионы погибших ни за что людей.

Прочитав об этом в газете, поэт Р сел в свой «Москвич» и поехал из Шушенского в Абаканск. На трассе не справился с управлением, так как была гололедица, выехал на встречную полосу движения, столкнулся с КАМАЗом и, пробив лобовое стекло, вылетел прямо ему под колёса.

Тема исчерпала себя.

Поэт С, член КПСС, главный редактор газеты «Абаканская правда» случайно пропустил в печать стихотворение поэтессы А, в котором она выражала сожаление по поводу того, что верные ленинцы, большевики, в Екатеринбурге расстреляли отрёкшегося от престола царя и членов его семьи. Не стоило, мол, этого делать, грех на душу брать.

Поэта С проработали на бюро райкома партии, на бюро горкома партии, на бюро обкома партии, после чего на него, испереживавшегося, напал рак. И через полгода он скончался в страшных мучениях. Даже морфин не смог снять болевого синдрома.

Поэт Т, умирая, написал завещание, в котором просил сжечь его на берегу реки, а пепел развеять по ветру.

«Романтик!» — сказали одни.

«Прагматик!» — сказали другие.

Костёр был огромным и жарким, но поэт долго не хотел превращаться в прах.

Ждали ветра, а ветра не было.

Тогда стали горстями кидать остывший пепел от костра в волны реки.

Пепел, рассыпавшись в воздухе, падал на воду и уплывал по течению...

Исполнявшие волю покойного очень сильно перепачкались и стали походять на чертей.

К счастью, омовение в реке сделало их вновь чистыми и душою, и телом.

Поэт У.

Поэт скончался от инфаркта
Во время полового акта.

Любил он женщин и коньяк
И сексуальный был маньяк.

Вспомнил я всё это на открытии памятника поэту Ф.

Кто-то из его поклонников при жизни Ф обратился в Законодательное собрание, чтобы прибавили известному поэту пенсию, так как на ту, которую он получает, прожить практически невозможно.

Законодатели, все как один, проголосовали против.

И поэт умер от цинги.

Пять лет прошло с тех пор.

За это время законодатели, переизбранные на второй срок, прониклись величием созданных поэтом произведений, воспевающих необъятные просторы Сибири и прекрасный наш сибирский город Абаканск, и приняли постановление об увековечении его памяти.

Скульптор изобразил поэта Ф в сказочной манере, очень похожим на барона Мюнхгаузена — камзол, треуголка, ботфорты, шпага не бедре.

И вот стоит он на Стрелке, где сливаются две реки, вылитый из бронзы, великий, ни в чём не нуждающийся, глядит в необозримые просторы, а законодатели один за другим произносят пламенные слова о любви к нему, к Сибири, к Родине, которая никогда никого не забывает и каждому воздаёт по заслугам.

Последний кактус

Сергей Петрович и Ольга Ивановна жили на седьмом этаже девятиэтажки в двухкомнатной квартире с балконом.

После сорока лет совместной жизни каждый спал в своей комнате.

Сергей Петрович любил домашние цветы, и на всех подоконниках долгое время красовались герани, хлорофитумы, щучие хвосты, они же тещины языки, сингониумы, алоэ, молочай, шефлеры, толстянки, они же денежные деревья...

Он аккуратно поливал их, подрезал, рыхлил землю и всегда разговаривал с ними, как с живыми людьми.

Ольга Ивановна цветов не любила и, когда муж отлучался из дома на несколько дней, постепенно выбрасывала горшочки с балкона или в мусоропровод.

Сергей Петрович поначалу возмущался, обнаружив пропажу, потом пробовал убеждать жену. Но все старания были напрасны.

— У меня от твоих цветов аллергия! — говорила Ольга Ивановна.

И вот остался в квартире единственный любимец Сергея Петровича, чудо-кактус, который всем на удивление цвёл двенадцать месяцев в году в течение многих лет.

В сентябре, когда Сергей Петрович уехал с друзьями порыбачить, Ольга Ивановна переставила цветущий красными многочисленными цветками кактус с подоконника из комнаты мужа в уголок балкона.

И когда Сергей Петрович вернулся, на кактусе не было ни одного цветочка, все опали, а сам кактус находился на последнем издыхании.

Сергей Петрович отнёс любимца в ванную, поставил под тёплый душ и долго со слезами на глазах шёпотом умолял его воскреснуть.

Водружённый на старое привычное место, кактус за неделю пришёл в себя и даже пустил новые побеги, но цвести перестал.

— Оленька! Попроси у кактуса прощения и попроси, чтобы он вновь зацвёл! — сказал Сергей Петрович.

— Как же, стану я просить у него прощения! — возмутилась Ольга Ивановна. — Скажи мне спасибо, что вообще не выбросила его с балкона! Вот, посмотри, как он меня исколол своими шипами, до сих пор пальцы не заживают и гноятся!

И Ольга Ивановна протянула к Сергею Петровичу перемазанные йодом и зелёной толстые распорыренные пальцы обеих рук.

Смена полюсов

В 2000-м году Земля стала менять полюса, а я — готовиться ко Всемирному потопу.

— Очень скоро, — говорил я, — северный полюс станет южным, а южный — северным, нижнее верхним, а далёкое близким...

Никто эти слова всерьёз не принимал.

Все посмеивались надо мною. Особенно моя жена.

— Сколько раз в газетах писали про конец света! — говорила она, — Даже даты конкретные называли, и ничего не было!

— Это случается раз в пять тысяч лет, неумудрено и ошибиться, — возражал я. — Почитай Библию. Там о всемирном потопе ясно сказано. История о Ноевом ковчеге, остатки которого, кстати, исследователи нашли на горе Арарат. Все утонули, а Ной, взявший каждой твари по паре, — спасся! — Но потом он ведь всё равно умер?

— Умер, но ведь спасся же!

— Так зачем спасаться, если всё равно умрёшь?

— Как зачем? — возмущался я, — Чтобы пожить подольше, детей вырастить. Посмотреть, что дальше будет.

— Будет то, что было, неужели непонятно? Вот вырастили мы с тобой детей, а они разъехались, кто куда... И довольны. И забыли про нас.

— Вспомнят, когда узнают о конце света и о потопе, примчатся! Недаром сказано, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих.

— Что это ты задумал? — спросила жена.

— Спаси нашу семью! — сказал я.

— Ну-ну. Спасатель нашёлся. Или Спаситель? — усмехнулась жена.

И сел я в самолёт, и прилетел я в город Севастополь, где мы с женой отдыхали ещё при социализме. И пришёл на кладбище военных подводных лодок, и за месяц при помощи бывших моряков, а ныне бичей-пенсионеров, реставрировал одну из них и переименовал Северным морским путём и далее — по Енисею в прекрасный наш беззаботный сибирский город Абаканск, и поставил её у берега, между зданием мэрии и Театром оперы и балета.

— Это — наш ковчег, — сказал я жене. — Как только Земля поменяет полюса, начнётся катастрофа, вода поднимется на 77 метров — и всё вокруг будет затоплено. А мы сядем в свою подводную лодку, задраим люк и будем плавать в мировом океане, пока всё нормализуется. Помнишь историю Атлантиды? Какая была цивилизация, а ведь исчезла, затонула...

— Как сейчас помню! — засмеялась жена. — Ну а пока вода не поднялась, давай устроим на твоей подводной лодке плавучий ресторан и назовём его «Ноев ковчег»?

— А что, это идея! — сказал я.

И вскоре наш плавучий ресторан стал самым престижным местом развлечения в Абаканске. Миллионеры, вип-персоны, золотая молодёжь тусовались здесь по полной программе.

А Земля продолжала постепенно менять свои магнитные полюса. Это было видно из телевизионных передач. Птицы на зимовку улетали в тёплые края, но не туда, куда обычно... Дельфины выбрасывались на берег... На морях участились цунами, а на материках — военные конфликты... Певцы запели женскими голосами, а поэтессы стали писать стихи от мужского имени... А трансвеститы в Госдуме потребовали узаконить единополюсные браки...

Воскресный день, 19 июля, в Абаканске по инициативе городских властей был объявлен Днём пива.

Праздник совпал с днём вдов, то есть воздушно-десантных войск.

По набережной шатались ветераны в камуфляжной форме, тельняшки на груди, на голове — синие береты, а в руках — пивные бутылки с неповторимым, пенящимся при взбалтывании напитком «Джокер» — брендом Абаканска.

На всех перекрёстках дежурили по трое сотрудника милиции, получившие приказ следить за порядком, но в конфликты не ввязываться.

На палубе «Ноева ковчега» выступала звезда эстрады Вероника Сердючкина. Микрофон — в одной руке, рекламная бутылка «Джокера» — в другой. Через мощный усилитель, под фонограмму, она пела:

— Всё будет хорошо!
Всё будет хорошо!
Всё будет хорошо, я это знаю.
Аю, аю, аю.аю, аю,
Аааааааааааааааа...ю... —

Возбуждённые её исполнением, вдвэшники танцевали на набережной.

Чисто мужская компания.

Естественно, что все взгляды были устремлены на Веронику.

Она тоже танцевала, прихлёбывая рекламное пиво прямо, как говорится, из горла...

Необъятные безразмерные бёдра и плечи, покрытые искусственным мехом, колыхались в такт музыке.

Вдруг резкий порыв речного ветра сорвал с её головы рижий парик, обнажив огромную

блестящую лысину на темени, и покружив, опустился на набережную, под ноги танцующих десантников.

Один из них схватил парик, надел себе на голову и закричал:

— Я — Вероника! Я — звезда эстрады!

Десантники загоготали, продолжая танцевать. Настоящая Вероника прекратила пение и в микрофон, через усилитель, пророкотала мужским громовым голосом:

— Верните мне парик! Он очень дорогой!

Десантник замер, снял парик и, вращая его в руке, завопил пронзительным женским голосом, показывая на Веронику:

— Хлопцы! Дывытесь! Це ж не баба, це мужик!

И толпа в синих беретах, подхватив: — Це не баба! Це мужик! — устремилась по трапу на «Ноев ковчег», где звезду эстрады схватили за руки, за ноги, раскачали и бросили в прохладные воды когда-то великой и могучей сибирской реки, перегороженной ещё при социализме гигантской плотинной, а ныне обмелевшей и кое-где заболоченной у берегов.

К визжащей Веронике подплыл катамаран, и она была спасена.

— Бежим! — приказал я жене, схватил её за руку, насильно посадил в шлюпку и оттолкнулся веслом от плавучего ресторана.

Через несколько минут «Ноев ковчег» был захвачен пьяными десанниками.

Сообразив, что находятся на настоящей подводной лодке, — с криками и с песнями спустились пираты внутрь, задраили люк, завели мотор и помчались вверх, против течения, в сторону плотины когда-то величайшей в мире народной Абаканской гидроэлектростанции, а ныне акционерного общества с ограниченной ответственностью и неограниченной безответственностью, объекту, охраняемому от всевозможного нападения самыми современными средствами защиты.

Что было дальше, официальные сми, то есть средства массовой информации умалчивают, а слухи я тиражировать не хочу. Слухи известны всем.

Скажу только, что я, лишившись подводной лодки и получив за неё положенную страховку, стал потихоньку собираться в один из засекреченных при социализме городков, где был завод по производству дирижаблей, а ныне рассекреченное заброшенное их кладбище.

Хочу собрать там действующий экземпляр, прилететь на нём в Абаканск, посадить на плоскую крышу шестиэтажки, где мы живём, чтобы, когда Земля поменяет полюса и начнётся Всемирный потоп, войти с женой в дирижабль и улететь на вершину самой высокой горы, выше Арарата, и таким образом спастись.

— Отличная идея! — сказала жена. — Дирижабль на крыше нашего дома! Только давай, пока будем ждать конца света, откроем там ресторан «Седьмое небо». Не возражаешь?

— Разве тебе возражишь? — сказал я, — Ты, как всегда, права!

Творческий день

— Ну и как прошёл твой творческий день? — спросила жена Маша Михаила Злобина.

— Плохо.

— Что так?

— А, и вспоминать не хочется, то ли магнитная буря повлияла, то ли колдовал кто...

Утром, как только ты ушла на работу, стал я делать неотложные звонки, и вдруг посреди разговора телефон перестал работать. Глухо. Набрал я озб по мобильному, в чём дело, спрашиваю. Отключили за неуплату, отвечают. Как так, возмущаюсь, я специально в начале месяца предоплату сделал. Идите, разбирайтесь в сервисный центр!

Прихожу — а там столпотворение. Старики и старухи ломятся к двум окошкам с квитанциями в руках.

Всех отключили!

— Кто последний? — спрашиваю.

— Я! — отвечает бойкая старушонка.

— В левую кассу или в правую?

— Сразу в обе, где будет быстрее!

Ладно, стою, и тут передо мною открылось окошко третьей кассы. Только я протянул свою квитанцию в окошко, как бойкая старушонка оттолкнула меня и закричала:

— Я впереди!

— Пожалуйста, — говорю, — но зачем толкаться? Я ведь тоже могу тебя толкнуть, да посильнее!

— Во-первых, не ты, а вы! Я с вами вместе свиней не пасла! А во-вторых, что хочу, то и ворочу! И ничего мне не будет. Потому что у меня справка из психобольницы! — да как захохочет...

Посмотрел я на толпу — наверное, у всех справки, подумал — и вышел вон...

— И ты из-за этой ерунды расстроился? — спросила Михаила Маша. — Я каждый день сталкиваюсь с такими сценами и ничего.

— Слушай дальше!

Сел я в автобус и поехал в областную библиотеку, в отдел редких книг, журнал «Мир искусства» полистать. В начале прошлого века издавал его миллионер Рябушинский, лучших художников к изданию привлёк — Бакст, Добужинский, Врубель, Коровин. Хорошо всем платил, пока с революционерами не связался и не разорился.

Дай, думаю, сниму ксерокопии для своего альманаха «Многоликая любовь», ну, там виньетки, заставки, рисунки, напомним современникам о гениальных художниках прошлого. Захожу, а меня не пропускают.

— У нас перерегистрация читательских билетов!

— Нет у меня билета и никогда не было, — говорю.

— Тогда оформляйте новый. Давайте ваш паспорт.

— И паспорта нет — не ношу, чтобы не потерять. Вот, есть удостоверение литературного объединения «Керосиновая лампа», кстати, с паспортными данными. Спишите из него!

— Нет, нам нужен паспорт, а вдруг в удостоверении устаревшие данные?

— Да нет, новые. Но зачем вам они, если Госдума недавно в Москве приняла закон о неразглашении паспортных данных?

— Москва далеко, а здесь Абаканск. Нет паспорта — нет и читательского билета!

Развернулся я и вышел вон.

Но у самой раздевалки догнала меня директор библиотеки, милая женщина, с которой мы не раз проводили всяческие мероприятия.

— Михаил Иосифович, извините! Прошу вас вернуться! Мы вам сейчас выпишем билет Почётного читателя нашей библиотеки... Татьяна Ивановна, как вы не узнали? Это же наш знаменитый поэт Михаил Иосифович Злобин, наша гордость, член Союза писателей, лауреат Пушкинской премии... Его вся страна знает!

Татьяна Ивановна покраснела, как рак, и сказала: — Ради Бога, извините, Михаил Иосифович, не врубилась сразу, меня название «Керосиновая лампа» с толку сбilo. Я же ваши стихи наизусть в седьмом классе учила, они же в школьную хрестоматию включены! Вот вам Красный читательский билет. Добро пожаловать во все отделы, без очереди!

— Да мне, собственно, в отдел редких книг.

— Это на четвёртом этаже!

— Чаще нужно в библиотеке бывать и с народом общаться! Тогда и узнавать тебя будут, — проворчала жена Маша. — И ты из-за этой ерунды расстроился?

— Ничего себе ерунда! Тебя не узнают, в упор, можно сказать, не видят, демонстрируют, что без бумажки ты букашка...

Короче, поднимаюсь я на четвёртый этаж, стучусь, открываю дверь, а там — чайник кипит, и пар из него валит по всей комнате, уставленной старинными книгами.

— Да не чайник это, а увлажнитель воздуха! — пояснила мне очень красивая молодая заведующая отделом Марина и выдала переплетённый комплект журнала.

Конечно, журнал классный! Оформление что надо, некоторые рисунки и виньетки не грех и позаимствовать, конечно, со ссылкой на первоисточник. Но когда я попросил снять ксерокопии, Марина сказала, что ксерокопирование запрещено, потому что сокращает жизнь оригинала.

— Я воспроизведу оригиналы в своём альманахе! — возразил я. — И жизнь их продлится в новом поколении!

— Нет! — сказала Марина, как ножом отрезала.

Так что полистал я, полистал «Мир искусства» и, как говорится, несолоно хлебавши, вышел вон. — И ты, конечно, из-за этой ерунды опять расстроился? — спросила Маша Михаила.

— И из-за этой, и из-за того что, когда я к твоему приходу решил приготовить что-нибудь поесть и стал резать кусок мяса, только что вынутого из холодильника, нож выскользнул и я порезал себе до крови большой палец правой руки, что практически невозможно! Не иначе колдонул на меня кто-то. Вот, глянь, кое-как залепил я рану лейкопластырем, а кровь всё сочится...

— Бедный ты мой, бедный! Так расстроиться! Из-за такой ерунды! С кем не бывает! Мне бы твои беды! Дай-ка сюда свой пальчик, сейчас мы его пербинтуем и всё будет хорошо. Вот так! И что мы имеем в итоге?—спросила Маша.

— А в итоге мы имеем всего одно четверостишие,— сказал Михаил,— вот послушай:

«Снова заря Мандельштама встаёт над острогом,
Напоминая и предупреждая о многом.
В строгом остроге кончается срок—но меж строк
Встретит ли завтра поэта зарёю Восток?»

— Ну что ж,— сказала Маша,— права была Ахматова, когда сказала:—Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда... Всё-таки ты—молодец!

Тут зазвонил телефон.

— Вот видишь, и телефон подключили, а ты расстраивался!

Тяжёлый взгляд

— Вы так на меня посмотрели, как будто я вам сделала что-то плохое!

— Да нет, ничего плохого вы мне не сделали.

— Но вы так подумали и посмотрели!

— Да не смотрел я на вас. Я на расписание электричек смотрел.

— Ах, значит, если мне не восемнадцать, а восемьдесят один, значит на меня уже и смотреть незачем?

— На вас—незачем. Мне надо узнать, когда будет электричка.

И вообще, я вас в первый раз вижу!

— Зато я вас здесь частенько наблюдаю. Куда это вы всё время ездите?

— Я езжу в деревню собачку кормить.

— Ах, бедная собачка! Её ездят кормить! Ко мне вот никто не ездит, никто меня не кормит, я сама о себе забочусь, хоть и не собачка совсем.

— Ну, собачка сама о себе не может позаботиться, вот я её и кормлю через сутки. А сегодня новое расписание.

— Через пять минут будет ваша электричка! Никуда не денется. И всё же вы на меня так больше не смотрите.

— Как—так?

— Ну, недоброжелательно. Взгляд у вас тяжёлый.

— Я знаю, что тяжёлый. Но я на вас, повторяю, не смотрел. И зачем мне на вас смотреть?

— Ну, мало ли... Чем на расписание смотреть, посмотрели бы на меня, спросили, и я бы вам ответила.

— Не люблю заговаривать с незнакомыми людьми.

— Отчего это вы не любите?

— Оттого, что у каждого свои проблемы. Вот у вас, я вижу, проблема одиночества. Вы хотите, чтобы о вас заботились, чтобы с вами хотя бы поговорили. Неужели у вас никого нет, с кем бы можно было поговорить?

— Нет, никого.

— Как же так? А муж, дети, внуки, наконец?

— Мужа у меня и не было, и нет. Я всегда ненавидела мужчин и сторонилась их. Вот и осталась девушкой, то есть старой девой. Одинокой старой девой.

— Зачем же со мной тогда заговорили? Я ведь мужчина.

— Затем и заговорила, что ненавижу и вас как мужчину, потому что вы на меня посмотрели, как будто я вам сделала что-то плохое. А я ничего плохого вам не сделала.

— Это ясно. Ни я вам, ни вы мне—ничего плохого. Вон электричка показалась, давайте я вам помогу поднять вашу сумку, она, наверное, тяжёлая?

— Ах, не смейте трогать меня и мою сумку! Мощничек нашёлся! Я ни в каких помощниках не нуждаюсь и сама сяду, без посторонней помощи. И вообще, я передумала ехать!

Старушка повернулась ко мне спиной и стала переходить железнодорожные пути перед приближающимся поездом.

— Что вы делаете!—закричал я.—Вернитесь!—и потянулся, чтобы удержать её.

Машинист резко затормозил.

Заскрежетали колёса.

Из-под них посыпались искры...

Но было уже поздно.

Цыганка Аза

— А вы верите в колдовство? В колдунов и колдуний?—спросил меня поэт Михаил Злобин.—Я, представьте себе, верю, а с годами всё больше и больше.

Ну, например, приехал я как-то в город Лесосибирск провести вечер поэзии.

Настроение прекрасное. В актовом зале краеведческого музея—битком, в коридорах стоят. Всем любителям интересно послушать лауреата Пушкинской премии, потомка самого Александра Сергеевича!

Читаю лучшие избранные стихи и вдруг чувствую: бац—по коленке, словно кто иглу вогнал!

Покачнулся я, но устоял, читаю. И вдруг—бац—по другой коленке, вторая игла... Присел я на стул, но продолжаю читать. И вдруг—бац—по горлу. И хрип вместо рифмы... Этакий бронхиальный спазм. Завершил я встречу по-быстрому и стал автографы раздавать...

— Что с вами, Михаил Иосифович, на вас лица нет!—спрашивает директриса музея.

Да вот так, мол, и так, объясняю.

— А, всё понятно, это на вас порчу наша непризнанная поэтесса напустила, Аза Купцевич. Посмотрите, вон она, в цыганском наряде, красная косынка на голове, в левом углу пристроилась. Кроме стихов чёрной магией занимается.

— Что за чепуха?—говорю.

— Вовсе не чепуха. Это у неё по наследству. Попробуйте встать со стула.

Я попробовал.

Не получилось.

— Аза Петровна! Подойдите сюда!—строго сказала директриса музея. И через расступившуюся толпу желающих получить автограф подошла ко мне древняя сухонькая старушонка, лет под девяносто.

— Аза Петровна, прекратите, пожалуйста, ваши колдовские штуки.

— Что, подействовало? — усмехнулась старушка.
— Ещё как подействовало! — подтвердил я.
— Тогда, если разрешите мне мои стихи почитать, к концу чтения всё у вас и пройдёт!
— Да ради Бога! Но зачем вам всё это?
— Это не мне, это вам — зачем. Хочу доказать, что пора меня из непризнанных поэтесс сделать признанной и напечатать в одном из альманахов, которые вы издаёте.
— Ну, хорошо, читайте, а потом мы вместе отберём что-нибудь для альманаха «Милости просим», который сейчас в работе, — милостиво согласился я.

Целый час читала цыганка Аза стихи.

И — чудо! Всё у меня прошло.

И потом уже, поздним вечером, выпив на банкете коньяку, я даже станцевал «Барыню», чего со мною давно не случилось.

Престарелая поэтесса под влиянием алкоголя помолодела лет на 50 и тоже танцевала, сначала «Барыню», а следом и «Цыганочку» под долгие несмолкающие аплодисменты местных почитателей Музы и Бахуса.

Раздухарившись, я даже проводил её до дома, где она вручила мне пачку своих стихов для альманаха и на прощание сказала:

— Эх, где мои семнадцать лет?

Когда альманах вышел в свет, позвонил я Азе Петровне Купцевич, поздравил и:

— Как передать вам ваши 50 экземпляров? — спрашиваю.

— Как? Да очень просто! Я старая, мне ехать в ваш распрекрасный Абаканск тяжело и накладно. А вы ещё о-го-го! Садитесь в поезд. Ночь проспите — и на месте. А я вас у здания вокзала встречу.

Днём — экскурсия по городу, чаепитие. А вечером презентацию альманаха в музее проведём.

Не хотелось мне ехать, но что поделаешь? 50 экземпляров — солидная пачка, тяжёлая, почтой не отправишь. Надо уважить престарелого автора.

Сел в поезд. Заснул. Проснулся.

А за окном вагона — Лесосибирск, центр лесодобычи и лесозэкспорта. Маклаково, если по-старинному.

Маклаки — это такие люди, которые были посредниками между продающими и покупающими. Менеджеры, если использовать современную терминологию.

Так что вполне возможно, что город скоро переименуют в какой-нибудь Таунменедж или Менеджсити.

Беру пачку книг в одну руку, дорожную сумку в другую.

Выхожу на перрон. Никого!

И вдруг чувствую: бац — игла по одной коленке, бац — игла по другой. И в горле дыхание бронхоспазмом перехватывает.

Сел я на пачку с книгами и вижу: выходит из здания вокзала разлюбезная моя престарелая поэтесса, колдунья, магия чёрная, цыганка Аза.

Подходит она ко мне и спрашивает:

— Что, подействовало?

И смеётся на весь перрон, и поёт голосом Аллы Пугачёвой, приплясывая:

— То ли ещё бу-удет!

То ли ещё бу-удет!

То ли ещё будет?

О-го-го!



Константин Миллер Пьеса для Хармсов

218

Константин Миллер
Пьеса для Хармсов

В пьесе принимают участие:

Волшебная женщина Варя
Поэт Даниил Хармс
Некая субстанция, очень похожая на Хармса

Сцена 1

Лето. Знойно. Жилое помещение без особых удобств для жизни. Посередине этого помещения стоит стол, за которым сгорбившись сидит человек и записывает на бумагу рассказ. Неожиданно для нас в раскрытое окно влетает женщина, одетая в нарядное розовое платье.

Женщина. Здравствуйте, Хармс, я — Летающая Варя!

Хармс. Здравствуйте, Летающая Варя! Мы ведь знакомы с вами уже тысячу лет, а вы каждый раз почему-то представляете себя заново.

Летающая Варя. Я вам, Хармс, уже тысячу раз говорила, что это такой древний ритуал, который нарушать мы с вами не будем. Хорошо?

Хармс. Да, конечно. Откуда, позвольте спросить, и куда держите путь в этот раз?

Летающая Варя. Летала я в далёкую землю Африку — возила туда Доктора Айболита, теперь вот продвигаюсь в Сызрань, в гости к своему племяннику Павлу. Он трудится в трамвайном депо механиком. Вот вы, Хармс, когда-нибудь ездили на трамвае?

Хармс. Да было дело.

Летающая Варя. Счастливый вы человек, Даниил! Ну ничего, когда-то и я проеду на трамвае и вполне возможно, что не один раз.

Хармс. Я думаю, что если вы зошенько попросите своего племянника, он непременно устроит это дело с пользой для вас.

Летающая Варя. Сколько времени мы с вами знакомы, Хармс, а вы всё такой же! Дама битый час кружит по комнате, а вы ей даже приземлиться не предложите.

Хармс, с криком «ай!» вскакивает со стула и двигает его от стола; Летающая Варя усаживается на этот стул, Хармс на стол.

Хармс (нарушая некую неловкость ситуации). Могу я предложить вам чаю?

Летающая Варя. Что ж, предлагайте. А я в виде ответного шага угощу вас замечательным вареньем, которое производит одно из племён, обитающее в районе озера Чад. Не знаю, правда, из чего и как оно готовится (больно мудрёный там рецепт), но признаюсь вам, что, пролетая над египетскими пирамидами, я попробовала капельку — очень вкусно.

Хармс достаёт примус, разводит его, ставит на примусный огонь небольшой чайник.

Хармс. Примус у меня слабенький, но через какое-то время вода всё равно закипит.

Летающая Варя. Вы, я надеюсь, не забыли её налить? (Что-то достаёт из сумочки ставит на стол.) Как, кстати, поживает Сакердон Михайлович?

Хармс. Тяжело. Ему так тяжело, что пришлось продать свою меховую с наушниками шапку. И теперь, когда он подолгу сидит на полу, на него жалко смотреть; так велики его тоска и грусть... И как ему помочь, я не знаю.

Летающая Варя. Я отвечу вам как. Успокойте его, Хармс, и скажите, что в самое ближайшее время Летающая Варя выкупит его шапку и у него всё будет хорошо.

Хармс. Его признательности не будет границ.

Летающая Варя. Я думаю, что так это и случится. Знаете, Хармс, я ведь помню Сакердона ещё совсем юным; он с раннего детства всегда и везде ходил со своим стулом. Всегда и везде, Хармс!

Хармс. Странно, что мне он об этом ничего не говорил. Хотя, Летающая Варя, ему это простиительно, он так сильно изменился за последнее время. Мы все изменились. Нас изменили. Или нам изменили. Или мы изменили. Какие-то духовные надломы и нравственные сдвиги.

Летающая Варя. Не стебайтесь, Хармс, вы ведь и так уже попали в историю.

Хармс. Именно поэтому вы здесь?

Летающая Варя. Отчасти да.

Хармс. А как же племянник в Сызрани, подождёт?

Летающая Варя. Подождёт. Тем более что он уже донёс на меня, куда следует.

Хармс. Куда следует кто?

Летающая Варя. В каком этаже ваша пещера, Хармс?

Хармс. Кажется, в третьем, а что?

Летающая Варя. За вашим окном всё время маячит какой-то человечек... (Обращается к фигуре за окном.) Эй, ты, не высоко ли здесь для тебя? А ну — брысь!

За окном слышится короткий крик.

Хармс. А я к этому уже привык.

Летающая Варя. Привыкать нужно к доброму, а о злом помнить, чтобы эти понятия не поменялись местами; вы же почему-то всё время делаете наоборот. Вы, Хармс, какой-то стали оборотом. И, простите за любопытство, где наш чай? Уж не забыли ль вы об этом невзначай?!

Хармс (спрыгивая со стола). Несу, несу!

Сцена 2

В том же самом помещении Летающая Варя и Хармс сидят на полу и пьют чай с африканским вареньем.

Хармс. Сегодня ночью мне приснилось, что я питался собственными глазами, да... (*Обращается к Летающей Варя, протягивая баночку с вареньем.*) Ещё ложечку?

Летающая Варя. Благодарю. И что за дрянь снится вам, Хармс.

Хармс. Вот... Сижу я в какой-то чайной за столом, а на столе стоит табличка: «Глаза тушёные Д. И. Хармса, в собственном соку». И я с таким удовольствием их уплетал.

Летающая Варя. А что, их было так много?

Хармс. Точно не помню, но до конца сна хватило.

Летающая Варя. И что же дальше случилось в вашем сне?

Хармс. А дальше вдруг влетел соседский голубь и в ухо протрубил: «Подъём!»—и я проснулся.

Летающая Варя. Горечи или запаха нашатыря по просыпанию не почувствовали?

Хармс. Не помню, я ведь сразу свою трубочку раскурил.

Летающая Варя. А с голубем что?

Хармс. Голубь этот улетел сразу, он дыма табачного не переносит. Такой вот привередливый.

Летающая Варя. Что сказать вам, Хармс, случай ваш крайне сложный и пока совершенно необъяснимый, хотя и много лучше, чем у Маркова.

Хармс (*уныло*). Что с ним опять?

Летающая Варя. Когда я подлетала к вашему дому, он со всех ног мчался по направлению к Таврическому Саду.

Хармс. Ох, Марков, Марков! Сколько лет и всё одно и то же; бедный он, этот Марков, но что я могу поделывать... Теперь всё бесполезно.

Летающая Варя. Да вот, Марков... А кстати, Хармс, обратили ли вы внимание, что варенье из баночки не заканчивается. Знаете почему? Догадываетесь? Ну конечно, вы ведь вообще догадливы: правильно, что-то из этих двух субстанций обладает волшебными свойствами—или баночка, или само варенье. Не спрашивайте меня, я сама не знаю, честное слово... Поставьте, пожалуйста, ещё кипяточку. Керосин-то у вас есть ещё? У меня с собой запас.

Хармс. Вы уж извините, Летающая Варя, проблем с водой я не имею, а вот керосин, в самом деле... В общем, придётся пользоваться вашим запасом.

Летающая Варя. Ах, Хармс, прекратите эти глупости! Возьмите в сумочке такой синенький пузырёк... Да, этот!

Хармс. Так здесь совсем на дне...

Летающая Варя. Заливайте в свой примус сколько нужно; этот сосуд из того же волшебного разряда. А может быть, сам керосин, не берусь опять же утверждать это. Одним словом, лейте и давайте говорить дальше.

После этих слов что-то происходит с помещением, в котором пьют чай наши герои; оно превращается в нечто совершенно непонятное, необычное, необыкновенное.

Хармс.

Одной рукой ваш керосин я в примус наливаю, Мозгами же ваш разговор внимаю, Глазами все эмоции читаю— Я вашего рассказа ожидаю.

Летающая Варя.

Проказник май нарушил мой покой, Покрывл меня листовой зелёной, ветками, корой, Заставил крону подставлять под ветер...

А я весенних сквозняков боюсь, как ничего другого в этом свете.

Хармс.

Я помню вас, Варвара, вы были липой нежной, Я встретил вас зимой, завьюженной и снежной. К вам подбирался с топором старик Мазай— Из вас хотел он строить баню и сарай.

Но случай нам помог, и шестеро бесстрашных храбрецов: Окнов, Козлов, Стрючков, Широков, Каблуков и Мотыльков—

Вступили в бой с Мазаем, в страшный зимний бой,

И двое (Широков, Каблуков) уж не вернулись домой,

А остальные четверо смогли злодея отогнать,

Злодея краснорожего, беззубого прогнать,

И отстоять тебя, и не отдать тебя врагу!

Как вспомню случай тот, так слёзы градом... не могу.

Летающая Варя.

Я тоже помню случай этот, но не так подробно,

Была я в зимней тяжкой спячке до весны,

И лишь какие-то видения остались

От той далёкой героической войны...

А что же с чаем у нас, Даниил? Заболтались мы с вами, одолели воспоминания нас,

А ведь уже прошёл обед час.

Что у вас сегодня к обеду, Хармс?

Хармс. Постойте-ка, я попытаюсь вспомнить, была ли у меня какая-то еда или это были лишь слова о ней.

Летающая Варя. Не напрягайте голову, Даниил, вы тратите на это слишком большое количество сил, которые вам понадобятся в самом близком будущем.

Хармс. И всё же, Летающая Варя, мне кажется, что данная ситуация несколько роняет меня в ваших глазах: у меня в гостях дама, которой я ничего не могу предложить к обеду. Мне стыдно.

Летающая Варя. Пусть за это будет стыдно тем, кому не ведомо чувство стыда. А обо мне не беспокойтесь, я ведь не простая дама—я Та Дама, Которая Прилетает, Когда Это Нужно. Вот вам бутылочка, выпейте залпом всё её содержимое.

Хармс. Не горькое?

Летающая Варя. Пейте, пейте, не горькое. Вот так! Теперь не будете хотеть кушать ещё три дня; отличное, кстати, средство для всяких Хармсов и прочих Введенских. Подарок, между прочим, Доктора Айболита.

Хармс. Что-то мне так сильно спать захотелось.

Летающая Варя. Вот и прекрасно, ложитесь и спите. А я у вас тут приберусь немного.

Хармс засыпает прямо на полу, Летающая Варя укрывает его чем-то очень красивым.

Сцена 3

Летающая Варя стоит у окна и читает рассказ, который Хармс писал перед её прилётом. На стуле возле стола сидит Хармс, ещё один Хармс лежит на койке, он просыпается.

Хармс (*лёжа и зевая*). О, как славно я выспался, наверное, на всю жизнь...

Летающая Варя (*складывая листки рассказа в сумочку*). С пробуждением, Хармс! Разрешите вам представить—Даниил Иванович Хармс.

Хармс (*на стуле*). Спасибо, Летающая Варя. Здравствуйте, Хармс, меня зовут Даниил Хармс, и мне очень приятно с вами познакомиться.

Хармс (*усаживаясь на койке и ничего не понимая*). Здравствуйте...

Летающая Варя (*весело*). Что, не ожидали себя увидеть со стороны? Однако наблюдать эти метафизические эффекты у нас совсем нет времени. Единственное, что могу вам сказать, Хармс,— что отныне этот Хармс будет заменять вас везде и всегда, с этой минуты и до самой смерти.

Хармс (*на стуле*). Извините меня, друзья, но мне нужно сходить в магазин, у меня табак закончился. Я не заставлю вас долго себя ждать, магазин здесь совсем рядом.

Летающая Варя. Подождите одну минутку, нам с Хармсом кое о чём нужно переговорить, прежде чем вы уйдёте.

Хармс (*растерянный на койке*). Ничего я не пойму: или я сплю, или все мы вместе, или кто-то один из нас, а мы все ему снимся? Летающая Варя, объясни мне всё скорее, а то я окончательно заболел и иду в клинику к профессору Стравинскому.

Летающая Варя. Не горячитесь так, Даниил. Этот Хармс создан моей большой любовью к вам, он фантом, сотканный... А впрочем, это страшно путанные технические процедуры и вам, особенно в данной ситуации, о них ничего и знать не нужно. Одно скажу вам совершенно определённо: сегодня вечером вы улетае вместе со мной, вам оставаться здесь больше нельзя.

Хармс (*встающий со стула*). Летающая Варя, вы извините ещё раз, но я должен отлучиться в магазин. Я боюсь, что магазин закроется и я не успею, тогда мне придётся идти в Петродворец, а затем, может быть, ещё и в Торжок...

Летающая Варя. Ну что, Даниил, отпускаем его? Хорошо, идите. Вот, возьмите денег на табак и возвращайтесь как условлено.

Хармс-фантом чуть заметно кланяется Летающей Варя, затем Хармсу и уходит, прикрыв за собой дверь.

Хармс. Так я ничего и не понял: я спал, я сплю или я проснулся? Это, конечно же, всё ваш хитрый пузырьёк.

Летающая Варя. Хармс, у нас остаётся совсем мало времени, можно я всё объясню вам потом?

Хармс. Конечно можно, только я думаю, что и потом я ничего не пойму, потому что в том «потом» всё будет выглядеть иначе. Потом.

Летающая Варя. Вы летать умеете?

Хармс. Умел когда-то, я ведь родом из религиозной семьи.

Летающая Варя. Сейчас, скоро уже совсем, нам нужно будет лететь, как я вам уже говорила сегодня.

Хармс. И надолго ли? И куда?

Летающая Варя. Пока навсегда, а там видно будет. Для всех остальных, кто остаётся в этом мире, вы ходите сейчас по магазинам в поисках табака. В этой жизни вас больше не будет.

Хармс. Значит, обратно мы сюда никогда не вернёмся?

Летающая Варя. Наверняка мы вернёмся, но позже и, скорее всего, не так, как вам бы это представлялось. Поверьте мне, Даниил, что здесь сейчас оставаться слишком страшно, чтобы оставаться в живых, и даже намного страшнее, чем вам думается. И кушать во сне собственные глаза—сущий пустяк в сравнении с тем... Есть ли у вас что-то, что необходимо взять с собой в полёт, но не более 10 килограммов—этого требуют условия полёта.

Хармс. Да, я сейчас.

Хармс ходит по комнате и что-то складывает в рюкзак, Летающая Варя также укладывает в свою сумку какие-то предметы; чуть позже перед зеркалом подводит карандашиком губы.

Летающая Варя. Готовы, Даниил? Позвольте ваш рюкзак. (*Поднимает рюкзак на руке*.) 8 килограмм и 200 грамм, и это, как я вижу, всё? Не густо, конечно, но главное, что всё главное остаётся при вас. А теперь пейте вот это. (*Протягивает какой-то другой пузырьёк*.)

Хармс. Подождите, Летающая Варя, у меня один вопрос. А как же все остальные: Введенский, Друскин, Сакердон Михайлович и рыжий человек, а Макар...

Летающая Варя. Кто-то уже там и вас дожидается, а кто-то из-за вашей болтовни может и вовсе не успеть. Пейте!

Хармс вытискивает содержимое пузырьёка и мгновенно становится легче воздуха, подлетая к потолку и ударяясь головой о торчащий крюк.

Летающая Варя. Не ушиблись, Даниил?

Хармс. Да нет, не очень. Это с непривычки я так...

Летающая Варя. Что ж, это и есть ваша прощальная минута, мы улетаем. Скажите что-нибудь потомкам, Даниил Хармс, поэт.

Хармс. Я улетаю с рюкзаком,
Мешка не нажил я,
И это, надо полагать,
Последняя строка.

Летающая Варя (*подлетая к Хармсу*). Держитесь за мою левую ногу и пока закройте глаза и рот, а то, знаете ли, скорость разгона бывает иногда непредсказуема.

Хармс. Одну секундочку, лямки рюкзака затяну потуже. Я готов!

Летающая Варя.

Ветер, ветер, пропусти нас с миром,
Наполни наши лёгкие своим эфиром.
Окно, растворишь и не будь нам преградой,
Мы вылетаем со скоростью снаряда!

После этих слов следует вспышка света и хлопнут рамы окон. В рамах нет стёкол, а в комнате людей. Одиноко горит лампочка, а в двери стучат...

Хор соседей (из-за кулис).

Он вышел пять минут назад,
Пошёл купить табак.

Занавес в виде горячей лампочки, только наоборот.

КОНЕЦ

ДиН СТИХИ

София Резник Воздушный змей

221

София Резник
Воздушный змей

Дождик разноцветный

Мама, мне вчера приснился дождик!
Мне приснился разноцветный дождик;
Оставлял он на асфальте пятна,
Капли разноцветные — на окнах.

Он сначала синим шёл и красным,
А потом оранжевым с лиловым,
И зелёным, ярко-изумрудным
Цветом ливень с неба лил на город.

Люди забегали под навесы,
Прятались в домах и магазинах,
Чтобы не промокнуть, не заляпать,
Не испачкать платья и костюмы.

Люди закрывали плотно двери,
Закрывали поплотнее окна,
Чтобы дождь вдруг не попал случайно
Внутрь — на пол или подоконник.

Дети все сидели тихо дома,
И смотрели, как бегут дорожки
Краски по стеклу. И как машины
Разрисовывают мостовую.

Мама, мне вчера приснился дождик.
Дождь из красок, необычный дождик.
Я не стал гулять, пока не высох
След последний разноцветных капель,
Потому что ты бы не хотела,
Чтобы я запачкался случайно;
Да и как бы отстирался свитер
Или джинсы. Я остался дома.

Я бы, может, выбежал наружу
Прыгать по лилово-белым лужам,
Пальцами размазывать по листьям
Синие, оранжевые капли.
Но я знал: ты за меня боишься,
Как там я весь буду в этой краске,
И остался. Только знаешь, мама,
Я не знаю было бы мне плохо
Или нет. Давай, как будет дождик
Следующий, — выберемся вместе,
В краске чтоб измазаться на пару.
Пусть другие, чистые такие,
Смотрят на нас с завистью из окон.

Это осень! Не важно, что май на дворе.
За окном листья сухо дрожат на ветру.
Полумрак, тишина. Стынет чай на столе.
Я иду по ковру, по ковру, по ковру.

За окном представление — «Солнце в лесу».
На столе хлеб на блюде, маслёнка и нож.
Это осень! Плевать, что июнь на носу.
Ты идёшь пока врешь, пока врешь, пока врешь.

Белка серая вспрыгнула, ветку тряхнув.
Эта осень уже отдаёт декабрём.
Свет лежит полосами вкосу к окну.
Мы идём пока врём, пока врём, пока врём.

Три часа пополудни, май месяц, четверг.
На стене натюрморт: виноград и грейпфрут.
Солнце сыплется вниз. Сосны рвутся вверх.
Все идут пока врут, пока врут, пока врут.

Воздушный змей

Янику

Дети все умеют летать сперва,
Но об этом учат их забывать
Руки материнские и слова.

Отпустить детей в синеве кружить
Страшно. Да и скучно одним-то жить...
Мама, не держи меня — поддержи!

Как воздушный змей я лететь хочу!
Упаду — ты мне помоги чуть-чуть;
Если ж сильный ветер я подхвачу,

Ты под натяжением из горсти
На моток верёвочку отпусти,
А как она кончится, не грусти.

Не грусти, родная, и не робей —
Я ведь не обычный воздушный змей —
Полетав, я всё же вернусь к тебе.



Сергей Карамов Долой пошлость!

222

Сергей Карамов
Долой пошлость

Смех сквозь слёзы

Как-то раз в осенний день в одно московское издательство зашёл средних лет человек с длинными волосами и грустным взглядом. Охранник, увидев его, сразу насторожился, преградив путь неизвестному посетителю.

— К кому?— грозно спросил охранник, оглядывая посетителя с головы до ног.

— Я принёс свою комедию в издательство,— спокойно ответил посетитель, держа в руках исписанные листки бумаги.

— А вы договаривались о встрече?

— Гм, не могу припомнить, милостивый государь, что когда-либо вообще мне нужно было заранее договариваться или уведомлять о своём визите!

— Вот телефон, звоните,— холодно молвил охранник, садясь на своё место.

Встретившись с редактором издательства, незнакомец слегка наклонил голову, представляясь: — Гоголь Николай Васильевич. Я принёс свою комедию вам.

Редактор пожал плечами, заметив:

— А вы уверены, что мы будем печатать вашу комедию? Как она называется?

— «Ревизор».

— Это фэнтези?— с надеждой в голосе спросил редактор.

— Не понял... У меня комедия, вы понимаете?

Редактор вздохнул и с кисло-надменным выражением лица сообщил:

— Наше издательство печатает иронические женские детективы и фэнтези, поэтому вряд ли имеет смысл...— здесь редактор сделал паузу, разводя руками и давая понять автору, что его здесь не ждали и печатать не будут.

Но Гоголь не двигался, поэтому после паузы редактор продолжил:

— Вы текст писали от руки? И в сыром виде принесли рукопись в наше издательство?

Заметив недоумение на лице Гоголя, редактор снова задал вопрос, пристально глядя на писателя:

— Не можете печатать на компьютере?

— На чём?

— Гм, рукопись должна быть напечатана на компьютере, нужна ещё дискета с текстом!— строго произнёс редактор, пристально глядя на писателя и не понимая, откуда тот взялся.

— Может, вы всё-таки прочитаете, милостивый государь?— настаивал Гоголь, стоя перед редактором, так как тот не предложил писателю сесть.

— Да какой я вам милостивый государь, чёрт!— возмутился редактор, зло уставясь на Гоголя.— С какой далёкой планеты вы прилетели к нам?

— Возьмёте комедию?

— Вам же ответили, что комедии мы не печатаем. Зачем нам юмор?

— Но...

— И что раньше вы написали? Какие произведения?

— «Миргород», «Нос»... У меня сатира, милостивый государь, если вам угодно сие знать.

— Гм, сатира?...— со страхом спросил редактор, тупо уставясь на Гоголя.

После короткой паузы редактор встал, холодно говоря:

— К сожалению, ничем помочь не могу, юмор мы не печатаем.

— У меня сатира...

— Да, особенно эту... эту сатиру мы не печатаем!— Редактор затряс головой, вздыхая.

Визит в другое московское издательство оказался тоже не таким приятным, как ожидалось.

— Сатира у вас?... Комедия?...— с ужасом в голосе спросила редактор, молодая девушка с сильно накрашенным лицом и сигаретой в зубах.

Гоголь кивнул, протягивая ей рукопись.

— Ой, а чего это вы от руки писали?— удивилась редактор.— На компьютере надо было печатать. О чём комедия?

— О взяточниках, казнокрадах, продажных чиновниках, тупицах,— спокойно ответил Гоголь, стоя перед редактором, не предложившим ему сесть.— Я в комедии «Ревизор» собрал в кучу всё дурное в России и описал это...

Редактор пустила дым от сигареты почти в лицо писателя и замотала головой:

— Нет, нет, мы политикой не занимаемся!.. Мы печатаем женские иронические детективы и фэнтези! А вы только пишете о плохом, да?

Гоголь вздохнул и воскликнул с горечью в голосе:

— У меня смех сквозь слёзы автора! Я описываю все мерзости русской действительности. Я не скрываю все безобразия, все отрицательные явления в жизни.

— Зачем это писать?

— Кто же, как не автор, должен сказать святую правду?!

— Короче, всё и так известно, чего у нас плохого,— заметила редактор, продолжая курить,— нам

нужна развлекательная литература. Вот видите на полках книги одной нашей писательницы Попцовой? Знаете, сколько её книг мы продали? Какие тиражи её книг?

— И что она написала?

— Вот книги этой писательницы на полках, — гордо ответил редактор. — «Золото для бабушки», «Козёл с папироской», «Блондин без штанов», «Шпион на полставки», «Устрицы для идиота», «Шоколад без мармелада»...

Гоголь неожиданно для себя захохотал, перебивая редактора:

— Всё, достаточно... «Устрицы для идиота», ха-ха!... С этой писательницей мне всё ясно...

В третьем издательстве Гоголю предложили писать иронические детективы под женским псевдонимом.

— Но я же не женщина, чтобы брать себе женское имя! — возмутился Гоголь.

— Так все сейчас делают, — настаивал редактор, — сейчас только женщины у нас печатаются, вот книги их у нас на полках лежат. Да, можете придумать мистическую историю, а мы её напечатаем. Мистику мы тоже печатаем!

— Есть такая у меня история, — ответил Гоголь.

— Да? Как называется?

— «Вий».

После краткого ознакомления с сюжетом редактор благосклонно улыбнулся:

— Ну, может быть... Да, может быть, этого вашего «Вия» мы сможем напечатать, только...

— Только?

— Но только с женским псевдонимом. А юмор мы не печатаем.

— У меня сатира, господин редактор! — уходя, произнёс Гоголь.

В следующем издательстве Гоголя с удивлением спросили:

— А вы только смеётесь надо всем?.. Неужели в вашей комедии «Ревизор» нет положительных героев?

— Есть.

— И кто же это?

— Это — смех, господин редактор! — с достоинством в голосе ответил Гоголь. — Смех — единственное честное лицо в комедии.

— Что-о?..

— Да, смех, в котором воплотился высокий нравственный и общественный идеал писателя!

— Нет, такого нам не надо, — испуганно сказал редактор.

Но Гоголь словно не слышал редактора и продолжал, повышая голос:

— Это смех сквозь слёзы, это смех, который весь излетает из светлой природы человека...

— Чего?.. Какой природы? — не понял редактор. — Вы, значит, только смеётесь надо всем?

— Нет, но советую прочитать комедию, нельзя же делать выводы без прочтения.

— Зачем читать, если мы печатать не будем?

— Как можно, не читая, отвергать произведение?

Редактор насупился, холодно ответил:

— В нашем издательстве печатают иронические женские детективы, фэнтези, учебники,

методическую литературу, любовные романы. У вас есть такие произведения для издания?

Гоголь хотел ответить, но редактор не дал ему сказать даже слова:

— Нет этого у вас... И нам не нужно только осмеяние нашей современности! Сейчас нужно писать об агентах, милиции, разведчиках, детективах...

Гоголь дождался, когда редактор умолк, и твёрдо сказал:

— Милейший, вы заблуждаетесь, да!.. Мой смех — это оружие, при помощи которого я борюсь с разными мерзостями и недостатками. Именно сатирическое осмеяние отрицательного в нашей жизни может быть средством его исправления в будущем!.. Нельзя делать вид, что всё у нас якобы хорошо, нельзя уподобляться страусу, прячущему голову в песок!.. И я оптимист, верю в будущее моей страны!..

Редактор после окончания грозной филиппики Гоголя подытожил:

— Надеюсь, я могу в последний раз объяснить вам интересы нашего издательства: мы стремимся развлечь нашего читателя, для чего печатаем иронические женские детективы, фэнтези, фантастику... Читатель знает, что и где у нас плохо, достаточно послушать наши теленовости, ставшие похожие на фильмы ужасов. Читатель устал от политики, от критики, от острых социальных нерешённых проблем, ему нужно чтиво для успокоения, чтобы унести в мифический мир грёз... Всё, не буду вас больше задерживать!..

Завонил телефон, и редактор поспешно взял трубку:

— Да?.. О, приветствую вас, госпожа Попцова! — Голос редактора стал крайне мягок и лстыв. — Вы здесь, у нас? Как же, как же, жду с нетерпением! У вас продолжение книги «Устрицы для идиота»? О, крайне интересно!..

В коридоре Гоголь заметил пожилую холёную даму в красной шляпе и в чёрных брюках в сопровождении целой свиты редакторов, выходящих возле неё, как назойливые мухи. На лицах редакторов Гоголь заметил ослепительные лицемерные улыбочки до ушей. Редакторы постоянно поддакивали каждому слову холёной дамы и кивали ей. — Конечно, уважаемая госпожа Попцова! — вставил своё слово один редактор, пытаясь идти рядом с модной писательницей и отодвигая локтем другого редактора, который в свою очередь хотел отодвинуть его и идти рядом с Попцовой.

— Наш главный редактор вас ждёт! — добавил другой редактор позади Попцовой, но она его даже не заметила, уверенно идя вперёд.

Гоголь медленным шагом вышел из издательства на улицу.

Парень прошёл мимо него с включённым радиоприёмником, из которого Гоголь услышал рекламное сообщение:

«Господа! В книжных магазинах нашего города появился новый детектив известной писательницы Востряковой «Поставить все точки». Читайте захватывающую детективную историю и наслаждайтесь ироническим детективом известной нашей писательницы!»

Гоголь засмеялся, но на его лице можно было заметить слёзы...

Долой пошлость!

Как-то все мы привыкли, что юмористические программы стали транслироваться на разных телеканалах. Как-то все мы привыкли к ним, и эти программы начали показываться на многих телеканалах, а не только на одном, что порой вызывает некоторую озабоченность. Сейчас все знают, что такое «Аншлаг» и «Кривое зеркало», можно назвать ещё не одну подобную юмористическую программу, которую смотрят тысячи зрителей почти каждый день. На канале «СТС», который считается развлекательным, появилось множество подобных программ, к тому же именно на этом канале показываются многие мыльные оперы, не отличающиеся полётом мысли, красотой слова: «Кто в доме хозяин?», «Моя прекрасная няня». А на телеканале «ТНТ» показывается сериал или мыльная опера «Счастливы вместе» про семью придурков (про последнюю мыльную оперу напишу чуть позже). Все мы с ужасом начинаем замечать, что число подобных программ и фильмов-однодневок, мыльных опер становится почему-то всё больше и больше... Не скажу, что я смотрю описанное каждый день — не отношусь к любителям сериалов, мыльных опер, юмористических программ. Посмотрел кое-что просто из любопытства, но больше подобное смотреть не буду. Скажу больше, когда только моя жена начинает включать канал «СТС» или «ТНТ» и слышу голоса вечных героев сериалов, меня всего передёргивает, словно хочется, чтобы вырвало! И тогда я прошу жену срочно переключить канал и включить более приятное и более художественное, чем то, что пришлось даже на мгновение увидеть... К чему это я? Сегодня, 23 января 2009 года, прочитал в приложении к газете «Комсомольская правда» («Телепрограмма», № 3 (359), 2009 г.) статью главного редактора «Телепрограммы» Павла Садкова («Долой халтуру!») и очень обрадовался, что и он думает, как и я, что и он против пошлости на телевидении. Между прочим, рядом было напечатано письмо одной молодой читательницы, О. Кальниной, которая с юношеским максимализмом утверждала обратное: нельзя запрещать юмористические телепрограммы на том основании, что должен быть многополярный и разнообразный телемир. Ещё она писала, что нет критериев пошлости, нет тех цензоров, кто должен решать, что пошло, а что не очень. И что юмор — дело тонкое, не все его воспринимают одинаково. А статья П. Садкова приятно оппонировала письму Кальниной, утверждая, что артисты юмористических программ Петросян, Степаненко, артисты «Аншлага» — банальны и беззубы, вовсе не смешны, на них ужасно смотреть. Не могу не привести слова Садкова: «Главная тема для юмора — человеческое убожество. Толстота, плохое зрение, заикание... Евгений Ваганович любит говорить, что это возвращение к истокам, к юмористическому театру прошлого, народному юмору... Но это же ужасно!»

Что мне, писателю-сатирику, человеку, дожившему до пятидесяти одного года, но считающего себя пока не особо старым, ответить молодой читательнице, которая пытается защитить пошлость и пытается утверждать, что нет критериев пошлости? Что нет тех, кто должен замечать пошлые программы или нет. Есть такие специалисты на каждом телеканале — редакторы этих самых программ! Именно они и должны не пропускать пошлость на голубой экран! Нет критериев пошлости? Нет, есть. Почитайте-ка классиков русской литературы, пойдите в театр и посмотрите классические пьесы, подумайте. Если в школе не рассказали, что такое пошлость, мерзость, похабщина, ещё не всё потеряно. Надо учиться, пока молодая! Классики русской литературы достаточно написали на тему осуждения похабщины, пошлости, мерзости, грубости! И никогда не ратовали за одновременное транслирование в эфире и пошлых, и непошлых программ, если бы в их время они могли смотреть телевизор, который сейчас многие, как и я, называют заслуженно «зомбияшником»! И если вы смотрите с неописуемым удовольствием юмористические программы, то позвольте себе рассказать то, что случайно увидел, когда листал телеканалы. В одной юмористической телепрограмме на «СТС» (уж не буду писать название той программы — не в том суть) один тип выходит из своей квартиры, вызывает лифт, входит в него, справляя малую нужду, потом выходит из лифта и идёт в свою квартиру. Всё это он делает под гогот придурков за кадром... Пошлость это или нет?! Приятно такое смотреть детям и взрослым?! Думаю, не очень! Кстати, зачем хохот неизвестных лиц за кадром? Чтобы нам, потенциальным зрителям подобного «высокохудожественного» действия, стало понятно, когда смеяться и когда не надо смеяться?!

Известная наша артистка Клара Новикова, частый гость программы «Аншлаг», недавно в программе «ТВЦ» под названием «Народ хочет знать», посвящённой юмористическим программам, сетовала, что якобы нельзя так ругать эти программы и нельзя якобы утверждать, что у всех них юмор ниже пояса. К сожалению, никто из присутствующих не смог ей ответить, приведя в качестве доказательства юмора именно ниже пояса краткие выдержки из её выступлений. Это сделаю сейчас я, приведу кое-что очень коротко. Итак, Новикова рассказывала в одной из юмористических миниатюр, придуманных кем-то, о нескольких дамочках в пожилом возрасте, решивших заработать на дому. Они дали объявление, что занимаются досугом, предполагая под этим самым досугом не продажу своего тела всем желающим за баксы, а пение, игру на разных инструментах. И вот представьте себе такую картину, когда удивлённые пожилые бабки отвечают на звонки, а потом видят вошедших милиционеров. Слово за слово, милиционеры не совсем поняли, что бабки предлагали, бабкам кое-кто из милиционеров понравился, в итоге... просят милиционеров выполнить им стриптиз!.. Милиционер один соглашается, и бабки смотрят...

И всё это Новикова с упоением описывает. Так это пошлость или нет? А ведь Клара Новикова, если она известная артистка, могла же отказаться от пошлого текста, если, конечно, она замечает в нём пошлость? Если, конечно, она её замечает... А не пошлость ли, когда в мыльной опере «Счастливы вместе» на канале «ТНТ» отцу семейства его жена говорит при детях: «Ой, твою сосиску я видела не раз!», глядя между его ног (разговор шёл об обеде, о сосисках на обед)...

Потом вижу, как сынок выходит к матери и сестре с резиновой куклой, которую продают в секс-шопе, и раздаются комментарии сестры: «Иди с этой куклой живи». Пошлость это или нет?! А ещё больше меня волнует вопрос: почему разрешают это показывать? Сразу оговорюсь: я за свободу, по убеждениям демократ, но всему есть свой предел! Вседозволенности быть не должно. Демократия демократией, но меру знать всем надо. Даёшь всеобщую телеюморизацию страны?! Всеобщая дебилизация?

Да, ранее я смотрел с большим интересом в конце 80-х годов программу «Вокруг смеха», где не было пошлости, бесстыдного юмора... Тогда я радостно ждал выступлений таких писателей, как Горин, Жванецкий. Кстати, и Горин, и Жванецкий, являются настоящими писателями-сатириками! И совсем не представляется даже в кошмарном сне, что покойный Горин или ныне здравствующий сатирик Жванецкий могли выступать вместе с Собчак или Заворотнюк!

А что сейчас слышим: любой автор, читающий что-то на юмористических концертах, почему-то объявляется сатириком, когда он юморист (понятия следует различать, для чего и написал литературно-критическую статью «О юморе и сатире», которая опубликована в журнале «Страна «Озарение» и в Интернете). А один известный юморист, называющий себя тоже сатириком, прославившийся тем, что американцев называет тупыми, а нас, русских, хитроумными? Сейчас он читает письма из своей гостевой книги, смешные разные ситуации, которые читатели ему пишут... Может, из-за еженедельного показа разных юмористических программ по телевидению, которые почти всем надоели, путают сатириков и просто юмористов, а издательства отказываются печатать сатиру, говоря, что они юмористических книг не печатают? Кстати, заметили, может быть, что одновременно с увеличением у нас в стране ряда катастроф, пожаров, убийств, виртуальный хохот в эфире увеличивается?..

Представляете себе Гоголя или Салтыкова-Щедрина, выступающих вместе с артистом Петросяном на концерте «Кривое зеркало»? Или вместе с артистом Галкиным?

Очень часто разные авторы ошибочно считают сатирой то, что даже до юмора не дотягивает. Говоря так, я отнюдь не считаю юмор менее трудным жанром, чем сатира: рассмешить тоже не всякий умеет, причём рассмешить без употребления всякой похабщины! Но одно дело — просто смешить, мило пожурить или по-отечески посмеяться над чем-то, а совсем другое дело, когда

доходит до негодования и отвращения сатирика к какому-либо отрицательному явлению.

Приведу ещё слова журналистки «Новой газеты» С. Тарошиной, которая в прекрасной статье «Всё будет хорошо, готовьтесь!» («Новая газета. Свободное пространство», № 39, 10.10–16.10.2008 г.) писала: «Если экранная пошлость так же неистребима, как рекламная перхоть, значит, это кому-нибудь нужно. Несложно догадаться, кому именно. Тем, кто требует от каналов политической лояльности в обмен на вседозволенность в остальных сегментах более чем доходного телебизнеса». Неплохо, кстати, сказано... Имеет ли данное утверждение право на аксиому, не требующую доказательств? Возможно... Во всяком случае все мы видим, что с ухудшением жизни виртуальный хохот всё увеличивается и увеличивается. Неспроста, думается, он увеличивается. Помните, читал, что в сталинские годы подобная история творилась на эстраде. Тогда было популярным выражение: «Утром — в куплете, а вечером — в газете»... Помните фразу тирана: «Жить стало лучше, жить стало веселей!»? Теперь можно сказать иначе — жить стало лучше, жить стало красивей, гламурней!

А теперь мне хочется спросить читателей: вам нужно только бездумно смеяться, смотря надоевшие многим частые юмористические телепрограммы и разные юмористические шоу? Смотреть, не думая, читать всё подряд, листая телеканалы, читать лишь бы читать для самого чтения, без раздумий, просто для отдыха, не думая ни о чём?! Читать всякое «что-то в метро» (мой термин, обозначающее бездарное квазилитературное произведение, так сказать, товарный продукт издательства для быстрого их обогащения — всякие женские иронические детективы, всякие фэнтези)? Смех без причины — признак дурачины, как гласит народная мудрость. Так как разные исполнители на этих концертах ставят себе цель — во что бы то ни стало рассмешить зрителей, заставить их смеяться любой ценой! Пусть даже не будет никакой мысли, только один пошлый юмор! И как тут нам не упомянуть о количестве горя в стране (постоянных катастроф, убийств, пожаров, постоянной инфляции, разных проблем, взрывов и обвалов жилых домов, реформе ЖКХ, в народе называемой реформой по очередному повышению оплаты жилья, ипотеке-кабале на всю жизнь) и увеличивающемся виртуальном хохоте в эфире! Но, как я думаю, многим не нужна постоянная тупая развлекаловка (хотя умные люди, ранее, в годы застоя, читавшие между строк и пользующиеся нередко эзоповым языком, понимают, что специально нам всем показывают побольше юмористических программ и побольше разных концертов вперемежку с новостным официозом, который подается очень выборочно, дозированно: устраняется всё то, что можно прочесть в «Новой газете», и показывается постоянно одна наша громадная партия и наша дорогая и уважаемая власть, чиновники, военные, потом снова на другой программе чиновники, депутаты и военные!) — им нужна сатира в традициях Гоголя, Салтыкова-Щедрина

и Булгакова, которой нет или которую по разным субъективным причинам не хотят печатать! Ведь издательства не хотят портить отношения с властью, во-первых. Во-вторых, издательства уже приучили своего читателя к тонким книжечкам в дешёвых картонных переплётках, разным женским ироническим детективам, которые автор метко называет «читивом в метро, читивом на один день!» Если есть успех у подобных издательств, если пиплс покупает сей товарный продукт, то зачем же издательствам печатать что-либо иное? Они тогда будут штамповать и дальше это «читиво в метро», а мы будем вынуждены смотреть быдловые юмористические телепрограммы, как надоевшие многим наши мыльные оперы (если не хочешь их смотреть, есть только одна альтернатива — выключить свой телевизор!)... И совершенно прав писатель и журналист Д. Быков, который писал, что наша действительность просто соскучилась по сатирическому роману, которого нет, к сожалению. От себя добавлю: который пока не напечатан нашими издательствами! Я позволю себе здесь привести коротко его слова: «В истории развития русских жанров зияет огромная дырка. На этом месте в небе должна быть звезда под названием «сатирический роман». Его у нас нет... Современная русская действительность плачет по сатирическому роману, ибо ни в каких других формах воплощена быть уже не может. Всё стало смешно — настолько смешно, что хочется послать в задницу любую политкорректность...» (Д. Быков, 25 января 2002 г.). Всё смешно, автор здесь полностью согласен с писателем Быковым: и наши депутаты, покорно поднимающие руки и покорно голосующие за законы, торопливо ходящие по рядам, голосуя сразу за многих своих отсутствующих коллег, которые где-то трудятся на стороне; и наши телепрограммы, которые надоели и которые смешны все до одной, не только юмористические телепрограммы, где чем глупее, тем лучше; смешны наши важные телеведущие, послушно читающие заготовленные для них кем-то тексты и повторяющие чужие слова, как говорящие попугаи; смешны разные наши политтехнологи, думая, что их «технологии» кому-то нужны и интересны, как и их телепрограммы (кстати, знает ли наш читатель, что на Западе нет слова «политтехнолог» — это сугубо наше кондовое изобретение, наше кондовое слово из новеньких наших «изобретений!»); и смешны наши нацпроекты сверху без обратной связи со своим народом, для которого и трудятся наши «слуги народа»... Перечислить дальше или не стоит?! И у нас будут постоянно путать сатиру с юмором?..

«... хочется послать в задницу любую политкорректность...» (Д. Быков, 25 января 2002 г.).

Телевидение сейчас, к сожалению, стало подобно духовному наркотику, вернее, бездуховному наркотику: чем больше его смотришь, тем больше хочется смотреть! Телевидение отучило людей думать, оно лишь только развлекает...

Нет, не нужна нам слава Е. Петросяна, Степаненко, Ксении Собчак и Заворотнюк!

Река забвения

Шёл прохожий по улице, увидел рекламу: «Наше АО продаёт акции и ищет акционеров!» Зашёл прохожий в офис АО и купил акции.

«Побольше бы таких акционеров!» — подумал директор АО.

«Побольше бы акций!» — подумал новый акционер.

Через месяц зашёл акционер в офис АО.

— Ну, как мои дела? — спросил акционер директора АО.

— Рано что-то говорить, — уклончиво ответил директор АО и подумал: «Когда он уйдёт?»

Прошёл год. Снова акционер зашёл в офис АО.

— А где директор? — спросил он сотрудников АО.

— Нету директора, зато есть новые акции.

«Что же делать?» — подумал акционер.

«Когда он уйдёт?» — подумали сотрудники АО.

Через полгода акционер снова зашёл в офис АО.

— Где директор? — спросил он.

— Нету директора, — тоскливо ответили сотрудники АО, — зато есть новые акции.

— А что с моими акциями?

— Ничего нового пока сообщить не можем, — неопределённо ответили сотрудники АО и подумали: «Когда же он уйдёт?»

Через полгода исчезло АО и его директор.

«Что же делать?» — подумал акционер, держа в руках акции АО.

...Прошли годы. Люди забыли и директора АО с его акциями, и телерекламу АО. Бывшие акционеры лопнувшего АО хранили акции, как сувениры на память.

Время течёт, и многое забывается...

Люди часто вспоминают о прошедших годах и событиях, но помнят с благодарностью о тех, кто что-то сделал для них в этой непростой жизни; мимолётные явления, фирмы-однодневки, невзрачные и невыразительные серые личности никогда не войдут в историю, как и не останутся в людской памяти...

Состарился наш бывший акционер.

У него появилась пятилетняя внучка Леночка с милым голоском. Сидел он часто с Леночкой у телевизора, слушая теленовости и сообщения разных дикторов.

— Ой, как хорошо, — обрадовался он, услышав, что пенсию подняли на сто рублей, — пенсию повышают!

Леночка ничего не сказала, только улыбнулась.

«Какой мой дед смешной, — подумала Леночка, — всем дядям верит, как маленький».

«Пенсию подняли, — подумал дед, — но ненамного, к сожалению... Пенсия маленькая в стране, торгующей нефтью и газом!»

— Ой, как хорошо! — снова обрадовался дед, услышав, что будут реформировать жилищное хозяйство.

«Только нам не объясняют, в чём собственно заключается эта реформа ЖКХ, получается только реформа по увеличению оплаты жилья...» — подумал дед.

Леночка ничего не сказала, улыбнулась и подумала: «Какой смешной мой дед! Всем дядям верит».

Дед продолжал восторгаться радостным возгласам и заверениям теледикторов, бодро читающих по бумажке заготовленные тексты.

— Ой, олигархи какие плохие! — всплеснул руками дед, услышав сообщения диктора.

«Гм, а мне-то чего эти олигархи сделали плохого?» — подумал он, будто просыпаясь ненадолго после телегипнотического сна.

Далее диктор бодрым голосом и наклеенной на лице широкой улыбкой стал говорить о предстоящих выборах.

— Ой, как правильно всё говорит, — воскликнул дед, хлопая в ладоши. — Как приятно, что у нас скоро состоятся демократические выборы!

Леночка снова улыбнулась, но ничего не сказала. «Чего она улыбается?» — подумал дед.

«Дед мой, как маленький, всем дядям верит», — подумала Леночка.

Дед хотел что-то сказать внучке, но услышал новое сообщение диктора и разозлился:

— Ну, почему нас опять на этом Западе ругают? — И добавил наивно, вздыхая: — У нас же настоящая демократия!

А через минуту он подумал: «Хотя демократию у нас, как айсберг, никто целиком не видел...»

Леночка снова улыбнулась. Далее диктор стал бодро говорить о нацпроектах.

— Ой, как хорошо! — обрадовался дед, уставясь на экран телевизора, как на икону.

На другом телеканале дед услышал сообщение нового диктора о соцопросе населения, повышенном рейтинге.

— Да, высокий рейтинг, — воскликнул дед, — как только что диктор сказала, как хорошо!

Но потом он подумал: «Одинаковые новости у нас почти по всем каналам... Если бы проводили соцопрос населения в старину о степени доверия к какому-нибудь императору, оказалось бы, что императору доверяют если не 100 процентов, то хотя бы 99!»

Леночка не выдержала и громко засмеялась, сказав:

— Ой, дед, ты такой смешной!

— Почему? — удивился дед и подумал вдруг: «Внучка моя мала, но умна, как вижу, не по годам...»

— А чего ты всяким дядям веришь, как маленький?

Не ответил дед ребёнку ничего, вышел на балкон и закурил.

«Внучка мала, задала вроде наивный вопрос, но в самую точку! — думал дед. — А чего я всем верю, хотя потом сомневаюсь и обдумываю всё?.. Да, мы забыли прежних императоров, их гордые лица, речи, награды, свиты. Их вспоминают лишь иногда историки... Они исчезли, как и лопнувшие фирмы-однодневки, в реке забвения... Время течёт, и многое забывается... Люди помнят только о тех, кто помог им в нашей сложной жизни... Лживые заверения, обман, разные рекламы, серые невзрачные личности никогда не войдут в историю, как и не останутся в людской памяти... Они исчезнут в реке забвения...»

Дед вошёл в комнату, выключил телевизор, ставя его на пол.

— Что ты делаешь, дед? — удивилась внучка.

— Не буду я его смотреть, — вздыхая, ответил дед. — Старые акции того АО я давно порвал, теперь вот этот зомбиящик тоже выкину... Пойдём лучше гулять!

Маленький Дракон и большой Дракон

Сказка эта об одном сказочном королевстве, где властвовал Дракон.

Издавна в том королевстве правили Драконы. Отец маленького Дракона умер уже десять лет назад и стал править его сын — маленький Дракон.

Сначала маленький Дракон правил очень немудро, но придворные старались не замечать его ошибок. Наоборот, они преувеличивали заслуги маленького Дракона, чему он был несказанно рад. Он осмелел, несколько возмужал, стал более уверенным в себе. Он стал не обращать внимания на мнения своих придворных, хотя поначалу к ним прислушивался и спрашивал их советов.

И как-то незаметно маленький Дракон превратился в большого Дракона.

Большой Дракон заслонил собой здравствующего маленького Дракона, который рос и правил королевством.

Если параметры маленького Дракона были всем известны (вес и рост при рождении, вес и рост в последующие годы), то параметры большого Дракона измерить никто в королевстве не мог. Как можно измерить степень проникновения большого Дракона в жизнь королевства, если все жители, а главное — все чиновники того королевства, как попугаи, повторяли к месту и не к месту все поистине исторические и умнейшие, как они ошибочно полагали, изречения и приказы большого Дракона? Как можно измерить степень влияния большого Дракона на умы жителей, если постоянно к месту или не к месту повторяли приказы и изречения большого Дракона? Как-то придворные вознамерились определить истинные параметры большого Дракона, для чего они пригласили для консультации главного в королевстве колдуна. Придворные посулили колдуну большую сумму денег, если он определит истинные параметры большого Дракона. Но колдун что-то долго раздумывал, колдовал над различными колбами и сосудами, шепча себе что-то под нос, после чего заявил, разводя руками:

— Сожалею... Субстанция крайне нестабильна, растёт не по дням, а по часам и минутам, стремится захватить всё большее пространство. Однако голос свыше мне говорит об обратном явлении, что должно насторожить всех: субстанция может уменьшаться в размерах, причём, степень этого волшебного уменьшения нельзя даже определить!

— И что же тогда будет? — удивился один из придворных.

— Ничего хорошего не будет, — честно заявил колдун, не думая о последствиях.

— Как это?

— Вот так... Субстанция может уменьшаться и уменьшаться с невероятной быстротой! До полного исчезновения её в природе.

— И ничего нельзя сделать?!

— Нет, ничего... К сожалению... Рост субстанции, как вижу, искусственный, он скоро прекратится...

Колдуна выгнали, заточили в темницу, после чего сожгли на костре. Но пока степень влияния большого Дракона на умы людей в королевстве увеличивалась и увеличивалась не по дням, а по часам и минутам!

Историки вспоминают, как маленький Дракон познакомился с большим Драконом. Воистину то была знаменательная встреча! Однажды маленький Дракон увидел, что все придворные и министры в его королевском дворце похожи на него. Казалось, его окружают только его копии! Маленький Дракон протёр от удивления глаза, но министры и придворные не исчезли, стояли рядом, будучи как один похожи на него самого! И даже одеты были они в тот же наряд, что и он сам!

Перед ним стоял министр обороны, но маленькому Дракону казалось, что и министр обороны не кто иной, как сам маленький Дракон!

«Вот это да! — подумал маленький Дракон, хватаясь за голову. — Все они абсолютно похожи на меня! И говорят, как я, те же самые слова и выражения: сопли жевать, пыль глотать, отрезать по самый корень, чтоб не выросло, мозги заменить!»

Подумав, что он перепил и ему показали его собственные копии вместо разных министров и придворных, маленький Дракон удалился в спальню и заснул крепким сном. Наутро он не спеша встал, потягиваясь и думая, кого он сейчас увидит: свои копии или настоящих людей, которые всегда окружали его? К неописуемому ужасу маленького Дракона он увидел, что вошедшие слуги тоже были похожи на него, как две капли воды, говорили тоже как и он и одеты тоже были как и сам властитель.

Потом шёл к нему пресс-секретарь с текстом будущей речи во дворце. И пресс-секретарь тоже был похож на маленького Дракона, тоже был одет, как и маленький Дракон, тоже употреблял любимые словечки маленького Дракона!

Маленький Дракон два месяца находился в пресквернейшем состоянии духа, был невесел, молчалив, даже рассеян. Но потом он смирился с нахождением своих многочисленных копий вместо тех, настоящих, живых придворных и министров. Со временем он стал смеяться, когда, входя в большой зал, видел себя собственного в неисчислимом множестве. Ему стали приятны его копии, повторяющие все его слова и любимые выражения, думающие как он, бездумно подражающие ему! Маленький Дракон понял, что случайностей в мире не бывает, и что это не происки внешних и внутренних врагов, число которых постоянно почему-то

всё увеличивается и увеличивается. Это появление большого Дракона в королевстве — государственная необходимость, созданная для безопасности, защиты от многочисленных экстремистов и террористов.

И когда министр полиции докладывал маленькому Дракону о состоянии дел в королевстве и необходимости выделения большей суммы денег на борьбу с внешними и внутренними врагами, маленький Дракон спросил:

— Ещё денег?

— Да, — ответил твёрдо министр полиции, — без кровавых соплей не обойтись! Пока не все в нашем королевстве похожи на вас, ваше великое величество!

— Неужели? — несказанно удивился маленький Дракон.

— Да, пока не все. Поэтому надо бороться с теми, кто не похож на вас.

Маленький Дракон, конечно, понимал всю опасность большого Дракона, проникновения его во все сферы жизни королевства. Но считал необходимостью появление большого Дракона для своей безопасности и защиты от разных внутренних и внешних врагов.

Порой маленькому Дракону даже чудилось, что не он вовсе управляет королевством, а тот большой Дракон, тот многоликий и многорукий Дракон-монстр, которого он побаивается и которого слушают все жители королевства.

Маленький Дракон долго думал о том, как бороться с большим Драконом, но не мог придумать, как с ним бороться.

— Ничего... — сказал сам себе маленький Дракон. — Вот сначала доклады читать не буду по бумажке, которые мне приносят! Сам буду говорить, что думаю...

Но даже этого не смог выполнить маленький Дракон: поутру ему принесли новый доклад и он покорно прочитал его в большом зале для своих министров и придворных. Придворные и министры, будучи похожи как один на маленького Дракона, хлопали речи большого Дракона.

Вот так буднично и однообразно протекала королевская жизнь маленького Дракона, который всю жизнь мечтал стать большим и очень знаменитым на весь мир Драконом...

К сожалению, наша сказка на том заканчивается.

История умалчивает, что приключилось потом с маленьким Драконом, как и с большим Драконом. Лишь известно, что со временем люди стали похожи на самих себя, даже придворные и министры маленького Дракона.

Что же приключилось с маленьким Драконом, как и с большим Драконом, никто того не знает... Может, в самом деле слова колдуна были пророческими?

Вот и сказке конец. Кто понял, тот молодец!

Эльдар Ахадов

Северные истории



229

Эльдар Ахадов
Северные истории

Ирисовые степи

Хакасия и Красноярский край — не просто соседи. Столетиями многие тысячи людей, селившихся в этих местах, собственно, и не отделяли ни судеб своих, ни истории своей друг от друга. И до сей поры оно как-то так сложилось: только наступит жаркое лето, как целыми табунами спешат автомобили с красноярскими номерами к хакасским озёрам Шира и Белё или мимо них к южным красноярским Ермаковскому да Шушенскому районам на отдых. Да и по служебным надобностям не мы ли то и дело устремляемся на юг — то в хакасский Абакан, то в близлежащий к нему красноярский Минусинск?

Ну что я о других? Со мной-то ведь то же самое было. То на отдых поедешь, то по работе надо. И вот от одной из служебных таких поездок остались у меня на всю жизнь волшебные воспоминания. Захочу о чём-то хорошем подумать, закрою глаза, зажмурюсь и снова вижу...

Ехал я поездом — простым, не скорым. Когда поезд нескорый, многое можно в дороге увидеть такого, чего на скором поезде — пролетишь и не заметишь никогда. Был самый конец мая. Поезд после Ачинска свернул к югу. Он и до Ачинска не шибко спешил, ну а после...

Про такое говорят, вспоминая некогда популярный мультфильм, — «Поезд из Ромашково». Это когда, где собака залаяла — там и остановка. И вот в вечерних сумерках уже среди голых хакасских холмов выплыла навстречу несуетному моему поезду железнодорожная станция со сказочным названием Сон.

Помню: на станции торговали пирожками и молоком местные бабушки. Поскольку станция называлась так странно, то и всё местное казалось мне таким же: сонные бабушки, сонные собаки, да и поезд, мινующий хакасские степи сквозь, так сказать, Сон. Но самыми сонными были пирожки. Только во сне могли привидеться такие пышные пирожки столь чудовищных размеров! По виду все они были обычными жареными пирожками с картошкой и капустой. Но по размеру — скорее, больше гармонировали бы с мамонтами, а не с людьми. Чуть ли не до полуметра в длину каждый!

Я не знаю: может быть, у них просто тесто было такое сонное, что продолжало неуклонно раздуваться и разрастаться даже в кипящем масле? Никогда в жизни — ни до, ни после — я не видел больше ничего сходного по размерам с теми пирожками! Не доев и до половины один-единственный пирожок и запив его несколькими глотками сонного молока, я, разумеется, тут же уснул.

И вот, проснувшись ранним-ранним утром в абсолютно спящем поезде где-то посреди чуть всхолмлённой бескрайней хакасской степи, я, естественно, потянулся к окну. Раз у меня «поезд из Ромашково», то как бы пора и рассвет встречать! Отодвинул занавеску, взглянул на степь и мысленно, чтоб не разбудить соседей по вагону, — ахнул...

Про то, что где-то в южных степях каждой весной сплошным ковром зацветают алые маки, — слышал. Даже видел в каком-то фильме. Про то, что в других степях повсюду цветут дикие тюльпаны, тоже знал. Но тут!..

Степь не адела маками и не пылала от жёлто-красных тюльпанов. Степь была аметистово-фиолетовой. Как космос. Как небо в горах! Она цвела ирисами. Цветами, которые я до той поры считал прихотливой и исключительно садовой культурой.

Ирисам не было ни конца ни края! Свежий утренний ветер шевелил нежные цветы. И оттого вся степь казалось живой, дышащей, чувствующей нечто такое, что даже и вовсе нам, людям, недоступно. Так хорошо, так привольно было на душе от всего этого...

И, повторяюсь, вправду с той поры как захочу себе настроение поднять, так зажмурюсь крепко-крепко, притихну и смотрю на волшебные ирисовые степи. Долго-долго смотрю.

Гусиный пролёт

Хороша тундра в любое время года. И в разные времена года красота эта по-своему открывается. Неправду думают — дескать, это нечто плоское и однообразно унылое, покрытое вечными мёртвыми снегами. Как бы не так! Всё здесь движется и живёт своей жизнью, даже ветер, даже змеящийся сквозь него снег.

Земля в тундре — где повыше, а где пониже: и овраги есть, и русла рек, и холмы удивительные — ледяные.

Весной, когда только сойдёт снег, тундра — почти чёрная, но не совсем, а скрасна. Так набухающие почки деревьев первыми указывают на смену времени года, наполняясь свежими соками, предугадывая собой и будущее цветение, и свежую нежную зелень.

Потом начинается разлив рек, могучий и широкий, — от края до края небес. Только озёра долго ещё стоят недвижно под полупрозрачной тонкой корочкой льда, зацветшего всеми цветами радуги. Некоторые — синеватые, другие — коричнево-зелёные с белыми зимними прожилками...

А летом тундра пахнет свежим мхом, травой и вызревающей ягодой морошкой живого солнечного цвета. И дышит коротким знойным покоем.

Но более всего нравится мне в тундре осень. Она здесь короткая, но неторопливая, с ясными, прозрачными полднями и сказочными непроглядными ночными туманами. Земля по осени становится в тундре цветной. Одни травы и кустики краснеют, другие желтеют, третьи становятся бурыми, а четвёртые — по-августовски ещё так и остаются сочно-зелёными.

Но самое запоминающееся осеннее действие — это пролёт гусей! Бесчисленными стаями проносятся они днём на юг по лазурному небу... И не только днями летят они. Однажды глубокой осенней ночью на дальней буровой я вышел из вагончика поглядеть на звёзды. Почему-то не спалось. Увы, звёзд видно не было. Под светом прожекторов медленно клубился туман. Поставя с минуту, я уже было собрался обратно в балак, но тут услышал шуршание невидимых крыльев. Множества крыльев. Шуршание было столь явственным, что казалось: они могут задеть мою голову.

Этого не произошло, но тут в клубящейся белесой темноте возникли голоса птиц. Не крики, не зов, а именно голоса! Как на птичьем дворе. Оказывается, гуси в полёте переговариваются между собой точно так же, как на птичьем дворе в какой-нибудь деревне. О том, что гуси могут одновременно и лететь, и гоготать, мне в тот момент и в голову не приходило! И осталось такое ощущение, будто сам птичий двор, поднялся в воздух и движется в мою сторону.

Голоса пролётных гусей растворились в тумане. А я ещё долго стоял в темноте, всё ожидая чего-то... Разве такое забудешь?

«Чебурашкины уши»

Это было возле устья ручья Рогатого недалеко от покрытого густым лесом горного хребта Борус на юге Ермаковского района. Время стояло летнее, июньское. Разбили геологи на ночь палаточный лагерь посреди горной тайги.

Поздний вечер. Только что прошла гроза. А гроза в горах — явление особое. Ливень такой, будто вода с неба рушится живой прозрачной стеной. Молнии такие, что глаза на мгновение слепнут. Гром такой, что земля под ногами вздрагивает, а слух отключается, как при контузии. В общем, после всего пережитого сразу-то и не уснёшь.

И только отряд полевой утомился в полусырых спальниках, только перестал обращать внимание на неистребимый комариный звон, как в том углу палатки, где хранились харчи, послышалось некое деловое шевеление и сопение. Палатка была вместительная, четверо — двое геологов и двое полевых рабочих — умещались в ней свободно. И продукты в мешках, местами подмоченных ливнем, сушились здесь же.

Неизвестные существа явно намеревались заняться исследованием, бережно уложенной провизии. При свете луны сквозь палаточное полотно явственно виднелась небольшая, но и не совсем уж маленькая, движущаяся тень. Мужики

встрепенулись. Кто-то включил фонарик. Точно! На мешке с крупами прямо возле костлявых ступней полевика, ошалело выбравшегося из своего спальника, сидело никому не известное животное.

Оно деловито перебирало рис, совершенно не обращая внимания на человеческий фактор. Так пересчитывают свою прибыль, так являются с прокурорской проверкой, так описывают имущество банкрота, но так никогда не воруют! То, что «оприходовал» зверёк, он чужим явно не считал, всем своим видом показывая, что людям тут делать нечего и претензии, как говорится, не принимают.

Зверёк осветили фонариком поподробнее и... пришли в замешательство. Никто не знал, что за животное копошится среди съестных припасов. По размеру оно было крупнее любой мыши, любого бурундука, любой белки и даже любой крысы, однако и до медвежонка (по размерам) ему всё-таки было далеко.

Не хомяк. Не суслик. Но явно — грызун. «Лицом» более всего напоминающий далёкого от всего таёжного австралийского коала. Уши — смешные, «чебурашкинские». Но ведь коал-то в тайге не водится! Тогда что же это?

Кто-то запустил в него сапогом, не сдержавшись при мысли о явном опустошении отборных съестных припасов всего полевого геологического отряда!

Зверёк спокойно увернулся от сапога и на мгновение задержал особый взгляд на нападавшем. Так порой из-под очков взглядывает на провинившегося обормота школьный учитель. А далее — «складской учёт» продолжил свою работу.

Наутро выяснилось, что, во-первых, несколько пачек риса и гречки совершенно пусты, а во-вторых, зверёк действовал не один. Их тут было целое семейство! И дневного света они, оказывается, тоже не боятся. Сколько геологи ни пытались отвадить эти существа от своих палаток — увы, все методы убеждения были напрасны. Оказывается, их нора находилась прямо под одной из палаток, и, естественно, люди в их понимании являлись здесь всего лишь гостями, причём незваными. А в гости в приличные дома принято ходить с гостинцами. Продукты же, по их разумению, входили именно в такую категорию предметов дарения.

Весь полевой сезон на ручье Рогатом можно было наблюдать такую картину: сидит геолог на пенёчке, записывает за сколоченным из досок столом свои наблюдения, делает абрисы всякие, а тут же, у его ног, деловито копошится непонятное существо из отряда грызунов и редкостных нахалов, перетаскивая из людской палатки очередной «гостинец».

Ну, а поскольку кровожадных охотников среди полевиков не оказалось, то и среди мохнатых «экспроприаторов» потерь не было. Увы, но и фотоаппарата в тот полевой сезон не было с собой ни у кого из присутствовавших. Так и остались лишь в памяти человеческой эти чуть удивлённые круглые глазки-зёрнышки, упитанные деловитые бока (со складками почти как у шарпеев) и странные

крупные и мохнатые «чебурашкины» уши. Так условно «чебурашкиными ушами» и называют их до сих пор очевидцы этой истории, когда встречаются случайно где-нибудь в городе и вспоминают о том времени.

А кто это был — да, кто ж его знает? Мы ведь на той земле таёжной — в основном гости незваные, а хозяева-то — они. Вот им и виднее, кто есть кто.

Туманы тунгусские

Плывут туманы над Нижней Тунгуской. Плывут, плывут. Просвечивают сквозь них высокие, протяжные, словно эхо, берега — где высокие да обрывистые, где низкие да замшелые. Бегут по берегам деревья лесные — лиственницы, берёзки... Бегут, бегут, прячутся в туманах от ветра осеннего, студёного, неперменного. А не укрыться им за туманами, не спрятаться! Разнесёт ветер и туманы, разнесёт, разгонит, а что не разгонит — то в небо подымет, в облака-тучи обратит, дождями на землю прольёт, снегами выметет...

Плывут туманы над Нижней Тунгуской, словно призрачными ладонями, словно пальцами белесыми чуть касаясь реки-красавицы. Ожерельями-плёсами расплескались вдоль неё бесчисленные бусинки-самоцветы — сердолики рыжие, кварцы молочные, прозрачные горные хрустали да цветные яшмы...

Говорят, если терпеливо вслушиваться в туманы, то можно порой различить в них древний, манящий, таёжный голос, сказочный голос девки-Синильги... Плывут туманы над рекой, плывут, словно души человеческие, Синильгой замороженные, влюбившиеся в эти берега, в эти оленьи тропы, в эти поющие горлом диковинные эвенкийские скалы...

Ходят в глубинах речных, изумрудных, рыбы могучие — бесценные тёмные таймени. Светом брызнувшим отражаются на речных волнах радуги небесные. И, конечно, наступают однажды, ледяные, морозные ночи долгие, дни короткие...

Утечёт время, выгонами завьётся — снегами уляжется, унесёт путника далеко-далёко от сибирской реки. И вдруг ненароком вздрогнет оно в самом сердце, вернётся эхом, наснитися-нагрезится — и поплывут, поплывут снова сквозь память человеческую волшебные туманы над Нижней Тунгуской...

Живое солнце

Руками его не потрогаешь. На вкус не попробуешь. Но оно — живое. Такое же живое — как небо. Живое солнце. Вот оно переливается в радуге. А вот становится свечкой над горизонтом... А вот — прорывается сквозь облака, прорывается, мутнеет и тонет в мареве... и опять прорывается. Пока не прорвётся окончательно. И тогда сияет, как улыбка. Простодушно так сияет, смущается и... опять сияет.

А вот ветер бросается в него песком и пылью. А вот волны рвутся к нему, насмерть разбиваясь о скалы. А потом — опять рвутся к нему. Потому что смерти нет.

Вот оно заходит за горизонт и сияет оттуда, из-под земли, цепляется лучами-пальцами за

ускользающее, истаивающее аметистовое небо. А вот — не заходит совсем. На Севере. Не заходит — и всё. О, какое упрямое! С характером!

Живое солнце. Обидчивое. Зимой ему холодно. Покараснеет от мороза, уйдёт с горизонта и греется где-то на юге. Вот же нежное какое! Вообще до весны может не выглядывать. В южные края подаётся, вместе с птицами. Там хорошо. Там всегда лето.

Живое солнце. Очень живое. В руки не даётся. Вечно перекатывается. Вечно торопится куда-то. Мир посмотреть. Себя показать. В мире ведь всё живое. Всё живёт. Всё дышит. Всё чувствует. Всё понимает. Всеми больно. Ото всего радостно. Ничему нет конца...

В далёкой северной стране

В одной далёкой-далёкой северной стране, где всю осень и всю весну над заснеженной землёй сияет двурогое солнце, а нескончаемой зимней звёздно-морозной ночью молчаливое небо полыхает всеми цветами радуги, живут маленькие человечки сихиртя. Там, посреди бескрайней тундры, из одиноких ледяных холмов по древнему обычаю каждый день выводят на прогулку покрытых рыжевато-коричневой длинной шерстью мамонтов с очами сияющими, как летящие голоса журавлиного клина.

Сихиртя — смешные, суетливые человечки, заглядывают в эти глаза, словно в тёмные тундровые озёра с мшистыми бурными берегами, и умолкают. И устремляют они взгляды свои к высокому живому серебристому небу, проплывающему над застывшими белоснежными облаками. И поют они свои волшебные песни. И ездят верхом на мамонтах своих по широкой, раскрытой, как ладонь доброго человека, земле.

А потом, когда мамонты нагуляются, а двурогое солнце отправится отдыхать туда, где кончается небо, маленькие бабушки и дедушки сихиртя собирают вокруг себя внучат и начинают рассказывать им волшебные сказки о далёких-предалёких южных странах, где растут пальмы, кричат попугаи и шумит тёплое изумрудное море.

Ребятишки сидят у костра, слушают сказки и смотрят, как в отблесках пламени возникают и вновь исчезают диковинные огненные картины: то ли тигры рычат, то ли верблюды бредут по пустыне, то ли ещё что-то... И слушают. И засыпают.

Удивительное это место — земля. Всё у неё есть: и небо живое, и солнце двурогое, и страны — дальние, диковинные...

Волшебные розы тундры

Чтобы в тундре розы сами собой цвели? Да слышанное ли это дело? А вот я их видел. И не где-то, когда-то, нет, я сегодня их видел, сегодня — 21 июня, в тот же день, когда пишу эти строки, видел своими глазами! И цветут они по всей тундре. И ни конца им ни края нет... То не простые розы — волшебные. Руками их не сорвать, в вазу не поставить, а вот увидеть — пожалуйста, каждый может! При одном-единственном условии: надо оказаться в летящем вертолёте.

Снег в тундре только-только сошёл, обнажив присмирившую за долгую зиму буровато-серую землю. Рыхлый, одряхлевший, во многих местах тонкий, просвечивающий лёд ещё покрывает бесчисленные озёра. А из них стебельками, образуя причудливые орнаменты, тянутся всюду мелкие речушки и ручьи, покрытые притулившимися по склонам, прячущимися от неутомимого незакатного солнца снегами...

И вот если оказаться в это время над тундрой, то оттуда, с неба, глазам откроется удивительная картина: вся земля — от горизонта до горизонта — покрыта прекрасными белоснежными розами! Озёра, ещё не свободные ото льда, — как застывшие бутоны. Старый подтаявший лёд во многих местах вобрал в себя озёрную воду, и поэтому основной белый цвет бутонов пропитан разнообразными, зачастую неожиданными оттенками — зеленоватыми, голубоватыми, желтоватыми, розоватыми — любимыми, какие только можно и даже нельзя представить себе!

Отчалили, ушли в синее безбрежное далеко, глубокие, словно зимние сны, льды крупных широких рек. А здесь, у озёр, всё ещё висят над ручьями проседающие ярко-белые сугробы, в точности повторяя собой каждую извилинку, каждую речную морщинку. И оттого кажется сверху, что ручьи и речки — это нежные стебли огромных роз — с шипами лобзинок и овражков на них...

И когда видишь с неба, как усыпана этими нерукотворными, незримыми с земли волшебными розами вся тундра, то чудится вдруг, что и у нас, людей, всё будет хорошо, и что беды наши однажды пройдут, а то и вовсе минуют нас, и что все ошибки простятся, а все заблудшие вернуться домой...

Ведь если даже в этих вчера ещё пустынных и диких, суровых краях цветут нерукотворные розы, значит, кто-то непременно нас любит. Любит бескорыстно, не требуя ничего взамен, любит и прощает всех, даже тех, кто не хочет об этом знать...

Мохнатый пассажир

Есть на тихом севере Туруханского края местечко такое — Ванкором называется. Когда-то этого названия никто и знать не знал, а теперь спроси хоть кого — каждый хоть краем уха да слышал. Открылось в тех местах большое нефтяное месторождение. И теперь там много народу работает.

А вот дорог туда проезжих отродясь не было. Лес вокруг да болота на сотни километров. И поскольку грузы разные для работающих постоянно нужны и не всё подъёмно для авиации, то и построили люди к тем местам временную зимнюю автодорогу из снега, полили её водой, чтобы снег в крепкий лёд обратился, чтобы надолше её хватило для перевозок, и начали по ней ездить грузовые машины.

Дорога долгая, нередко шофёрам приходится ночевать прямо в кабине. Куда тут денешься, если вокруг на сотни вёрст порой никакого жилья? Всякое случается в рейсе. Вот и появилась вскоре среди водителей такая легенда: есть, мол, на дороге место, где стоит возле неё песец и ждёт

проходящей машины. И если водитель останавливается и открывает кабину — песец тут же в неё заскакивает, садится на пассажирское сиденье и смотрит вперёд. Машина отправляется дальше уже вместе с пассажиром. И так — до определённого места, когда вдруг зверёк начинает беспокоиться, всем видом своим требуя, чтобы его немедленно выпустили. Дверь кабины открывается, песец спрыгивает и исчезает за сугробами.

Но и это не всё! На обратном пути можно снова встретить того же песца — «автостопщика», ожидающего у обочины «попутки»! И история повторяется, но теперь уже в противоположном направлении.

Так ли это было — проверить не могу, но песцов на буровых видел своими глазами предостаточно. И не раз. Кормятся они возле людского жилья. Сами приходят. Правда, при одном условии: если рядом с жильём нет собак. А появятся собаки — и не поминай лихом! Уходит песец. Хотя я думаю, что недалеко уходит. За человеком ведь глаз да глаз нужен. Какой же песец человека без присмотра оставит?!

Реликтовое чудо

На самом юге края среди осенних саянских хребтов, словно рыжей шерстью, покрытых густым лиственничным лесом, по мягким огненным хвойникам, сплошь устелившим тропу, спускался в долину реки Ус улыбочивый рыжебородый топограф с большущим рюкзаком за спиной. Лисичкину нравилось так вот идти вперёд, не зная в точности, что ждёт тебя там, хотя, конечно, и карты у него с собой были, и компас, но всё-таки — не дано им всего предусмотреть.

Карта ведь не знает, какое именно время года сейчас, а компасу, верно определяющему направление к цели, никак не угадать настроения своего хозяина.

А там, за самой последней, высокой, скалой, открывалась чудесная панорама на просторную долину Уса, со всех сторон обрамлённую мохнатыми оранжево-жёлтыми горами. Удивительно, как это такое широкое, просторное и плоское могло уместиться среди царящего всюду по горизонту высокогорья?

Направлялся Лисичкин мимо деревни Терешкино в Верхнеусинск, там его должны были ждать товарищи по партии, не политической, разумеется, а по своей профессиональной — топографической. Однако, не доходя до берега Уса с его прозрачными быстрыми водами, в которых на каменистых перекатах, в ямах за валунами и в глубоких заводях обитают хариусы, ленки и даже таймени, он вдруг свернул в сторону, противоположную намеченному маршруту. А Лисичкин зря в сторону не свернёт. Что ж ему такое встретилось? А вот что...

В первые мгновения, когда Лисичкин заметил это, ему показалось, что он путешествует во времени и случайно, словно в фильме Стивена Спилберга, оказался в парке юрского периода. Возникшее перед ним настолько поражало воображение, настолько завораживало, что пройти мимо,

прикинувшись, будто этого нет, оказалось выше его, лисичкинских, сил. Если не поднимать голову вверх и просто смотреть на то, что он увидел, то это кажется исполинскими ногами динозавров, от одного их вида которых веяло чем-то невообразимо давним. Реликтовая роща гигантских лиственниц! Сколько сотен или тысяч лет простояли здесь эти деревья? Как удалось им уцелеть и дожить до нашего времени?

В обычном лесу между крупными деревьями умещаются и кустарники, и мхи, и травы, а в этом — дерево от дерева находится на приличном расстоянии — до десяти-пятнадцати метров, но ни травинки, ни мшинки не растёт рядом с ними. Лисичкин посмотрел вверх, и взгляд его тут же словно заблудился там, в кронах величественных лиственниц, там, откуда, наверное, начинается вечность. Увиденное настолько поразило его воображение, что он даже не догадался, даже забыл прикинуть хотя бы на глаз, хотя бы в уме, какой они были высоты и какого обхвата. О чём, кстати, долго сожалел после.

Долго, как зачарованный, бродил топограф по реликтовой роще, но всё когда-то кончается. Небо затянули низкие тучи, начал крапать нудный осенний дождичек. Лисичкин очнулся, вздохнул, натянул на рыжую голову капюшон и повернул в сторону Верхнеусинска.

Много лет минуло с той поры, прошлись годы и по лисичкинской бороде, сединой её припорошили, а вот память о той роще не тронули...

Как у нас грибы мешками собирают

О грибах, если не любить тихую грибную охоту, лучше ничего не рассказывать. Всё равно ничего путного не получится. Да, и не всякий заядлый грибник способен толком объяснить, что в этом деле такого особенного. Наморщит лоб, скажет что-нибудь несурзное, сам поймёт, что не то сказал, махнёт на вас рукой: мол, что тут с вами разговаривать — и дальше пойдёт горе горевать оттого, что есть же на свете люди — даже в грибах ничего не понимают!

Впрочем, знаю я, и, к счастью, не только я, одного замечательнейшего писателя-грибника, у которого на эту тему есть до того чудесные рассказы, что любо-дорого их читать. Зовут писателя Борис Михайлович Петров. Наш современник. У него, конечно, за долгую и богатую жизнь не только об одних грибах, а о многом мудром и житейском книги написаны. Всем, кто ещё не читал, всенепременнейше рекомендую это сделать. С великим почтением относясь к знаниям и писательскому таланту Бориса Михайловича, в первый и последний раз в жизни рискну написать на эту тему и я.

Было у меня вот каких два грибных случая...

Как-то ранним августовским утром, когда солнце ещё даже не жмурилось из-под леса сквоз подсыревшие за ночь толстые нижние ветки, от посёлка Раздолинск, что в Нижнем Приангарье, по пыльной просёлочной дороге направился на уазике за грибами председатель золотодобывающей артели Мануйлов Василий Николаевич.

Сам поехал и меня взял с собой. И была с нами в кабине целая куча пятиведёрных мешков из-под картошки, о назначении которых я спросонья совершенно не догадывался. Да и с какой такой стати и какого приезжего сразу бы осенило, что в эти мешки Николаич намерен собирать грибы? И не сыроежки какие-нибудь, а натуральные белые! Причём исключительно боровики! И даже когда он сам сказал мне об этом, я всё равно не поверил. Виду, конечно, не показал: мало ли что, а вдруг? Но про себя так еду и думаю: чепуха какая-то.

Оказалось, нисколько не чепуха. Только солнце проснулось, как подъехали мы к холму, поросшему хвойным лесом. Сосны это были, ели или пихтач — к великому сожалению, не помню. Да и немудрено было не упомянуть! Только стали мы вверх по холму подниматься, как повсюду, буквально повсюду, стали замечать сплошь заросшие боровиками пятачки! Ни до, ни после я такого просто не видывал! Грибы были средних, малых, а по большей части — просто гигантских размеров. Чудовищных размеров! Со шляпками в 30–40 и даже в 50 сантиметров! Утро было сыроватое, ночной туман только сошёл вниз. И грибным духом от этого лесного холма буквально разило.

Из-за больших размеров и лесной сырости местами шляпки особо крупных грибов были, конечно, заметно подпорчены разными лесными козявками. Однако Николаич и ими не брезговал. А что? Всё равно же варить будем, а после горячей обработки никого копошащегося в тех шляпках точно не останется. За полчаса, ну, от силы минут за сорок, весь уазик был доверху забит пятиведёрными грибными мешками.

С того времени прошло лет десять, и оказался я в иных краях: на автомобильной трассе Абакан-Красноярск, в той её части, которая проходит по Новосёловскому району, то бишь возле Красноярского моря. Есть там местечко под названием Приморск, его многие знают, хотя оно не на самой трассе. В этот раз оказался я в уазике со знающим местные окрестности водителем. Ручищи у него были здоровенные, руль в них казался игрушечным, да и сам он с комплекцией своей непонятно как умещался в машине. Насчёт многих вещей большие люди (в прямом смысле большие) отчего-то, как правило, весьма наивны. Как дети малые — только роста и размера детского. У них и хитринка, если есть, тоже наивная, ребяческая. Не наблюдал я среди крупноразмерных людей злобных вредин или коварства какого... хотя, ведь попробуй обидь такого, вот уж кто дров наломает-то по широте душевной! Никому мало не покажется.

Ехали мы издалека, потому я задремал по дороге и не заметил, как мой хитрован свернул с трассы на просёлок, а вскоре остановил машину и тихонько исчез в кустах, прихватив с собой... пару больших пустых мешков. Шёл август месяц... Очнулся я от непонятного шума и треска. Мой скрытный, но не совсем уклюжий шофёр споткнулся в ближних кустах и свалился в овраг, который там начинался. На этот раз я как-то быстрее догадался в чём дело. Очевидно, он давно приметил это грибное место,

а может, кто подсказал.. да, точно, подсказали. Только в этот раз речь шла не о боровиках, а о грибах поскромнее—лисичках. Но тоже о немалых их количествах. Все склоны оврага были усыяны светло-оранжевым богатством! Невольно и я втянулся в сбор грибов. Вскоре мешки кончились, и с детским огорчением на широком лице мой грибник и я покинули естественную грибную «плантацию».

Всякий раз, вспоминая те случаи, не перестаю удивляться: до чего же щедро сибирская земля! И ничего ей для нас не жалко. Никаких богатств. Вот бы и мы, люди, хоть иногда с неё пример брали! Делились бы друг с другом, а то, может, и ей, матушке, хоть что-то вернуть пытались. Пусть и не ждёт она ничего такого от нас, и просить никогда не станет, а всё равно и ей бы приятно было, а грибы-то уж точно тогда ни за что не переводились.

Живая вода

Спешит Енисей—Бий-Хем с вершин тувинских, кипит в валунах, кружит в омутах, тёмным стеклом течёт то под солнцем палящим, то подо льдом блестящим. Плутает вода между гор Саянских, в сотни метров стеной встаёт перед людскими плотинами и низвергается с них, рождая вечные радуги...

Эй, вода, вода! Что ж тебя так тянет к человеку? Ты ли не знаешь, на что он способен? Не о нём ли печалишься? Не с ним ли делишься влажною своей вечною силой? Не его ли бесчисленные лодки да корабли несёшь ты на могучих руках своих к вечному арктическому океану? И не их ли радостно встречаешь потом? И не ты ли пристываешь к его берегам по зиме? Не на тебе ли оставляет он тогда свои снежные следы-кружева? Не к тебе ли города его да селения лепятся? Не в тебя ли палки острые да камни шальные летят порой с людских берегов?

И стоит, стоит иной добрый человек, любит, как вздрагивает вода твоя от внезапной боли, как брызгами-слезами умывается, волнами с того места пытается убежать поскорей.

И спешат за тобой, спешат не только худые или добрые дела, а чаще того—худые или добрые слова. И если добрым было слово сказанное тебе вслед, то такое же добро несёшь ты другим. А если худым, то утягиваешь, уносишь с собой души живые в свои глубины, в даль невозвратную...

Прими же, прими поклон людской, река Енисей, река быстрая, сибирская! С воды твоей всё здесь начинается, с нею множится, в неё истекает, с нею—бессмертно...

ДиН детям

Наталья Данилова

Ветерок озорничал

Ветерок озорничал,
В подворотнях бегал,
На мосту фонарь качал,
Колокольцами бренчал,
С крыш бросался снегом.

У прохожих рвал из рук
Свежие газеты,
У продрогших двух подруг
Выхватил береты,
Старый флюгер закружил
В энергичном танце,
Карусель запорошил,
Огоньки все затушил,
Лёд подёрнул гляncем.

По бульварам проскакал
Рыцарем отважным,
С тротуаров дань собрал—
Длинный шлейф бумажный.

А потом что было сил
Дул в печные трубы.
Повторить концерт просил
Чей-то голос грубый.

Водосточная труба—
Ржавая старуха—
Пожелала ветерку
Ни пера ни пуха!

Ветерок озорничал,
Весело резвился,
Громко форточкой стучал,
Старый дед ему кричал,
Чтоб угомонился.
Только рано на покой
Ветру-малолетке,
Не сидеть ему с тоской
В золочёной клетке.
Он на то и ветерок,
Чтоб лететь, не чуя ног,

И шутить при этом,
Чтобы к нам вернуться смог
Через тысячу дорог
С пламенным приветом!

Елена Тимченко

Возвращение командора

Из книги «Путешествие по Красноярскому краю»



235

Елена Тимченко
Возвращение командора

Командор, камергер, кавалер...

— Это что за кандибобер? — изумилась бабушка, заведя в дверном проёме «величественную» фигуру внука Илюши.

Иван радостно плюхнулся в кресло в предвкушении весёлой перепалки, с уст его уже готовы были сорваться ядовитые стрелы:

— Это что за явление природы в бабушкиной шляпе?

Действительно, костюм брата венчала лихо заломленная бабушкина шляпа, чёрный платок обвивал худенькие Илюхины плечи на манер плаща, а на алой ленте у левого бока болталась длинная спица — надо полагать, шпага?

— А я знаю, кто это, — догадалась бабушка. — Какой сегодня день? — обратилась она к старшему внуку.

— Ну, 1 марта, — ответил Иван.

— Да я в курсе, что 1 марта. Что за день?

— День смерти командора Резанова, — вмешался Илья. — Мы сегодня с бабушкой к памятнику ходили, цветы положили.

Бабушка со значением посмотрела на старшего внука.

— Понял теперь, в кого он играет?

Ваня с досадой воздел очи небу. Ну опять просвещать начнут!

— А кто мне скажет, какой титул был у Николая Петровича Резанова? — не унималась бабушка.

— Граф или князь, — недовольно пробурчал Ваня, норовя побыстрее ускользнуть в свою комнату.

— А вот и нет! — никак не отвязывалась Нина Константиновна.

— Ты мне говорила, но я забыл! — вскричал Илья. — Как-то... Камерди... Ой, неужели кандибобер?

— Вот же ты путаник какой, Илюша! Ка-мер-гер, запомни, действительный камергер его императорского величества. Резанов, как ближайший царедворец, имел ключ от чертог государевых, т. е. невозбранный¹ вход к императору.

В знак особого расположения и доверия царя камергер носил золотой ключ на голубой ленте при левой поясной пуговице. Символический ключ от царских апартаментов! Вот ты бы, Иван, дал ключ от своей квартиры человеку, которому не доверяешь?

— А почему тогда говорят о нём «командор»?

— А это почётные знаки отличия, означающие заслуги и милость монарха. Николай Петрович имел ещё орден св. Анны на алой ленте и Мальтийский крест. Как кавалеру Мальтийского креста, Резанову полагались особые почести: воинское судно и караул в его честь. Вот откуда звание «командор»!

Фамилия громкая, да карман молчит

Предки Н. П. Резанова — обедневшие смоленские дворяне.

Старинный род имел фамильный герб с 1556 года: рыцарский щит разделён горизонтально на две половины. На нижней части изображена вода. Верхняя половина щита разделена пополам вертикалью на два поля. На левом поле — изображение перекрещенных ружья и сабли, на правом — креста. Щит по сторонам окружён большими фигурами молодого воина в панцире с пикой и вздыбленного коня. Венчает герб панцирный нагрудник с забралом, короной, плюмажем.

По происхождению род Резановых старше династии Романовых, вот только были они не титулованы и не богаты.

Отец Пётр Гаврилович Резанов служил председателем губернского суда в Иркутске, затем регистратором в петербургском Сенате.

Семья Резановых дружила с великим российским поэтом Гаврилой Романовичем Державиным. Резанов получил прекрасное домашнее образование, владел несколькими языками, немецким и французским в совершенстве.

По указу Петра все дворянские недоросли начиная с 14 лет должны были идти в военную службу рядовыми. После двух лет солдатской науки Коля Резанов попал в артиллерийскую школу, в восемнадцать — в Измайловский гвардейских полк, где служили сыновья дворян со скромными доходами.

Молодого Резанова переполняли честолюбивые замыслы, везде и всегда он стремился быть первым. Он мечтал сделать что-то значительное для России, ел хлеб государя не за чины и награды, служил с рвением.

Первая русская кругосветка

В 1803 году Н. П. Резанов возглавил первую русскую экспедицию вокруг света на кораблях «Надежда» и «Нева», которыми командовали капитаны И. Крузенштерн и Ю. Лисянский.

Представь, читатель, каким непрерывным подвигом было ходить на паруснике вокруг света! Лишения, смертельные опасности и болезни, неизменный спутник дальних плаваний — цинга подстерегали отважных путешественников.

Морской путь к берегам Японии и Америки имел для России огромное значение. Купцам приходилось преодолевать пол-Сибири со своим товаром, от Охотска до Якутска, а потом вниз по реке Лена к центру Сибири. Сухопутный путь занимал не меньше года от американских островов.

1. Невозбранный — беспрепятственный, незапрещенный, незаказанный, разрешенный, дозволенный, вольный.

В свою очередь жителей Русской Америки (Аляска, Алеутские острова) нужно было снабжать всем необходимым: продовольствием, стройматериалами, одеждой, орудиями труда; книгами, чтобы учить детей, священников — предметами культа; оружием для защиты от дикарей.

Условия жизни поселенцев были крайне тяжёлыми. Непригодные острова Алеутской гряды не были приспособлены для земледелия, а леса вокруг русских фортов кишели кровожадными индейцами.

Совершив кругосветное путешествие, нашим кораблям было предписано отправиться на помощь российским переселенцам.

В наше время проще в космос слетать, чем в то время землю по морю обогнуть. Это сейчас «наша старая планета вся изучена давно», а в начале XIX века на долю наших моряков ещё достались и белые пятна, и кровожадные аборигены. Они побывали на острове Пасхи, Гавайских, Сандвичевых, Мендозских островах, заходили они и в бухту Караконца, где «славный Кук окончил несчастным образом жизнь свою» (а кто не в курсе — съели великого мореплавателя дикари).

Приложение

Мендозские островитяне

(из записок Н. П. Резанова и дневника Генриха Лангсдорфа, натуралиста)

Офицеры пригласили короля дикого племени в кают-компанию на чашку чаю. Так пришлось одному из офицеров поить его, как маленького ребёнка, потому что король никогда из чашки не пил и не умел этого делать сам. Сахарный песок привлёк его любопытство. Попробовав, он, без стыда черпая ложкой, наелся досыта — уж очень ему этот продукт понравился.

Народ, в сей бухте живущий, ведёт всегда войну с жителями соседнего острова.

Побеждённых с великим торжеством едят, а волосами их как трофеями украшают. Мёртвые головы неприятелей берегут и, вставляя в глаза и другие пустоты раковины, носят на поясах как воинское украшение.

Одежды никакой не имеют; иные носят пояс из древесной ткани, покрывающей перед, но и то редко. По несколько раз в день мажут маслом кокосовым, что предохраняет их от болезней в их жарком климате.

Из животных продуктов островитяне потребляют свинину, рыбу и кур, однако последних они разводят скорее ради перьев. Петухов они время от времени ощипывают наголо.

Собак здесь, очевидно, не знают вовсе, поскольку про нашего корабельного пса островитяне говорили: какая смешная и лохматая свинья!

Мужчины весьма рослы, мужественны и так стройны, что послужили бы прекрасным образцом для скульптуры. Женщины ростом меньше и худее.

Мужчины испещряют всё тело и даже лицо прекрасно расположенными симметрическими узорами, а у женщин только руки тагуированы, как разрисованные перчатки...

Все так здоровы, что мы ни одного прыщика ни на ком не видели. Люди достигают здесь глубокой старости. Мастера плавать и большую часть жизни на воде живут.

У обоюбого пола в ушах огромные дырки. Вместо серёг они носят разные фигуры из раковин, иногда продевают в них кости.

Религии никакой мы у дикарей не заметили, кроме суеверия и слепого к слову «табу» повиновения. Например, налить, или насорить, или бросить что-нибудь в жилище или на площади перед домом есть табу. Поэтому в доме и на дворе у них редкая чистота.

Табу есть также голова любого туземца. Во время нашего пребывания на острове мы несколько раз пытались погладить по голове детей, отчего они приходили в ужас.

Если же кто-то нарушит табу, его ждёт болезнь и внезапная смерть, ниспосланная духами. В этом убеждены все аборигены.

Обычаи их также имеют некоторые особенности. Движение указательным пальцем, означающее у европейцев угрозу, есть у них знак дружбы. Целование означает у них прикосновением носов.

Любят плясать, припрыгивая и тряся пальцами рук. Музыкальных инструментов нет других, кроме длинных бубнов, в которые бьют руками, и камышовых дудочек.

При чём здесь Калифорния?

— Бабуля, а помнишь, на открытие памятника Командору собирались пригласить знаменитого актёра Арнольда Шварценеггера? Он-то здесь при чём? — внезапно вспомнил Ваня. Ну как внезапно — по телевизору опять показывали «Терминатора». — Потому что Шварценеггер — губернатор Калифорнии.

— А при чём здесь Калифорния? Там же не было русских поселений?

— Выключи телевизор, поговорим, — предложила Нина Константиновна.

Совершая кругосветное путешествие, Резанов посетил с инспекцией Русскую Америку (это Аляска, Алеутские острова, часть Северной Калифорнии). Ведь он был одним из основателей Российско-Американской компании.

Николай Петрович своими глазами увидел бедственное положение переселенцев.

С провиантом было так худо, что люди были вынуждены собирать для пропитания ракушки и съедобные водоросли. Ели морских орлов и чаек. Оголодавших поселенцев валала с ног цинга. У людей шатались зубы и кровоточили десна. Все средства против неё, запасённые с лета, — мочёная брусника, дикий лук и чеснок, смородина — израсходованы. Хлеба давно уже не было, основу питания составляли тюленьё мясо и жир. *Представьте, вас бы всю зиму кормили одним рыбьим жиром.*

— Б-р-р! — Илью всего передёрнуло от такой перспективы.

— Жизнь в Ново-Архангельской крепости почти полностью замерла. Колоши² осмелели, они только и ждали, когда русские ослабеют настолько, чтобы их можно было взять голыми руками.

2. Колошами их называли русские за манеру индейских женщин носить в нижней губе деревянный колышек.

— Баба, расскажи про индейцев.

— Колоши, или тлинкиты—североамериканские индейцы очень свирепого нрава.

Представь, Илья, самого страшного индейца, которого тебе доводилось видеть в кино. Разрисованного охрой, мелом, углём и киноварью, в злых перьях, черноволосого и с огненным взглядом—вот такого. Тлинкиты отличались коварством и жестокостью.

Однажды колоши напали на русский форт на острове Ситка, разорили его и сожгли дотла, а поселенцев перебили. Правитель русской Америки Александр Андреевич Баранов воевать с индейцами не собирался, но за такое ужасное деяние решил примерно наказать дикарей и пошёл на штурм их крепости. Наших с моря поддерживала «Нева» под командованием Лисянского. Колоши поняли, что им несдобровать, пришли просить мира, привели с собой 10 заложников. Баранов велел для заключения мира явиться самому вождю колошей.

Всю ночь в селении индейцев завывал шаман. Наши терпеливо ждали, пока они там соблюдают все свои ритуалы. А утром русские обнаружили, что крепость покинута. Под покровом ночи индейцы ушли вглубь материка. И такая страшная картина открылась, когда наш отряд вошёл в форт! Индейцы бросили своих стариков, чтобы те не путались под ногами при отходе, а младенцев зарезали и свалили в кучу в центре поселения. Волосы дыбом встают, как представишь, что там творилось под ужасающие звуки шаманской песни!

Вот такие соседи окружали русских поселенцев.

Правда, другие коренные жители островов—алеуты—были мирными. Русские прекрасно с ними уживались, женились на алеутских женщинах. Основное занятие алеутов—охота на морских котиков и тюленей с байдарок. Промысловикам это было выгодно, чтобы алеуты на них работали...

Но, похоже, мы отклонились от курса. Штурман Илья, доложите, на чём мы остановились?

— На бедственном положении переселенцев, капитан!—отрапортовал Илья.

Иван скептически поглядывал на бабушку с внуком. Он считал себя уже слишком взрослым, чтобы играть в такие игры.

— Да. На бедственном положении... Стараясь облегчить жизнь соотечественникам, командор принял смелое решение отправиться на корабле «Юнона» в Калифорнию за продовольствием.

Итак, 1 марта 1806 года шхуна «Юнона» взяла курс от острова Ситки на юг. Это была дерзкая экспедиция и очень опасная. Мореходы пользовались картами британского капитана Ванкувера, который плавал в этих местах 10 лет назад. Их путешествие продолжалось около месяца, за это время 4 человека из команды умерли, ещё 15 слегли—цинга делала своё страшное дело.

Но вот наконец они достигли порта Сан-Франциско. Калифорния принадлежала испанцам. Поскольку в Европе шла война с Наполеоном, дипломатические отношения с испанской колонией были весьма запутанными, но, несмотря на это, в Сан-Франциско нашим морякам оказали тёплый

приём. Не забывайте, что испанцы тоже жили вдали от своей родины, можно сказать, в изоляции.

Правда, им по сравнению с нашими колониями достался настоящий рай. Ни тебе туманной, промозглой зимы, ни голода. Вечное лето. Всё росло, только в землю брось. Девственные леса полны дичи и экзотических плодов. Индейцы—и те достались покладистые.

Втайне Резанов надеялся установить постоянные торговые отношения с Калифорнией. После неудачи, постигшей его как дипломата в Японии³, он мечтал о реванше и употребил все усилия, всё личное обаяние и опыт царедворца, чтобы достичь своей цели...

У коменданта крепости Сан-Франциско была дочь Мария де ла Консепсьон Аргуэльо...—*Где-то у меня был портрет, сейчас поищу...—засуетилась бабушка. Она достала книгу, полистала её и показала внукам. Со странницы на них смотрела черноволосая прелестная барышня в белом платье с розой на груди.*



— *Вот она! Первая красавица Калифорнии!*

— *Да она ж совсем девчонка!—не удержался Ваня.— На Наташу Ростову чем-то похожа...*

— Ей и было 15 лет. К этому возрасту она уже получила строгое воспитание и считалась завидной невестой, но местные поклонники ничем не могли её удивить. Она была барышня начитанная, решительная и неглупая—настолько, что самому Резанову подсказывала некоторые ходы—как обойти, например, запрет на торговлю.

Все женщины крепости не могли глаз отвесть от золотых эполет русских офицеров, а уж командор при полном параде был просто неотразим. Консепсьон впервые видела такого мужчину. Высокий, широкоплечий, военной выправки, в красно-зелёном мундире с Мальтийским крестом на шее, на алой ленте сияет алмазная звезда св. Анны!

Русский вельможа поразил её воображение ещё и потому... Главным образом потому,—*поправилась*

3. Япония была чрезвычайно закрытой страной и торговала только с голландцами. Командор на корабле «Надежда» прибыл в Нагасаки в качестве посла, ему было поручено договориться с японцами об открытии их портов для России. Резанову пришлось провести 6 месяцев в Нагасаки, чтобы добиться разрешения встретиться с императором. За это время камергер натерпелся всяческих унижений от неведомой европейцам странной японской дипломатии. Даже подарки, которые были привезены для императора, японцы отвергли. Это был полный провал миссии. Командор был взбешён и уязвлён. Его бы воля—он все встреченные на пути в Америку российские корабли развернул бы против Японии.

бабушка, — что был прекрасно образован и знал языки: с испанцами общался на их родном языке, а с Консепсией — на французском.

— Так, стоп. Бабушка, разве Резанов не был женат? Да ему и лет-то уже сколько было! Сорок, наверное? Старик совсем, а она девчонка! — возмутился Иван. Он уже понял, к чему всё идёт. Илюшка невинно хлопал глазами, видимо, не догадываясь по малолетству, что всё клонится к любви.

— Ко времени встречи с Кончитой камергер вдовел уже четвёртый год, это очень печальная история⁴. А насчёт 40 лет... Когда-нибудь поймёшь, что сорок лет для мужчины — это возраст свершений, расцвет, можно сказать.

— Ну ты, бабушка, оптимистка.

— А ты много о себе воображаешь. В твои годы командор уже службу солдатскую нёс, а с вами точно — до 40 лет пронявшись и толку не будет! — рассердилась Нина Константиновна.

Через некоторое время, когда бабушка с внуком восстановили дипломатические отношения, Нина Константиновна продолжила:

— Для Кончиты Резанов был человеком, много повидавшим на своём веку. Она без усталости расспрашивала камергера о Петербурге, Париже, о кругосветном плавании. Её стремление вырваться за пределы узкого мирка колонии было так естественно...

Конечно, командор догадался о тех трепетных чувствах, которые она к нему испытывала, и его душа устремилась ей навстречу...

— Баба, какая ты несовременная. Скажи просто: они влюбились друг в друга, — попенял бабушке младший внук, затем деловито осведомился:

— Они поженились?

— Они полюбили друг друга.

Резанов сделал предложение Консепсии. Для её родителей это было большим сюрпризом! Отпустить свою дочь в далёкий, холодный Петербург и скорее всего, никогда её больше не увидеть! Что тут началось! Юное создание впихнули в карету и немедленно повезли к святым отцам на исповедь. Но убедившись, что каются Консепсьон не в чем⁵, кроме любви к русскому вельможе, немного пришли в себя. Успокоившись и здраво поразмыслив, семья не могла не прийти к выводу, что Резанов блестящая партия для их дочери. Тем более — все в гостеприимном президенто⁶ Сан-Франциско, включая молодого дона Луиса (брата Консепсьон) и коменданта дона Аргуэльо, были настроены к камергеру дружелюбно. Губернатор Калифорнии, дон Ариллага, которого с отцом Кончиты связывала тридцатилетняя дружба, также проникся симпатией к русскому посланнику. Даже святые отцы не смогли

устоять перед обаянием камергера. Монахи готовы были принять товары с «Юноны» в обмен на хлеб, который так ждала Русская Америка, но душами они не торговали. Главного препятствия Резанову обойти не удалось. Дело в том, что Консепсьон принадлежала римско-католической церкви, а Резанов, как все русские люди, исповедовал греческую православную религию. Священники отказались скреплять их союз, пока не будет получено разрешение из Ватикана от римского папы на смешанный брак.

— Баба Нина, а что Богу разве не всё равно? Ну любя, так и пусть женятся! — опять перебил Илья. — Ну ты не в бровь, а в глаз! Смотри, у бабушки от твоего замечания переагрузка произошла, — замялся Ваня.

Бабушка и правда смутилась, растерялась и не знала, что ответить внуку на, казалось бы, такой естественный вопрос. Да... Устами младенца...

— В общем, падре⁷ ни в какую не соглашались венчать молодых без разрешения папы и короля Испании! Помолвка состоялась, Николай Резанов и Мария Консепсьон Аргуэльо были официально признаны женихом и невестой, но они должны были расстаться. Командору предстояло через всю Сибирь добраться до Петербурга, далее через Францию — в Мадрид, потом по морю в Рим и снова вернуться в Новую Калифорнию за невестой. Он поклялся своей возлюбленной, что вернётся «настолько скоро, насколько быстро его корабль и его конь будут нести его».

... Уезжая из Калифорнии, Резанов обещал вернуться через два года, но жизнь его уже через 9 месяцев оборвалась в Красноярске. А на другом конце света Мария Консепсьон Аргуэльо всё продолжала ждать своего жениха...

Смерть от коня

*Твой конь не боится опасных трудов:
Он, чуя господскую волю,
То смиренный стоит под стрелами врагов,
То мчится по бранному полю,
И холод и сеча ему ничего.
Но примешь ты смерть от коня своего.*

А. С. Пушкин

Обойдя весь мир на парусниках, Резанов спешил в Петербург.

— Если вы думаете, мальчики, что такой важный сановник, как камергер, совершал своё путешествие в экипаже, с комфортом, то заблуждайтесь, — продолжила свой рассказ Нина Константиновна.

Большую часть пути приходилось преодолевать верхом на лошадях — из Охотска Резанов отправился «по многотрудному весьма пути верховою ездой». При переправе через реку Алдан конь командора попал в ледяной водоворот и они чуть было не погибли, Резанову удалось удержаться в седле и достичь берега, но промок он до нитки. Кое-как обсушившись у костров, экспедиция продолжила свой путь. До ближайшего жилья пришлось несколько часов скакать верхом на пронизывающем холодном ветру.

4. За год до кругосветной экспедиции Николай Петрович похоронил жену Анну Григорьевну, которую любил и с которой был счастлив. Бедняжка скончалась на 12-й день после родов, ей было всего 22 года. Остались дети, Пётр — годик с небольшим — и новорождённая Оленька.

5. Нравы в те времена были суровы. Влюбленные даже и поцелуя лишнего себе позволить не могли — всё только после свадьбы! 😊

6. Президио — крепость.

7. Падре — католический священник.

Николай Петрович тяжело заболел, десять дней он провёл в якутской юрте в беспамятстве. Поскольку его личный врач фон Лангсдорф⁸ отказался ехать с Резановым, верный слуга Николая Петровича выхаживал его сам, как умел, даже пытался кровь ему отворить⁹. Не окрепнув после болезни, камергер продолжил изнурительное путешествие, навстречу своему злему року...

— Помните, мальчики, мы с вами в подробностях рассматривали герб рода Резановых? — Нина Константиновна посмотрела на ребят из-под очков.

Внуки отлично помнили. Илюшка так вдохновился, что даже пытался придумать и нарисовать герб своей семьи, целый день этим занимался. — Там внизу щита изображена вода, слева — рыцарь, а справа — вздыбленный конь, — припомнил Иван.

— Довольно жуткая лошадка... Косит диким глазом, как бы оборачиваясь назад, — добавил Илья.

— Всё так, мальчики. Вот как тут не поверишь, что всё предначертано? Родовой герб — это серьёзно, ребята. Не есть ли он часть того, что мы называем «на роду написано»? Ведь последней точкой в судьбе командора стало падение с лошади.

Командор был одним из лучших гвардейцев Российской империи, кавалергардом, в своё время командовавшим личной охраной императрицы Екатерины Великой. Добрый конь сопровождал его всю жизнь, но пришло бедственное время — и «принял он смерть от коня».

Казаки, доставившие камергера в Красноярск, рассказывали, как неожиданно Резанов обессилел и упал с лошади. Полагали, что он получил удар копытом в голову.

Смерть после смерти

1 марта 1807 года в Красноярске в возрасте 42 лет скончался начальник первой русской кругосветной экспедиции, дипломат, первый чрезвычайный посланник в Японии, один из основателей Российско-Американской компании, действительный камергер, кавалер и командор ордена Мальтийского креста Николай Петрович Резанов.

Он умер в доме Родюкова, на Стрелке. На этом месте сейчас торговый комплекс «Метрополь». Злой рок не переставал преследовать Николая Петровича и после смерти.

Не только дом, где умер Резанов, но и памятник, и сама могила не сохранились, а имя его долгое время было забыто потомками.

— Бабушка, что ты там ищешь?

— Да вот решила заглянуть в вашу детскую энциклопедию¹⁰, интересно, что там про русскую кругосветку написано. Вот, читаем... Первая русская кругосветка... Крузенштерн... Лисянский... Даже имени Резанова в статье нет! Не упомянут! — Нина Константиновна огорчённо всплеснула руками. — Крузенштерн до конца своих дней питал ненависть к Резанову¹¹, а пережил он его почти на 40 лет, этого времени вполне достаточно, чтобы очернить командора в глазах потомков...

В 1831 году на могиле Резанова во дворе Воскресенского собора установили памятник. Через

100 лет собор приспособили под аэроklub, памятник Резанову при этом был разрушен. Молодёжь с комсомольским задором, с парашютом за спиной прыгала с колокольни собора прямо на могилы своих предков. И это казалось естественным, молодёжь ведь должна где-то тренироваться, а собор был самым высоким зданием.

В конце пятидесятых годов власти приняли решение Воскресенский собор¹² вообще снести, а на этом месте построить Концертный зал. Тоже, казалось, нормально. Строили новую социалистическую культуру. Могила Резанова, как и могилы других именитых граждан Красноярска, уничтожил бульдозер, прокладывавший траншею для коммуникаций. Захоронение командора, чья жизнь и смерть принадлежит российской истории, почти точно совпало с канализационным люком!¹³

В то время красноярцы так берегли свои святыни. Это сейчас нам кажется, что такому отношению нет оправдания. Но у каждого времени своя правда.

Мировая история коснулась Красноярска своим крылом... и была надёжно похоронена в заштатном сибирском городе.

Внезапная смерть Резанова была тяжким ударом для Российско-Американской компании и особенно для её поселений в Америке, которые ещё продержались 60 лет после гибели командора. Сколько надежд рухнуло, сколько возможностей утрачено, сколько усилий прахом пошло!

Возвращение командора

Лишь через 200 лет после смерти командора коллективная совесть красноярцев нашла своё успокоение: на площади Мира воздвигли достойный памятник Н. П. Резанову.

Командор к нам вернулся в виде бронзовой фигуры высотой 4,5 метра. С высоты своего мраморного постамента взирает он на своих далёких потомков и, может быть, думает: а достойны ли они всех тех лишений, жертв и нечеловеческого напряжения сил?

В 1867 году правительство России продало США Аляску и Алеутские острова за 7 миллионов долларов. На этой территории только за год и только

8. И это тоже фатальный факт. Лангсдорф наотрез отказался сопровождать Резанова, затаив обиду на Николая Петровича ещё с Калифорнии, когда командор приказал выкинуть за борт чучела птиц, так любезных сердцу натуралиста.

9. Т. е. сделать кровопускание. В XIX веке это было первейшее дело от многих болезней, вера в это чудодейственное средство была необычайная.

10. Если вы являетесь счастливыми обладателями «Энциклопедии для детей» (Москва, 1997), загляните в 3 том — «География».

11. Иван Фёдорович Крузенштерн — блестящий моряк, капитан «Надежды» — не поделил с Резановым власть. Они всю кругосветку ссорились. Крузенштерн организовал травлю камергера на корабле, бойкот офицеров, так что даже при переходе экватора Николай Петрович вынужден был не покидать своей каюты.

12. Воскресенский собор построен в 1759 году, это первое каменное сооружение в городе. Не пощадили!

13. По результатам исследований, которые провёл красноярский архитектор Э. М. Панов в 1990 году.

от рыболовства США получили 1 триллион долларов. Ещё ведь есть и пушной промысел. А уж когда на Аляске были открыты залежи золота, знаменитая Золотая лихорадка обогатила американцев сказочно!

У нас ещё есть Сахалин и Курильские острова, оставленные нам строителями Российской империи...

Если мы не будем думать на эту тему—чему нас учат забытые страницы нашей истории,—то кто-то другой (не дружественный—чужой) будет думать, как использовать наше невежество в свою пользу...

— Внуки, идите сюда.

— Что, бабуль?

— Вот я вам тут подготовила, — бабушка подала мальчикам лист бумаги, ещё тёпленький, только что отпечатанный на принтере.— Это список книг о командоре¹⁴, далеко не полный, конечно. Книги—отличный памятник ему. Как всякая рукопись, не горят, и бульдозер им не страшен...— и ворчливо добавила, указывая на компьютер:— А также отключение электричества.

Две души, несущихся в пространстве¹⁵

Покидая свою возлюбленную Кончиту, Николай Петрович сказал своей невесте, что если он через 2 года не вернётся, она может считать себя свободной.

Кончита ждала Резанова 35 лет, замуж она так и не вышла. До неё доходили трагические вести о гибели командора, но поскольку они не были подкреплены никакими подробностями, она не верила в его смерть, продолжала надеяться на чудо и ждать жениха, храня верность своей любви.

Кончита только в 1842 году узнала от английского путешественника точные сведения, где и при каких обстоятельствах погиб Николай Резанов. Надеяться больше было не на что.

Мария Консепсьон дала обет молчания и удалилась в монастырь, проведя остаток дней в молитвах и печали.

Кончита умерла в 1857 году, на полвека пережив своего жениха... Она подарила миру пример такой любви, которую не смогли разрушить ни пространство, ни время, ни даже сама смерть.

Уже лёжа в постели братья тихо беседовали. У Ильи был к брату важный вопрос:

— Ваня, как ты думаешь, а теперешние девчонки на такое способны... ну, как Консепсьон?

— Нет, думаю, вряд ли.

— Почему?

— Время другое, темпы жизни... Вон у моего одноклассника Гурьева старшая сестра Ксюшка летом ездила в Штаты по студенческой программе. Двести лет назад Резанов планировал полтора года на такое путешествие, и то в лучшем случае. А она из Красноярска до Калифорнии за сутки добралась! А потом всё лето с парнем своим по скайпу¹⁶ общалась. Не... Сейчас разлукой не грузятся.

— Как это?

— Да так... Телевидение, радио, телефоны, Интернет— всё есть. Только вот любви настоящей, похоже, нету...

— А как же мама с папой?

— Ну, им повезло очень.

— Может, и нам повезёт. Поживём увидим,— Илюша вздохнул.

— Это точно. Спи давай, философ.

14. Вот эти книги, которые рекомендовала своим внукам Нина Константиновна.

1. Ю. П. Авдюков, Н. С. Ольхова и А. П. Сурник «Командор». «Офсет», 1995 г.

2. Гектор Шевиньи «Утраченная империя». «Поликор», 2008 г.

3. Юрий Качаев «...И гневается океан». «Молодая гвардия», 1970 г.

4. В. П. Трофимов «Кастильские розы командору Резанову». «Кларетианум», 2002 г.

А еще, ребята, совет такой. Приходите в библиотеку и говорите: «Дайте, пожалуйста, книжки о командоре Резанове и Русской Америке». Обрадованный библиотекарь натащит вам целый ворох книг!

15. Строка из «Юноны» и «Авось» А. Вознесенского.

16. Имеется ввиду программа Skype. При наличии web-камеры, микрофона и Интернета она позволяет не только слышать друг друга, но и видеть. Чудеса!

Алефтина Иванищева

Кошмарики встречают Новый год



241

Алефтина Иванищева
Кошмарики встречают Новый год

Вы, конечно, возразите, что никаких кошмариков на свете не существует. И я с вами соглашусь. Но соглашусь только тогда, когда вы скажете мне, кто же это вздыхает тёмной ночью в углу и не даёт спать? И что же такое белое вдруг мелькнёт перед глазами и обдаст прохладным воздухом? А может быть, вы знаете, почему так неожиданно появляется плохое настроение и хочется плакать? Или почему вдруг среди бела дня неожиданно клонит ко сну? Что же вы молчите? Не знаете ответа? А я вам точно скажу: во всём виноваты они, кошмарики.

Глава 1

В старом шкафу что-то прошуршало, тяжело вздохнуло, затем чей-то сердитый голос громко прокричал:

— Ах вы, оболтусы! Ах вы, дармоеды! Мерзкие туняццы! Совсем разучились работать!

Это говорила Главная из кошмариков. Кошмарики—это маленькие существа, которые пугают детей. Эти существа друг на друга несколько не похожи. Самая главная из них, конечно, Жуть. У неё такой страшный вид, что, взглянув на неё, можно остаться заикой на всю жизнь. Её зелёные лохмотья топорщатся в разные стороны, в больших серых глазах кипит злость. Когда Жуть свирепеет, то начинает трясти косматыми лохмотьями и размахивать серыми лапами. Голос у неё хриплый, крикливый. И смотреть на неё страшно, просто жуть. И бояться её не только дети, но и сами кошмарики.

Шип круглый и колючий. Когда он сердится или пугает кого-нибудь, из него мгновенно выскакивает много длинных острых иголок, которыми можно не только нагнать страху на кого-нибудь, но и больно-больно уколоть. Лапы Шипа похожи на тоненькие веточки.

Соня похожа на маленькое розовое облачко. Соней её называли потому, что она могла легко усыпить любого непоседливого ребёнка. Сама она, конечно, тоже спала, спала много и где попало: на подоконнике, под диваном, на столе, за батареей. Вообще, где сон сморит её, там она и засыпает.

Вампик похож на большую синюю каплю воды и, как вампир, высасывает из детей (нет, не кровь) весёлое настроение. Встряхнувшись, он превращается в тысячу мелких частиц, которые невозможно разглядеть. Когда ребёнок вдыхает в себя эти капельки воды, у него невольно пропадает хорошее настроение. И даже самый жизнерадостный малыш становится плаксой и занудой.

Привидешка—обыкновенное привидение, с пустыми глазами и пустым ртом. Его любимое занятие—летать и пугать детей.

Жуть, потрясая своими зелёными лохмотьями, продолжала кричать на кошмариков:

— Это кошмар какой-то! Даже дети перестали их бояться! Ну, что молчите?

В наступившей тишине раздалось чьё-то беззаботное похрапывание:

— Хр-р, фью. Хр-р-р, фью-ю.

Все от ужаса замерли. А Жуть, услышав чей-то наглый храп, взорвалась от возмущения:

— Это кто посмел спать во время Кошмарного собрания?

Кошмарики съёжились от страха. Ой, кому-то сейчас попадёт!

— Где Соня? Опять спит? Соня!—закричала Жуть.

В дальнем углу пыльной полочки приподнялась старая фетровая шляпа, из-под неё выползло розовое облако и, беззаботно чихнув, захлопало сонными глазами:

— А? Что?

У Жути от злости перекосило лицо, и она прошипела:

— Ты что должна делать?

Соня растерянно пробормотала:

— Детей усыплять. Днём. Чтобы ночью не спали.

— Вот именно,—закричала Жуть,—а ты?! Ты сама спишь днём и ночью! Кошмар какой-то!

Вампик тихо булькнул:

— А Привидешка? Его тоже нет.

— Сейчас он будет,—сердито ответила Главная.

И тут из-под полки, на которой проходило собрание, вылетело что-то белое и метнулось к Жути. Это был Привидешка.

Он подлетел к Жути, прильнул к её уху своим пустым ртом и что-то прошелестел. Когда он кончил говорить, Главную нельзя было узнать: она мгновенно преобразилась. В прищуренных глазах—блеск. Густые брови—вразлёт. Осанка—боевая. Потирает Жуть свои серые лапы и весело говорит:

— Итак, кошмарики, начинается весёлая жизнь. Нам предстоит интересная работа. А ну, всем слушать меня внимательно! В квартире № 5 живёт Петя Ломакин. Родители и соседи отдыхают только тогда, когда он спит. Соня, принимайся за работу! Петя не должен спать по ночам. Пусть днём отсыпается, а потом хоть на ушах ходит. Соня! Проснись! Повтори!

— Квартира № 5. Петя Ломакин!—выкрикнула Соня и, стараясь не моргать, испуганно тарашила большие глаза на свою начальницу.

Затем очень медленно прикрыла их и тут же уснула. Жуть угрожающе махнула лапой и продолжала:

— В квартире № 8 девочка Вика собирается сшить младшему брату костюм клоуна на Новый год. Ты понял, Шип?

— Да, — с готовностью ответил Шип, — помогу шить. Будет им клоун.

И захихикал.

А Жуть продолжила своим крикливым голосом: — В квартире напротив них живёт Лариса. Она очень любит читать страшилки. Привидешка, отпавишься к ней и покажешь самые настоящие страшилки. Чтобы её от ужаса трясло и подкидывало.

Ужасающая улыбка застыла на белом лице Привидешки. Пустые глаза смотрели на Главную, не мигая.

Нахмутив свои густые брови, Жуть со злостью пробормотала:

— Есть в этом доме очень противная девчонка. Ух, как она меня бесит! Такая уж весёлая, такая уж вежливая. Просто кошмар какой-то! К ней отправишься ты, Вампик. Высосешь у неё всю вежливость. Пусть поплачет и она, и её родители.

Оглядев кошмариков жутким взглядом, Главная сказала:

— Итак, устроим всем самый настоящий кошмар. А теперь — за работу!

Глава 2

Дворник Афанасий жил один. Он был добросовестный дворник. Летом подметал двор, следил за порядком. А зимой убирал снег и посыпал дорожки песком.

— Это чтобы у меня во дворе не было сломанных рук и ног, — говорил он.

Сломанных рук и ног не было. Только был разбитый нос у Пети Ломаккина. Как-то раз вышел он во двор на коньках, хотел разогнаться, но не тут-то было — растянувшись во весь рост, он носом уткнулся в песок.

Вот у этого самого дворника Афанасия в шкафу поселились кошмарики. Только он об этом даже не подозревал. Эти маленькие существа держат в тайне своё место жительства и могут поселиться в любом доме, в любой квартире.

С некоторых пор дворник Афанасий слышал какой-то шорох в шкафу. Шуршит и шуршит. А вдруг это крыса или таракан? И не то, чтобы он боялся, просто не любил их. На всякий случай он открыл шкаф и побрызгал дихлофосом. Хорошо побрызгал, не пожалел отравы, лишь бы не шуршало. А сам весь день снег убирал на свежем воздухе, чтобы самому не задохнуться. Благо, снегом так и засыпало дорожки. Дворник Афанасий уберёт его, а он снова падает. И так весь день.

До наступления темноты запах дихлофоса выветрился, но в шкафу кто-то стал отчаянно чихать на разные голоса:

— Ап-чих!

— Чих-чих!

— Апчи-хи-хи!

И так всю ночь.

Дворник Афанасий во время собрания кошмариков снег убирал. И так устал, что решил доочистить дорожку на следующий день. «Работа

не волк, — подумал он, — в лес не убежит». И только зашёл в свою квартиру, как кто-то как гаркнет в шкафу хриплым голосом:

— ... всем самый настоящий кошмар. А теперь — за работу!

Удивился дворник Афанасий, но без промедления пошёл снова во двор работать. Очень уж знакомым показался ему голос. Не Зоя ли Матвеевна за ним следит? Она начальник ЖЭК. Но только почему голос раздался из шкафа? Дворник Афанасий был, конечно, грамотный. Телевизор смотрел по вечерам. Он знал про шпионские дела. И про то, что существуют камеры слежения, тоже знал. Зоя Матвеевна, видимо, у него в квартире такую же камеру установила.

И стал с этого дня дворник Афанасий ещё усерднее работать.

Глава 3

Поздний вечер. За столом сидит девочка и с жадностью читает книгу «Жуткие истории». Слева падает на стол свет от настольной лампы. По углам комнаты затаились серые тени.

«Вдруг наверху раздался громкий вопль. Надя юркнула под одеяло. Но даже под одеялом она слышала, как вслед за воплем раздался злоеющий хохот».

Как хорошо написано! Лариса с наслаждением зажмурила глаза. Она представила, как тёмной ночью в огромной пустой школе маленькое сердечко первоклассницы замирает от страха. Жаль, что в жизни такого не бывает.

«Он пронёсся по верхнему этажу, скатился вниз по лестнице и замер. И снова мёртвая тишина».

Вот здорово! Идёшь ночью по школе, и вдруг... Затаив дыхание, Лариса продолжала читать.

«Вокруг неё сгущались тени, становились злоеющими, колыхались, протягивали к ней длинные руки».

Здорово написано! Бывают же у кого-то в жизни приключения!

Вдруг по комнате с тихим шумом пронёсся ветерок. Что это? Лариса нехотя оторвалась от книги и оглянулась. Смотрит: чья-то белая тень приближается к ней по воздуху. Девочка подумала: «Начиталась страшилок, уже мерещится». Повернувшись к столу, она стала читать дальше. Вдруг свет один раз мигнул, второй раз мигнул и потух. Плотная тьма обступила девочку со всех сторон. Но Лариса не испугалась. Подумаешь, темно! Она сердито топнула ногой. Ну что такое? То тени мелькают, то свет гаснет. Не дадут книгу дочитать!

От такой досады девочка схватила что-то белое, мелькавшее перед глазами, и швырнула на пол.

Неожиданно раздался тонкий писк, и тут же зажглась лампа. Лариса вздохнула с облегчением и, чтобы ничто больше не отвлекало её, продолжила чтение вслух: «Плач раздавался из коридора первого этажа, и поэтому Надя уже смелее, не раздумывая, направилась туда. Она шагнула в коридор и остановилась. Плач внезапно стих».

Вдруг откуда-то из-под стола донёсся тихий голос:

— Ой, боюсь-боюсь.

Показалось? Посмотрела Лариса по сторонам, заглянула под стол, но никого не увидела и стала дальше читать: «Что-то ужасное надвигалось на девочку, она понимала, что надо бежать, но ноги будто приросли к полу».

— Ой! Боюсь! Боюсь! — снова прошелестело.

Девочка снова посмотрела по сторонам и громко спросила:

— Ты чего боишься?

— Там страшное. Боюсь, — ответил кто-то.

— Где страшное?

— В книге.

Лариса рассмеялась:

— Это же рассказ. Его писатель придумал. А ты кто? Не прячься, иди ко мне.

Из-под стола вылетело белое привидение и устало висло на девочку тёмными глазами.

— И кто ты? — удивилась девочка.

— Я привидение. Зовут меня Привидешкой.

— Если ты привидение, почему боишься? — ещё больше удивилась Лариса.

— Я вообще-то ничего не боюсь. Но в этой книге такие ужасы описаны.

— Иди ко мне. Дальше читать или нет?

— Конечно, читай. Интересно, что будет с этой Надей. Только я рядом с тобой буду сидеть.

Привидешка уселся под настольную лампу и, уставившись на Ларису своими пустыми глазами, приготовился внимательно слушать жуткие истории.

Глава 4

— Вика, — просил младший брат, — ну сшей мне костюм клоуна. Я же тебя давно прошу.

— Вадик, успею. Потом, — пыталась отговориться сестра. Ей очень не хотелось возиться с иголкой и нитками.

Но брат не унимался:

— Ты всегда так. Прошу тебя, сшей. Скоро Новый год, а у меня костюма нет.

— А зачем тебе шить? И почему именно клоуна? Попроси маму, она тебе любой костюм купит.

— Не надо покупать. В магазине все одинаковые. Виталька будет человеком-пауком, Славик тоже будет человеком-пауком, и Косте купили такой же костюм. У нас в группе все мальчики — человеки-пауки. А я не хочу как все. Сшей мне костюм клоуна.

— Хорошо, — вздохнула Вика, — носи иголку, нитки, ткань. Что там надо, всё носи.

Вскоре в комнате на диване расположилась швейная мастерская. И работа закипела. Вадик вдевал в иголку нитку, подавал ножницы. Вика усердно шила, тихонько напевая.

— Ой, — вдруг вскрикнула она, уставившись на левую руку, на указательном пальце которой появилась капелька крови.

— Вика, больно? — спросил Вадик, сочувственно заглядывая сестре в глаза.

— Нет, всё нормально.

И она продолжала шить. Но вскоре снова ойкнула и отбросила иголку.

— Что? Опять? — спросил Вадик с испугом.

— Ты где взял иголки? И вообще, откуда эта игольница? — раздражённо ответила сестра.

Братишка виновато поморгал глазками и ответил:

— На столе взял.

— Но у нас такой нет. Принеси нашу игольницу из шкафа.

Вадик так и сделал. А потом осторожно взял в руки бурую подушечку с иголками. И что же с ней делать? Он пошёл в коридор, достал из тумбочки набор инструментов. Что взять? Отвёртку? Станок? Или щипцы? Но потом решил, что молоток больше подойдет. Его сестра пострадала из-за неизвестно откуда взявшейся игольницы, и теперь Вадик отомстит за неё. Он размахнулся и с силой ударил по игольнице.

— Ой! Больно! Очумел, что ли? — крикнул кто-то.

— Вика, это ты кричишь? — повернувшись в сторону комнаты, громко спросил мальчик.

— Нет, Вадик, я не кричу. Я шью, — ответила Вика из комнаты.

Недоумённо пожав плечиками, Вадик снова замахнулся молотком. Вдруг игольница качнулась и превратилась в шар, утыканный длинными острыми иголками. Лапы-ветки воинственно растопырились в разные стороны. Послышался чей-то возмущённый голос:

— Я кричу! Мне больно! А этот болван долбит меня. Чего уставился? Я про тебя говорю.

Вадик, виновато заморгав глазами, спросил:

— А ты кто?

— Я кошмарик Шип. Ну, как? Страшно стало?

— Нет. А что, должно быть страшно? — спросил мальчик.

— Конечно. Тебя должно затрясти от страха, ты должен был под стол забраться или с диким криком убежать к своей сестре. Но похоже, что ты ничего не боишься.

— Ещё как боюсь. Вчера разбил дорогую вазу, и так напугался. Маму.

Шип с интересом спросил:

— Значит, твоя мама страшнее меня?

— Нет, она не страшная. Только когда я что-нибудь разобью, всегда маму боюсь, — ответил Вадик.

— Значит, она всё-таки страшнее меня, — решил Шип.

Вадик присел перед ним на корточки и спросил:

— Хочешь шоколадку? С горячим чаем?

— Хочу, — обрадовался кошмарик.

В комнате на диване сидела Вика и шила братишке костюм, при этом она беззаботно напевала весёлую песню. А в это время маленький Вадик сидел в кухне за столом напротив Шипа, который смачно жевал шоколадку, хлебал горячий чай и жмурился от удовольствия.

Глава 5

В квартире № 5 грохотала музыка, от которой отчаянно раскачивалась люстра и весело подпрыгивал в кухне холодильник. Петя, сидя на стуле и держа швабру наперевес, мчался в атаку, громким голосом стараясь перекричать музыку:

— Ура! Вперёд! В атаку!

Грохотала музыка. Вопил Петя. От всего этого соседи потихоньку сходили с ума.

И тут Петя остановился: он увидел на диване розовую подушечку. Откуда она взялась? И почему он раньше не заметил её? Протянув руку, он дотронулся до неё, и вдруг глаза у него стали слепиться. Широко открыв рот, мальчик зевнул. И тогда он решил немного передохнуть, устроить привал. Ведь солдатам это просто необходимо. Петя знал, что он был хорошим солдатом, отчаянным, как Рембо. Но тут он вспомнил, что враг ещё не разбит, схватив розовую подушечку, с силой бросил её в кресло и закричал:

— Ура! Бомба летит! Та-та-та!

В кресло со свистом летели тапки, книги, игрушки. Грохотала музыка. Кричал Петя. Вскоре враг был разгромлен — не вынес такой атаки. Но кто же так плачет? Тихо, жалобно плачет. И нет никакого врага, есть кресло. Но оно же плакать не может! Петя уже большой, ему скоро будет шесть лет. И он знал, что мебель не плачет. Он подошёл к креслу, из-под груды тапок и книг достал розовую подушечку. Та хлопала голубыми глазищами и тихо плакала.

— Почему ты плачешь? Тебе больно? — удивлённо спросил мальчик.

— Конечно, больно. Тебе бы так.

И она снова горько зарыдала.

Впервые в жизни мальчик растерялся и виновато пробормотал:

— Не плачь. Я больше не буду.

И услышал в ответ:

— Как это не плачь? Мне больно. И я хочу спать. А музыка кричит! Ты кричишь! Тапки летят!

И розовая подушечка залилась слезами:

— А-а-а!

Пете стало стыдно. Выключив музыку, он присел на край дивана и стал неумело качать подушечку. Вскоре та всхлипнула, закрыла глаза и уснула у него на руках.

И стало так тихо, что было слышно, как об оконное стекло бьётся назойливая муха.

В тишину ворвался тревожный дверной звонок. Петя тихонько отворил дверь и увидел перед собой соседей. Широко открыв глаза, они подозрительно посмотрели на него и спросили:

— Петя? Что случилось? Почему у тебя так тихо?

— Я... Я... Я решил отдохнуть, — ответил мальчик.

Глава 6

— Бабуля! Как вкусно пахнет! Что ты печёшь? Ой, мои любимые ватрушки, — прошептала радостно девочка.

— Скоро будут готовы. Ты, Танюша, пока иди в комнату, я потом позову тебя, — так же шёпотом ответила бабушка.

Девочка, тряхнув пышными волосами, побежала в свою комнату.

В коридоре зазвонил телефон. Таня быстро схватила трубку, которая маминым голосом спросила: — Танюша, папа спит? Пусть спит. Я сейчас приеду. Что тебе привезти?

— Мама, я мандаринку хочу.

— Хорошо, будет тебе мандаринка.

Танюша от радости захлопала в ладоши. Тихо захлопала, чтобы не разбудить папу, который утром приехал из командировки и теперь отдыхает.

Девочка очень любит своих родных. У папы сильные руки; когда он подкидывает дочку к потолку, та визжит с диким восторгом, зная, что он её поймает, не даст упасть. Мама всегда весёлая, покупает Танюше сладости. Бабушка добрая, сказки рассказывает и вкусные пирожки и ватрушки стряпает.

Девочка села на диван и радостно улыбнулась. Она не видела, как на неё насмешливо посмотрела электрическая розетка и выдавила большую голубую каплю воды. Это был Вампик. Он булькнул и рассыпался на тысячу мельчайших капелек, очень вредных для детей.

Звякнул ключ, хлопнула входная дверь. Тут же раздался мамин весёлый голос:

— Танюша, ты где? Маму встречай.

Но Таня не выбежала навстречу своей маме, как обычно. Она сидела, насупившись, в комнате на диване и тихо бурчала:

— И чего кричит? Папа спит, а она кричит.

— Танюша, — раздалось снова, — я пришла. Встречай меня.

Девочка даже с места не сдвинулась, только ещё больше нахмурилась:

— Каждый день встречай и встречай. Надоело уже.

В дверях комнаты появилась мама и удивлённо спросила:

— Танюша, что с тобой?

— Ничего, — отвернувшись, недовольно ответила девочка.

— Как это ничего? Я же вижу, что-то случилось.

— Ну, конечно, я бабушку просила. А она... — немного подумав, сердито сказала Танюша.

— А что я? — в комнату заглянула бабушка.

— Ты не купила мне мороженое, — посмотрев на неё исподлобья, ответила внучка.

— Когда же это было? — ахнула бабушка.

— Вчера.

— Танюша, я же купила мороженое. С орехами. Или ты забыла? И пломбир купила, — недоумевала бабушка.

Внучка упрямо повторила:

— Ничего я не забыла. Всего два купила, а третье мороженое не купила.

— Как тебе не стыдно! — сказала мама. — Вспомнишь, что было вчера. На бабушку наговариваешь. Ты бы ещё вспомнила, как я тебе в прошлом году не купила шоколадку.

— Не купила?! — возмущённо вскрикнула девочка. — Вот видишь, и ты не купила. Вы меня не любите!

И она в голос заревела.

— Тише, папа спит, — пыталась успокоить её мама. — Не надо папе спать. Пусть посмотрит, как его дочку обижают. А-а-а!

Мама с бабушкой переглянулись и вышли из комнаты, захлопнув дверь.

Одной плакать неинтересно. И девочка сразу же замолчала.

— Бульк-бульк, ы-ы-ы,— вдруг услышала она.
Смотрит, а перед ней большая капля воды. И глаза живые.
— Это ты булькаешь?— спросила Танюша.
— Да, я. И булькаю, и плачу.
— Плачешь-то почему?
— Тебя, дурочку, жалко.
— И мне себя жалко. Давай вместе плакать. А-а-а!
— Давай, ы-ы-ы.
За кухонным столом сидели взрослые и пили чай. Папа сказал:
— И как она умудряется плакать на разные голоса? Раньше не слышал такого.
— А раньше она и не плакала,— возразила мама.
Бабушка добавила:
— Надо же, мороженое придумала.
Папа встал из-за стола и решительно пошёл в комнату.
— И долго собираешься голосить, барышня?— спросил он у дочери.
— Вот, папа, у тебя дочку обижают, а тебе и дела нет. А-а-а!— ответила ему дочь.
— Ладно, ты ещё поплачь. Слёз-то, наверно, много накопилось. Я позже загляну.
Тихонько притворив дверь, папа ушёл.
— Никому я не нужна! А-а-а!— плакала девочка.
— Никому мы не нужны, ы-ы-ы!— вторил ей кошмарик.
Поплакали они ещё немножко. Устали плакать. Девочка, жалобно всхлипывая, спросила у Вампики:
— Надоело плакать?
— Если честно, надоело. А тебе?
— И мне надоело.
— Давай, я буду загадки загадывать, а ты будешь их отгадывать,— предложила Танюша.
— Давай!— радостно булькнуло в ответ.
— Слушай. Днём спит, ночью летает и прохожих пугает. Кто это?
Вампик уверенно сказал:
— Кто же этого не знает?! Это наш Привидешка.
— Что за Привидешка?
— Ну, наше привидение, мы зовём его Привидешкой. Он по ночам летает и всех пугает. Как только ты начала говорить, я сразу подумал, что он. Точно, он.
Пожав плечиками, девочка неуверенно проговорила:
— Хорошо, пусть будет он. А теперь слушай другую загадку.
— Ты мне потруднее загадывай, а то неинтересно отгадывать.
— Фырчит, рычит, ветки ломает, пыль поднимает. Людей с ног сбивает. Слышишь его, но не видишь его.
— Немножко не так,— возразило маленькое существо.
— Почему это?
— Надо: слышишь её, но не видишь её. Это наша Главная.
— Что ещё за Главная?
— Жуть.
— Жуть в смысле— ужас?

— Да, в смысле— и ужас, и страх такой невыносимый, что хочется зарыться глубоко в землю от неё. Ещё загадай. А то я так легко отгадываю.

Танюша растерянно хлопнула глазами и пробормотала:
— Я... Я больше не знаю.

Глава 7

В старом шкафу дворника Афанасия зловещая тишина. Жуть, сдвинув лохматые брови, обводит сердитым взглядом кошмариков. Те виновато прячут глаза, отворачиваются.

Прошло много времени, прежде чем Главная громко прохрипела:

— Кошмар!

И опять зловещая тишина. Только за дверцей шкафа раздавались тяжёлые шаги хозяина квартиры.

Наконец Жуть снова прохрипела:

— Вы все с треском провалили задание. Как могло такое случиться? Это просто кошмар! Говори ты, Соня!

— Я,— тихо сказала Соня, стараясь смотреть в сторону.

И замолчала. Потом ещё тише добавила:

— Выполнила задание.

— Ага, выполнила! Ты же сама уснула на руках негодного мальчишки. Это так ты справилась с заданием? Ты же кошмарик! А это значит— при одном взгляде на тебя все должны спать наповал!— Но...

— Что но? Что ты ещё придумала!

— Меня никто никогда не укачивал на руках,— прошептала Соня.

— А ты и обрадовалась. Её, видите ли, никто не укачивал. Просто кошмар! Да ты сама спишь, где попало!

Жуть перевела свой мрачный взгляд на Шипа, и тот сразу же съёжился, убрал свои колючки.

— А ты, Шип? Надо было такое устроить, чтобы дети никогда не взяли в руки иголки. Чтобы всю жизнь помнили!

— Но Вадик угостил меня шоколадкой. Она такая вкусная,— тихо сказал Шип.

— Из-за какой-то шоколадки ты провалил задание! Жевал бы себе паутину по углам. Просто кошмар какой-то! А ты?— повернулась Жуть к Привидешке.

Тот от ужаса закрыл пустые глаза и пробормотал:

— Мне никто никогда не читал ужастики.

— Да ты сам ужастик! Самый настоящий ужастик. От твоего вида все дети и взрослые должны содрогаться. Должны приходиться в трепет. Эх, вы. Кошмарики называетесь. Что у тебя, Вампик? Почему ты расплакался?

— Я не могу... Я не хочу... Мне её жалко. И вообще, она знает столько загадок!

— Кошмар! Ужас! Просто жуть какая-то!— прошипела Главная и задохнулась от возмущения.

Снова наступила тишина.

И если бы в этот момент дворник Афанасий заглянул в свой шкаф, то он увидел бы на самой верхней полке несколько мрачных теней.

Но он ходил по квартире и тяжело вздыхал — из комнаты в коридор, из коридора в кухню, затем снова в коридор, и опять в комнату. Вот он остановился и заговорил вслух, сам с собой. Такое бывает у одиноких людей.

— Эх, у всех людей сегодня праздник. А у меня ни гостей нет, ни ёлки. Какие могут быть гости, если даже праздничного стола нет.

Громкий стук в дверь обрадовал его, и он поспешил в коридор.

— Кто же это решил провести меня в новогодний вечер?

Увидев Петю Ломакина, дворник Афанасий радушно пригласил его:

— А, это ты, Петя? Заходи.

Мальчик, протянув поднос с тортом, сказал:

— Дядя Фоня, мама тебе торт передала. Мы тебя с Новым годом поздравляем.

Дворник Афанасий обрадовался:

— Спасибо, Петя. И маме передай спасибо.

Только он закрыл дверь, как кто-то опять постучал.

— Забыл чего, Петя? — сказал дворник Афанасий, выглянув на лестничную площадку.

Но за дверью стояла соседская девочка.

— А, Танюша. Здравствуй.

— С праздником, дядя Фоня. Бабушка пирожки тебе передала, с капустой.

— Мои любимые! — вскрикнул радостно дворник Афанасий. — Вот спасибо бабушке.

Танюша радостно улыбнулась и убежала. А дворник Афанасий положил угощения на стол, смотрит на них и улыбается.

— Всё-таки хорошие жильцы в нашем доме.

Вдруг нетерпеливо затрещал звонок. Дворник Афанасий поспешил к двери, за которой стояли Вика и Вадик. Только они протянули соседу банку с вишнёвым компотом, как сверху раздалось:

— Дядя Фоня, подожди!

Легко прыгая по ступенькам, подбежала Лариса и сунула в руки соседа книгу.

— Читай, дядя Фоня, это страшилки. Я их уже прочитала. Ужас до чего интересные!

— Обязательно прочитаю. А то такая скука бывает!

Проводив детей, дворник Афанасий бодренько передвигался по дому и весело говорил:

— У меня почти настоящий Новый год. Только ёлки нет. И гостей.

В старом шкафу сидели кошмарики и молча слушали весёлое бормотание дворника Афанасия. Четыре пары глаз умоляюще смотрели на Главную.

— Чего уставились? Не хочу! — недовольно сказала та и отвернулась.

Но глаза продолжали жалобно смотреть. Большие голубые глаза Сони. Чёрные, как бусинки,

глазки Вампика. Пустые глаза Привидешки. И круглые глаза Шипа.

— Чего смотрите, говорю? — прохрипела Жуть, бросив на них хмурый взгляд. — Никогда этому не бывать. Честное кошмарное слово. Никогда!

И решительно добавила:

— Я же вам не дерево.

Но глаза продолжали смотреть на неё умоляюще. Через несколько минут Жуть проговорила неуверенно:

— Ну, если только один раз, и больше никогда.

Старые дверцы шкафа распахнулись. Оттуда вместе с клубами пыли, весело чихая, высыпали кошмарики и помчались к хозяину квартиры. Торопливо подпрыгивая, Жуть решительно размахивала зелёными лохмотьями. За ней, громко булькая, спешил Вампик. Шип перекатывался по полу, негромко постукивая длинными иглами. Позади всех шла, не спеша, Соня. Привидешка плавно плыл по воздуху, делая круги над своими друзьями.

Дворник Афанасий увидел их и остолбенел. Немного погодя опомнился и спросил:

— И что вы за народ?

— Кошмарики! — дружно ответили они ему. — Мы к тебе в гости.

— В гости? — обрадовался дворник Афанасий. — Тогда прошу к столу. Но вы такие маленькие! Ладно, садитесь на стол. У меня ещё никогда не было таких гостей, которые сидели бы на столе.

Когда кошмарики шумно расселись на столе, он спросил у них:

— И как вас зовут, кошмарный народ?

— Вампик, — булькнул один.

— Шип, — выкрикнул другой, колючий.

— Соня, — моргнуло большими глазами розовое облачко.

— Привидешка, — тихо прошелестело.

— Жуть, — тряхнула зелёными лохмотьями Главная.

— Действительно, жуть, — согласился хозяин, — а меня зовут...

Его перебил дружный возглас кошмариков:

— Дядя Фоня!

— Верно. Вот здорово, гости у меня есть. Угощение для гостей тоже есть. Только ёлочки не хватает.

Кошмарики переглянулись и весело хихикнули. — Будет тебе ёлочка, — прохрипела Главная.

Она отошла на другую сторону стола, тряхнула своими зелёными лохмотьями и превратилась в пышную ёлочку. Дворник Афанасий так и ахнул.

— Вот спасибо-то. Никогда у меня ещё не было такой красивой ёлочки.

Вампик весело булькнул, и на ёлочке появились десятки разноцветных шаров.

— Сегодня у меня настоящий Новый год, — дрогнул голос хозяина квартиры, — спасибо вам, кошмарики.

Аврутин Анатолий Юрьевич (1948 г. р.) Родился в Минске в семье инженера-железнодорожника. Окончил истфак БГУ. Работал слесарем в вагонном депо, педагогом, литконсультантом газеты «Железнодорожник Белоруссии», старшим редактором журнала «Служба быту Беларусі», заместителем главного редактора журнала «Салон», главным редактором журнала «Личная жизнь», обозревателем газеты «Советская Белоруссия», редактором отдела культуры, первым заместителем главного редактора газеты «Белоруссия». С ноября 1998 года — главный редактор литературно-художественного журнала «Немига литературная». Секретарь Союза писателей Беларуси. Автор полутора десятков поэтических сборников. Лауреат международной литературной премии им. Симеона Полоцкого и нескольких всероссийских литературных премий. Награждён медалью Франциска Скорины, Золотой Есенинской медалью, медалями им. Михаила Шолохова, им. Мусы Джалиля и другими наградами.

Алейников Владимир Дмитриевич (1946 г. р.) Поэт, писатель, переводчик, художник. Основатель и лидер легендарного содружества СМОГ. С 1965 года публиковался на Западе. Более четверти века тексты широко распространялись в самиздате. В восьмидесятых был известен как переводчик поэзии народов СССР. Автор многих книг стихов и прозы — воспоминаний о былой эпохе и своих современниках. Лауреат премии Андрея Белого. Член ПЕН-клуба. С 1991 года живёт в Москве и Коктебеле.

Ахадов Эльдар Алихасович (1960 г. р.) Родился в Баку. Помимо творческой деятельности работал и работает по специальности. Побывал в самых глухих таёжных и тундровых уголках. Член Союза писателей России. Лауреат Всероссийского литературного конкурса им. В. Шукшина. Обладатель национальной премии «Серебряное перо Руси» и «Золотое перо Руси». Автор 12 книг стихов и прозы. Живёт в Красноярске.

Бояринов Владимир Георгиевич (1948 г. р.) Родился на Алтае. Отец — из староверов, мать — из семьи переселенцев по Столыпинской реформе. Среднюю школу окончил в селе Ново-Покровка под Семипалатинском. Диплом в Литературном институте им. А. М. Горького защитил по первой книге — «Ростани». Автор поэтических книг «Весёлая сила», «Уже за холмами», «Родня» и других. Член Союза писателей России. Секретарь Международного сообщества писательских союзов. Живёт в Москве.

Вайнерман Виктор Соломонович (1954 г. р.) Родился в Ростове-на-Дону. Окончил филологический факультет Уральского государственного университета им. А. М. Горького. С 1976 года

работал в музеях Омска. Автор более 200 публикаций в центральной и местной печати. Заслуженный работник культуры России, профессор Российской академии естествознания. Член Союза писателей России. Живёт в Омске.

Гоголев Николай (1948 г. р.) Родился в Рыбинске Ярославской области. Окончил Рыбинский авиационный институт. Поэт, член СРП. Автор поэтических сборников «Улыбка в ночи» и «Бриллиантовый дуэлет».

Данилова Наталья Юрьевна (1957 г. р.) Родилась в Норильске. До 1982 жила в Красноярске, где получила высшее образование в педагогическом университете имени В. П. Астафьева. Работала редактором художественных программ на региональной студии телевидения. Переехав в Таллинн в 1982, начала творческую деятельность в области литературы. В 90-х годах была художественным руководителем молодёжного театра «Бистро» в Сочи, куда переехала с семьёй в 1988 году. Также работала редактором художественного вещания СГТРК. Автор сценариев развлекательных, детских и молодёжных программ. В 2001 году в Сочи вышел сборник её новелл, стихов и сказок «Парадоксальный сон шотландского принца». В него вошла сказка «Остров Детства», по которой позже был написан роман-сказка «Собиратель слёз», изданный в 2004 году в Санкт-Петербурге. В 2008 году «Собиратель слёз» был опубликован в литературном журнале для семейного чтения «День и ночь» (№ 6). Живёт в Санкт-Петербурге.

Даркаев Валерий Александрович. Родился в г. Кемерово в семье шахтёра, школу закончил в посёлке Яя, полгода работал на заводе слесарем, потом два года армии в танковой части в городе Омске. После армии работал на заводе, окончил автотранспортный техникум. Заочно закончил исторический факультет Омского государственного университета. Сейчас предприниматель. Публикации в литературных журналах и газетах «Складчина», «Вечерний Омск», «Литературный Омск», «Преодоление». Член омского областного литературного объединения имени Якова Журавлёва. Живёт в Омске.

Ерёмин Николай Николаевич (1943 г. р.) Родился в Красноярске. Окончил медицинский институт, работал врачом-психиатром. Заочно окончил Литературный институт имени Горького. С 1981 года — член Союза писателей. Автор более сорока стихотворных сборников, нескольких книг прозы. Лауреат премии «Хинган». Живёт в Красноярске.

Иванищева Алефтина Ивановна. Родилась и выросла в Хакасии. В 1986 году закончила факультет русского языка и литературы Новокузнецкого педагогического института. Работает

учителем начальной школы и педагогом дополнительного образования в ЦДЮТ «Аист», руководит литературно-художественным клубом «Карандаш». Автор сказок и рассказов для детей. Живёт в Туруханске.

Измайлова Нина Николаевна (1946 г. р.) Родилась во Владимире. Закончила детскую художественную школу, приборостроительный техникум. Работала копировщицей, художником цеха, конструктором, а с 1972 г. и по настоящее время — в научно-исследовательском институте (виитин) — художником-конструктором. Публиковать свои статьи и стихи стала с 1995 г. в областных газетах «Тамбовская жизнь», «Наедине», «Новости», «Охота и природа Тамбовщины», «Тамбовский курьер», «Тамбовское время» и др. В 2002 г. вышел сборник стихов «Меня позвала — я пришла». Стихи включены в сборник «Смотри на жизнь позитивно» (2003), «Люблю тебя, Тамбов!» (2007), эссе — в книгу о первом мэре Тамбова В. Н. Ковале «Он вышел рано, до звезды...» (1998) и в мемуары А. Н. Смирнова «Театр и вся жизнь» (2005), где также напечатано стихотворение «Учитель». Член Союза российских писателей. Живёт в Тамбове.

Илляшевич Владимир Николаевич (1954 г. р.) Родился в Таллине (Эстония). Русский писатель-прозаик, культуролог, режиссёр-документалист, политолог-международник. Руководитель Русской писательской организации Эстонии; секретарь Правления Союза писателей России; член Исполкома Международного Сообщества Писательских Союзов (МСПС, Москва); постоянный член Совета Всемирного русского народного собора; действительный член Международного объединения кинематографистов славянских и православных народов (Кинофорум «Золотой Витязь»); член-корреспондент Петровской академии наук и искусств; соучредитель и член Координационного совета российских соотечественников Эстонии. Соучредитель и председатель Совета Международной литературной премии им. Ф. М. Достоевского (Таллин); инициатор создания и член Совета республиканской (Эстония) премии по культуре им. Игоря Северянина. Учредитель и главный редактор международного литературно-художественного и публицистического журнала «Балтика». Председатель Европейского общества генеалогии и геральдики в Эстонии и ассоциированный член президиума Российской генеалогической федерации (Москва). Автор 10 книг и 8 документальных фильмов (сценарист и режиссёр), статей на темы культурологии, литературоведения, историко-биографической публицистики и историософии (в России: журналы «Москва», «Наш современник», «Роман-журнал XXI век», «Балтийский мир», «Культура», «Литературная газета», «Российский писатель» и др).

Ильсова Танакоз Толкынкызы (1977 г. р.) Родилась в городе Алматы. Окончила республиканскую школу № 2 с углублённым изучением казахского

языка и литературы в Алматы. В 1999 году после успешного завершения университета мировых языков стала обладательницей стипендии «Болашак». В 1999–2000 годах училась в университете Роберта Шумана в городе Страсбурге во Франции. Лауреат конкурса «Весна поэзии» фестиваля «Жас толкын» в номинации «литература», республиканского конкурса «Поэтессы Казахстана», международного фестиваля «Шабьт» и телевизионного конкурса «Меня зовут Махамбет». Печаталась в «Антологии стихотворений молодых поэтов», коллективном сборнике «Преклоняясь перед Махамбетом» и других. Автор книги стихов «Мы — горцы». В 2001–2007 годах Танакоз Толкынкызы работала помощником консула в посольстве Франции в Казахстане, в 2007–2008 — журналистом республиканской газеты «Айкын», в 2008 — телеведущей поэтической программы «Шабьт шыны» на телеканале «Алматы». С февраля 2008 года — главный редактор газеты «Дайджест.kz».

Карамов Сергей Константинович (1957 г. р.) Родился в семье врача, доктора медицинских наук, профессора. Окончил медицинский институт, защитил кандидатскую диссертацию, врач высшей категории. Автор серии медицинских статей, статей по оздоровлению в периодической печати. Автор 9 книг по восточным единоборствам, серии статей в журналах: «Спортивная жизнь России», «Боевое искусство планеты», «Додзё», «Российский колокол», «Страна «Озарение», «Ожерелье здоровья», «Колесо смеха» (Петербург), газетах: «Вечерняя Москва» и «Московский литератор», рассказов и статей в сети Интернет. Автор 6 сатирических комедий, сказок, миниатюр, рассказов, повестей и романов. Член Московской городской организации Союза писателей России и Международной ассоциации писателей и публицистов. Живёт в Москве.

Ковда Вадим Викторович (1936 г. р.) Родился в Москве в семье интеллигентов. Окончил механико-математический факультет мгу. С 1958 по 1961 год работал в Институте прикладной математики Академии наук. В 1968 году окончил кинооператорский факультет вгика, много работал по специальности. Вадима Ковду как поэта вызволили из безвестности — «открыли» и впервые опубликовали Борис Слуцкий и Давид Самойлов. Первая книга стихов «Будни» вышла в 1971 году в Москве. Автор восьми стихотворных сборников, принят в Союз писателей ещё в 1972 году. Живёт в Ганновере.

Кравцов Константин (1963 г. р.) Родился в Салехарде. Окончил Литературный институт имени Горького. Поэт, эссеист. Член срп. Лауреат все-российской литературной премии имени Есенина за 1997 год. Публиковался в журналах «Литературная учёба», «Молодая гвардия», «Русская провинция», «Октябрь» и др. Вышли Сборники стихов «Приношение», «Январь». Рукоположен в сан священника. Живёт в Ярославле.

Кузнецова Зинаида Никифоровна. Родилась в Воронежской области. В Сибири живёт с 1966 года.

Автор нескольких книг стихов и прозы. Многие стихи положены на музыку красноярскими композиторами. Руководитель литературного объединения. Член Союза российских писателей, член правления КРОО «Писатели Сибири». Живёт в Железногорске.

Курбатов Валентин Яковлевич (1939 г. р.) Родился в Ульяновской области. Долгое время жил на Урале. Служил на Северном флоте. Окончил вгик. Выпустил книги об Астафьеве, гоголевском иллюстраторе А. Агине, М. Пришвине, В. Распутине, автор множества статей по русскому искусству, русской и зарубежной литературе. Член Союза писателей России. Академик Академии российской словесности, лауреат премии Л. Н. Толстого за 1998 год, премий за лучшую работу года журналов «Наш современник», «Литературное обозрение», «Смена», «Урал», «Москва». Живёт в Пскове.

Кушникова Мэри Моисеевна. Член Союза писателей России с 1997 по 2005 гг. Член Союза российских писателей с 2005 г. Заместитель председателя и член Правления Кемеровского регионального отделения Союза российских писателей. Член Союза переводчиков России. Член Союза журналистов России. Заслуженный работник культуры Российской Федерации. Автор 21 книги и более 500 статей на темы культуры. Переводчик с 12 европейских языков. Художественные переводы с французского, румынского, польского, испанского. Один из составителей литературного альманаха «Голоса Сибири». Живёт в Кемерово.

Лопатин Павел Константинович (1968 г. р.) Родился в г. Кемерово, в 1991 году окончил Бурдешский технический университет по специальности «робототехника». В настоящее время — доцент Сибирского государственного аэрокосмического университета имени академика М. Ф. Решетнева, кандидат технических наук. Член Красноярского историко-просветительского общества «Мемориал» с 1998 года. Публикации по проблемам истории: «Я по заданию НКВД копал могилы...» («Красноярский рабочий», 30 октября 2004 г., о расстрелах в г. Канске), «Сто пятьдесят четвёртый» («Красноярский рабочий», 30 октября 2008 г. о расстрелах в г. Минусинске), на сайте «Мемориала» (www.memorial.krsk.ru). Живёт в Красноярске.

Миллер Константин. Родился в Комсомольске-на-Амуре, но вскоре был оттуда вывезен родителями в Новосибирск, где сначала окончил школу, затем исторический факультет Педагогического университета. Несколько лет работал в археологических экспедициях, преподавал историю в разных учебных заведениях города. Автор нескольких пьес, опубликованных на сайте «Проза.ru». Живёт в Германии.

Монахов Владимир (1955 г. р.) Родился в городе Изюм Харьковской области. В 1972 году окончил школу, затем работал в районной газете и был призван на службу в армию. После увольнения в запас работал в печати Иркутской области.

В 1977 году поступил, в 1983 году заочно закончил Иркутский государственный университет, получив профессию — журналист. Работал собственным корреспондентом областной газеты «Восточно-Сибирская правда» в Братске, главным редактором программы новостей на телекомпании «Мы», сейчас возглавляет пресс-службу частной фирмы. Автор 13 сборников стихов и прозы, в числе которых «Второе пришествие бытия», «Путешественник», «Человек человеку — рифма», «Эпоха снегопада», «Негосударственный человек. Этюды неконструктивной созерцательности», «Заросли бесконечного», «Вымысел правды». Публиковался в журналах «Литературная учёба», «Мансарда», «Арион», «Футурум АРТ», «Крещатик», «Сибирь», «Ренессанс», «День и ночь». В 1998 году стал дипломантом конкурса русского хайку, который проводили «АиФ» и посольство Японии в нашей стране. Живёт в Братске.

Ореховский Пётр Александрович (1960 г. р.) Родился в Барнауле. Окончил Новосибирский университет, аспирантуру и докторантуру в Ленинградском финансово-экономическом институте, доктор экономических наук, профессор. Работал на административных и преподавательских должностях в Усть-Илимске, Барнауле, Новосибирске, Омске, Москве. С 1998 г. живёт в г. Обнинске Калужской области, где в 1992–1993 гг. был вице-мэром по экономическим вопросам, затем проректором по науке ГОУ ДПО «Международная академия современного знания». Профессор Алтайского технического и Омского университетов, зав. кафедрой Обнинского института атомной энергетики. Публиковать художественные произведения начал с 2000 года. Рассказы и эссе выходили в литературных альманахах «Складчина» (Омск) и «Голоса Сибири» (Кемерово), журналах «День и ночь» (Красноярск), «Семья и школа», «Октябрь», «Континент» (Москва) и др. изданиях. Некоторые рассказы переведены на сербский (журнал «Свеске», Белград) и болгарский (журнал «Факел», София) языки. Член Союза писателей Москвы.

Папоркова Надежда (1984 г. р.) Родилась в Рыбинске Ярославской области. Окончила Ярославский государственный педагогический университет имени Ушинского. Поэт, член СРП. Живёт в Рыбинске.

Переяслов Николай Владимирович (1954 г. р.) Родился в Донбассе (ныне суверенная Украина), работал шахтёром на донецких шахтах, геологом в Красноярском крае и Забайкалье, инструктором по туризму на озере Селигер, журналистом в Тверской области, директором Самарского областного отделения Литфонда России и на других работах. Автор 15 поэтических, прозаических и критико-литературоведческих книг. Окончил (заочно) Литературный институт им. А. М. Горького. Член Международной федерации журналистов, Международной ассоциации писателей и публицистов, действительный член Петровской академии наук и искусств.

Секретарь Правления Союза писателей России. В настоящее время работает помощником мэра Москвы.

Резник София. Родилась в городе-герое Ленинграде. Окончив среднюю школу, уехала открывать Америку. Основной род занятий — сочинение стихов и сказок для детей и взрослых. Сказки первым рассказываются перед сном и в театральной студии. Сказки для последних часто принимают вид технических спецификаций и технической документации. Живёт в Бостоне.

Русakov Эдуард Иванович (1942 г. р.) Родился в Красноярске. Окончил Красноярский медицинский институт и Литературный институт им. Горького. Работал врачом-психиатром, редактором студии документальных фильмов, корреспондентом СМИ, руководителем литературной студии. Как прозаик печатается с 1966 года. Автор более десятка книг. Печатает прозу в журналах «Знамя», «Юность», «День и ночь». Произведения переводились на азербайджанский, болгарский (1985), венгерский (1986), казахский, немецкий, словенский, финский, французский и японский языки. Заместитель главного редактора журнала «День и ночь». Член Союза российских писателей. Член международного ПЕН-клуба (Русский ПЕН-центр, сибирский филиал). Живёт в Красноярске.

Самотик Людмила (1992 г. р.) Ученица 11 класса Красноярской гимназии «Универс» (№ 1) и Красноярского литературного лицея. Неоднократный победитель молодёжного конкурса памяти В. П. Астафьева. Обладатель Краевой именной стипендии имени В. П. Астафьева. Живёт в Красноярске.

Сафронов Леонид Александрович (1955 г. р.) Родился в посёлке Рудничном Верхнекамского района Кировской области. После окончания школы был студентом медицинского училища, а после — культпросветучилища. Служил в армии, где начал публиковать свои стихи в армейских газетах. После службы в армии работал в городе Норильске, в тресте «Норильскгазпром». В конце восьмидесятых годов вернулся на родину. Публиковался в местных изданиях, сборнике «Встречи». В мае 1989 года по рекомендации IX Всесоюзного совещания молодых писателей был принят в члены Союза писателей России. Автор книги «Далеко за синими левами». Лауреат литературных премий журналов «Москва» и «Наш современник». В настоящее время отец Леонид Сафронов — настоятель храма во имя Святителя Николая Чудотворца в посёлке Рудничном.

Советников Леонид (1955 г. р.) Родился в Рыбинске, Ярославской области. Окончил Рыбинский политехнический техникум, три курса Ярославского Государственного Педагогического Института. Женат, имеет двоих взрослых детей. Инвалид труда первой группы. Поэт. Последняя книга избранных стихов «Спящий куст» вышла в 2006 году в издательстве «Рыбинский Дом печати».

Сутулов-Катеринич Сергей Владимирович (1952 г. р.) Родился в городе Петропавловске Северо-Казахстанской области (ныне он находится в Республике Казахстан). Окончил историко-филологический факультет Ставропольского государственного педагогического института. С 1980 по 1990 годы работал в редакции краевой газеты «Ставропольская правда» — на разных должностях: от корреспондента до специального корреспондента и заведующего отделами новостей и культуры. В этот же период заочно окончил (в 1986) сценарный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова. Член Союза журналистов СССР (ныне — России) с ноября 1982 года, по его сценариям снято свыше тридцати документальных фильмов. Член Союза российских писателей. Лауреат Национальной литературной премии «Золотое перо Руси-2007». Редактор международного поэтического альманаха «45-я параллель». Дважды становился лауреатом краевой журналистской премии имени Германа Лопатина. Живёт в Ставрополе.

Тимченко Елена Владимировна (1962 г. р.) Родилась в с. Шила Сухобузимского района Красноярского края. Окончила Красноярский государственный университет, физический факультет. Работала в агроуниверситете на кафедре физики в должности ассистента и младшего научного сотрудника, преподавала программирование и информационные технологии в техникуме и информатику в гимназии. Автор повести-сказки «Мерзлотка и её друзья», победившей в грантовом конкурсе «Книжное Красноярье» в 2007 году. С 2001 года стала внештатным сотрудником газеты «Городские новости», с 2004 года — главный редактор приложения «Детский район». С 2004 года ведёт в Красноярском литературном лицее творческие мастерские. Состоит в редколлегии журнала «День и ночь». Член КРОО «Писатели Сибири». Живёт в Красноярске.

Третьяков Анатолий Иванович (1939 г. р.) Родился в Минусинске. Окончил Красноярское речное училище. Служил в армии, работал судовым механиком, помощником машиниста тепловоза, литературным сотрудником в газетах. Учился на сценарном факультете вГИКа, в Литературном институте им. А. М. Горького. Печатался во многих коллективных сборниках Москвы, Красноярска и других городов России. Автор семи книг стихов. В Красноярске и крае больше известен как поэт-песенник. Автор слов торжественной песни — гимна Красноярска и многих других песен. Лауреат губернаторской премии Красноярского края. Член Союза писателей России. Живёт в Красноярске.

Фролов Геннадий Васильевич (1947 г. р.) Родился в Курске. Детство и юность прошли в Орле, куда в самом начале пятидесятых переехали его родители. В 1971 году окончил Литературный институт имени А. М. Горького. Первые стихи были опубликованы в 1965 году в газете

«Орловский комсомолец». После этого отдельные стихи и подборки печатались в журналах «Юность», «Сельская молодёжь», «Студенческий меридиан», «Новый мир», «Мы» и многих других, а также в разных альманахах и сборниках. Автор поэтических книг «Сад» (М., 1982), «Месяцеслов» (М., 1987), «Бьющий свет» (М., 1992), «Невольные мысли» (М., 1997) и «Погост» (М., 2000). Живёт в Москве.

Харисов Ренат Магсумович (1941 г. р.) Родился в семье сельских учителей. Окончил Казанский государственный педагогический университет. Работал учителем, журналистом, ответственным секретарём Союза писателей Татарстана, заместителем министра культуры, заместителем председателя Госсовета (Парламента) Татарстана. Народный поэт Татарстана, автор более сорока книг на татарском, русском, английском, башкирском и чувашском языках. Им написано около четырёх десятков поэм, часть из которых стала операми, балетами, ораториями, кантатами, теле- и радиоспектаклями. На стихи Хариса композиторами Казани, Москвы, Уфы, Саратова и других городов создано более ста пятидесяти произведений вокального жанра. За создание либретто балета «Сказание о Юсуфе», способствующего развитию традиций национального эпоса в современных условиях диалога культур, Ренату Харису присуждена Государственная премия Российской Федерации за 2005 год. Он также является лауреатом Государственной премии Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая, Республиканской премии молодёжи Татарстана имени Мусы Джалиля, заслуженным деятелем искусств Татарстана, заслуженным работником культуры Чувашии и Каракалпакии. Ренат Харис — секретарь Правления Союза писателей России, член Геральдического совета при Президенте Татарстана, член редколлегий журналов «Наш Современник» и «Казан утлары», член Главной редколлегии Татарской Энциклопедии. В Татарии издано собрание его сочинений в 7 томах.

Чепурных Евгений Петрович (1954 г. р.) Родился в г. Чапаевске Куйбышевской области. Учился в Куйбышевском государственном университете и Литературном институте им. А. М. Горького, служил в Советской Армии. Первая поэтическая подборка появилась в 1978 году в журнале «Юность», и тогда же он был замечен всероссийским читателем и критикой. В 1980 году в Куйбышевском книжном издательстве вышла его первая книга стихотворений — «Письма», значительно усилившая его известность. Однако в перестроечные и последовавшие за ними годы поэт печатался мало, с трудом находя в наступившей жизни нишу для существования. И только в 2003 году ему удалось выпустить в Самарском отделении Литературного фонда России поэтическую книгу «Маятник». После этого в 2006 году в московском издательстве «Вече» вышла небольшая его книга «Новые стихи», а в Самаре — итоговый сборник «Перелётное счастье». Живёт в городе Самаре.

Чёрный Артур Валерьевич (1980 г. р.) Закончил среднюю школу в Богучанском районе Красноярского края. В мае 1998 года призвался в ряды внутренних войск мвд. В январе 2000 года убыл в свою первую командировку на Северный Кавказ, где проходил службу до августа 2000 года в должности замкомвзвода мотострелкового взвода. В сентябре 2000 уволился из армии. В октябре 2000 поступил на военную службу по контракту и в декабре отправился во вторую командировку. Служил в сибирской бригаде быстрого реагирования «Бешеные Псы» в должности командира отделения расчёта АГС-17. В апреле 2001 из Чечни уехал и в мае уволился из армии. В августе 2001 поступил в Барнаульский юридический институт мвд РФ на очное двухгодичное отделение. После завершения учёбы, в феврале 2004, выехал в третью командировку в Чечню. В течение 2004 года работал в должности участкового уполномоченного милиции Октябрьского РОВД г. Грозного. В январе 2005 уехал из Чечни. До лета 2006 года работал участковым в Алтайском и Красноярском крае, летом — в службе ППС г. Барнаула. В ноябре 2006 в звании старшего лейтенанта уволился из милиции. Автор двух книг прозы, вышедших в издательстве «Эксмо»; в литературных журналах не публиковался. Живёт в Красноярске.

Чмыхало Анатолий Иванович (1924 г. р.) Родился в с. Вострово Волчихинского района Алтайского края. Воевал на фронте (1942–1943), работал артистом республиканского театра в г. Алма-Ате (1943–1944), корреспондентом газеты «Красноярский рабочий» (1946–1947). С 1947 года — писатель. Ответственный секретарь Красноярской писательской организации, главный редактор журнала «Енисей» (1962–1976). Автор романов «Половодье», «Нужно верить», «Три весны», «Дикая кровь», «Отложенный выстрел» и др. Член Союза писателей (с 1963). Почётный гражданин г. Красноярска, заслуженный работник культуры РСФСР, почётный профессор КГПУ. Награждён орденами Великой Отечественной войны I и II степени, орденом Дружбы народов, орденом «Знак Почёта», знаком отличия «За заслуги перед г. Красноярском», 20 медалями. Живёт в Красноярске.

Шалыгина Нина Александровна (1934 г. р.) Родилась в селе Верпа Овручского района Житомирской области в семье техника-строителя. Вместе с родителями проживала во многих республиках и областях СССР. В 1954 году после окончания сорок седьмой московской школы поступила на актёрское отделение театрального училища им. Б. В. Шукина. После рождения сына в 1955 году вынуждена была оставить училище. В 1956 году приехала в Сибирь, в теперешний Зеленогорск. С отличием закончила Красноярский библиотечный техникум, Московский историко-архивный институт, Московский институт патентоведения и Московский информационный институт. Работала архивариусом, руководила городским отделом

культуры. С 1970 по 1975 год совмещала основную работу с должностью заместителя начальника штаба ударной комсомольской стройки «Сибволокон». Была внештатным корреспондентом городского радио, газет «Красноярский рабочий», «Красноярский комсомолец», «Социалистическая индустрия». С апреля 1961 года по июль 2006 года руководила городским литературно-музыкальным объединением «Родники». Автор двенадцати поэтических сборников и пяти книг прозы. Дипломант нескольких краевых творческих конкурсов. Член Союза российских писателей. Живёт в Красноярске.

Шахрай Всеволод (1980 г.р.) Родился в Казани. В 2002 году окончил Казанский государственный педагогический университет и получил специальность учителя английского и французского языков. Работал в Южной Корее. По истечении двухгодичного срока вернулся в Россию. Живёт в Казани.

Шелленберг Вероника Владимировна (1972 г.р.) Родилась в Омске. Окончила Литературный институт им. Горького. Работала художником-оформителем и дизайнером. Печатается как поэт с 1996. Автор книг стихов «Если бы не ты...» (1998); «Рождение» (1998); «На языке огня» (2004); «Одно только слово» (2006); «В такой погожий вечер. Стихи для детей» (2008); «Полосатая корова. Стихи и песенки для детей» (2009). Член Союза российских писателей. Публиковалась в журналах и альманахах «Арион», «Голоса Сибири», «Дети Ра», «Складчина», «Омская муза», «День и ночь», «Сибирские огни», «Сибирские Афины», «Стороны света», «Сияние лиры», «Урал». Премия им. Ф. М. Достоевского (1998). Живёт в Омске.

Шибанова Надежда (1981 г.р.) Родилась в Красноярске. Закончила Красноярский литературный лицей, факультет искусствоведения и культурологи Сибирского федерального университета. Работала в Центре детского творчества, на кафедре религиоведения Красноярского государственного педагогического университета им. В. П. Астафьева. Живёт в Красноярске.

Шлёнская Мария Михайловна (1988 г.р.) Родилась в Красноярске. Выпускница Красноярского литературного лицея. Студентка Сибирского федерального университета. Стипендиат краевой именной стипендии им. В. П. Астафьева. Первая книга — в 12 лет. Публикации в журнале «День и ночь», газете «Красноярский рабочий». Живёт в Красноярске.

Шульгин Сергей Сергеевич (1962 г.р.) До окончания школы жил в с. Сахапта Красноярского края. В 1984 г. окончил Красноярский политехнический институт. Автор двух поэтических сборников. Печатался в газете «Новый Енисей». Живёт в Красноярске.

Щербаков Александр Илларионович (1939 г.р.) Родился в Красноярском крае. Образование: история и филология, экономика и журналистика. Работал учителем, корреспондентом краевых и центральных изданий, ныне

возглавляет Красноярское отделение Союза писателей России. Автор двух десятков книг стихотворений, прозы, публицистики, повести «Свет всю ночь», сборников рассказов «Деревянный всадник», «Лазоревая бабка», «Змеи оживают ночью», поэтических книг «Трубачи весны», «Глубинка», «Горлица», «Жалейка», «Дар любви». Печатался в журналах «Наш современник», «Молодая гвардия», «Уральский следопыт», «Сибирские огни», «Огонёк». Член Союза писателей России. Заслуженный работник культуры Российской Федерации. Живёт в Красноярске.

Юницкая Марина (Маргарита) Сергеевна. Окончила Московский полиграфический институт (ныне Академия печати). Работала в Москве, на Северном Кавказе. Вернувшись на родину, много лет отдала молодёжной прессе, а затем — телевидению. В Брянске вышли её первые поэтические сборники «Сердце зовёт», «Встречи, разлуки», «Ещё о нежности». Потом выходили сборники в Москве, Туле и, конечно, в Брянске: «Земное наше притяжение», «Голубика моя голубика», «Тихое лето», «И только о любви мы будем говорить», «Февральские метели», книга прозы «У каждого своё море». Много переводов с белорусского и украинского языков. Член Союза российских писателей. Член Союза журналистов РФ. Лауреат премии «Серебряная лира» имени А. К. Толстого. Живёт в Брянске.

Янев Геннадий Григорьевич (1965 г.р.) Родился в Украине. Служил в армии, учился в Московском педагогическом институте на филфаке, работал учителем, рабочим, грузчиком, смотрителем ботанического сада «Хутор Горка» на Соловках. В 20 лет написал книгу стихов, в 30 лет книгу эссе, в 40 книгу прозы. Публикации: журналы «Волга» (Саратов), «Арион» (Москва), «День и ночь» (Красноярск), «Крещатик» (Мюнхен), «Зеркало» (Тель-Авив), «Дети Ра» (Москва), «Воздух» (Москва), «Новый берег» (Копенгаген), «Другие берега» (Милан), «Южная звезда» (Ставрополь), «Коростель» (Санкт-Петербург), «Наша улица» (Москва), «Гипертекст» (Уфа), «Волга 21 век» (Саратов), «Предлог» (Москва), «Побережье» (Сан-Франциско). Книга прозы: «Гражданство»; Москва, «ОГИ», 2004. Интернет: «Новая литература», «Самиздат», «Русский переплёт», «Точка зрения», «Ликбез», «Интерпроза» и др. Живёт в Подмосковье.

Янжула Анатолий Андреевич (1947 г.р.) Родился в Красноярске. Окончил железнодорожный техникум. Начал писать во время службы в армии, будучи внештатным корреспондентом газеты Тихоокеанского флота «Боевая вахта». С 1995 года — постоянный автор журнала «День и ночь». В альманахе «Енисей» напечатана повесть «Миг войны». Отдельными книжками вышли повесть «Дядька Фёдор» и сборник рассказов «Обстоятельства жизни». Член Союза писателей России. Работает в управлении Федеральной почтовой связи по Красноярскому краю. Живёт в Красноярске.

Рукописи принимаются по адресу:
66 00 28, Красноярск, а/я 11 937,
редакция журнала «День и ночь».

Желателен диск с набором, фотография,
краткие биографические сведения.
e-mail: din_krsk@mail.ru

Редакция не вступает в переписку.
Рукописи не рецензируются и не
возвращаются. Ответственность за
достоверность фактов несут авторы
материалов. Мнения авторов могут не
совпадать с мнением редакции. При
перепечатке материалов ссылка на
журнал «День и ночь» обязательна.

Для приобретения номера
и размещения рекламы социальной
направленности обращайтесь в отдел
маркетинга и распространения журнала
«День и ночь»: т. 8 906 916 56 55
e-mail: kras_spr@mail.ru

Интернет-версия журнала
www.krasdin.ru поддерживается
ООО «КИТ»

Издатель
ООО «Редакция литературного журнала
для семейного чтения „День и ночь“».

ИНН
246 304 27 49

Расчётный счёт
407 028 105 006 000 001 86
в Красноярском филиале
«Банка Москвы»
в г. Красноярске.

БИК
040 407 967
Корреспондентский счёт
301 018 100 000 000 967

Адрес редакции:
ул. Ладо Кецховели, д. 75^а,
офис «День и ночь»
Телефон редакции:
(391) 2 43 06 38

Подписано к печати: 11.12.2009
Тираж: 1000 экз.

Отпечатано с готового оригинала
в типографии ООО ИПЦ «КАСС»
Адрес: 66 00 48, г. Красноярск,
ул. Маерчака, д. 65, стр. 23